Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://shukshinvasiliy.ru/ Приятного чтения!

Светлые души

Михайло Беспалов полторы недели не был дома: возили зерно из далеких глубинок.

Приехал в субботу, когда солнце уже садилось. На машине. Долго выруливал в узкие ворота, сотрясая застоявшийся теплый воздух гулом мотора.

Въехал, заглушил мотор, открыл капот и залез под него.

Из избы вышла жена Михайлы, Анна, молодая круглолицая баба. Постояла на крыльце, посмотрела на мужа и обиженно заметила:

— Ты б хоть поздороваться зашел.

— Здорово, Нюся! — приветливо сказал Михайло и пошевелил ногами в знак того, что он все понимает, но очень сейчас занят.

Анна ушла в избу, громко хлопнув дверью.

Михайло пришел через полчаса.

Анна сидела в переднем углу, скрестив руки на высокой груди. Смотрела в окно. На стук двери не повела бровью.

— Ты чего? — спросил Михайло.

— Ничего.

— Вроде сердишься?

— Ну что ты! Разве можно на трудящий народ сердиться? — с неумелой насмешкой и горечью возразила Анна.

Михайло неловко потоптался на месте. Сел на скамейку у печки, стал разуваться. Анна глянула на него и всплеснула руками:

— Мамочка родимая! Грязный-то!..

— Пыль, — объяснил Михайло, засовывая портянки в сапоги.

Анна подошла к нему, разняла на лбу спутанные волосы, потрогала ладошкой небритые щеки мужа и жадно прильнула горячими губами к его потрескавшимся, солоновато-жестким, пропахшим табаком и бензином губам.

— Прямо места живого не найдешь, Господи ты мой! — жарко шептала она, близко разглядывая его лицо.

Михайло прижимал к груди податливое мягкое тело и счастливо гудел:

— Замараю ж я тебя всю, дуреха такая!..

— Ну и марай… марай, не думай! Побольше бы так марал!

— Соскучилась небось?

— Соскучишься! Уедет на целый месяц…

— Где же на месяц? Эх ты… акварель!

— Пусти, пойду баню посмотрю. Готовься. Белье вон на ящике. — Она ушла.

Михайло, ступая до горяча натруженными ногами по прохладным доскам вымытого пола, прошел в сени, долго копался в углу среди старых замков, железяк, мотков проволоки: что-то искал. Потом вышел на крыльцо, крикнул жене:

– Ань! Ты случайно не видела карбюратор?

– Какой карбюратор?

– Ну такой… с трубочками!

– Не видела я никаких карбюраторов! Началось там опять…

Михайло потер ладонью щеку, посмотрел на машину, ушел в избу. Поискал еще под печкой, заглянул под кровать… Карбюратора нигде не было.

Пришла Анна.

– Собрался?

– Тут, понимаешь… штука одна потерялась, – сокрушенно заговорил Михайло. – Куда она, окаянная?

– Господи! – Анна поджала малиновые губы. На глазах ее заблестели светлые капельки слез. – Ни стыда ни совести у человека! Побудь ты хозяином в доме! Приедет раз в год и то никак не может расстаться со своими штуками…

Михайло поспешно подошел к жене.

– Чего сделать, Нюся?

– Сядь со мной. – Анна смахнула слезы.

Сели.

– У Василисы Калугиной есть полупальто плюшевое… хоро-о-шенькое! Видел, наверно, она в нем по воскресеньям на базар ездит!

Михайло на всякий случай сказал:

– Ага! Такое, знаешь… – Михайло хотел показать, какое пальто у Василисы, но скорее показал, как сама Василиса ходит: вихляясь без меры. Ему очень хотелось угодить жене.

– Вот. Она это полупальто продает. Просит четыре сотни.

– Так… – Михайло не знал, много это или мало.

– Так вот я думаю: купить бы его? А тебе на пальто соберем ближе к зиме. Шибко оно тянется мне, Миша. Я давеча примерила – как влитое сидит!

Михайло тронул ладонью свою выпуклую грудь.

– Взять это полупальто. Чего тут думать?

– Погоди ты! Разлысил лоб… Денег-то нету. А я вот что придумала: давай продадим одну овечку! А себе ягненка возьмем…

– Правильно! – воскликнул Михайло.

– Что правильно?

– Продать овечку

– Тебе хоть все продать! – Анна даже поморщилась.

Михайло растерянно заморгал добрыми глазами.

– Сама же говорит, елки зеленые!

– Так я говорю, а ты пожалей. А то я – продать, и ты – продать. Ну и распродадим так все на свете!

Михайло открыто залюбовался женой.

— Какая ты у меня… головастая!

Анна покраснела от похвалы.

— Разглядел только…

Из бани возвращались поздно. Уже стемнело.

Михайло по дороге отстал. Анна с крыльца услышала, как скрипнула дверца кабины.

— Миша!

— Аиньки! Сейчас, Нюся, воду из радиатора спущу.

— Замараешь белье-то!

Михайло в ответ зазвякал гаечным ключом.

— Миша!

— Одну минуту, Нюся.

— Я говорю, замараешь белье-то!

— Я же не прижимаюсь к ней.

Анна скинула с пробоя дверную цепочку и осталась ждать мужа на крыльце.

Михайло, мелькая во тьме кальсонами, походил около машины, вздохнул, положил ключ на крыло, направился к избе.

— Ну сделал?

— Надо бы карбюратор посмотреть. Стрелять что-то начала.

— Ты ее не целуешь случайно? Ведь за мной в женихах так не ухаживал, как за ней, черт ее надавал, проклятую! — рассердилась Анна.

— Ну вот… При чем она здесь?

— При том. Жизни никакой нету.

В избе было чисто, тепло. На шестке весело гудел самовар.

Михайло прилег на кровать; Анна собирала на стол ужин.

Неслышно ходила по избе, носила бесконечные туески, кринки и рассказывала последние новости:

— … Он уж было закрывать собрался магазин свой. А тот — то ли поджидал специально — тут и был! «Здрасти, — говорит, — я ревизор…»

— Хэх! Ну? — Михайло слушал.

— Ну тот туда-сюда — заегозил. Тыр-пыр — семь дыр, а выскочить некуда. Да. Хворым прикинулся…

— А ревизор что?

— А ревизор свое гнет: «Давайте делать ревизию». Опытный попался.

— Тэк. Влопался, голубчик?

— Всю ночь сидели. А утром нашего Ганю прямо из магазина да в КПЗ.

– Сколько дали?

– Еще не судили. Во вторник суд будет. А за ними давно уж народ замечал. Зоечка-то его последнее время в день по два раза переодевалась. Не знала, какое платье надеть. Как на пропасть! А сейчас ноет ходит: «Может, ошибка еще». Ошибка! Ганя ошибется!

Михайло задумался о чем-то.

За окнами стало светло: взошла луна. Где-то за деревней голосила поздняя гармонь.

– Садись, Миша.

Михайло задавил в пальцах окурок, скрипнул кроватью.

– У нас одеяло какое-нибудь старое есть? – спросил он.

– Зачем?

– А в кузов постелить. Зерна много сыплется.

– Что они, не могут вам брезенты выдать?

– Их пока жареный петух не клюнет – не хватятся. Все обещают.

– Завтра найдем чего-нибудь.

Ужинали не торопясь, долго.

Анна слазила в подпол, нацедила ковшик медовухи – для пробы.

– Ну-ка, оцени.

Михайло одним духом осушил ковш, отер губы и только после этого выдохнул:

– Ох… хороша-а!

– К празднику совсем дойдет. Ешь теперь. Прямо с лица весь опал. Ты шибко уж дурной, Миша, до работы. Нельзя так. Другие, посмотришь, гладкие приедут, как боровья… сытые – загляденье! А на тебя смотреть страшно.

– Ничего-о, – гудел Михайло. – Как у вас тут?

– Рожь сортируем. Пылища!.. Бери вон блинцы со сметанкой. Из новой пшеницы. Хлеба-то нынче сколько, Миша! Прямо страсть берет. Куда уж его столько!

– Нужно. Весь СССР прокормить – это… одна шестая часть.

– Ешь, ешь! Люблю смотреть, как ты ешь. Иной раз аж слезы наворачиваются почему-то.

Михайло раскраснелся, глаза заискрились веселой лаской. Смотрел на жену, как будто хотел сказать ей что-то очень нежное. Но, видно, не находил нужного слова.

Спать легли совсем поздно.

В окна лился негреющий серебристый свет. На полу, в светлом квадрате, шевелилось темное кружево теней.

Гармонь ушла на покой. Теперь только далеко в степи ровно, на одной ноте, гудел одинокий трактор.

– Ночь-то! – восторженно прошептал Михайло.

Анна, уже полусонная, пошевелилась.

– А?

– Ночь, говорю…

– Хорошая.

– Сказка просто!

– Перед рассветом под окном пташка какая-то распевает, – невнятно проговорила Анна, забираясь под руку мужа. – До того красиво…

– Соловей?

– Какие же сейчас соловьи!

– Да, верно…

Замолчали. Анна, крутившая весь день тяжелую веялку, скоро уснула.

Михайло полежал еще немного, потом осторожно высвободил свою руку, вылез из-под одеяла и на цыпочках вышел из избы.

Когда через полчаса Анна хватилась мужа и выглянула в окно, она увидела его у машины. На крыле ослепительно блестели под луной его белые кальсоны. Михайло продувал карбюратор.

Анна негромко окликнула его.

Михайло вздрогнул, сложил на крыло детали и мелкой рысью побежал в избу. Молчком залез под одеяло и притих.

Анна, устраиваясь около его бока, выговаривала ему:

– На одну ночь приедет и то норовит убежать! Я ее подожгу когда-нибудь, твою машину. Она дождется у меня!

Михайло ласково похлопал жену по плечу – успокаивал. Когда обида малость прошла, он повернулся к ней и стал рассказывать шепотом:

– Там что, оказывается: ма-аленький клочочек ваты попал в жиклер. А он же, знаешь, жиклер… там иголка не пролезет.

– Ну теперь-то все хоть?

– Конечно.

– Бензином опять несет! Ох… Господи!..

Михайло хохотнул, но тут же замолчал.

Долго лежали молча. Анна опять стала дышать глубоко и ровно.

Михайло осторожно кашлянул, послушал дыхание жены и начал вытаскивать руку

– Ты опять? – спросила Анна.

– Я попить хочу.

– В сенцах в кувшине – квас. Потом закрой его.

Михайло долго возился среди тазов, кадочек, нашел наконец кувшин, опустился на колени и, приложившись, долго пил холодный, с кислинкой квас.

– Хо-ох! Елки зеленые! Тебе надо?

– Нет, не хочу.

Михайло шумно вытер губы, распахнул дверь сеней…

Стояла удивительная ночь – огромная, светлая, тихая… По небу кое-где плыли легкие, насквозь пронизанные лунным светом облачка.

Вдыхая всей грудью вольный, настоянный на запахе полыни воздух, Михайло сказал негромко:

– Ты гляди, что делается!.. Ночь-то!..

Двое на телеге
Дождь, дождь, дождь… Мелкий, назойливый, с легким шумом сеял день и ночь. Избы, дома, деревья – все намокло. Сквозь ровный шорох дождя слышалось, только, как всплескивала, журчала и булькала вода. Порой проглядывало солнышко, освещало падающую сетку дождя и опять закутывалось в лохматые тучи.

…По грязной издавленной дороге двигалась одинокая повозка. Рослая гнедая лошадь устала, глубоко проваливала боками, но время от времени еще трусила рысью. Двое на телеге вымокли до основания и сидели, понурив головы. Старик возница часто вытирал рукавом фуфайки волосатое лицо и сердито ворчал:

– Погодка, черт тебя надавал… Добрый хозяин собаку из дома не выпустит…

За его спиной, укрывшись легким плащом, тряслась на охапке мокрой травы маленькая девушка с большими серыми глазами. Охватив руками колени, она безразлично смотрела на далекие скирды соломы.

Рано утром эта «сорока», как про себя назвал ее сердитый возница, шумно влетела к нему в избу и подала записку:

«Семен Захарович, отвези, пожалуйста, нашего фельдшера в Березовку. Это до крайности необходимо. А машина у нас на ремонте.

Квасов».
Захарыч прочитал записку, вышел на крыльцо, постоял под дождиком и, войдя в избу, бросил старухе:

– Собери.

Ехать не хотелось, и, наверно, поэтому бойкая девушка не понравилась Захарычу – он сердито не замечал ее. Кроме того, злила хитрость председателя с этим его «пожалуйста». Не будь записки и не будь там этого слова, он ни за что не поехал бы в такую непогодь.

Захарыч долго возился, запрягая Гнедуху, толкал ее кулаком и, думая о записке, громко ворчал:

– Становись, пожалуйста, в оглобли, дура окаянная!

Когда выехали со двора, девушка пробовала заговорить с возницей: спрашивала, не болит ли чего-нибудь у него, много ли снега бывает тут зимой… Захарыч отвечал неохотно. Разговор явно не клеился, и девушка, отвернувшись от него, начала негромко петь, но скоро замолчала и задумалась.

Захарыч, суетливо подергивая вожжи, тихо ругался про себя. Он всю жизнь кого-нибудь ругал. Теперь доставалось председателю и этой «сороке», которой приспичило именно теперь ехать в Березовку.

– Ххе-е… жизнь… Когда уж только смерть придет. Нно-о, журавь!

Они с трудом выехали на гору. Дождь припустил еще сильнее. Телега качалась, скользила, точно плыла по черной жирной реке.

– Ну и погодушка, чтоб тебя черти… – ругался Захарыч и уныло тянул: – Но-о-о, уснула-а-а…

Казалось, этому пути, дождю и ворчанию старика не будет конца. Но вдруг Захарыч беспокойно заерзал и, полуобернувшись к спутнице, весело прокричал:

– Что, хирургия, небось замерзла?

– Да, холодно, – призналась она.

– То-то. Сейчас бы чайку горячего, как думаешь?

– А что, скоро Березовка?

– Скоро Медоухино, – лукаво ответил старик и, почему-то рассмеявшись, погнал лошадь: – Но-о, ядрена Матрена!

Телега свернула с дороги и покатилась под гору, прямо по целине, тарахтя и подпрыгивая. Захарыч молодецки покрикивал, лихо крутил вожжами. Скоро в логу, среди стройных березок, показалась одинокая старая избушка. Над избушкой струился синий дымок, растягиваясь по березняку слоистым голубым туманом. В маленьком окошке светился огонек. Все это очень походило на сказку. Откуда-то выкатились два огромных пса, кинулись под ноги лошади. Захарыч соскочил с телеги, отогнал бичом собак и повел лошадь во двор.

Девушка с любопытством осматривалась и, когда заметила в сторонке между деревьями ряды ульев, догадалась, что это пасека.

– Бежи отогревайся! – крикнул Захарыч и стал распрягать лошадь.

Прыгнув с телеги, девушка тотчас присела от резкой боли в ногах.

– Что? Отсидела?.. Пройдись маленько, они отойдут, – посоветовал Захарыч.

Он бросил Гнедухе охапку травы и первый потрусил в избушку, отряхивая на ходу мокрую шапку.

В избушке пахло медом. Перед камельком стоял на коленях белоголовый старик в черной сатиновой рубахе и подбрасывал дрова. В камельке весело гудело и потрескивало. На полу затейливо трепетали пятна света. В переднем углу мигала семилинейная лампа. В избушке было так тепло и уютно, что девушке даже подумалось: не задремала ли она сидя в телеге, не снится ли ей все это? Хозяин поднялся навстречу нежданным гостям – он оказался очень высоким и слегка сутулился, – отряхнул колени и, прищурив глаза, сказал глуховато:

– Доброго здоровья, люди добрые.

– Там добрые или нет – не знаю, – ответил Захарыч, пожимая руку старому знакомому, – а вот промокли мы изрядно.

Хозяин помог девушке раздеться, подбросил еще в камелек. Он двигался по избушке не торопясь, делал все спокойно и уверенно.

Захарыч, устроившись у камелька, блаженно кряхтел и приговаривал:

– Ну и благодать же у тебя, Семен. Прямо рай. И чего я пасечником не сделался – ума не приложу.

– По какому же делу едете? – спросил хозяин, поглядывая на девушку.

– А вон с доктором в Березовку едем, – объяснил Захарыч. – Ну, помочил он нас… Хоть выжимай, язви его совсем…

– Доктор, значит, будете? – спросил пасечник.

– Фельдшер, – поправила девушка.

– А-а… Смотри-ка, молодая какая, а уже… Ну, согревайся, согревайся. А мы тем делом сообразим чего-нибудь.

Девушке было так хорошо, что она невольно подумала: «Все-таки правильно, что я сюда поехала. Вот где действительно… жизнь». Ей захотелось сказать старикам что-нибудь приятное.

– Дедушка, а вы весь год здесь живете? – спросила она первое, что пришло в

голову.

— Весь год, дочка.

— Не скучаете?

— Хе!.. Какая нам теперь скука. Мы свое спели.

— Ты тут, наверно, всю жизнь насквозь продумал, один-то? Тебе бы сейчас учителем работать, — заметил Захарыч.

Пасечник достал из-под пола берестовый туесок с медовухой и налил всем по кружке. Захарыч даже слюну глотнул, однако кружку принял не торопясь, с достоинством. Девушка застыдилась, стала отказываться, но оба старика настойчиво уговаривали, разъясняя, что «с устатку и с холода это — первейшее дело». Она выпила полкружки.

Вскипел чайник. Сели пить чай с медом. Девушка раскраснелась, в голове у нее приятно зашумело и на душе стало легко, как в праздник. Старики вспоминали каких-то кумовьев. Пасечник раза два покосился на улыбающуюся девушку и показал на нее глазами Захарычу.

— Тебя, дочка, как звать-то? — спросил он.

— Наташей.

Захарыч отечески похлопал Наташу по плечу и сказал:

— Ведь она, слушай, ни разу не пожаловалась даже, что холодно, мол, дедушка. От другой бы слез не обобрался.

— А вон у ней, видишь, — указал пасечник на комсомольский значок и добавил: — Они молодцы!

Наташе вдруг захотелось рассказать что-нибудь особенное о себе.

— Вы вот, дедушка, ругались давеча, а ведь это я сама попросилась ехать в Березовку.

— Да ну? — изумился Захарыч. — И охота тебе?

— Нужно — значит, охота, — задорно ответила Наташа и покраснела. — Лекарство одно в нашей аптеке кончилось, а оно очень необходимо.

— Хэх ты!.. — Захарыч крутнул головой и решительно заявил: — Только сегодня мы уж никуда не поедем.

Наташа перестала улыбаться. Старики снова принялись за свой разговор. За окном было уже темно. Ветер горстями сыпал в стекло дождь, тоскливо скрипела ставня. Девушка встала из-за стола и присела у печки. Ей вспомнился врач — толстый, угрюмый человек. Провожая ее, он говорил: «Смотрите, Зиновьева… Погода-то больно того. Простудитесь еще. Может, нам кого-нибудь другого послать?» Наташа представила, как доктор, узнав, что она пережидала непогоду на пасеке, посмотрит на нее и подумает: «Я ведь и не ожидал от тебя ничего такого. Молоды вы и слабоваты. Это извинительно», а вслух, наверное, скажет: «Ничего, ничего, Зиновьева». Вспомнилось также, как пасечник посмотрел на ее комсомольский значок… Она резко поднялась и сказала:

— Дедушка, мы все-таки поедем сегодня. — И стала одеваться.

Захарыч обернулся и вопросительно уставился на нее.

— В Березовку за лекарством поедем, — упрямо повторила она. — Вы понимаете, товарищи, мы просто… мы не имеем права сидеть и ждать!.. Там больные люди. Им нужна помощь!..

Старики изумленно смотрели на нее, а девушка, ничего не замечая, продолжала убеждать их. Пальцы ее рук сжались в тугие, острые кулачки. Она стояла перед

ними маленькая, счастливая и с необыкновенной любовью и смущением призывала больших, взрослых людей понять, что главное – это не жалеть себя!..

Старики все так же, с удивлением смотрели на нее и, кажется, ждали еще чего-то. Счастливый блеск в глазах девушки постепенно сменился выражением горькой обиды: они совсем не поняли ее! И старики показались ей вдруг не такими уж умными и хорошими. Наташа выбежала из избушки, прислонилась к косяку и заплакала… Было уже темно. По крыше уныло шуршал дождь. На крыльцо с карниза дробно шлепались капли. Перед окном избушки лежал желтый квадрат света. Жирная грязь блестела в этом квадрате, как масло. В углу двора, невидимая, фыркала и хрустела травой лошадь. Наташа не заметила, как на улицу вышел хозяин.

– Где ты, дочка? – негромко позвал он.

– Здесь.

– Ну-ка пошли в избу. – Пасечник взял ее за руку и повел за собой. Наташа покорно шла, вытирая на ходу слезы. Когда они появились в избушке, Захарыч суетливо копошился в темном углу, отыскивая что-то.

– Эка ты! Шапку куда-то забросил, язви ее, – ворчал он.

А пасечник, подкладывая в печку, тоже несколько смущенно говорил:

– На нас не надо обижаться, дочка. Нам лучше разъяснить лишний раз… А это ты хорошо делаешь, что о людях заботишься так. Молодец.

Наконец Захарыч нашел шапку. На Наташу вместо пальто надели большой полушубок и брезентовый плащ. Она стояла посреди избы неуклюжая и смешная, поглядывая из-под башлыка мокрыми веселыми глазами и шмыгая носом. А вокруг нее хлопотали виноватые старики, соображая, что бы еще надеть на нее…

Через некоторое время телега снова мягко катилась по дороге, и на ней снова тряслись два человека.

По-прежнему ровно шумел дождь; обочь дороги, в канавках, тихонько булькало и хлюпало.

Сельские жители
«А что, мама? Тряхни стариной – приезжай. Москву поглядишь и вообще. Денег на дорогу вышлю. Только добирайся лучше самолетом – это дешевле станет. И пошли сразу телеграмму, чтобы я знал, когда встречать. Главное, не трусь».

Бабка Маланья прочитала это, сложила сухие губы трубочкой, задумалась.

– Зовет Павел-то к себе, – сказала она Шурке и поглядела на него поверх очков. (Шурка – внук бабки Маланьи, сын ее дочери. У дочери не клеилась личная жизнь (третий раз вышла замуж), бабка уговорила ее отдать ей пока Шурку. Она любила внука, но держала его в строгости.)

Шурка делал уроки за столом. На слова бабки пожал плечами – поезжай, раз зовет.

– У тебя когда каникулы-то? – спросила бабка строго.

Шурка навострил уши.

– Какие? Зимние?

– Какие же еще, летние, что ль?

– С первого января. А что?

Бабка опять сделала губы трубочкой – задумалась.

А у Шурки тревожно и радостно сжалось сердце.

– А что? – еще раз спросил он.

– Ничего. Учи знай. – Бабка спрятала письмо в карман передника, оделась и вышла из избы.

Шурка подбежал к окну – посмотреть, куда она направилась.

У ворот бабка Маланья повстречала соседку и стала громко рассказывать:

– Зовет Павел-то в Москву погостить. Прямо не знаю, что делать. Прямо ума не приложу. «Приезжай, – говорит, – мама, шибко я по тебе соскучился».

Соседка что-то отвечала. Шурка не слышал, что, а бабка ей громко:

– Оно, знамо дело, можно бы. Внучат ни разу не видела еще, только по карточке. Да шибко уж страшно. Около них остановились еще две бабы, потом еще одна подошла, потом еще… Скоро вокруг бабки Маланьи собралось изрядно народа, и она снова и снова начинала рассказывать:

– Зовет Павел-то к себе, в Москву. Прямо не знаю, что делать…

Видно было, что все ей советуют ехать. Шурка сунул руки в карманы и стал ходить по избе. Выражение его лица было мечтательным и тоже задумчивым, как у бабки. Он вообще очень походил на бабку – такой же сухощавый, скуластенький, с такими же маленькими умными глазами. Но характеры у них были вовсе несхожие. Бабка – энергичная, жилистая, крикливая, очень любознательная. Шурка тоже любознательный, но застенчивый до глупости, скромный и обидчивый.

Вечером составляли телеграмму в Москву. Шурка писал, бабка диктовала.

– Дорогой сынок Паша, если уж ты хочешь, чтобы я приехала, то я, конечно, могу, хотя мне на старости лет…

– Привет! – сказал Шурка. – Кто же так телеграммы пишет?

– А как надо, по-твоему?

– Приедем. Точка. Или так: приедем после Нового рода. Подпись: мама. Все.

Бабка даже обиделась.

– В шестой класс ходишь, Шурка, а понятия никакого. Надо же умнеть помаленьку!

Шурка тоже обиделся.

– Пожалуйста, – сказал он. – Мы так знаешь, на сколько напишем? Рублей на двадцать по старым деньгам.

Бабка сделала губы трубочкой, подумала.

– Ну, пиши так: сынок, я тут посоветовалась кое с кем…

Шурка отложил ручку.

– Я не могу так. Кому это интересно, что ты тут посоветовалась кое с кем? Нас на почте на смех поднимут.

– Пиши, как тебе говорят! – приказала бабка. – Что я, для сына двадцать рублей пожалею?

Шурка взял ручку и, снисходительно сморщившись, склонился к бумаге.

– Дорогой сынок Паша, поговорила я тут с соседями – все советуют ехать. Конечно, мне на старости лет боязно маленько…

– На почте все равно переделают, – вставил Шурка.

– Пусть только попробуют!

– Ты и знать не будешь.

– Пиши дальше: мне, конечно, боязно маленько, но уж… ладно. Приедем после Нового года. Точка. С Шуркой. Он уж теперь большой стал. Ничего, послушный парень.

Шурка пропустил эти слова – насчет того, что он стал большой и послушный.

– Мне с ним не так боязно будет. Пока до свиданья, сынок. Я сама об вас шибко…

Шурка написал: «жутко».

– …соскучилась. Ребятишек твоих хоть посмотрю. Точка. Мама.

– Посчитаем, – злорадно сказал Шурка и стал тыкать пером в слова и считать шепотом: – Раз, два, три, четыре…

Бабка стояла за его спиной, ждала.

– Пятьдесят восемь, пятьдесят девять, шестьдесят! Так? Множим шестьдесят на тридцать – одна тыща восемьсот? Так? Делим на сто – имеем восемнадцать… На двадцать с чем-то рублей! – торжественно объявил Шурка.

Бабка забрала телеграмму и спрятала в карман.

– Сама на почту пойду. Ты тут насчитаешь, грамотей.

– Пожалуйста. То же самое будет. Может, на копейки какие-нибудь ошибся.

…Часов в одиннадцать к ним пришел Егор Лизунов – сосед, школьный завхоз. Бабка просила его домашних, чтобы, когда он вернется с работы, зашел к ней. Егор много ездил на своем веку, летал на самолетах.

Егор снял полушубок, шапку, пригладил заскорузлыми ладонями седеющие потные волосы, сел к столу. В горнице запахло сеном и сбруей.

– Значит, лететь хотите?

Бабка слазила под пол, достала четверть с медовухой.

– Лететь, Егор. Расскажи все по порядку – как и что.

– Так чего тут рассказывать-то? – Егор не жадно, как-то даже немножко снисходительно смотрел, как бабка наливает пиво. – Доедете до города, там сядете на Бийск – Томск, доедете на нем до Новосибирска, а там опросите, где городская воздушная касса. А можно сразу до аэропорта ехать…

– Ты погоди! Заладил: можно, можно. Ты говори, как надо, а не как можно. Да помедленней. А то свалил все в кучу. – Бабка подставила Егору стакан с пивом, строго посмотрела на него.

Егор потрогал стакан пальцами, погладил.

– Ну, доедете, значит, до Новосибирска и сразу спрашивайте, как добраться до аэропорта. Запоминай, Шурка.

– Записывай, Шурка, – велела бабка.

Шурка вырвал из тетрадки чистый лист и стал записывать.

– Доедете до Толмачева, там опять спросите, где продают билеты до Москвы. Возьмете билеты, сядете на Ту-104 и через пять часов в Москве будете, в столице нашей Родины.

Бабка, подперев голову сухим маленьким кулачком, горестно слушала Егора. Чем больше тот говорил и чем проще представлялась ему самому эта поездка, тем озабоченнее становилось ее лицо.

– В Свердловске, правда, сделаете посадку…

– Зачем?

– Надо. Там нас не спрашивают. Сажают, и все. – Егор решил, что теперь можно и выпить. – Ну?.. За легкую дорогу.

– Держи. Нам в Свердловске-то надо самим попроситься, чтоб посадили, или там всех сажают? Егор выпил, смачно крякнул, разгладил усы.

– Всех… Хорошее у тебя пиво, Маланья Васильевна. Как ты его делаешь? Научила бы мою бабу… Вабка налила ему еще один стакан.

– Когда скупиться перестанете, тогда и пиво хорошее будет.

– Как это? – не понял Егор.

– Сахару побольше кладите. А то ведь вы вс» подешевле да посердитей стараетесь. Сахару побольше кладите в хмелину-то, вот и будет пиво. А на табаке его настаивать – это стыдоба.

– Да, – задумчиво сказал Егор. Поднял стакан, поглядел на бабку, на Шурку, выпил. – Да-а, – еще раз сказал он. – Так-то оно так, конечно. Но в Новосибирске когда будете, смотрите не оплошайте.

– А что?

– Да так… Все может быть. – Егор достал кисет, закурил, выпустил из-под усов громадное белое облако дыма. – Главное, конечно, когда приедете в Толмачево, не спутайте кассы. А то во Владивосток тоже можно улететь.

Бабка встревожилась и подставила Егору третий стакан.

Егор сразу его выпил, крякнул и стал развивать свою мысль:

– Бывает так, что подходит человек к восточной кассе и говорит: «Мне билет». А куда билет – это он не спросит. Ну и летит человек совсем в другую сторону. Так что смотрите.

Бабка налила Егору четвертый стакан. Егор совсем размяк. Говорил с удовольствием:

– На самолете лететь – это надо нервы да нервы! Вот он поднимается – тебе сразу конфетку дают…

– Конфетку?

– А как же. Мол, забудься, не обращай внимания… А на самом деле это самый опасный момент. Или тебе, допустим, говорят: «Привяжись ремнями». – «Зачем?» – «Так положено». – «Хэх… положено. Скажи прямо: можем навернуться, и все. А то – положено».

– Господи, господи! – сказала бабка. – Так зачем же и лететь-то на нем, если так…

– Ну, волков бояться – в лес не ходить. – Егор посмотрел на четверть с пивом. – Вообще реактивные, они, конечно, надежнее. Пропеллерный, тот может в любой момент сломаться – и пожалуйста… Потом: горят они часто, эти моторы. Я один раз летел из Владивостока… – Егор поудобнее устроился на стуле, закурил новую, опять посмотрел на четверть; бабка не пошевелилась. – Летим, значит, я смотрю в окно: горит…

– Свят, свят! – сказала бабка.

Шурка даже рот приоткрыл – слушал.

– Да. Ну, я, конечно, закричал. Прибежал летчик… Ну, в общем, ничего – отматерил меня. Чего ты, говорит, панику поднимаешь? Там горит, а ты не волнуйся, сиди…

Такие порядки в этой авиации.

Шурке показалось это неправдоподобным. Он ждал, что летчик, увидев пламя, будет сбивать его скоростью или сделает вынужденную посадку, а вместо этого он отругал Егора. Странно.

– Я одного не понимаю, – продолжал Егор, обращать к Шурке, – почему пассажирам парашютов не дают?

Шурка пожал плечами. Он не знал, что пассажирам не даются парашюты. Это, конечно, странно, если это так.

Егор ткнул папироску в цветочный горшок, привстал, Налил сам из четверти.

– Ну и пиво у тебя, Маланья!

– Ты шибко-то не налегай – захмелеешь.

– Пиво, просто… – Егор покачал головой и выпил. – Кху! Но реактивные, те тоже опасные. Тот, если что сломалось, топором летит вниз. Тут уж сразу… И костей почом не соберут. Триста грамм от человека остается. Вместе с одеждой.

Егор нахмурился и внимательно посмотрел на четверть. Бабка взяла ее и унесла в прихожую комнату. Егор посидел немного и встал. Его слегка качнуло.

– А вообще-то не бойтесь! – громко сказал он. – Садитесь только подальше от кабины – в хвост – и летите. Ну, пойду…

Он грузно прошел к двери, надел полушубок, шапку.

– Поклон Павлу Сергеевичу передавайте. Ну, пиво у тебя, Маланья! Просто…

Бабка была недовольна, что Егор так скоро захмелел – не поговорили толком.

– Слабый ты какой-то стал, Егор.

– Устал, поэтому. – Егор снял с воротника полушубка соломинку. – Говорил нашим деятелям: давайте вывезем летом сено – нет! А сейчас, после этого бурана, дороги все позанесло. Весь день сегодня пластались, насилу к ближним стогам пробились. Да еще пиво у тебя такое… – Егор покачал головой, засмеялся. – Ну, пошел. Ничего, не робейте – летите. Садитесь только подальше от кабины. До свиданья.

– До свиданья, – сказал Шурка.

Егор вышел; слышно было, как он осторожно спустился с высокого крыльца, прошел по двору, скрипнул калиткой и на улице негромко запел:

Раскинулось море широко…
И замолчал.

Бабка задумчиво и горестно смотрела в темное окно. Шурка перечитывал, то, что записал за Егором.

– Страшно, Шурка, – сказала бабка.

– Летают же люди…

– Поедем лучше на поезде?

– На поезде – это как раз все мои каникулы на дорогу уйдут.

– Господи, господи! – вздохнула. бабка. – Давай писать Павлу. А телеграмму анулируем.

Шурка вырвал из тетрадки еще один лист.

– Значит, не полетим?

– Куда же лететь – страсть такая, батюшки мои! Соберут потом триста грамм…

Шурка задумался.

– Пиши: дорогой сынок Паша, посоветовалась я тут со знающими людями…

Шурка склонился к бумаге.

– Порассказали они нам, как летают на этих самолетах… И мы с Шуркой решили так: поедем уж летом на поезде. Оно, знамо, можно бы и теперь, но у Шурки шибко короткие каникулы получается…

Шурка секунду-две помешкал и продолжал писать:

«А теперь, дядя Паша, это я пишу, от себя. Бабоньку напугал дядя Егор Лизунов, завхоз наш, если вы помните. Он, например, привел такой факт: он выглянул в окно и видит, что мотор горит. Если бы это было так, то летчик стал бы сшибать пламя скоростью, как это обычно делается. Я предполагаю, что он увидел пламя из выхлопной трубы и поднял панику. Вы, пожалуйста, напишите бабоньке, что это не страшно, но про меня – что это я вам написал – не пишите. А то и летом она тоже не поедет. Тут огород пойдет, свиннота разная, куры, гуси – она сроду от них не уедет. Мы же все-таки сельские жители еще. А мне ужасно охота Москву поглядеть. Мы ее проходим в школе по географии и по истории, но это, сами понимаете, не то. А еще дядя Егор сказал, например, что пассажирам не даются парашюты. Это уже шантаж. Но бабонька верит. Пожалуйста, дядя Паша, пристыдите ее. Она же вас ужасно любит. Так вот вы ей и скажите: как же это так, мама, сын у вас сам летчик. Герой Советского Союза, много раз награжденный, а вы боитесь летать на каком-то несчастном гражданском самолете! В то время, когда мы уже преодолели звуковой барьер. Напишите так, она вмиг полетит. Она же очень гордится вами. Конечно – заслуженно. Я лично тоже горжусь. Но мне ужасно охота глянуть на Москву. Ну, пока до свиданья. С приветом – Александр».

А бабка между тем диктовала:

– Поближе туда к осени поедем. Там и грибки пойдут, солонинки какой-нибудь можно успеть приготовить, варенья сварить облепишного. В Москве-то ведь все в купли. Да и не сделают они так, как я по-домашнему сделаю. Вот так, сынок. Поклон жене своей и ребятишкам от меня и от Шурки. Все пока. Записал?

– Записал.

Бабка взяла лист, вложила в конверт и сама написала адрес:

«Москва, Ленинский проспект, д. 78, кв. 156.

Герою Советского Союза Любавину Павлу Игнатьевичу.

От матери его из Сибири».

Адрес она всегда подписывала сама: знала, что так дойдет вернее.

– Вот так. Не тоскуй, Шурка. Летом поедем.

– А я и не тоскую. Но ты все-таки помаленьку собирайся: возьмешь да надумаешь лететь.

Бабка посмотрела на внука и ничего не сказала.

Ночью Шурка слышал, как она ворочалась на печи, тихонько вздыхала и шептала что-то.

Шурка тоже не спал. Думал. Много необыкновенного сулила жизнь в ближайшем будущем. О таком даже не мечталось никогда.

– Шурк! – позвала бабка.

– А?

– Павла-то, наверно, в Кремль пускают?

– Наверно. А что?

– Побывать бы хоть разок там… посмотреть.

– Туда сейчас всех пускают.

Бабка некоторое время молчала.

– Так и пустили всех, – недоверчиво сказала она.

– Нам Николай Васильевич рассказывал.

Еще с минуту молчали.

– Но ты тоже, бабонька: где там смелая, а тут испугалась чего-то, – сказал Шурка недовольно. – Чего ты испугалась-то?

– Спи знай, – приказала бабка. – Храбрец. Сам первый в штаны наложишь.

– Спорим, что не испугаюсь?

– Спи знай. А то завтра в школу опять не добудишься.

Шурка затих.

Солнце, старик и девушка
Дни горели белым огнем. Земля была горячая, деревья тоже были горячие.

Сухая трава шуршала под ногами. Только вечерами наступала прохлада. И тогда на берег стремительной реки Катуни выходил древний старик, садился всегда на одно место – у коряги – и смотрел на солнце. Солнце садилось за горы. Вечером оно было огромное, красное. Старик сидел неподвижно. Руки лежали на коленях – коричневые, сухие, в ужасных морщинах. Лицо тоже морщинистое, глаза влажные, тусклые. Шея тонкая, голова маленькая, седая. Под синей ситцевой рубахой торчат острые лопатки.

Однажды старик, когда он сидел так, услышал сзади себя голос:

– Здравствуйте, дедушка!

Старик кивнул головой.

С ним рядом села девушка с плоским чемоданчиком в руках.

– Отдыхаете?

Старик опять кивнул головой. Сказал;

– Отдыхаю.

На девушку не посмотрел.

– Можно, я вас буду писать? – спросила девушка.

– Как это? – не понял старик.

– Рисовать вас.

Старик некоторое время молчал, смотрел на солнце, моргал красноватыми веками без ресниц.

– Я ж некрасивый теперь, – сказал он.

– Почему? – Девушка несколько растерялась. – Нет, вы красивый, дедушка.

– Вдобавок хворый.

Девушка долго смотрела на старика. Потом погладила мягкой ладошкой его сухую, коричневую руку и сказала:

– Вы очень красивый, дедушка. Правда.

Старик слабо усмехнулся:

– Рисуй, раз такое дело.

Девушка раскрыла свой чемодан.

Старик покашлял в ладонь:

– Городская, наверно? – спросил он.

– Городская.

– Платют, видно, за это?

– Когда как, вообще-то, Хорошо сделаю, заплатят.

– Надо стараться.

– Я стараюсь.

Замолчали.

Старик все смотрел на солнце.

Девушка рисовала, всматриваясь в лицо старика сбоку.

– Вы здешний, дедушка?

– Здешный.

– И родились здесь?

– Здесь, здесь.

– Вам сколько сейчас?

– Годков-то? Восемьдесят.

– Ого!

– Много, – согласился старик и опять слабо усмехнулся. – А тебе?

– Двадцать пять.

Опять помолчали.

– Солнце-то какое! – негромко воскликнул старик.

– Какое? – не поняла девушка.

– Большое.

– А-а… Да. Вообще красиво здесь.

– А вода вона, вишь, какая… У того берега-то…

– Да, да.

– Ровно крови подбавили.

– Да. – Девушка посмотрела на тот берег. – Да.

Солнце коснулось вершин Алтая и стало медленно погружаться в далекий синий мир. И чем глубже оно уходило, тем отчетливее рисовались горы. Они как будто придвинулись. А в долине – между рекой и горами тихо угасал красноватый сумрак. И надвигалась от гор задумчивая мягкая тень. Потом солнце совсем скрылось за острым хребтом Бубурхана, и тотчас оттуда вылетел в зеленоватое небо стремительный веер ярко-рыжих лучей. Он держался недолго – тоже тихо угас. А в небе в той стороне пошла полыхать заря.

– Ушло солнышко, – вздохнул старик.

Девушка сложила листы в ящик.

Некоторое время сидели просто так – слушали, как лопочут у берега маленькие торопливые волны.

В долине большими клочьями пополз туман.

В лесочке, неподалеку, робко вскрикнула какая-то ночная птица. Ей громко откликнулись с берега, с той стороны.

– Хорошо, – сказал негромко старик.

А девушка думала о том, как она вернется скоро в далекий милый город, привезет много рисунков. Будет портрет и этого старика. А ее друг, талантливый, настоящий художник, непременно будет сердиться: «Опять морщины!.. А для чего? Всем известно, что в Сибири суровый климат и люди там много работают. А что дальше? Что?..»

Девушка знала, что она не бог весть как даровита. Но ведь думает она о том, какую трудную жизнь прожил этот старик. Вон у него какие руки… Опять морщины! «Надо работать, работать, работать…»

– Вы завтра придете сюда, дедушка? – спросила она старика.

– Приду, – откликнулся тот.

Девушка поднялась и пошла в деревню.

Старик посидел еще немного и тоже пошел.

Он пришел домой, сел в своем уголочке, возле печки, и тихо сидел ждал, когда придет с работы сын и сядут ужинать.

Сын приходил всегда усталый, всем недовольный. Невестка тоже всегда чем-то была недовольна. Внуки выросли и уехали в город. Без них в доме было тоскливо. Садились ужинать.

Старику крошили в молоко хлеб, он хлебал, сидя с краешку стола. Осторожно звякал ложкой о тарелку – старался не шуметь. Молчали.

Потом укладывались спать.

Старик лез на печку, а сын с невесткой уходили в горницу. Молчали. А о чем говорить? Все слова давно сказаны.

На другой вечер старик и девушка опять сидели на берегу, у коряги. Девушка торопливо рисовала, а старик смотрел на солнце и рассказывал:

– Жили мы всегда справно, грех жаловаться. Я плотничал, работы всегда хватало. И сыны у меня все плотники. Побило их на войне много четырех. Два осталось. Ну вот с одним-то я теперь и живу, со Степаном. А Ванька в городе живет, в Бийске. Прорабом на новостройке. Пишет; ничего, справно живут. Приезжали сюда, гостили. Внуков у меня много, Любют меня. По городам все теперь…

Девушка рисовала руки старика, торопилась, нервничала, часто стирала.

– Трудно было жить? – невпопад спрашивала она.

– Чего ж трудно? – удивлялся старик. – Я ж тебе рассказываю: хорошо жили.

– Сыновей жалко?

– А как же? – опять удивлялся старик. – Четырех таких положить шутка нешто?

Девушка не понимала: то ли ей жаль старика, то ли она больше удивлена его странным спокойствием и умиротворенностью.

А солнце опять садилось за горы. Опять тихо горела заря.

– Ненастье завтра будет, – сказал старик.

Девушка посмотрела на ясное небо:

– Почему?

– Ломает меня всего.

– А небо совсем чистое.

Старик промолчал.

– Вы придете завтра, дедушка?

– Не знаю, – не сразу откликнулся старик. – Ломает чего-то всего.

– Дедушка, как у вас называется вот такой камень? – Девушка вынула из кармана жакета белый, с золотистым отливом камешек.

– Какой? – спросил старик, продолжая смотреть на горы.

Девушка протянула ему камень. Старик, не поворачиваясь, подставил ладонь.

– Такой? – спросил он, мельком глянув на камешек, и повертел его в сухих, скрюченных пальцах. – Кремешок это. Это в войну, когда серянок не было, огонь из него добывали.

Девушку поразила странная догадка: ей показалось, что старик слепой. Она не нашлась сразу, о чем говорить, молчала, смотрела сбоку на старика. А он смотрел туда, где село солнце. Спокойно, задумчиво смотрел.

– На… камешек-то, – сказал он и протянул девушке камень. – Они еще не такие бывают. Бывают: весь белый, аж просвечивает, а снутри какие-то пятнушки. А бывают: яичко и яичко – не отличишь. Бывают: на сорочье яичко похож – с крапинками по бокам, а бывают, как у скворцов, – синенькие, тоже с рябинкой с такой.

Девушка все смотрела на старика. Не решалась спросить: правда ли, что он слепой.

– Вы где живете, дедушка?

– А тут не шибко далеко. Это Ивана Колокольникова дом, – старик показал дом на берегу, – дальше – Бедаревы, потом – Волокитины, потом Зиновьевы, а там уж, в переулочке, – наш. Заходи, если чего надо. Внуки-то были, дак у нас шибко весело было.

– Спасибо.

– Я пошел. Ломает меня.

Старик поднялся и пошел тропинкой в гору.

Девушка смотрела вслед ему до тех пор, пока он не свернул в переулок. Ни разу старик не споткнулся, ни разу не замешкался. Шел медленно и смотрел под ноги. «Нет, не слепой, – поняла девушка. – Просто слабое зрение».

На другой день старик не пришел на берег. Девушка сидела одна, думала о старике,

Что-то было в его жизни, такой простой, такой обычной, что-то непростое, что-то большое, значительное. «Солнце – оно тоже просто встает и просто заходит, – думала девушка. – А разве это просто!» И она пристально посмотрела на свои рисунки. Ей было грустно.

Не пришел старик и на третий день и на четвертый.

Девушка пошла искать его дом.

Нашла.

В ограде большого пятистенного дома под железной крышей, в углу, под навесом, рослый мужик лет пятидесяти обстругивал на верстаке сосновую доску.

– Здравствуйте, – сказала девушка.

Мужик выпрямился, посмотрел на девушку, провел большим пальцем по вспотевшему лбу, кивнул:

– Здорово.

– Скажите, пожалуйста, здесь живет дедушка…

Мужик внимательно и как-то странно посмотрел на девушку. Та замолчала.

– Жил, – сказал мужик. – Вот домовину ему делаю.

Девушка приоткрыла рот:

– Он умер, да?

– Помер. – Мужик опять склонился к доске, шаркнул пару раз рубанком, потом посмотрел на девушку. – А тебе чего надо было?

– Так… я рисовала его.

– А-а. – Мужик резко зашаркал рубанком.

– Скажите, он слепой был? – спросила девушка после долгого молчания.

– Слепой.

– И давно?

– Лет десять уж. А что?

– Так…

Девушка пошла из ограды.

На улице прислонилась к плетню и заплакала. Ей было жалко дедушку. И жалко было, что она никак не сумела рассказать о нем. Но она чувствовала сейчас какой-то более глубокий смысл и тайну человеческой жизни и подвига и, сама об этом не догадываясь, становилась намного взрослей.

Далекие зимние вечера
Февраль 1942 года.

Под Москвой идут тяжелые бои.

А на окраине далекой сибирской деревеньки крикливая ребятня с раннего утра режется в бабки. Сумки с книжками валяются в стороне.

Обыгрывает всех знаменитый Мишка Босовило – коренастный малый в огромной шапке. Его биток, как маленький снаряд, вырывает с кона сразу штук по пять бабок. Мишка играет спокойно, уверенно. Прежде чем бить по кону, он снимает с правой руки рукавицу, сморкается по-мужичьи на дорогу, прищуривает левый глаз… прицеливается… Все затаив дыхание горестно следят за ним. Мишка делает шаг…

второй… – р-р-раз! – срезал. У Мишки есть бабушка, а бабушка, говорят, того… поколдовывает. У ребятишек подозрение, что Мишкин биток заколдован.

Ванька Колокольников проигрался к обеду в пух и прах. Под конец, когда у него осталась одна бабка, он хотел словчить: заспорил с Гришкой Коноваловым, что сейчас его, Ванькина очередь бить. Гришка стал доказывать свое.

– А по сопатке хошъ? – спросил Ванька.

– Да ты же за Петькой бьешь-то!

– Нет, ты по сопатке хошь? – Когда Ваньке нечего говорить, он всегда так спрашивает.

Их разняли.

Последнюю бабку Ванька выставил с болью, стиснув зубы. И проиграл. Потом стоял в сторонке злой и мрачный.

– Мишка, хочешь «Барыню» оторву? – предложил он Мишке.

– За сколько? – спросил Мишка.

– За пять штук.

– Даю три.

– Четыре.

– Три.

– Ладно, пупырь, давай три. Скупердяй ты, Мишка!.. Я таких сроду не видывал. Как тебя еще земля держит?

– Ничего, держит, – спокойно сказал Мишка. – Не хочешь – не надо. Сам же напрашиваешься.

Образовали круг. Ванька подбоченился и пошел. В трудные минуты жизни, когда нужно растрогать человеческие сердца или отвести от себя карающую руку, Ванька пляшет «Барыню». И как пляшет! Взрослые говорят про него, что он, чертенок, «от хвоста грудинку отрывает».

Ванька пошел трясогузкой, смешно подкидывая зад. Помахивал над головой воображаемым платочком и бабьим голоском вскрикивал: «Ух! Ух! Ух ты!». Под конец Ванька всегда становился на руки и шел, сколько мог, на руках. Все смеялись.

Прошелся Ванька по кругу раз пять, остановился.

– Давай!

Мишка бросил на снег две бабки.

Ванька опешил:

– Мы же за три договаривались!

– Хватит.

Витька передвинул шапку козырьком на затылок и медленно пошел на Мишку. Тот изготовился. Ванька неожиданно дал ему головой в живот. Мишка упал. Заварилась веселая потасовка. Половина была на Ванькиной стороне, другие – за Мишку. Образовали кучу мялу.

Но тут кто-то крикнул:

– Училка!

Всю кучу ребятишек как ветром сдуло. Похватали сумки – и кто куда! Ванька успел

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru схватить с кона несколько бабок, перемахнул через прясло и вышел на свою улицу. Он был разгорячен дракой. Около дома ему попалась на глаза снежная баба. Ванька дал ей по уху. Высморкался на дорогу, как Мишка Босовило, вошел в избу. Запустил сумку под лавку, туда же — шапку. Полушубок не стал снимать — в избе было холодно.

На печке сидела маленькая девочка с большими синими глазами, играла в куклы. Это сестра Ваньки — Наташка.

— Ваня пришел, — сказала Наташка. — Ты в школе был?

— Был, был, — недовольно ответил Ванька, заглядывая в шкаф.

— Вань, вам про кого с» дня рассказывали?

— Про жаркие страны. — Ванька заглянул в миску на шестке, в печку. — Пошамать нечего?

— Нету, — сказала Наташка и снова стала наряжать куклу — деревянную ложку — в разноцветные лоскуты. Запела тоненьким голоском:

Ох, сронила колечко-о
С правой руки-и!
Забилось сердечко
По милым дружке-е…
Наташка пела песню на манер колыбельной, но мелодии ее — невыносимо тяжкой и заунывной — не искажала. Ванька сидел у стола и смотрел в окно.

Ох, сказали, мил помер —
Во гробе-е лежи-ит,
В глубокой могилке-е
Землею зарыт.
Ванька нахмурился и стал водить грязным пальцем по синим клеточкам клеенки.

Голос Наташи, как чистый ручеек, льется сверху в синюю пустоту избы.

Ох, надену я платье-е,
К милому пойду-у,
А месяц укажет
Дорожку к нему-у…
— Хватит тебе… распелась, — сказал Ванька. — Спой лучше про Хаз-Булата.

Наташа запела:

Хаз-Булат удало-ой…
Но тут же оборвала:

— Не хочу про Хаз-Булата.

— Вредная! Ну, про Катю.

— Катя-Катерина, купеческая дочь?

— Ага.

— Тоже не хочу. Я про милого буду.

Ох, пускай люди судю-ют,
Пускай говоря-ят…
Ванька поднялся, достал из-под лавки сумку, сел на пол, высыпал из сумки бабки и стал их считать. Вид у него вызывающе-спокойный; краем глаза наблюдает за Наташкой.

Наташка от неожиданности сперва онемела, потом захлопала в ладоши:

— Вот они где, бабочки-то! Ты опять в школе не был? Обязательно скажу маме. Ох, попадет тебе, Ванька!

– …Семь, восемь… Говори, я ни капли не боюсь. Девять, десять…

– Вот не выучишься – будешь всю жизнь лоботрясом. Пожалеешь потом. Локоть-то близко будет, да не укусишь.

Ванька делает вид, что его душит смех.

– …Одиннадцать, двенадцать… А лоботрясом, думаешь, хуже?

В сенцах что-то треснуло. Ванька сгреб бабки и замер.

– Ага! – сказала Наташка.

Но это трещит мороз.

Однако бабки все равно нужно припрятать. Ванька ссыпал их в старый валенок и вынес в сенцы.

Потом опять он сидит у стола. Думает, где можно достать три полена дров. Хорошо бы затопить камелек. Мать придет, а в избе такая теплынь, хоть по полу валяйся. Она, конечно, удивится, скажет: «Да где же ты дров-то достал, сынок?» Ванька даже пошевелился – так захотелось достать три полена. Но дров нету, он это знает.

Наташка уже не поет, а баюкает куклу.

Нудно течет пустое тоскливое время.

За окнами стало синеть.

Чтобы отвязаться от назойливой мысли о дровах, Ванька потихоньку встал, подкрался к печке, вскочил и крикнул громко:

– А-а!

– Ой!.. Ну что ты делаешь-то? – Наташка заплакала. – Напужал, прямо сердце упало…

– Нюня! – говорит Ванька. – Ревушка-коровушка! Не принесу тебе елку. А я знаю, где вот такие елочки!

– Не надо мне твою елочку. Мне мама принесет.

– А хочешь, я тебе «Барыню» оторву?

Ванька взялся за бока и пошел по избе, и пошел, высоко подкидывая ноги в огромных валенках. Наташка засмеялась.

– Ну и дурак ты, Ванька! – сказала она, размазывая по лицу слезы. – Все равно скажу маме, как ты меня пужаешь.

Ванька подошел к окну и стал оттаивать кружок на стекле, чтобы смотреть на дорогу.

В избе тихо, сумрачно и пусто. И холодно.

– Вань, расскажи, как вы волка видели? – попросила Наташка.

Ваньке не хочется рассказывать – надоело.

– Как… Видели, и все.

– Ну уж!

Опять молчат.

– Вань, ты бы сейчас аржаных лепешек поел? Горяченьких, – спрашивает Наташка ни с того ни с сего.

– А ты?

– Ох, я бы поела!

Ванька смеется. Наташка тоже смеется.

В это время под окнами заскрипели легкие шаги. Ванька вскочил и сломя голову кинулся встречать мать.

Наташка запуталась в фуфайке, как перепелка в силке, – никак не может слезть с печки.

– Вань, ссади ты меня, а… Ва-ань! – просит она. Ванька пролетел мимо с криком:

– А я первый услыхал!

Мать в ограде снимала с веревки стылое белье. На снегу около нее лежал узелок.

– Мам, чо эт у тебя?

– Неси в избу. Опять раздешкой выскакиваешь!

В избе Наташка колотит ножонкой в набухшую дверь и ревет – не может открыть. Увидев Ваньку с узелком в руках, она перестает плакать и пытается тоже подержаться за узел – помочь брату.

Вместе проходят к столу, быстренько развязывают узел – там немного муки и кусок сырого мяса. Легкое разочарование – ничего нельзя есть немедленно.

Мать со стуком свалила в сенях белье, вошла в избу. Она, наверно, очень устала и намерзлась за день. Но она улыбается. Родной, веселый голос ее сразу наполнил всю избу, пустоты и холода в избе как не бывало.

– Ну, как вычтут?.. Таля? (Она так зовет Наташку.) Ну-ка расскажи, хозяюшка милая.

– Ох, мамочка-мама! – Наташка всплескивает руками. – У Ваньки в сумке бабки были. Он их считал.

Ванька смотрит в большие синие глаза сестры и громко возмущается:

– Ну что ты врешь-то! Мам, пусть она не врет никогда…

Наташка от изумления приоткрыла рот, беспомощно смотрит на мать: такой чудовищной наглости она не в силах еще понять.

– Мамочка, да были же! Он их в сенцы отнес. – Она чуть не плачет. – Ты в сенцы-то кого отнес?

– Не кого, а чего, – огрызается Ванька. – Это же неодушевленный предмет.

Мать делает вид, что сердится на Ваньку.

– Я вот покажу ему бабки. Такие бабки покажу, что он у нас до-олго помнить будет.

Но сейчас матери не до бабок – Ванька это отлично понимает. Сейчас начнется маленький праздник – будут стряпать пельмени.

– У нас дровишек нисколько не осталось? – спрашивает она.

– Нету, – сказал Ванька и предупредительно мотиулся на полати за корытцем. – В мясо картошки будем добавлять?

– Маленько надо.

Наташка ищет на печке скалку.

– Обещал завезти Филипп одну лесинку… Не знаю… может, завезет, – говорит мать, замешивая в кути тесто.

Началась светлая жизнь. У каждого свое дело. Стучат, брякают, переговариваются… Мать рассказывает…

– Едем сейчас с сеном, глядь: а на дороге лежит лиса. Лежит себе калачиком и хоть бы хны – не шевелится, окаянная. Чуток конь не наступил. Уж до того они теперь осмелели, эти лисы.

Наташка приоткрыла рот – слушает. А Ванька спокойно говорит:

– Это потому, что война идет. Они в войну всегда смелые. Некому их стрелять – вот они и валяются на дорогах. Рыжуха, наверно?

…Мясо нарублено. Тесто тоже готово. Садятся втроем стряпать. Наташка раскатывает лепешки, мать и Ванька заворачивают в них мясо.

Наташка старается, прикусив язык; вся выпачкалась в муке. Она даже не догадывается, что вот эти самые лепешечки можно так поджарить на углях, что они будут хрустеть и таять на зубах.

Если бы в камельке горел огонь, Ванька нашел бы случай поджарить парочку.

– Мама, а у ней детки бывают? – спрашивает Наташка.

– У кого, доченька?

– У лисы.

Ванька фыркнул.

– А как же они размножаются, по-твоему? – спрашивает он Наташку.

Наташка не слушает его – обиделась.

– Есть у нее детки, – говорит мать. – Ма-аленькие… лисятки.

– А как же они не замерзнут?

Ванька так и покатился.

– Ой, ну я не могу! – восклицает он. – А шубки-то у них для чего?

– Ты тут не вякай, – говорит Наташка. – Лоботряс!

– Не надо так на брата говорить, доченька. Это нехорошо.

– Не выучится он у нас, – говорит Наташка, глядя на Ваньку строгими глазами. – Потом хватится.

– Завтра зайду к учительше, – сказала мать и тоже строго посмотрела на Ваньку, – узнаю, как он там…

Ванька сосредоточенно смотрит в стол и швыркает носом. Мать посмотрела в темное окно и вздохнула:

– Обманул нас Филиппушка… образина косая! Пойдем в березник, сынок.

Ванька быстренько достает с печки стеганые штаны, рукавицы-лохмашки, фуфайку. Мать тоже одевается потеплее. Уговаривает Наташку:

– Мы сейчас, доченька, мигом сходим. Ладно?

Наташка смотрит на них и молчит. Ей не хочется одной оставаться.

Мать с Ванькой выходят на улицу, под окном нарочно громко разговаривают, чтобы

Наташка их слышала. Мать еще подходит к окну, стучит Наташке:

– Таля, мы сейчас придем. Никого не бойся, милая! Наташка что-то отвечает – не разобрать что.

– Боится, – сказала мать. – Милая ты моя-то… – Отвернулась и вытерла рукавицей глаза.

– Они все такие, – объяснил Ванька.

…Спустились по крутому взвозу к реке. На открытом месте гуляет злой ветер. Ванька пробует увернуться от него: идет боком, идет задом, а лицо все равно жжет как огнем.

– Мам, посмотри! – кричит он. Мать осматривает его лицо, больно трет шершавой рукавицей щеку. Ванька терпит.

В лесу зато тепло и тихо. Удивительно тихо, как в каком-то сонном царстве. Стройные березки молча обступили пришельцев и ждут. Ванька вылетел вперед по глубокому снегу и, облюбовав одну, ударил обухом по ее звонкому крепкому телу. Сверху с шумом тяжко ухнула тучи снега. Ванька хотел отскочить, запнулся и угодил о головой в сугроб, как в мягкую холодную постель.

Мать смеется и говорит:

– Ну вставай!

Пока Ванька отряхивается, мать утаптывает снег вокруг березки. Потом, скинув рукавицы, делает первый удар, второй, третий… Березка тихо вздрагивает и сыплет крохотными сверкающими блестками. Сталь топора хищно всплескивает холодным огнем и раз за разом все глубже вгрызается в белый упругий ствол.

Ванька тоже пробует рубить, когда мать отдыхает. Но после десяти-двенадцати ударов горячий туман застилает ему глаза. Гладкое топорище рвется из рук.

Снова рубит мать.

Березка охнула и повалилась набок.

Срубили еще одну – поменьше – Ваньке и, взвалив их на плечи, вышли на дорогу. Идти поначалу легко. Даже весело. Тонкий конец березки едет по дороге, и березка глуховато поет около уха. Прямо перед Ванькой на дороге виляет хвост березки, которую несет мать. Ванькой овладевает желание наступить на него. Он подбегает и прижимает его ногой.

– Ваня, не балуй! – строго говорит мать. Идут.

Березка гудит и гнется в такт шагам, сильно нажимая на плечо. Ванька останавливается, перекладывает ее на другое плечо. Скоро онемело и это. Ванька то и дело останавливается и перекладывает комель березы с плеча на плечо. Стало жарко. Жаром пышет в лицо дорога.

– …Семисит семь, семисит восемь, семисит девять… – шепчет Ванька. Идут.

– Притомился? – спрашивает мать.

– Еще малость… Девяносто семь, девяносто восемь… – Ванька прикусил губу и отчаянно швыркает носом. – Девяносто девять, сто! – Ванька сбросил с плеча березку и с удовольствием вытянулся прямо на дороге.

Мать поднимает его. Сидят на березке рядом. Ваньке очень хочется лечь. Он предлагает:

– Давай сдвинем обои березки вместе, и я на них лягу, если уж так ты боишься, что я захвораю. Мать тормошит его, прижимает к теплой груди.

– Мужичок ты мой маленький, мужичок… Потерпи маленько. Большую мы тебе срубили.

Надо было поменьше.

Ванька Молчит. И молчит Ванькина гордость. Мать думает вслух:

— Как теперь наша Талюшка там?.. Плачет, наверно?

— Конечно, плачет, — говорит Ванька. Он эту Талюшку изучил как свои пять пальцев. Еще некоторое время сидят.

— Отцу нашему тоже трудно там, — задумчиво говорит мать. — Небось в снегу сидят, сердешные… Хоть бы уж зимой-то не воевали.

— Теперь уж не остановятся, пока фрицев не разобьют.

Еще с минуту сидят.

— Отдохнул?

— Отдохнул.

— Пошли с богом.

Было уже совсем темно, когда пришли домой.

Наташка не плакала. Она наложила в блюдце сырых пельменей, сняла с печки две куклы и усадила их перед блюдцем. Одну куклу посадила несколько дальше, а второй, та, что ближе, говорила ласково:

— Ешь, доченька моя милая, ешь! А этому лоботрясу мы не дадим сегодня.

…Ванька с матерью быстро распилили березки; Ванька впотьмах доколол чурбаки, а мать в это время затопила камелек.

Потом Ванька с Наташкой сидят перед камельком. Огонь весело гудит в печке; пятна света, точно маленькие желтые котята, играют на полу. Ванька блаженно молчит. Наташка пристроилась у него на коленях и тоже молчит. По избе голубыми волнами разливается ласковое тепло. Наташку клонит ко сну. Ваньку тоже. А в чугунке еще только-только начинает «ходить» вода. Мать кроит на столе материю, время от времени окликает ребятишек и рассказывает:

— Вот придет Новый год, срубим мы себе елочку, хоро-ошенькую елочку… Таля, слышишь? Не спите, милые мои. Вот срубим мы эту елочку, разукрасим ее всякими шишками да игрушками, всякими зайчиками — до того она у нас будет красивая…

Ванька хочет слушать, но кто-то осторожно берет его за плечи и валит на пол. Ванька сопротивляется, но слабо. Голос матери доносится откуда-то издалека. Кажется Ваньке, что они опять в лесу, что лежит Ванька в снегу… Мать ищет его по лесу, зовет. А Ванька лежит в снегу и помалкивает. Странно, что в снегу тепло.

…Разбудить их, наверно, было нелегко. Когда Ванька всплыл из тягучего сладкого сна на поверхность, мать говорила:

— …Это что же за сон такой, обломон… сморил моих человечков. Ух, он сон какой!..

Ванька, покачиваясь, идет к столу.

В тарелке на столе дымят пельмени, но теперь это уже не волнует. Есть не хочется. Наташка, та вообще не хочет просыпаться. Хитрая, как та лиса. Мать полусонную усаживает ее за стол. Она чихает и норовит устроиться спать за столом. Мать смеется. Ванька тоже улыбается. Едят.

Через несколько минут Ванька объявляет, что наелся до отказа. Но мать заставляет есть еще.

— Ты же себя обманываешь — не кого-нибудь, — говорит она.

…После ужина Ванька стоит перед матерью и спит, свесив голову. Материны теплые руки поворачивают Ваньку: полоска клеенчатого сантиметра обвивает Ванькину

грудь, шею – ему шьется новая рубаха. Сантиметр холодный – Ванька ежится.

Потом Ванька лезет на полати и, едва коснувшись подушки, засыпает. Наташка тоже спит. В одной руке у нее зажат пельмень.

В самый последний момент Ванька слышит стрекот швейной машинки – завтра он пойдет в школу в новой рубахе.

Демагоги

Солнце клонилось к закату. На воду набегал ветерок, пригибал на берегу высокую траву, шебаршил в кустарнике. Камнем, грудью вперед, падали на воду чайки, потом взмывали вверх и тоскливо кричали.

Внизу, под обрывистым берегом, плескалась в вымоинах вода. Плескалась с таким звуком, точно кто ладошками пришлепывал по голому телу.

Вдоль берега шли двое: старик и малый лет десяти – Петька. Петька до того белобрыс, что кажется: подуй ветер сильнее, и волосы его облетят, как одуванчик.

Старик нес на плече свернутый сухой невод.

Петька шел впереди, засунув руки в карманы штанов, посматривал на небо. Время от времени сплевывал через зубы.

Разговаривали.

– … Я ему на это отвечаю, слышь: «Милый, говорю, человек! Ты мне в сыны три раза годишься, а ты со мной так разговариваешь». – Старик подкинул на плече невод. Он страдал глухотой, поэтому говорил громко, почти кричал. – «Ты, конечно, начальство!.. Но для меня ты – ноль без палочки. Я охраняю государственное учреждение, и ты на меня не ори, пожалуйста!»

– А он что? – спросил Петька.

– А?

– А он что на это?

– Он? «А я, – говорит, – на тебя вовсе не ору». Тогда я ему на это: «Как же ты на меня не орешь, ежели я все слышу! Когда на меня не орут, я не слышу».

– Ха-ха-ха! – закатился Петька.

Старик прибавил шагу, догнал Петьку и спросил, тоже улыбаясь:

– Чего ты?

– Хитрый ты, деда!

– Я-то? Меня если кто обманет, тот дня не проживет. Я сам кого хошь обману. И я тебе так скажу…

Под обрывом, в затоне, сплавилась большая рыбина; по воде пошли круга.

Петька замер.

– Видал?

Старик тоже остановился.

– Здесь рыбешка имеется, – негромко сказал он. – Только коряг много.

Петька как зачарованный смотрел на воду

– Вот такая, однако! – Он показал руками около метра.

– Талмешка… Тут переметом. Или лучить. Неводом тут нельзя – порвешь только. – Старик тоже смотрел на воду. Он был длинный, сухой, с благообразным, очень

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru опрятным свежим лицом. Глаза молодые и умные.

Еще сплавилась одна рыбина, опять по воде пошли круги.

— Ох ты! — тихонько воскликнул Петька и глотнул слюну. — Может, попробуем?

— А? Нет, порвем невод, и все. Я тебе точно говорю. Я эти места знаю. Здесь одна девка утонула. Раньше еще, когда я молодой был.

Петька посмотрел на старика.

— Как утонула?

— Как… Нырнула и запуталась волосами в коряге. У нее косы сильно большие были.

Помолчали.

— Деда, а почему так бывает: когда человек утонет, он лежит на дне, а когда пройдет время, он выплывает наверх. Почему это?

— Его раздувает, — пояснил дед.

— Ее нашли потом?

— Кого?

— Девку ту.

— Конечно. Сразу нашли… Вся деревня, помню, смотреть сбежалась. — Дед помолчал и добавил задумчиво: — Она красивая была… Марья Малюгина.

Петька глядел на воду, в которой притаилась страшная коряга.

— Она здесь лежала? — Петька показал глазами на берег.

— Где-то здесь. Я уже забыл теперь. Давно это было.

Петька еще некоторое время смотрел на воду.

— Жалко девку, — вздохнул он. — Ныряет в воду, и косы зачем-то распускать. Вот дуреха!

— А?

— Я про Марью.

— Хорошая девка была. Шибко уж красивая.

Шумела река, шелестел в чаще ветер. Вода у берегов порозовела — солнце садилось за далекие горы. Посвежело. Ветер стал дергать по воде сильнее. Река наершилась рябью.

— Пошли, Петра. Ветер подымается. К ночи большой будет: с севера повернул.

Петька, не вынимая рук из карманов, двинулся дальше.

— Северный ветер холодный. Правильно?

— Верно.

— Потому что там Северный Ледовитый океан.

Дед промолчал на это замечание внука.

— Деда, а знаешь, почему наша речка летом разливается? Другие весной — нормально, а наша в середине лета. Знаешь?

— Почему?

– Потому что она берет начало в горах. А снег, сам понимаешь, в горах только летом тает.

– Это вам учительша все рассказывает?

– Ага.

– Она верно понимает. Какие теперь люди пошли! Ей небось и тридцати нету?

– Это я не знаю.

– А?

– Не знаю, говорю!

– Ей, наверно, двадцать так. А она уж столько понимает. Почти с мое.

– Она умная. – Петька поднял камень и кинул в воду. – А я на руках ходить умею! Ты не видел еще?

– Ну-ка…

Петька разбежался, стал на руки и… брякнулся на задницу.

– Погоди! Еще раз!!!

Дед засмеялся.

– Ловко ты!

– Да ты погоди! Глянь!.. – Петька еще раз разбежался и снова упал.

– Ну будет, будет! – сказал дед. – Я верю, что ты умеешь.

– Надо малость потренироваться. Я же вчера только научился. – Петька отряхнул штаны. – Ну ладно, завтра покажу.

… Подошли к месту, где река делает крутой поворот. Вода здесь несется с бешеной скоростью, кипит в камнях, пенится.

Здесь водятся хариусы.

Разделись. Дед развернул невод и первым полез в воду. Вода была студеная. Дед посинел и покрылся гусиной кожей.

– Ух-ха! – воскликнул он и сел с маху в воду, чтобы сразу притерпеться к холоду.

Петька засмеялся.

– Дерет?

Дед фыркал, крутил головой, одной рукой выжимал бороду, а другой удерживал невод.

– Пошли!

Поставили палки вертикально и побежали, обгоняя течение. Невод выгнулся дугой впереди них и тянул за собой. Петька скользил по камням. Один раз ухнул в ямку, выскочил, закрутил головой и воскликнул, как дед:

– Ух-ха!

– Подбавь! – кричал дед.

Вода доставала ему до бороды; он подпрыгивал и плевался. Вдруг невод сильно повлекло течением от берега вглубь. Петька прикусил губу, изо всех сил удерживая его.

– Держи, Петра! – кричал дед. Вода заливала ему рот.

Петька напрягал последние силы.

Голова деда исчезла. Невод сильно рвануло. Петька упал, но палку из рук не выпустил. Его нанесло на большой камень, крепко ударило. Петька хотел ухватиться одной рукой за этот камень, но рука соскользнула с его ослизлого бока. Петьку понесло дальше.

Он вытянул вперед ноги и тотчас ударился еще об один камень. На этот раз ему удалось упереться ногами в камень и сдержать невод.

Огляделся – деда не было видно. Только на короткое мгновение голова его показалась над водой. Он успел крикнуть:

– Ноги! Дер… – И опять исчез под водой.

Невод сильно дергало. Петька понял: ноги деда запутались в неводе. Петька согнулся пополам, закусил до крови губу и медленно стал выходить на берег. Упругие волны били в грудь, руки онемели от напряжения. Петька сморщился от боли и страха, но продолжал медленно, шаг за шагом, то и дело срываясь с камней, идти к берегу и тащить невод, на другом конце которого барахтался спутанный по ногам дед.

… Дед был уже без сознания, когда Петька выволок его на берег.

– Деда! А деда!.. – звал Петька и плакал. Потом принялся делать ему искусственное дыхание.

Деда стало рвать водой. Он корчился и слабо стонал.

– Ты живой, деда? – обрадовался Петька.

– А?

Петька погладил деда по лицу.

– Нагружался я до смерти, деда.

Дед закрутил головой.

– Звон стоит в голове. Чего ты сказал?

– Ничего.

– Ох-хох, Петра… Я уж думал, каюк мне.

– Напужался?

– А?

– Здорово трухнул?

– Хрен там! Я и напужаться-то не успел.

Петька засмеялся.

– А я-то гляжу, была голова – и нету.

– Нету… Бодался бы я там сейчас с налимами. Ну, история. Понос теперь прохватит, это уж точно.

– И напужался ж я, деда! А главное, позвать некого.

– А?

– Ничего. – Петька смотрел на деда и не мог сдержать смех – до того был смешным

и растерянным дед.

Дед тоже засмеялся и зябко поежился.

– Замерз? Сейчас костерчик разведем!

Петька принес одежду. Оделись. Затем набрал сухого валежника, поджег. И сразу ночь окружила их со всех сторон высокими черными стенами.

Громко трещал сухой тальник, далеко отскакивали красные угольки. Ветер раздувал пламя костра, и огненные космы его трепались во все стороны.

Сидели, скрестив по-татарски ноги, и глядели на огонь.

– … А как, значит, повез нас отец сюда, – рассказывал дед, – так я – слышь? – залез на крышу своей избы и горько плакал. Я тогда с тебя был, а может, меньше. Шибко уж неохота было из дома уезжать. Там у нас тоже речка была, она мне потом все снилась.

– Как называется?

– Ока.

– А потом?

– А потом – ничего. Привык. Тут, конечно, лучше. Тут же земли-то какие. Не сравнить с той. Тут земля жирная.

Петька засмеялся.

– Разве земля бывает жирная?

– А как же?

– Земля бывает черноземная и глинистая, – снисходительно пояснил Петька.

– Так это я знаю! Черноземная… Чернозем черноземом, а жирная тоже бывает.

– Что она, с маслом, что ли?

– Пошел ты! – обиделся дед. – Я ее всю жизнь вот этими руками пахал, а он мне будет доказывать. Иная земля, если ты хочешь знать, такая, что весной ты посеял в нее, а осенью получаешь натуральный шиш. А из другой, матушки, стебель в оглоблю прет, потому что она жирная.

– Ты «полоску» не знаешь?

– Какую полоску?

Петька начал читать стихотворение:

Поздняя осень. Грачи улетели.
Лес обнажился, поля опустели.
Только не сжата полоска одна, –
Грустную думу…
– Забыл, как дальше.

– Песня? – спросил дед.

– Стихотворение.

– А?

– Не песня, а стихотворение.

– Это все одно: складно, значит, петь можно.

– Здрас-сте! – воскликнул Петька. – Стихотворение – это особо, а песня – тоже

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru особо.

– Ох! Ох! Поехал! – Дед подбросил хворосту в костер. – С тобой ведь говорить-то – надо сперва полбарана умять.

Некоторое время молчали.

– Деда, а как это песни сочиняют? – спросил Петька.

– Песни складывают, а не сочиняют, – пояснил дед. – Это когда у человека большое горе, он складывает песню, чтобы малость полегче стало. «Эх ты, доля, эх ты, доля», например.

– А «Эй, вратарь, готовься к бою»?

– Подожди… я сейчас… – Дед поднялся и побежал в кусты. – Какой вратарь? – спросил он.

– Ну, песня такая.

– А кто такой вратарь?

– Ну, на воротах стоит!..

– Не знаю. Это, наверно, шутейная песня. Таких тоже много. Я не люблю такие. Я люблю серьезные.

– Спой какую-нибудь!

Дед вернулся к костру.

– Чего ты говоришь?

– Спой песню!

– Песню? Можно. Старинную только. Я нонешних не знаю.

Но тут из темноты к костру вышла женщина, мать Петьки.

– Ну что мне прикажете с вами делать?! – воскликнула она. – Я там с ума схожу, а они костры разводят. Марш домой! Сколько раз, папаша, я просила не задерживаться на реке до ночи. Боюсь я, ну как вы не понимаете?

Дед с Петькой молча поднялись и стали сворачивать невод. Мать стояла у костра и наблюдала за ними.

– А где же рыба-то? – спросила она.

– Чего? – не расслышал дед.

– Спрашивает: где рыба? – громко сказал Петька.

– Рыба-то? – Дед посмотрел на Петьку. – Рыба в воде. Где же ей еще быть.

Мать засмеялась.

– Эх вы, демагоги, – сказала она. – Задержитесь у меня еще раз до ночи… Пожалуюсь отцу, так и знайте. Он с вами иначе поговорит.

Дед ничего не сказал на это. Взвалил на плечо тяжелый невод и пошагал по тропинке первым, мать – за ним. Петька затоптал костер и догнал их.

Шли молча.

Шумела река. В тополях гудел ветер.

Воскресная тоска
Моя кровать – в углу, его – напротив. Между нами – стол, на столе – рукопись,

толстая и глупая. Моя рукопись. Роман. Только что перечитал последнюю главу и стало грустно: такая тягомотина, что уши вянут.

Теперь лежу и думаю: на каком основании вообще человек садится писать? Я, например. Меня же никто не просит.

Протягиваю руку к столу, вынимаю из пачки «беломорину», прикуриваю. Кто-то хорошо придумал — курить.

… Да, так на каком основании человек бросает все другие дела и садится писать? Почему хочется писать? Почему так сильно — до боли и беспокойства — хочется писать? Вспомнился мой друг Ванька Ермолаев, слесарь. Дожил человек до тридцати лет — не писал. Потом влюбился (судя по всему, крепко) и стал писать стихи.

— Кинь спички, — попросил Серега.

Я положил коробок спичек на стол, на краешек. Серега недовольно крякнул и, не вставая, потянулся за коробком.

— Муки слова, что ли? — спросил он.

Я молчу, продолжаю думать. Итак: хочется писать. А что я такое знаю, чего не знают другие, и что дает мне право рассказывать? Я знаю, как бывает в степи ранним летним утром: зеленый тихий рассвет. В низинах легкий, как дыхание, туман. Тихо. Можно лечь лицом в пахучую влажную траву, обнять землю и слушать, как в ее груди глубоко шевелится огромное сердце. Многое понимаешь в такие минуты, и очень хочется жить. Я это знаю.

— Опять пепел на пол стряхиваешь! — строго заметил Серега.

Я свесился с кровати и сдул пепел под кровать. Серега сел на своего коня. Иногда мне кажется, что я его ненавижу. Во-первых, он очень длинный. Я этого не понимаю в людях. Во-вторых, он правдивый до тошноты и любит хлопать своими длинными ручищами меня по спине. В-третьих — это главное, — он упрям, как напильник. Он полагает, что он очень практичный человек и называет себя не иначе — реалистом.

«Мы, реалисты…» — начинает он всегда и смотрит при этом сверху снисходительно и глупо, и массивная нижняя челюсть его подается вперед. В такие минуты я знаю, что ненавижу его.

— Отчего такая тоска бывает, романтик? Не знаешь? — спрашивает Серега безразличным тоном (не очень надеется, что я заговорю с ним). Сейчас он сядет на кровати, переломится пополам и будет тупо смотреть в пол. Надо поговорить с ним.

— Тоска? От глупости в основном. От недоразвитости. — Очень хочется как-нибудь уязвить этот телеграфный столб. Нисколько он не практичный, и не холодный, и не трезвый. И тоски у него нету. Я все про него знаю.

— Неправда, — сказал Серега, садясь на койке и складываясь пополам. — Я заметил, глупые люди никогда не тоскуют.

— А тебе что, очень тоскливо?

— То есть… на белый свет смотреть тошно.

— Значит, ты — умница.

Пауза.

— Двадцать копеек с меня, — говорит Серега и смотрит на меня серыми правдивыми глазами, в которых ну ни намека на какую-то холодную, расчетливую мудрость. Глаза умные, в них постоянно светится мягкий ровный свет. Может, и правда, что ему сейчас тоскливо, но зато уж и лелеет он ее, и киснет как-то подчеркнуто. Смотреть на него сейчас неприятно. Он, наверное, напрашивается на спор, и, если в спор этот ввязаться, он будет до посинения доказывать, что искусство, стихи, особенно балет — все это никому не нужно. Кино — ничего, кино можно оставить, а всю остальную «бодягу» надо запретить, ибо это сбивает людей с толку, «расхолаживает» их. Коммунизм строят! Рассчитывают вот этим местом (постукивание

пальцем по лбу) и строят! Мне не хочется сейчас говорить Сереге, что он придумал свою тоску, не хочется спорить с ним. Хочется думать про степь и про свой роман.

– Ох и тоска же! – опять заныл Серега.

– Перестань, слушай.

– Что?

– Ничего. Противно.

– В твоем романе люди не тоскуют? Нет?

«Не буду спорить. Господи, дай терпения».

– У тебя, наверно, положительные герои стихами говорят. А по утрам все делают физзарядку. Делают зарядку?

«Не буду ругаться. Не буду».

– Песни, наверно, поют о спутниках, – продолжает Серега, глядя на меня злыми веселыми глазами. – Я бы за эти песенки, между прочим, четвертовал. Моду взяли! «Назначаю я свидание на Луне-е!..» – передразнил он кого-то. – Уже свиданье назначил! О! Да ты попади туда! Кто-то голову ломает – рассчитывает, а он уже там. Кретины!

Я молчу. Между прочим, насчет песенок – это он верно, пожалуй.

Серега тоже замолчал. Малость, наверно, легче стало. Некоторое время у нас в комнате очень тихо. Я снова настраиваюсь на степь и на зори.

– Дай роман-то свой почитать, – говорит Серега.

– Пошел ты…

– Боишься критики?

– Только не твоей.

– Я ж читатель.

– Ты читатель?! Ты робот, а не читатель. Ты хоть одну художественную книгу дочитал до конца?

– Это ты зря, – обиделся Серега. – Надо писать умнее, тогда и читать будут. А то у вас положительные герои такие уж хорошие, что спиться можно.

– Почему?

– Потому что никогда таким хорошим не будешь все равно. – Серега поднялся и пошел к выходу. – Пройтись, что ль, малость.

Когда он вышел, я поднялся с койки и подсел к рукописи. Один положительный герой делал-таки у меня по утрам зарядку. Перечитал это место, и опять стало грустно. Плохо я пишу.

Не только с физзарядкой плохо – все плохо. Какие-то бесконечные «шалые ветерки», какие-то жестяные слова про закат, про шелест листьев, про медовый запах с полей… А вчера только пришло на ум красивейшее сравнение, и я его даже записал: «Писать надо так, чтобы слова рвались, как патроны в костре». Какие уж тут к черту патроны! Пуговицы какие-то, а не слова.

В комнату постучали.

– Да!

В дверь заглянула маленькая опрятная головка. Пара ясных глаз с припухшими со сна веками (еще только десять часов воскресного дня).

– Сережи… Здравствуйте! Сережи нету?

– Сережи нету. Он только что вышел куда-то.

– Извините, пожалуйста.

– Он придет скоро.

– Хорошо.

Сейчас у Сережи начнется праздник. Тоску его липовую как ветром сдует. Он любит эту маленькую опрятную головку, любит тихо, упорно и преданно. И не говорит ей об этом. А она какая-то странная: не понимает этого. Сидят часами вместе, делают расчет какого-нибудь узла двигателя внутреннего сгорания. Сережу седьмой пот прошибает – волнуется, оглобля такая. Не смотрит на девушку – ее зовут Лена, – орет, стучит огромным кулаком по конспекту.

– Какой здесь кпд?!

Леночка испуганно вздрагивает.

– Не кричи, Сережа.

– Как же не кричать?! Как же не кричать, когда тут элементарных вещей не понимают!

– Сережа, не кричи.

Серега будет талантливый инженер. В минуты отчаяния я завидую ему. К сорока годам это будет сильный, толковый командир производства. У него будет хорошая жена, вот эта самая Леночка с опрятной головкой. Я подозреваю, что она давно все понимает и сама тоже любит Серегу. Ей, такой хорошенькой, такой милой и слабенькой, нельзя не любить Серегу. У них будет все в порядке. У меня же… Меня, кажется, эти «шалые низовые ветерки» в гроб загонят раньше времени. Я обязательно проморгаю что-то хорошее в жизни.

Вошел Серега.

– Прошелся малость.

– К тебе эта приходила. Просила, чтоб ты зашел к ней.

– Кто?

– Лена. Кто!

Серега побагровел от шеи до лба.

– Зачем зайти?

– Не знаю.

– Ладно трепаться. – Он спокойно (спокойно!) прошел к койке, прилег.

Я тоже спокойно говорю:

– Как хочешь. – И склоняюсь к тетради. Меня душит злость. Все-таки нельзя быть таким безнадежным идиотом. Это уже не застенчивость, а болезнь.

– Дай закурить, – чуть охрипшим голосом просит Серега.

– Идиот!

Стало тихо.

– Вот так же тихо, наверно, стало, когда Иисус сказал своим ученикам: «Братцы, кто-то один из вас меня предал». – Когда Сереге нечего говорить, он шутит. Как

правило, невпопад и некстати. — Дай закурить все-таки.

— Дождешься ты, Серега: подвернется какой-нибудь вьюн с гитарой — только и видел свою Леночку. Взвоешь потом.

Серега сел, обхватил себя руками. Долго молчал, глядя в пол.

— Ты советуешь сходить к ней? — тихо спросил он.

— Конечно, Серега! — Я прямо тронут его беспомощностью. — Конечно, сходить. На закури и иди.

Серега встал, закурил и стал ходить по комнате.

— Со стороны всегда легко советовать…

— Баба! Трус! Ты же пропадешь так, Серега.

— Ничего.

— Иди к ней.

— Сейчас пойду, чего ты привязался! Покурю — и пойду.

— Иди прямо с папироской. Женщинам нравится, когда при них курят. Я же знаю… Я писатель как-никак.

— Не говори со мной, как с дураком. Пусть в твоих романах курят при женщинах. Остряк!

— Иди к ней, дура! Ведь упустишь девку. Сегодня воскресенье… Ничего тут такого нет, если ты зашел к девушке. Зашел и зашел, и все.

— Значит, она не просила, чтобы я зашел?

— Просила.

Серега посмотрел на меня подозрительным тоскливым взглядом.

— Я узнаю зайду.

— Узнай.

Серега вышел.

Я стал смотреть в окно. Хороший парень Серега. И она тоже хорошая. Она, конечно, не талантливый инженер, но… в конце концов надо же кому-то и помогать талантливым инженерам. Оказалась бы она талантливой женщиной, развязала бы ему язык… Я представляю, как войдет сейчас к ним в комнату Серега. Поздоровается… и ляпнет что-нибудь вроде той шутки с Иисусом. Потом они выйдут на улицу и пойдут в сад. Если бы я описывал эту сцену, я бы, конечно, влепил сюда и «шалый ветерок», и шелест листьев. Ничего же этого нет! Есть, конечно, но не в этом дело. Просто идут по аллейке двое: парень и девушка. Парень на редкость длинный и нескладный. Он молчит. Она тоже молчит, потому что он молчит. А он все молчит. Молчит, как проклятый. Молчит, потому что у него отняли его логарифмы, кпд… Молчит, и все.

Потом девушка говорит:

— Пойдем на речку, Сережа.

— М-м. — Значит, да.

Пришли к речке, остановились. И опять молчат. Речечка течет себе по песочечку, пташки разные чирикают… Теплынь. В рощице у воды настоялся крепкий тополиный дух. И стоят два счастливейших на земле человека и томятся. Ждут чего-то.

Потом девушка заглянула парню в глаза, в самое сердце, обняла за шею… прильнула…

– Дай же я поцелую тебя! Терпения никакого нет, жердь ты моя бессловесная.

Меня эта картина начинает волновать. Я хожу по комнате, засунув руки в карманы, радуюсь. Я вижу, как Серега от счастья ошалело вытаращил глаза, неумело, неловко прижал к себе худенького, теплого родного человека с опрятной головкой и держит – не верит, что это правда. Радостно за него, за дурака. Эх… пусть простит меня мой любимый роман с «шалыми ветерками», пусть он простит меня! Напишу рассказ про Серегу и про Лену, про двух хороших людей, про их любовь хорошую.

Меня охватывает тупое странное ликование (как мне знакомо это предательское ликование). Я пишу. Время летит незаметно. Пишу! Может, завтра буду горько плакать над этими строками, обнаружив их постыдную беспомощность, но сегодня я счастлив не меньше Сереги.

Когда он приходит вечером, я уже дописываю последнюю страницу рассказа, где «он», счастливый и усталый, возвращается домой.

– Сережа, я про тебя рассказ написал. Хочешь почитаю?

– Хм… Давай!

Мне некогда разглядывать Серегу, я не обращаю внимания на его настроение. Я ставлю точку в своем рассказе и начинаю читать.

Пока я читал, Серега не проронил ни одного слова – сидел на кровати, опустив голову. Смотрел в пол.

Я дочитал рассказ, отложил тетрадь и стал закуривать. Пальцы мои легонько тряслись. Я ждал, что скажет Серега. Я не смотрел на него. Я внимательно смотрел на коробок спичек. Мне рассказ нравился. Я ждал, что скажет Серега. Я ему верю. А он все молчал. Я посмотрел на него и встретился с его веселым задумчивым взглядом.

– Ничего, – сказал он.

У меня отлегло от сердца. Я затараторил:

– Многое не угадал? Вы где были? На речке?

– Мы нигде не были.

– Как?

– Так.

– Ты был у нее?

– Нет.

– О-о! А где ты был?

– А в планетарий прошелся… – Серега, чтобы не видеть моего глупого лица, прилег на подушку, закинул руки за голову. – Ничего рассказ, – еще раз сказал он. – Только не вздумай ей прочитать его.

– Сережа, ты почто не пошел к ней?

– Ну почто, почто!.. Пото… Дай закурить.

– На! Осел ты, Серега!

Серега закурил, достал из-под подушки журнал «Наука и жизнь» и углубился в чтение – он читает эти журналы, как хороший детективный роман, как «Шерлока Холмса».

Змеиный яд
Максиму Волокитину пришло в общежитие письмо. От матери. «Сынок, хвораю.

Разломило всю спинушку и ногу к затылку подводит – радикулит, гад такой. Посоветовали мне тут змеиным ядом, а у нас нету. Походи, сынок, по аптекам, поспрошай, может, у вас есть. Криком кричу – больно. Походи, сынок, не поленись…»

Максим склонился головой на руки, задумался. Заболело сердце – жалко стало мать. Он подумал, что зря он так редко писал матери, вообще почувствовал свою вину перед ней. Все реже и реже думалось о матери последнее время, она перестала сниться ночами… И вот оттуда, где была мать, замаячила черная беда.

«Дождался».

Было воскресенье. Максим надел выходной костюм и пошел в ближайшую аптеку.

«Наверно, как-нибудь называется этот яд, узнать бы, чтоб посолидней спрашивать».

Но узнать не у кого, и он пошел так.

В аптеке было мало народа. Максим заметил за прилавком хорошенькую девушку, подошел к ней.

– У вас змеиный яд есть?

Девушка считала какие-то порошки. Приостановилась на секунду, еще раз шепотом повторила последнее число, чтоб не сбиться, мельком глянула на Максима, сказала «нет» и снова принялась считать. Максим постоял немного, хотел спросить, как называется змеиный яд по-научному, но не спросил – девушка была очень занята.

В следующей аптеке произошел такой разговор:

– У вас змеиный яд есть?

– Нет.

– А бывает?

– Бывает, но редко.

– А может, вы знаете, где его можно достать?

– Нет, не знаю, где его можно достать.

Отвечала сухопарая женщина лет сорока, с острым носом, с низеньким лбом. Кожа на лбу была до того тонкая и белая, что, кажется, сквозь нее просвечивала кость. Максиму подумалось, что женщине доставляет удовольствие отвечать «нет», «не знаю». Он уставился на нее.

– Что? – спросила она.

– А где же он бывает-то? Неужели в целом городе нет?!

– Не знаю, – опять с каким-то странным удовольствием сказала женщина.

Максим не двигался с места.

– Еще что? – спросила женщина. Они были в стороне от других, разговора их никто не слышал.

– А отчего вы такая худая? – спросил Максим. Он сам не знал, что так спросит, и не знал, зачем спросил, – вылетело. Очень уж недобрая была женщина.

Женщина от неожиданности заморгала глазами.

Максим повернулся и пошел из аптеки.

«Что же делать?» – думал он.

Аптека следовала за аптекой, разные люди отвечали одинаково: «нет», «нету».

В одной аптеке Максим увидел за стеклянным прилавком парня.

– Нет, – сказал парень.

– Слушай, а как он называется по-научному? – спросил Максим. Парень решил почему-то, что и ему пришла пора показать себя «шибко ученым» – застоялся, наверно, на одном месте.

– По-научному-то? – спросил он, улыбаясь. – А как в рецепте написано? Как написано, так и называется.

– У меня нет рецепта.

– А что ж вы тогда спрашиваете? Так ведь живую воду можно спрашивать.

– А что, не дадут без рецепта? – негромко спросил Максим, чувствуя, что его начинает слегка трясти.

– Нет, молодой человек, не дадут.

Это снисходительное «молодой человек» доконало Максима.

– До чего ж ты умница! – тихо воскликнул он. – Это ж надо такому уродиться!..

Максим вышел на улицу, закурил.

Напротив, через улицу, было отделение связи. Максим докурил вчастую сигарету, зашел в отделение и дал матери телеграмму: «Змеиный яд выслал. Максим».

«Весь город переверну – добуду», – думал он, шагая по улице. Казалось теперь: будет змеиный яд – мать будет здорова.

В одной очень большой аптеке Максим решительно направился к пышной красивой женщине. Она выглядела приветливее других.

– Мне нужен змеиный яд, – сказал он.

– Нету, – ответствовала женщина.

– Тогда позовите вашего начальника.

Женщина удивленно посмотрела на него.

– Зачем?

– Я с ним потолкую.

– Не буду я его звать – незачем. Он вам не сможет помочь. Нет у нас такого лекарства.

Максиму захотелось обидеть женщину, сказать в лицо ей какую-нибудь грубость. И не то вконец обозлило Максима, что яда опять нет, а то, с какой легкостью, отвратительно просто все они отвечают это свое «нет».

– Позовите начальника! – потребовал Максим. И вдруг добавил жалобным голосом: – У мена мать болеет. – Аж самому противно сделалось.

Женщина оставила официальный тон.

– Ну нет у нас сейчас змеиного яда, я серьезно говорю. Я могу вам дать пчелиный. У нее что, радикулит?

– Ага.

– Возьмите пчелиный. Змеиный не всегда и нужен.

– Давайте. – Максиму было стыдно за свой жалобный тон. – Он тоже помогает?

– У вас рецепт есть?

– Нету.

– А как же?..

– Что?

– Без рецепта нельзя, не могу.

У Максима упало сердце.

– Это такой ма-ленький рецептик, да? Бумажечка такая…

Женщина невольно улыбнулась.

– Да, да. Рецепт выписывает врач, а мы…

– Дайте мне так, а… А я завтра принесу вам рецепт. Дайте, а?!

– Не могу, молодой человек, не могу.

На улице Максим долго соображал, что делать. Даже если он и наткнется где-нибудь на змеиный яд, то без рецепта все равно не дадут. Это ясно. Надо сперва добыть рецепт.

По дороге домой опять зашел на почту и дал матери еще одну телеграмму: «А пчелиный яд надо? Максим».

На другой день в девять часов утра он пошел на стройку, отпросился с работы и направился в поликлинику.

В белой стеклянной стенке – окошечко, за окошечком – белая девушка. Она долго «заводила» на Максима карточку, потом подала ему талончик. Максим посмотрел – четырнадцатая очередь на тринадцать тридцать.

– А поближе нету?

– Нет.

– Девушка, милая… – Максим почувствовал, что опять начинает говорить жалостливым тоном, но остановиться не мог. – Девушка, дайте мне поближе, а? Мне шибко надо. Пожалуйста.

Девушка, не глядя на него, порылась в талончиках, выбрала один, подала Максиму. И тогда только посмотрела на него. Максиму показалось, что она усмехнулась.

«Милая ты моя, – думал растроганный Максим. – Смейся, смейся – талончик-то вот он». Его очередь была шестой, на одиннадцать часов.

У кабинета врача сидело человек десять больных. Максим присел рядом с пожилым мужчиной, у которого была такая застойная тоска в глазах, что, глядя на него, невольно думалось: «Все равно все помрем».

«Прижало мужика», – подумал Максим. И опять вспомнил о матери и стал с нетерпением ждать доктора.

Доктор пришел. Мужчина, еще молодой.

Вышла из кабинета женщина и спросила:

– У кого первая очередь?

Никто не встал.

– У меня, – сказал Максим и почувствовал, как его подняла какая-то сила и повела в кабинет.

– У вас первая очередь? – спросил его мужчина.

– Да, – твердо сказал Максим и вошел в кабинет совсем веселым и, как ему казалось, очень ловким парнем.

– Что? – спросил доктор, не глядя на него.

– Рецепт, – сказал Максим, присаживаясь к столу.

Доктор чего-то хмурился, не хотел подымать глаза. «Выпил, наверно, вчера крепко», – сообразил Максим.

– Какой рецепт? – Доктор все перебирал какие-то бумажки.

– На змеиный яд.

– А что болит-то? – Доктор поднял глаза.

– Не у меня. У меня мать болеет, у нее радикулит. Ей врачи посоветовали змеиным ядом.

– Ну, так?..

– Ну а рецепта нету. А без рецепта, сами понимаете, никто не дает. – Максиму казалось, что он очень толково все объясняет. – Поэтому я прошу: дайте мне рецепт.

Доктора что-то заинтересовало в Максиме.

– А где мать живет?

– В Красноярском крае. В деревне.

– Ну?.. И нужен, значит, рецепт!

– Нужен. – Максиму было легко с доктором: доктор нравился ему.

Доктор посмотрел на сестру.

– Раз нужен – значит, дадим. А, Клавдия Николаевна?

– Надо дать, конечно.

Доктор выписал рецепт.

– Он ведь редко бывает, – сказал он. – Съезди в двадцать седьмую. Знаешь где? Против кинотеатра «Прибой». Там может быть.

– Спасибо. – Максим пожал руку доктора и чуть не вылетел на крыльях из кабинета – так легко и радостно сделалось.

В двадцать седьмой яда не было.

Максим подал рецепт и, затаив дыхание, смотрел на аптекаря.

– Нет, – сказал тот и качнул седой головой.

– Как нет?

– Так, нет.

– Так у меня же рецепт. Вот же он, рецепт-то!

– Я вижу.

– Да ты что, батя? – с тихим отчаянием сказал Максим. – Мне нужен этот яд.

– Так нет же его, нет – где же я его возьму? Вы же можете соображать – нет змеиного яда.

Максим вышел на улицу, прислонился спиной к стене, бессмысленно стал смотреть в лица прохожих. Прохожие все шли и шли нескончаемым потоком… А Максим все смотрел и смотрел на них и никак о них не думал.

Потом одна мысль пришла в голову Максиму. Он резко качнулся от стены и направился к центру города. В цирк.

Вахтер в цирке поднялся навстречу Максиму.

– Вам к кому?

– К Байкалову Игнату.

– У них репетиция идет.

– Ну и что?

– Репетиция!.. Как что? – Вахтер вознамерился не пускать.

– Да пошли вы! – обозлился Максим, легко отстранил старика и прошел внутрь.

Прошел пустым, гулким залом.

На арене посредине стоял здоровенный дядя, а на нем – одна на другой – изящные, как куколки, молодые женщины.

Максим подошел к человеку который бросал в стороны тарелки.

– Как бы мне Байкалова тут найти?

Человек поймал все тарелки.

– Что?

– Мне Байкалова надо найти.

– На втором этаже. А зачем?

– Так… Он земляк мой.

– Вон по той лестнице – вверх. – Человек снова запустил тарелки в воздух.

Игнатий боролся с каким-то монголом. Монгол был устрашающих размеров.

– Игнат! – позвал Максим.

Игнатий слез с монгола.

– Максим!.. Здорово, – Игнатий был потный, разгоряченный борьбой. – Ты как здесь? – Он погладил рукой бок.

– Намял он тебе?

– Вот именно – намял. Здоровый буйвол, а бороться не умеет.

– Неужели ты его одолеешь?

– Хошь, покажу.

– Не надо. Я к тебе по делу, Игнат. У меня мать захворала – письмо получил. Надо змеиного яда достать… Весь город обошел – нигде нету. Может, у тебя какие знакомые есть?.. Может, врач какой-нибудь…

Игнатий задумался.

– Черт его знает… трудно сейчас сказать. Если бы раньше пришел. Я ж завтра уезжаю. Домой ведь еду!

– Домой?

– Но!

– В отпуск, что ли?

– Но.

Максим с тоскливой завистью посмотрел на земляка.

– Хорошо.

– Я попробую сегодня спросить у одних. Раньше бы надо…

– Раньше-то он не нужен был.

– Я понимаю. В общем, я схожу туда сегодня, спрошу. Но не обещаю, Максим.

Максим кивнул головой.

– Ладно, работай. Пойду еще куда-нибудь.

Игнатию стало отчего-то неловко.

– Я схожу, Максим. Может, достану.

– Ты надолго домой?

– На пару недель. А потом – в Гагры.

– Зайди там к матери… Скажи: пришлю лекарство. Зайди.

– Конечно! Ты не унывай особо-то. Может, достанем сегодня.

– Ничего. Привет своим передавай. Сколько не был?

– Лет пять уже.

– А я два года. Изменилось, наверно, там все…

– Да.

– Ну, работай.

Максим вышел из цирка и так же решительно, как шел от двадцать седьмой аптеки, пошел снова туда. Подошел к старичку аптекарю.

– Я к вашему начальнику пройду.

– Пожалуйста, – любезно сказал аптекарь. – Вон в ту дверь. Он как раз там.

Максим пошел к начальнику.

В кабинете заведующего никого не было. Была еще одна дверь. Максим толкнулся в нее и ударил кого-то по спине.

– Сейчас, – сказали за дверью.

Максим сел на стул и решил без змеиного яда не уходить. Вошел низенький человек с усами, с гладко выбритыми – до сияния – жирненькими щеками, опрятный, полненький, лет сорока.

– Что у вас?

– Вот. – Максим протянул ему рецепт. Сердце вдруг так заколотилось, что стало

больно в груди. Заведующий повертел в руках рецепт.

— Не понимаю…

— Мне такое лекарство надо. — Максим поморщился — сердце выбрыкивало нешуточным образом.

— У нас его нет.

— А мне надо. У меня мать помирает. — Максим смотрел на заведующего не мигая: чувствовал, как глаза наполняются слезами.

— Но если нет, что же я могу сделать?

— А мне надо. Я не уйду отсюда, понял? Я вас всех ненавижу, гадов!

Заведующий улыбнулся.

— Это уже серьезнее. Придется найти. — Он сел к телефону и, набирая номер, с любопытством поглядывал на Максима. Максим успел вытереть глаза и смотрел в окно. Ему стало стыдно, он жалел, что сказал последнюю фразу.

— Алле! — заговорил заведующий. — Петрович? Здоров. Я это, да. Слушай, у тебя нет… — Тут он сказал какое-то непонятное слово. — Нет?

У Максима сдавило сердце.

— Да нужно тут… пареньку одному… Посмотри, посмотри… Славный парень, хочется помочь.

Максим впился глазами в лицо заведующего. Заведующий беспечно вытянул губы трубочкой — ждал.

— Да? Хорошо, тогда я подошлю его… Как дела-то? Мгм… Слушай, а что ты скажешь… А? Да что ты? Да ну?..

Пошел какой-то непонятный треп: кто-то заворовался, кого-то сняли и хотят судить. Максим смотрел в пол, чувствовал, что плачет, и ничего не мог сделать — плакал. Он очень устал за эти два дня. Он молил Бога, чтобы заведующий подольше говорил, — может, к тому времени он перестанет плакать, а то хоть сквозь землю проваливайся со стыда. А если сейчас вытереть глаза — значит, надо пошевелиться, и тогда заведующий глянет на него и увидит, что он плачет.

«Вот морда!» — ругал он себя. Он любил сейчас заведующего, как никого никогда, наверно, не любил.

Заведующий положил трубку, посмотрел на Максима. Максим нахмурился, шаркнул рукавом бостонового пиджака по глазам и полез в карман за сигаретой. Заведующий ничего не сказал, написал записку, встал… Максим тоже встал.

— Вот по этому адресу… спросите Вадима Петровича. — Не отчаивайтесь, поправится ваша мама.

— Спасибо, — сказал Максим. Горло заложило, и получилось, что Максим пискнул это «спасибо». Он нагнул голову и пошел из кабинета, даже руки не подал начальнику.

«Вот же ж морда!» — поносил он себя. Ему было очень стыдно.

На другой день рано утром к Максиму забежал Игнатий. Внес с собой шум и прохладу политых асфальтов.

— Максим!.. Я поехал! Вот яд-то — достал.

Максим вскочил с кровати.

— Куда поехал?

— Домой! Вот яд…

– Так я тоже достал вчера. Флакон.

– Ну – два будет. Пригодится.

– Ты сейчас прямо едешь?

– Но. Будь здоров! Зайду попроведаю мать…

– Погоди, Игнат, я провожу тебя.

– Меня такси ждет…

– Я скоро.

– Давай. Только – одна нога здесь, другая – там! – орал Игнатий. – Пятнадцать минут осталось. Жена сейчас икру мечет в вагоне.

– Она уже там? – Максим прыгал по комнате на одной ноге, стараясь попасть в штанину.

– Там.

– Сейчас… мигом. Мы в магазин не успеем заскочить? Хотел гостинцев матери…

– Да ты что! – взревел Игнатий. – Я что, по шпалам жену догонять буду?!

– Ладно, ладно…

Побежали вниз, в такси.

– Друг, – взмолился Игнатий. – Десять минут до поезда… Жми на всю железку. Плачу в трехкратном размере.

Машина рванула с места.

Жена ждала Игнатия у вагона. Оставалось полторы минуты.

– Игнатий, это… это черт знает что такое, – встретила она мужа со слезами на глазах. – Я хотела чемоданы выносить.

– Порядок! – весело гудел Игнатий. – Максим, пока! Крошка, цыпонька, в вагон.

Поезд тронулся.

– Будь здоров, Максим!

Максим пошел за вагоном.

– Игнат, передай матери: я, может, тоже скоро приеду. Не забудь, Игнат!

– Не-ет!

Максим остановился.

Поезд набирал ходу.

Максим опять догнал вагон Игнатия и еще раз крикнул:

– Не забудь, Игнат!

– Передам!

Уже расходились с перрона люди.

А Максим все стоял и смотрел вслед поезду.

…Уже никого почти не осталось на перроне, а Максим все стоял. Смотрел в ту

сторону, куда уехал Игнатий.

Гринька Малюгин
Гринька, по общему мнению односельчан, был человек недоразвитый, придурковатый.

Был он здоровенный парень с длинными руками, горбоносый, с вытянутым, как у лошади, лицом. Ходил, раскачиваясь взад-вперед, медленно, посматривал вокруг бездумно и ласково. Девки любили его. Это было непонятно. Чья-то умная голова додумалась: жалеют. Гриньке это очень понравилось.

— Меня же все жалеют! — говорил он, когда был подвыпивши, и стучал огромным кулаком себе в грудь, и смотрел при этом так, будто он говорил: «У меня же девять орденов!»

Работал Гринька хорошо, но тоже чудил. Его, например, ни за какие деньги, никакими уговорами нельзя было заставить работать в воскресенье. Хоть ты что делай, хоть гори все вокруг синим огнем — он в воскресенье наденет черные плисовые штаны, куртку с «молниями», намочит русый чуб, уложит его на правый бочок аккуратненькой копной и пойдет по деревне — про сто так, «бурлачить».

— Женился бы хоть, телеграф, — советовала ему мать.

— Стукнет тридцать — женюсь, — отвечал Гринька.

Гриньку очень любили как-нибудь называть: «земледав», «быча», «телеграф», «морда»… И все как-то шло Гриньке.

Вот какая история приключилась однажды с Гринькой.

Поехал он в город за горючим для совхоза. Поехал еще затемно. В городе заехал к знакомым, загнал машину в ограду, отоспался на диване, встал часов в девять, плотно позавтракал и поехал на центральное бензохранилище — это километрах в семнадцати от города, за горой.

День был тусклый, теплый. Дороги раскисли после дождя, колеса то и дело буксовали. Пока доехал до хранилища, порядком умаялся.

Бензохранилище — целый городок, строгий, правильный, однообразный, даже красивый в своем однообразии. На площади гектара в два аккуратными рядами стоят огромные серебристо-белые цистерны — цилиндрические, круглые, квадратные.

Гринька пристроился в длинный ряд автомашин и стал потихоньку двигаться.

Часа через три только ему закатили в кузов бочки с бензином.

Гринька подъехал к конторе, поставил машину рядом с другими и пошел оформлять документы.

И тут — никто потом не мог сказать, как это случилось, почему, — низенькую контору озарил вдруг яркий свет.

В конторе было человек шесть шоферов, две девушки за столами и толстый мужчина в очках (тоже сидел за столом). Он оформлял бумаги.

Свет вспыхнул сразу. Все на мгновение ошалели. Стало тихо. Потом тишину эту, как бичом, хлестнул чей-то вскрик на улице:

— Пожар!

Шарахнули из конторы.

Горели бочки на одной из машин. Горели как-то зловеще, бесшумно, ярко.

Люди бежали от машин.

Гринька тоже побежал вместе со всеми. Только один толстый человек (тот, который оформлял бумаги), отбежав немного, остановился.

– Давайте брезент! Э-э! – заорал он. – Куда вы?! Успе-ем же!.. Э-э!..

– Бежи, сейчас рванет! Вежи, дура толстая! – крикнул кто-то из шоферов.

Несколько человек остановились. Остановился и Гринька.

– Сча-ас… Ох, и будет! – послышался сзади чей-то голос.

– Добра пропадет сколько! – ответил другой.

Кто-то заматерился. Все ждали.

– Давайте брезент! – непонятно кому кричал толстый мужчина, но сам не двигался с места.

– Уходи! – опять крикнули ему. – Вот ишак… Что тут брезентом сделаешь? Брезент…

Гриньку точно кто толкнул сзади. Он побежал к горящей машине. Ни о чем не думал. В голове точно молотком били – мягко и больно: «Скорей! Скорей!» Видел, как впереди, над машиной, огромным винтом свивается белое пламя.

Не помнил Гринька, как добежал он до машины, как включил зажигание, даванул стартер, воткнул скорость – человеческий механизм сработал быстро и точно. Машина рванулась и, набирая скорость, понеслась прочь от цистерн и от других машин с горючим. Река была в полукилометре от хранилища; Гринька правил туда, к реке.

Машина летела по целине, прыгала. Горящие бочки грохотали в кузове. Гринька закусил до крови губы, почти лег на штурвал. Крутой, обрывистый берег приближался угнетающе медленно. На косогорчике, на зеленой мокрой травке, колеса забуксовали. Машина юзом поползла назад. Гринька вспотел. Молниеносно перекинул скорость, дал левее руля, выехал. И опять выжал из мотора всю его мощь.

До берега осталось метров двадцать. Гринька открыл дверцу, не снимая правой ноги с газа, стал левой на подножку. В кузов не глядел – там колотились бочки и тихо шумел огонь. Спине было жарко.

Теперь обрыв надвигался быстро. Гринька что-то медлил, не прыгал. Прыгнул, когда до берега осталось метров пять. Упал. Слышал, как с лязгом грохотнули бочки. Взвыл мотор… Потом под обрывом сильно рвануло. И оттуда вырос красивый стремительный столб огня. И стало тихо.

Гринька встал и тут же сел – в сердце воткнулась такая каленая боль, что в глазах потемнело.

– Мм… ногу сломал, – сказал Гринька самому себе.

К нему подбежали, засуетились. Подбежал толстый человек и заорал:

– Какого черта не прыгал, когда отъехал уже?! Направил бы ее и прыгал! Обязательно надо до инфаркта людей довести!

– Ногу сломал, – сказал Гринька.

– В герои лезут! Молокососы!.. – кричал толстый.

Один из шоферов ткнул его кулаком в пухлую грудь.

– Ты что, спятил, что ли?

Толстый оттолкнул шофера. Снял очки, трубно высморкался. Сказал с нервной дрожью в голосе:

– Лежать теперь. Черти!

Гриньку подняли и понесли.

В палате, кроме Гриньки, было еще четверо мужчин. Один ходил с «самолетом»,

«остальные лежали, задрав кверху загипсованные ноги. К ногам их были привязаны железяки.

Один здоровенный парень, белобрысый, с глуповатым лицом, просил того, который ходил:

– Слышь!.. Неужели у тя сердца нету?

– Нету, – спокойно отвечал ходячий.

– Эх!..

– Вот те и «эх». – Ходячий остановился против койки белобрысого. – Я отвяжу, а кто потом отвечать будет?

– Я.

– Ты… Я же и отвечу. Нужно мне это. Терпи! Мне, ты думаешь, не надоела тоже вот эта штука? Надоела.

– Ты же ходишь!.. Сравнил.

– И ты будешь.

– А чего ты просишь-то? – спросил Гринька белобрысого. (Гриньку только что перевели в эту палату).

– Просит, чтоб я ему гири отвязал, – пояснил ходячий. – Дурней себя ищет. Так ты полежишь и встанешь, а если я отвяжу, ты совсем не встанешь. Как дите малое, честное слово.

– Не могу я больше! – заскулил белобрысый. – Я психически заболею: двадцать вторые сутки лежу, как бревно. Я же не бревно, верно? Сейчас орать буду…

– Ори, – спокойно сказал ходячий.

– Ты что, тронулся, что ли? – спросил Гринька парня.

– Няня! – заорал тот.

– Как тебе не стыдно, Степан, – сказал с укоризной один из лежачих. – Ты же не один здесь.

– Я хочу книгу жалоб и предложений.

– Зачем она тебе?

– А чего они!.. Не могли умнее чего-нибудь придумать? Так, наверно, еще при царе лечили. Подвесили, как борова…

– Ты и есть боров, – сказал ходячий.

– Няня!

В палату вместо няни вошел толстый мужчина в очках (с бензохранилища, из конторы).

– Привет! – воскликнул он, увидев Гриньку. – А мне сказали сперва, что ты в каком-то другом корпусе лежишь… Едва нашел. На, еды тебе приволок. Фу-у! – Мужчина сел на краешек Гринькиной кровати. Огляделся. – Ну и житье у вас, ребята!.. Лежи себе, плюй в потолок.

– Махнемся? – предложил мрачно белобрысый.

– Завтра махнемся.

– А-а!.. Нечего тогда вякать. А то сильно умные все.

– Ну как? – спросил мужчина Гриньку. – Ничего?

– Все в ажуре, – сказал Гринька.

– Ты скажи, почему ты не прыгал, когда уже близко до реки оставалось?

– А сам не знаю.

– Меня, понимаешь, чуть кондрашка не хватил: сердце стало останавливаться, и все. Нервы у тебя крепкие, наверно.

– Я ж танкистом в армии был, – хвастливо сказал Гринька. – Вот попробуй пощекоти меня – хоть бы что. Попробуй!

– Хэх!.. Чудак! Ну, машину достали. Все, в общем, разворотило… Сколько лежать придется?

– Не знаю. Вон друг двадцать вторые сутки парится. С месяц, наверно.

– Перелом бедренной кости? – спросил белобрысый. – А два месяца не хочешь? «С месяц»… Быстрые все какие!

– Ну, привет тебе от наших ребят, – продолжал толстый. – Хотели прийти сюда – не пускают. Меня как профорга и то еле пропустили. Журналов вот тебе прислали… – Мужчина достал из-за пазухи пачку журналов. – Из газеты приходили, расспрашивали про тебя… А мы и знать не знаем, кто ты такой. Сказано в путевке, что Малюгин, из Суртайки… Сказали, что придут сюда.

– Это ничего, – сказал Гринька самодовольно. – Я им тут речь скажу.

– Речь? Хэх!.. Ну ладно, поправляйся. Будем заходить к тебе в приемные дни – я специально людей буду выделять. Я бы посидел еще, но на собрание тороплюсь. Тоже речь надо говорить. Не унывай!

– Ничего.

Профорг пожал Гриньке руку, сказал всем «до свиданья» и ушел.

– Ты что, герой, что ли? – спросил Гриньку белобрысый, когда за профоргом закрылась дверь. Гринька некоторое время молчал.

– А вы разве ничего не слышали? – спросил он серьезно. – Должны же были по радио передавать.

– У меня наушники не работают. – Детина щелкнул толстым пальцем по наушникам, висевшим у его изголовья.

Гринька еще немного помолчал. И ляпнул:

– Меня же на Луну запускали.

У всех вытянулись лица, белобрысый даже рот приоткрыл.

– Нет, серьезно?

– Конечно. Кха! – Гринька смотрел в потолок с таким видом, как будто он йа спор на виду у всех проглотил топор и ждал, когда он переварится, – как будто он нисколько не сомневался в этом.

– Врешь ведь? – негромко сказал белобрысый.

– Не веришь, не верь, – сказал Гринька. – Какой мне смысл врать?

– Ну и как же ты?

– Долетел до половины, и горючего не хватило. Я прыгнул. И ногу вот сломал – неточно приземлился. Первым очнулся человек с «самолетом».

– Вот это загнул! У меня ажник дыхание остановилось.

– Трепло! – сказал белобрысый разочарованно. – Я думал, правда.

– Завидки берут, да? – спросил Гринька и стал смотреть журналы. – Между прочим, состояние невесомости я перенес хорошо. Пульс нормальный всю дорогу.

– А как это ты на парашюте летел, если там воздуха нету? – спросил белобрысый.

– Затяжным.

– А кто это к тебе приходил сейчас? – спросил человек с «самолетом».

– Приходил-то? – Гринька перелистнул страничку журнала. – Генерал, дважды Герой Советского Союза. Он только не в форме – нельзя.

Человек с «самолетом» громко захохотал.

– Генерал?! Ха-ха-ха!.. Я ж его знаю! Он же ж на бензохранилище работает!

– Да? – спросил Гринька.

– Да!

– Так чего же ты тогда спрашиваешь, если знаешь?

Белобрысый раскатился громоподобным смехом. Глядя на него, Гринька тоже засмеялся. Потом засмеялись все остальные. Лежали и смеялись.

– Ой, мама родимая!.. Ой, кончаюсь!.. – стонал белобрысый.

Гринька закрылся журналом и хохотал беззвучно. В палату вошел встревоженный доктор.

– В чем дело, больные?

– О-о!.. О-о!.. – Белобрысый только показывал на Гриньку – не мог произнести ничего членораздельно. – Гене… ха-ха-ха! Гене… хо-хо-хо!..

Смешливый старичок доктор тоже хихикнул и поспешно вышел из палаты.

И тотчас в палату вошла девушка лет двадцати трех. В брюках, накрашенная, с желтыми волосами – красивая. Остановилась в дверях, удивленно оглядела больных.

– Здравствуйте, товарищи!

Смех потихоньку стал стихать.

– Здрассте! – сказал Гринька.

– Кто будет товарищ Малюгин?

– Я, – ответил Гринька и попытался привстать.

– Лежите, лежите, что вы! – воскликнула девушка, подходя к Гринькиной койке. – Я вот здесь присяду. Можно?

– Боже мой! – сказал Гринька и опять попытался сдвинуться на койке. Девушка села на краешек белой плоской койки.

– Я из городской молодежной газеты. Хочу поговорить с вами.

Белобрысый перестал хохотать, смотрел то на Гриньку, то на девушку.

– Это можно, – сказал Гринька и мельком глянул на белобрысого.

Детина начал теперь икать.

– Как вы себя чувствуете? – спросила девушка, раскладывая на коленях большой блокнот.

– Железно, – сказал Гринька.

Девушка улыбнулась, внимательно посмотрела на Гриньку. Гринька тоже улыбнулся и подмигнул ей. Девушка опустила глаза к блокноту.

– Для начала… такие… формальные вопросы: откуда родом, сколько лет, где учились…

– Значит, так… – начал Гринька, закуривая. – А потом я речь скажу. Ладно?

– Речь?

– Да.

– Ну… хорошо… Я могу потом записать. В другой раз.

– Значит, так: родом я из Суртайки – семьдесят пять километров отсюда. А вы сами откуда?

Девушка весело посмотрела на Гриньку, на других больных: все, притихнув, смотрели на нее и на Гриньку, слушали. Белобрысый икал.

– Я из Ленинграда. А что?

– Видите ли, в чем дело, – заговорил Гринька, – я вам могу сказать следующее…

Белобрысый неудержимо икал.

– Выпей воды! – обозлился Гринька.

– Я только что пил – не помогает, – сказал белобрысый, сконфузившись.

– Значит, так… – продолжал Гринька, затягиваясь папироской. – О чем мы с вами говорили?

– Где вы учились?

– Я волнуюсь, – сказал Гринька (ему не хотелось говорить, что он окончил только пять классов). – Мне трудно говорить.

– Вот уж никогда бы не подумала! – воскликнула девушка. – Неужели вести горящую машину легче?

– Видите ли… – опять напыщенно заговорил Гринька, потом вдруг поманил к себе девушку и негромко – так, чтоб другие не слышали, доверчиво спросил: – Вообще-то в чем дело? Вы только это не пишите. Я что, на самом деле подвиг совершил? Я боюсь: вы напишите, а мне стыдно будет потом перед людями. «Вон, скажут, герой пошел!»

Девушка тихо засмеялась. А когда перестала смеяться, некоторое время с интересом смотрела на Гриньку.

– Нет, это ничего, можно.

Гринька приободрился.

– Вы замужем? – спросил он.

Девушка растерялась.

– Нет… А собственно, зачем?..

– Можно, я вам письменно все опишу? А вы еще раз завтра придете, и я вам отдам. Я не могу, когда рядом икают.

– Что я, виноват, что ли? – сказал белобрысый и опять икнул.

Девушку Гринькино предложение поставило в тупик.

– Понимаете… я должна этот материал дать сегодня. А завтра я уезжаю. Просто не знаю, как нам быть. А вы коротко расскажите. Значит, вы из Суртайки. Так?

– Так. – Гринька скис.

– Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня, я ведь тоже на работе.

– Я понимаю.

– Где вы учились?

– В школе.

– Где, в Суртайке же?

– Так точно.

– Сколько классов кончили?

Гринька строго посмотрел на девушку.

– Пять, шестой коридор. Неженатый. Не судился еще. Все?

– Родители…

– Мать.

– Чем она занимается?

– На пенсии.

– Служили?

– Служил. В танковых войсках.

– Что вас заставило броситься к горящей машине?

– Дурость.

Девушка посмотрела на Гриньку.

– Конечно. Я же мог подорваться, – пояснил тот. Девушка задумалась.

– Хорошо, я завтра приду к вам, – сказала она. – Только я не знаю… завтра приемный день?

– Приемный день в пятницу, – подсказал белобрысый.

– А мы сделаем! – напористо заговорил Гринька. – Тут доктор добрый такой старик, я его попрошу, он сделает. А? Скажем, что ты захворала, он бюллетень выпишет.

– Приду. – Девушка улыбнулась. – Обязательно приду. Принести чего-нибудь?

– Ничего не надо!

– Тут хорошо кормят, – опять вставил белобрысый. – Я уж на что – вон какой, и то мне хватает.

– Я какую-нибудь книжку интересную принесу.

– Книжку – это да, это можно. Желательно про любовь.

– Хорошо. Итак, что же вас заставило броситься к машине?

– Гринька мучительно задумался.

– Не знаю, – сказал он. И виновато посмотрел на девушку: – Вы сами напишите чего-нибудь, вы же умеете. Что-нибудь такое… – Гринька покрутил растопыренными пальцами.

– Вы, очевидно, подумали, что если бочки взорвутся, то пожар распространится дальше – на цистерны. Да?

– Конечно!

Девушка записала.

– А ты же сказала, что уезжаешь завтра. Как же ты придешь? – спросил вдруг Гринька.

– Я как-нибудь сделаю.

В палату вошел доктор.

– Девушка милая, сколько вы обещали пробыть? – спросил он.

– Все, доктор, ухожу. Еще два вопроса… Вас зовут Григорий?

– Малюгин Григорий Степаныч… – Гринька взял руку девушки, посмотрел ей прямо в глаза. – Приди, а?

– Приду. – Девушка ободряюще улыбнулась. Оглянулась на доктора, нагнулась к Гриньке и шепнула: – Только бюллетень у доктора не надо просить. Хорошо?

– Хорошо. – Гринька ласково смотрел на девушку.

– До свиданья. Поправляйтесь. До свиданья, товарищи!

Девушку все проводили добрыми глазами.

Доктор подошел к Гриньке:

– Как дела, герой?

– Лучше всех.

– Дай-ка твою ногу.

– Доктор, пусть она придет завтра, – попросил Гринька.

– Кто? – спросил доктор. – Корреспондентка? Пусть приходит. Влюбился, что ли?

– Не я, а она в меня.

Смешливый доктор опять засмеялся:

– Ну, ну… Пусть приходит, раз такое дело. Веселый ты парень, я погляжу.

Он посмотрел Гринькину ногу и ушел в другую палату.

– Думаешь, она придет? – спросил белобрысый Гриньку.

– Придет, – уверенно сказал Гринька. – За мной не такие бегали.

– Знаю я этих корреспондентов. Им лишь бы расспросить. Я в прошлом году сжал много, – начал рассказывать белобрысый, – так ко мне тоже корреспондента подослали. Я ему три часа про свою жизнь рассказывал. Так он мне даже пол-литра не поставил. «Я, – говорит, – непьющий», то-се, – начал вилять.

Гринька смотрел в потолок, не слушал белобрысого. Думал о чем-то. Потом отвернулся к стене и закрыл глаза.

– Слышь, друг! – окликнул его белобрысый.

– Спит, – сказал человек с «самолетом». – Не буди, не надо. Он на самом деле что-то совершил.

– Шебутной парень, – похвалил белобрысый. – В армии с такими хорошо.

Гринька долго лежал, слушал разговоры про разные подвиги, потом действительно заснул.

И приснился ему такой сон.

Будто он в какой-то незнакомой избе – нарядный, в хромовых сапогах, в плисовых штанах – вышел на круг, поднял руку и сказал: «Ритмический вальс».

Гринька, когда служил в армии, все три года учился танцевать ритмический вальс и так и не научился – не смог.

И вот будто пошел он по кругу, да так здорово пошел – у самого сердце радуется. И он знает, что на него смотрит девушка-корреспондентка. Он не видел ее, а знал, чувствовал, что стоит она в толпе и смотрит на него. Проснулся он оттого, что кто-то негромко позвал его:

– Гриньк…

Гринька открыл глаза – на кровати сидит мать, вытирает концом полушалка слезы.

– Ты как тут? – удивился Гринька.

– Сказали мне… в сельсовете. Как же это получилось-то сынок?

– Ерунда, не плачь. Срастется.

– И вечно тебя несет куда-то, дурака. Никто небось не побежал…

– Ладно, – негромко перебил Гринька. – Начинается.

Мать полезла в мешочек, который стоял у ее ног.

– Привезла тут тебе… Ешь хоть теперь больше. Господи, господи, что за наказание такое! Что-нибудь да не так. – Потом мать посмотрела на других больных, склонилась к сыну, спросила негромко: – Деньжонок-то нисколько не дали?

Гринька сморщился, тоже мельком глянул на товарищей и тоже негромко сказал:

– Ты что? Ненормальная какая-то…

– Лежи, лежи… нормальный! – обиделась мать. И опять полезла в торбочку и стала вынимать оттуда шанежки и пирожки. – Изба-то завалится скоро… Нормальный!..

– Все, на эту тему больше не реагирую, – отрезал Гринька.

На другой день Гриньке принесли газету, где была небольшая заметка о нем. В ней рассказывалось как он, Гринька, рискуя жизнью, спас государственное имущество. Называлась заметка «Мужественный поступок». Подпись: «А. Сильченко».

Гринька прочитал заметку и спрятал газету под подушку.

– Не в этом же дело, – проворчал он. А. Сильченко не пришла. Гринька ждал ее два дня, потом понял: не придет.

– Не уважаю стиляг, – сказал он белобрысому. Тот поддакнул:

– Я их вообще не перевариваю.

Гринька вынул из тумбочки лист бумаги и спросил детину:

– Стихи любишь?

– Нет, – признался тот.

– Надо любить, – посоветовал Гринька. – Вот слушай:

Мечтал ли в жизни я когда
Стать стихотворцем и поэтом;
Двадцать пять лет из-под пера не шла строка,
А вот сейчас пишу куплеты.
Белобрысый слушал нахмурившись.

– Ну как? – спросил Гринька.

– Ничего, – похвалил детина. – Это кому ты? Гринька промолчал на это. Положил лист на тумбочку, взял карандаш и стал смотреть в потолок.

– Поэму буду сочинять, – сказал он. – Про свою жизнь. Все равно делать нечего.

Классный водитель
Весной, в начале сева, в Быстрянке появился новый парень – шофер Пашка Холманский. Сухой, жилистый, легкий на ногу. С круглыми изжелта-серыми смелыми глазами, с прямым тонким носом, рябоватый, с крутой ломаной бровью, не то очень злой, не то красивый. Смахивал на какую-то птицу.

Пашка был родом из кержаков, откуда-то с верхних сел по Катуни, но решительно ничего не усвоил из старомодного неповоротливого кержацкого уклада.

В Быстрянку он попал так.

Местный председатель колхоза Прохоров Ермолай возвращался из города на колхозном «газике». Посреди дороги у них лопнула рессора. Прохоров, всласть наругавшись с шофером, стал голосовать попутным машинам. Две не остановились, а третья, полуторка, притормозила. Шофер откинул дверцу

– Куда?

– До Быстрянки.

– А Салтон – это дальше или ближе?

– Малость ближе. А что?

– Садись до Салтона. Дорогу покажешь.

– Поехали.

Шофер сидел, откинувшись на спинку сиденья; правая рука – на штурвале, левая – локтем – на дверце кабины. Смотрел вперед, на дорогу, задумчиво щурился.

Полуторка летела на предельной скорости, чудом минуя выбоины. С одной встречной машиной разминулись так близко, что у председателя дух захватило. Он посмотрел на шофера: тот сидел как ни в чем не бывало, щурился.

– Ты еще головы никогда не ломал? – спросил Прохоров.

– А?.. Ничего. Не трусь, дядя. Главное в авиации что? – улыбнулся шофер. Улыбка простецкая, добрая.

– Главное в авиации – не трепаться, по-моему.

– Нет, не то. – Парень совсем отпустил штурвал и полез в карман за папиросами. Его, видно, забавляло, что пассажир трусит.

Прохоров стиснул зубы и отвернулся.

В этот момент полуторку основательно подкинуло. Прохоров инстинктивно схватился за дверцу. Свирепо посмотрел на шофера.

– Ты!.. Авиатор!

Парень опять улыбнулся.

— Уважаю скорость, — признался он.

Прохоров внимательно посмотрел в глаза парню: парень чем-то нравился ему.

— Ты в Салтон зачем едешь?

— В командировку.

— На сев, что ли?

— Да… помочь мужичкам надо.

Хитрый Прохоров некоторое время молчал. Закурил тоже. Он решил переманить шофера в свой колхоз.

— В сам Салтон или в район?

— В район. Деревня Листвянка… Хорошие места тут у вас.

— Тебя как зовут-то?

— Меня-то? Павлом. Павел Егорыч.

— Тезки с тобой, — сказал Прохоров. — Я тоже по батьке Егорыч. Поехали ко мне, Егорыч?

— То есть как?

— Так. Я в Листвянке знаю председателя и договорюсь с ним насчет тебя. Я тоже председатель. Листвянка — это дыра, я тебе должен сказать. А у нас деревня…

— Что-то не понимаю: у меня же в командировке сказано…

— Да какая тебе разница?! Я тебе дам такой же документ… что ты отработал на посевной — все честь по чести. А мы с тем председателем договоримся. За ним как раз должок имеется. А?

— Клуб есть? — спросил Пашка.

— Клуб? Ну как же!

— Сфотографировано.

— Что?

— Согласен, говорю! Пирамидон.

Прохоров заискивающе посмеялся.

— Шутник ты… (Один лишний шофер да еще с машиной на посевной — это пирамидон, да еще какой!) Шутник ты, Егорыч.

— Стараюсь. Значит, клубишко имеется?

— Имеется, Паша. Вот такой клуб — бывшая церковь!

— Помолимся, — сказал Пашка.

Оба — Прохоров и Пашка — засмеялись.

Так попал Павел Егорыч в Быстрянку.

Жил Пашка у Прохорова. Быстро сдружился с хозяйкой, женой Прохорова, охотно беседовал с ней вечерами.

– Жена должна чувствовать! – утверждал Пашка, с удовольствием уписывая жирную лапшу с гусятиной.

– Правильно, Егорыч, – поддакивал Ермолай, согнувшись пополам, стаскивая с ноги тесный сапог. – Что это за жена, которая не чувствует?

– Если я прихожу домой, – продолжал Пашка, – так? – усталый, грязный – то-се, я должен первым делом видеть энергичную жену. Я ей, например: «Здорово, Маруся!» Она мне весело: «Здорово, Павлик! Ты устал?»

– А если она сама, бедная, наработается за день, то откуда же у нее веселье возьмется? – замечала хозяйка.

– Все равно. А если она грустная, кислая, я ей говорю: пирамидон. И меня потянет к другим. Верно, Егорыч?

– Абсолютно! – поддакивал Прохоров.

Хозяйка притворно сердилась и называла всех мужиков охальниками.

В клубе Пашка появился на второй день после своего приезда. Сдержанно веселый, яркий: в бордовой рубахе с распахнутым воротом, в хромовых сапогах-вытяжках, в военной новенькой фуражке, из-под козырька которой русой хмелиной завивался чуб.

– Как здесь население… ничего? – равнодушно спросил он у одного парня, а сам ненароком обшаривал глазами танцующих: хотел знать, какое он произвел впечатление на «местное население».

– Ничего, – ответил парень.

– А ты, например, чего такой кислый?

– А ты кто такой, чтобы допрос устраивать? – обиделся парень.

Пашка миролюбиво оскалился:

– Я ваш новый прокурор. Порядки приехал наводить.

– Смотри, как бы тебе самому не навели тут.

– Ничего. – Пашка подмигнул парню и продолжал рассматривать девушек и ребят в зале.

Его тоже рассматривали.

Пашка такие моменты любил. Неведомое, незнакомое, недружелюбное поначалу волновало его. Больше всего, конечно, интересовали девки.

Танец кончился. Пары расходились по местам.

– Что за дивчина? – спросил Пашка у того же парня; он увидел Настю Платонову, местную красавицу.

Парень не захотел с ним разговаривать, отошел.

Заиграли вальс.

Пашка прошел через весь зал к Насте, слегка поклонился ей и громко сказал:

– Предлагаю на тур вальса!

Все подивились изысканности Пашки; на него стали смотреть с нескрываемым веселым интересом.

Настя спокойно поднялась, положила тяжелую руку на сухое Пашкино плечо; Пашка, не мигая, ласково смотрел на девушку.

Закружились.

Настя была несколько тяжела в движениях, ленива. Зато Пашка с ходу начал выделывать такого черта, что некоторые даже перестали танцевать — смотрели на него. Он то приотпускал от себя Настю, то рывком приближал к себе и кружился, кружился… Но окончательно он доконал публику, когда, отойдя несколько от Насти, но не выпуская ее руки из своей, пошел с приплясом.

Все так и ахнули. А Пашка смотрел куда-то выше «местного населения» с таким видом, точно хотел сказать: «Это еще не все. Будет когда-нибудь настроение — покажу кое-что. Умел когда-то».

Настя раскраснелась, ходила все так же медленно, плавно.

— Ну и трепач ты! — весело сказала она, глядя в глаза Пашке.

Пашка ухом не повел.

— Откуда ты такой?

— Из Москвы, — небрежно бросил Пашка.

— Все у вас там такие?

— Какие?

— Такие… воображалы.

— Ваша серость меня удивляет, — сказал Пашка, вонзая многозначительный ласковый взгляд в колодезную глубину темных загадочных глаз Насти.

Настя тихо засмеялась.

Пашка был серьезен.

— Вы мне нравитесь, — сказал он. — Я такой идеал давно искал.

— Быстрый ты. — Настя в упор посмотрела на Пашку.

— Я на полном серьезе!

— Ну и что?

— Я вас провожаю сегодня до хаты. Если у вас, конечно, нет какого-нибудь другого хахаля. Договорились?

Настя усмехнулась, качнула отрицательно головой. Пашка не обратил на это никакого внимания.

Вальс кончился.

Пашка проводил девушку до места, опять изящно поклонился и вышел покурить с парнями в фойе.

Парни косились на него. Пашка знал, что так бывает всегда.

— Тут поблизости забегаловки нигде нету? — спросил он, подходя к группе курящих.

Парни молчали, смотрели на Пашку насмешливо.

— Вы что, языки проглотили?

— Тебе не кажется, что ты здесь слишком бурную деятельность развил? — спросил тот самый парень, с которым Пашка говорил до танца.

— Нет, не кажется.

— А мне кажется.

– Крестись, если кажется.

Парень нехорошо прищурился.

– Выйдем на пару минут… потолкуем?

Пашка отрицательно качнул головой.

– Не могу.

– Почему?

– Накостыляете сейчас ни за что… Потом когда-нибудь потолкуем. Вообще-то чего вы на меня надулись? Я, кажется, никому еще на мозоль не наступал.

Парни не ожидали такого поворота. Им понравилась Пашкина прямота. Понемногу разговорились.

Пока разговаривали, заиграло танго, и Настю пригласил другой парень. Пашка с остервенением растоптал окурок. Тут ему рассказали, что у Насти есть жених, инженер из Москвы, и что, кажется, у них дело идет к свадьбе. Пашка внимательно следил за Настей и, казалось, не слушал, что ему говорят. Потом сдвинул фуражку на затылок, прищурился.

– Посмотрим, кто кого сфотографирует, – сказал он и поправил фуражку. – Где он?

– Кто?

– Инженеришка.

– Его нету сегодня.

– Я интеллигентов одной левой делаю.

Танго кончилось.

Пашка прошел к Насте.

– Вы мне не ответили на один вопрос.

– На какой вопрос?

– Я вас провожаю сегодня до хаты?

– Я одна дойду. Спасибо.

Пашка сел рядом с девушкой. Круглые кошачьи глаза его опять смотрели серьезно.

– Поговорим, как жельтмены.

– Боже мой, – вздохнула Настя, поднялась и пошла в другой конец зала.

Пашка смотрел ей вслед. Слышал, как вокруг него сочувственно посмеивались. Он не чувствовал позора. Только стало больно под ложечкой. Горячо и больно. Он тоже встал и пошел из клуба.

На следующий день к вечеру Пашка нарядился пуще прежнего: попросил у Прохорова вышитую рубаху, перепоясал ее синим шелковым пояском с кистями, надел свои диагоналевые синие галифе, бостоновый пиджак – и появился в здешней библиотеке. (Настя работала библиотекарем, о чем Пашка заблаговременно узнал.)

– Здравствуйте! – солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой, и избой-читальней одновременно.

В библиотеке была только Настя, и у стола сидел молодой человек, смотрел «Огонек».

Настя поздоровалась с Пашкой и улыбнулась ему, как старому знакомому.

Пашка подошел к ее столу и начал спокойно рассматривать книги – на Настю ноль внимания. Он сообразил, что парень с «Огоньком» и есть тот самый инженер, жених Насти.

– Почитать что-нибудь? – спросила Настя, несколько удивленная тем, что Пашка не узнал ее.

– Да, надо, знаете…

– Что хотите? – Настя невольно перешла на «вы».

– «Капитал» Карла Маркса. Я там одну главу не дочитал.

Парень отложил «Огонек» и посмотрел на Пашку.

Настя хотела засмеяться, но, увидев строгие Пашкины глаза, сдержала смех.

– Как ваша фамилия?

– Холманский Павел Егорыч. Год рождения тысяча девятьсот тридцать пятый, водитель-механик второго класса.

Пока Настя записывала все это, Пашка незаметно искоса разглядывал ее. Потом оглянулся. Инженер наблюдал за ним. Встретились взглядами. Пашка растерялся и… подмигнул ему.

– Кроссвордами занимаемся?

Инженер не сразу нашелся что ответить.

– Да… А вы, я смотрю, глубже берете.

– Между прочим, Гена, он тоже из Москвы, – сказала Настя.

– Ну?! – Гена искренне обрадовался. – Вы давно оттуда? Расскажите хоть, что там нового.

Пашка излишне долго расписывался в карточке. Молчал.

– Спасибо, – сказал он Насте. Подошел к столу швырнул толстый том, протянул Гене руку. – Павел Егорыч.

– Гена. Очень рад!

– Москва-то? – переспросил Пашка, придвигая к себе несколько журналов. – Шумит Москва, шумит… – И сразу, не давая инженеру опомниться, затараторил: – Люблю смешные журналы! Особенно про алкоголиков – так разрисуют всегда…

– Да, смешно бывает. А вы давно из Москвы?

– Из Москвы-то? – Пашка перелистнул страничку журнала. – А я там не бывал сроду. Девушка меня с кем-то спутала.

– Вы же мне вчера в клубе сами говорили! – изумилась Настя.

Пашка глянул на нее.

– Что-то не помню.

Настя посмотрела на Гену, Гена – на Пашку.

Пашка разглядывал картинки.

– Странно, – сказала Настя. – Значит, мне приснилось.

– Бывает, – согласился Пашка, продолжая рассматривать журнал. – Вот пожалуйста –

очковтиратель, – сказал он, подавая журнал Гене. – Кошмар!

Гена улыбнулся.

– Вы на посевную к нам?

– Так точно. – Пашка оглянулся на Настю: та с интересом разглядывала его. Пашка отметил это. – Сыграем в пешки? – предложил он инженеру

– В пешки? – удивился инженер. – Может, в шахматы?

– В шахматы скучно, – сказал Пашка (он не умел в шахматы). – Думать надо. А в пешечки раз, два – и готово.

– Можно и в пешки, – согласился Гена и посмотрел на Настю.

Настя вышла из-за перегородки и подсела к ним.

– За фук берем? – спросил Пашка.

– Как это?

– За то, что человек прозевает, когда ему надо рубить, берут пешку, – пояснила Настя.

– А-а… Можно брать. Берем.

Пашка быстренько расставил шашки на доске. Взял две, спрятал за спиной.

– В какой?

– В левой.

– Ваша не пляшет. – Ходил первым Пашка.

– Сделаем так, – начал он, устроившись удобнее на стуле: выражение его лица было довольное и хитрое. – Здесь курить, конечно, нельзя? – спросил он Настю.

– Нет, конечно.

– По – что? – нятно! – Пашка пошел второй. – Сделаем некоторый пирамидон, как говорят французы.

Инженер играл слабо, это было видно сразу. Настя стала ему подсказывать. Он возражал против этого.

– Погоди! Ну так же нельзя, слушай… зачем же подсказывать?

– Ты же неверно ходишь!

– Ну и что! Играю-то я.

– Учиться надо.

Пашка улыбался. Он ходил уверенно, быстро.

– Вон той, Гена, крайней, – опять не стерпела Настя.

– Нет, я не могу так! – возмутился Гена. – Я сам только что хотел этой, а теперь не пойду принципиально.

– А чего ты волнуешься-то? Вот чудак!

– Как же мне не волноваться?

– Волноваться вредно, – встрял Пашка и подмигнул незаметно Насте.

Настя покраснела.

– Ну и проиграешь сейчас! Принципиально.

– Нет, зачем?.. Тут еще полно шансов сфотографировать меня, – снисходительно сказал Пашка. – Между прочим, у меня дамка. Прошу ходить.

– Теперь проиграл, – с досадой сказала Настя.

– Занимайся своим делом! – обиделся Гена. – Нельзя же так в самом деле. Отойди!

– А еще инженер. – Настя встала и пошла к своему месту.

– Это уже… не остроумно. При чем тут инженер-то?

– Боюсь ему понравиться-а, – запела Настя и ушла в глубь библиотеки.

– Женский пол, – к чему-то сказал Пашка.

Инженер спутал на доске шашки, сказал чуть охрипшим голосом:

– Я проиграл.

– Выйдем покурим? – предложил Пашка.

– Пойдем.

В сенях, закуривая, инженер признался:

– Не понимаю: что за натура? Во все обязательно вмешивается.

– Ничего, – неопределенно сказал Пашка. – Давно здесь?

– Что?

– Я, мол, давно здесь живешь-то?

– Живу-то? Второй месяц.

– Жениться хочешь?

Инженер с удивлением глянул на Пашку.

– На ней? Да. А что?

– Ничего. Хорошая девушка. Она любит тебя?

Инженер вконец растерялся.

– Любит?.. По-моему, да.

Помолчали. Пашка курил и сосредоточенно смотрел на кончик сигареты. Инженер хмыкнул и спросил:

– Ты «Капитал» действительно читаешь?

– Нет, конечно. – Пашка небрежно прихватил губами сигаретку – в уголок рта, сощурился, заложил ладони за поясок, коротким, быстрым движением расправил рубаху. – Может, в кинишко сходим?

– А что сегодня?

– Говорят, комедия какая-то.

– Можно.

– Только это… пригласи ее… – Пашка кивнул на дверь библиотеки, нахмурился участливо.

– Ну а как же! – тоже серьезно сказал инженер. – Я сейчас зайду к ней… поговорю…

– Давай, давай!

Инженер ушел, а Пашка вышел на крыльцо, облокотился о перила и стал смотреть на улицу.

…В кино сидели вместе все трое. Настя – между инженером и Пашкой.

Едва только погасили свет, Пашка придвинулся ближе к Насте и взял ее за руку. Настя молча отняла руку и отодвинулась. Пашка как ни в чем не бывало стал смотреть на экран. Посмотрел минут десять и опять стал осторожно искать руку Насти. Настя вдруг придвинулась к нему и едва слышно шепнула на ухо:

– Если ты будешь распускать руки, я опозорю тебя на весь клуб.

Пашка моментально убрал руку.

Посидел еще минут пять. Потом наклонился к Насте и тоже шепотом сказал:

– У меня сердце разрывается, как осколочная граната.

Настя тихонько засмеялась. Пашка опять начал искать ее руку. Настя обратилась к Гене:

– Дай я пересяду на твое место.

– Загораживают, да? Эй, товарищ, убери свою голову! – распорядился Пашка.

Впереди сидящий товарищ «убрал» голову.

– Теперь ничего?

– Ничего, – сказала Настя.

В зале было шумно. То и дело громко смеялись.

Пашка согнулся в три погибели, закурил и стал торопливо глотать сладкий дым. В светлых лучах отчетливо закучерявились синие облачка. Настя толкнула его в бок:

– Ты что?

Пашка погасил папироску… Нашел Настину руку, с силой пожал ее и, пригибаясь, пошел к выходу. Сказал на ходу Гене:

– Пусть эту комедию тигры смотрят.

На улице Пашка расстегнул ворот рубахи, закурил. Медленно пошел домой. Дома, не раздеваясь, прилег на кровать.

– Ты чего такой грустный? – спросил Ермолай.

– Да так… – сказал Пашка. Полежал несколько минут и вдруг спросил: – Интересно, сейчас женщин воруют или нет?

– Как это? – не понял Ермалай.

– Ну как раньше… Раньше ведь воровали?

– А-а! Черт его знает! А зачем их воровать-то? Они и так, по-моему, рады, без воровства.

– Это конечно. Я так просто, – согласился Пашка. Еще немного помолчал. – И статьи, конечно, за это никакой нет?

– Наверно. Я не знаю, Павел.

Пашка встал с кровати, заходил по комнате. О чем-то сосредоточенно думал.

– В жизни раз бывает восемна-адцать лет, – запел он вдруг. – Егорыч, на – рубаху. Сэнк-ю!

– Чего вдруг!

– Так. – Пашка скинул вышитую рубаху Прохорова, надел свою. Постоял посреди комнаты, еще подумал. – Сфотографировано, Егорыч!

– Ты что, девку какую-нибудь надумал украсть? – спросил Ермолай.

Пашка засмеялся, ничего не сказал, вышел на улицу.

Была сырая темная ночь. Недавно прошел хороший дождь, отовсюду капало. Лаяли собаки. Тарахтел где-то движок.

Пашка вошел в РТС, где стояла его машина.

Во дворе РТС его окликнули.

– Свои, – сказал Пашка.

– Кто свои?

– Холманский.

– Командировочный, что ль?

– Ну.

В круг света вышел дедун сторож, в тулупе, с берданкой.

– Ехать, что ль?

– Ехать.

– Закурить имеется?

– Есть.

Закурили.

– Дождь, однако, ишо будет, – сказал дед и зевнул. – Спать клонит в дождь.

– А ты спи, – посоветовал Пашка.

– Нельзя. Я тут давеча соснул было, дак заехал этот…

Пашка прервал словоохотливого старика:

– Ладно, батя, я тороплюсь.

– Давай, давай. – Старик опять зевнул.

Пашка завел свою полуторку и выехал со двора РТС.

Он знал, где живет Настя – у самой реки над обрывом.

Днем разговорились с Прохоровым, и он показал Пашке этот дом. Пашка запомнил, что окна горницы выходят в сад.

Сейчас Пашку волновал один вопрос: есть у Платановых собака или нет?

На улицах в деревне никого не было. Даже парочки попрятались. Пашка ехал на малой скорости, опасаясь влететь куда-нибудь.

Подъезжая к Настиному дому, он совсем почти сбросил газ, вылез из кабины. Мотор не заглушил.

– Так, – негромко сказал он и потер ладонью грудь: он волновался.

Света не было в доме. Присмотревшись во тьме, Пашка увидел сквозь голые деревья слабо мерцающие темные окна горницы. Сердце Пашки громко заколотилось.

«Только бы собаки не было».

Он кашлянул, осторожно потряс забор – во дворе молчание. Тишина. Каплет с крыши.

«Ну, Пашка… или сейчас в лоб получишь, или…»

Он тихонько перелез через низенький забор и пошел к окнам. Слышал сзади приглушенное ворчание своей верной полуторки, свои шаги и громкую капель. Весна исходила соком. Пахло погребом.

Пашка, пока шел по саду, мысленно пел песню про восемнадцать лет, одну и ту же фразу: «В жизни раз бывает восемнадцать лет». Он весь день сегодня пел эту песню.

Около самых окон под его ногой громко треснул сучок. Пашка замер. Тишина. Каплет. Пашка сделал последние два шага и стал в простенке. Перевел дух.

«Одна она тут спит или нет?» – возник новый вопрос.

Он вынул фонарик, включил и направил в окно. Желтое пятно света поползло по стенкам, вырывая из тьмы отдельные предметы: печка-голландка, дверь, кровать… Пятно дрогнуло и замерло. На кровати кто-то зашевелился, поднял голову – Настя. Не испугалась. Легко вскочила и пошла к окну в одной ночной рубашке. Пашка выключил фонарик.

Настя откинула крючки и раскрыла окно.

Из горницы пахнуло застойным сонным теплом.

– Ты что? – спросила она негромко. Голос ее насторожил Пашку – какой-то отчужденный.

«Неужели узнала?» – испугался он. Он хотел, чтобы его принимали пока за другого. Он молчал.

Настя отошла от окна. Пашка включил фонарик. Настя прошла к двери, закрыла ее плотнее и вернулась к окну. Пашка выключил фонарь.

«Не узнала. Иначе не разгуливала бы в одной рубахе».

Пашка услышал запах ее волос. В голову ударил горячий туман. Он отстранил ее и полез в окно.

– Додумался? – сказала Настя слегка потеплевшим голосом.

«Додумался, додумался, – думал Пашка. – Сейчас будет цирк».

– Ноги-то вытри, – сказала Настя, когда Пашка влез в горницу и очутился с ней рядом.

Пашка продолжал молчать. Обнял ее, теплую, мягкую. Так сдавил, что у ней лопнула на рубашке какая-то тесемка.

– Ох, – глубоко вздохнула Настя, – что ж ты делаешь? Шальной!..

Пашка начал ее целовать. И тут что-то случилось с Настей: она вдруг вывернулась из его объятий, отскочила, судорожно зашарила рукой по стене, отыскивая выключатель.

«Все. Конец». Пашка приготовился к самому худшему: сейчас она закричит, прибежит ее отец и будет его фотографировать. Он отошел на всякий случай к окну.

Вспыхнул свет. Настя настолько была поражена, что поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним человеком почти нагая.

Пашка ласково улыбнулся ей.

– Испугалась?

Настя схватила со стула юбку и стала надевать. Надела, подошла к Пашке. Не успел он подумать о чем-либо, как ощутил на левой щеке сухую горячую пощечину. И тотчас такую же – на правой.

Потом некоторое время стояли друг против друга, смотрели… У Насти от гнева расцвел на щеках яркий румянец. Она была поразительно красива в эту минуту.

«Везет инженеру», – невольно подумал Пашка.

– Сейчас же убирайся отсюда! – негромко приказала Настя.

Пашка понял, что она не будет кричать – не из таких.

– Побеседуем, как жельтмены, – заговорил Пашка, закуривая. – Я могу, конечно, уйти, но это банально. Это серость. – Он бросил спичку в окно и продолжал развивать свою мысль несколько торопливо, ибо опасался, что Настя возьмет в руки какой-нибудь тяжелый предмет и снова предложит убираться. От волнения Пашка стал прохаживаться по горнице – от окна к столу и обратно. – Я влюблен, так. Это факт, а не реклама. И я одного только не понимаю: чем я хуже этого инженера? Если на то пошло, я могу легко стать Героем Социалистического Труда. Надо только сказать мне об этом. И все. Зачем же тут аплодисменты устраивать? Собирайся и поедем со мной. Будем жить в городе. – Пашка остановился. Смотрел на Настю серьезно, не мигая. Он любил ее, любил, как никого никогда в жизни еще не любил.

Она поняла это.

– Какой же ты дурак, парень, – грустно и просто сказала она. – Чего ты мелешь тут? – Она села на стул. – Натворил делов и еще философствует, ходит. Он любит!.. – Настя странно как-то заморгала, отвернулась. Пашка понял: заплакала. – Ты любишь, а я, по-твоему, не люблю? – Настя резко повернулась к нему – в глазах слезы.

Она была на редкость, на удивление красива. И тут Пашка понял: никогда в жизни ему не отвоевать ее. Всегда у него так: как что чуть посерьезнее, поглубже – так не его.

– Чего ты плачешь?

– Да потому, что вы только о себе думаете… эгоисты несчастные! Он любит! – Она вытерла слезы. – Любишь, так уважай хоть немного, а не так…

– Что же я такого сделал? В окно залез – подумаешь! Ко всем лазят…

– Не в окне дело. Дураки вы все, вот что. Тот дурак тоже… весь высох от ревности. Приревновал ведь он к тебе. Уезжать собрался.

– Как уезжать? Куда? – Пашка понял, кто этот дурак.

– Куда… Спроси его!

Пашка нахмурился.

– На полном серьезе?

Настя опять вытерла ладошкой слезы, ничего не сказала. Пашке стало до того жалко ее, что под сердцем заныло.

– Собирайся! – приказал он.

Настя вскинула на него удивленные глаза.

– Поедем к нему. Я объясню этим московским фраерам, что такое любовь человеческая.

– Сиди уж… не трепись!

– Послушайте, вы!.. Молодая, интересная… – Пашка приосанился. – Мне можно съездить по физиономии, так? Но слова вот эти дурацкие я не перевариваю. Что значит – не трепись?

– Куда ты поедешь сейчас? Ночь глубокая…

– Наплевать. Одевайся. На – кофту! Пашка снял со спинки стула кофту, бросил Насте. Настя поймала ее, поднялась в нерешительности.

Пашка опять заходил по горнице.

– Из-за чего же это он приревновал? – спросил он не без самодовольства.

– Танцевали… ему сказал кто-то. Потом в кино шептались. Он же дурак набитый.

– Что же ты не могла ему объяснить?

– Нужно мне объяснять! Никуда я не поеду.

Пашка остановился.

– Считаю до трех: раз, два… А то целоваться полезу!

– Я те полезу! Что ты ему скажешь?

– Я знаю что!

– А я к чему там?

– Надо.

– Да зачем?

– Я не знаю, где он живет. Вообще надо ехать. Точка.

Настя надела кофту, туфли.

– Лезь. Я за тобой. Видел бы кто-нибудь сейчас…

Пашка вылез в сад, помог Насте. Вышли на дорогу.

Полуторка ворчала на хозяина.

– Садись, ревушка-коровушка!.. Возись тут с вами по ночам.

Пашке эта новая нежданная роль нравилась.

Настя залезла в кабину

– Меня, что ли, хотел увозить? На машине-то?

– Где уж тут!.. С вами вперед прокиснешь, чем…

– Ну до чего ты, Павел…

– Что? – строго спросил Пашка.

– Ничего.

– То-то. – Пашка со скрежетом всадил скорость и поехал.

…Инженер не спал, когда Пашка постучал ему в окно.

– Кто это?

– Я.

– Кто я?

– Пашка. Павел Егорыч.

Инженер открыл дверь, впустил Пашку. Не скрывая удивления, уставился на него.

Пашка кивнул на стол, заваленный бумагами.

– Грустные стихи сочиняешь?

– Я не понимаю, слушай…

– Поймешь. – Пашка сел к столу, отодвинул локтем бумаги. – Любишь Настю?

– Слушай!.. – Инженер начал краснеть.

– Любишь. Значит, так: иди веди ее сюда – она в машине сидит.

– Где? В какой машине?

– На улице. Ко мне зря приревновал: мне с хорошими бабами не везет.

Инженер быстро вышел на улицу, а Пашка, Павел Егорыч, опустил голову на руки и закрыл глаза. Он как-то сразу устал. Опять некстати вспомнились надоевшие слова: «В жизни раз бывает…» В груди противно заболело.

Вошли инженер с Настей.

Пашка поднялся. Некоторое время смотрел на них, как будто собирался сказать напутственное слово.

– Все? – спросил он.

– Все, – ответил инженер.

Настя улыбнулась.

– Вот так, – сердито сказал Пашка. – Будьте здоровы. – Он пошел к выходу.

– Куда ты? Погоди!.. – запротестовал инженер. Пашка, не оглянувшись, вышел.

Уезжал Пашка из этой деревни. Уезжал в Салтон. Прохорову он подсунул под дверь записку с адресом автобазы, куда просил прислать справку о том, что он отработал честно три дня на посевной. Представив себе, как будет огорчен Прохоров его отъездом, Пашка дописал в конце: «Прости меня, но я не виноват».

Пашке было грустно. Он беспрерывно курил.

Пошел мелкий дождь.

У Игренева, последней деревни перед Салтоном, на дороге впереди выросли две человеческие фигуры. Замахали руками.

Пашка остановился.

Подбежали молоденький офицер с девушкой.

– До Салтона подбрось, пожалуйста! – Офицер был чем-то очень доволен.

– Садись!

Девушка залезла в кабину и стала вертеться, отряхиваться. Лейтенант запрыгнул в кузов. Начали переговариваться, хохотали.

Пашка искоса разглядывал девушку – хорошенькая, белозубая, губки бантиком – прямо куколка! Но до Насти ей далеко.

– Куда это на ночь глядя? – спросил Пашка.

– В гости, – охотно откликнулась девушка. И высунулась из кабины – опять говорить со своим дружком. – Саша? Саш!.. Как ты там?!

– В ажуре! – кричал из кузова лейтенант.

– Что, дня не хватает? – опять спросил Пашка.

– Что? – Девушка мельком глянула на него и опять: – Саша? Саш!..

– Все начисто повлюблялись, – проворчал Пашка. – С ума все посходили. – Он вспомнил опять Настю: совсем недавно она сидела с ним рядом – чужая. И эта чужая.

– Саша! Саш!..

«Саша! Саш! – съехидничал про себя Пашка. – Твой Саша и так сам себя не помнит от радости. Пусти сейчас – вперед машины побежит».

– Я представляю, что там сейчас будет! – кричал из кузова Саша.

Девушка так и покатилась со смеху.

«Нет, люди все-таки ненормальными становятся в это время», – сердито думал Пашка.

Дождь припустил сильнее.

– Саша! Как ты там?!

– Порядок! На борту порядок!

– Скажи ему – там под баллоном брезент есть – пусть накроется, – сказал Пашка.

Девушка чуть не вывалилась из кабины.

– Саша! Саш!.. Под баллоном какой-то брезент!.. Накройся!

– Хорошо! Спасибо!

– На здоровье, – сказал Пашка, закурил и задумался, всматриваясь прищуренными глазами в дорогу.

Игнаха приехал

В начале августа в погожий день к Байкаловым приехал сын Игнатий. Большой, красивый, в черном костюме из польского крепа. Пинком распахнул ворота – в руках по чемодану, – остановился, оглядел родительский двор и гаркнул весело:

– Здорово, родня!

Молодая яркая женщина, стоявшая за ним, сказала с упреком:

– Неужели нельзя потише?.. Что за манера!

– Ничего-о, – загудел Игнатий, – сейчас увидишь, как обрадуются.

Из дому вышел квадратный старик с огромными руками. Тихо засмеялся и вытер рукавом глаза.

– Игнашка!.. – сказал он и пошел навстречу Игнатию. Игнатий бросил чемоданы. Облапали друг друга, трижды – крест-накрест – поцеловались. Старик опять вытер глаза.

– Как надумал-то?

– Надумал.

– Сколько уж не был? Лет пять, однако. Мать у нас захворала, знаешь… В спину что-то вступило…

Отец и сын глядели друг на друга, не могли наглядеться. О женщине совсем забыли. Она улыбалась и с интересом рассматривала старика.

– А это жена, что ли? – спросил наконец старик.

– Жена, – спохватился Игнатий. – Познакомься.

Женщина подала старику руку. Тот осторожно пожал ее.

– Люся.

– Ничего, – сказал старик, окинув оценивающим взглядом Люсю.

– А?! – с дурашливой гордостью воскликнул Игнатий.

– Пошли в дом, чего мы стоим тут! – Старик первым двинулся к дому.

– Как мне называть его? – тихо спросила Люся мужа.

Игнатий захохотал.

– Слышь, тять!.. Не знает, как называть тебя!

Старик тоже засмеялся.

– Отцом вроде довожусь… – Он молодо взошел на крыльцо, заорал в сенях: – Мать, кто к нам приехал-то!

В избе на кровати лежала горбоносая старуха, загорелая и жилистая. Увидела Игнатия – заплакала.

– Игнаша, сынок… приехал…

Сын наскоро поцеловал мать и полез в чемоданы. Гулкий сильный голос его сразу заполнил всю избу.

– Шаль тебе привез… пуховую. А тебе, тять, сапоги. А Маруське – во!.. А это Ваське… Все тут живы-здоровы?

Отец с матерью, для приличия снисходительно улыбаясь, с интересом наблюдали за движениями сына – он все доставал и доставал из чемоданов.

– Все здоровы. Мать вон только… – Отец протянул длинную руку к сапогам, бережно взял один и стал щупать, мять, поглаживать добротный хром. – Ничего товар… Васька износит. Мне уж теперь ни к чему такие.

– Сам будешь носить. Вот Маруське еще на платье. – Игнатий выложил все, присел на табурет. Табурет жалобно скрипнул под ним. – Ну, рассказывайте, как живете? Соскучился без вас.

– Соскучился, так раньше бы приехал.

– Дела, тятя.

– Дела… – Отец почему-то недовольно посмотрел на молодую жену сына. – Какие уж там дела-то!..

– Ладно тебе, отец, – сказала мать. – Приехал – и-то слава Богу.

Игнатию не терпелось рассказать о себе, и он воспользовался случаем возразить отцу, который, судя по всему, не очень высоко ставил его городские дела. Игнатий

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru был борцом в цирке. В городе у него была хорошая квартира, были друзья, деньги, красивая жена…

— Ты говоришь: «Какие там дела!» — заговорил Игнатий, положив ногу на ногу и ласково глядя на отца. — Как тебе объяснить? Вот мы, русские, крепкий ведь народишка! Посмотришь на другого — черт его знает!.. — Игнатий встал, прошелся по комнате. — В плечах сажень, грудь как у жеребца породистого, — силен! Но чтобы научиться владеть этой силой, освоить технику, выступить где-то на соревнованиях — это Боже упаси! Он будет лучше в одиночку на медведя ходить. Дикости еще много в нашем народе. О культуре тела никакого представления. Физкультуры боится как черт ладана. Я же помню, как мы в школе профанировали ее. — С последними словами Игнатий обратился к жене.

Как-то однажды Игнатий набрел на эту мысль — о преступном нежелании русского народа заниматься физкультурой, кому-то высказал ее, его поддержали. С тех пор он так часто распространялся об этом, что, когда сейчас заговорил и все о том же, жена его заскучала и стала смотреть в окно.

— …Поэтому, тятя, как ты хошь думай, но дело у меня важное. Может, поважнее Васькиного.

— Ладно, — согласился отец. Он слушал невнимательно. — Мать, где там у нас?.. В лавку пойду.

— Погоди, — остановил его Игнатий. — Зачем в лавку?

Вкусив от сладостного плода поучений, он хотел было еще поговорить о том, что надо и эту привычку бросать русским людям: чуть что — сразу в лавку. Зачем, спрашивается? Но отец так глянул на него, что он сразу отступился, махнул рукой, вытащил из кармана толстый бумажник, шлепнул на стол:

— На деньга!

Отец обиженно приподнял косматые брови.

— Ты брось тут, Игнаха!.. Приехал в гости — значит, сиди помалкивай. Что, у нас своих денег нету?

Игнатий засмеялся.

— Ладно, понял. Ты все такой же, отец.

Сидели за столом, выпивали.

Старик Байкалов размяк, облапал узловатыми ладонями голову, запел было:

Зачем сидишь до полуночи
У растворенного окна,
Ох, зачем сидишь…
Но замолчал. Некоторое время сидел, опустив на руки голову. Потом сказал с неподдельной грустью:

— Кончается моя жизнь, Игнаха. Кончается! — Он ругнулся.

Жена Игнатия покраснела и отвернулась к окну. Игнатий сказал с укором:

— Тятя!

— А ты, Игнат, другой стал, — продолжал отец, не обратив никакого внимания на упрек сына. — Ты, конечно, не замечаешь этого, а мне сразу видно.

Игнатий смотрел трезвыми глазами на отца, внимательно слушал его странные речи.

— Ты давеча вытащил мне сапоги… Спасибо, сынок! Хорошие сапоги…

— Не то говоришь, отец, — сказал Игнатий. — При чем тут сапоги?

— Не обессудь, если не так сказал, — я старый человек. Ладно, ничего. Васька

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru скоро придет, брат твой… Здоровый он стал! Он тебя враз сомнет, хоть ты и про физкультуру толкуешь. Ты жидковат против Васьки. Куда там!..

Игнатий засмеялся; к нему вернулась его необидная веселая снисходительность.

— Посмотрим, посмотрим, тятя.

— Давай еще по маленькой? — предложил отец.

— Нет, — твердо сказал Игнатий.

— А! Вот муж какой у тебя! — не без гордости заметил старик, обращаясь к жене Игнатия. — Наша порода — Байкаловы. Сказал «нет» — значит все. Гроб! Я такой же был. Вот еще Васька придет. А еще у нас Маруська есть. Та покрасивше тебя будет, хотя она, конечно, не расфуфыренная…

— Ты, отец, разговорился что-то, — урезонила жена старика. — Совсем уж из ума стал выживать. Черт-те чего мелет. Не слушайте вы его, брехуна.

— Ты лежи, мать, — беззлобно огрызнулся старик. — Лежи себе, хворай. Я тут с людьми разговариваю, а ты нас перебиваешь.

Люся поднялась из-за стола, подошла к комоду и стала разглядывать патефонные пластинки. Ей, видно, было неловко.

Игнатий тоже встал. Завели патефон. Поставили «Грушицу».

Молчали. Слушали.

Старший Байкалов смотрел в окно, о чем-то невесело думал.

Вечерело. Горели розовым нежарким огнем стекла домов. По улице, поднимая пыль, с ревом прошло стадо. Корова Байкаловых подошла к воротам, попробовала поддеть их рогом — не получилось. Она стояла и мычала. Старик смотрел на нее и не двигался. Праздника почему-то не получилось. А он давненько поджидал этого дня — думал, будет большой праздник. А сейчас сидел и не понимал: почему же не вышло праздника? Сын приехал какой-то не такой. В чем не такой? Сын как сын, подарки привез. И все-таки что-то не то.

Пришла Марья — рослая девушка, очень похожая на Игнатия. Увидев брата, просияла радостной сдержанной улыбкой.

— Ну здравствуй, здравствуй, красавица! — забасил Игнатий, несколько бесцеремонно разглядывая взрослую сестру. — Ведь ты же невеста уже!

— Будет тебе, — степенно сказала Марья и пошла знакомиться с Люсей.

Старик Байкалов смотрел на все это, грустно сощурившись.

— Сейчас Васька придет, — сказал он. Он ждал Ваську. Зачем ему нужно было, чтобы скорей пришел его младший сын, он не знал.

Молодые ушли в горницу и унесли с собой патефон. Игнатий прихватил туда же бутылку красного вина и закуску.

— Выпью с сестренкой, была не была!

— Давай, сынок, это ничего. Это полезно, — миролюбиво сказал отец.

Начали приходить бывшие друзья и товарищи Игнатия. Тут-то бы и начаться празднику, а праздник все не наступал. Приходили, здоровались со стариком и проходили в горницу, заранее улыбаясь. Скоро там стало шумно. Гудел могучий бас Игнатия, смеялись женщины, дребезжал патефон. Двое дружков Игнатия сбегали в лавку и вернулись с бутылками и кульками.

«Сейчас Васька придет», — ждал старик. Не было у него на душе праздника — и все тут.

Пришел наконец Васька – огромный парень с открытым крепким лицом, загорелый, грязный. Васька походил на отца, смотрел так же – вроде угрюмо, а глаза добрые.

– Игнашка приехал, – встретил его отец.

– Я уж слышал, – сказал Васька, улыбнулся и тряхнул русыми спутанными волосами. Сложил в угол какие-то железяки, выпрямился.

Старик поднялся из-за стола, хотел идти в горницу, но сын остановил его:

– Погоди, тять, дай я хоть маленько ополоснусь. А то неудобно даже.

– Ну, давай, – согласился отец. – А то верно – он нарядный весь, как этот… как артист.

И тут из горницы вышел Игнатий с женой.

– Брательник! – заревел Игнатий, растопырив руки. – Васька! – И пошел на него.

Васька покраснел, как девица, засмеялся, переступил с ноги на ногу.

Игнатий обнял его.

– Замараю, слушай. – Васька пытался высвободиться из объятий брата, но тот не отпускал.

– Ничего-о!.. Это трудовая грязь, братка. Дай поцелую тебя, окаянная душа! Соскучился без вас.

Братья поцеловались.

Отец смотрел на сыновей, и по щекам его катились слезы. Он вытер их и громко высморкался.

– Он тебе подарки привез, Васька, – громко сказал отец, направляясь к чемоданам.

– Брось, тятя, какие подарки! Ну давай, что ты должен делать-то? Умываться? Умывайся скорей. Выпьем сейчас с тобой. Вот! Видела Байкаловых? – Игнатий легонько подтолкнул жену к брату. – Знакомьтесь.

Васька покраснел пуще прежнего – не знал: подавать яркой женщине грязную руку или нет. Люся сама взяла его руку и крепко пожала.

– Он у нас стеснительный, – пояснил отец.

Васька осторожно кашлянул в кулак, негромко, коротко засмеялся; он готов был провалиться сквозь землю от таких объяснений отца.

– Тятя… скажет тоже.

– Иди умывайся, – сказал отец.

– Да, пойду маленько… того…

Васька пошел в сени.

Игнатий двинулся за ним.

– Пойдем, полью тебе по старой памяти!

Отец тоже вышел на улицу.

Умываться решили идти на Катунь – она протекала под боком, за огородами.

– Искупаемся? – предложил Игнатий и похлопал себя ладонями по могучей груди.

Шли огородами по извилистой, едва приметной тропке в буйной картофельной ботве.

– Ну как живете-то? – басил Игнатий, шагая вразвалку между отцом и братом.

Васька опять коротко засмеялся. Он как-то странно смеялся: не то смеялся, не то покашливал смущенно. Он был очень рад брату.

– Ничего.

– Хорошо живем! – воскликнул отец. – Не хуже городских.

– Ну и слава Богу! – с чувством сказал Игнатий. – Василий, ты, говорят, нагулял тут силенку?

Василий опять засмеялся.

– Какая силенка!.. Скажешь тоже. Как ты-то живешь?

– Я хорошо, братцы! Я совсем хорошо. Как жена моя вам? Тять?

– Ничего. Я в них не шибко понимаю, сынок. Вроде ничего.

– Хорошая баба, – похвалил Игнатий. – Человек хороший.

– Шибко нарядная только. Зачем так?

Игнатий оглушительно захохотал.

– Обыкновенно одета! По-городскому, конечно. Поотстали вы в этом смысле.

– Чего-то ты много хохочешь, Игнат, – заметил старик. – Как дурак какой.

– Рад, поэтому смеюсь.

– Рад… Мы тоже рады, да не ржем, как ты. Васька вон не рад, что ли?

– Ты когда жениться-то будешь, Васька? – спросил Игнатий.

– Он сперва в армию сходит, – сказал отец.

– Ты это… когда пойдешь в армию, сразу записывайся в секцию, – посоветовал старший брат. – Я же так начал. Тренер толковый попадется – можешь вылезти.

Васька слушал, неопределенно улыбался.

Пришли к реке.

Игнатий первый скинул одежду, обнажив свое красивое тренированное тело, попробовал ногой воду, тихонько охнул.

– Мать честная! Вот это водичка.

– Что? – Васька тоже разделся. – Холодная?

– Ну-ка, ну-ка? – заинтересовался Игнатий. Подошел к Ваське и стал его похлопывать и осматривать со всех сторон, как жеребца.

Васька терпеливо стоял, смотрел в сторону, беспрерывно поправляя трусы, посмеивался.

– Есть, – заключил Игнатий. – Давай попробуем?

– Да ну! – Васька недовольно тряхнул волосами.

– А чего, Васька? Поборись! – Отец с упреком смотрел на младшего.

– Бросьте вы, на самом деле, – упрямо и серьезно сказал Васька. – Чего ради сгребемся тут? На смех людям?

– Тьфу! – рассердился отец. – Ты втолкуй ему, Игнат, ради Христа! Он какой-то

телок у нас – всего стесняется.

– А чего тут стесняться-то? Если бы мы какие-нибудь дохлые были, тогда действительно стыдно.

– Объясни вот ему!

Васька нахмурился и пошел к воде. Сразу окунулся и поплыл, сильно загребая огромными руками; вода вскипала под ним.

– Силен! – с восхищением сказал Игнатий.

– Я ж тебе говорю!

Помолчали, глядя на Ваську

– Он бы тебя уложил.

– Не знаю, – не сразу ответил Игнатий. – Силы у него больше – это ясно.

Отец сердито высморкался на песок. Игнатий постоял еще немного и тоже полез в воду. А отец пошел ниже по реке, куда выплывал Васька. Когда Васька вышел на берег, они о чем-то негромко и горячо заговорили. Отец доказывал свое, даже прижимал к груди руки, Васька бубнил свое. Когда Игнатий доплыл к ним, они замолчали.

Игнатий вылез из воды и задумчиво стал смотреть на далекие синие горы, на многочисленные острова.

– Катунь-матушка, – негромко сказал он.

Васька и отец тоже посмотрели на реку.

На той стороне, на берегу, сидела на корточках баба с высоко задранной юбкой, колотила вальком по белью, ослепительно белели ее тупые круглые коленки.

– Юбку-то спусти маленько, эй! – крикнул старик.

Баба подняла голову, посмотрела на Байкаловых и продолжала колотить вальком по белью.

– Вот халда! – с восхищением сказал старик. – Хоть бы хны ей.

Братья стали одеваться.

Хмель у Игнатия прошел. Ему что-то грустно стало.

– Чего ты такой? – спросил Васька, у которого, наоборот, было очень хорошее настроение.

– Не знаю. Так просто.

– Не допил, поэтому, – пояснил старик. – Ни два, ни полтора получилось.

– Черт его знает! Не обращайте внимания. Давайте посидим, покурим…

Сели на теплые камни. Долго молчали, глядя на быстротекущие волны. Они лопотали у берега что-то свое, торопились.

Солнце село на той стороне, за островами. Было тихо. Только всплескивали волны, кипела река да удары валька по мокрому белью – гулкие, смачные – разносились над рекой.

Трое смотрели на родную реку, думали каждый свое.

Игнатий присмирел. Перестал хохотать, не басил.

– Что, Вася? – негромко спросил он.

– Ничего. – Васька бросил камешек в воду.

– Все пашешь?

– Пашем.

Игнатий тоже бросил в воду камень. Помолчали.

– Жена у тебя хорошая, – сказал Васька. – Красивая.

– Да? – Игнатий оживился, с любопытством, весело посмотрел на брата. Сказал неопределенно: – Ничего. Тяте вон не нравится.

– Я не сказал, что не нравится, чего ты зря? – Старик неодобрительно посмотрел на Игнатия. – Хорошая женщина. Только, я считаю, шибко фартовая.

Игнатий захохотал.

– А ты знаешь, что такое фартовая-то?

Отец отвернулся к реке, долго молчал – обиделся. Потом повернулся к Ваське и сказал сердито:

– Зря ты не поборолся с ним.

– Вот привязался! – удивился Васька. – Ты что?

– Заело что-то тятю, – сказал Игнатий, – что-то не нравится ему.

– Что мне не нравится? – повернулся к нему отец.

– Не знаю. На душе у тебя что-то не так, я же вижу.

– Ну и видь! Ты шибко умный стал, прямо спасу нет. Все ты видишь, все понимаешь!

– Будет вам! – сказал Васька. – Чего взялись? Нашли время.

– Да ну его! – Отец засморкался и полез за кисетом. – Приехал, расхвастался тут, подарков навез… подумаешь!

– Тять, да ты что в самом деле?!

Игнатий даже привстал от удивления. Васька незаметно толкнул его в бок – не лезь. Игнатий сел и вопросительно посмотрел на Ваську. Тот поднялся, отряхнул песок со штанов, посмотрел на отца.

– Пошли? Тять…

– У тебя деньги есть? – спросил тот.

– Есть. Пошли…

Старик поднялся и, не оглядываясь, пошел первым по тропе, ведущей к огородам.

– Чего он? – Игнатия не на шутку встревожило настроение отца.

– Так… Ждал тебя долго. Сейчас пройдет. Песню спой с ним какую-нибудь. – Васька улыбнулся.

– Какую песню? Я их перезабыл все. А ты поешь с ним песни?

– Да я ж шутейно. Я сам не знаю, чего он… Пройдет.

Опять шли по огородам друг за другом, молчали. Игнатий шел за отцом, смотрел на его сутулую спину и думал почему-то о том, что правое плечо у отца ниже левого, – раньше он не замечал этого.

Шорник Антип Калачиков уважал в людях душевную чуткость и доброту. В минуты хорошего настроения, когда в доме устанавливался относительный мир, Антип ласково говорил жене:

— Ты, Марфа, хоть и крупная баба, а бестолковенькая.

— Эт почему же?

— А потому… Тебе что требуется? Чтобы я день и ночь только шил и шил? А у меня тоже душа есть. Ей тоже попрыгать, побаловаться охота, душе-то.

— Плевать мне на твою душу!

— Эх-х…

— Чего «эх»? Чего «эх»?

— Так… Вспомнил твоего папашу-кулака, царство ему небесное.

Марфа, грозная, большая Марфа, подбоченившись, строго смотрела сверху на Антипа. Сухой, маленький Антип стойко выдерживал ее взгляд.

— Ты папашу моего не трожь!.. Понял?

— Ага, понял, — кротко отвечал Антип.

— То-то.

— Шибко уж ты строгая, Марфынька. Нельзя так, милая: надсадишь сердечушко свое и помрешь.

Марфа за сорок лет совместной жизни с Антипом так и не научилась понимать; когда он говорит серьезно, а когда шутит.

— Вопчем, шей.

— Шью, матушка, шью.

В доме Калачиковых жил неистребимый крепкий запах выделанной кожи, вара и дегтя. Дом был большой, светлый. Когда-то он оглашался детским смехом; потом, позже, бывали здесь и свадьбы, бывали и скорбные ночные часы нехорошей тишины, когда зеркало завешено и слабый свет восковой свечи — бледный и немощный — чуть-чуть высвечивает глубокую тайну смерти. Много всякого было. Антип Калачиков со своей могучей половиной вывел к жизни двенадцать человек детей. А всего было восемнадцать.

Облик дома менялся с годами, но всегда неизменно оставался рабочий уголок Антипа — справа от печки, за перегородкой. Там Антип шил сбруи, уздечки, седелки, делал хомуты. И там же, на стенке, висела его заветная балалайка. Это была страсть Антипа, это была его бессловесная глубокая любовь всей жизни — балалайка. Антип мог часами играть на ней, склонив набочок голову, и непонятно было: то ли она ему рассказывает что-то очень дорогое, давно забытое им, то ли он передает ей свои неторопливые стариковские думы. Он мог сидеть так целый день, и сидел бы, если бы не Марфа. Марфе действительно нужно было, чтобы он целыми днями только шил и шил: страсть как любила деньги, тряслась над копейкой. Она всю жизнь воевала с Антиповой балалайкой. Один раз дошло до того, что она в гневе кинула ее в огонь, в печку. Побледневший Антип смотрел, как она горит. Балалайка вспыхнула сразу, точно берестинка. Ее стало коробить… Трижды простонала она почти человеческим стоном — и умерла.

Антип пошел во двор, взял топор и изрубил на мелкие кусочки все заготовки хомутов, все сбруи, седла и уздечки. Рубил молча, аккуратно. На скамейке. Перетрусившая Марфа не сказала ни слова. После этого Антип пил неделю, не заявляясь домой. Потом пришел, повесил на стенку новую балалайку и сел за работу. Больше Марфа никогда не касалась балалайки. Но за Антипом следила внимательно: не засиживалась у соседей подолгу, вообще старалась не отлучаться из дому. Знала: только она за порог, Антип снимает балалайку и играет — не

Как-то раз осенним вечером сидели они – Антип в своем уголке, Марфа у стола с вязаньем.

Молчали.

Во дворе слякотно, дождик идет. В доме тепло, уютно. Антип молоточком заколачивает в хомут медные гвоздочки: тук-тук, тук-тук, тук-тук-тук… Отложила Марфа вязанье, о чем-то задумалась, глядя в окно.

Тук-тук, тук-тук, – постукивает Антип. И еще тикают ходики, причем как-то так, что кажется, что они вот-вот остановятся. А они не останавливаются. В окна мягко и глуховато сыплет горстями дождь.

– Чего пригорюнилась, Марфынька? – спросил Антип. – Все думаешь, как деньжат побольше скопить?

Марфа молчит, смотрит задумчиво в окно. Антип глянул на нее.

– Помирать скоро будем, так что думай не думай. Думай не думай – сто рублей не деньги. – Антип любил поговорить, когда работал. – Я вот всю жизнь думал и выдумал себе геморрой. Работал! А спроси: чего хорошего видел? Да ничего. Люди хоть сражались, восстания разные поднимали, в гражданской участвовали, в Отечественной… Хоть уж погибали, так героически. А тут – как сел с тринадцати годков, так и сижу – скоро семисят будет. Вот какой терпеливый! Теперь: за что я, спрашивается, работал? Насчет денег никогда не жадничал, мне плевать на них. В большие люди тоже не вышел. И специальность моя скоро отойдет даже: не нужны будут шорники. Для чего же, спрашивается, мне жизнь была дадена?

– Для детей, – серьезно сказала Марфа.

Антип не ждал, что она поддержит разговор. Обычно она обрывала его болтовню каким-нибудь обидным замечанием.

– Для детей? – Антип оживился. – С одной стороны, правильно, конечно, а с другой – нет, неправильно.

– С какой стороны неправильно?

– С той, что не только для детей надо жить. Надо и самим для себя немножко.

– А чего бы ты для себя-то делал?

Антип не сразу нашелся, что ответить на это.

– Как это «чего»? Нашел бы чего… Я, может, в музыканты бы двинул. Приезжал ведь тогда человек из города, говорил, что я самородок. А самородок – это кусок золота, это редкость, я так понимаю. Сейчас я кто? Обыкновенный шорник, а был бы, может…

– Перестань уж!.. – Марфа махнула рукой. – Завел – противно слушать.

– Значит, не понимаешь, – вздохнул Антип.

Некоторое время молчали.

Марфа вдруг всплакнула. Вытерла платочком слезы и сказала:

– Разлетелись наши детушки по всему белу свету.

– Что же им, около тебя сидеть всю жизнь? – заметил Антип.

– Хватит стучать-то! – сказала вдруг Марфа. – Давай посидим, поговорим про детей.

Антип усмехнулся, отложил молоток.

– Сдаешь, Марфа, – весело сказал он. – А хочешь, я тебе сыграю, развею тоску твою?

– Сыграй, – разрешила Марфа.

Антип вымыл руки, лицо, причесался.

– Дай новую рубашенцию.

Марфа достала из ящика новую рубаху. Антип надел ее, подпоясался ремешком. Снял со стены балалайку, сел в красный угол, посмотрел на Марфу.

– Начинаем наш концерт!

– Ты не дурачься только, – посоветовала Марфа.

– Сейчас вспомним всю нашу молодость, – хвастливо сказал Антип, настраивая балалайку. – Помнишь, как тогда на лужках хороводы водили?

– Помню, чего же мне не помнить? Я как-нибудь помоложе тебя.

– На сколько? На три недели с гаком?

– Не на три недели, а на два года. Я тогда еще совсем молоденькая была, а ты уж выкобенивался.

Антип миролюбиво засмеялся:

– Я мировой все-таки парень был! Помнишь, как ты за мной приударяла?

– Кто? Я, что ли? Господи!.. А на кого это тятя-покойничек кобелей спускал? Штанину-то кто у нас в ограде оставил?

– Штанина, допустим, была моя…

Антип подкрутил последний кулочок, склонил маленькую голову на плечо, ударил по струнам… Заиграл, И в теплую пустоту и сумрак избы полилась тихая светлая музыка далеких дней молодости. И припомнились другие вечера, и хорошо и грустно сделалось, и подумалось о чем-то главном в жизни, но так, что не скажешь, что же есть это главное.

Не шей ты мне,
Ма-амынька,
Красный сарафа-ан, –
запел тихонечко Антип и кивнул Марфе. Та поддержала:

Не входи, родимая,
Попусту
В изъян…
Пели ни так чтобы очень стройно, но обоим сделалось удивительно хорошо. Вставали в глазах забытые картины, То степь открывалась за родным селом, то берег реки, то шепотливая тополиная рощица припоминалась, темная и немножко жуткая… И было что-то сладко волнующее во всем этом. Не стало осени, одиночества, не стало денег, хомутов…

Потом Антип заиграл веселую. И пошел по избе мелким бесом, игриво виляя костлявыми бедрами.

Ох, там, ри-та-там,
Ритатушеньки мои!
Походите, погуляйте,
Па-ба-луй-тися!
Он стал подпрыгивать. Марфа засмеялась, потом всплакнула, но тут же вытерла слезы и опять засмеялась.

– Хоть бы уж не выдрючивался, господи!.. Ведь смотреть не на что, а туда же.

Антип сиял. Маленькие умные глазки его светились озорным блеском.

Ох, Марфа моя,
Ох, Марфынька,
Укоряешь ты меня за напраслинку!
– А помнишь, Антип, как ты меня в город на ярманку возил? Антип кивнул головой.

Ох, помню, моя,
Помню, Марфынька!
Ох, хаханечки, ха-ха,
Чечевика с викою!
– Дурак же ты, Антип! – ласково сказала Марфа, – Плетешь черт те чего.

Ох, Марфушечка моя,
Радость всенародная…
Марфа так и покатилась:

– Ну, не дурак ли ты, Антип!

Ох, там, ри-та-там,
Ритатушеньки мои!
– Сядь, споем какую-нибудь, – сказала Марфа, вытирая слезы.

Антип слегка запыхался. Улыбаясь, смотрел на Марфу.

– А? А ты говоришь: Антип у тебя плохой!

– Не плохой, а придурковатый, – поправила Марфа.

– Значит, не понимаешь, – сказал Антип, нисколько не обидевшись за такое уточнение. Сел. – Мы могли бы с тобой знаешь как прожить! Душа в душу. Но тебя замучили окаянные деньги. Не сердись, конечно.

– Не деньги меня замучили, а нету их, вот что мучает-то.

– Хватило бы… брось, пожалуйста. Но не будем. Какую желаете, мадемуазельфрау?

– Про Володю-молодца.

– Она тяжелая, ну ее!

– Ничего. Я поплачу хоть маленько,

Ох, не вейти-ися, чайки, над морем,
– запел Антип.

Вам некуда, бедненьким, сесть.
Слетайте в Сибирь, край далекий,
Снесите печальну-я весть.
Антип пел задушевно, задумчиво. Точно рассказывал.

Ох, в двенадцать часов темной но-очи
Убили Володю-молодца-а.
Наутро отец с младшим сыном…
Марфа захлюпала.

– Антип, а Антип!., Прости ты меня, если я чем-нибудь тебя обижаю, проговорила она сквозь слезы.

– Ерунда, – сказал Антип. – Ты меня тоже прости, если я виноватый.

– Играть тебе не даю…

– Ерунда, – опять сказал Антип. – Мне дай волю – я день и ночь согласен играть.

Так тоже нельзя. Я понимаю.

– Хочешь, чекушечку тебе возьмем?

– Можно, – согласился Антип.

Марфа вытерла слезы, встала.

– Иди пока в магазин, а я ужин соберу.

Антип надел брезент и стоял посреди избы, ждал, когда Марфа достанет из глубины огромного сундука, из-под тряпья разного, деньги. Стоял и смотрел на ее широкую спину.

– Вот еще какое дело, – небрежно начал он, – она уж старенькая стала… надо бы новую. А в магазин вчера только привезли. Хорошие! Давай заодно куплю.

– Кого? – Марфина спина перестала двигаться.

– Балалайку-то.

Марфа опять задвигалась. Достала деньги, села на сундук и стала медленно и трудно отсчитывать. Шевелила губами и хмурилась.

– Она у тебя играет еще, – сказала она.

– Там треснула досточка одна… дребезжит.

– А ты заклей. Возьми да варом аккуратненько.

– Разве можно инструмент варом? Ты что, бог с тобой!

Марфа замолчала. Снова стала считать деньги. Вид у нее был строгий и озабоченный.

– На, – она протянула Антипу деньги. В глаза ему не смотрела.

– На четвертинку только? – У Антипа отвисла нижняя губа. – Да-а…

– Ничего, она еще у тебя поиграет. Вон как хорошо сегодня играла!

– Эх, Марфа!.. – Антип тяжело вздохнул.

– Что «эх»? Что «эх»?

– Так… проехало. – Антип повернулся и пошел к двери.

– А сколько она стоит-то? – спросила вдруг Марфа сурово.

– Да она стоит-то копейки! – Антип остановился у порога. – Рублей шесть по новым ценам.

– На, – Марфа сердито протянула ему шесть рублей.

Антип подошел к жене скорым шагом, взял деньги и молча вышел: разговаривать или медлить было опасно – Марфа легко могла раздумать.

Нечаянный выстрел

Нога была мертвая. Сразу была такой, с рожденья: тонкая, искривленная… висела, как высохшая плеть. Только чуть шевелилась.

До поры до времени Колька не придавал этому значения. Когда другие учились ходить на двух ногах, он научился на трех – и все. Костыли не мешали. Он рос вместе с другими ребятами, лазил по чужим огородам, играл в бабки – и как играл! – отставит один костыль, обопрется на него левой рукой, нацелится – бац! – полдюжины бабок как век не было на кону.

Но шли годы. Колька вырастал в красивого крепкого парня. Костыли стали мешать. Его одногодки провожали уже девчонок из клуба, а он шагал по переулку один, поскрипывая двумя своими постылыми спутниками.

Внимательные умные глаза Кольки стали задумчивыми.

Соседских ребят каждый год провожали в армию: то одного, то другого, то сразу нескольких… Провожали шумно. Колька обычно стоял в сенях своего дома и смотрел в щелочку. Ему тоже хотелось в армию.

Один раз отец Кольки, Андрей Воронцов, колхозный механик, застал сына за таким занятием… Хотел незаметно пройти в дом, но Колька услышал шаги, обернулся.

— Ты чего тут? — как бы мимоходом спросил отец.

Колька покраснел.

— Так, — сказал он.

И пошел к своему верстачку (он чинил односельчанам часы — выучился у одного заезжего человека).

А время шло.

И случилось то, что случается со всеми: Колька полюбил.

Через дорогу от них, в небольшом домике с писаными ставнями, жила горластая девушка Глашка. Колька видел ее из окна каждый день. С утра до вечера носилась быстроногая Глашка по двору: то в погреб пробежит, то гусей из ограды выгоняет, то ругается с соседкой из-за свиньи, которая забралась в огород и попортила грядки… Весь день только ее и слышно по всей окраинке.

Однажды Колька смотрел на нее и ни с того ни с сего подумал: «Вот… была бы не такая красивая… жениться бы на ней, и все». И с того времени думал о Глашке каждый день. Это стало мучить. Какая-то сила поднимала его из-за верстачка и выводила на крыльцо.

— Глашка! — кричал он девушке. — Когда замуж-то выйдешь, телка такая?! Хоть бы гульнуть на твоей свадьбе!

— Не берет никто, Коля! — отвечала словоохотливая Глашка. — Я уж давно собралась!

«Ишь ты… какая», — думал Колька, и у него ласково темнели задумчивые серые глаза.

А над деревней синим огнем горело июльское небо. В горячих струях воздуха мерещилась сказка и радость. В воды рек опрокидывались зори и тихо гасли. И тишина стояла ночами… И сладко и больно сжимала грудь эта тишина.

Летом Колька спал в сарайчике, одна стена которого выходила на улицу.

Однажды к этой стене прислонилась парочка. Кольку ткнуло в сердце — он сразу почему-то узнал Глашку, хотя те, за стеной, долго сперва молчали. Потом он лежал и слушал их бессмысленный шепот и хихиканье. Он проклял в эту ночь свои костыли. Он плакал, уткнувшись в подушку. Он не мог больше так жить!

Когда совсем рассвело, он пошел к фельдшеру на дом. Он знал его — не один раз охотились и рыбачили вместе.

— Ты чего ни свет ни заря поднялся? — спросил фельдшер.

Колька сел на крыльцо, потыкал концом костыля в землю…

— Капсюлей нету лишних? У меня все кончились.

— Капсюлей? Надо посмотреть. — Фельдшер ушел в дом и через минуту вынес горстку капсюлей. — На.

Колька ссыпал капсюли в карман, закурил… Как-то странно внимательно, с кривой усмешкой посмотрел на фельдшера. Поднялся.

– Спасибо за капсюли.

– На здоровье. Сам бы поохотничал сейчас… – вздохнул фельдшер и почесал лысину. – Но… но отпуск только в августе.

Колька вышел за ворота, остановился. Долго стоял, глядя вдоль улицы.

Повернулся и пошел обратно.

– На капсюли-то, – сказал он фельдшеру. – У меня своих хоть отбавляй.

Фельдшер сделал брови «домиком»:

– Что-то непонятно.

Колька нахмурился.

– Посмотри ногу… хочу протез попробовать. Надоело так.

– А-а. – Фельдшер глянул Кольке в глаза… и сам смутился. – Давай ее сюда.

Вместе долго рассматривали ногу

– Здесь чувствуешь?

– Чувствую.

– А здесь?

– Ну-ка еще… Чувствую.

– Пошевели. Еще. А теперь – вбок. Подвигай, подвигай. Так. – Фельдшер выпрямился. – Вообще-то… я тебе так скажу: попробуй. Я затрудняюсь сейчас точно сказать, но попробовать можно. Ее придется отнять вот по этих пор. Понимаешь?

– Понимаю.

– Попробуй. Сразу, может, конечно, не получится. Придется поработать. Понимаешь?

Колька пришел домой и стал собираться в дорогу – в город, в больницу. Матери не сказал, зачем едет, а отца вызвал на улицу и объяснил:

– Поеду ногу отрублю.

– То есть как? – Андрей вытаращил глаза.

– Протез хочу попробовать.

Через неделю Кольке отпилили ногу. Осталась култышка в двадцать семь сантиметров.

Когда рана малость поджила, он начал шевелить култышкой под одеялом – тренировал.

Приехал отец попроведать. Долго сидел около койки… Не смотрел на обрубок: какая-никакая, все-таки была нога. Теперь вовсе никакой.

Потом Колька, не заезжая домой, отправился в Н-ск.

Домой явился через полмесяца… С какой-то длинной штукой в мешке.

Мать так и ахнула, увидев Кальку «без ноги». Колька засмеялся…

Развязал мешок и брякнул на пол сверкающий лаком протез.

– Вот… нога. Ноженция.

Все с интересом стали разглядывать протез. А Колька стоял в сторонке и улыбался: он уже насмотрелся на него дорогой.

– Блестит весь… Господи! – сказала мать.

Отец как механик забрал протез в руки и стал детально изучать.

– Добрая штука, – заключил он. – Не то что у деда Кузьмы – деревяшка.

Всем очень понравился протез. Все верили – и Колька верил, – что на таком-то протезе дурак пойдет. Уж очень добротно, точно, крепко, изящно он был сработан: весь так и сверкал лаком и всяческими пристежками и винтами.

– Когда попробуешь? – спросил отец, взвешивая протез на руке.

– Подживет нога хорошенько – попробую. Не велели торопиться.

Стояла темная ночь. Далеко-далеко мерцали зарницы.

Калька рано ушел в свой сарай. Лег и стал ждать.

Стихло во всей деревне.

Калька подождал еще немного, зажег лампу и стал надевать протез. Надел. Закурил… Курил и смотрел на протез.

– Ничего себе… ноженька. Хэх! – Улыбнулся.

Старательно погасил окурок. Встал. Его шатнуло в сторону, как пьяного. Он удержался руками за спинку кровати. Постоял, шагнул здоровой ногой. А левую, с протезом, не мог сдвинуть. Стал падать. Опять схватился за кровать… подтянул протезную ногу. Сердце сильно колотилось.

– Ничего. Придется, конечно, поработать, – сказал сам себе.

Еще одна попытка – нет. Левая нога не шагала. Тогда Колька далеко шагнул правой и что было силы рванулся всем телом вперед, подтягивая левую. Упал. Долго лежал, вцепившись руками в землю. Левая нога не шагала. Нисколько. Даже на полшажка.

– Ну ничего… Паразитка. С непривычки… – Поднялся. Еще попытка. И еще. Нет.

Колька устал.

– Перекурим это дело. – Он говорил зло. Он уже не верил в успех, но признаться в этом было страшно. Просто невозможно. Нет! Как же?..

Покурил и снова с остервенением стал пытаться пройти на протезе. И снова – нет. Нет и нет.

Колька матерно выругался и лег на кровать. Ему бросилось в глаза ружье, висевшее на стенке, над кроватью… Он поднялся… И снова стал пробовать двигать левой ногой.

– Пойдешь, милая. Ну-ка… Оп-п! Паразитка! – тихо ругался он.

Натруженная култышка горела огнем, как сплошной нарыв. Колька отстегнул протез и стал дуть на култышку. Потом, превозмогая боль, снова пристегнул протез.

– А сейчас?.. Ну-ка!.. Опять нет?

Светало.

– Гадина, – сказал Колька и лег на кровать. И закрыл глаза, чтобы ничего не видеть. Чья-то сальная, безобразная морда склонилась над ним и улыбнулась поганым ртом. Колька открыл глаза… – Ах ты гадство, – тихо повторил он. И снял со стенки ружье…

Отец узнал о несчастье на другой день, к вечеру (он ездил в район насчет запасных частей). Ему сказали, когда он подъезжал к дому. Он развернул коня и погнал в больницу.

– Сейчас лучше бы не надо, – пояснил приезжий доктор. – Сейчас он…

Отец отстранил доктора и пошел в палату.

Колька лежал на спине весь забинтованный… Бледный, незнакомый какой-то – как чужой. Он был совсем безнадежный на вид. В палате пахло йодом.

Отец вспотел от горя.

– Попросил бы меня – я бы попал куда надо… Чтоб сразу уж… – Голос отца подсекся… Он вытер со лба пот, сел на табуретку рядом с кроватью.

Колька скосил на него глаза… Пошевелил губами…

– Болит? – спросил отец.

Колька прикрыл глаза: болит.

– Ээ… – Отец поднялся и пошел из палаты.

– Вот как обстоит дело: все зависит от того, как сильно захочет жить он сам. Понимаете? Сам организм должен…

Отец обезумел от горя: взял доктора за грудки:

– А ты для чего здесь? Организм!..

– Не нужно так. Отпустите. Мы сделаем все, что можно будет сделать.

Отец отпустил доктора, хотел еще раз войти в палату, но перед самой дверью остановился, постоял… и пошел из больницы. Он уже далеко отошел, потом вспомнил, что приехал сюда на лошади. Вернулся, сел на дрожки, подстегнул коня…

Мать Кольки лежала в постели – захворала с горя.

– Как он там? – слабым голосом спросила она мужа, когда тот вошел в избу.

– Если помрет, тебе тоже несдобровать. Убью. Возьму топор и зарублю. – Андрей был бледный и страшный в своем отчаянии.

Мать заплакала.

– Господи, Господи…

– Господи, Господи!.. Только и знаешь своего Господа! Одного ребенка не могла родить как следует… с двумя ногами! Я этому твоему Господу шею сейчас сверну – Андрей снял с божницы икону Николая-угодника и трахнул ее об пол. – Вот ему!.. Гад такой!

– Андрюша!.. Господи… Это из-за Глашки он. Полюбилась она ему, змея подколодная… Был парень как парень, а тут как иглу съел.

Андрей некоторое время тупо смотрел на жену.

– Какую Глашку?

– Какую Глашку!.. Одна у нас Глашка.

Андрей повернулся и побежал к Глашке.

– Дядя Андрей, миленький!.. Да неужели из-за меня это он? А что делать-то теперь?

– Он поправится. – Андрей шаркнул ладонью по щеке. – Если бы ему сказать… кхе…

он бы поправился. И за такого, мол, пойду… Врач говорит: сам захочет если… Соври ему. А?

Глашка заплакала.

– Не могу я. Мне его до смерти самой жалко, а не могу. Другому сказала уж…

Андрей поднялся:

– Ты только не реви… Моду взяли: чуть чего, так реветь сразу. Не можешь – значит, не можешь. Чего плакать-то? Не говори никому, что я был у тебя. – Андрей снова пошел в больницу.

Колька лежал в том же положении, смотрел в потолок, вытянув вдоль тела руки.

– Был сейчас дома… – Андрей погладил жесткой ладонью тугой сгиб колена… поправил голенище сапога. – К Глашке зашел по пути…

Колька повел на отца удивленные глаза.

– Плачет она. Что же, говорит, он, дурак такой, не сказал мне ничего. Я бы, говорит, с радостью пошла за него…

Колька слабо зарумянился в скулах… закрыл глаза и больше не открывал их.

Отец сидел и ждал, долго ждал: не понимал, почему сын не хочет слушать.

– Сынок, – позвал он.

– Не надо, – одними губами сказал Колька. Глаз не открыл. – Не ври, тятя… а то и так стыдно.

Андрей поднялся и пошел из палаты, сгорбившись. Недалеко от больницы повстречал Глашку. Та бежала ему навстречу

– Скажу я ему, дядя Андрей… пусть! Скажу, что согласная, – пусть поправляется.

– Не надо, – сказал Андрей. Хмуро посмотрел себе под ноги. – Он так поправится. Врать будем – хуже.

Колька поправился.

Через пару недель он уже сидел в кровати и ковырялся пинцетом в часах – сосед по палате попросил посмотреть.

В окна палаты в упор било яркое солнце. Августовский полдень вызванивал за окнами светлую тихую музыку жизни. Пахло мятой и крашеной жестью, догоряча нагретой солнцем. В больничном дворе то и дело горланил одуревший от жары петух.

– Не зря он так орет, – сказал кто-то. – Курица ему изменила. Я сам видел: подошел красный петух, взял ее под крылышко и увел.

– А этот куда смотрел, который орет сейчас?

– Этот?.. Он в командировке был – в соседней ограде.

Колька тихонько хохотал, уткнувшись в подушку. Когда его кто-нибудь спрашивал, как это с ним получилось, Колька густо краснел и отвечал неохотно:

– Нечаянно. – И склонялся к часам.

Отец каждый день приходил в больницу… Подолгу сидел на табуретке, около кровати. Смотрел, как сын ковыряется в часах.

– Как там, дома? – спрашивал Колька.

– Ничего. В порядке. Потеряешь колесико-то… – Отец с трудом ловил на одеяле

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru крошечное колесико и подавал сыну.

— Это маятник называется.

— До чего же махонькое! Как только ухитряются делать такие?

— Делают. На заводе все делают.

— Меня, например, хоть убей, ни в жизнь не сделал бы такое.

Колька улыбался:

— То ты. А там умеют.

Андрей тоже улыбался… гладил ладонью колено и говорил:

— Да… там — конечно… Там умеют. Там все умеют.

Непротивленец Макар Жеребцов
Всю неделю Макар Жеребцов ходил по домам и обстоятельно, въедливо учил людей добру и терпению. Учил жить — по возможности весело, но благоразумно, с «пониманием многомиллионного народа».

Он разносил односельчанам письма. Работу свою ценил, не стыдился, что он, здоровый, пятидесятилетний, носит письма и газетки. Да пенсию старикам.

Шагал по улице — спокойный, сосредоточенный.

Его окликали:

— Макар, нету?

— Ты же видишь — мимо иду, значит, нету.

— Чего же негу-то? Пора уж. Черти окаянные.

И Макар подходил к прялу, вешал свою сумку на колышек, закуривал.

— Сколько у нас, в СССР, народу?

Старуха не знала.

— Дьявол их знает, сколько? Много небось.

— Много. — Макар тоже точно не знал, сколько. — И всем надо выдать пенсию…

— Чего же всем-то? Все — зарплату получают.

— Ну, я неправильно выразился. Кто заслужил. Так?

— Ну? Чего ты опять?

— Спокойно. Тебе государство задержало пенсию на один день, и ты уже начинаешь возвышать голос. Сама злишься, и на тебя тоже глядеть тошно. А у государства таких, как ты, — миллионы. Спрашивается, совесть-то у вас есть или нету? Вы что, не можете потерпеть день-другой? Вы войдите тоже в ихнее-то положение.

Старухи обижались. Старики посылали Макара… дальше.

Макар шел дальше.

— Семен, ездил к сыну-то?

— Ездил…

— Ну, как?

— Никак. Как пил, так и пьет. С работы опять прогнали, свистуна.

– Ну, ты, конечно, коршуном на него. Такой-сякой-разэдакый!

– А как же мне с им? Петя, сынок, уймись с пьянкой?

– Да где там! Ты и слов-то таких не знаешь. Ты привык языком-то, как оглоблей, ломить… Самого, дурака, с малых лет поленом учили, ты думаешь, и всегда так надо. Теперь совсем другая жизнь…

– Раньше так пили, как он заливается? Другая жизнь…

– А ты войди в его положение. Он – молодой, дорвался до вольной жизни, деньжаты появились… Ведь тут какую силу воли надо иметь, чтоб сдержаться? Конину. С другой стороны, его тоска гложет – оторвался от родительского дома. Ты вон в город-то на неделю уедешь, и то тебя домой манит, а он сколько уж лет там. Он небось сходит в кино, поглядит про деревню – и пойдет выпьет. Это же все понимать надо.

– Ты, лоботряс, только рассуждать умеешь. А коснись самого, не так бы запел. Ходишь по деревне, пустозвонишь… Пустозвон. Чего ты лезешь не в свое дело?

– Я вас учу, дураков. Ты приехай к нему, к Петьке-то, да сядь выпей с ним…

– У тебя прям не голова, а сельсовет.

– Да. Выпей. А потом к нему потихоньку в душу: сократись, сынок, сократись, милый. Ведь мы все пьем по праздникам… Праздничек подошел – выпей, прошел праздничек – пора на работу, а не похмеляться. Та-ак. А как же? Поговорить надо, убедить человека. Да не матерным словом, а ласковым, ласковым, оно, глядишь, скорей дойдет.

– Его надо поленом по башке, а не ласковым словом.

– Во-от. Я и говорю: бараны. Рога на лбу выросли – и довольные: бодаться можно. А ты же человек, тебе разум даден, слово доходчивое…

– Иди ты!..

– Эх вы.

Макар шагал дальше, и сердце его сосала, сладко прикусывая, жирная, мягкая змея, какая сосет сердце всех оскорбленных проповедников.

Иногда дело доходило до оплеух.

У Ивана Соломина жена Настя родила сына. Иван заспорил с Настей – как назвать новорожденного. Иван хотел Иваном: Иван Иванович Соломин. Настя хотела, чтоб был Валерик. Супруги серьезно поссорились. И в это-то самое время Макар принес им письмо от сестры Настиной, которая жила с мужем в Магадане и писала в письмах, что живут они очень хорошо, что у них в доме только одной живой воды нет, а так все есть, «но, сами понимаете, – в концервах, так как климат здесь суровый».

Макар посмотрел красный безымянный комочек, поздравил родителей… И те, конечно, схватились перед ним – каждый свое доказывать.

– Иван!.. Иванов-то нынче осталось – ты да Ваня-дурачок в сказке. Умру – не дам Ванькой назвать! Сам как Ваня-дурачок…

– Сама ты дура! Счас в этом деле назад повернули, к старому. Посмотри в городах…

Макар весь подобрался, накопился – почуял добычу.

– Спокойно, Иван, – сказал он хозяину. – Не обзывайся. Даже если она тебе законная жена, все равно ты ее не имеешь права дурачить. Она тебе – «Ваня-дурачок», допустим, а ты ей – «несмышленыш мой» или еще как-нибудь. Ласково. Ей совестно станет, она замолчит. А не замолчит – сам замолчи. Скрепись и молчи.

– Иди отсюда, миротворец!

– И меня не надо посылать. Зачем меня посылать? Ты меня послушай, постарайся сперва понять, а потом уж посылай. Ведь я к тебе не с войной пришел, не лиходей я тебе, а по новым законам – твой друг и товарищ. И хочу вам подать добрый совет: назови-ка ты сынка своего Митей – в честь свояка магаданского. Ведь они вам и посылки шлют, и деньжат нет-нет подкинут… А напиши-ка ему, что вот, мол, своячок, в честь тебя сына назвал – Митрием. Он бы где – одну посылку, а тут подумает-подумает да две ахнет. А как же: в честь меня сына назвали – это бо-оль-шое уважение. За уважение люди тоже уважением плотют.

Иван чего-то озверел.

– Иди отсюда, гад подколодный! Чего ты лезешь не в свое дело?!

Макар посмеялся кротко, снисходительно, ласково. Он знал драчливый характер Ивана.

– Ах, пошуметь бы?.. Ах, бы да сейчас развоеваться бы?.. Эх, ты. Ваня и есть.

Иван и в самом деле взял почтальона за шкирку, подвел к двери и дал пинка под зад:

– За совет!

Макар пошагал дальше по улице. Потирал ушибленное место и шептал:

– Нога у дьявола – конская.

И начинал рассказывать встречным:

– Иван Соломин… Зашел к нему, у них пыль до потолка: не могут имя сыну придумать. Я и подскажи им: Митрий. У него свояк в Магадане – Митрий…

Но Макара не хотели слушать – некогда. Да и мало на селе в летнюю пору встречных.

И вот наступало воскресенье. В воскресенье Макар не работал. Он ждал воскресенья. Он выпивал с утра рюмочку-две, не больше, завтракал, выходил на скамеечку к воротам… Была у него такая скамеечка со столиком, аккуратная такая скамеечка, он удобно устраивался – нога на ногу, закуривал и, поблескивая повлажневшими глазами, ждал кого-нибудь.

– Михеевна!.. Здравствуй, Михеевна! С праздничком!

– С каким, Макар?

– А с воскресеньем.

– Господи, праздник!..

– Сын-то не пишет? Что-то давненько я к тебе не заходил.

– Некогда, поди-ка, расписываться-то. Тоже не курорт – шахты-то эти.

– Всем им, подлецам, некогда. Им водку литрами жрать – на это у них есть время. А письмо матери написать – время нет. Пожалуйся на него директору шахты. Хошь, я сочиню? Заказным отправим…

– Ты что, сдурел, Макар? На родного сына стану директору жалиться!

– Можно хитрей сделать. Можно послать телеграмму: мол, беспокоюсь, не захворал ли? Его все равно вызовут…

– Тьфу, дьявол! Тебе что, делать, что ль, нечего, – выдумываешь сидишь?

– А учить подлецов надо, учить.

Старуха, злая, обиженная за сына, шла дальше своей дорогой.

– Боров гладкий, – бормотала она, – ты их нарожай сперва своих, потом жалься. Подымется ли рука-то?

– Человека – пока не стукнет, до тех пор он не поймет, – говорил сам с собой Макар. – На судьбу обижаемся, а она учит, матушка. Учит.

Проходили еще люди. Макар заговаривал со всеми, и все в таком же духе – в воскресном. Подсказывал, как можно теще насолить, как заставить уважать себя дирекцию совхоза. Надо только смелей быть. Выступать подряд на всех собраниях и каждый раз – против. Они сперва окрысятся, попробуют ущемить как-нибудь, а ты на собрании и про это. Важно – не сдаваться. Когда они поймут, что с тобой ничего нельзя сделать, тогда начнут уважать. А то еще и побаиваться станут – грешки-то есть. У кого их нету?

– Дак ведь возьмут да и выгонют.

– А куда выгонять-то? Дальше-то?.. Это ж не с завода.

Где-нибудь часа так в два пополудни к Макару выходил дед Кузьма, выпивоха и правдолюб. Опохмелиться у него никогда денег не было.

– Дай на бутылку. Во вторник поплывем с зятем рыбачить, привезу рыбки.

Макар давал рубль двадцать – на плодово-ягодную. Только просил:

– Приходи здесь пить. А то поговорить не с кем.

Дед приносил бутылку плодово-ягодной, выпивал стакан, и ему сразу легчало.

– Вчерась перебрали с зятем. Тоже лежит мучается.

– Отнеси стаканчик.

– Ничо, оклемается – молодой. Мне этой самому – только-только.

– Жадный.

– Нет, – просто говорил дед.

– А взять-то тоже не на что? Зятю-то.

– Да есть у Нюрки… Она рази даст. Тут хоть подохни. Как жена-то?

– Хворает.

– Ты ее, случаем, не поколачиваешь тайком? – чего она у тебя все время хворает?..

– Ни разу пальцем не тронул. Так – организм слабый.

– Чудной ты мужик, Макар. Не пойму тебя. Нашенских, кто на глазах рос, всех понимаю, а тебя никак не пойму.

– Чем же я кажусь чудной? – искренне интересовался Макар.

– Ну как же? Подошло воскресенье – ты сидишь день-деньской сложа ручки. Люди ждут не дождутся этого воскресенья, чтоб себе по хозяйству чего-нибудь сделать, а тебе вроде и делать нечего.

– А на кой оно мне… хозяйство-то?

– Вот то и чудно-то. Ты из каких краев-то? Или я уж спрашивал?

– Недалеко отсюда. Что мне его, хозяйство-то, в гроб с собой?

– Ну, тебе до гроба ишо… Поживешь. Работа – не бей лежачего. И не совестно ведь!

– искренне изумлялся дед. – Неужель не совестно? На тебе же пахать надо, а ты…

– Ни на вот эстолько. – Макар показывал кончик мизинца.

– А почто, например, ты то одно людям говоришь, то другое – совсем наоборот? Чего ты их путаешь-то?

Макар глубокомысленно думал, глядя на улицу, потом говорил. Похоже, всю правду, какую знал про себя.

– Не для этой я жизни родился, дед… Для этой, но гораздо круче умом замешан.

– Для какой же ты жизни?

– Сам не знаю. Вот говоришь – путаю людей. Я сам не знаю, как мне их: жалеть или надсмехаться над ними. Хожу, гляжу – охота помочь советом каким-нибудь… Потом раздумаешься: да пошли вы все!.. Как жили, так и живите – кроты.

– Хм.

– Так вот ходишь неделю, тыкаешься в ихные дела… Потом придет воскресенье, и я вроде отдыхаю. Давайте, думаю, черти, – гните дальше. А я еще какую-нибудь пакость подскажу.

– Во стерьва-то!

– Ей-Богу! А завтра опять пойду по домам, опять полезу с советами. И знаю, что не слушают они моих советов, а удержаться не могу. Мне бы – в большом масштабе советы-то давать, у меня бы вышло. Ну, подучиться, само собой… У меня какой-то зуд на советы. Охота учить, и все, хоть умри.

– Дак и учил бы одному чему, а то, как…

– Да я и хочу! Но ведь я им одно, а они меня по матушке. А то и – по загривку. Ванька вон Соломин… так и пустил с крыльца.

– Ххэ!.. У того не заржавит.

– А я для его же пользы – назови, мол, сыночка-то Митей, в честь свояка, свояк-то в лепешку расшибется – будет посылки слать. Какая ему, дураку, разница – Митя у него будет расти или Ваня? А жить все же маленько полегче было бы – свояк-то на Севере, тыщи ворочает… А так-то я их не презираю, людей-то. Наоборот, мне их жалко.

Старик допивал остатки вина, поднимался.

– И все-таки стерьва ты, – говорил беззлобно. – Путаешь людей.

– Что, пошел?

– Пойду… Зять теперь очухался, погреб небось копает. Он с похмелья злой на работу. Помочь надо. Рыбки-то занесу килограмма два. Во вторник.

– Ладно, сгодится. Я до ухи любитель.

– Спасибо, что выручил.

– Не за что.

Дед уходил. А Макар оставался сидеть на скамеечке, глядел на село, курил.

Иногда из дома выходила больная жена – к теплу, к солнышку. Присаживалась рядышком.

– Вот ведь сколько домов!.. – раздумчиво, не глядя на жену, говорил Макар. – И в каждом дому – свое. А это – только одна деревня. А их, таких деревень-то, по России – ое-ей сколько!..

– Много, – соглашалась жена.

– Много, – вздыхал Макар. – Много. Где же всем поможешь! Завязнешь к чертям… Или – пристукнет где-нито насовсем. А все же жалко дураков…

Горе

Бывает летом пора: полынь пахнет так, что сдуреть можно. Особенно почему-то ночами. Луна светит тихо. Неспокойно на душе, томительно. И думается в такие огромные, светлые, ядовитые ночи вольно, дерзко, сладко. Это даже – не думается, что-то другое: чудится, ждется, что ли. Притаишься где-нибудь на задах огородов, в лопухах, – сердце замирает от необъяснимой тайной радости. Жалко, мало у нас в жизни таких ночей.

Одна такая ночь запомнилась мне на всю жизнь.

Было мне лет двенадцать. Сидел я в огороде, обхватив руками колени, упорно, до слез смотрел на луну. Вдруг услышал: кто-то невдалеке тихо плачет. Я оглянулся и увидел старика Нечая, соседа нашего.

Это он шел, маленький, худой, в длинной холщовой рубахе. Плакал и что-то бормотал неразборчиво.

У дедушки Нечаева три дня назад умерла жена, тихая, безответная старушка. Жили они вдвоем, дети разъехались.

Старушка Нечаева, бабка Нечаиха, жила незаметно и умерла незаметно. Узнали поутру: «Нечаиха-то… гляди-ко, сердешная», – сказали люди. Вырыли могилку, опустили бабку Нечаиху, зарыли – и все. Я забыл сейчас, как она выглядела. Ходила по ограде, созывала кур: «Цып-цып-цып». Ни с кем не ругалась, не заполошничала по деревне. Была – и нету, ушла.

…Узнал я в ту светлую, хорошую ночь, как тяжко бывает одинокому человеку. Даже когда так прекрасно вокруг, и такая теплая, родная земля, и совсем не страшно на ней.

Я притаился.

Длинная, ниже колен, рубаха старика ослепительно белела под луной. Он шел медленно, вытирал широким рукавом глаза. Мне его было хорошо видно. Он сел неподалеку.

– Ничо… счас маленько уймусь… мирно побеседуем, – тихо говорил старик и все не мог унять слезы. – Третий день маюсь – не знаю, куда себя деть. Руки опустились… хошь што делай.

Помаленьку он успокоился.

– Шибко горько, Парасковья: пошто напоследок-то ничо не сказала? Обиду, што ль, затаила какую? Сказала бы – и то легше. А то-думай теперь… Охо-хо… – Помолчал. – Ну, обмыли тебя, нарядили – все, как у добрых людей. Кум Сергей гроб сколотил. Поплакали, Народу, правда, не шибко много было. Кутью варили. А положили тебя с краешку, возле Давыдовны. Место хорошее, сухое. Я и себе там приглядел. Не знаю вот, што теперь одному-то делать? Может, уж заколотить избенку да к Петьке уехать?.. Опасно: он сам ничо бы, да бабенка-то у его… сама знаешь: и сказать не скажет, а кусок в горле застрянет. Вот беда-то!.. Чего посоветуешь?

Молчание.

Я струсил. Я ждал, вот-вот заговорит бабка Нечаиха своим ласковым, терпеливым голосом.

– Вот гадаю, – продолжал дед Нечай, – куда приткнуться? Прям хошь петлю накидывай. А это вчерашней ночью здремнул маленько, вижу: ты вроде идешь по ограде, яички в сите несешь. Я пригляделся, а это не яички, и цыпляты живые, маленькие ишо, И ты вроде начала их по одному исть. Ешь да ишо прихваливаешь… Страсть господня! Проснулся… Хотел тебя разбудить, а забыл, что тебя– нету. Парасковьюшка… язви тя в душу!.. – Дед Нечай опять заплакал. Громко. Меня мороз по коже продрал – завыл как-то, как-то застонал протяжно: – Э-э-э… у-у… Ушла?..

А не подумала: куда я теперь? Хошь бы сказала: я бы доктора из города привез… вылечиваются люди. А то ни слова, ни полслова – вытянулась! Так и я сумею… – Нечай высморкался, вытер слезы, вздохнул. – Чижало там, Парасковьюшка? Охота, поди, сюда? Снишься-то. Снись хошь почаще… только нормально. А то цыпляты какие-то… черт те чего. А тут… – Нечай заговорил шепотом, я половину не расслышал, – Грешным делом хотел уж… А чего? Бывает, закапывают, я слыхал. Закопали бабу в Краюшкино… стонала. Выкопали… Эти две ночи ходил, слушал: вроде тихо. А то уж хотел… Сон, говорят, наваливается какой-то страшенный – и все думают, што помер человек, а он не помер, а – сонный…

Тут мне совсем жутко стало, Я ползком – да из огорода. Прибежал к деду своему, рассказал все. Дед оделся, и мы пошли с ним на зады.

– Он сам с собой или вроде как с ней разговаривает? – расспрашивал дед.

– С ей. Советуется, как теперь быть…

– Тронется ишо, козел старый. Правда пойдет выкопает. Может, пьяный?

– Нет, он пьяный поет и про бога рассказывает. – Я знал это.

Нечай, заслышав наши шаги, замолчал.

– Кто тут? – строго спросил дед.

Нечай долго не отвечал.

– Кто здесь, я спрашиваю?

– А чего тебе?

– Ты, Нечай?

– Но…

Мы подошли. Дедушка Нечай сидел, по-татарски скрестив ноги, смотрел снизу на нас – был очень недоволен.

– А ишо кто тут был?

– Иде?

– Тут… Я слышал, ты с кем-то разговаривал.

– Не твое дело.

– Я вот счас возьму палку хорошую и погоню домой, чтоб бежал и не оглядывался.

Старый человек, а с ума сходишь… Не стыдно?

– Я говорю с ей и никому не мешаю.

– С кем говоришь? Нету ее, не с кем говорить! Помер человек – в земле.

– Она разговаривает со мной, я слышу, – упрямился Нечай. – И нечего нам мешать.

Ходют тут, подслушивают…

– Ну-ка, пошли, – Дед легко поднял Нечая с земли. – Пойдем ко мне, у меня бутылка самогонки есть, счас выпьем – полегчает.

Дедушка Нечай не противился.

– Чижало, кум, – силов нету.

Он шел впереди, спотыкался и все вытирал рукавом слезы.

Я смотрел сзади на него, маленького, убитого горем, и тоже плакал – неслышно,

чтоб дед подзатыльника не дал. Жалко было дедушку Нечая.

— А кому легко? — успокаивал дед. — Кому же легко родного человека в землю зарывать? Дак если бы все ложились с ими рядом от горя, што было бы? Мне уж теперь сколько раз надо бы ложиться? Терпи. Скрепись и терпи.

— Жалко.

— Конешно, жалко… кто говорит. Но вить ничем теперь не поможешь. Изведешься, и все. И сам ноги протянешь. Терпи.

— Вроде соображаю, а… запеклось вот здесь все — ничем не размочишь. Уж пробовал — пил: не берет.

— Возьмет. Петька-то чего не приехал? Ну, тем вроде далеко, а этот-то?..

— В командировку уехал. Ох, чижало, кум!.. Сроду не думал…

— Мы всегда так: живет человек — вроде так и надо. А помрет — жалко. Но с ума от горя сходить — это тоже… дурость.

Не было для меня в эту минуту ни ясной, тихой ночи, ни мыслей никаких, и радость непонятная, светлая умерла.

Горе маленького старика заслонило прекрасный мир. Только помню; все так же резко, горько пахло полынью.

Дед оставил Нечая у нас.

Они легли ни полу, накрылись тулупом.

— Я тебе одну историю расскажу, — негромко стал рассказывать мой дед. — Ты вот не воевал — не знаешь, как там было… Там, брат… похуже дела были. Вот какая история: я санитаром служил, раненых в тыл отвозили. Едем раз. А студебеккер наш битком набитый. Стонают, просют потише… А шофер, Миколай Игринев, годок мне, и так уж старается поровней ехать, медлить шибко тоже нельзя: отступаем, Ну, подъезжаем к одному развилку, впереди легковуха. Офицер машет: стой, мол. А у нас приказ строго-настрого: не останавливаться, хоть сам черт с рогами останавливай. Оно правильно: там сколько ишо их, сердешных, лежат, ждут. Да хоть бы наступали, а то отступаем. Ну, проехали, Легковуха обгоняет нас, офицер поперек дороги — с наганом. Делать нечего, остановились. Оказалось, офицер у их чижалораненый, а им надо в другую сторону. Ну, мы с тем офицером, который наганом-то махал, кое-как втиснули в кузов раненого, Миколай в кабинке сидел: с им там тоже капитан был — совсем тоже плохой, почесть лежал; Миколай-то одной рукой придерживал его, другой рулил. Ну, уместились кое-как. А тот, какого подсадили-то, часует, бедный. Голова в крове, все позасохло. Подумал ишо тогда: не довезем. А парень молодой, лейтенант, только бриться, наверно, начал. Я голову его на коленки к себе взял — хоть поддержать маленько, да кого там!.. Доехали до госпиталя, стали снимать раненых… — Дед крякнул, помолчал. Закурил, — Миколай тоже стал помогать… Помогать… Подал я ему лейтенанта-то… «Вс», говорю, кончился». А Миколай посмотрел на лейтенанта, в лицо-то… Кхэх… — Опять молчание. Долго молчали.

— Неужто сын? — тихо спросил дед Нечай.

— Сын.

— Ох ты, господи!

— Кхм… — Мой дед швыркнул носом. Затянулся вчастую раз пять подряд.

— А потом-то што?

— Схоронили… Командир Миколаю отпуск на неделю домой дал. Ездил. А жене не сказал, што сына схоронил. Документы да ордена спрятал, пожил неделю и уехал.

— Пошто не сказал-то?

– Скажи!.. Так хоть какая-то надежа есть – без вести и без вести, а так… совсем.

Не мог сказать. Сколько раз, говорит, хотел и не мог.

– Господи, господи, – опять вздохнул дед Нечай. – Сам-то хоть живой остался?

– Микола? Не знаю, нас раскидало потом по разным местам… Вот какая история. Сына! – легко сказать. Да молодого такого…

Старики замолчали.

В окна все лился и лился мертвый торжественный свет луны. Сияет!.. Радость ли, горе ли тут – сияет!

И разыгрались же кони в поле
И разыгрались же кони в поле,
Поископытили всю зарю.
Что они делают?
Чью они долю
Мыкают по полю?
Уж не мою ль?
Тихо в поле.
Устали кони…
Тихо в поле –
Зови, не зови.
В сонном озере, как в иконе, –
Красный оклад зари.
Минька учился в Москве на артиста. Было начало лета. Сдали экзамен по мастерству. Минька шел в общежитие, перебирал в памяти сегодняшний день. Показался он хорошо, даже отлично. На душе было легко. Мерещилась черт знает какая судьба – красивая. Силу он в себе чуял большую.

«Прочитаю за лето двадцать книг по искусству, – думал он, – измордую классиков, напишу для себя пьесу из колхозной жизни – вот тогда поглядим».

В общежитии его ждал отец, Кондрат Лютаев.

Кондрат ездил на курорт и по пути завернул к сыну. И теперь сидел на его кровати – большой, загоревший, в бостоновом костюме, – ждал. От нечего делать смотрел какой-то иностранный журнал с картинками. Слюнявил губой толстый прокуренный палец и перелистывал гладкие тоненькие страницы. Когда попадались голые женщины, он внимательно разглядывал их, поднимал массивную голову и смотрел на одного из Минькиных товарищей, который лежал на своей кровати и читал. Подолгу смотрел, пристально. Глаза у Кондрата неожиданно голубые – как будто не с этого лица. Он точно хотел спросить что-то, но не спрашивал. Опять слюнявил палец и осторожно переворачивал страницу.

Кондрат Лютаев лет семь уж был председателем большущего колхоза в степном Алтае. Дело поставил крепко, его хвалили, чем Кондрат в душе сильно гордился. В прошлом году, когда Минька, окончив десятилетку, ни с того ни с сего заявил, что едет учиться на артиста, они поругались. Кондрат не понял сына, хотя честно пытался понять. «Да ты спроси у меня-а! – орал тогда Кондрат и стучал себя в грудь огромным, как чайник, кулаком. – Ты у меня спроси: я их видел-перевидел, этих артистов! Они к нам на фронте каждую неделю приезжали. Все – алкоголики! Даже бабы. И трепачи». Минька уперся на своем, и они разошлись. Минька удивился, увидев отца.

Кондрат криво усмехнулся, отложил в сторону журнал.

Поздоровались за руку. Обоим было малость неловко.

– Ну, как ты здесь? – спросил Кондрат.

– Нормально.

Некоторое время молчали.

– Тут у вас выпить-то хоть можно? – спросил Кондрат, оглядываясь на другого

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru студента.

Тот понял это по-своему:

– Сейчас займем где-нибудь… Завтра стипуха.

Кондрат даже покраснел.

– Вы что, сдурели! Я ж не в том смысле! Я, мол, не попадет вам, если мы тут малость выпьем?

– Вообще-то не положено, – сказал Минька и улыбнулся. Странно было видеть отца растерянным и в новом шикарном костюме. – В исключительных случаях только…

– Ну и пошли! – Кондрат поднялся. – Скажете потом, что был исключительный случай.

Пошли в магазин.

Кондрат чего-то растрогался, начал брать все подряд: колбасу дорогую, коньяк, шпроты… Рублей на сорок всего. Минька пытался остановить его, но тот только говорил сердито: «Ладно, не твое дело».

А когда шли из магазина, разговорились. Неловкость помаленьку проходила. Кондрат обрел обычный свой – снисходительный – тон.

– Не забывай, когда знаменитым станешь, артист… Забудешь небось?

– Что за глупости! Кого забуду?..

– Брось… Не ты первый, не ты последний. Надо, правда, сперва знаменитым стать… А?

– Конечно.

Выпили вчетвером – пришел еще один товарищ Миньки.

Кондрат раскраснелся, снял свой бостоновый пиджак и сразу как-то раздался в ширину – под тонкой рубашкой угадывалось крупное, могучее еще тело.

– Туго приходится? – расспрашивал он ребят.

– Ничего…

– Вижу, как ничего… Выпить даже нельзя, когда захочешь. Тоскливо небось так жить? Другой раз с девкой бы прошелся, а тут – книжки читать надо. А?

Ребята смеялись; им стало хорошо от коньяка. Минька радовался, что отец пошел открыто на мировую. Может, кто ему втолковал на курорте, что не все артисты алкоголики. И что не пустое это дело, как он думал.

– А я считаю – правильно! – басил Кондрат. – Раз приехали учиться, учитесь. Девки от вас никуда не уйдут. И пить тоже еще рано – сопли еще по колена… Я на Миньку в прошлом году обиделся… Я снимаю свой упрек, Митрий. Учитесь. А если, скажем, у вас после окончания не будет получаться насчет работы, приезжайте ко мне, будете работать в клубе. Минька знает, какой у меня клуб – со столбами. Чем в Москве-то ошиваться…

– Тять…

– Не то говорю? Ну ладно, ладно… Вы же ученые, я забыл. А хозяйство у меня!.. Вон Минька знает…

Потом Кондрат и Минька пошли на выставку – ВДНХ. Минька вспомнил свой экзамен, и ему стало вдвойне хорошо.

– Вот ты, например, человек, – заговорил он, слегка пошатываясь. – И мне сказали, что тебя надо сыграть. Но ведь ты – это же не я, верно? Понимаешь?

– Понимаю. – Кондрат шел ровно, не шатался. – Тут дурак поймет.

– Значит, я должен тебя изучить: характер твой, повадки, походку… Все выходки твои, как у нас говорят.

– А то ты не знаешь?

– Я к примеру говорю.

– Ну-ка попробуй мою походку, – заинтересовался Кондрат.

– Господи! – воскликнул Минька. – Это ж пустяк! – Он вышел вперед и пошел, как отец, – засунув руки в карманы брюк, чуть раскачиваясь, неторопливо, крепко чувствуя под ногой землю.

Кондрат оглушительно захохотал.

– Похоже! – заорал он.

Прохожие оглянулись на них.

– Похоже ведь! – обратился к ним Кондрат, показывая на Миньку. – Меня показывает – как я хожу.

Миньке стало неудобно.

– Молодец, – серьезно похвалил Кондрат. – Учись – дело будет.

– Да это что!.. Это не главное. – Минька был счастлив. – Главное: донести твой характер, душу… А это, что я сейчас делал, – это обезьянничанье. За это нас долбают.

– Пошто долбают?

– Потому что это не искусство. Искусство в том, чтобы… Вот я тебя играю, так?

– Ну.

– И надо, чтобы в том человеке, который в конце концов получится, были и я и ты. Понял? Тогда я – художник…

– Счас пойдем глянем одного жеребца, – заговорил вдруг Кондрат серьезно. – Жеребец на выставке стоит образцовый!.. – Он зло сплюнул, покачал головой. – Буяна помнишь?

– Помню.

– Приезжала нынче комиссия смотреть – я его хотел на выставку. Забраковали, паразиты! А седни прихожу на ВДНХ, смотрю: стоит образцовый жеребец… Мне даже нехорошо сделалось. Какой же это образцовый жеребец, мать бы их в душеньку! Это ж кролик против моего Буяна. Я б его кулаком с одного раза на коленки уронил, такого образцового.

Минька представил Буяна, гордого вороного жеребца, и как-то тревожно, тихонько, сладко заныло сердце. Увидел он, как далеко-далеко, в степи, растрепав по ветру косматую гриву, носится в косяке полудикий красавец конь. А заря на западе – в полнеба, как догорающий соломенный пожар, и чертят ее – кругами, кругами – черные стремительные тени, и не слышно топота коней – тихо.

– Буяна помню, как же, – негромко сказал Минька. – Хороший конь.

Кондрат долго молчал. Сощурил синие глаза и смотрел вперед нехорошо – зло.

– Я его последнее время сам выхаживал, – заговорил он. – Фикус ему в конюшню поставил – у него там как у невесты в горнице стало. Как дите родное изучил его. Заржет черт-те где, а я уж слышу. Забраковали!.. – Кондрат замолчал. Ему было горько.

Минька тоже молчал. Расхотелось говорить об искусстве, не думалось о славной, нарядной судьбе артиста… Охота стало домой. Захотелось хлебнуть грудью степного полынного ветра… Притихнуть бы на теплом косогоре и задуматься. А в глазах опять встала картина: несется в степи вольный табун лошадей, и впереди, гордо выгнув тонкую шею, летит Буян. Но удивительно тихо в степи.

— Да, — сказал он.

— Со всего края приезжали смотреть…

— Да ладно, чего уж теперь.

Образцовый жеребец стоял в образцовой конюшне, за невысокой оградкой. Косил на людей большим нежно-фиолетовым глазом, настороженно вскидывал маленькую голову, стриг ухом.

Остановились около него.

— Этот?

— Но. — Кондрат смотрел на жеребца, как на недоброго человека, ехидные повадки которого хорошо изучил. — Он самый.

— Орловский.

— По блату выставили.

— Красивый.

— «Красивый», — передразнил сына Кондрат. — Ты уж… лучше походки изучай, раз не понимаешь.

— Чего ты? — обиделся Минька.

— Ты сядь на него да пробежи верст пятьдесят — тогда посмотри, что от этой красоты останется.

— Но нельзя же сказать, что он некрасивый!

— Вот за эту красоту он и попал сюда. У нас ведь все так… Конечно, полюбоваться можно, особенно кто не понимает ни шиша. А ты глянь! — Кондрат перешагнул оградку и пошел к жеребцу. Тот обеспокоился, засучил ногами. — Трр, той! — прикрикнул Кондрат. — Гляди сюда — это грудь? Это воробьиное колено, а не грудь. Он на двадцатой версте захрипит…

Тут к ним подошел служитель в синем комбинезоне.

— Гражданин, вы зачем зашли туда?

— На коняку вашего любуюсь.

— Смотреть отсюда можно. Выйдите.

— А если я хочу ближе?

— Я же вам русским языком сказал: выйдите. Нельзя туда.

Кондрат выразительно посмотрел на сына, вышел из оградки.

— Понял? Издаля только можно. Потому что знающие люди враз раскусят. Чистая работа!

Служитель не понимал, о чем идет речь.

Кондрат хотел уже уйти, но вдруг повернулся к служителю и спросил совершенно серьезно:

– Вопрос можно задать?

– Пожалуйста. – Служитель важно склонил голову набок.

– Этот конь – он кто: жеребец или кобыла?

Служитель взялся за живот… Он хохотал от души, как, наверно, не хохотал давно.

Кондрат внимательно, с грустью смотрел на него, ждал.

– Так ты, значит… Ха-ха-ха!.. Ой, мама родная! Так ты за этим и ходил туда? Узнать? Ха-ха-ха!..

– Смотри не надсадись, – сказал Кондрат.

Служитель вытер глаза.

– Жеребец, жеребец это, дорогой товарищ.

– Но?

– Что «но»?

– Неужели жеребец?

– Конечно, жеребец.

– Значит, я Василиса Прекрасная.

– При чем тут Василиса?

– При том, что это не жеребец. Это – ишак.

Служитель рассердился.

– Заложил, наверно, вчера крепко? Иди похмелись.

– Иди сам похмелись! А не то – съезди вон на своем жеребце. На нем только в кабак и ездить.

Служитель нашел это замечание чрезвычайно оскорбительным.

– Выйдите отсюда! Давайте, давайте… А то сейчас милицию позову. – Он тронул Кондрата за руку.

Кондрат зашагал от конюшни. Минька – за ним.

– Видел жеребца? – Кондрат закурил, несколько раз глубоко затянулся. – Приеду, пойду к той комиссии… Я им скажу пару ласковых. Ты тут спиши все данные про этого жеребца и пришли мне в письме. Я на них высплюсь там, на этих членах комиссии… Черти.

Минька тоже закурил.

– Куда сейчас?

– На вокзал. В девять пятнадцать поезд.

У Миньки защемило сердце. Он только сейчас осознал, как легко ему с отцом, как радостно и легко.

– Как вы там? – спросил он.

– Ничего, живы-здоровы. Мать без тебя тоскует. Соскочила один раз ночью – вроде ее кто-то в окно позвал. Я вышел – никого нету. Тоскует, вот и кажется.

Минька нахмурился.

– Чего она?..

– Так ить наше дело теперь не молодое… «Чего»!

– А в деревне как?

– Что в деревне?

– Ничего не изменилось?

– Все так же. Отсеялись нынче рано. Ту луговину за солонцом помнишь? Гречиху вечно сеяли…

– Но.

– Всю ее под сады пустил. Не знаю, что получится. Старики говорят, зря.

Минька не знал, что еще спрашивать. Не спросишь же: «А что, по вечерам гуляют с гармошками?» Несерьезно. Да и спрашивать нечего – гуляют. Как все это далеко! Туда поедет отец. Там – мать, ребята-дружки…

– Через трое суток дома будешь.

– Ты-то не приедешь летом?

– Не знаю. Кружок тут один веду… Не знаю, может, приеду.

– На будущий год он здесь будет, – твердо сказал Кондрат. – Я своего добьюсь.

– Кто?

– Буян. Я уж спланировал, как его по железной дороге везти. Не на того нарвались, я их сам забракую.

– А хорошо там у нас сейчас, да? Ночами хорошо?..

– Тоскуешь здесь?

– Да нет, что ты! Тут тоже хорошо. Пойдешь, например, в Парк культуры Горького – там весело.

– Москва, – раздумчиво сказал Кондрат. – На то она и столица. Мы как сейчас поедем-то?

– Можно на метро, можно на троллейбусе. Лучше, конечно, на метро – одна пересадка, и все.

Кондрат посмотрел на сына.

– Ты уж освоился тут.

– Не совсем, но…

– Москва, – еще раз сказал Кондрат. – Я в войну бывал тут. Но тогда она, конечно, не такая была.

На вокзале Миньку охватило сильное чувство, похожее на боль. Тяжело вдруг стало.

Отец взял чемоданы из камеры хранения. Пошли в вагон. Пока шли через зал и по перрону, молчали. Вошли в вагон. Отец долго устраивал чемоданы на верхнюю полку, потом присел к столику напротив сына. И опять молчали, глядели в окно.

По перрону шли и шли люди. Одни торопились, другие, много ездившие, шли спокойно.

«И все они сейчас поедут», – думал Минька.

В купе пахло чем-то свежим – не то краской, не то кожей.

Потом по радио объявили, чтобы провожающие вышли из вагонов и чтобы они не забыли передать билеты отъезжающим.

Минька вышел из вагона и подошел к окну, за которым сидел отец.

Смотрели друг на друга. Кондрат смотрел внимательно и серьезно.

«Что он так? Как в последний раз», – подумал Минька.

Поезд все не трогался.

Наконец тронулся.

Минька долго шел рядом с окном, смотрел на отца. Он тоже смотрел на него. Он сидел, навалившись на маленький столик, не шевелился. Был он седой, хмурый и смотрел все так же – внимательно и строго.

Минька остановился. В последний раз увидел, как отец привстал и прислонился к стеклу… И все. Поезд прогудел густым басом и стал набирать ходу.

Минька пошел домой.

Шел до самого общежития пешком. Шел бездумно, нарочно сворачивал в какие-то переулки – чтоб устать и прийти и сразу уснуть.

В комнате никого не было. На столе осталась всевозможная закуска и стояла недопитая бутылка дорогого коньяка.

Минька разобрал постель… Долго сидел, не раздеваясь. Потом разделся и лег.

Взошла луна. В комнате стало светло. Минька представил, как грохочет сейчас по степи поезд, в котором отец… Отец смотрит, наверно, в окно. А по земле идет светлая ночь, расстилает по косогорам белые простыни…

Минька перевернулся на живот, уткнулся в подушку. И опять, в который раз, увидел: степь и табун лошадей несется по степи…

С этим и заснул Минька. И слышал, как в соседней комнате играет радиола. И ему снилось, что тот самый служитель с выставки стоит над ним и хохочет – громко и глупо.

Степка
И пришла весна – добрая и бестолковая, как недозрелая девка.

В переулках на селе – грязь по колено. Люди ходят вдоль плетней, держась руками за колья. И если ухватится за кол какой-нибудь дядя из «Заготскота», то и останется он у него в руках, ибо дяди из «Заготскота» все почему-то как налитые, с лицами красного шершавого сукна. Хозяева огородов лаются на чем свет стоит:

– Тебе, паразит, жалко сапоги замарать, а я должен каждую весну плетень починять?!

– Взял бы да накидал камней, если плетень жалко.

– А у тебя что, руки отсохли? Возьми да накидай…

– А тогда не лайся, если такой умный.

А ночами в полях с тоскливым вздохом оседают подопревшие серые снега. А в тополях, у речки, что-то звонко лопается с тихим ликующим звуком: пи-у. Лед прошел на реке. Но еще отдельные льдины, блестя на солнце, скребут скользкими животами каменистую дресву; а на изгибах речных льдины вылезают синими мордами на берег, разгребают гальку, разворачиваются и плывут дальше – умирать. Шалый сырой ветерок кружится и кружит голову… Остро пахнет навозом. Вечерами, перед сном грядущим, люди добреют.

Во дворах на таганках потеют семейные чугуны с похлебкой. Пляшут веселые

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru огоньки, потрескивает волглый хворост. Задумчиво в теплом воздухе… Прожит день. Вполсилы ведутся неторопливые, необязательные разговоры – завтра будет еще день, и опять будут разные дела. А пока можно отдохнуть, покурить, поворчать на судьбу, задуматься бог знает о чем: что, может, жизнь – судьба эта самая – могла бы быть какой-нибудь иной, малость лучше?.. А в общем-то и так ничего – сойдет.

В такой-то задумчивый, хороший вечер, минуя большак, пришел к родному селу Степан Воеводин.

Пришел с той стороны, где меньше дворов, сел на косогор, нагретый за день солнышком, вздохнул, И стал смотреть на деревню. Он, видно, много отшагал за день и крепко устал.

Долго сидел так, смотрел.

Потом встал и пошел в деревню.

Ермолай Воеводин копался еще в своей завозне – тесал дышло для брички. В завозне пахло сосновой стружкой, махрой и остывающими тесовыми стенами. Свету в завозне было уже мало. Ермолай щурился и, попадая рубанком на сучки, по привычке ласково матерился.

…И тут на пороге, в дверях, вырос сын его – Степан.

– Здорово, тять.

Ермолай поднял голову, долго смотрел на сына… Потом высморкался из одной ноздри, вытер нос подолом сатиновой рубахи, как делают бабы, и опять внимательно посмотрел на сына.

– Степка, что ли?

– Но… Ты чо, не узнал?

– Хот!.. Язви тя… Я уж думал, причудилось.

Степан опустил худой вещмешок на порожек, подошел к отцу… Обнялись, чмокнулись.

– Пришел?

– Пришел.

– Чо-то раньше? Мы осенью ждали.

– Отработал… отпустили пораньше.

– Хот… Язви тя!.. – Отец был рад сыну, рад был видеть его. Только не знал, что делать, – А Борозя-то живой ишо, – сказал.

– Ну? – удивился Степан. Он тоже не знал, что делать. Тоже рад был видеть отца. – А где он?

– А шалается где-нибудь. Этта в субботу вывесили бабы бельишко сушить – все изодрал. Разыгрался, сукин сын, и давай трепать…

– Шалавый дурак.

– Хотел уж пристрелить его, да подумал; придешь – обидишься…

Присели на верстак, закурили.

– Наши здоровы? – спросил Степан.

– Ничо, здоровы. Как сиделось-то?

– Ничо, хорошо. Работали.

– В шахтах небось?

– Нет, зачем – лес валили.

– Ну да. – Ермолай кивнул головой. – Дурь-то вся вышла?

– Та-а… – Степан поморщился. – Не в этом дело, тять.

– Ты вот, Степка… – Ермолай погрозил согнутым прокуренным пальцем. – Понял теперь: не лезь с кулаками куда не надо. Нашли, черти полосатые, время драться… Тут без этого…

– Не в этом дело, – опять сказал Степан.

В сарайчике быстро темнело. И все так же волнующе пахло стружкой и махрой.

Степан встал с верстака, затоптал окурок… Поднял свой хилый вещмешок.

– Пошли в дом, покажемся.

– Немая-то наша, – заговорил отец, поднимаясь, – чуток замуж не вышла. – Ему все хотелось сказать какую-нибудь важную новость, и ничего как-то не приходило в голову.

– Ну? – удивился Степан.

И смех и грех…

Пока шли от завозни, отец рассказывал:

– Приходит один раз из клуба и маячит мне: жениха, мол, приведу, Я, говорю, те счас такого жениха приведу, что ты неделю сидеть не сможешь.

– Может, зря?

– Чо зря? Зря… Обмануть надумал какой-то – и выбрал полегче. Кому она к шутам нужна такая. Я, говорю, такого те жениха приведу…

– Посмотреть надо было жениха-то. Может, правда…

А в это время на крыльцо вышла и сама «невеста» – крупная девка лет двадцати трех. Увидела брата, всплеснула руками, замычала радостно. Глаза у нее синие, как цветочки, и смотрела она до слез доверчиво.

– Мэ-эмм, мм, – мычала она и ждала, когда брат подойдет, и глядела на него сверху, с крыльца… И до того она в эту минуту была счастлива, что у мужиков навернулись слезы.

– Вот те и «мэ», – сердито сказал отец и шаркнул ладонью по глазам. – Ждала все, крестики на стене ставила – сколько дней осталось, – пояснил он Степану. – Любит всех, как дура.

Степан нахмурился, поднялся по ступенькам, неловко приобнял сестру, похлопал ее по спине… А она вцепилась в него, целовала в щеки, в лоб, в губы.

– Ладно тебе, – сопротивлялся Степан и хотел освободиться от крепких объятий.

И неловко ему было, что его так нацеловывают, и рад был тоже, и не мог оттолкнуть сестру.

– Ты гляди, – смущенно бормотал он. – Ну, хватит, хватит… Ну, все…

– Да пусть уж, – сказал отец и опять вытер глаза. – Вишь, соскучилась.

Степан высвободился наконец из объятий сестры, весело оглядел ее.

– Ну как живешь-то? – спросил.

Сестра показала руками – «хорошо».

– У ей всегда хорошо, – сказал отец, поднимаясь на крыльцо. – Пошли мать обрадуем.

Мать заплакала, запричитала:

– Господи-батюшка, отец небесный, услыхал ты мои молитвы, долетели они до тебя…

Всем стало как-то не по себе.

– Ты, мать, и радуисся и горюешь – все одинаково, – строго заметил Ермолай. – Чо захлюпала-то? Ну, пришел теперь, радоваться надо.

– Да я и радуюсь, не радуюсь, что ли…

– Ну и не реви.

– Здоровый ли, сынок? – спросила мать. – Может, по хвори какой раньше-то отпустили?

– Нет, все нормально. Отработал свое, отпустили.

Стали приходить соседи, родные.

Первой прибежала Нюра Агапова, соседка, молодая, красивая баба с круглым, добрым лицом. Еще в сенях говорила излишне радостно и заполошно:

– А я гляжу из окошка-то: осподи-батюшка, да ить эт Степан пришел?! И правда – Степан…

Степан улыбнулся ей:

– Здорово, Нюра.

Нюра обвила горячими руками соседа, прильнула наголодавшимися вдовьими губами к его потрескавшимся, пропахшим табаком и степным ветром губам…

– От тебя, как от печки, пышет, – сказал Степан. – Замуж-то не вышла?

– А где они тут, женихи-то? Два с половиной мужика на всю деревню.

– А тебе что, пять надо?

– Я, может, тебя ждала? – Нюра засмеялась.

– Пошла к дьяволу, Нюрка! – возревновала мать. – Не крутись тут дай другим поговорить. Шибко чижало было, сынок?

– Да нет, – стал рассказывать Степан. – Там хорошо. Я, например, здесь раз в месяц кино смотрю, так? А там – в неделю два раза. А хошь – иди в красный уголок, там тебе лекцию прочитают: «О чести и совести советского человека» или «О положении рабочего класса в странах капитала».

– Что же, вас туда собрали кино смотреть? – спросила Нюра весело.

– Почему?.. Не только, конечно, кино…

– Воспитывают, – встрял в разговор отец. – Мозги дуракам вправляют.

– Людей интересных много, – продолжал Степан. – Есть такие орлы!.. А есть образованные. У нас в бригаде два инженера было…

– А эти за что?

– Один – за какую-то аварию на фабрике, другой – за драку. Дал тоже кому-то бутылкой по голове…

– Может, врет, что инженер? – усомнился отец.

– Там не соврешь. Там все про всех знают.

– А кормили-то ничего? – спросила мать.

– Хорошо, всегда почти хватало. Ничего.

Еще подошли люди. Пришли товарищи Степана. Стало колготно в небольшой избенке Воеводиных. Степан снова и снова принимался рассказывать:

– Да нет, там, в общем-то, хорошо! Вы здесь кино часто смотрите? А мы – в неделю два раза. К вам артисты приезжают? А к нам туда без конца ездили. Жрать тоже хватало… Один раз фокусник приезжал. Вот так берет стакан с водой…

Степана слушали с интересом, немножко удивлялись, говорили «хм», «ты гляди», пытались сами что-то рассказать, но другие задавали новые вопросы, и Степан снова рассказывал. Он слегка охмелел от долгожданной этой встречи, от расспросов, от собственных рассказов. Он незаметно стал даже кое-что прибавлять к ним.

– А насчет охраны строго?

– Ерунда! Нас последнее время в совхоз возили работать, так мы там совсем почти одни оставались.

– А бегут?

– Мало. Смысла нет.

– А вот говорят: если провинился человек, то его сажают в каменный мешок…

– В карцер. Это редко, это если сильно проштрафился… И то уркаганов, а нас редко.

– Вот жуликов-то, наверно, где! – воскликнул один простодушный парень. – Друг у дружки воруют, наверно?..

Степан засмеялся. И все посмеялись, но с любопытством посмотрели на Степана.

– Там у нас строго за это, – пояснил Степан. – Там если кого заметют, враз решку наведут…

Мать и немая тем временем протопили баню на скорую руку, отец сбегал в лавочку… Кто принес сальца в тряпочке, кто пирожков, оставшихся со дня, кто пивца-медовухи в туеске – праздник случился нечаянно, хозяева не успели подготовиться. Сели к столу затемно.

И потихоньку стало разгораться неяркое веселье. Говорили все сразу, перебивали друг друга, смеялись… Степан сидел во главе стола, поворачивался направо и налево, хотел еще рассказывать, но его уже плохо слушали. Он, впрочем, и не шибко старался. Он рад был, что людям сейчас хорошо, что он им доставил удовольствие, позволил им собраться вместе, поговорить, посмеяться… И чтоб им было совсем хорошо, он запел трогательную песню тех мест, откуда только что прибыл:

Прости мне, ма-ать,
За все мои поступки,
Что я порой не слушалась тебя-а!..
На минуту притихли было; Степана целиком захватило чувство содеянного добра и любви к людям. Он заметно хмелел.

Эх, я думала-а, что тюрьма д это шутка,
И этой шуткой сгубила д я себя-а!
пел Степан.

Песня не понравилась – не оценили чувства раскаявшейся грешницы, не тронуло оно их…

– Блатная! – с восторгом пояснил тот самый простодушный парень, который считал, что в тюрьме – сплошное жулье. – Тихо вы!

– Чо же, сынок, баб-то много сидит? – спросила мать с другого конца стола.

– Хватает.

И возник оживленный разговор о том, что, наверно, бабам-то там несладко.

– И вить дети небось поостаются.

– Детей – в приюты…

– А я бы баб не сажал! – сурово сказал один изрядно подвыпивший мужичок. – Я бы им подолы на голову – и ремнем!

– Не поможет, – заспорил с ним Ермолай. – Если ты ее выпорол – так? – она только злей станет. Я свою смолоду поучил раза два вожжами – она мне со зла немую девку принесла.

Кто-то поднял песню. Свою. Родную,

Оте-ец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с им…
Песню подхватили. Заголосили вразнобой, а потом стали помаленьку выравниваться.

…Три дня, три ноченьки старался
Сестру из плена выруча-ал…
Увлеклись песней – пели с чувством, нахмурившись, глядя в стол перед собой.

Злодей пустил злодейку пулю,
Уби-ил красавицу сестру-у.
Взошел я на гору крутую,
Село-о родное посмотреть:
Гори-ит, горит село родное,
Гори-ит вся родина-а моя-а!..
Степан крепко припечатал кулак в столешницу.

– Ты меня не любишь, не жалеешь! – сказал он громко. – Я вас всех уважаю, черти драные! Я сильно без вас соскучился.

У порога, в табачном дыму, всхлипнула гармонь – кто-то предусмотрительный смотался за гармонистом. Взревели… Песня погибла. Вылезали из-за стола и норовили сразу попасть в ритм «подгорной». Старались покрепче дать ногой в половицу.

Бабы образовали круг и пошли и пошли с припевом. И немая пошла и помахивала над головой платочком. На нее показывали пальцем, смеялись… И она тоже смеялась – она была счастлива.

– Верка! Ве-ерк! – кричал изрядно подпивший мужичок. – Ты уж тогда спой, ты спой, чо же так ходить-то! – Никто его не слышал, и он сам смеялся своей шутке – просто закатывался.

Мать Степана рассказывала какой-то пожилой бабе:

– Кэ-эк она на меня навалится, матушка, у меня аж в грудях сперло. Я насилу насилу вот так голову-то приподняла да спрашиваю: «К худу или к добру?» А она мне в самое ухо дунула: «К добру!»

Пожилая баба покачала головой:

– К добру?

– К добру, к добру. Ясно так сказала: к добру, говорит.

– Упредила.

– Упредила, упредила, А я ишо подумай вечером-то: «К какому добру, – думаю, – мне суседка-то предсказала?» Только так подумала, а дверь-то открывается – и он вот он, на пороге.

– Господи, господи, – прошептала пожилая баба и вытерла концом платка повлажневшие глаза. – Надо же!

Бабы втащили на круг Ермолая. Ермолай недолго думая пошел вколачивать одной ногой, а второй только каблуком пристукивал… И приговаривал: «Оп-па, ат-та, оп-па, ат-та». И вколачивал и вколачивал ногой так, что посуда в шкафу вздрагивала.

– Давай, Ермил! – кричали Ермолаю, – У тя седня радость большая шевелись!

– Ат-та, оп-па, – приговаривал Ермолай, а рабочая спина его, ссутулившаяся за сорок лет работы у верстака, так и не распрямилась, и так он и плясал – слегка сгорбатившись, и большие узловатые руки его тяжело висели вдоль тела. Но рад был Ермолай и забыл все свои горести – долго ждал этого дня, без малого пять лет.

В круг к нему протиснулся Степан, сыпанул тяжкую, нечеткую дробь:

– Давай, тять…

– Давай – батька с сыном! Шевелитесь!

– А Степка-то не изработался – взбрыкивает.

– Он же говорит: им там хорошо было. Жрать давали…

– Там дадут – догонют да еще дадут.

– Ат-та, оп-па!.. – приговаривал Ермолай, приноравливаясь к сыну.

Плясать оба не умели, но работали ладно – старались. Людям нравилось, смотрели на них с удовольствием.

Так гуляли.

Никто потом не помнил, как появился в избе участковый милиционер. Видели только, что он подошел к Степану и что-то сказал ему. Степан вышел с ним на улицу. А в избе продолжали гулять: решили, что так надо, наверно, явиться Степану в сельсовет – оформить всякие там бумаги. Только немая что-то забеспокоилась, замычала тревожно, начала тормошить отца. Тот спьяну отмахнулся.

– Отстань, ну тя! Пляши вон.

Вышли за ворота. Остановились.

– Ты что, сдурел, парень? – спросил участковый, вглядываясь в лицо Степана.

Степан прислонился спиной к воротному столбу, усмехнулся:

– Чудно? Ничего… Бывает.

– Тебе же три месяца сидеть осталось!

– Знаю не хуже тебя… Дай закурить.

Участковый дал ему папиросу, закурил сам.

– Пошли.

– Пошли.

– Может, скажешь дома-то?.. А то хватятся…

– Сегодня не надо – пусть погуляют. Завтра скажешь.

– Три месяца не досидеть и сбежать!.. – опять изумился милиционер. – Прости меня, но я таких дураков еще не встречал, хотя много повидал всяких. Зачем ты это сделал?

Степан шагал, засунув руки в карманы брюк, узнавал в сумраке знакомые избы, ворота, прясла… Вдыхал знакомый с детства терпкий весенний холодок, задумчиво улыбался.

– А?

– Чего?

– Зачем ты это сделал-то?

– Сбежал-то? А вот-пройтись разок… Соскучился. Сны замучили.

– Так ведь три месяца осталось! – почти закричал участковый. – А теперь еще пару лет накинут.

– Ничего… Я теперь подкрепился. Теперь можно сидеть. А то меня сны замучили – каждую ночь деревня снится… Хорошо у нас весной, верно?

– Н-да… – раздумчиво сказал участковый.

Долго шли молча, почти до самого сельсовета.

– И ведь удалось сбежать!.. Один бежал?

– Трое.

– А те где?

– Не знаю. Мы сразу по одному разошлись.

– И сколько же ты добирался?

– Две недели.

– Тьфу!.. Ну, черт с тобой, сиди.

В сельсовете участковый сел писать протокол. Степан задумчиво смотрел в темное окно. Хмель прошел.

– Оружия нет? – спросил участковый, отвлекаясь от протокола.

– Сроду никакой гадости не таскал с собой.

– Чем же ты питался в дороге?

– Они запаслись-те двое-то…

– А им по сколько оставалось?

– По много…

– Но им-то хоть был смысл бежать, а тебя-то куда черт дернул?

– Ладно, надоело! – обозлился Степан. – Делай свое дело, я ж тебе не мешаю.

Участковый качнул головой, склонился опять к бумаге. Еще сказал:

– А я, честно говоря, не поверил, когда мне позвонили. Думаю: ошибка какая-нибудь – не может быть, чтоб на свете были такие придурки. Оказывается, правда.

Степан смотрел в окно, спокойно о чем-то думал.

– Небось смеялись над тобой те двое-то? – не вытерпел и еще спросил

словоохотливый милиционер.

Степан не слышал его.

Милиционер долго, с любопытством смотрел на него. Сказал:

– А по лицу не скажешь, что дурак. – И продолжал сочинять протокол.

В это время в сельсовет вошла немая. Остановилась на пороге, посмотрела испуганными глазами на милиционера, на брата…

– Мэ-мм? – спросила брата.

Степан растерялся:

– Ты зачем сюда?

– Мэ-мм?! – замычала сестра, показывая на милиционера.

– Это сестра, что ли? – спросил тот.

– Ну…

Немая подошла к столу, тронула участкового за плечи и, показывая на брата, руками стала пояснять свой вопрос: «Ты зачем увел его?!»

Участковый понял.

– Он… он, – показал на Степана, – сбежал из тюрьмы! Сбежал! Вот так!.. – Участковый показал на окно и показал, как сбегают. – Нормальные люди в дверь выходят, а он в окно – раз, и ушел. И теперь ему будет… – Милиционер сложил пальцы в решетку и показал немой на Степана. – Теперь ему опять вот эта штука будет! Два! – Растопырил два пальца и торжествующе потряс ими. – Два года еще!

Немая стала понимать… И когда она совсем все поняла, глаза ее, синие, испуганные, загорелись таким нечеловеческим страданием, такая в них отразилась боль, что милиционер осекся. Немая смотрела на брата. Тот побледнел и замер – тоже смотрел на сестру.

– Вот теперь скажи ему, что он дурак, что так не делают нормальные люди…

Немая вскрикнула гортанно, бросилась к Степану, повисла у него на шее…

– Убери ее, – хрипло попросил Степан. – Убери!

– Как я ее уберу?..

– Убери, гад! – заорал Степан не своим голосом, – Уведи ее, а то я тебе расколю голову табуреткой!

Милиционер вскочил, оттащил немую от брата… А она рвалась к нему и мычала. И трясла головой.

– Скажи, что ты обманул, пошутил… Убери ее!

– Черт вас!.. Возись тут с вами, – ругался милиционер, оттаскивая немую к двери. – Он придет сейчас, я ему дам проститься с вами! пытался он втолковать ей. – Счас он придет!.. – Ему удалось наконец подтащить ее к двери и вытолкнуть. – Ну, здорова! – Он закрыл дверь на крючок. – Фу-у… Вот каких ты делов натворил – любуйся теперь.

Степан сидел, стиснув руками голову, смотрел в одну точку.

Участковый спрятал недописанный протокол в полевую сумку, подошел к телефону.

– Вызываю машину – поедем в район, ну вас к черту… Ненормальные какие-то.

А по деревне серединой улицы бежала, спотыкаясь, немая и горько плакала. Она

торопилась всем сказать, закричать всем, которые пляшут и не знают, что брата опять зачем-то хотят увезти. Она торопилась.

Космос, нервная система и шмат сала
Старик Наум Евстигнеич хворал с похмелья. Лежал на печке, стонал. Раз в месяц – с пенсии – Евстигнеич аккуратно напивался и после этого три дня лежал в лежку. Матерился в бога.

– Как черти копытьями толкут, в господа мать. Кончаюсь…

За столом, обложенным учебниками, сидел восьмиклассник Юрка, квартирант Евстигнеича, учил уроки.

– Кончаюсь, Юрка, в крестителя, в бога душу мать!..

– Не надо было напиваться.

– Молодой ишо рассуждать про это.

Пауза. Юрка поскрипывает пером.

Старику охота поговорить – все малость полегче.

– А чо же мне делать, если не напиться? Должен я хоть раз в месяц отметиться…

– Зачем?

– Што я не человек, што ли?

– Хм… Рассуждения, как при крепостном праве. – Юрка откинулся на спинку венского стула, насмешливо посмотрел на хозяина. – Это тогда считалось, что человек должен обязательно пить.

– А ты откуда знаешь про крепостное время-то? – Старик смотрит сверху страдальчески и с любопытством. Юрка иногда удивляет его своими познаниями, и он хоть и не сдается, но слушать парнишку любит, – Откуда ты знаешь-то? Тебе всего-то от горшка два вершка.

– Проходили.

– Учителя, што ли, рассказывали?

– Но.

– А они откуда знают? Там у вас ни одного старика нету.

– В книгах.

– В книгах… А они случайно не знают, отчего человек с похмелья хворает?

– Травление организма: сивушное масло.

– Где масло? В водке?

– Но.

Евстигнеичу хоть тошно, но он невольно усмехается:

– Доучились.

– Хочешь, я тебе формулу покажу? Сейчас я тебе наглядно докажу…Юрка взял было учебник химии, но старик застонал, обхватил руками голову.

– О-о… опять накатило! Все, конец…

– Ну, похмелись тогда, чего так мучиться-то?

Старик никак не реагирует на это предложение. Он бы похмелился, но жалко денег,

Он вообще скряга отменный. Живет справно, пенсия неплохая, сыновья и дочь помогают из города. В погребе у него чего только нет – сало еще прошлогоднее, соленые огурцы, капуста, арбузы, грузди… Кадки, кадушки, туески, бочонки – целый склад, В кладовке полтора куля доброй муки, окорок висит пуда на полтора. В огороде яма картошки, тоже еще прошлогодней, он скармливает ее боровам, уткам и курицам. Когда он не хворает, он встает до света и весь день, до темноты, возится по хозяйству. Часто спускается в погреб, сядет на приступку и подолгу задумчиво сидит. «Черти драные. Тут ли счас не жить» – думает он и вылезает на свет белый. Это он о сыновьях и дочери. Он ненавидит их за то, что они уехали в город.

У Юрки другое положение. Живет он в соседней деревне, где нет десятилетки. Отца нет. А у матери кроме него еще трое. Отец утонул на лесосплаве. Те трое ребятишек моложе Юрки. Мать бьется из последних сил, хочет, чтоб Юрка окончил десятилетку. Юрка тоже хочет окончить десятилетку. Больше того, он мечтает потом поступить в институт. В медицинский.

Старик вроде не замечает Юркиной бедности, берет с него пять рублей в месяц. А варят – старик себе отдельно, Юрка себе. Иногда, к концу месяца, у Юрки кончаются продукты. Старик долго косится на Юрку, когда тот всухомятку ест хлеб. Потом спрашивает:

– Все вышло?

– Ага.

– Я дам… апосля привезешь.

– Давай.

Старик отвешивает на безмене килограмм-два пшена, и Юрка варит себе кашу. По утрам беседуют у печки.

– Все же охота доучиться?

– Охота. Хирургом буду.

– Сколько ишо?

– Восемь. Потому что в медицинском – шесть, а не пять, как в остальных.

– Ноги вытянешь, пока дойдешь до хирурга-то. Откуда она, мать, денег-то возьмет сэстоль?

– На стипендию. Учатся ребята… У нас из деревни двое так учатся.

Старик молчит, глядя на огонь. Видно, вспомнил своих детей.

– Чо эт вас так шибко в город-то тянет?

– Учиться… «Что тянет». А хирургом можно потом и в деревне работать. Мне даже больше глянется в деревне.

– Што, они много шибко получают, што ль?

– Кто? Хирурги?

– Но.

– Наоборот, им мало плотят. Меньше всех. Сейчас прибавили, правда, но все равно…

– Дак на кой же шут тогда жилы из себя тянуть столько лет? Иди на шофера выучись да работай. Они вон по скольку зашибают! Да ишо приворовывают: где лесишко кому подкинет, где сена привезет совхозного – деньги. И матери бы помог. У ей вить ишо трое на руках.

Юрка молчит некоторое время. Упоминание о матери и младших братьях больно отзывается в сердце. Конечно, трудно матери… Накипает раздражение против

старика.

— Проживем, — резко говорит он. — Никому до этого не касается.

— Знамо дело, — соглашается старик. — Сбили вас с толку этим ученьем — вот и мотаетесь по белому свету, как… — Он не подберет подходящего слова — как кто. — Жили раньше без всякого ученья — ничего, бог миловал: без хлебушка не сидели.

— У вас только одно на уме: раньше!

— А то… ирапланов понаделали-дерьма-то.

— А тебе больше глянется на телеге?

— А чем плохо на телеге? Я если поехал, так знаю: худо-бедно доеду. А ты навернесся с этого свово ираплана — костей не соберут.

И так подолгу они беседуют каждое утро, пока Юрка не уйдет в школу. Старику необходимо выговориться — он потом целый день молчит; Юрка же, хоть и раздражает его занудливое ворчание старика, испытывает удовлетворение оттого, что вступается за Новое — за аэропланы, учение, город, книги, кино…

Странно, но старик в бога тоже не верит.

— Делать нечего — и начинают заполошничать, кликуши, — говорит он про верующих. — Робить надо, вот и благодать настанет.

Но работать — это значит только для себя, на своей пашне, на своем огороде. Как раньше. В колхозе он давно не работает, хотя старики в его годы еще колупаются помаленьку — кто на пасеке, кто объездным на полях, кто в сторожах.

— У тебя какой-то кулацкий уклон, дед, — сказал однажды Юрка в сердцах. Старик долго молчал на это. Потом сказал непонятно:

— Ставай, пролятый заклеменный!.. — И высморкался смачно сперва из одной ноздри, потом из другой. Вытер нос подолом рубахи и заключил: Ты ба, наверно, комиссаром у их был. Тогда молодые были комиссарами.

Юрке это польстило.

— Не пролятый, а — проклятьем, — поправил он.

— Насчет уклона-то… смотри не вякни где. А то придут, огород урежут. У меня там сотки четыре лишка есть.

— Нужно мне.

Частенько возвращались к теме о боге.

— Чего у вас говорят про его?

— Про кого?

— Про бога-то.

— Да ничего не говорят — нету его.

— А почему тогда столько людей молятся?

— А почему ты то и дело поминаешь его? Ты же не веришь.

— Сравнил! Я — матерюсь.

— Все равно — в бога.

Старик в затруднении.

— Я, што ли, один так лаюсь? Раз его все споминают, стало быть, и мне можно.

– Глупо. А в таком возрасте вообще стыдно.

– Отлегло малость, в креста мать, – говорит старик. – Прямо в голове все помутнело.

Юрка не хочет больше разговаривать – надо выучить уроки.

– Про кого счас проходишь?

– Астрономию, – коротко и суховато отвечает Юрка, давая тем самым понять, что разговаривать не намерен.

– Это про што?

– Космос. Куда наши космонавты летают.

– Гагарин-то?

– Не один Гагарин… Много уж.

– А чего они туда летают? Зачем?

– Привет! – воскликнул Юрка и опять откинулся на спинку стула. Ну, ты даешь. А что они, будут лучше на печке лежать?

– Што ты привязался с этой печкой? – обиделся старик. – Доживи до моих годов, тогда вякай.

– Я же не в обиду тебе говорю. Но спрашивать: зачем люди в космос летают? – это я тебе скажу…

– Ну и растолкуй. Для чего же тебя учат? Штоб ты на стариков злился?

– Ну во-первых: освоение космоса-это… надо. Придет время, люди сядут на Луну. А еще придет время – долетят до Венеры. А на Венере, может, тоже люди живут. Разве не интересно доглядеть на них?..

– Они такие же, как мы?

– Этого я точно не знаю. Может, маленько пострашней, потому что там атмосфера не такая – больше давит.

– Ишо драться кинутся.

– За что?

– Ну, скажут: зачем прилетели? – Старик заинтересован рассказом. Непрошеный гость хуже татарина.

– Не кинутся. Они тоже обрадуются. Еще неизвестно, кто из нас умнее – может, они. Тогда мы у них будем учиться. А потом, когда техника разовьется, дальше полетим… – Юрку самого захватила такая перспектива человечества. Он встал и начал ходить по избе. – Мы же еще не знаем, сколько таких планет, похожих на Землю! А их, может, миллионы! И везде живут существа. И мы будем летать друг к другу… И получится такое… мировое человечество. Все будем одинаковые.

– Жениться, што ли, друг на дружке будете?

– Я говорю – в смысле образования! Может, где-нибудь есть такие человекоподобные, что мы все у них поучимся. Может, у них все уже давно открыто, а мы только первые шаги делаем. Вот и получится тогда то самое царство божие, которое религия называет – рай. Или ты, допустим, захотел своих сыновей повидать прямо с печки – пожалуйста, включил видеоприемник, настроился на определенную волну – они здесь, разговаривай. Захотелось слетать к дочери, внука понянчить – лезешь на крышу, заводишь небольшой вертолет – и через какое-то время икс ты у дочери… А внук… ему сколько?

– Восьмой, однако.

– Внук тебе почитает «Войну и мир», потому что развитие будет ускоренное. А медицина будет такая, что люди будут до ста – ста двадцати лет жить.

– Ну, это уж ты… приврал.

– Почему?! Уже сейчас эта проблема решается. Сто двадцать лет-это нормальный срок считается. Мы только не располагаем данными. Но мы возьмем их у соседей по Галактике.

– А сами-то не можете – чтоб на сто двадцать?

– Сами пока не можем. Это медленный процесс. Может, и докатимся когда-нибудь, что будем сто двадцать лет жить, но это еще не скоро. Быстрее будет построить такой космический корабль, который долетит до Галактики. И возможно, там этот процесс уже решен: открыто какое-нибудь лекарство…

– Сто двадцать лет сам не захочешь. Надоест.

– Ты не захочешь, а другие – с радостью. Будет такое средство…

– «Средство»… Открыли бы с похмелья какое-нибудь средство – и то ладно. А то башка, как этот… как бачок из-под самогона.

– Не надо пить.

– Пошел ты!..

Замолчали.

Юрка сел за учебники.

– У вас только одно на языке: «будет! будет!..» – опять начал старик, – Трепачи. Ты вот – шешнадцать лет будешь учиться, а начнет человек помирать, чего ты ему сделаешь?

– Вырежу чего-нибудь.

– Дак если ему срок подошел помирать, чего ты ему вырежешь?

– Я на такие… дремучие вопросы не отвечаю.

– Нечего отвечать, вот и не отвечаете.

– Нечего?.. А вот эти люди!.. – сгреб кучу книг и показал, – Вот этим людям тоже нечего отвечать?! Ты хоть одну прочитал?

– Там читать нечего – вранье одно.

– Ладно! – Юрка вскочил и опять начал ходить по избе. – Чума раньше была?

– Холера?

– Ну, холера.

– Была. У нас в двадцать…

– Где она сейчас? Есть?

– Не приведи господи! Может, будет ишо…

– В том-то и дело, что не будет. С ней научились бороться. Дальше: если бы тебя раньше бешеная собака укусила, что бы с тобой было?

– Сбесился бы.

– И помер. А сейчас – сорок уколов, и вер. Человек живет. Туберкулез был

неизлечим? Сейчас, пожалуйста: полгода – и человек как огурчик! А кто это все придумал? Ученые! «Вранье»… Хоть бы уж помалкивали, если не понимаете.

Старика раззадорил тоже этот Юркин наскок.

– Так. Допустим. Собака – это ладно, А вот змея укусит?.. Иде они были, доктора-то, раньше? Не было. А бабка, бывало, пошепчет – и как рукой сымет. А вить она институтов никаких не кончала.

– Укус был не смертельный. Вот и все.

– Иди подставь: пусть она разок чикнет куда-нибудь…

– Пожалуйста! Я до этого укол сделаю, и пусть кусает сколько влезет – я только улыбнусть.

– Хвастунишка.

– Да вот же они, во-от! – Юрка опять показал книги. – Люди на себе проверяли! А знаешь ты, что когда академик Павлов помирал, то он созвал студентов и стал им диктовать, как он помирает.

– Как это?

– Так. «Вот, – говорит, – сейчас у меня холодеют ноги записывайте». Они записывали. Потом руки отнялись. Он говорит: «Руки отнялись».

– Они пишут?

– Пишут, Потом сердце стало останавливаться, он говорит: «Пишите». Они плакали и писали, – У Юрки у самого защипало глаза от слез. На старика рассказ тоже произвел сильное действие.

– Ну?..

– И помер. И до последней минуты все рассказывал, потому что это надо было для науки. А вы с этими вашими бабками еще бы тыщу лет в темноте жили… «Раньше было! Раньше было!..» Вот так было раньше?! Юрка подошел к розетке, включил радио. Пела певица. – Где она? Ее же нет здесь!

– Кого?

– Этой… кто поет-то.

– Дак это по проводам…

– Это – радиоволны! «По проводам». По проводам – это у нас здесь, в деревне, только. А она, может, где-нибудь на Сахалине поет – что, туда провода протянуты?

– Провода. Я в прошлом годе ездил к Ваньке, видал: вдоль железной дороги провода висят.

Юрка махнул рукой:

– Тебе не втолковать. Мне надо уроки учить. Все.

– Ну и учи.

– А ты меня отрываешь. – Юрка сел за стол, зажал ладонями уши и стал читать.

Долго в избе было тихо.

– Он есть на карточке? – спросил старик.

– Кто?

– Тот ученый, помирал-то который.

– Академик Павлов? Вот он.

Юрка подал старику книгу и показал Павлова. Старик долго и серьезно разглядывал изображение ученого.

– Старенький уж был.

– Он был до старости лет бодрый и не напивался, как… некоторые. Юрка отнял книгу. – И не валялся потом на печке, не матерился. Он в городки играл до самого последнего момента, пока не свалился. А сколько он собак прирезал, чтобы рефлексы доказать!.. Нервная система – это же его учение. Почему ты сейчас хвораешь?

– С похмелья, я без Павлова знаю.

– С похмелья-то с похмелья, но ты же вчера оглушил свою нервную систему, затормозил, а сегодня она… распрямляется. А у тебя уж условный рефлекс выработался: как пенсия, так обязательно пол-литра. Ты уже не можешь без этого, – Юрка ощутил вдруг некое приятное чувство, что он может спокойно и убедительно доказывать старику весь вред и все последствия его выпивок. Старик слушал. – Значит, что требуется? Перебороть этот рефлекс. Получил пенсию на почте. Пошел домой… И ноги у тебя сами поворачивают в сельмаг. А ты возьми пройди мимо. Или совсем другим переулком пройди.

– Я хуже маяться буду.

– Раз помаешься, два, три – потом привыкнешь. Будешь спокойно идти мимо сельмага и посмеиваться.

Старик привстал, свернул трясущимися пальцами цигарку, прикурил. Затянулся и закашлялся.

– Ох, мать твою… Кхох!.. Аж выворачивает всего. Это ж надо так!

Юрка сел опять за учебники.

Старик кряхтя слез с печки, надел пимы, полушубок, взял нож и вышел в сенцы. «Куда это он?» – подумал Юрка.

Старика долго не было. Юрка хотел уж было идти посмотреть, куда он пошел с ножом. Но тот пришел сам, нес в руках шмат сала в ладонь величиной.

– Хлеб-то есть? – спросил строго.

– Есть. А что?

– На, поешь с салом, а то загнесся загодя со своими академиками… пока их изучишь всех.

Юрка даже растерялся.

– Мне же нечем отдавать будет – у нас нету…

– Ешь. Там чайник в печке – ишо горячий, наверно… Поешь.

Юрка достал чайник из печки, налил в кружку теплого еще чая, нарезал хлеба, ветчины и стал есть. Старик с трудом залез опять на печь и смотрел оттуда на Юрку.

– Как сало-то?

– Вери вел! Первый сорт.

– Кормить ее надо уметь, свинью-то. Одни сдуру начинают ее напичкивать осенью – получается одно сало, мяса совсем нет. Другие наоборот – маринуют: дескать, мясистее будет. Одно сало-то не все любят. Заколют: ни мяса, ни сала. А ее надо так: недельку покормить как следовает, потом подержать впроголодь, опять недельку покормить, опять помариновать… Вот оно тогда будет слоями: слой сала,

слой мяса. Солить тоже надо уметь…

Юрка слушал и с удовольствием уписывал мерзлое душистое сало, действительно на редкость вкусное.

– Ох, здорово! Спасибо.

– Наелся?

– Ага. – Юрка убрал со стола хлеб, чайник. Сало еще осталось. – А это куда?

– Вынеси в сени, на кадушку. Вечером ишо поешь.

Юрка вынес сало в сенцы. Вернулся, похлопал себя по животу, сказал весело:

– Теперь голова лучше будет соображать… А то… это… сидишь маленько кружится.

– Ну вот, – сказал довольный дед, укладываясь опять на спину. – Ох, мать твою в душеньку!.. Как ляжешь, так опять подступает.

– Может, я пойду куплю четвертинку! – предложил Юрка.

Дед помолчал.

– Ладно… пройдет так. Потом, попозже, курям посыплешь да коровенке на ночь пару навильников дашь. Воротчики только закрыть не забудь!

– Ладно. Значит, так: что у нас еще осталось? География. Сейчас мы ее… галопом. – Юрке сделалось весело: поел хорошо, уроки почти готовы – вечером можно на лыжах покататься.

– А у его чего же родных-то никого, што ли, не было? – спросил вдруг старик.

– У кого? – не понял Юрка.

– У того академика-то. Одни студенты стояли?

– У Павлова-то? Были, наверно. Я точно не знаю. Завтра спрошу в школе.

– Дети-то были, поди?

– Наверно. Завтра узнаю.

– Были, конешно. Никого если бы не было родных-то, не много надиктуешь. Одному-то плохо.

Юрка не стал возражать. Можно было сказать: а студенты-то! Но он не стал говорить.

– Конечно, – согласился он. – Одному плохо.

Охота жить
Поляна на взгорке, на поляне – избушка.

Избушка – так себе, амбар, рядов в тринадцать-четырнадцать, в одно оконце, без сеней, а то и без крыши. Кто их издревле рубит по тайге?.. Приходят по весне какие-то люди, валят сосняк поровней, ошкуривают… А ближе к осени погожими днями за какую-нибудь неделю в три-четыре топора срубят. Найдется и глина поблизости, и камни – собьют камелек, и трубу на крышу выведут, и нары сколотят – живи не хочу!

Зайдешь в такую избушку зимой – жилым духом не пахнет. На стенах, в пазах, куржак, в ладонь толщиной, промозглый запах застоялого дыма.

Но вот затрещали в камельке поленья… Потянуло густым волглым запахом оттаивающей глины; со стен каплет. Угарно. Лучше набить полный камелек и выйти пока на улицу, нарубить загодя дровишек… Через полчаса в избушке теплее и не тяжко. Можно скинуть полушубок и наторкать в камелек еще дополна. Стены слегка парят,

тихое блаженство, радость. «А-а!.. – хочется сказать. – Вот так-то». Теперь уж везде почти сухо, но доски нар еще холодные. Ничего – скоро. Можно пока кинуть на них полушубок, под голову мешок с харчами, ноги – к камельку. И дремота охватит – сил нет. Лень встать и подкинуть еще в камелек. А надо.

В камельке целая огненно-рыжая горка углей. Поленья сразу вспыхивают, как береста. Тут же, перед камельком, чурбачок. Можно сесть на него, закурить и – думать. Одному хорошо думается. Темно. Только из щелей камелька светится; свет этот играет на полу, на стенах, на потолке. И вспоминается бог знает что! Вспомнится вдруг, как первый раз провожал девку. Шел рядом и молчал как дурак… И сам не заметишь, что сидишь и ухмыляешься. Черт ее знает – хорошо!

Совсем тепло. Можно чайку заварить. Кирпичного, зеленого. Он травой пахнет, лето вспоминается.

…Так в сумерки сидел перед камельком старик Никитич, посасывал трубочку. В избушке было жарко. А на улице – морозно. На душе у Никитича легко. С малых лет таскался он по тайге – промышлял. Белковал, а случалось, медведя-шатуна укладывал. Для этого в левом кармане полушубка постоянно носил пять-шесть патронов с картечным зарядом. Любил тайгу. Особенно зимой. Тишина такая, что маленько давит. Но одиночество не гнетет, свободно делается; Никитич, прищурившись, оглядывался кругом – знал: он один безраздельный хозяин этого большого белого царства.

…Сидел Никитич, курил.

Прошаркали на улице лыжи, потом – стихло. В оконце вроде кто-то заглянул. Потом опять скрипуче шаркнули лыжи – к крыльцу. В дверь стукнули два раза палкой.

– Есть кто-нибудь?

Голос молодой, осипший от мороза и долгого молчания – не умеет человек сам с собой разговаривать.

«Не охотник», – понял Никитич, охотник не станет спрашивать зайдет, и все.

– Есть!

Тот, за дверью, отстегнул лыжи, приставил их к стене, скрипнул ступенькой крыльца… Дверь приоткрылась, и в белом облаке пара Никитич едва разглядел высокого парня в подпоясанной стеганке, в ватных штанах, в старой солдатской шапке.

– Кто тут?

– Человек, – Никитич пожег лучину, поднял над головой.

Некоторое время молча смотрели друг на друга.

– Один, что ли?

– Один.

Парень прошел к камельку, снял рукавицы, взял их под мышку, протянул руки к плите.

– Мороз, черт его…

– Мороз. – Тут только заметил Никитич, что парень без ружья. Нет, не охотник.

Не похож. Ни лицом, ни одежкой. – Март – он ишо свое возьмет.

– Какой март? Апрель ведь.

– Это по-новому. А по-старому – март. У нас говорят: марток надевай двое порток. Легко одетый. – Что ружья нет, старик промолчал.

– Ничего, – сказал парень. – Один здесь?

– Один. Ты уж спрашивал.

Парень ничего не сказал на это.

– Садись. Чайку щас поставим.

– Отогреюсь малость… – Выговор у парня нездешний, расейский. Старика разбирало любопытство, но вековой обычай – не лезть сразу с расспросами – был сильнее любопытства.

Парень отогрел руки, закурил папироску.

– Хорошо у тебя. Тепло.

Когда он прикуривал, Никитич лучше разглядел его – красивое бледное лицо с пушистыми ресницами. С жадностью затянулся, приоткрыл рот – сверкнули два передних золотых зуба. Оброс. Бородка аккуратная, чуть кучерявится на скулах… Исхудал… Перехватил взгляд старика, приподнял догорающую спичку, внимательно посмотрел на него. Бросил спичку. Взгляд Никитичу запомнился: прямой, смелый… И какой-то «стылый» так – определил Никитич. И подумал некстати: «Девки таких любят».

– Садись, чего стоять-то?

Парень улыбнулся:

– Так не говорят, отец. Говорят – присаживайся.

– Ну, присаживайся. А пошто не говорят? У нас говорят.

– Присесть можно. Никто не придет еще?

– Теперь кто? Поздно. А придет, места хватит. – Никитич подвинулся на пеньке, парень присел рядом, опять протянул руки к огню. Руки – не рабочие. Но парень, видно, здоровый. И улыбка его понравилась Никитичу – не «охальная», простецкая, сдержанная. Да еще эти зубы золотые… Красивый парень. Сбрей ему сейчас бородку, надень костюмчик – учитель, Никитич очень любил учителей.

– Иолог какой-нибудь? – спросил он.

– Кто? – не понял парень.

– Ну… эти, по тайге-то ищут…

– А-а… Да.

– Как же без ружьишка-то? Рыск.

– Отстал от своих, – неохотно сказал парень. – Деревня твоя далеко?

– Верст полтораста.

Парень кивнул головой, прикрыл глаза, некоторое время сидел так, наслаждаясь теплом, потом встряхнулся, вздохнул:

– Устал.

– Долго один-то идешь?

– Долго. У тебя выпить нету?

– Найдется.

Парень оживился:

– Хорошо! А то аж душа трясется. Замерзнуть к черту можно. Апрель называется…

Никитич вышел на улицу, принес мешочек с салом. Засветил фонарь под потолком.

– Вас бы хошь учили маленько, как быть в тайге одному… А то посылают, а вы откуда знаете! Я вон лонись нашел одного – вытаял весной. Молодой тоже. Тоже с бородкой. В одеяло завернулся – и все, и окочурился. – Никитич нарезал сало на краешке нар. – А меня пусти одного, я всю зиму проживу, не охну. Только бы заряды были. Да спички.

– В избушку-то все равно лезешь.

– Дак а раз она есть, чего же мне на снегу-то валяться? Я не лиходей себе. Парень распоясался, снял фуфайку… Прошелся по избушке. Широкоплечий, статный. Отогрелся, взгляд потеплел – рад, видно, до смерти, что набрел на тепло, нашел живую душу. Еще закурил одну. Папиросами хорошо пахло. Никитич любил поговорить с городскими людьми. Он презирал их за беспомощность в тайге; случалось, подрабатывал, провожая какую-нибудь поисковую партию, в душе подсмеивался над ними, но любил слушать их разговоры и охотно сам беседовал. Его умиляло, что они разговаривают с ним ласково, снисходительно похохатывают, а сами оставь их одних – пропадут, как сосунки слепые. Еще интересней, когда в партии – две-три девки. Терпят, не жалуются. И все вроде они такие же, и никак не хотят, чтоб им помогали. Спят все в куче. И ничего – не безобразничают. Доводись до деревенских – греха не оберешься. А эти ничего. А ведь бывают – одно загляденье: штаны узкие наденет, кофту какую-нибудь тесную, косынкой от мошки закутается, вся кругленькая кукла и кукла, а ребята – ничего, как так и надо.

– Кого ищете-то?

– Где?

– Ну, ходите-то.

Парень усмехнулся себе:

– Долю.

– Доля… Она, брат, как налим, склизкая: вроде ухватил ее, вроде – вот она, в руках, а не тут-то было. – Никитич настроился было поговорить, как обычно с городскими – позаковырестей, когда внимательно слушают и переглядываются меж собой, а какой-нибудь возьмет да еще в тетрадку карандашиком чего-нибудь запишет. А Никитич может рассуждать таким манером хоть всю ночь – только развесь уши. Свои бы, деревенские, боталом обозвали, а эти слушают. Приятно. И сам иногда подумает о себе: складно выходит, язви тя. Такие турусы разведет, что тебе поп раньше. И лесины-то у него с душой: не тронь ее, не секи топором зазря, а то засохнет, и сам засохнешь – тоска навалится, и засохнешь, и не догадаешься, отчего тоска такая. Или вот: понаедут из города с ружьями и давай направо-налево: трах-бах! – кого попало: самку – самку, самца – самца, лишь бы убить. За такие дела надо руки выдергивать. Убил ты ее, медведицу, а у ей двое маленьких. Подохнут. То ты одну шкуру добыл, а подожди маленько-три будет. Бестолковое дело – душу на зверье тешить. – Вот те и доля, – продолжал Никитич.

Только парню не хотелось слушать. Подошел к окну, долго всматривался в темень. Сказал, как очнулся;

– Все равно весна скоро.

– Придет, никуда не денется. Садись, Закусим чем бог послал.

Натаяли в котелке снегу, разбавили спирт, выпили. Закусили мерзлым салом. Совсем на душе хорошо сделалось, Никитич подкинул в камелек. А парня опять потянуло к окну. Отогрел дыханием кружок на стекле и все смотрел и смотрел в ночь.

– Кого ты щас там увидишь? – удивился Никитич. Ему хотелось поговорить.

– Воля, – сказал парень, И вздохнул. Но не грустно вздохнул. И про волю сказал – крепко, зло и напористо, Откачнулся от окна.

– Дай еще выпить, отец. – Расстегнул ворот черной сатиновой рубахи, гулко хлопнул себя по груди широкой ладонью, погладил. – Душа просит.

– Поел бы, а то с голодухи-то развезет.

– Не развезет. Меня не развезет, – И ласково и крепко приобнял старика за шею.

И пропел:

А в камере смертной,
Сырой и холодной,
Седой появился старик…
И улыбнулся ласково. Глаза у парня горели ясным, радостным блеском.

– Выпьем, добрый человек.

– Наскучал один-то, – Никитич тоже улыбнулся. Парень все больше и больше нравился ему. Молодой, сильный, красивый. А мог пропасть, – Так, парень, пропасть можно. Без ружьишка в тайге – поганое дело.

– Не пропадем, отец. Еще поживем!

И опять сказал это крепко, и на миг глаза его заглянули куда-то далеко-далеко и опять «остыли»… И непонятно было, о чем он подумал, как будто что-то вспомнил, Но вспоминать ему это «что-то» не хотелось. Запрокинул стакан, одним глотком осушил до дна. Крякнул. Крутнул головой. Пожевал сала. Закурил. Встал – не сиделось. Прошелся широким шагом по избушке, остановился посредине, подбоченился и опять куда-то далеко засмотрелся.

– Охота жить, отец.

– Жить всем охота. Мне, думаешь, неохота? А мне уж скоро…

– Охота жить! – упрямо, с веселой злостью повторил большой красивый парень, не слушая старика. – Ты ее не знаешь, жизнь. Она…Подумал, стиснул зубы: – Она – дорогуша. Милая! Роднуля моя.

Захмелевший Никитич хихикнул:

– Ты про жись, как все одно про бабу.

– Бабы – дешевки. – Парня накаляло какое-то упрямое, дерзкое, радостное чувство. Он не слушал старика, говорил сам, а тому хотелось его слушать. Властная сила парня стала и его подмывать.

– Бабы, они… конечно. Но без них тоже…

– Возьмем мы ее, дорогушу, – парень выкинул вперед руки, сжал кулаки, – возьмем, милую, за горлышко… Помнишь Колю-профессора? Забыла? – Парень с кем-то разговаривал и очень удивился, что его «забыли». – Колю-то!.. А Коля помнит тебя. Коля тебя не забыл. – Он не то радовался, не то собирался кому-то зло мстить. – А я – вот он. Прошу, мадам, на пару ласковых, Я не обижу. Но ты мне отдашь все. Все! Возьму!..

– Правда, што ли, баба так раскипятила? – спросил удивленный Никитич.

Парень тряхнул головой:

– Эту бабу зовут – воля. Ты тоже не знаешь ее, отец, Ты – зверь, тебе здесь хорошо. Но ты не знаешь, как горят огни в большом городе. Они манят. Там милые, хорошие люди, у них тепло, мягко, играет музыка. Они вежливые и очень боятся смерти. А я иду по городу, и он весь мой. Почему же они там, а я здесь? Понимаешь?

– Не навечно же ты здесь…

– Не понимаешь. – Парень говорил серьезно, строго. – Я должен быть там, потому что я никого не боюсь. Я не боюсь смерти. Значит, жизнь моя.

Старик качнул головой:

– Не пойму, паря, к чему ты?

Парень подошел к нарам, налил в стаканы. Он как будто сразу устал.

– Из тюрьмы бегу, отец, – сказал без всякого выражения. – Давай?

Никитич машинально звякнул своим стаканом о стакан парня. Парень выпил. Посмотрел на старика… Тот все еще держал стакан в руке. Глядел снизу на парня.

– Что?

– Как же это?

– Пей, – велел парень. Хотел еще закурить, но пачка оказалась пустой. – Дай твоего.

– У меня листовуха.

– Черт с ней.

Закурили. Парень присел на чурбак, ближе к огню.

Долго молчали.

– Поймают вить, – сказал Никитич. Ему не то что жаль стало парня, а он представил вдруг, как ведут его, крупного, красивого, под ружьем. И жаль стало его молодость, и красоту, и силу. Сцапают – и все, все псу под хвост: никому от его красоты ни жарко ни холодно. Зачем же она была? – Зря, – сказал он трезво.

– Чего?

– Бежишь-то. Теперь не ранешное время – поймают.

Парень промолчал. Задумчиво смотрел на огонь. Склонился. Подкинул в камелек полено.

– Надо бы досидеть… Зря.

– Перестань! – резко оборвал парень. Он тоже как-то странно отрезвел. – У меня своя башка на плечах.

– Это знамо дело, – согласился Никитич. – Далеко идти-то?

– Помолчи пока.

«Мать с отцом есть, наверно, – подумал Никитич, глядя в затылок парню. – Придет-обрадует, сукин сын».

Минут пять молчали. Старик выколотил золу из трубочки и набил снова. Парень все смотрел на огонь.

– Деревня твоя – райцентр или нет? – спросил он, не оборачиваясь.

– Какой райцентр! До району от нас еще девяносто верст. Пропадешь ты. Зимнее дело – по тайге…

– Дня три поживу у тебя – наберусь силенок, – не попросил, просто сказал.

– Живи, мне што. Много, видно, оставалось – не утерпел?

– Много.

– А за што давали?

– Такие вопросы никому никогда не задавай, отец.

Никитич попыхтел угасающей трубочкой, раскурил, затянулся и закашлялся. Сказал,

кашляя:

— Мне што!.. Жалко только. Поймают…

— Бог не выдаст — свинья не съест. Дешево меня не возьмешь, Давай спать.

— Ложись. Я подожду, пока дровишки прогорят, — трубу закрыть. А то замерзнем к утру.

Парень расстелил на нарах фуфайку, поискал глазами, что положить под голову. Увидел на стене ружье Никитича. Подошел, снял, осмотрел, повесил.

— Старенькое.

— Ничо, служит пока. Вон там в углу кошма лежит, ты ее под себя, а куфайку-то под голову сверни. А ноги вот сюда протяни, к камельку. К утру все одно выстынет.

Парень расстелил кошму, вытянулся, шумно вздохнул.

— Маленький Ташкент, — к чему-то сказал он. — Не боишься меня, отец?

— Тебя-то, — изумился старик. — А чего тебя бояться?

— Ну… я ж лагерник. Может, за убийство сидел.

— За убивство тебя бог накажет, не люди. От людей можно побегать, а от его не уйдешь.

— Ты верующий, что ли? Кержак, наверно?

— Кержак!.. Стал бы кержак с тобой водку пить.

— Это верно. А насчет боженек ты мне мозги не… Меня тошнит от них. — Парень говорил с ленцой, чуть осевшим голосом. — Если бы я встретил где-нибудь этого вашего Христа, я бы ему с ходу кишки выпустил.

— За што?

— За што? За то, что сказки рассказывал, врал. Добрых людей нет! А он — добренький, терпеть учил. Паскуда! — Голос парня снова стал обретать недавнюю крепость и злость. Только веселости в голосе уже не было. — Кто добрый? Я? Ты?

— Я, к примеру, за свою жись никому никакого худа не сделал…

— А зверей бьешь! Разве он учил?

— Сравнил хрен с пальцем. То — человек, а то — зверь.

— Живое существо — сами же трепетесь, сволочи.

Лицо парня Никитич не видел, но оно стояло у него в глазах бледное, с бородкой; дико и нелепо звучал в теплой тишине избушки свирепый голос безнадежно избитого судьбой человека с таким хорошим, с таким прекрасным лицом.

— Ты чего рассерчал-то на меня?

— Не врите! Не обманывайте людей, святоши. Учили вас терпеть? Терпите! А то не успеет помолиться и тут же штаны спускает — за бабу хляет, гадина. Я бы сейчас нового Христа выдумал: чтоб он по морде учил бить. Врешь? Получай, сука, погань!

— Не поганься, — строго сказал Никитич. — Пустили тебя, как доброго человека, а ты лаяться начал. Обиделся — посадили! Значит, было за што. Кто тебе виноват?!

— М-м. — Парень скрипнул зубами. Промолчал.

— Я не поп, и здесь тебе не церква, чтобы злобой своей харкать. Здесь — тайга: все одинаковые. Помни это. А то и до воли своей не добежишь — сломишь голову.

Знаешь, говорят: молодец – против овец, а спроть молодца – сам овца. Найдется и на тебя лихой человек. Обидишь вот так вот – ни за што ни про што, он тебе покажет, где волю искать.

– Не сердись, отец, – примирительно сказал парень. – Ненавижу, когда жить учат, Душа кипит! Суют в нос слякоть всякую, глистов: вот хорошие, вот как жить надо. Ненавижу! – почти крикнул. – Не буду так жить. Врут! Мертвечиной пахнет! Чистых, умытых покойничков мы все жалеем, все любим, а ты живых полюби, грязных. Нету на земле святых! Я их не видел. Зачем их выдумывать?! – парень привстал на локоть; смутно – пятном – белело в сумраке, в углу, его лицо, зло и жутковато сверкали глаза.

– Поостынешь маленько, поймешь: не было ба добрых людей, жись ба давно остановилась. Сожрали бы друг друга или перерезались. Это никакой меня не Христос учил, сам так щитаю. А святых – это верно: нету. Я сам вроде ничо, никто не скажет: плохой или злой там. А молодой был… Недалеко тут кержацкий скит стоял, за согрой, семья жила: старик со старухой да дочь ихная годов двадцати пяти, Они, может, не такие уж старые были, старики-то, а мне казалось тогда старые. Они цотом ушли куда-то. Ну, дак вот: была у их дочь. Все божественные, спасу нет: от людей ушли, от греха, дескать, подальше. А я эту дочь-ту заманил раз в березник и… это… ла-ла с ей. Хорошая девка была, здоровая. До ребенка дело дошло. А уж я женатый был…

– А говоришь, худою ничего не делал?

– Вот и выходит, што я не святой. Я не насильничал, правда, лаской донял, а все одно… дитя-то пустил по свету. Спомнишь-жалко. Большой уж теперь, материт, поди.

– Жизнь дал человеку – не убил. И ее, может, спас. Может, она после этого рванула от них. А так довели бы они ее со своими молитвами: повесилась бы на суку где-нибудь, и все. И мужика бы ни разу не узнала. Хорошее дело сделал, не переживай.

– Хорошее или плохое, а было так. Хорошего-то мало, конешно.

– Там еще осталось?

– Спиртяги? Есть маленько. Пей, я не хочу больше.

Парень выпил. Опять крякнул. Не стал закусывать.

– Много пьешь-то?

– Нет, это… просто перемерз. Пить надо не так, отец. Надо красиво пить. Музыка… Хорошие сигареты, шампанское… Женщины. Чтоб тихо, культурно. – Парень опять размечтался, лег, закинул руки за голову. – Бардаки презираю. Это не люди – скот. М-м, как можно красиво жить! Если я за одну ночь семь раз заигрывал с курносой – так? – если она меня гладила костлявой рукой и хотела поцеловать в лоб, – я устаю, Я потом отдыхаю, Я наслаждаюсь и люблю жизнь больше всех прокуроров, вместе взятых. Ты говоришь – риск? А я говорю – да. Пусть обмирает душа, пусть она дрожит, как овечий хвост, – я иду прямо, я не споткнусь и не поверну назад.

– Ты кем работал до этого? – поинтересовался Никитич.

– Я? Агентом по снабжению. По культурным связям с зарубежными странами. Вообще я был ученый. Я был доцентом на тему: «Что такое колорадский жук и как с ним бороться», – Парень замолчал, а через минуту сонным голосом сказал: – Все, отец… Я ушел.

– Спи.

Никитич пошуровал короткой клюкой в камельке, набил трубочку и стал думать про парня. Вот тебе и жизнь – все дадено человеку: красивый, здоровый, башка вроде недурная… А… что? Дальше что? По лесам бегать? Нет, это город их доводит до ручки. Они там свихнулись все. Внуки Никитича – трое – тоже живут в большом городе. Двое учатся, один работает, женат. Они не хвастают, как этот, но их тянет в город. Когда они приезжают летом, им скучно. Никитич достает ружья,

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru водит в тайгу и ждет, что они просветлеют, отдохнут душой и проветрят мозги от ученья. Они притворяются, что им хорошо, а Никитичу становится неловко: у него больше ничего нет, чем порадовать внуков. Ему тяжело становится, как будто он обманул их. У них на уме один город. И этот, на нарах, без ума в город рвется. На его месте надо уйти подальше, вырыть землянку и пять лет не показываться, если уж сидеть невмоготу стало. А он снова туда, где на каждом шагу могут за шкирку взять. И ведь знает, что возьмут, а идет… «Что за сила такая в этом городе! Ну ладно, я – старик, я бывал там три раза всего, я не понимаю… Согласен, Там весело и огней много. Но раз я не понимаю, так я и не хаю. Охота там? На здоровье, а мне здесь хорошо. Но так получается, что они приходят оттуда и нос воротят: скучно, тоска. Да присмотрись хорошенько! Ты же увидеть-то ничего не успел, а уж давай молоть про свой город. А посмотри, как, к примеру, муравей живет. Или – крот. Да любая животина!.. Возьми приглядись для интереса. А потом думай: много ты про жизнь знаешь или нет? Вы мне – сказки про город?.. А если я начну рассказывать, сколько я знаю! Но меня не слушают, а на вас глаза пялят – городской. А мне хрен с тобой, что ты городской, что ты штиблетами по тротуару форсишь. Дофорсился вот: отвалили лет пятнадцать, наверно, за красивую-то жизнь. Магазин, наверно, подломил, не иначе. Шиканул разок – и загремел. И опять на рога лезет. Сам! Это уж, значит, не может без города. Опять на какой-нибудь магазин нацелился. Шампанское… а откуда оно, шампанское-то, возьмется? Дурачье… Сожрет он вас, город, с костями вместе. И жалко дураков. И ничего сделать нельзя. Не докажешь».

Дрова в камельке догорели. Никитич дождался, когда последние искорки умерли в золе, закрыл трубу, погасил фонарь, лег рядом с парнем. Тот глубоко и ровно дышал, неловко подвернув под себя руку. Даже не шевельнулся, когда Никитич поправил его руку.

«Намаялся, – подумал Никитич. – Дурило… А кто заставляет? Эх, вы!!»

…За полночь на улице, около избушки, зашумели. Послышались голоса двух или трех мужчин.

Парень рывком привстал – как не спал.

Никитич тоже приподнял голову.

– Кто это? – быстро спросил парень.

– Шут их знает.

Парень рванулся с нар – к двери, послушал, зашарил рукой по стене – искал ружье. Никитич догадался.

– Ну-ка, не дури! – прикрикнул негромко. – Хуже беды наделаешь.

– Кто это? – опять спросил парень.

– Не знаю, тебе говорят.

– Не пускай, закройся.

– Дурак. Кто в избушке закрывается? Нечем закрываться-то. Ложись и не шевелися.

– Ну, дед!..

Парень не успел досказать. Кто-то поднялся на крыльцо и искал рукой скобу. Парень ужом скользнул на нары, еще успел шепнуть:

– Отец, клянусь богом, чертом, дьяволом: продашь… Умоляю, старик. Век…

– Лежи, – велел Никитич.

Дверь распахнулась.

– Ага! – весело сказал густой бас. – Я же говорил: кто-то есть, Тепло, входите!

– Закрывай дверь-то! – сердито сказал Никитич, слезая с нар. Обрадовался тепло!

Расшиперься пошире – совсем жарко будет.

– Все в порядке, – сказал бас, – И тепло, и хозяин приветливый.

Никитич засветил фонарь.

Вошли еще двое. Одного Никитич знал: начальник районной милиции. Его все охотники знали: мучил охотничьими билетами и заставлял платить взносы.

– Емельянов? – спросил начальник, высокий упитанный мужчина лет под пятьдесят. – Так?

– Так, товарищ Протокин.

– Ну вот!.. Принимай гостей.

Трое стали раздеваться.

– Пострелять? – не без иронии спросил Никитич. Он не любил этих наезжающих стрелков: только пошумят и уедут.

– Надо размяться маленько. А это кто? – Начальник увидел парня на нарах.

– Иолог, – нехотя пояснил Никитич. – От партии отстал.

– Заблудился, что ли?

– Но.

– У нас что-то неизвестно. Куда ушли, он говорил?

– Кого он наговорит! Едва рот разевал: замерзал. Спиртом напоил его – щас спит как мертвый.

Начальник зажег спичку, поднес близко к лицу парня, У того не дрогнул ни один мускул. Ровно дышал.

– Накачал ты его. – Спичка начальника погасла. – Что же у нас-то ничего не известно?

– Может, не успели еще сообщить? – сказал один из пришедших.

– Да нет, видно, долго бродит уже. Не говорил он, сколько один ходит?

– Нет, – ответствовал Никитич. – Отстал, говорит. И все.

– Пусть проспится. Завтра выясним. Ну что, товарищи: спать?

– Спать, – согласились двое. – Уместимся?

– Уместимся, – уверенно сказал начальник. – Мы прошлый раз тоже впятером были. Чуть не загнулись к утру: протопили, да мало. А мороз стоял – под пятьдесят.

Разделись, улеглись на нарах. Никитич лег опять рядом с парнем, Пришлые поговорили немного о своих районных делах и замолчали. Скоро все спали.

…Никитич проснулся, едва только обозначилось в стене оконце. Парня рядом не было, Никитич осторожно слез с нар, нашарил в кармане спички. Еще ни о чем худом не успел подумать. Чиркнул спичкой… Ни парня нигде, ни фуфайки его, ни ружья Никитича не было. Неприятно сжало под сердцем. «Ушел. И ружье взял».

Неслышно оделся, взял одно ружье из трех, составленных в углу, пощупал в кармане патроны с картечью. Тихо открыл дверь и вышел.

Только-только занимался рассвет. За ночь потеплело. Туманная хмарь застила слабую краску зари. В пяти шагах еще ничего не было видно. Пахло весной.

Никитич надел свои лыжи и пошел по своей лыжне, четко обозначенной в побуревшем

снегу.

— Сукин ты сын, варнак окаянный, — вслух негромко ругался он. Уходи, пес с тобой, а ружье-то зачем брать! Што я тут без ружья делать стану, ты подумал своей башкой? Што я, тыщи, што ли, большие получаю, напасаться на вас на всех ружьями? Ведь ты же его, поганец, все равно бросишь где-нибудь. Тебе лишь бы из тайги выйти… А я сиди тут сложа ручки без ружья. Ни стыда у людей, ни совести.

Помаленьку отбеливало.

День обещал быть пасмурным и теплым.

Лыжня вела не в сторону деревни.

— Боишься людей-то? Эх, вы… «Красивая жись». А последнее ружьишко у старика взять — это ничего, можно. Но от меня ты не уйде-ешь, голубчик. Я вас таких семерых замотаю, хоть вы и молодые.

Зла большого у старика не было. Обидно было: пригрел человека, а он взял и унес ружье. Ну не подлец после этого!

Никитич прошел уже километра три. Стало совсем почти светло; лыжня далеко была видна впереди.

— Рано поднялся. И ведь как тихо сумел!

В одном месте парень останавливался закурить: сбочь лыжни ямка палки втыкал, На снегу крошки листовухи и обгоревшая спичка.

— И кисет прихватил! — Никитич зло плюнул. — Вот поганец так поганец! — Прибавил шагу.

…Парня Никитич увидел далеко в ложбине, внизу.

Шел парень дельным ровным шагом, не торопился, но податливо. За спиной — ружье.

— Ходить умеет, — не мог не отметить Никитич.

Свернул с лыжни и побежал в обход парню, стараясь, чтоб его скрывала от него вершина длинного отлогого бугра. Он примерно знал, где встретит парня: будет на пути у того неширокая просека. Он пройдет ее, войдет снова в чащу… и, тут его встретит Никитич.

— Щас я на тебя посмотрю, — не без злорадства приговаривал Никитич, налегая вовсю на палки.

Странно, но ему очень хотелось еще раз увидеть прекрасное лицо парня. Что-то было до страсти привлекательное в этом лице. «Может, так и надо, что он рвется к своей красивой жизни. Что ему тут делать, если подумать? Засохнет. Жизнь, язви ее, иди разберись».

У просеки Никитич осторожно выглянул из чащи: лыжни на просеке еще не было — обогнал. Быстро перемахнул просеку, выбрал место, где примерно выйдет парень, присел в кусты, проверил заряд и стал ждать. Невольно, опытным охотничьим глазом осмотрел ружье: новенькая тулка, блестит и резко пахнет ружейным маслом. «На охоту собирались, а не подумали: не надо, чтоб ружье так пахло. На охоте надо и про табачок забыть, и рот чаем прополоскать, чтоб от тебя не разило за версту, и одежду лучше всего другую надеть, которая на улице висела, чтоб жильем не пахло. Охотники-горе луковое».

Парень вышел на край просеки, остановился. Глянул по сторонам. Постоял немного и скоро-скоро побежал через просеку. И тут навстречу ему поднялся Никитич.

— Стой! Руки вверьх! — громко скомандовал он, чтоб совсем ошарашить парня.

Тот вскинул голову, и в глазах его отразился ужас. Он дернулся было руками вверх, но узнал Никитича. — Говоришь: не боюсь никого, сказал Никитич, — а в штаны сразу наклал.

Парень скоро оправился от страха, улыбнулся обаятельной своей улыбкой немножко насильственно.

– Ну, отец… ты даешь. Как в кино… твою в душу мать. Так можно разрыв сердца получить.

– Теперь, значит, так, – деловым тоном распорядился Никитич, ружье не сымай, а достань сзади руками, переломи и выкинь из казенника патроны. И из кармана все выброс. У меня их шешнадцать штук оставалось. Все брось на снег, а сам отойди в сторону. Если задумаешь шутки шутить, стреляю, Сурьезно говорю.

– Дошло, батя. Шутить мне сейчас что-то не хочется.

– Бесстыдник, ворюга.

– Сам же говорил: погано в лесу без ружья.

– А мне тут чо без его делать?

– Ты дома.

– Ну, давай, давай. Дома, Што у меня дома-то – завод, што ли?

Парень выгреб из карманов патроны – четырнадцать: Никитич считал. Потом заломил руки за спину; прикусив нижнюю губу, внимательно глядел на старика. Тот тоже не сводил с него глаз: ружье со взведенными курками держал в руках, стволами на уровне груди парня.

– Чего мешкаешь?

– Не могу вытащить…

– Ногтями зацепи… Или постучи кулаком по прикладу.

Выпал сперва один патрон, потом второй.

– Вот. Теперь отойди вон туда.

Парень повиновался.

Никитич собрал патроны, поклал в карманы полушубка.

– Кидай мне ружье, а сам не двигайся.

Парень снял ружье, бросил старику.

– Теперь садись, где стоишь, покурим. Кисет мне тоже кинь. И кисет спер…

– Курить-то охота мне.

– Ты вот все – мне да мне. А про меня, черт полосатый, не подумал! А чего мне-то курить?

Парень закурил.

– Можно я себе малость отсыплю?

– Отсыпь. Спички-то есть?

– Есть.

Парень отсыпал себе листовухи, бросил кисет старику. Тот закурил тоже. Сидели шагах в пяти друг от друга.

– Ушли эти?.. Ночные-то.

– Спят. Они спать здоровы. Не охотничают, а дурочку валяют. Погулять охота, а в

районе у себя не шибко разгуляешься – на виду. Вот они и идут с глаз долой.

– А кто они?

– Начальство… Заряды зря переводют.

– М-да…

– Ты чо же думал: не догоню я тебя?

– Ничего я не думал. А одного-то ты знаешь. Кто это? По фамилии называл… Протокин, что ли.

– В собесе работает. Пенсию старухе хлопотал, видел его там…

Парень пытливо посмотрел на старика:

– Это там, где путевки на курорт выписывают?

– Ага.

– Темнишь, старичок. Неужели посадить хочешь? Из-за ружья…

– На кой ты мне хрен нужен – сажать? – искренне сказал Никитич.

– Продай ружье? У меня деньги есть.

– Нет, – твердо сказал Никитич. – Спросил бы с вечера – подобру, может, продал бы. А раз ты так по-свински сделал, не продам.

– Не мог же я ждать, когда они проснутся.

– На улицу бы меня ночью вызвал: так и так, мол, отец: мне шибко неохота с этими людьми разговаривать. Продай, мол, ружье – я уйду. А ты… украл. За воровство у нас руки отрубают.

Парень положил локти на колени, склонился головой на руки. Сказал глуховато:

– Спасибо, что не выдал вчера.

– Не дойдешь ты до своей воли все одно.

Парень вскинул голову:

– Почему?

– Через всю Сибирь идти – шутка в деле!

– Мне только до железной дороги, а там поезд. Документы есть. А вот здесь без ружья… здесь худо. Продай, а?

– Нет, даже не упрашивай.

– Я бы теперь новую жизнь начал… Выручил бы ты меня, отец…

– А документы-то где взял? Ухлопал, поди, кого-нибудь?

– Документы тоже люди делают.

– Фальшивые. Думаешь, не поймают с фальшивыми?

– Ты обо мне… прямо как родная мать заботишься. Заладил, как попугай: поймают, поймают. А я тебе говорю: не поймают.

– А шампанскую-то на какие шиши будешь распивать?.. Если честно-то робить пойдешь.

– Сдуру я вчера натрепался, не обращай внимания. Захмелел.

– Эх, вы… – Старик сплюнул желтую едкую слюну на снег. – Жить бы да жить вам, молодым… А вас… как этих… как угорелых по свету носит, места себе не можете найти. Голод тебя великий воровать толкнул? С жиру беситесь, окаянные. Петух жареный в зад не клевал…

– Как сказать, отец…

– Кто же тебе виноватый?

– Хватит об этом, – попросил парень. – Слушай… – Он встревоженно посмотрел на старика. – Они ж сейчас проснутся, а ружья – нет. И нас с тобой нет… Искать кинутся.

– Они до солнышка не проснутся.

– Откуда ты знаешь?

– Знаю. Они сами вчера с похмелья были. В избушке теплынь: разморит – до обеда проспят. Им торопиться некуда.

– М-да… – грустно сказал парень, – Дела-делишки.

Повалил вдруг снег большими густыми хлопьями – теплый, тяжелый.

– На руку тебе. – Никитич посмотрел вверх.

– Что? – Парень тоже посмотрел вверх.

– Снег-то… Заметет все следы.

Парень подставил снегу ладонь, долго держал. Снежинки таяли на ладони.

– Весна скоро… – вздохнул он.

Никитич посмотрел на него, точно хотел напоследок покрепче запомнить такого редкостного здесь человека.

Представил, как идет он один, ночью… без ружья.

– Как ночуешь-то?

– У огня покемарю… Какой сон.

– Хоть бы уж летом бегали-то. Все легше.

– Там заявок не принимают – когда бежать легче. Со жратвой плохо. Пока дойдешь от деревни до деревни, кишки к спине прирастают. Ну ладно. Спасибо за хлеб-соль. – Парень поднялся. – Иди, а то проснутся эти твои… Старик медлил.

– Знаешь… есть один выход из положения, – медленно заговорил он. Дам тебе ружье. Ты завтра часам к двум, к трем ночи дойдешь до деревни, где я живу…

– Ну?

– Не понужай. Дойдешь. Постучишь в какую-нибудь крайную избу: мол, ружье нашел… или… нет, как бы придумать?.. Чтоб ты ружье-то оставил. А там от нашей деревни прямая дорога на станцию – двадцать верст. Там уж не страшно. Машины ездют. К свету будешь на станции. Только там заимка одна попадется, от нее, от заимки-то, ишо одна дорога влево пойдет, ты не ходи по ей – это в район. Прямо иди.

– Отец…

– Погоди! Как с ружьем-то быть? Скажешь: нашел – перепужаются, искать пойдут. А совсем ружье отдавать жалко. Мне за него, хоть оно старенькое, три вот таких не надо, – Никитич показал на новую переломку.

Парень благодарно смотрел на старика и еще старался, наверно, чтобы

благодарности в глазах было больше.

— Спасибо, отец.

— Чего спасибо? Как я ружье-то получу?

Парень встал, подошел к старику, присел рядом.

— Сейчас придумаем… Я его спрячу где-нибудь, а ты возьмешь потом.

— Где спрячешь?

— В стогу каком-нибудь, недалеко от деревни.

Никитич задумался.

— Чего ты там разглядишь ночью?.. Вот ишо: постучишь в крайную избу, спросишь, где Мазаев Ефим живет. Тебе покажут. Это кум мой, К Ефиму придешь и скажешь: стретил, мол, Никитича в тайге, он повел иологов в Змеиную согру. Патроны, мол, у него кончились, а чтоб с ружьем зря не таскаться, он упросил меня занести его тебе. И чтоб ждали меня к послезавтрему! А што я повел иологов, пусть он никому не говорит. Заработает, мол, придет — выпьете вместе, а то старуха все деньги отберет сразу. Запомнил? Щас мне давай на литровку — а то от Ефима потом не отвяжешься — и с богом. Патронов даю тебе… шесть штук. И два картечных — на всякий случай. Не истратишь — возле деревни закинь в снег подальше, Ефиму не отдавай — он хитрый, зачует неладное. Все запомнил?

— Запомнил. Век тебя не забуду, отец.

— Ладно… На деревню держись так: солнышко выйдет-ты его все одно увидишь — пусть оно сперва будет от тебя слева. Солнышко выше, а ты его все слева держи. А к закату поворачивай, чтоб оно у тебя за спиной очутилось, чуток с правого уха. А там — прямо. Ну, закурим на дорожку… Закурили.

— Сразу как-то не о чем стало говорить. Посидели немного, поднялись.

— До свиданья, отец, спасибо.

— Давай.

И уж пошли было в разные стороны, но Никитич остановился, крикнул парню:

— Слышь!.. А вить ты, парень, чуток не вляпался: Протокин-то этот — начальник милиции. Хорошо, не разбудил вчерась… А то бы не отвертеться тебе от него — дошлый, черт.

Парень ничего не говорил, смотрел на старика.

— Он бы щас: откуда? куда? Никакие бы документы не помогли.

Парень промолчал.

— Ну шагай. — Никитич подкинул на плече чужое ружье и пошел через просеку назад, к избушке. Он уже почти прошел ее всю, просеку… И услышал: как будто над самым ухом оглушительно треснул сук. И в то же мгновение сзади, в спину и в затылок, как в несколько кулаков, сильно толканули вперед. Он упал лицом в снег. И ничего больше не слышал и не чувствовал. Не слышал, как закидали снегом и сказали: «Так лучше, отец. Надежнее».

…Когда солнышко вышло, парень был уже далеко от просеки. Он не видел солнца, шел, не оглядываясь, спиной к нему. Он смотрел вперед.

Тихо шуршал в воздухе сырой снег.

Тайга просыпалась.

Весенний густой запах леса чуть дурманил и кружил голову.

Капроновая елочка

Двое стояли на тракте, ждали попутную машину. А машин не было. Час назад проехали две груженые – не остановились. И больше не было. А через восемь часов – Новый год.

Двое, отвернувшись от ветра, топтались на месте, хлопали рукавицами… Было морозно.

– Кхах!.. Не могу больше, – сказал один. – Айда греться, ну ее к черту все. Что теперь, подыхать, что ли?

Метрах в двухстах была чайная, туда они и направились.

Впереди, припадая на одну ногу, шагал тот, который предложил идти греться. При своей хромоте он шел как-то очень аккуратно, ловко, ладно. Следом, заложив руки за спину, вышагивал мужик метра в два с лишним. Шагавший впереди то и дело оглядывался на тракт; второй сосредоточенно смотрел себе под ноги. Оба были из одной деревни, из Буланова, оба утром приехали в город по своим делам и договорились вместе уехать. Тот, что пониже, работал кладовщиком в Булановской РТС, другой – кузнецом в той же РТС. Кладовщика звали Павлом. Большого мужика – Федором.

– Я думаю, их совсем седня не будет, – сказал Павел. – Под Новый год ни один дурак никуда не поедет.

Федор промолчал.

В чайной было тепло и пусто.

Павел прошел к стойке. Федор для приличия обмахнул рукавицей валенки и тоже прошел к стойке.

– Налей по сто пятьдесят, – сказал Павел.

– Все еще не уехали? – без всякого интереса спросила буфетчица. (Они уже разок приходили греться.)

– Не уехали. Новый год с тобой встречать будем. Согласная? – поинтересовался Павел.

Молодая толстая буфетчица налила два по сто пятьдесят, отрезала два куска хлеба и только после этого ответила:

– Много таких желающих найдется.

Павел сдвинул шапку на затылок, весело посмотрел на буфетчицу, сказал неопределенно:

– Да-а…

Выпили. Присели к столику, молча ели хлеб, макая его в солонку.

Вошел еще один посетитель, представительный мужчина в козлиной дохе, в новых негнущихся валенках, в папахе.

Сказал громко:

– С приближающимся! – У него, видно, было хорошее настроение.

Никто ему не ответил.

Мужчина подошел к стойке, расстегнул доху.

– Сто грамм, голубушка, и чего-нибудь… – вытянул шею, разглядывая полки. – Чего-нибудь на зубок.

Павел толкнул коленом Федора, показал глазами на представительного мужчину. Федор кивнул. Этого человека они знали. Жила в их деревне одинокая вдова Нюра

Чалова, добрая, приветливая баба. И вот этот самый человек ездил к ней из города по праздникам и в выходные дни. В городе у него была семья, дети, двое, кажется. Нюра знала это, но почему-то отказать не могла – принимала. Все жалели Нюру, а этого гуся осуждали.

Мужчина выпил водку, смачно крякнул и подсел с бутербродом к столику.

– Тоже ехать?

– Мгм.

– Нету машин?

– Мгм, – односложно отвечал Павел, в упор разглядывая мужчину.

– А что делать?

– ???

– Черт… Мне надо срочно в Буланово добраться. Что же делать-то?

Павел, продолжая нескромно разглядывать ухажера, спросил:

– Что, живешь там?

– Да нет… – Мужчине стало жарко, он приспустил с плеч доху. Павел увидел у него во внутренних карманах две бутылки водки. – В гости еду.

– Понятно, – значительно сказал Павел.

– Как же добираться-то будем? – сокрушался мужчина. – А вам не в Буланово?

– Пешком, – решительно сказал Павел, отвлекаясь от ухажера. – Я думаю, надо идти, Федор. А то прокукуем тут… А?

Федор задумчиво жевал.

– Вы тоже в Буланово? – еще раз спросил мужчина. Опять ему не ответили.

– Пойдем бором, часа через четыре дома будем. Дорогу я знаю.

– Сколько километров? – все пытался влезть в разговор мужчина. И опять на него не обратили внимания.

– Как, Федор?

– Пошли. – Федор поднялся.

– Так вы тоже в Буланово? Или куда?

– В Буланово, – сердито ответил Павел.

– Черт возьми совсем! – Мужчина потрогал в раздумье гладко выбритый, круглый, как пятка, подбородок. – Что же делать-то? Совсем не идут машины?

– Попробуй подожди, может, тебе повезет.

Павел с Федором пошли из чайной. Мужчина смотрел им вслед тоскливым взглядом.

– К Нюрке опять собрался, – сказал Павел, когда вышли на улицу. – Водка в карманах… Гад.

Федор сплюнул на снег, надвинул поглубже шапку.

– Всыпать разок хорошенько – перестанет ходить, – сказал он. Помолчал и добавил: – Нюрку только жалко.

– Она тоже хороша!.. Знает же, что у него семья, дети!..

— Та-а… чо ты ее осуждаешь? Ихное дело… слабые они. А он, видно, приласкал.

Отошли от чайной далеко уже, когда услышали сзади возглас:

— Э-э!

Их догонял ухажер.

— Ты глянь! — изумился Павел. — Идти хочет.

Федор ничего не сказал и не сбавил шага.

— Пошли!.. Иду с вами! — объявил ухажер таким тоном, точно он кого-то очень обрадовал этим своим решением.

Пошли втроем.

Окраина городка точно вымерла. Злой ветер загнал все живое под крыши, к камелькам. Под ногами путников громко взыкала мерзлая дорога.

— Я седня на заводе разговор слыхал: в девятьсот восьмом году не метеор в тайгу упал, а люди какие-то к нам прилетали. С другой планеты, — заговорил Павел, обращаясь к Федору.

— Ерунда все это, — авторитетно заявил ухажер. — Фантазия.

— Что-то у них испортилось, и произошел взрыв — малость не долетели, — продолжал Павел, не обращая внимания на замечания ухажера. — Как считаешь, Федор?

— А я откуда знаю?

— По-моему, люди были, — сам с собой стал рассуждать Павел. — Что-нибудь не рассчитали… Могло горючего не хватить.

— Сказки, — уверенно сказал ухажер. — Народу лишь бы поболтать, выдумывают всякие теории.

Павел обернулся к нему.

— Есть поумнее нас с тобой. Понял?

Ухажер не понял.

— Ну и что?

— А то, что не надо зря вякать. «Сказки»…

Ухажер, глядя сверху на Павла, снисходительно усмехнулся.

— Верь, верь, мне-то что.

— Каждый из себя ученого корчит… — Павел сердито высморкался. — Расплодилось ученых: в собаку кинь — в ученого попадешь.

Ухажер опять усмехнулся и посмотрел на Федора. И ничего не сказал. Замолчали. Под ногами тонко пела дорога: взык-взык, взык-взык… Ветер маленько поослаб.

Вышли за город. Остановились закурить.

— Теперь так: этот лесок пройдем, спустимся в лог, пройдем логом — ферма Светлоозерская будет. От той фермы дорога повернет вправо, к реке… Там пасека попадется. А там километров шесть — и Буланово, — объяснил Павел.

Пошли.

— А ты чего в городе делаешь? — спросил вдруг Федор, оглянувшись на ухажера.

– Как?

– Где работаешь-то?

– А? По снабжению. – Ухажер расправил плечи, весело посмотрел вперед. Положительно у него были хороши дела. Он радовался предстоящей встрече.

– Воруешь? – поинтересовался Павел.

– Зачем? – Снабженец не обиделся. – Кто ворует, тот в тюрьме сидит. А я, как видишь, вольный человек.

– Значит, умеешь.

– А к кому в гости идешь? – опять спросил Федор.

Снабженец ответил не сразу и неохотно.

– Так… к знакомым.

– Сколько ты, интересно, получаешь в месяц? – Павла взволновал вопрос: ворует этот человек или нет?

– Девятьсот восемьдесят. По-старому конечно.

– А семья какая?

– Четверо со мной.

– Жена работает?

– Нет.

– Давай считать, – зловеще сказал Павел. – Двое ребятешек – обуть, одеть: пару сот уходит в месяц? Уходит. Жена… тоже небось принарядиться любит: клади две сотни, а то и три. Пятьсот? Себе одеться – двести. Семьсот?.. А то и все девятьсот: выпить тоже, как видно, не за ворот льешь. Так? На пропитанье клади пять-шесть сот – сколько выходит? А ты одет-то вон как – одна доха небось тыщи две с половиной…

– Две семьсот, – не без гордости поправил снабженец.

– Вот!

– Уметь надо жить, дорогой товарищ. А это последнее дело: увидел, что человек хорошо живет, – значит, ворует. Легче всего так рассуждать.

– А где же ты берешь-то?!

– Уметь надо, я говорю. И без воровства умные люди крепко живут. Голову надо иметь на плечах.

Павел махнул рукой. И замолчал.

Прошли лесок. Остановились еще закурить. – Половинку прошли, – сказал довольный Павел и похлопал себя руками по бокам. – Счас там пельмешки заворачивают!.. Водочка в сенцах стоит, зараза. С морозца-то так оно это дело пойдет! Люблю празднички, грешная душа.

– А чего ты без жены в гости поехал? – спросил Федор, глядя на снабженца спокойно и презрительно.

Тот нехорошо прищурился, окинул громадного Федора оценивающим взглядом, сказал резко:

– А твое-то какое дело? – Он, видно, стал догадываться, куда клонит Федор. – Что тебе до моей жены?

Федор и Павел удивленно посмотрели на своего попутчика: как-то он очень уж просто и глупо разозлился. Павел качнул головой.

– Не глянется.

– Мне до твоей жены нету, конечно, дела, – вяло согласился Федор. – Интересно просто.

Пошли дальше.

Прошли еще километра три-четыре, прошли лог, свернули вправо.

Стало быстро темнеть. И вместе с темнотой неожиданно потеплело. Небо заволоклось низкими тучами. Подозрительно тихо сделалось.

– Чувствуете, товарищи? – встревоженно сказал снабженец.

– Чувствуем! – насмешливо откликнулся Павел; они с Федором шли впереди.

Еще прошли немного.

Федор остановился, выплюнул на снег окурок, спокойно, ни к кому не обращаясь, сказал:

– Счас дунет.

– Твою мать-то, – заругался снабженец и оглянулся кругом – было совсем темно. И все та же зловещая давила тишина.

– Успеем, – сказал Павел. – Поднажмем малость.

Федор двинулся вперед. За ним – Павел и снабженец.

– А если не успеем? – спросил снабженец. – А?

– Отстань, ну тя! – обозлился Павел. – Трухнул уже?

Пошел снег. Поначалу сыпал сухой и мелкий, потом повалил густо, хлопьями. Все пространство от земли до неба наполнилось тихим шорохом.

Так продолжалось недолго. Стал дергать нехолодный ветер, и с каждым разом порывы его крепчали.

Через десять минут вверху загудело.

– Так, – сказал снабженец, останавливаясь. Но оба его спутника молча продолжали идти вперед. Снабженец догнал их.

Ветер сперва кружил: то в спину толкал, то с боков. Потом наладился встречный – в лоб. В ушах засвистело, в лицо полетели тысячи маленьких холодных пуль.

Дорогу перемело; ноги то и дело вязли в сугробе. Павел раза три отбегал в сторону, пропадая во тьме. Появлялся и кричал бодро:

– Верно идем!

А идти становилось все труднее. Ветер ревел, бил людей холодными мокрыми ладонями, пытался свалить с ног. Вверху нечто безобразно огромное, сорвавшееся с цепей, бесновалось, рыдало, выло…

Снабженец путался в длинной дохе, падал. Один раз упал и потерял рукавицу.

– Э-э! – заорал он, ползая в снегу – Подождите!

К нему подошел Федор. Долго вместе искали рукавицу. Нашли. Федор помог снабженцу подняться.

Павел топтался на снегу кругами – хотел понять: на дороге они или сбились.

– Где же пасека-то твоя?! – не скрывая раздражения, крикнул снабженец.

– Будет и пасека! Все будет… – ответил Павел. – Терпение! – Он надолго пропал в темноте.

Федор и снабженец стояли рядом, спинами к ветру.

– Трепач он, – сказал снабженец.

Федор повернул к нему голову.

– Я говорю, сбился он! – повторил снабженец.

Федор промолчал. Он знал это.

Неожиданно рядом появился Павел.

– Так, братики!.. – Он коротко и невесело хохотнул. – Маленько того… заблудились!

– Как? – спросил снабженец.

– Но я направление примерно знаю. Надо идти.

– Как заблудились?! – опять спросил снабженец.

– «Как! Как!» – озверел Павел. – Пасека должна быть, а ее нету, вот как! Заладил, блохастый!

– Ты что, смеешься, что ли?

– Пошли! – скомандовал Павел. – Главное, идти, не стоять. Я направление знаю: на ветер надо идти.

Федор послушно двинулся вперед – на ветер.

– Да куда идти?! Куда идти?! – перекрывая вой ветра, заорал снабженец. – Вы что, маленькие, что ли?!

Ему не ответили. Двое удалялись от него. Он догнал их, схватился за полушубок Федора, быстро заговорил:

– Надо счас в снег зарыться, переждать!.. Я слышал, так делают. Мы же пропадем иначе. Выбьемся из сил и пропадем! Он же не знает, куда идти!..

Федор, не оборачиваясь, крикнул:

– Ничо, шагай!

С полчаса медленно, с отчаянным злым упорством шли навстречу ветру, проваливаясь по колено в снег.

Ветер неистовствовал.

Павел остановился наконец, долго соображал, бессмысленно вглядываясь в ревущую тьму.

– Ну?! – крикнул Федор.

– Придется выходить на тракт. На деревню можем не попасть – ни черта не видно! Сворачиваем! – распорядился он.

– Сволочь! – громко сказал снабженец.

Это услышали; Павел повернулся и пошел было к нему, но Федор подтолкнул его вперед.

– Дерьмо собачье, – проворчал Павел.

Опять трое, перегнувшись пополам, медленно побрели по целику. Ветер теперь бил слева. Еще прошло какое-то время.

– Я больше не могу! – заявил снабженец. – Все!

Остановились.

– Как это не можешь? – спросил Павел.

– Не могу! Ясно?.. – Снабженец глотнул ветра, закашлялся. – Надо же… кха-кха-кха!.. Надо ж понимать, идиоты! Никуда нам не выйти! – Он сел на снег и согнулся в новом приступе кашля. – Я зароюсь в снег и пережду.

К нему подошел Павел. Склонился.

– Идти надо, чего ты слюни-то распустил! Куда зароешься, дура сырая?.. Замерзнешь тут, как кочерыжка, и все. Он на сутки зарядил, не меньше. Идти надо!

– Уйди от меня, трепач! – взвизгнул снабженец и заматерился.

Павел облапил его, стал поднимать.

– Пойде-ешь!.. Как Исусик пойдешь у меня, ухажер сучий. Я те зароюсь…

Снабженец отчаянно упирался, хрипло, всхлипами дышал… Плюнул в лицо Павлу.

– Гад! Завел!..

Павел развернулся и навесил снабженцу в челюсть. Тот упал в снег. Федор, стоявший до этого в сторонке, подошел к ним, оттолкнул Павла. Взяв снабженца за грудки, поднял.

– Кому сказано: идти! А то, если я разок вмажу, от тебя одна доха останется. Шагай!

Снабженец покорно пошел.

– Погоди, – сказал Федор. – Давай твою доху, а сам надевай мой полушубок – легче будет.

Снабженец молча снял доху, надел легкий, удобный в ходьбе полушубок.

Павел вышел вперед… И опять пошли.

Часа в четыре ночи Павел остановился, расстегнул полушубок, вытряхнул из-за пазухи снег, сказал без особой радости:

– Буланово – собак слышно. – Он устал смертельно.

Постучались в крайнюю избу.

Их спросили из-за двери, кто они, откуда… Павел назвал себя, Федора. Им сказали, что не знают таких. Павел заорал:

– Вы что, с ума там посходили?! Люди подыхают, а они допрос учинили!

– Вышибай дверь, – робко и устало посоветовал снабженец.

Их впустили.

В избе выяснилось: это не Буланово, а зверосовхоз «Маяк».

Павел аж присвистнул.

– Какого кругаля дали!

Снабженец осторожно отряхивался у порога. Федор снял доху, повесил на стену. Снабженец снял ее, вынес в сенцы и там долго отряхивал с нее снег.

— Водки теперь, конечно, не достать? — спросил Павел.

— Какая водка! — воскликнул хозяин, зевая и кутаясь в одеяло — в избе выстыло. Из-за его спины выглядывала недовольная заспанная жена. — Я б счас сам с удовольствием похмелился.

— Ну, нет так нет. На нет, говорят, и спроса нет, — грустно согласился Павел.

Снабженец долго устраивал доху на вешалку, потом присел на припечье.

— Давай спать, Федор, — сказал Павел. — Небось не простынем.

Они расстелили на полу полушубки, легли, не раздеваясь.

Хозяин дал им укрыться свой тулуп.

Снабженец залез на печку.

Погасили свет.

— Стретили Новый год, — вздохнул Павел. — Язви тя в душу.

Буран колотил по крыше дома. В печной трубе тоскливо завывало. Во дворе, под окнами, скулила собака. Громко хлопали ворота — когда входили, забыли их закрыть.

— Ворота-то… черти вы такие, — сказал хозяин. — Расхлещет теперь.

Пришельцы промолчали — никому не хотелось идти закрывать ворота.

Минут десять лежали тихо.

— Слышь, на печке! — строго сказал Павел. — У тебя есть водка. В карманах, в дохе. Я видел вчера. Мы же отдадим тебе…

— Была, — откликнулся негромко снабженец. — Потерял я ее. Выронил.

Павел повернулся на бок и затих.

С печки послышалось ровное посапывание. Павел неслышно поднялся, подошел к дохе снабженца и стал шарить по карманам — искал водку. Водки действительно не было. В одном кармане он наткнулся на какой-то странный колючий предмет. Павел вытащил его, зажег спичку — то была маленькая капроновая елочка, увешанная крошечными игрушечками. Елочка была мокрая и изрядно помятая у основания. У крестовинки прикреплена бумажка, и на ней написано печатными буковками: «Нюсе, моей голубушке. От Мити».

— Положь на место, — сказал вдруг снабженец с печки.

Павел положил елочку в карман дохи, лег.

— К Нюрке опять пошел? — спросил он.

— Не твое дело.

— «Митя», — передразнил Павел. — Какой же ты Митя? Ты уж, слава те Господи, целый Митька.

— Огурцов Укроп Помидорыч, — зачем-то сказал Федор. И хмыкнул.

— До чего ушлый народ! — возмутился Павел. — Залезет вот такой гад в душу с разными словами — и все, и полный хозяин там…

— Пошли вы к черту! — громко сказал снабженец. — Чего вы злитесь-то, как собаки?

– Да хватит вам, – заворчал хозяин. – Нашли время разговаривать. Дайте доспать нормально.

Замолчали.

Хозяин через три минуты захрапел.

– А то злятся все, как собаки, – сказал снабженец с печки. – Не глянется, что лучше вас живу?

Павел и Федор не сразу нашлись, что на это ответить.

– Закрой варежку, – сказал наконец Павел. – Ворюга.

– Ты меня поймал, чтоб так говорить? – повысил голос снабженец.

Чувствовалось, что он привстал.

– Я тебя по походке вижу.

– Нет, ты поймал меня?

– Сдался ты мне – ловить тебя. А от Нюрки тебя, поганца, отвадим, заранее говорю. Придешь седня, мы там поговорим.

– Да какое ваше дело?! – почти закричал снабженец.

Проснулся хозяин.

– Ну, ребята, – сердито заговорил он, – пустил вас как добрых людей, так вы теперь соснуть не даете. Чего вы орете-то? Что, дня не хватает для разговоров ваших дурацких?

Замолчали.

Долго лежали так.

– Как собаки накинутся… – шепотом сказал снабженец.

– Гад, – тоже шепотом сказал Павел. – «Милой голубушке…» Голубчик нашелся. Я тя седня в деревне приголублю.

Федор хохотнул в рукав.

– Мужики, у вас совесть есть или нету? – совсем зло сказала хозяйка. – Вы что?!

– Все, спим, – серьезно сказал Павел. – Давай спать, Федор.

Скоро все заснули.

К утру буран улегся.

Павел с Федором проспали; снабженца в избе уже не было.

– Ушел, – сказал хозяин.

Выпили с хозяином две бутылки водки и пошли навеселе в Буланово.

Двенадцать километров отшагали незаметно.

В Буланове завернули еще в чайную, еще подкрепились… Совсем хорошо стало на душе.

– Пошли к Нюрке зайдем? – предложил Павел. – Поглядим на их…

– Пошли, – согласился Федор.

– Мне все же охота поговорить с им, – не терпелось Павлу – Доху надел… Сука! А я полушубок не мог взять: по шестьдесят восемь рублей привозили, не мог занять ни у кого. А что я, хуже его работаю?! – Павел кричал и размахивал руками. – Что я, хуже его?!

Федор молчал.

Нюра ждала гостей… Только не этих. Сидела в прибранной избе – нарядная, хорошая. Стол был застелен камчатной скатертью; на нем стоял начищенный самовар – и все пока, больше ничего. В избе было празднично.

– А где он? – сразу спросил Павел.

– Кто?

– Этот гусь… В дохе-то?

Нюра покраснела.

– Никого здесь нету. Вы чего?

– Не пошел, – сказал Федор. – Он обратно в город уехал.

– А-а… струсил! – Павел был доволен. Стал рассказывать Нюре: – Шли ночью с твоим… ухажером. Елочку тебе нес, гад такой. И главное, написал: «От голубчика Мити». Я говорю: если, говорю, я тебя еще раз увижу у Нюрки, ноги повыдергаю. Ты, говорю, недостойный ее! Ты же так ездишь – лишь бы время провести, а ей мужа надо. Да не такого мозгляка, а хорошего мужика! – Не замечал Павел, как меняется в лице Нюра, слушая его. – А ты гони его, если он еще придет! Гони метлой поганой! Митя мне, понимаешь…

Федор смотрел на Нюру. Молчал.

– Спасибо, Павел, – сказала Нюра.

– Ты мне скажи, когда он придет…

– Спасибо тебе. Позаботился. А то сидишь одна – и никому-то до тебя нету дела. А ты вот пришел… позаботился… – Нюра отвернулась к окну, кашлянула.

– А чего? – не понял Павел.

– Ничего. Спасибо… – Голос Нюры задрожал. Она вытерла уголком платка слезы.

– Пошли, – сказал Федор.

– А ты чего, Нюр? – все хотел понять Павел.

– Пошли, – опять сказал Федор. И подтолкнул Павла к двери. Вышли.

– А чего она?

– Зря, – сказал Федор. – Не надо было.

– Чего она, обиделась, что ли?

Федор не ответил.

– Ей же, понимаешь, делаешь лучше, она – в слезы. Бабье!

– Трепесся много, – сказал Федор. – Как сорока на колу. У вас все в роду трепачи были. Балаболки.

– А ты-то чо? – Павел приостановился от неожиданности.

Федор как шагал, так продолжал шагать.

– Федор! – крикнул Павел. – Пошли, у меня пара бутылок дома есть. Пошли?

Федор свернул в свой переулок – не оглянулся.

Павел постоял еще немного в раздумье. Плюнул в сердцах и тоже пошел домой.

– Пошли вы все!.. Им же, понимаешь, лучше делаешь, а они… строют из себя. Я же виноват, понимаешь. Народ!

Вянет, пропадает
Идет! – крикнул Славка. – Гусь-Хрустальный идет!

– Чего орешь-то? – сердито сказала мать. – Не можешь никак потише-то?.. Отойди оттудова, не торчи.

Славка отошел от окна.

– Играть, что ли? – спросил он.

– Играй. Какую-нибудь… поновей.

– Какую? Может, марш?

– Вот какую-то недавно учил!..

– Я сене одолел еще. Давай «Вянет, пропадает»?

– Играй. Она грустная?

– Помоги-ка снять. Не особенно грустная, но за душу возьмет.

Мать сняла со шкафа тяжелый баян, поставила Славке на колени. Славка заиграл: «Вянет, пропадает».

Вошел дядя Володя, большой, носатый, отряхнул о колено фуражку и тогда только сказал:

– Здравствуйте.

– Здравствуйте, Владимир Николаич, – приветливо откликнулась мать.

Славка перестал было играть, чтоб поздороваться, но вспомнил материн наказ – играть без передыху, кивнул дяде Володе и продолжал играть.

– Дождь, Владимир Николаич?

– Сеет. Пора уж ему и сеять. – Дядя Володя говорил как-то очень аккуратно, обстоятельно, точно кубики складывал. Положит кубик, посмотрит, подумает – переставит. – Пора… Сегодня у нас… што? Двадцать седьмое? Через три дня октябрь месяц. Пойдет четвертый квартал.

– Да, – вздохнула мать.

Славку удивляло, что мать, обычно такая крикливая, острая на язык, с дядей Володей во всем тихо соглашалась. Вообще становилась какая-то сама не своя: краснела, суетилась, все хотела, например, чтоб дядя Володя выпил «последнюю» рюмку перцовки, а дядя Володя говорил, что «последнюю-то как раз и не надо пить – она-то и губит людей».

– Все играешь, Славка? – спросил дядя Володя.

– Играет – встряла мать. – Приходит из школы и начинает – надоело уж… В ушах звенит.

Это была несусветная ложь, Славка изумлялся про себя.

– Хорошее дело, – сказал дядя Володя. – В жизни пригодится. Вот пойдешь в армию:

все будут строевой шаг отрабатывать, а ты в красном уголке на баяне тренироваться. Очень хорошее дело. Не всем только дается…

– Я говорила с ихним учителем-то: шибко, говорит, способный.

Когда говорила?! О боже милостивый!.. Что с ней?

– Талант, говорит.

– Надо, надо. Молодец, Славка.

– Садитесь, Владимир Николаич.

Дядя Володя ополоснул руки, тщательно вытер их полотенцем, сел к столу.

– С талантом люди крепко живут.

– Дал бы уж, господи…

– И учиться, конечно, надо – само собой.

– Вот учиться-то… – Мать строго посмотрела на Славку. – Лень-матушка! Вперед нас, видно, родилась. Чего уж только не делаю: сама иной раз с им сяду; «Учи! Тебе надото, не мне». Ну!.. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Был бы мужчина в доме… Нас-то много они слушают!

– Отец-то не заходит, Славка?

– А чего ему тут делать? – отвечала мать. – Алименты свои плотит – и довольный. А тут рости, как знаешь…

– Алименты – это удовольствие ниже среднего, – заметил дядя Володя. Двадцать пять?

– Двадцать пять. А зарабатывает-то не шибко… И те пропивает.

– Стараться надо, Славка. Матери одной трудно.

– Понимал бы он…

– Ты пришел из школы; сразу – раз – за уроки. Уроки приготовил – поиграл на баяне. На баяне поиграл – пошел погулял. Мать вздохнула.

Славка играл «Вянет, пропадает».

Дядя Володя выпил перцовки.

– Стремиться надо, Славка.

– Уж и то говорю ему: «Стремись, Славка…»

– Говорить мало, – заметил дядя Володя и налил еще рюмочку перцовки.

– Как же воспитывать-то?

Дядя Володя опрокинул рюмочку в большой рот.

– Ху-у… Все: пропустили по поводу воскресенья, и будет. – Дядя Володя закурил. – Я ведь пил, крепко пил…

– Вы уж рассказывали. Счастливый человек – бросили… Взяли себя в руки.

– Бывало, утром: на работу идти, а от тебя, как от циклона, на версту разит. Зайдешь, бывало, в парикмахерскую – не бриться, ничего, – откроешь рот: он побрызгает, тогда уж идешь. Мучился, Хочешь на счетах три положить, кладешь – пять.

– Гляди-ко!

– В голове – дымовая завеса, – обстоятельно рассказывал дядя Володя. – А у меня еще стол наспроть окна стоял, в одиннадцать часов солнце начинает в лицо бить – пот градом!.. И мысли комичные возникают: в ведомости, допустим: «Такому-то на руки семьсот рублей». По-старому. А ты думаешь: «Это ж сколько поллитр выйдет?» Х-хе…

– Гляди-ко, до чего можно дойти!

– Дальше идут. У меня приятель был: тот по ночам все шанец искал.

– Какой шанец?

– Шанс. Он его называл – шанец. Один раз искал, искал – показалось, кто-то с улицы зовет, шагнул с балкона, и все, не вернулся.

– Разбился?!

– Ну. с девятого этажа – шутка в деле! Он же не голубь мира. Когда летел, успел, правда, крикнуть: «Эй!»

– Сердешный… – вздохнула мать.

Дядя Володя посмотрел на Славку…

– Отдохни, Славка. Давай в шахматы сыграем. Заполним вакум, как говорит наш главный бухгалтер. Тоже пить бросил и не знает, куда деваться. Не знаю, говорит, чем вакум заполнить.

Славка посмотрел на мать. Та улыбнулась:

– Ну отдохни, сынок.

Славка с великим удовольствием вылез из-под баяна… Мать опять взгромоздила баян на шкаф, накрыла салфеткой.

Дядя Володя расставлял на доске фигуры.

– В шахматы тоже учись, Славка. Попадешь в какую-нибудь компанию: кто за бутылку, кто разные фигли-мигли, а ты раз – за шахматы: «Желаете?» К тебе сразу другое отношение. У тебя по литературе как?

– По родной речи? Трояк.

– Плохо. Литературу надо назубок знать. Вот я хожу пешкой и говорю: «Е-два, Е-четыре», как сказал гроссмейстер. А ты не знаешь, где это написано. Надо знать. Ну давай.

Славка походил пешкой.

– А зачем говорят-то: «Е-два, Е-четыре»? – спросила мать, наблюдая за игрой.

– А шутят, – пояснил дядя Володя. – Шутят так. А люди уж понимают: «Этого голой рукой не возьмешь». У нас в типографии все шутят. Ходи, Славка.

Славка походил пешкой.

– У нас дядя Иван тоже шутит, – сказал он. – Нас вывели на физкультуру, а он говорит: «Вот вам лопаты – тренируйтесь». – Славка засмеялся.

– Кто это?

– Он завхозом у нас.

– А-а… Этим шутникам лишь бы на троих сообразить, – недовольно заметил дядя Володя.

Мать и Славка промолчали.

– Не перевариваю этих соображал, – продолжал дядя Володя. – Живут – небо коптят.

– А вот пили-то, – поинтересовалась мать, – жена-то как же?

– Жена-то? – Дядя Володя задумался над доской: Славка неожиданно сделал каверзный ход. – Реагировала-то?

– Да. Реагировала-то.

– Отрицательно, как еще. Из-за этого и разошлись, можно сказать. Вот так, Славка! – Дядя Володя вышел из трудного положения и был доволен. – Из-за этого и горшок об горшок у нас и получился.

– Как это? – не понял Славка.

– Горшок об горшок-то? – Дядя Володя снисходительно улыбнулся. – Горшок об горшок – и кто дальше.

Мать засмеялась.

– Еще рюмочку, Владимир Николаич?

– Нет, – твердо сказал дядя Володя. – Зачем? Мне и так хорошо. Выпил для настроения-и будет. Раньше не отказался ба… Ох, пил!.. Спомнить страшно.

– Не думаете сходиться-то? – спросила мать.

– Нет, – твердо сказал дядя Володя, – Дело прынципа: я первый на мировую не пойду.

Славка опять сделал удачный ход.

– Ну, Славка!.. – изумился дядя Володя.

Мать незаметно дернула Славку за штанину. Славка протестующе дрыгнул ногой: он тоже вошел в азарт.

– Так, Славка… – Дядя Володя думал, сморщившись. – Так… А мы вот так!

Теперь Славка задумался.

– Детей-то проведуете? – расспрашивала мать.

– Проведую, – Дядя Володя закурил. – Дети есть дети, Я детей люблю.

– Жалеет счас небось?

– Жена-то? Тайно, конешно, жалеет. У меня счас без вычетов на руки выходит сто двадцать. И все целенькие. Площадь – тридцать восемь метров, обстановка… Сервант недавно купил за девяносто шесть рублей – любо глядеть. Домой приходишь – сердце радуется. Включишь телевизор, постановку какую-нибудь посмотришь… Хочу еще софу купить.

– Ходите, – сказал Славка.

Дядя Володя долго смотрел на фигуры, нахмурился, потрогал в задумчивости свой большой, слегка заалевший нос.

– Так, Славка… Ты как? А мы-так! Шахович. Софы есть чешские… Раздвижные – превосходные. Отпускные получу, обязательно возьму. И шкуру медвежью закажу…

– Сколько же шкура станет?

– Шкура? Рублей двадцать пять. У меня племянник часто в командировку на восток ездит, закажу ему, привезет.

– А волчья хуже? – спросил Славка.

– Волчья небось твердая, – сказала мать.

– Волчья вообще не идет для этого дела. Из волчьих дохи шьют. Мат, Славка. Дождик перестал; за окном прояснилось. Воздух стал чистый и синий. Только далеко на горизонте громоздились темные тучи. Кое-где в домах зажглись огни.

Все трое некоторое время смотрели в окно, слушали глухие звуки улицы. Просторно и грустно было за окном.

– Завтра хороший день будет, – сказал дядя Володя. – Вот где солнышко село, небо зеленоватое: значит, хороший день будет.

– Зима скоро. – вздохнула мать.

– Это уж как положено, У вас батареи не затопили еще?

– Нет. Пора бы уж.

– С пятнадцатого затопят. Ну пошел. Пойду включу телевизор, постановку какую-нибудь посмотрю.

Мать смотрела на дядю Володю с таким выражением, как будто ждала, что он вот-вот возьмет и скажет что-то не про телевизор, не про софу, не про медвежью шкуру – что-то другое.

Дядя Володя надел фуражку, остановился у порога…

– Ну, до свиданья.

– До свиданья…

– Славка, а кубинский марш не умеешь?

– Нет, – сказал Славка. – Не проходили еще.

– Научись, сильная вещь. На вечера будут приглашать… Ну, до свиданья.

– До свиданья.

Дядя Володя вышел. Через две минуты он шел под окнами – высокий, сутулый, с большим носом. Шел и серьезно смотрел вперед.

– Руль, – с досадой сказала мать, глядя в окно. – Чего ходит?..

– Тоска, – сказал Славка. – Тоже ж один кукует.

Мать вздохнула и пошла в куть готовить ужин.

– Чего ходить тогда? – еще раз сказала она и сердито чиркнула спичкой по коробку. – Нечего и ходить тогда. Правда что Гусь-Хрустальный.

В профиль и анфас

На скамейке, у ворот, сидел старик. Он такой же усталый, тусклый, как этот теплый день к вечеру. А было и у него раннее солнышко, и он шагал по земле и легко чувствовал ее под ногами. А теперь – вечер, спокойный, с дымками по селу.

На скамейку присел длиннорукий худой парень с морщинистым лицом. Такие толлько на вид слабые, на деле выносливые, как кони.

Парень тяжело вздохнул и стал закуривать.

– Гуляешь? – спросил старик.

– Это не гульба, дед, – не сразу сказал Иван. – Собачьи слезы, У тебя нет полтора рубля?

– Откуда?

– Башка лопается по швам.

– Как с работой-то?

– Никак. Бери, говорит, вилы да на скотный двор.

– Это кто, директор?

– Ну да. А у меня три специальности в кармане да почти девять классов образования. Ишачь сам, если такой сознательный.

– На сколь отобрали права-то?

– На год. А я выпил-то всего кружку пива! Да красенького стакан, А он придрался… С прошлого года караулил, гад, Я его тогда матом послал, он окрысился…

– Ты уж какой-то… шибко неуживчивый, парень. Надо маленько аккуратней. Чего вот теперь с ими сделаешь? Они – начальство…

– Ну и что?

– Ну и сиди теперь. Три специальности, а будешь сидеть. Где и смолчать надо.

Жгли ботву в огородах – скоро пахать. И каждый год одно и то же, а все не надоест человеку и все вдыхал бы и вдыхал этот горьковатый, прелый запах дыма и талой земли.

– Где и смолчать надо, парень, – повторил старик, глядя на огоньки в огородах. – Наше дело такое.

– Да я особо-то не лаюсь, – неохотно откликнулся Иван. – Если уж прицепится какой… Главное, я же правила-то не нарушал! – опять горько воскликнул он. – За стакан вина да за кружку пива – на год лишать человека!.. Паразит.

– Заглянь через плетень, моя старуха в огороде?

– Зачем?

– У меня под печкой бутылка самогонки есть. Я б те вынес похмелиться-то.

Иван поспешно встал, заглянул в огород.

– Там, – сказал он, – в дальнем углу. Сюда – ноль внимания.

Старик сходил в дом, принес бутылку самогона и немного батуну. И стакан.

– Что ж ты сразу не сказал? – заторопился Иван. – Сидит помалкивает!.. – Он налил стакан и одним духом оглушил. – Я вот такой больше люблю, чем первач. Этот с вонью, как бензин, – долго не будешь раздумывать. Кха!.. Пей. Сразу только.

Старик выпил не торопясь, закусил батуном.

– Как бензин, верно?

– Самогон как самогон. Какой бензин?

– Ну вот! – Иван хлопнул себя ладонью в грудь, – Теперь можно жить. Спасибо, дед. Хошь моих? – Протянул пачку «Памира».

Старик с трудом ухватил негнущимися пальцами сигаретку, помял-помял, посмотрел на нее внимательно, прикурил.

– Петька-то пишет?

– Пишет. Помру я скоро, Иван.

Иван удивленно посмотрел на старика:

– Брось ты!..

– Хошь брось, хошь положь… на месте будет. – Старик говорил спокойно.

– Болит, што ль, чего?

– Нет. Чую. Тебе столько годов будет, тоже учуешь.

Ивану сделалось хорошо от самогона, не хотелось говорить про смерть.

– Брось! – сказал он. – Поживешь. Гармонь, што ль, принесть?

– Неси.

Иван перешел через дорогу, вошел в дом… И его долго не было. Потом вышел с гармошкой, но опять хмурый.

– Мать, – сказал он. – Жалко вообще-то…

– Все жа ехать хошь?

– Ну а что делать-то? – Иван, видно, только что так говорил с матерью. Не могу же я на этот… Да ну – к черту совсем! Я Северным морским путем прошел… Я моторист, слесарь пятого разряда… Ну ладно, год не буду ездить, но неужели… Да ну – к черту! – Он тронул гармонь, что-то такое попробовал и бросил. Ему стало грустно. – Не везет мне тоже, дед. Крепко. Женился на Дальнем Востоке, так? Родилась дочка… А она делает фортель и уезжает к мамочке в Ленинград. Ты понял? – Он часто рассказывал, как он женился.

– Пошто в Ленинград-то?

– Она на Дальнем Востоке за техникум отрабатывала. Да мне ее-то – черт с ней, мне дочь жалко. Снится.

– К ей теперь поедешь?

– К жене?! Она второй год замужем… Молодая красивая кыса.

– А куда?

– К корешу одному… На шахты. Может, не на все время. Может, на год…

– На год у вас теперь не получается. Шибко уж легко стали из дому уходить.

– Ну а что я тут буду делать-то?! – опять взвился Иван. – На этот идти, на… Да ну, к черту! – Он развернул гармонь, заиграл и стал подпевать – как-то нарочно весело, зло:

Вот живу я с женщиной,
Ум-па-ра-ра-ра!
А вот уходит женщина
Д от меня.
Напугалась, лапушка?
Кончена игра!..
Старик все так же спокойно слушал.

– Сам сочиняю, – сказал Иван. – На ходу прямо. Могу всю ночь петь.

А мы не будем кланяться –
В профиль и анфас;
В золотой оправушке…
– Баламут ты, Ванька, – сказал старик. – Ну, пошел ба, поработал год на свинарнике… Мать не жалеешь. Она всю жись и так одна прожила.

Иван перестал играть, долго молчал.

– Не в этом дело, дед. Мне обидно. Что, думаешь, у них не нашлось бы места, где

устроить меня? Что им, один лишний слесарь помешает? Я тебя умоляю!.. Директор на меня тоже зуб имеет. Я его дочку пару раз проводил из клуба, он стал опасаться. А там можно опасаться: полудурок. А я трепаться умею… Я б ему сделал подарок. Зря, между прочим, не сделал.

— Чтоб в подоле принесла? Подарок-то?

— Ага. Скромный такой. К Восьмому марта.

— Это вы умеете.

— Вообще грустно, дед. Почему так? Ничего неохота… как это… как свидетель. Я один раз свидетелем был: один другому дал по очкам, у того зрение нарушилось. И вот сижу я на суде и не могу понять: я-то зачем здесь? Самое ж дурацкое дело! Ну, видел — и все. Измучился, пока суд шел. — Иван посмотрел на огоньки в огородах, вздохнул, помолчал. — Так и здесь. Сижу и думаю: «А я при чем здесь?» Суд хоть длинный был, но кончился, и я вышел. А здесь куда выйдешь? Не выйдешь.

— Отсюда одна дорога — на тот свет.

Иван налил в стакан, выпил.

— Нет счастья в жизни, — сказал он и сплюнул. — Тебе налить?

— Будет.

— Вот тебе хорошо было жить?

Старик долго молчал.

— В твои годы я так не думал, — негромко заговорил он. — Знал работал за троих. Сколько одного хлеба вырастил!.. Собрать ба весь, наверно, с год все село кормить можно было. Некогда было так думать.

— А я не знаю, для чего я работаю. Ты понял? Вроде нанялся, работаю. Но спроси: «Для чего?» — не знаю. Неужели только нажраться? Ну, нажрался… А дальше что? — Иван серьезно спрашивал, ждал, что старик скажет. — Что дальше-то? Душа все одно вялая какая-то…

— Заелись, — пояснил старик.

— И ты не знаешь. У вас никакого размаха не было, поэтому вам хватало… Вы дремучие были. Как вы-то жили, я так сумею. Мне чего-то больше надо.

— Налей-ка, — попросил старик. Выпил, тоже сплюнул. — Сороконожки, — вдруг зло сказал он. — Суетитесь на земле — туда-сюда, туда-сюда, а толку никакого. Машин понаделали, а… тьфу! Рак-то, он от чего? От бензина вашего, от угару. Скоро детей рожать разучитесь…

— Не скажи.

— И чуют ведь, что неладно живут, а все хорохорятся, «Разма-ах»! А чего гнусишь тогда?

— Чего эт тебя заело-то? Что дремучими вас назвал? А какие же вы?

— Лодыри вы. Светлые. Вы ведь как нонче: ему, подлецу, за ездку рупь двадцать кладут — можно четыре рубля в день заробить, а он две ездки делает и коней выпрягает. А сам — хоть об лоб поросят бей — здоровый. А мне двадцать пять соток за ездку начисляли, и я по пять ездок делал, да на трех, на четырех подводах. Трудодень заробишь, да год ждешь, сколь тебе на его отвалят. А отвалили — шиш с маслом. И вы же ноете: не знаю, для чего робить! Тебе полторы тыщи в месяц неохота заробить, а я за такие-то денюжки все лето горбатился.

— А мне не надо столько денег, — словно подзадоривая старика, сказал Иван. — Ты можешь это понять? Мне чего-то другого надо.

— Не надо, а полтора рубля — похмелиться — нету. Ходишь как побирушка… не надо

ему! Мать-то высохла на работе. Черти… Лодыри. Солнышко-то ишо вон где, а они уж с пашни едут. Да на машинах, с песнями!.. Эх… работники. Только по клубам засвистывать, подарки отцам мастерить…

— Нет, уж такой жизни теперь не будет, чтоб… Вообще ты формально прав, но ведь конь тоже работает…

— Позорно ему на свинарнике поработать! А мясо не позорно исть?

— Не поймешь, дед, — вздохнул Иван.

— Где нам!

— Я тебе говорю: наелся. Что дальше? Я не знаю. Но я знаю, что это меня не устраивает. Я не могу только на один желудок работать.

Эх, на один желудочек,
На-нина-ни-на…
— пропел он.

Старик усмехнулся:

— Обормот. Жена-то пошто ушла? Пил небось?

— Я не фраер, дед, я был классный флотский специалист. Ушла-то?.. Не знаю. Именно потому, что я не был фраером.

— Кем не был?

— Это так… — Иван поставил гармонь на лавку, закурил, долго молчал. И вдруг не дурашливо, а с какой-то затаенной тревогой, даже болью сказал: — А правда ведь не знаю, зачем живу.

— Жениться надо.

— Удивляюсь. Я же не дурак. Но чем успокоить душу? Чего она у меня просит? Как я этого не пойму!

— Женись, маяться перестанешь. Не до этого будет.

— Нет, тоже не то. Я должен сгорать от любви. А где тут сгоришь!.. Не понимаю; то ли я один такой дурак, то ли все так, но помалкивают… Веришь, нет: ночью думаю-думаю — до того плохо станет, хоть кричи. Ну зачем?!

— Тьфу! — Старик покачал головой. — Совсем испортился народишко.

А день тихо умирал, истлевал в теплой сырости. Темней и темней становилось. Огоньки в огородах заблестели ярче. И все острее пахло дымом. Долго еще будут жечь ботву и переговариваться. И голоса будут звучать отчетливо, а шум и возня в деревне будут стихать, И совсем уже темно станет. Огоньки в огородах станут гаснуть, И где-нибудь, совсем близко, звучный мужской голос скажет:

— Ну, пошли, ладно.

Насколько тихо, спокойно и грустно уходит прожитый день, настолько звонко, светло и горласто приходит новый. Петушня орет по селу. Суетятся люди, торопятся. Опаздывают.

Иван поднялся рано. Посидел на кровати, посмотрел в пол. Плохо было на душе, муторно. Стал одеваться.

Мать топила печку; опять пахло дымом, но только это был иной запах — древесный, сухой, утренний. Когда мать выходила на улицу и открывала дверь, с улицы тянуло свежестью, той свежестью, какая исходит от лужиц, подернутых светлым, как стеклышко, ледком; от комков земли, окропленных мелким бисером изморози; от вчерашних кострищ в огородах, зола которых седая, и влажная, и тяжелая; от палого листа, который отсырел с весной, но все равно, когда идешь, громко шуршит под ногами.

– Может, я схожу к директору-то, попрошу?.. – заговорила мать.

Иван брился.

– Еще чего! В ноги упади – он довольный будет.

– Ну а как жа теперь? – Мать старалась говорить не просительно, как можно убедительней – понимала; разговор, наверно, последний. – Ходют люди, просют. Язык-то не отсохнет…

– Я ходил. Просил.

– Да знаю я тебя, тугоносого, как ты просил! Лаяться только умеете…

– Хватит, мам.

Мать больше не выдержала, села на приступку и заплакала тихонько и запричитала:

– Куда вот собрался? К черту на кулички… То ли уж на роду мне написано весь свой век мучиться. Пошто жа, сынок, только про себя думаешь?..

Иван знал: будут слезы. И оттого было так плохо на душе, щемило даже, И оттого он хмурился раньше времени.

– Да што ты меня… на войну, што ли, провожаешь? Што я там?.. Да ну, к шутам все! И вечно – слезы!.. Мне уж от этих слез житья нету.

– Сходила ба, попросила – не каменный он, подыскал ба чего-нибудь. А то к инспектору сходи… Што уж сразу так – уезжать. Вон у Кольки Завьялова тоже права отбирали, сходил парень-то, поговорил… С людьми поговорить надо…

– Они уж в милиции, права-то. Поздно.

– Ну в милицию съездил ба…

– Хо-о! – изумился Иван. – Ну ты даешь!

– Господи, господи… Всю жись вот так, И за што мне такая доля злосчастная! Проклятая я, што ли…

Невмоготу становилось, Иван вышел во двор, умылся под рукомойником, постоял в одной майке у ворот… Посмотрел на село. Все он тут знал. И томился здесь, в этих переулках, лунными ночами… А крепости желанной в душе перед дальней дорогой не ощущал. Он не боялся ездить, но нужна крепость в душе и немножко надо веселей уезжать.

Вывернулся откуда-то пес Дик, красивый, но шалавый, кинулся с лаской.

– Ну! – Иван откинул пса, пошел в дом.

Мать накрывала на стол.

– Ну, поработал ба на свинарнике…

Они настойчивые, матери. И беспомощные.

– Ни под каким лозунгом, – твердо сказал Иван. – Вся деревня смеяться будет. Я знаю, для чего он меня хочет на свинарник загнать… Только у него ничего не выйдет.

– Господи, господи…

…Позавтракали.

Мать уложила все в чемодан и тут же села на пол у раскрытого чемодана и опять заплакала. Только не причитала теперь.

– С годок поработаю и приеду. Чего ты?..

Мать вытерла слезы.

– Может, схожу, сынок? – Посмотрела снизу на сына, и из глаз прямо плеснулось горе, и мольба, и надежда, и отчаяние, – Упрошу его… Он хороший мужик.

– Мам… Мне тоже тяжело.

– А может, сунуть кому-нибудь в милиции-то? Што, думаешь, не берут? Счас, не взяли! Колька Завьялов, думаешь, не сунул? Сунул… Счас, отдали так-то.

– Тут неизвестно, кто кому сунет: я им или они мне.

Предстояло прощание с печкой. Всякий раз, когда Иван куда-нибудь уезжал далеко, мать заставляла его трижды поцеловать печь и сказать; «Матушка печь, как ты меня поила и кормила, так благослови в дорогу дальнюю». Причем всякий раз она напоминала, как надо сказать, хоть Иван давно уж запомнил слова. Иван трижды ткнулся в теплый лоб печки и сказал:

– Матушка печь, как ты меня поила и кормила, так благослови в дорогу дальнюю.

…И пошли по улице; мать, сын и собака.

Ивану не хотелось, чтоб мать провожала его, не хотелось, чтоб люди глазели в окна и говорили: «Ванька-то… уезжает, што ль, куда?»

Попался навстречу дед, с которым они вчера беседовали на сон грядущий. Иван остановился. Он подумал, что, постояв, мать не пойдет дальше, а повернет и уйдет с соседом.

– Поехал?

– Поехал.

Закурили.

– Рыбачил, што ль?

– Попробовал поставить перемтишки… Рано ишо.

– Рано.

Мать стояла рядом, сцепив на фартуке руки, не слушала разговор, бездумно, не то задумчиво глядела в ту сторону, куда уезжал сын.

– Не пей там, – посоветовал дед. – Город – он и есть город – чужие все. Пообвыкни сперва…

– Што я, алкаш, што ли?

Еще постояли.

– Ну, с богом! – сказал старик.

– Бывай.

Старик пошел своей дорогой. Иван посмотрел на мать… Она, все так же глядя вперед, пошла, куда им надо идти. Иван пошел рядом.

Прошли немного.

– Мам… иди домой.

Мать послушно остановилась. Иван слегка приобнял ее… Голова ее затряслась у него на груди. Вот этот-то момент и есть самый тяжелый. Надо сейчас оторвать ее от себя, отвернуться и уйти.

– Ладно, мам… Иди. Я сразу письмо напишу. Как приеду, так… Ничего со мной не случится! Не ездют, што ль, люди? Иди.

Мать перекрестила его… И осталась стоять. А Иван уходил. Глупый пес увязался за ним. Он всегда ходил с хозяином на работу.

– Пошел! – сердито сказал Иван.

Дик повилял хвостом и продолжал бежать впереди.

– Дик! Дик! – позвал Иван.

Дик подбежал. Иван больно пнул его, пес заскулил, отбежал в сторону. И с удивлением смотрел на хозяина. Иван обернулся. Дик вильнул хвостом, тронулся было с места, но не побежал, остался стоять. И все так же удивленно смотрел на хозяина. А подальше стояла мать…

«Нет, надо на свете одному жить. Тогда легко будет», – думал Иван, стиснув зубы. И скоро вышагивал по улице – к автобусу.

В воскресенье мать-старушка…
А были у него хорошие времена. В войну. Он ходил по деревне, пел. Водила его Матрена Кондакова, сухая, на редкость выносливая баба, жадная и крикливая. Он называл ее – супружница.

Обычно он садился на крыльцо сельмага, вынимал из мешка двухрядку русского строя, долго и основательно устраивал ее на коленях, поправлял ремень на плече… Он был, конечно, артист. Он интриговал слушателей, он их готовил к действу. Он был спокоен. Незрячие глаза его (он был слепой от роду) «смотрели» куда-то далеко-далеко. Наблюдать за ним в эту минуту было интересно. Матрена малость портила торжественную картину – суетилась, выставляла на крыльце алюминиевую кружку для денег, зачем-то надевала на себя цветастую кашемировую шаль, которая совсем была не к лицу ей, немолодой уж… Но на нее не обращали внимания. Смотрели на Ганю. Ждали. Он негромко, сдержанно прокашливался, чуть склонял голову и, продолжая «смотреть» куда-то в даль, одному ему ведомую, начинал…

Песен он знал много. И все они были – про войну, про тюрьму, про сироток, про скитальцев… Знал он и «божественные», но за этим следили «сельсоветские». А если никого из «сельсоветских» близко не было, его просили:

– Гань, про безноженьку.

Ганя пел про безноженьку (девочку), которая просит ласкового Боженьку, чтоб он приделал ей ноженьки. Ну – хоть во сне, хоть только чтоб узнать, как ходят на ноженьках…

Бабы плакали.

Матрена тоже вытирала слезы концом кашемировой шали. Может, притворялась, Бог ее знает. Она была хитрая.

Пел Ганя про «сибулонцев» (заключенных сибирских лагерей) – как одному удалось сбежать; только он сбежать-то сбежал, а куда теперь – не знает, потому что жена его, курва, сошлась без него с другим.

Пел про «синенький, скромный платочек»…

Слушали затаив дыхание. Пел Ганя негромко, глуховатым голосом, иногда (в самые захватывающие моменты) умолкал и только играл, а потом продолжал. Разные были песни.

В воскресенье мать-старушка
К воротам тюрьмы пришла,
Своему родному сыну
Передачку принесла.
Оттого, что Ганя все «смотрел» куда-то далеко и лицо его было скорбное и умное, виделось, как мать-старушка подошла к воротам тюрьмы, а в узелке у нее – передачка: сальца кусочек, шанежки, яички, соль в тряпочке, бутылка молока…

Передайте передачку,
А то люди говорят:
Заключенных в тюрьмах много –
Сильно с голоду морят.
Бабы, старики, ребятишки как-то все это понимали – и что много их там, и что морят. И очень хотелось, чтоб передали тому несчастному «сидельцу», сыну ее, эту передачку – хоть поест, потому что в «терновке» (тюрьме), знамо дело, несладко. Но…

Ей привратник усмехнулся:
«Твоего тут сына нет.
Прошлой ночью был расстрелян
И отправлен на тот свет».
Горло сжимало горе. Завыть хотелось… Ганя понимал это. Замолкал. И только старенькая гармошка его с медными уголками все играет и играет. Потом:

Повернулась мать-старушка,
От ворот тюрьмы пошла…
И никто про то не знает –
На душе что понесла.
Как же не знали – знали! Плакали. И бросали в кружку пятаки, гривенники, двадцатики. Матрена строго следила, кто сколько дает. А Ганя сидел, обняв гармошку, и все «смотрел» в свою далекую, неведомую даль. Удивительный это был взгляд, необъяснимо жуткий, щемящий душу.

Потом война кончилась. Вернулись мужики, какие остались целые… Стало шумно в деревнях. А тут радио провели, патефонов понавезли – как-то не до Гани стало. Они еще ходили с Матреной, но слушали их плохо. Подавали, правда, но так – из жалости, что человек – слепой и ему надо как-то кормиться. А потом и совсем вызвали Ганю в сельсовет и сказали:

– Назначаем тебе пенсию. Не шляйся больше.

Ганя долго сидел молча, смотрел мимо председателя… Сказал:

– Спасибо нашей дорогой Советской власти.

И ушел.

Но и тогда не перестал он ходить, только – куда подальше, где еще не «провели» это «вшивое радиво».

Но чем дальше, тем хуже и хуже. Молодые, те даже подсмеиваться стали.

– Ты, дядя… шибко уж на слезу жмешь. Ты б чего-нито повеселей.

– Жиганье, – обиженно говорил Ганя. – Много вы понимаете!

И укладывал гармошку в мешок, и они шли с Матреной дальше… Но дальше – не лучше.

И Ганя перестал ходить.

Жили они с Матреной в небольшой избенке под горой. Матрена занималась огородом. Ганя не знал, что делать. Стал попивать. На этой почве у них с Матреной случались ругань и даже драки.

– Глот! – кричала Матрена. – Ты вот ее пропьешь, пензию-то, а чем жить будем?! Ты думаешь своей башкой дырявой, или она у тебя совсем прохудилась?

– Закрой варежку, – предлагал Ганя. – И никогда не открывай.

– Я вот те открою счас – шумовкой по калгану!.. Черт слепошарый.

Ганя бледнел.

– Ты мои шары не трожь! Не ты у меня свет отняла, не тебе вякать про это.

Вообще стал Ганя какой-то строптивый. Звали куда-нибудь: на свадьбу поиграть – отказывался.

– Я не комик, чтоб пляску вам наигрывать. Поняли? У вас теперь патефоны есть – под их и пляшите.

Пришли раз молодые из сельсовета (наверно, Матрена сбегала, пожаловалась), заикнулись:

– Вы знаете, есть ведь такое общество – слепых…

– Вот и записывайтесь туда, – сказал Ганя. – А мне и тут хорошо. А этой… моей… передайте: если она ишо по сельсоветам бегать будет, я ей ноги переломаю.

– Почему вы так?

– Как?

– Вам же лучше хотят…

– А я не хочу! Вот мне хотят, а я не хочу! Такой я… губошлеп уродился, что себе добра не хочу. Вы мне пензию плотите – спасибо. Больше мне ничего от вас не надо. Чего мне в тем обчестве делать? Чулки вязать да радиво слушать?.. Спасибо. Передайте им всем там от меня низкий поклон.

… Один только раз встрепенулся Ганя душой, оживился, помолодел даже…

Приехали из города какие-то люди – трое, спросили:

– Здесь живет Гаврила Романыч Козлов?

Ганя насторожился.

– А зачем? В обчество звать?

– В какое общество?.. Вы песен много знаете, нам сказали…

– Ну так?

– Нам бы хотелось послушать. И кое-что записать…

– А зачем? – пытал Ганя.

– Мы собираем народные песни. Записываем. Песни не должны умирать…

Догадался же тот городской человек сказать такие слова!.. Ганя встал, заморгал пустыми глазами… Хотел унять слезы, а они текли, ему было стыдно перед людьми, он хмурился и покашливал и долго не мог ничего сказать.

– Вы споете нам?

– Спою.

Вышли на крыльцо. Ганя сел на приступку, опять долго устраивал гармонь на коленях, прилаживал поудобней ремень на плече. И опять «смотрел» куда-то далеко-далеко, и опять лицо его было торжественное и умное. И скорбное, и прекрасное.

Был золотой день бабьего лета, было тепло и покойно на земле. Никто в деревне не знал, что сегодня, в этот ясный погожий день, когда торопились рубить капусту, ссыпать в ямы картошку, пока она сухая, сжигать на огородах ботву, пока она тоже сухая, никто в этот будничный, рабочий день не знал, что у Гаврилы Романыча Козлова сегодня – праздник.

Пришла с огорода Матрена.

Навалился на плетень соседский мужик, Егор Анашкин… С интересом разглядывали городских, которые разложили на крыльце какие-то кружочки, навострились с

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru блокнотами — приготовились слушать Ганю.

— Сперва жалобные или тюремные? — спросил Ганя.

— Любые.

И Ганя запел… Ах, как он пел! Сперва спел про безноженьку. Подождал, что скажут. Ждал напряженно и «смотрел» вдаль.

— А что-нибудь такое… построже… Нет, это тоже хорошая! Но… что-нибудь — где горе настоящее…

— Да рази ж это не горе — без ног-то? — удивился Ганя.

— Горе, горе, — согласились. — Словом, пойте, какие хотите.

Как на кладбище
Митрофановском
Отец дочку родную убил, —
запел Ганя. И славно так запел, с душой.

— Это мы знаем, слышали, — остановили его.

Ганя растерялся.

— А чего же тогда?

Тут эти трое негромко заспорили: один говорил, что надо писать все, двое ему возражали: зачем?

Ганя напряженно слушал и все «смотрел» туда куда-то, где он, наверно, видел другое — когда слушали его и не спорили, слушали и плакали.

— А вот вы говорили — тюремные. Ну-ка тюремные.

Ганя поставил гармонь рядом с собой. Закурил.

— Тюрьма — это плохое дело, — сказал он. — Не приведи Господи. Зачем вам?

— Почему же?!

— Нет, люди хорошие, — будет. Попели, поиграли — и будет. — И опять жестокая строптивость сковала лицо.

— Ну просют же люди! — встряла Матрена. — Чего ты кобенисся-то?

— Закрой! — строго сказал ей Ганя.

— Ишак, — сказала Матрена и ушла в огород.

— Вы обиделись на нас? — спросили городские.

— Пошто? — изумился Ганя. — Нет. За что же? Каких песен вам надо, я их не знаю. Только и делов.

Городские собрали свои чемоданчики, поблагодарили Ганю, дали три рубля и ушли.

Егор Анашкин перешагнул через низенький плетень, подсел к Гане.

— А чего, правда, заартачился-то? — поинтересовался он. — Спел ба, может, больше бы дали.

— Свиней-то вырастил? — спросил Ганя после некоторого молчания.

— Вырастил, — вздохнул Егор. — Теперь не знаю, куда с имя деваться, черт бы их надавал. Сдуру тада — разрешили: давай по пять штук! А куда теперь? На базар — там без меня навалом, не один я такой…

Егор закурил и задумался.

– Эх ты, поросятинка! – вдруг весело сказал Ганя. – На-ка трешку-то – сходи возьми бутылочку. За здоровье свинок твоих… и чтоб не кручинился ты – выпьем.

Волки!

В воскресенье, рано утром, к Ивану Дегтяреву явился тесть, Наум Кречетов, нестарый еще, расторопный мужик, хитрый и обаятельный. Иван не любил тестя; Наум, жалеючи дочь, терпел Ивана.

– Спишь? – живо заговорил Наум. – Эхха!.. Эдак, Ванечка, можно все царство небесное проспать. Здравствуйте.

– Я туда не сильно хотел. Не устремляюсь.

– Зря. Вставай-ка… Поедем съездим за дровишками. Я у бригадира выпросил две подводы. Конечно, не за «здорово живешь», но черт с ним – дров надо.

Иван полежал, подумал… И стал одеваться.

– Вот ведь почему молодежь в город уходит? – заговорил он. – Да потому, что там отработал норму – иди гуляй. Отдохнуть человеку дают. Здесь – как проклятый: ни дня, ни ночи. Ни воскресенья.

– Што же, без дров сидеть? – спросила Нюра, жена Ивана. – Ему же коня достали, и он еще недовольный.

– Я слыхал: в городе тоже работать надо, – заметил тесть.

– Надо. Я бы с удовольствием лучше водопровод пошел рыть, траншеи: выложился раз, зато потом без горя – и вода, и отопление.

– С одной стороны, конечно, хорошо – водопровод, с другой – беда: ты ба тогда совсем заспался. Ну, хватит, поехали.

– Завтракать будешь? – спросила жена.

Иван отказался – не хотелось.

– С похмелья? – полюбопытствовал Наум.

– Так точно, ваше благородье!

– Да-а… Вот так. А ты говоришь – водопровод… Ну, поехали.

День был солнечный, ясный. Снег ослепительно блестел. В лесу тишина и нездешний покой.

Ехать надо было далеко – верст двадцать: ближе рубить не разрешалось.

Наум ехал впереди и все возмущался:

– Черт-те чего!.. Из лесу в лес – за дровами.

Иван дремал в санях. Мерная езда убаюкивала.

Выехали на просеку, спустились в открытую логовину, стали подыматься в гору. Там, на горе, снова синей стеной вставал лес.

Почти выехали в гору… И тут увидели, недалеко от дороги, – пять штук. Вышли из леса, стоят, ждут. Волки.

Наум остановил коня, негромко, нараспев заматерился:

– Твою в душеньку ма-ать… Голубочки сизые. Выставились.

Конь Ивана, молодой, трусливый, попятился, заступил оглоблю. Иван задержал вожжами, разворачивая его. Конь храпел, бил ногами – не мог перешагнуть

оглоблину.

Волки двинулись с горы.

Наум уже развернулся, крикнул:

— Ну, што ты?!

Иван выскочил из саней, насилу втолкал коня в оглобли… Упал в сани. Конь сам развернулся и с места взял в мах. Наум был уже далеко.

— Грабю-ут! — заполошно орал он, нахлестывая коня.

Волки серыми комками податливо катились с горы, наперерез подводам.

— Грабю-ут! — орал Наум.

«Что он, с ума сходит? — невольно подумал Иван. — Кто кого грабит?» Он испугался, но как-то странно: были и страх, и жгучее любопытство, и смех брал над тестем. Скоро, однако, любопытство прошло. И смешно тоже уже не было. Волки достигли дороги метрах в ста позади саней и, вытянувшись цепочкой, стали быстро нагонять. Иван крепко вцепился в передок саней и смотрел на волков.

Впереди отмахивал крупный, грудастый, с паленой мордой… Уже только метров пятнадцать-двадцать отделяло его от саней. Ивана поразило несходство волка с овчаркой. Раньше он волков так близко не видел и считал, что это что-то вроде овчарки, только крупнее. Сейчас понял, что волк — это волк, зверь. Самую лютую собаку еще может в последний миг что-то остановить: страх, ласка, неожиданный окрик человека. Этого, с паленой мордой, могла остановить только смерть. Он не рычал, не пугал… Он догонял жертву. И взгляд его круглых желтых глаз был прям и прост.

Иван оглядел сани — ничего, ни малого прутика. Оба топора в санях тестя. Только клок сена под боком да бич в руке.

— Грабю-ут! — кричал Наум.

Ивана охватил настоящий страх.

Передний, очевидно вожак, стал обходить сани, примериваясь к лошади. Он был в каких-нибудь двух метрах… Иван привстал и, держась левой рукой за отводину саней, огрел вожака бичом. Тот не ждал этого, лязгнул зубами, прыгнул в сторону. Сбился с маха… Сзади налетели другие. Вся стая крутнулась с разгона вокруг вожака. Тот присел на задние лапы, ударил клыками одного, другого… И снова, вырвавшись вперед, легко догнал сани. Иван приготовился, ждал момента… Хотел еще раз достать вожака. Но тот стал обходить сани дальше. И еще один отвалил в сторону от своры и тоже начал обходить сани — с другой стороны. Иван стиснул зубы, сморщился… «Конец. Смерть». Глянул вперед.

— Сто-ой! — заорал он. — Отец!.. Дай топор!

Наум нахлестывал коня. Оглянулся, увидел, как обходят зятя волки, и быстро отвернулся.

— Придержи малость, отец!.. Дай топор! Мы отобьемся!..

— Грабю-ут!

— Придержи, мы отобьемся!.. Придержи малость, гад такой!

— Кидай им чево-нибудь! — крикнул Наум.

Вожак поравнялся с лошадью и выбирал момент, чтоб прыгнуть на нее. Волки, бежавшие сзади, были совсем близко: малейшая задержка, и они с ходу влетят в сани — и конец. Иван кинул клочок сена; волки не обратили на это внимания.

— Отец, сука, придержи, кинь топор!

Наум обернулся.

— Ванька!.. Гляди, кину!..

— Ты придержи!

— Гляди, кидаю! — Наум бросил на обочину дороги топор.

Иван примерился… Прыгнул из саней, схватил топор… Прыгая, он пугнул трех задних волков, они отскочили в сторону, осадили бег, намереваясь броситься на человека. Но в то самое мгновение вожак, почувствовав под собой твердый наст, прыгнул. Конь шарахнулся в сторону, в сугроб… Сани перевернулись: оглобли свернули хомут, он захлестнул коню горло. Конь захрипел, забился в оглоблях. Волк, настигавший жертву с другой стороны, прыгнул под коня и ударом когтистой лапы распустил ему брюхо повдоль. Три отставших волка бросились тоже к жертве.

В последующее мгновение все пять рвали мясо еще дрыгавшей лошади, растаскивали на ослепительно белом снегу дымящиеся клубки сизо-красных кишок, урчали. Вожак дважды прямо глянул своими желтыми круглыми глазами на человека…

Все случилось так чудовищно скоро и просто, что смахивало скорей на сон. Иван стоял с топором в руках, растерянно смотрел на волков. Вожак еще раз глянул на него… И взгляд этот, торжествующий, наглый, обозлил Ивана. Он поднял топор, заорал что было силы и кинулся к волкам. Они нехотя отбежали несколько шагов и остановились, облизывая окровавленные рты. Делали они это так старательно и увлеченно, что, казалось, человек с топором нимало их не занимает. Впрочем, вожак смотрел внимательно и прямо. Иван обругал его самыми страшными словами, какие знал. Взмахнул топором и шагнул к нему… Вожак не двинулся с места. Иван тоже остановился.

— Ваша взяла, — сказал он. — Жрите, сволочи. — И пошел в деревню. На растерзанного коня старался не смотреть. Но не выдержал, глянул… И сердце сжалось от жалости, и злость великая взяла на тестя. Он скорым шагом пошел по дороге.

— Ну погоди!.. Погоди у меня, змей ползучий. Ведь отбились бы — и конь был бы целый. Шкура.

Наум ждал зятя за поворотом. Увидев его, живого и невредимого, искренне обрадовался:

— Живой? Слава те Господи! — На совести у него все-таки было неспокойно.

— Живой! — откликнулся Иван. — А ты тоже живой?

Наум почуял в голосе зятя недоброе. На всякий случай зашагнул к саням.

— Ну, что они там?..

— Поклон тебе передают. Шкура!..

— Чего ты? Лаешься-то?..

— Я тебя бить буду, а не лаяться.

Иван подходил к саням. Наум стегнул лошадь.

— Стой! — крикнул Иван и побежал за санями. — Стой, паразит!

Наум нахлестывал коня… Началась другая гонка: человек догонял человека.

— Стой, тебе говорят! — кричал Иван.

— Заполошный! — кричал в ответ Наум. — Чего ты взъелся-то? С ума, что ли, спятил! Я-то при чем здесь?

— Ни при чем?! Мы бы отбились, а ты предал!..

– Да как отбились?! Ты что!

– Предал, змей! Я тебя проучу! Не уйдешь ты от меня, остановись лучше. Одного отметелю – не так будет позорно. А то при людях отлуплю. И расскажу все… Остановись лучше!

– Сейчас – остановился, держи карман! – Наум нахлестывал коня. – Оглоед чертов… откуда ты взялся на нашу голову!

– Послушай доброго совета: остановись! – Иван стал выдыхаться. – Тебе же лучше: отметелю и никому не скажу.

– Тебя, дьявола, голого в родню приняли, а ты же на меня с топором! Стыд-то есть или нету?

– Вот отметелю, потом про стыд поговорим. Остановись! – Иван бежал медленно, уже отстал. И наконец вовсе бросил догонять. Пошел шагом.

– Найду, никуда не денешься! – крикнул он напоследок тестю.

Дома у себя Иван никого не застал: на двери висел замок. Он отомкнул его, вошел в дом. Поискал в шкафу… Нашел не допитую вчера бутылку водки, налил стакан, выпил и пошел к тестю.

В ограде тестя стояла выпряженная лошадь.

– Дома, – удовлетворенно сказал Иван.

Толкнулся в дверь – не заперто. Он ждал, что будет заперто. Иван вошел в избу… Его ждали: в избе сидели тесть, жена Ивана и милиционер. Милиционер улыбался.

– Ну что, Иван?

– Та-ак… Сбегал уже? – спросил Иван, глядя на тестя.

– Сбегал, сбегал. Налил шары-то, успел?

– Малость принял для… красноречия. – Иван сел на табуретку.

– Ты чего это, Иван? С ума, что ли, сошел? – поднялась Нюра. – Ты что?

– Хотел папаню твоего поучить… Как надо человеком быть.

– Брось ты, Иван, – заговорил милиционер. – Ну, случилось несчастье, испугались оба… Кто же ждал, что так будет? Стихия.

– Мы бы легко отбились. Я потом один был с ними…

– Я ж тебе бросил топор? Ты попросил – я бросил. Чево еще-то от меня требовалось?

– Самую малость: чтоб ты человеком был. А ты – шкура. Учить я тебя все равно буду.

– Учитель выискался! Сопля… Гол как сокол, пришел в дом на все на готовенькое да еще грозится. Да еще недовольный всем: водопроводов, видите ли, нету!

– Да не в этом дело, Наум, – сказал милиционер. – При чем туг водопровод?

– В деревне плохо!.. В городе лучше, – продолжал Наум. – А чево приперся сюда? Недовольство свое показывать? Народ возбуждать?

– От сука! – изумился Иван. И встал.

Милиционер тоже встал.

– Бросьте вы! Пошли, Иван…

– Таких возбудителев-то знаешь куда девают? – не унимался Наум.

– Знаю! – ответил Иван. – В прорубь головой… – И шагнул к тестю.

Милиционер взял Ивана под руки и повел из избы.

На улице остановились, закурили.

– Ну не паразит ли! – все изумлялся Иван. – И на меня же попер.

– Да брось ты его!

– Нет, отметелить я его должен.

– Ну и заработаешь! Из-за дерьма.

– Куда ты меня счас?

– Пойдем, переночуешь у нас… Остынешь. А то себе хуже сделаешь. Не связывайся.

– Нет, это же… что ж это за человек?

– Нельзя, Иван, нельзя: кулаками ничего не докажешь.

Пошли по улице по направлению к сельской кутузке.

– Там-то не мог? – спросил вдруг милиционер.

– Не догнал! – с досадой сказал Иван. – Не мог догнать.

– Ну вот… Теперь все – теперь нельзя.

– Коня жалко.

– Да…

Замолчали. Долго шли молча.

– Слушай, отпусти ты меня. – Иван остановился. – Ну чего я в воскресенье там буду? Не трону я его.

– Да нет, пойдем. А то потом не оберешься… Тебя жалеючи говорю. Пойдем в шахматишки сыграем… Играешь в шахматы?

Иван сплюнул на снег окурок и полез в карман за другой папироской.

– Играю.

Думы
И вот так каждую ночь!

Как только маленько угомонится село, уснут люди – он начинает… Заводится, паразит, с конца села и идет. Идет и играет.

А гармонь у него какая-то особенная – орет. Не голосит – орет.

Нинке Кречетовой советовали:

– Да выходи ты скорей за него! Он же, черт, житья нам не даст.

Нинка загадочно усмехалась:

– А вы не слухайте. Вы спите.

– Какой же сон, когда он ее под самыми окнами растягивает. Ведь не идет же, черт блажной, к реке, а здесь старается! Как нарочно.

Сам Колька Малашкин, губастый верзила, нахально смотрел маленькими глазами и

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru заявлял:

– Имею право. За это никакой статьи нет.

Дом Матвея Рязанцева, здешнего председателя колхоза, стоял как раз на том месте, где Калька выходил из переулка и заворачивал в улицу. Получалось, что гармонь еще в переулке начинала орать, потом огибала дом, и еще долго ее было слышно.

Как только она начинала звенеть в переулке, Матвей садился в кровати, опускал ноги на прохладный пол и говорил:

– Все: завтра исключу из колхоза. Придерусь к чему-нибудь и исключу.

Он каждую ночь так говорил. И не исключал. Только, когда встречал днем Кольку, спрашивал:

– Ты долго будешь по ночам шляться? Люди после трудового дня отдыхают, а ты будишь, звонарь!

– Имею право, – опять говорил Колька.

– Я вот те покажу право! Я те найду право!

И все. И на этом разговор заканчивался. Но каждую ночь Матвей, сидя на кровати, обещал:

– Завтра исключу.

И потом долго сидел после этого, думал… Гармонь уже уходила в улицу, и уж ее не слышно было, а он все сидел. Нашаривал рукой брюки на стуле, доставал из кармана папиросы, закуривал.

– Хватит смолить-то! – ворчала сонная Алена, хозяйка.

– Спи, – кратко говорил Матвей.

О чем думалось? Да так как-то… ни о чем. Вспоминалась жизнь. Но ничего определенного, смутные обрывки. Впрочем, в одну такую ночь, когда было светло от луны, звенела гармонь и в открытое окно вливался с прохладой вместе горький запах полыни из огорода, отчетливо вспомнилась другая ночь. Она была черная, та ночь. Они с отцом и с младшим братом Кузьмой были на покосе километрах в пятнадцати от деревни, в кучугурах. И вот ночью Кузьма захрипел: днем в самую жару потный напился воды из ключа, а ночью у него «завалило» горло. Отец разбудил Матвея, велел поймать Игреньку (самого шустрого меринка) и гнать в деревню за молоком.

– Я тут пока огонь разведу… Привезешь, скипятим – надо отпаивать парня, а то как бы не решился он у нас, – говорил отец.

Матвей слухом угадал, где пасутся кони, взнуздал Игреньку и, нахлестывая его по бокам волосяной путой, погнал в деревню. И вот… Теперь уж Матвею скоро шестьдесят, а тогда лет двенадцать-тринадцать было – все помнится та ночь. Слились воедино конь и человек и летели в черную ночь. И ночь летела навстречу им, густо била в лицо тяжким запахом трав, отсыревших под росой. Какой-то дикий восторг обуял парнишку; кровь ударила в голову и гудела. Это было как полет – как будто оторвался он от земли и полетел. И ничего вокруг не видно: ни земли, ни неба, даже головы конской – только шум в ушах, только ночной огромный мир стронулся и понесся навстречу. О том, что там братишке плохо, совсем не думал тогда. И ни о чем не думал. Ликовала душа, каждая жилка играла в теле… Какой-то такой желанный, редкий миг непосильной радости.

…Потом было горе. Потом он привез молоко, а отец, прижав младшенького к груди, бегал вокруг костра и вроде баюкал его:

– Ну, сынок… ты чо же это? Обожди маленько. Обожди маленько. Счас молочка скипятим, счас продохнешь, сынок, миленький… Вон Мотька молочка привез!..

А маленький Кузьма задыхался уж, посинел.

Когда вслед за Матвеем приехала мать, Кузьма был мертв.

Отец сидел, обхватив руками голову, и покачивался и глухо и протяжно стонал. Матвей с удивлением и с каким-то странным любопытством смотрел на брата. Вчера еще возились с ним в сене, а теперь лежал незнакомый иссиня-белый чужой мальчик.

…Только странно: почему же проклятая гармонь оживила в памяти именно эти события? Эту ночь? Ведь потом была целая жизнь: женитьба, коллективизация, война. И мало ли еще каких ночей было-перебыло! Но все как-то стерлось, поблекло. Всю жизнь Матвей делал то, что надо было делать: сказали, надо идти в колхоз – пошел, пришла пора жениться – женился, рожали с Аленой детей, они вырастали… Пришла война – пошел воевать. По ранению вернулся домой раньше других мужиков. Сказали: «Становись, Матвей, председателем. Больше некому». Стал. И как-то втянулся в это дело, и к нему тоже привыкли, так до сих пор и тянет эту лямку. И всю жизнь была только на уме работа, работа, работа. И на войне тоже – работа. И все заботы, и радости, и горести связаны были с работой. Когда, например, слышал вокруг себя – «любовь», он немножко не понимал этого. Он понимал, что есть на свете любовь, он сам, наверно, любил когда-то Алену (она была красивая в девках), но чтоб сказать, что он что-нибудь знает про это больше, – нет. Он и других подозревал, что притворяются: песни поют про любовь, страдают, слышал даже – стреляются… Не притворяются, а привычка, что ли, такая у людей: надо говорить про любовь – ну давай про любовь. Дело-то все в том, что жениться надо! Что он, Колька, любит, что ли? Глянется ему, конечно, Нинка – здоровая, гладкая. А время подперло жениться, ну и ходит, дурак, по ночам, «тальянит». А чего не походить? Молодой, силенка играет в душе… И всегда так было. Хорошо еще, что не дерутся теперь из-за девок, раньше дрались. Сам Матвей не раз дрался. Да ведь тоже так – кулаки чесались и силенка опять же была. Надо же ее куда-нибудь девать.

Один раз Матвей, когда раздумался так вот, сидя на кровати, не вытерпел, толкнул жену:

– Слышь-ка!.. Проснись, я у тебя спросить хочу…

– Чего ты? – удивилась Алена.

– У тебя когда-нибудь любовь была? Ко мне или к кому-нибудь. Не важно.

Алена долго лежала, изумленная.

– Ты никак выпил?

– Да нет!.. Ты любила меня или так… по привычке вышла? Я сурьезно спрашиваю.

Алена поняла, что муж не «хлебнувши», но опять долго молчала – она тоже не знала, забыла.

– Чего это тебе такие мысли в голову полезли?

– Да охота одну штуку понять, язви ее. Что-то на душе у меня… как-то… заворошилось. Вроде хвори чего-то.

– Любила, конечно! – убежденно сказала Алена. – Не любила, так не пошла бы. За мной Минька-то Королев вон как ударял. Не пошла же. А чего ты про любовь спомнил середь ночи? Заговариваться, что ли, начал?

– Пошла ты! – обиделся Матвей. – Спи.

– Коровенку выгони завтра в стадо, я совсем забыла сказать. Мы уговорились с бабами до свету за ягодами идти.

– Куда? – насторожился Матвей.

– Да не на покосы на твои, не пужайся.

– Поймаю – штраф по десять рублей.

– Мы знаем одно местечко, где не косят, а ягоды красным-красно. Выгони коровенку-то.

– Ладно.

Так что же все-таки было в ту ночь, когда он ехал за молоком брату, что она возьми и вспомнись теперь?

«Дурею, наверно, – грустно думал Матвей. – К старости все дуреют».

А хворь в душе не унималась. Он заметил, что стал даже поджидать Кольку с его певучей «гармозой». Как его долго нет, он начинал беспокоиться. И сердился на Нинку: «Телка гладкая!.. Рази ж она так скоро отпустит!»

И сидел и поджидал. Курил.

И вот далеко в переулке начинала звенеть гармонь. И поднималась в душе хворь. Но странная какая-то хворь – желанная. Без нее чего-то не хватает.

Еще вспоминались какие-то утра… Идешь по траве босиком. Она вся бусая от росы. И только след остается – ядовито-зеленый. И роса обжигает ноги. Даже теперь зябко ногам, как вспомнишь.

А то вдруг про смерть подумается: что скоро – все. Без страха, без боли, но как-то удивительно: все будет так же, это понятно, а тебя отнесут на могилку и зароют. Вот трудно-то что понять: как же тут будет все так же? Ну допустим, понятно: солнышко будет вставать и заходить – оно всегда встает и заходит. Но люди какие-то другие в деревне будут, которых никогда не узнаешь… Этого никак не понять. Ну, лет десять-пятнадцать будут еще помнить, что был такой Матвей Рязанцев, а потом – все. А охота же узнать, как они тут будут. Ведь и не жалко ничего вроде: и на солнышко насмотрелся вдоволь, и погулял в праздничи – ничего, весело бывало и… Нет, не жалко. Повидал много. Но как подумаешь: нету тебя, все есть какие-то, а тебя больше не будет… Как-то пусто им вроде без тебя будет. Или ничего?

«Тьфу!.. Нет, старею».

Даже устал от таких дум.

– Слышь-ка!.. Проснись, – будил Матвей жену. – Ты смерти страшисся?

– Рехнулся мужик! – ворчала Алена. – Кто ее не страшится, косую?

– А я не страшусь.

– Ну дак и спи. Чего думать-то про это?

– Спи, ну тя!..

Но как вспомнится опять та черная оглушительная ночь, когда он летел на коне, так сердце и сожмет – тревожно и сладко. Нет, что-то есть в жизни, чего-то ужасно жалко. До слез жалко.

А в одну ночь он не дождался Колькиной гармошки. Сидел, курил… А ее все нет и нет. Так и не дождался. Измаялся.

К свету Матвей разбудил жену.

– Чего эт звонаря-то нашего не слышно?

– Да женился уж! В воскресенье свадьбу намечают.

Тоскливо сделалось Матвею. Он лег, хотел заснуть и не мог. Так до самого рассвета лежал, хлопал глазами. Хотел еще чего-нибудь вспомнить из своей жизни, но как-то совсем ничего не приходило в голову. Опять навалились колхозные заботы… Косить скоро, а половина косилок у кузницы стоит с задранными оглоблями. А этот черт косой, Филя-кузнец, гуляет. Теперь еще на свадьбу зальется, считай,

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru
неделя улетела.

«Завтра поговорить надо с Филей».

…Встретив на другой день Кольку губастого, Матвей усмехнулся:

– Что, брат, доигрался?

Колька заулыбался… А улыбка у него – от уха до уха.

– Все, Матвей Иваныч, больше не буду будить вас по ночам. Конец. Бросил якорь.

– Ну-ну, – сказал Матвей и пошел по своим делам, а сам думал: «Чего ты радуешься, бычок? Она тебя возьмет теперь за рога. Нинка-то. Они все, Кречетовы, такие».

Прошла неделя.

Все так же лился ночами лунный свет в окна, резко пахло из огорода полынью и молодой картофельной ботвой… И было тихо.

Матвей плохо спал. Просыпался, курил… Ходил в сени пить квас. Выходил на крыльцо, садился на приступку и курил. Светло было в деревне. И ужасающе тихо.

«Раскас»
От Ивана Петина ушла жена. Да как ушла!.. Прямо как в старых добрых романах – сбежала с офицером.

Иван приехал из дальнего рейса, загнал машину в ограду, отомкнул избу… И нашел на столе записку:

«Иван, извини, но больше с таким пеньком я жить не могу. Не ищи меня. Людмила».

Огромный Иван, не оглянувшись, грузно сел на табуретку – как от удара в лоб. Он почему-то сразу понял, что никакая это не шутка, это – правда.

Даже с его способностью все в жизни переносить терпеливо показалось ему, что этого не перенести: так нехорошо, больно сделалось под сердцем. Такая тоска и грусть взяла… Чуть не заплакал. Хотел как-нибудь думать и не мог – не думалось, а только больно ныло и ныло под сердцем.

Мелькнула короткая ясная мысль: «Вот она какая, большая-то беда». И все.

Сорокалетний Иван был не по-деревенски изрядно лыс, выглядел значительно старше своих лет. Его угрюмость и молчаливость не тяготили его, досадно только, что на это всегда обращали внимание. Но никогда не мог он помыслить, что мужика надо судить по этим качествам – всегда ли он весел и умеет ли складно говорить. «Ну а как же?!» – говорила ему та же Людмила. Он любил ее за эти слова еще больше… И молчал. «Не в этом же дело, – думал он, – что я тебе, политрук?» И вот – на тебе, она, оказывается, правда горевала, что он такой молчаливый и неласковый.

Потом узнал Иван, как все случилось.

Приехало в село небольшое воинское подразделение с офицером – помочь смонтировать в совхозе электроподстанцию. Побыли-то всего с неделю!.. Смонтировали и уехали. А офицер еще и семью тут себе «смонтировал».

Два дня Иван не находил себе места. Пробовал напиться, но еще хуже стало – противно. Бросил. На третий день сел писать рассказ в районную газету. Он частенько читал в газетах рассказы людей, которых обидели ни за что. Ему тоже захотелось спросить всех: как же так можно?!

Раскас
Значит было так: я приезжаю – на столе записка. Я ее не буду пирисказывать: она там обзываться начала. Главно я же знаю, почему она сделала такой финт ушами. Ей все говорили, что она похожая на какую-то артистку. Я забыл на какую. Но она дурочка не понимает: ну и что? Мало ли на кого я похожий, я и давай теперь скакать как блоха на зеркале. А ей когда говорили, что она похожая она прямо

щастливая становилась. Она и в культ прасветшколу из-за этого пошла, она сама говорила. А еслив сказать кому што он на Гитлера похожий, то што ему тада остается делать: хватать ружье и стрелять всех подряд? У нас на фронте был один такой — вылитый Гитлер. Его потом куда-то в тыл отправили потому што нельзя так. Нет, этой все в город надо было. Там говорит меня все узнавать будут. Ну не дура! Она вобчем то не дура, но малость чокнутая нащет своей физиономии. Да мало ли красивых — все бы бегали из дому! Я же знаю, он ей сказал: «Как вы здорово похожи на одну артистку!» Она конешно вся засветилась… Эх, учили вас учили гусударство деньги на вас тратила, а вы теперь сяли на шею обчеству и радешеньки! А гусударство в убытке.

Иван остановил раскаленное перо, встал, походил по избе. Ему нравилось, как он пишет, только насчет государства, кажется, зря. Он подсел к столу, зачеркнул «гусударство». И продолжал:

Эх вы!.. Вы думаете, еслив я шофер, дак я ничего не понимаю? Да я вас наскрозь вижу! Мы гусударству пользу приносим вот этими самыми руками, которыми я счас пишу, а при стрече могу этими же самыми руками так засветить промеж глаз, што кое кто с неделю хворать будет. Я не угрожаю и нечего мне после этого пришивать, што я кому-то угрожал но при стрече могу разок угостить. А потому што это тоже неправильно: увидал бабенку боле или мене ничего на мордочку и сразу подсыпаться к ней. Увиряю вас хоть я и лысый, но кое-кого тоже мог ба поприжать, потому што в рейсах всякие стречаются. Но однако я этого не делаю. А вдруг она чья нибудь жена? А они есть такие што может и промолчать про это. Кто же я буду перед мужиком, которому я рога надстроил! Я не лиходей людям.

Теперь смотрите што получается: вот она вильнула хвостом, уехала куда глаза глидят. Так? Тут семья нарушена. А у ей есть полная уверенность, што они там наладят новую? Нету. Она всего навсего неделю человека знала, а мы с ей четыре года прожили. Не дура она после этого? А гусударство деньги на ее тратила — учила. Ну, и где ж та учеба? Ее же плохому-то не учили. И родителей я ее знаю, они в соседнем селе живут хорошие люди. У ей между прочим брат тоже офицер старший лейтенант, но об нем слышно только одно хорошее. Он отличник боевой и политической подготовки. Откуда же у ей это пустозвонство в голове? Я сам удивляюсь. Я все для ей делал. У меня сердце к ей приросло. Каждый рас еду из рейса и у меня душа радуется: скоро увижу, и пожалуста: мне надстраивают такие рога! Да черт с ей не вытерпела там такой ловкач попался, што на десять минут голову потиряла… Я бы как нибудь пережил это. Но зачем совсем то уезжать? Этого я тоже не понимаю. Как то у меня ни укладываится в голове. В жизни всяко бываит, бываит иной рас слабость допустил человек, но так вот одним разом всю жизнь рушить — зачем же так? Порушить-то ей лехко но снова складать трудно. А уж ей самой — тридцать лет. Очень мне счас обидно, поэтому я пишу свой раскас. Еслив уж на то пошло у меня у самого три ордена и четыре медали. И я давно бы уж был ударником коммунистического труда, но у меня есть одна слабость: как выпью так начинаю материть всех. Это у меня тоже не укладывается в голове, тверезый я совсем другой человек. А за рулем меня никто ни разу выпимши не видал и никогда не увидит. И при жене Людмиле я за все четыре года ни разу не матернулся, она это может подтвердить. Я ей грубога слова никогда не сказал. И вот пожалуста она же мне надстраивает такие прямые рога! Тут кого хошь обида возьмет. Я тоже — не каменный.

С приветом.
Иван Петин. Шофер 1 класса.
Иван взял свой «раскас» и пошел в редакцию, которая была неподалеку.

Стояла весна, и от этого еще хуже было на душе: холодно и горько. Вспомнилось, как совсем недавно они с женой ходили этой самой улицей в клуб — Иван встречал ее с репетиций. А иногда провожал на репетицию.

Он люто ненавидел это слово «репетиция», но ни разу не выказал своей ненависти: жена боготворила репетиции, он боготворил жену. Ему нравилось идти с ней по улице, он гордился красивой женой. Еще он любил весну, когда она только-только подступала, но уже вовсю чувствовалась даже утрами, сердце сладко поднывало — чего-то ждалось. Весны и ждалось. И вот она наступила, та самая — нагая, раздрызганная и ласковая, обещающая земле скорое тепло, солнце… Наступила… А тут — глаза бы ни на что не глядели.

Иван тщательно вытер сапоги о замусоленный половичок на крыльце редакции и вошел. В редакции он никогда не был, но редактора знал: встречались на рыбалке.

– Агеев здесь? – спросил он у женщины, которую часто видел у себя дома и которая тоже бегала в клуб на репетиции. Во всяком случае, когда ему доводилось слушать их разговор с Людмилой, это были все те же «репетиция», «декорация». Увидев ее сейчас, Иван счел нужным не поздороваться; больно дернуло за сердце.

Женщина с любопытством и почему-то весело посмотрела на него.

– Здесь. Вы к нему?

– К нему… Мне надо тут по одному делу. – Иван прямо смотрел на женщину и думал: «Тоже небось кому-нибудь рога надстроила – веселая».

Женщина вошла в кабинет редактора, вышла и сказала:

– Пройдите, пожалуйста.

Редактор – тоже веселый, низенький… Несколько больше, чем нужно бы при его росте, полненький, кругленький, тоже лысый. Встал навстречу из-за стола.

– А?! – воскликнул он и показал на окно. – На нас, на нас времечко-то работает! Не пробовали еще переметами?..

– Нет, – Иван всем видом своим хотел показать, что ему не до переметов сейчас.

– Я в субботу хочу попробовать. – Редактора все не покидало веселое настроение. – Или не советуете? Просто терпения нет…

– Я раскас принес, – сказал Иван.

– Рассказ? – удивился редактор. – Ваш рассказ? О чем?

– Я туг все описал. – Иван подал тетрадку.

Редактор полистал ее… Посмотрел на Ивана. Тот серьезно и мрачно смотрел на него.

– Хотите, чтоб я сейчас прочитал?

– Лучше бы сейчас…

Редактор сел в кресло и стал читать. Иван остался стоять и все смотрел на веселого редактора и думал: «Наверно, у него жена тоже на репетиции ходит. А ему хоть бы что – пусть ходит! Он сам сумеет про эти всякие «декорации» поговорить. Он про все сумеет».

Редактор захохотал.

Иван стиснул зубы.

– Ах, славно! – воскликнул редактор. И опять захохотал так, что заколыхался его упругий животик.

– Чего славно? – спросил Иван.

Редактор перестал смеяться… Несколько даже смутился.

– Простите… Это вы о себе? Это ваша история?

– Моя.

– Кхм… Извините, я не понял.

– Ничего. Читайте дальше.

Редактор опять уткнулся в тетрадку. Он больше не смеялся, но видно было, что он изумлен и ему все-таки смешно.

И чтоб скрыть это, он хмурил брови и понимающе делал губы трубочкой. Он дочитал.

– Вы хотите, чтоб мы это напечатали?

– Ну да.

– Но это нельзя печатать. Это не рассказ…

– Почему? Я читал, так пишут.

– А зачем вам нужно это печатать? – Редактор действительно смотрел на Ивана сочувственно и серьезно. – Что это даст? Облегчит ваше… горе?

Иван ответил не сразу.

– Пускай они прочитают… там.

– А где они?

– Пока не знаю.

– Так она просто не дойдет до них, газетка-то наша!

– Я найду их… И пошлю.

– Да нет, даже не в этом дело! – Редактор встал и прошелся по кабинету. – Не в этом дело. Что это даст? Что, она опомнится и вернется к вам?

– Им совестно станет.

– Да нет! – воскликнул редактор. – Господи… Не знаю, как вам… Я вам сочувствую, но ведь это глупость, что мы сделаем! Даже если я отредактирую это.

– Может, она вернется.

– Нет! – громко сказал редактор. – Ах ты, Господи!.. – Он явно волновался. – Лучше напишите письмо. Давайте вместе напишем?

Иван взял тетрадку и пошел из редакции.

– Подождите! – воскликнул редактор. – Ну давайте вместе – от третьего лица…

Иван прошел приемную редакции, даже не глянув на женщину, которая много знала о «декорациях», «репетициях»… Собаки!

Он направился прямиком в чайную. Там взял «полкило» водки, выпил сразу, не закусывая, и пошел домой – в мрак и пустоту. Шел, засунув руки в карманы, не глядел по сторонам. Все как-то не наступало желанное равновесие в душе его. Он шел и молча плакал. Встречные люди удивленно смотрели на него… А он шел и плакал. И ему было не стыдно. Он устал.

Чудик
Жена называла его – «Чудик». Иногда ласково.

Чудик обладал одной особенностью: с ним постоянно что-нибудь случалось. Он не хотел этого, страдал, но то и дело влипал в какие-нибудь истории – мелкие, впрочем, но досадные.

Вот эпизоды одной его поездки.

Получил отпуск, решил съездить к брату на Урал: лет двенадцать не виделись.

– А где блесна такая… на подвид битюря?! – орал Чудик из кладовой.

– Я откуда знаю.

– Да вот же ж все тут лежали! – Чудик пытался строго смотреть круглыми

иссиня-белыми глазами. – Все тут, а этой, видите ли, нету.

– На битюря похожая?

– Ну. Щучья.

– Я ее, видно, зажарила по ошибке. Чудик некоторое время молчал.

– Ну и как?

– Что?

– Вкусная! Ха-ха-ха!.. – Он совсем не умел острить, но ему ужасно хотелось. – Зубки целые? Она ж дюралевая!..

…Долго собирались – до полуночи. А рано утром Чудик шагал с чемоданом по селу.

– На Урал! На Урал! – отвечал он на вопрос: куда это он собрался? При этом круглое мясистое лицо его, круглые глаза выражали в высшей степени плевое отношение к дальним дорогам – они его не пугали. – На Урал! Надо прошвырнуться.

Но до Урала было еще далеко.

Пока что он благополучно доехал до районного города, где предстояло взять билет и сесть в поезд.

Времени оставалось много. Чудик решил пока накупить подарков племяшам – конфет, пряников… Зашел в продовольственный магазин, пристроился в очередь. Впереди него стоял мужчина в шляпе, а впереди шляпы – полная женщина с крашеными губами. Женщина негромко, быстро, горячо говорила шляпе:

– Представляете, насколько надо быть грубым, бестактным человеком! У него склероз, хорошо, у него уже семь лет склероз, однако никто не предлагал ему уходить на пенсию. А этот без году неделя руководит коллективом – и уже: «Может, вам, Александр Семеныч, лучше на пенсию?» Нах-хал!

Шляпа поддакивала:

– Да, да… Они такие теперь. Подумаешь! Склероз. А Сумбатыч?.. Тоже последнее время текст не держал. А эта, как ее?..

Чудик уважал городских людей. Не всех, правда: хулиганов и продавцов не уважал. Побаивался.

Подошла его очередь. Он купил конфет, пряников, три плитки шоколада. И отошел в сторонку, чтобы уложить все в чемодан. Раскрыл чемодан на полу, стал укладывать… Глянул на пол, а у прилавка, где очередь, лежит в ногах у людей пятидесятирублевая бумажка. Этакая зеленая дурочка, лежит себе, никто ее не видит. Чудик даже задрожал от радости, глаза загорелись. Второпях, чтобы его не опередил кто-нибудь, стал быстро соображать, как бы повеселее, поостроумнее сказать этим, в очереди, про бумажку.

– Хорошо живете, граждане! – сказал он громко и весело.

На него оглянулись.

– У нас, например, такими бумажками не швыряются.

Тут все немного поволновались. Это ведь не тройка, не пятерка – пятьдесят рублей, полмесяца работать надо. А хозяина бумажки – нет.

«Наверно, тот, в шляпе», – догадался Чудик.

Решили положить бумажку на видное место на прилавке.

– Сейчас прибежит кто-нибудь, – сказала продавщица.

Чудик вышел из магазина в приятнейшем расположении духа. Все думал, как это у него легко, весело получилось: «У нас, например, такими бумажками не швыряются!» Вдруг его точно жаром всего обдало: он вспомнил, что точно такую бумажку и еще двадцатипятирублевую он сейчас разменял, пятидесятирублевая должна быть в кармане… Сунулся в карман — нету. Туда-сюда — нету.

— Моя была бумажка-то! — громко сказал Чудик. — Мать твою так-то!.. Моя бумажка-то.

Под сердцем даже как-то зазвенело от горя. Первый порыв был пойти и сказать: «Граждане, моя бумажка-то. Я их две получил в сберкассе: одну двадцатипятирублевую, другую полусотельную. Одну сейчас разменял, а другой — нету». Но только он представил, как он огорошит всех этим своим заявлением, как подумают многие: «Конечно, раз хозяина не нашлось, он и решил прикарманить». Нет, не пересилить себя — не протянуть руку за этой проклятой бумажкой. Могут еще и не отдать…

— Да почему же я такой есть-то? — вслух горько рассуждал Чудик. — Что теперь делать?..

Надо было возвращаться домой.

Подошел к магазину, хотел хоть издали посмотреть на бумажку, постоял у входа… и не вошел. Совсем больно станет. Сердце может не выдержать.

Ехал в автобусе и негромко ругался — набирался духу: предстояло объяснение с женой.

Сняли с книжки еще пятьдесят рублей.

Чудик, убитый своим ничтожеством, которое ему опять разъяснила жена (она даже пару раз стукнула его шумовкой по голове), ехал в поезде. Но постепенно горечь проходила. Мелькали за окном леса, перелески, деревеньки… Входили и выходили разные люди, рассказывались разные истории… Чудик тоже одну рассказал какому-то интеллигентному товарищу, когда стояли в тамбуре, курили.

— У нас в соседней деревне один дурак тоже… Схватил головешку — и за матерью. Пьяный. Она бежит от него и кричит: «Руки, — кричит, — руки-то не обожги, сынок!» О нем же и заботится… А он прет, пьяная харя. На мать. Представляете, каким надо быть грубым, бестактным…

— Сами придумали? — строго спросил интеллигентный товарищ, глядя на Чудика поверх очков.

— Зачем? — не понял тот. — У нас за рекой, деревня Раменское…

Интеллигентный товарищ отвернулся к окну и больше не говорил.

После поезда Чудику надо было еще лететь местным самолетом полтора часа. Он когда-то летал разок. Давно. Садился в самолет не без робости. «Неужели в нем за полтора часа ни один винтик не испортится?» — думал. Потом — ничего, осмелел. Попытался даже заговорить с соседом, но тот читал газету, и так ему было интересно, что там, в газете, что уж и послушать живого человека ему не хотелось. А Чудик хотел выяснить вот что: он слышал, что в самолетах дают поесть. А что-то не несли. Ему очень хотелось поесть в самолете — ради любопытства.

«Зажилили», — решил он.

Стал смотреть вниз. Горы облаков внизу. Чудик почему-то не мог определенно сказать: красиво это или нет? А кругом говорили: «Ах, какая красота!» Он только ощутил вдруг глупейшее желание: упасть в них, в облака, как в вату. Еще он подумал: «Почему же я не удивляюсь? Ведь подо мной чуть не пять километров». Мысленно отмерил эти пять километров на земле, поставил их на попа, чтоб удивиться, и не удивился.

— Вот человек?.. Придумал же, — сказал он соседу. Тот посмотрел на него, ничего не сказал, зашуршал опять газетой.

– Пристегнитесь ремнями! – сказала миловидная молодая женщина. – Идем на посадку.

Чудик послушно застегнул ремень. А сосед – ноль внимания. Чудик осторожно тронул его:

– Велят ремень застегнуть.

– Ничего, – сказал сосед. Отложил газету, откинулся на спинку сиденья и сказал, словно вспоминая что-то: – Дети – цветы жизни, их надо сажать головками вниз.

– Как это? – не понял Чудик.

Читатель громко засмеялся и больше не стал говорить.

Быстро стали снижаться. Вот уж земля – рукой подать, стремительно летит назад. А толчка все нет. Как потом объясняли знающие люди, летчик «промазал». Наконец толчок, и всех начинает так швырять, что послышался зубовный стук и скрежет. Этот читатель с газетой сорвался с места, боднул Чудика лысой головой, потом приложился к иллюминатору, потом очутился на полу. За все это время он не издал ни одного звука. И все вокруг тоже молчали – это поразило Чудика. Он тоже молчал. Стали. Первые, кто опомнился, глянули в иллюминаторы и обнаружили, что самолет – на картофельном поле. Из пилотской кабины вышел мрачноватый летчик и пошел к выходу. Кто-то осторожно спросил его:

– Мы что, кажется, в картошку сели?

– А сами не видите? – сказал летчик.

Страх схлынул, и наиболее веселые уже пробовали острить.

Лысый читатель искал свою искусственную челюсть. Чудик отстегнул ремень и тоже стал искать.

– Эта?! – радостно воскликнул он и подал читателю.

У того даже лысина побагровела.

– Почему надо обязательно руками хватать! – закричал он шепеляво.

Чудик растерялся.

– А чем же?..

– Где я ее кипятить буду? Где?!

Этого Чудик тоже не знал.

– Поедемте со мной? – предложил он. – У меня тут брат живет, там вскипятим… Вы опасаетесь, что я туда микробов занес? У меня их нету.

Читатель удивленно посмотрел на Чудика и перестал кричать.

В аэропорту Чудик написал телеграмму жене:

«Приземлились. Ветка сирени упала на грудь, милая Груша меня не забудь. Тчк.

Васятка».
Телеграфистка, строгая красивая женщина, прочитав телеграмму, предложила:

– Составьте иначе. Вы – взрослый человек, не в детсаде.

– Почему? – спросил Чудик. – Я ей всегда так пишу в письмах. Это же моя жена!.. Вы, наверно, подумали…

– В письмах можете писать что угодно, а телеграмма – это вид связи. Это открытый текст.

Чудик переписал:

«Приземлились. Все в порядке.

Васятка».
Телеграфистка сама исправила два слова: «Приземлились» и «Васятка». Стало: «Долетели. Василий».

– «Приземлились»… Вы что, космонавт, что ли?

– Ну ладно, – сказал Чудик. – Пусть так будет.

…Знал Чудик: есть у него брат Дмитрий, трое племянников… О том, что должна еще быть сноха, как-то не думалось. Он никогда не видел ее. А именно она-то, сноха, все испортила, весь отпуск. Она почему-то сразу невзлюбила Чудика.

Выпили вечером с братом, и Чудик запел дрожащим голосом:

Тополя-а-а, тополя-а-а…
Софья Ивановна, сноха, выглянула из другой комнаты, спросила зло:

– А можно не орать? Вы же не на вокзале, верно? – И хлопнула дверью.

Брату Дмитрию стало неловко.

– Это… там ребятишки спят. Вообще-то она хорошая.

Еще выпили. Стали вспоминать молодость, мать, отца…

– А помнишь?.. – радостно спрашивал брат Дмитрий. – Хотя кого ты там помнишь! Грудной был. Меня оставят с тобой, а я тебя зацеловывал. Один раз ты посинел даже. Попадало мне за это. Потом уж не стали оставпять. И все равно: только отвернутся, я около тебя: опять целую. Черт знает, что за привычка была. У само-го-то еще сопли по колена, а уж… это… с поцелуями…

– А помнишь, – тоже вспоминал Чудик, – как ты меня…

– Вы прекратите орать? – опять спросила Софья Ивановна совсем зло, нервно. – Кому нужно слушать эти ваши разные сопли да поцелуи? Туда же – разговорились.

– Пойдем на улицу, – сказал Чудик.

Вышли на улицу, сели на крылечко.

– А помнишь?.. – продолжал Чудик.

Но тут с братом Дмитрием что-то случилось: он заплакал и стал колотить кулаком по колену.

– Вот она, моя жизнь! Видел? Сколько злости в человеке!.. Сколько злости!

Чудик стал успокаивать брата:

– Брось, не расстраивайся. Не надо. Никакие они не злые, они – психи. У меня такая же.

– Ну чего вот невзлюбила?! За што? Ведь невзлюбила она тебя… А за што?

Тут только понял Чудик, что да, невзлюбила его сноха. А за что действительно?

– А вот за то, што ты – никакой не ответственный, не руководитель. Знаю я ее, дуру. Помешалась на своих ответственных. А сама-то кто! Буфетчица в управлении, шишка на ровном месте. Насмотрится там и начинает… Она и меня-то тоже ненавидит, что я не ответственный, из деревни.

– В каком управлении-то?

– В этом… горно… Не выговорить сейчас. А зачем выходить было? Што она, не знала, што ли?

Тут и Чудика задело за живое.

– А в чем дело вообще-то? – громко спросил он, не брата, кого-то еще. – Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так, смотришь, – выходец из деревни. Надо газеты читать!.. Што ни фигура, понимаешь, так – выходец, рано пошел работать.

– А сколько я ей доказывал: в деревне-то люди лучше, не заносистые.

– А Степана-то Воробьева помнишь? Ты ж знал его…

– Знал, как же.

– Уж там куда деревня!.. А пожалуйста: Герой Советского Союза. Девять танков уничтожил. На таран шел. Матери его теперь пожизненную пенсию будут шестьдесят рублей платить. А разузнали только недавно, считали – без вести…

– А Максимов Илья!.. Мы ж вместе уходили. Пожалуйста, кавалер Славы трех степеней. Но про Степана ей не говори… Не надо.

– Ладно. А этот-то!..

Долго еще шумели возбужденные братья. Чудик даже ходил около крыльца и размахивал руками.

– Деревня, видите ли!.. Да там один воздух чего стоит! Утром окно откроешь – как, скажи, обмоет тебя всего. Хоть пей его – до того свежий да запашистый, травами пахнет, цветами разными…

Потом они устали.

– Крышу-то перекрыл? – спросил старший брат негромко.

– Перекрыл. – Чудик тоже тихо вздохнул. – Веранду подстроил – любо глядеть. Выйдешь вечером на веранду… начинаешь фантазировать: вот бы мать с отцом были бы живые, ты бы с ребятишками приехал – сидели бы все на веранде, чай с малиной попивали. Малины нынче уродилось пропасть. Ты, Дмитрий, не ругайся с ней, а то она хуже невзлюбит. А я как-нибудь поласковей буду, она, глядишь, отойдет.

– А ведь сама из деревни! - как-то тихо и грустно изумился Дмитрий. – А вот… Детей замучила, дура: одного на пианинах замучила, другую в фигурное катание записала. Сердце кровью обливается, а не скажи, сразу ругань.

– Ммх!.. – чего-то опять возбудился Чудик. – Никак не понимаю эти газеты: вот, мол, одна такая работает в магазине – грубая. Эх, вы!.. А она придет домой – такая же. Вот где горе-то! И я не понимаю! – Чудик тоже стукнул кулаком по колену. – Не понимаю: почему они стали злые?

Когда утром Чудик проснулся, никого в квартире не было: брат Дмитрии ушел на работу, сноха тоже, дети постарше играли во дворе, маленького отнесли в ясли.

Чудик прибрал постель, умылся и стал думать, что бы такое приятное сделать снохе. Тут на глаза попалась детская коляска. «Эге, – подумал Чудик, – разрисую-ка я ее». Он дома так разрисовал печь, что все дивились. Нашел ребячьи краски, кисточку и принялся за дело. Через час все было кончено, коляску не узнать. По верху колясочки Чудик пустил журавликов – стайку уголком, по низу – цветочки разные, травку-муравку, пару петушков, цыпляток… Осмотрел коляску со всех сторон – загляденье. Не колясочка, а игрушка. Представил, как будет приятно изумлена сноха, усмехнулся.

– А ты говоришь – деревня. Чудачка. – Он хотел мира со снохой. – Ребенок-то как в корзиночке будет.

Весь день Чудик ходил по городу, глазел на витрины. Купил катер племяннику, хорошенький такой катерок, белый, с лампочкой. «Я его тоже разрисую», – думал.

Часов в шесть Чудик пришел к брату. Взошел на крыльцо и услышал, что брат Дмитрий ругается с женой. Впрочем, ругалась жена, а брат Дмитрий только повторял:

– Да ну что тут!.. Да ладно… Сонь… Ладно уж…

– Чтоб завтра же этого дурака не было здесь! – кричала Софья Ивановна. – Завтра же пусть уезжает.

– Да ладно тебе!.. Сонь…

– Не ладно! Не ладно! Пусть не дожидается – выкину его чемодан к чертовой матери, и все!

Чудик поспешил сойти с крыльца… А дальше не знал, что делать. Опять ему стало больно. Когда его ненавидели, ему было очень больно. И страшно. Казалось: ну, теперь все, зачем же жить? И хотелось уйти подальше от людей, которые ненавидят его или смеются.

– Да почему же я такой есть-то? – горько шептал он, сидя в сарайчике. – Надо бы догадаться: не поймет ведь она, не поймет народного творчества.

Он досидел в сарайчике дотемна. И сердце все болело. Потом пришел брат Дмитрий. Не удивился – как будто знал, что брат Василий давно уж сидит в сарайчике.

– Вот… – сказал он. – Это… опять расшумелась. Коляску-то… не надо бы уж.

– Я думал, ей поглянется. Поеду я, братка.

Брат Дмитрий вздохнул… И ничего не сказал.

Домой Чудик приехал, когда шел рясный парной дождик. Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки, побежал по теплой мокрой земле – в одной руке чемодан, в другой ботинки. Подпрыгивал и громко пел:

Тополя-а, тополя-а…
С одного края небо уже очистилось, голубело, и близко где-то было солнышко. И дождик редел, шлепал крупными каплями в лужи; в них вздувались и лопались пузыри.

В одном месте Чудик поскользнулся, чуть не упал.

…Звали его – Василий Егорыч Князев. Было ему тридцать девять лет от роду. Он работал киномехаником в селе. Обожал сыщиков и собак. В детстве мечтал быть шпионом.

Миль пардон, мадам!
Когда городские приезжают в эти края поохотиться и спрашивают в деревне, кто бы мог походить с ними, показать места, им говорят:

– А вон Бронька Пупков… он у нас мастак по этим делам. С ним не соскучитесь. – И как-то странно улыбаются.

Бронька (Бронислав) Пупков, еще крепкий, ладно скроенный мужик, голубоглазый, улыбчивый, легкий на ногу и на слово. Ему за пятьдесят, он был на фронте, но покалеченная правая рука – отстрелено два пальца – не с фронта: парнем еще был на охоте, захотел пить (зимнее время), начал долбить прикладом лед у берега. Ружье держал за ствол, два пальца закрывали дуло. Затвор берданки был на предохранителе, сорвался – и один палец отлетел напрочь, другой болтался на коже. Бронька сам оторвал его. Оба пальца – указательный и средний – принес и схоронил в огороде. И даже сказал такие слова:

– Дорогие мои пальчики, спите спокойно до светлого утра.

Хотел крест поставить, отец не дал.

Бронька много скандалил на своем веку, дрался, его часто и нешуточно бивали, он отлеживался, вставал и опять носился по деревне на своем оглушительном мотопеде («педике») – зла ни на кого не таил. Легко жил.

Бронька ждал городских охотников, как праздника. И когда они приходили, он был готов – хоть на неделю, хоть на месяц. Места здешние он знал как свои восемь пальцев, охотник был умный и удачливый.

Городские не скупились на водку, иногда давали деньжат, а если не давали, то и так ничего.

– На сколь? – деловито спрашивал Бронька.

– Дня на три.

– Все будет как в аптеке. Отдохнете, успокоите нервы.

Ходили дня по три, по четыре, по неделе. Было хорошо. Городские люди – уважительные, с ними не манило подраться, даже когда выпивали. Он любил рассказывать им всякие охотничьи истории.

В самый последний день, когда справляли отвальную, Бронька приступал к главному своему рассказу.

Этого дня он тоже ждал с великим нетерпением, изо всех сил крепился… И когда он наступал, желанный, с утра сладко ныло под сердцем, и Бронька торжественно молчал.

– Что это с вами? – спрашивали.

– Так, – отвечал он. – Где будем отвальную соображать? На бережку?

– Можно на бережку.

…Ближе к вечеру выбирали уютное местечко на берегу красивой стремительной реки, раскладывали костерок. Пока варилась щерба из чебачков, пропускали по первой, беседовали.

Бронька, опрокинув два алюминиевых стаканчика, закуривал…

– На фронте приходилось бывать? – интересовался он как бы между прочим. Люди старше сорока почти все были на фронте, но он спрашивал и молодых: ему надо было начинать рассказ.

– Это с фронта у вас? – в свою очередь, спрашивали его, имея в виду раненую руку.

– Нет. Я на фронте санитаром был. Да… Дела-делишки… – Бронька долго молчал. – Насчет покушения на Гитлера не слышали?

– Слышали.

– Не про то. Это когда его свои же генералы хотели кокнуть?

– Да.

– Нет. Про другое.

– А какое еще? Разве еще было?

– Было. – Бронька подставлял свой алюминиевый стаканчик под бутылку. – Прошу плеснуть. – Выпивал. – Было, дорогие товарищи, было. Кха! Вот настолько пуля от головы прошла. – Бронька показывал кончик мизинца.

– Когда это было?

– Двадцать пятого июля тыща девятьсот сорок третьего года. – Бронька опять

надолго задумался, точно вспоминал свое собственное, далекое и дорогое.

– А кто стрелял?

Бронька не слышал вопроса, курил, смотрел на огонь.

– Где покушение-то было?

Бронька молчал.

Люди удивленно переглядывались.

– Я стрелял, – вдруг говорил он. Говорил негромко, еще некоторое время смотрел на огонь, потом поднимал глаза… И смотрел, точно хотел сказать: «Удивительно? Мне самому удивительно». И как-то грустно усмехался.

Обычно долго молчали, глядели на Броньку. Он курил, подкидывал палочкой отскочившие угольки в костер… Вот этот-то момент и есть самый жгучий. Точно стакан чистейшего спирта пошел гулять в крови.

– Вы серьезно?

– А как вы думаете? Что, я не знаю, что бывает за искажение истории? Знаю. Знаю, дорогие товарищи.

– Да ну, ерунда какая-то…

– Где стреляли-то? Как?

– Из браунинга. Вот так: нажал пальчиком – и пук! – Бронька смотрел серьезно и грустно – что люди такие недоверчивые. Он же уже не хохмил, не скоморошничал.

Недоверчивые люди терялись.

– А почему об этом никто не знает?

– Пройдет еще сто лет, и тогда много будет покрыто мраком. Поняли? А то вы не знаете… В этом-то вся трагедия, что много героев остаются под сукном.

– Это что-то смахивает на…

– Погоди. Как это было?

Бронька знал, что все равно захотят послушать.

– Разболтаете ведь? Опять замешательство.

– Не разболтаем…

– Честное партийное?

– Да не разболтаем! Рассказывайте.

– Нет, честное партийное? А то у нас в деревне народ знаете какой… Пойдут трепать языком.

– Да все будет в порядке! – Людям уже не терпелось послушать. – Рассказывайте.

– Прошу плеснуть. – Бронька опять подставлял стаканчик.

Он выглядел совершенно трезвым.

– Было это, как я уже сказал, двадцать пятого июля сорок третьего года. Кха! Мы наступали. Когда наступают, санитарам больше работы. Я в тот день приволок в лазарет человек двенадцать– Принес одного тяжелого лейтенанта, положил в палату… А в палате был какой-то генерал. Генерал-майор. Рана у него была небольшая – в ногу задело, выше колена. Ему как раз перевязку делали. Увидел меня тот генерал и говорит: «Погоди-ка, санитар, не уходи». Ну, думаю, куда-нибудь надо ехать,

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru хочет, чтоб я его поддерживал. Жду. С генералами жизнь намного интересней: сразу вся обстановка как на ладони.

Люди внимательно слушают. Постреливает, попыхивает веселый огонек; сумерки крадутся из леса, наползают на воду, но середина реки, самая быстрина, еще блестит, сверкает, точно огромная длинная рыбина несется серединой реки, играя в сумраке серебристым телом своим.

– Ну, перевязали генерала… Доктор ему: «Вам надо полежать!» – «Да пошел ты!» – отвечает генерал. Это мы докторов-то тогда боялись, а генералы-то их не очень. Сели мы с генералом в машину, едем куда-то. Генерал меня расспрашивает: откуда я родом? Где работал? Сколько классов образования? Я подробно все объясняю: родом оттуда-то (я здесь родился), работал, мол, в колхозе, но больше охотничал. «Это хорошо, – говорит генерал. – Стреляешь метко?» Да, говорю, чтоб зря не трепаться: на пятьдесят шагов свечку из винта погашу. А вот насчет классов, мол, не густо: отец сызмальства начал по тайге с собой таскать. Ну ничего, говорит, там высшего образования не потребуется. А вот если, говорит, ты нам погасишь одну зловредную свечку, которая раздула мировой пожар, то Родина тебя не забудет. Тонкий намек на толстые обстоятельства. Поняли?.. Но я пока не догадываюсь.

Приезжаем в большую землянку. Генерал всех выгнал, а сам все меня расспрашивает. За границей, спрашивает, никого родных нету? Откуда, мол! Вековечные сибирские. Мы от казаков происходим, которые тут недалеко Бий-Катунск рубили, крепость. Это еще при царе Петре было. Оттуда мы и пошли, почесть вся деревня…

«Откуда у вас такое имя – Бронислав?»

«Поп с похмелья придумал. Я его, мерина гривастого, разок стукнул за это, когда сопровождал в ГПУ в тридцать третьем году…»

«Где это? Куда сопровождали?»

«А в город. Мы его взяли, а вести некому. Давай, говорят, Бронька, у тебя на него зуб – веди».

«А почему, хорошее ведь имя?»

«К такому имю надо фамилию подходящую. А я – Бронислав Пупков. Как в армии перекличка, так – смех. А вон у нас Ванька Пупков – хоть бы што».

– Да, так что же дальше?

– Дальше, значит, так. Где я остановился?

– Генерал расспрашивает…

– Да. Ну расспросил все, потом говорит: «Партия и правительство поручают' вам, товарищ Пупков, очень ответственное задание. Сюда, на передовую, приехал инкогнито Гитлер. У нас есть шанс хлопнуть его. Мы, говорит, взяли одного гада, который был послан к нам со специальным заданием. Задание-то он выполнил, но сам влопался. А должен был здесь перейти линию фронта и вручить очень важные документы самому Гитлеру. Лично. А Гитлер и вся его шантрапа знают того человека в лицо».

– А при чем тут вы?

– Кто с перебивом, тому – с перевивом. Прошу плеснуть. Кха! Поясняю: я похож на того гада как две капли воды. Ну и начинается житуха, братцы мои! – Бронька предается воспоминаниям с таким сладострастием, с таким затаенным азартом, что слушатели тоже невольно испытывают приятное, исключительное чувство. Улыбаются. Налаживается некий тихий восторг. – Поместили меня в отдельной комнате тут же при госпитале, приставили двух ординарцев… Один – в звании старшины, а я – рядовой. «Ну-ка, говорю, товарищ старшина, подай-ка мне сапоги». Подает. Приказ – ничего не сделаешь, слушается. А меня тем временем готовят. Я прохожу выучку…

– Какую?

– Спецвыучку. Об этом я пока не могу распространяться, подписку давал. По истечении пятьдесят лет – можно. Прошло только… – Бронька шевелил губами – считал. – Прошло двадцать пять. Но это само собой. Житуха продолжается! Утром поднимаюсь – завтрак: на первое, на второе, третье. Ординарец принесет какого-нибудь вшивого портвейного, я его кэк шугану!.. Он несет спирт – его в госпитале навалом. Сам беру разбавляю как хочу, а портвейный – ему. Так проходит неделя. Думаю, сколько же это будет продолжаться? Ну, вызывает наконец генерал: «Как, товарищ Пупков?» Готов, говорю, к выполнению задания! Давай, говорит. С богом, говорит. Ждем тебя оттуда Героем Советского Союза. Только не промахнись! Я говорю: если я промахнусь, я буду последний предатель и враг народа! Или, говорю, лягу рядом с Гитлером, или вы выручите Героя Советского Союза Пупкова Бронислава Ивановича. А дело в том, что намечалось наше грандиозное наступление. Вот так, с флангов, шла пехота, а спереди – мощный лобовой удар танками.

Глаза у Броньки сухо горят, как угольки поблескивают. Он даже алюминиевый стаканчик не подставляет – забыл. Блики огня играют на его суховатом правильном лице – он красив и нервен.

– Не буду говорить вам, дорогие товарищи, как меня перебросили через линию фронта и как я попал в бункер Гитлера. Я попал! – Бронька встает. – Я попал!.. Делаю по ступенькам последний шаг и оказываюсь в большом железобетонном зале. Горит яркий электрический свет, масса генералов… Я быстро ориентируюсь: где Гитлер?

Бронька весь напрягся, голос его рвется, то срывается на свистящий шепот, то неприятно, мучительно взвизгивает. Он говорит неровно, часто останавливается, рвет себя на полуслове, глотает слюну…

– Сердце вот тут… горлом лезет. Где Гитлер?! Я микроскопически изучил его лисиную мордочку и заранее наметил, куда стрелять – в усики. Я делаю рукой: «Хайль Гитлер!» В руке у меня большой пакет, в пакете – браунинг, заряженный разрывными отравленными пулями. Подходит один генерал, тянется к пакету: давай, мол. Я ему вежливо ручкой – миль пардон, мадам, только фюреру. На чистом немецком языке говорю: фьюрэр! – Бронька сглотнул. – И тут… вышел он. Меня как током дернуло… Я вспомнил свою далекую Родину… Мать с отцом… Жены у меня тогда еще не было… – Бронька некоторое время молчит, готов заплакать, завыть, рвануть па груди рубаху… – Знаете, бывает: вся жизнь промелькнет в памяти… С медведем нос к носу – тоже так. Кха!.. Не могу! – Бронька плачет.

– Ну? – тихо просит кто-нибудь.

– Он идет ко мне навстречу. Генералы все вытянулись по стойке «смирно»… Он улыбался. И тут я рванул пакет… Смеешься, гад! Дак получай за наши страдания!.. За наши раны! За кровь советских людей!.. За разрушенные города и села! За слезы наших жен и матерей!.. – Бронька кричит, держит руку, как если бы он стрелял. Всем становится не по себе. – Ты смеялся?! А теперь умойся своей кровью, гад ты ползучий!! – Это уже душераздирающий крик. Потом гробовая тишина… И шепот, торопливый, почти невнятный: – Я стрелил… – Бронька роняет голову на грудь, долго молча плачет, оскалился, скрипит здоровыми зубами, мотает безутешно головой. Поднимает голову – лицо в слезах. И опять тихо, очень тихо, с ужасом говорит: – Я промахнулся.

Все молчат. Состояние Броньки столь сильно действует, удивляет, что говорить что-нибудь – нехорошо.

– Прошу плеснуть, – тихо, требовательно говорит Бронька. Выпивает и уходит к воде. И долго сидит на берегу один, измученный пережитым волнением. Вздыхает, кашляет. Уху отказывается есть.

…Обычно в деревне узнают, что Бронька опять рассказывал про «покушение».

Домой Бронька приходит мрачноватый, готовый выслушивать оскорбления и сам оскорблять. Жена его, некрасивая, толстогубая баба, сразу набрасывается:

– Чего как пес побитый плетешься? Опять!..

– Пошла ты!.. – вяло огрызается Бронька. – Дай пожрать.

– Тебе не пожрать надо, не пожрать, а всю голову проломить безменом! – орет жена. – Ведь от людей уж прохода нет!..

– Значит, сиди дома, не шляйся.

– Нет, я пойду счас!.. Я счас пойду в сельсовет, пусть они тебя, дурака, опять вызовут! Ведь тебя, дурака беспалого, засудют когда-нибудь! За искажение истории…

– Не имеют права: это не печатная работа. Понятно? Дай пожрать.

– Смеются, в глаза смеются, а ему… все божья роса. Харя ты немытая, скот лесной!.. Совесть-то у тебя есть? Или ее всю уж отшибли? Тьфу! – в твои глазыньки бесстыжие! Пупок!..

Бронька наводит на жену строгий злой взгляд. Говорит негромко, с силой:

– Миль пардон, мадам… Счас ведь врежу!.. Жена хлопала дверью, уходила прочь – жаловаться на своего «лесного скота».

Зря она говорила, что Броньке все равно. Нет. Он тяжело переживал, страдал, злился… И дня два пил дома. За водкой в лавочку посылал сынишку-подростка.

– Никого там не слушай, – виновато и зло говорил сыну. – Возьми бутылку и сразу домой.

Его действительно несколько раз вызывали в сельсовет, совестили, грозили принять меры… Трезвый Бронька, не глядя председателю в глаза, говорил сердито, невнятно:

– Да ладно!.. Да брось ты! Ну?.. Подумаешь!..

Потом выпивал в лавочке «банку», маленько сидел на крыльце, чтоб «взяло», вставал, засучивал рукава и объявлял громко:

– Ну, прошу!.. Кто? Если малость изувечу, прошу не обижаться. Миль пардон!..

А стрелок он был правда редкий.

Земляки

Ночью перепал дождь. Погремело вдали… А утро встряхнулось, выгнало из туманов светило; заструилось в трепетной мокрой листве текучее серебро. Туманы, накопившиеся в низинах, нехотя покидали землю, поднимались кверху.

Стариковское дело – спокойно думать о смерти. И тогда-то и открывается человеку вся сокрытая, изумительная, вечная красота Жизни. Кто-то хочет, чтобы человек напоследок с болью насытился ею. И ушел.

И уходят. И тихим медленным звоном, как звенят теплые удила усталых коней, отдают шаги уходящих. Хорошо, мучительно хорошо было жить. Не уходил бы!

Шагал по мокрой дороге седой старик. Шагал покосить травы коровенке. Деревня осталась позади за буграми. Место, куда направлялся он, называлось кучугуры. Это такая огромная всхолмленная долина – предгорье. Выйдешь на следующий бугор – видно всю долину. А долину с трех сторон обступили молчаливые горы. Вольный зеленый край. Здесь издавна были покосы.

На «лбах» и «гривах» травы – коню по брюхо. Внизу – согры, там прохладно, в чащобе пахнет прелым. Там бьют из земли, из ржаной, жирной, светлые студеные ключи. И вкусна та вода! Тянет посидеть там; сумрачно и зябко, и грустно почему-то, и одиноко. Конечно, есть люди, которым не все равно: есть ты или нет… Но ведь… что же? Тут сам не поймешь: зачем дана была эта непосильная красота? Что с ней было делать?.. Ведь чего и жалко-то: прошел мимо – торопился, не глядел.

А выйдешь на свет – и уж жалко своей же грусти, кажется, вот только вошло в душу что-то предрассветно-тихое, нежное; но возрадуешься, понесешь, чтобы и впредь тоже радоваться, и – нет, думы всякие сбивают, забываешь радоваться.

Выше поднималось солнце. Туманы поднялись и рассеялись. Легко парила земля. Испарина не застила свет, она как будто отнимала его от земли и тоже уносила вверх.

Листья на березах в околках пообсохли, но еще берегли умытую молодую нежность — жарко блестели. Огромную тишину утра тонко просвистывали невидимые птицы.

Все теплей становится. Тепло стекает с косогоров в волглые еще долины; земля одуряюще пахнет обилием зеленых своих сил.

Старик прибавил шагу. Но не так, чтобы уже в ходьбе устать. Сил оставалось мало, приходится жалеть.

Он ходил, ездил по этой дороге много — всю жизнь. Знал каждый поворот ее, знал, где приотпустить коня, а где придержать, чтобы и он тоже в охотку с утра не растратился, а потом работал бы вполсилы. Теперь коня не было. Он помнил всех своих коней, какие у него перебывали за жизнь, мог бы рассказать, если бы кому-нибудь захотелось слушать, про характер и привычки каждого. Тихонько болела душа, когда он вспоминал своих коней. Особенно жалко последнего: он не продал его, не обменял, не украли его цыгане — он издох под хозяином.

Было это в тридцать третьем году. Старик (тогда еще не старик, а справный мужик Анисим Квасов, Анисимка, звали его) был уже в колхозе, работал объездным на полях. Случился тогда большой голод. Ели лебеду, варили крапиву, травились зимовалым зерном, которое подметали вениками на токах. Ждали нового урожая; надо было еще прожить лето. Вся надежда на коров: молоком отпаивали опухших детей.

И вот как-то, в покос тоже, пастух деревенский, слабый мужичонка, совсем ослаб, гоняясь за коровами, упал без сознания. Сколько он там пролежал, бог его знает, говорил потом — долго. Коровы тем временем зашли на клевер… Поздно вечером пригнал он их в деревню, раздувшихся, закричал первым встречным: «Спасайте, они клевера обожрались!» Что тут началось!.. Бабы завыли, мужики всполошились, схватили бичи и стали гонять коров по улицам. Беда пришла, стон стоял в деревне. Коровы падали, люди тоже задыхались, тоже падали. У Анисима был конь (когда Анисима определили объездным, ему дали из колхоза бывшего его собственного мерина Мишку); Анисим, видя такое дело, вскочил на Мишку и стал тоже гонять коров. Всю ночь выживали коров. К утру Мишка захрипел под Анисимом и пал на передние ноги. Сколько ни бился Анисим, мерин не вернулся к жизни. Анисим плакал, убивался над конем… Его обвинили во вредительстве, и он сидел месяца полтора в районной каталажке. Потом ничего, обошлось.

Вот наконец и делянка старика: пологая логовинка недалеко от дороги, внизу согра с ключом.

Солнце поднялось в ладонь уже; припоздал.

Наскоро перекусив малосольным огурцом с хлебом, старик отбил литовку, повжикал камешком по жалу.

Нет милее работы — косьбы. И еще: старик любил косить один. Чего только не передумаешь за день!

Сочно, просвистывая, сечет коса; вздрагивает, никнет трава. Впереди шагах в трех подняла голову змея… И потекла в траве, поблескивая гибким омерзительным телом своим. Опять воспоминание: раз, парнишкой еще, ехал он на коне хорошей рысью. Внезапно, почуяв или увидев змею, конь прыгнул вбок. Анисимки как век не было на коне — упал. И прямо задницей на нее, на змею. Неделю потом поносило («гвоздем летело»).

Память все же выталкивает и выталкивает из глубины прожитой жизни светлые, милые сердцу далекие дни. Так в мутной, стоялой воде тихого озера бьют со дна чистые родники. Вот, змеи… Был тогда на деревне дед Куделька. Он говорил ребятишкам, что за каждую убитую змею — сорок грехов долой. А если змею бросить в огонь, то можно увидеть на брюхе ее ножки — много-много. И ребятня азартно снимала с себя грехи. И жгли змей, и правда, когда она прыгала в костре, на брюхе у нее что-то такое мелькало — белое, мелкое и много. Ребятишки орали: «Видишь! Вон они!» Все видели ножки.

До обеда, как трава совсем обсохла, старик косил. Солнце поджигало; на голову точно горячий блин положили.

— Слава богу! — сказал старик, глядя на выкошенную плешину: отхватил изрядно. На душе было радостно.

Он пошел в шалашик, который сделал себе загодя, когда приходил проведать травы. Теперь можно хорошо, не торопясь поесть.

В шалаше теплый резкий дух вялой травы. Звенит где-то крохотная пронзительная мушка; горячую тишину наполняет неутомимый, ровный, сухой стрекот кузнечиков. Да с неба еще льются и скользят серебряные жаворонки-сверлышки.

Хорошо! Господи, как хорошо!.. Редко бывает человеку хорошо, чтобы он знал: вот — хорошо. Это когда нам плохо, мы думаем: «А где-то кому-то хорошо». А когда нам хорошо, мы не думаем: «А где-то кому-то плохо». Хорошо нам, и все.

Старик расстелил на траве стираную тряпочку, разложил огурцы, хлеб, батунок мытый… Пошел к ключу: там в воде стояла бутылка молока, накрепко закупоренная тряпочной пробкой. Склонился к ручью, оперся руками в сырой податливый бережок, долго, без жадности пил. Видел, как по ржавому дну гоняются друг за другом крохотные светлые песчинки.

«Как живые», — подумал старик. С трудом поднялся, взял бутылку и пошел к шалашу. А там, у шалашика, сидит на пеньке старик в шляпе и с палочкой. Покуривает.

— Доброго здоровья, — приветствовал старик в шляпе. — Увидел — человек, присел отдохнуть. Возражений нет?

— Чево ж? — сказал Анисим. — Давай сюда, тут все же маленько не так жарит.

— Жарко, да. — Старик в шляпе вошел тоже в шалашик, сел на траву. — Жарковато.

«В добрых штанах-то… зеленые будут», — подумал Анисим.

— Хошь, садись со мной? — пригласил он.

— Спасибо, я поел недавно. — Старик в шляпе внимательно смотрел на Анисима, так что тому даже не по себе стало. — Косишь?

— Надо. Нездешний, видно?

— Здешний.

Анисим глянул на гостя и ничего не сказал.

— Не похож?

— Пошто? Теперь всякие бывают. — Анисим захрумкал огурцом… И уловил взгляд гостя: тот смотрел на нехитрую крестьянскую снедь на тряпочке. «Хочет, наверно».

— Подсаживайся, — еще раз сказал он.

— Ешь, тебе еще полдня работать. Робить.

— Да хватит тут!

Городской старик снял шляпу, обнаружив блестящую лысину, придвинулся, взял огурец, отломил хлеба.

— У тебя газеты нету? — спросил Анисим.

— Зачем? — удивился гость.

— Иззеленишь штаны-то. Штаны-то добрые.

— А-а… Да шут с ними. Ах, огурцы!..

– Што?

– Объеденье!

– Здешний, говоришь… Откуда?

– Тут, близко…

Не верилось Анисиму, что гость из этих мест – не похоже действительно.

– Сейчас-то я не здесь живу. Родом отсюда.

– А-а. Погостить?

– Побывать надо на родине… Помирать скоро. Ты из какой деревни-то?

– Лебяжье. Вот по этой дороге…

– Один со старухой живешь?

– Ага.

– Дети-то есть?

– Есть. Трое. Да двоих на войне убило.

– Где эти трое-то? В городе?

– Один в городе, Колька. А девахи замужем… Одна в Чебурлаке, за бригадиром колхозным, другая – та подальше. – Не сказал, что другая замужем не за русским. – Была Нинка-то по весне… Ребятишки большие уж.

– А Колька-то в каком городе?

– Да он – и в городе, и не в городе: работа у ево какая-то непутевая, вечно ездит: железо ищут.

– А какой город-то?

– В Ленинграде. Пишет нам, деньги присылает… Так-то хорошо живет. Хочет тоже приехать, да все не выберется. Может, приедет.

Городской старик отпил немного молока, вытер платком губы.

– Спасибо. Хорошо поел.

– Не за што.

– Косить пойдешь?

– Нет, обожду маленько. Пусть свалится маленько.

– Колька-то с какого года? – спросил еще гость.

– С двадцатого. – Тут только Анисим подумал: «А чего это он выспрашивает-то все?» Посмотрел на гостя.

Тот невесело как-то, но и не так чтобы уж совсем печально усмехнулся.

– Вот так, земляк, – сказал.

«Чудной какой-то, – подумал Анисим. – Старый – чудить-то».

– Здоровьем-то как? – все пытал городской.

– Бог милует пока… Голова болит. У нас полдеревни головами маются, молодые даже.

– Из родных-то есть кто-нибудь? Братья, сестры…

– Нет, давно уж…

– Умерли?

– Сестры умерли, брат ишо с той войны не пришел.

– Погиб?

– Знамо. Пошто с войны не приходят?

Городской закурил. Синяя слоистая струйка дыма потянулась к выходу. Здесь, в шалаше, в зеленоватой тени, она была отчетливо видна, а на светлой воле сразу куда-то девалась, хоть ветерка – ни малого дуновения – не было. Звенели кузнечики; посвистывали, шныряя в кустах, птахи; роняли на теплую грудь земли свои нескончаемые трели хохлатые умельцы.

По высокой травинке у входа в шалаш взбиралась вверх божья коровка. Лезла упорно, бесстрашно… Старики загляделись на нее. Коровка долезла до самого верха, покачалась на макушке, расправила крылышки и полетела как-то боком над травами.

– Вот и прожили мы свою жизнь, – негромко сказал городской старик. Анисим вздрогнул: до странного показалась знакомой эта фраза. Не фраза сама, а то, как она была сказана: так говорил отец, когда задумывался, – с еле уловимой усмешкой, с легким удивлением. Дальше он еще сказал бы: «Мать твою так-то». Ласково.

– Не грустно, земляк?

– Грусти не грусти – што толку?

– Што-то должно помогать человеку в такое время?

– У тебя болит, што ль, чего?

– Душа. Немного. Жалко… не нажился, не устал. Не готов, так сказать.

– Хэх!.. Да разве ж когда наживесся? Кому охота в ее, матушку, ложиться.

– Есть же самоубийцы…

– Это хворые. Бывает: надорвется человек, с виду вроде ничего ишо, а снутри не жилец. Пристал.

– И не додумал чего-то… А сам понимаю, глупо: что отпущено было, давно все додумал. – Городской помолчал. – Жалко покоя вот этого… Суетился много. Но место надо уступать. А?

– Надо. Хэх!.. Надо.

– А так бы и пристроился где-нибудь, чтоб и забыли про тебя, и так бы лет двести! А? – Старик засмеялся весело. Что-то опять до беспокойства знакомое проскользнуло в нем – в смехе. – Чтоб так и осталось все. А?

– Надоест, поди.

– Да вот все никак не надоест!

– А ты зараньше не думай про ее – не будешь страшиться. А придет – ну придет… Сколько там похвораешь! В неделю люди сворачиваются.

– Да.

– Ты вот вперед загадываешь, а я беспречь назад оглядываюсь – тоже плохо. Расстройство одно.

– Вспоминаешь?

– Но.

– Это хорошо.

– Хорошо, а все душу тревожишь. Зачем?

– Нет, это хорошо. Что же вспоминается? Детство?

– Больше – детство.

– Расскажи чего-нибудь! Хулиганили?

– Брат у меня был, Гринька, – тот прокуда был. – Анисим улыбнулся, вспомнив. – Откуда чево бралось!.. И на войне-то, наверно, вперед других выскочил…

– Что же он вытворял? – живо заинтересовался городской старик. – Расскажи-ка… Пожалуйста, пока отдыхаешь.

– Хэх!.. – Анисим покачал головой, долго молчал. – Шельма был… Один раз поймал нас у себя в огороде сосед наш, Егор Чалышев, ну, выпорол. За дело, конечно: не пакости. Арбузишки-то зеленые ишо, мы их больше портили, чем ели. Ночью-то не видно: об коленку ево – куснешь, зеленый – в сторону. Да. Выпорол с сердцем. Потом ишо отец добавил. Гриньку злость взяла. И чево придумал: взял пузырь свинячий – свинью тогда как раз резали, – растер ево в золе… Знаешь, как пузыри-то делают?

– Знаю.

– Вот. Высушил, надул, нарисовал на ем морду страшенную… Анисим засмеялся. – Где он такую харю видал?.. Ну, дождались мы ночи, подкрались тихонько к Егору на крыльцо, привязали за веревочку к верхнему косяку пузырь тот… Утром Егор открыл дверь-то – и на улицу выходит, – а ему прям в лицо харя-то эта глянула… Мужик чуть в штаны не наворотил. Захлопнул дверь, да в избу. Да давай в трубу орать: «Караул! У меня черт на крыльце!»

Городской старик громко захохотал. До слез досмеялся…

– Трухнул мужичок. А? Ха-ха!..

– Да, так Егора потом и звали: «Егорка, черт на крыльце».

А раз-мы уж побольше были – на покосе тоже… Миколай Рогодин – хитрый был мужик, охотник до чужого – и говорит вечером: «Гринька, – говорит, – подседлай какого-нибудь коня, хошь моева, дуй в деревню, насшибай кур у кого-нибудь. Курятинки охота». Гринька недолго думая подседлал коня – и в деревню. Через недолго время привозит пяток кур с открученными головами. Мы все радешеньки. Заварили их тут же… Ну и умели в охотку. А Миколай ел да прихваливал: молодец, мол, Гринька! А Гринька ему: «Ешь, дядя Миколай! Ешь, как своих».

Оба старика от души посмеялись. Городской закурил.

– Поматерился же он потом!.. А што сделаешь – сам послал.

– Да… – Городской старик вытер глаза. Задумался.

Долго молчали, думая каждый свое. А жизнь за шалашом все звенела, накалялась, все отрешеннее и непостижимее обнажала свою красу под солнцем.

– Ну, пойду с богом… – сказал Анисим. – Маленько вроде схлынуло.

– Жарко еще…

– Ничево.

– Корову-то обязательно надо держать?

– Как же?

Анисим взял литовку, подернул ее бруском… Поглядел на ряды кошенины — неплохо с утра помахал. А городской старик смотрел на него… Внимательно. Грустно.

— Ну, пойду, — еще раз сказал Анисим.

— Ну, давай, — сказал городской. — Ну и… прощай. — Посмотрел еще раз в самые глаза Анисиму, ничего больше не сказал, пожал крепко руку и скоро пошел в гору, к дороге. Вышел к дороге, оглянулся, постоял и пошел. И опять пропал за поворотом.

Старик косил допоздна.

Потом пошел домой.

Дома старуха с нетерпением — видно было — ждала его.

— К нам какой-то человек приезжал!.. — сказала она, едва старик показался в воротчиках. — На длинной автонобиле. Тебя спрашивал. Где, говорит, старик твой?

Анисим сел на порожек, опустил на землю узелок свой…

— В шляпе? Старый такой…

— В шляпе. В кустюме такой… Как учитель.

Старик долго молчал, глядя в землю, себе под ноги. Теперь-то вот и вспомнилась та странная схожесть, что удивила давеча днем. Теперь-то она и вспомнилась! Только… Неужели же?!

— Не Гринька ли был-то? Ты ничево не заметила?

— Господь с тобой!.. С ума спятил. С тово света, што ли?

С бабой лучше не говорить про всякие догадки души — не поймет. Ей, дуре, пока она молодая, неси не стыдись самые дурацкие слова — верит; старой — скажи попробуй про самую свою нечаянную думу — сам моментально дураком станешь.

— Уехал он?

— Уехал. Этто после обеда пошла…

«Неужто Гринька? Неужто он был?»

Всю ночь старик не сомкнул глаз. Думал. К утру решил: нет, похожий. Мало ли похожих! Да и что бы ему не признаться? Может, душу не хотел зазря бередить? Он смолоду чудной был…

«Неужто Гринька?»

Через неделю старикам пришла телеграмма:

«Квасову Анисиму Степановичу.

Ваш брат Григорий Степанович скончался двенадцатого. Просил передать.

Семья Квасова».
Брат был. Гринька.

Из детских лет Ивана Попова
Первое знакомство с городом
Перед самой войной повез нас отчим в город Б. Это — ближайший от нас, весь почти деревянный, бывший купеческий, ровный и грязный.

Как горько мне было уезжать! Я невзлюбил отчима и, хоть не помнил родного отца, думал: будь он с нами, тятя-то, никуда бы мы не засобирались ехать. Назло отчиму (теперь знаю: это был человек редкого сердца — добрый, любящий… Будучи холостым парнем, он взял маму с двумя детьми), так вот назло отчиму, папке назло — чтобы он разозлился и пришел в отчаяние, — я свернул огромную папиросу, зашел в

уборную и стал «смолить» – курить. Из уборной из всех щелей повалил дым. Папка увидел… Он никогда не бил меня, но всегда грозился, что «вольет». Он распахнул дверь уборной и, подбоченившись, стал молча смотреть на меня. Он был очень красивый человек, смуглый, крепкий, с карими умными глазами… Я бросил папироску и тоже стал смотреть на него.

– Ну? – сказал он.

– Курил… – Хоть бы он ударил меня, хоть бы щелкнул разок по лбу, я бы тут же разорался, схватился бы за голову, испугал бы маму. Может, они бы поругались и, может, мама заявила бы ему, что никуда она не поедет, раз он такой – бьет детей.

– Я вижу, что курил. Дурак ты, дурак, Ванька… Кому хуже-то делаешь? Мне, что ли? Пойду сейчас и скажу матери…

Это не входило в мои планы, и это могло мне выйти боком – мама-то как раз и отстегала бы меня. Я догнал папку…

– Папка, не надо, не ходи!

– Зачем ты куришь, дурачок, с таких лет? Ведь это ж сколько никотину скопится за целую жизнь! Ты только подумай, голова садовая. Скажи, что больше не будешь, – не пойду к матери.

– Не буду. Истинный мой Бог, не буду.

– Ну смотри.

… И вот едем в город – переезжаем. На телеге наше добро, мы с Талей сидим на верхотуре, мама с папкой идут пешком. За телегой, привязанная, идет наша корова Райка.

Таля, маленькая сестра моя, радуется, что мы едем, что нам еще далеко-далеко ехать. Невдомек ей, что мы уезжаем из дома. Вообще-то мне тоже нравится ехать. Вольно кругом, просторно… Степь. В травах стоит несмолкаемая трескотня: тысячи маленьких неутомимых кузнецов бьют и бьют крохотными молоточками в звонкие наковаленки, а сверху, из жаркой синевы, льются витые серебряные ниточки… Наверно, эти-то тоненькие ниточки и куют на своих наковаленках маленькие кузнецы и развешивают сверкающими паутинками по траве. Рано утром, когда встает солнце, на ниточки эти, протянутые от травинки к травинке, кто-то нанизывает изумрудный бисер – зеленое платье степи блестит тогда дорогими нарядами.

Мы останавливаемся покормиться.

Папка выпрягает коня, пускает его по бережку. Райка тоже пошла с удовольствием хрумтеть сочным разнотравьем. Мы раскладываем костерок – варить пшенную кашу. Хорошо! Я даже забываю, что мы уезжаем из дома. Папка напоминает:

– Вот здесь наша река последний раз к дороге подходит. Дальше она на запад поворачивает.

Мы все некоторое время молча смотрим на родимую реку. Я вырос на ней, привык слышать днем и ночью ее ровный, глуховатый, мощный шум… Теперь не сидеть мне на ее берегах с удочкой, не бывать на островах, где покойно и прохладно, где кусты ломятся от всякой ягоды: смородины, малины, ежевики, черемухи, облепихи, боярки, калины… Не заводиться с превеликим трудом – так, что ноги в кровь и штаны на кустах оставишь – бечевой далеко вверх и никогда, может быть, не испытать теперь величайшее блаженство – обратный путь домой. Как нравилось мне, каким взрослым, несколько удрученным заботами о семье мужиком я себя чувствовал, когда собирались вверх «с ночевой». Надо было не забыть спички, соль, ножик, топор… В носу лодки свалены сети, невод, фуфайки. Есть хлеб, картошка, котелок. Есть ружье и тугой, тяжелый патронташ.

– Ну все?

– Все вроде…

– Давайте, а то поздно уже. Надо еще с ночевкой устроиться. Берись!

Самый хитрый из нас, владелец ружья или лодки, отправляется на корму, остальные, человека два-три, – в бечеву. Впрочем, мне и нравилось больше в бечеве, правда, там горсть смородины на ходу слупишь, там второпях к воде припадешь горячими губами, там надо вброд через протоку – по пояс… Да еще сорвешься с осклизлого валуна да с головой ухнешь… Хорошо именно то, что все это на ходу, не нарочно, не для удовольствия. А главное, ты, а не тот, на корме, основное-то дело делаешь…

Эх, папка, папка! А вдруг да у него не так все хорошо пойдет в городе? Ведь едем-то мы – попробовать. Еще неизвестно, где он там работу найдет, какую работу? У него ни грамоты большой, ни специальности. И вот надо же – поперся в город и еще с собой трех человек потащил. А сам ничего не знает, как там будет. Съездил только, договорился с квартирой, и все. И мама тоже… Куда согласилась? Последнее время, я слышал, все шептались по ночам: она вроде не соглашалась. Но ей хотелось выучиться на портниху, а в городе есть курсы… Вот этими курсами-то он ее и донял. Согласилась. Попробуем, говорит. Ничего, говорит, продавать не будем, лишнее, что не надо, рассуем для хранения по родным и поедем, попробуем. А папке страсть как охота куда-нибудь на фабрику или в мастерскую какую – хочется ему стать рабочим, и все тут. Ну, вот и едем.

… Приехали в город затемно. Я не видел его. Папка чудом находил дорогу: сворачивали в темные переулки, громыхали колесами по булыжнику улиц… Раза два он только спрашивал у встречных, встречные объясняли что-то на тарабарском языке: надо еще до конца Осоавиахимовской, потом свернуть к Казармам, потом будет Дегтярный… Папка возвращался к нам и говорил, что все правильно – верно едем. Мы с Талей и мама притихли. Только папка один храбрился, громко говорил… Наверно, чтоб подбодрить нас.

По бокам темных улиц и переулков стояли за заборами большие дома. В окнах яркий свет.

– Господи, да когда же приедем-то? – не выдержала мама. Это же самое удивляло и меня: казалось, что мы, пока едем по городу, проехали пять таких деревень, как наша. Вот он, город-то!

– Скоро, скоро, – бодрится папка. – Еще свернем на одну улицу, потом в переулок – и дома.

Дома!.. Смелый он человек, папка. Я его уважаю. Но затею его с городом все-таки не могу принять. Страшно здесь, все чужое, можно легко заблудиться.

Не заблудились. Подъехали к большому дому, папка остановил коня.

– Здесь. Счас скажу, что приехали…

– Скорей там, – велит мама.

– Да скоро! Скажу только…

В переулке темно. Я чувствую, мама боится, и сам тоже начинаю бояться. Одной Тале – хоть бы хны.

– Мам, мы тут жить станем?

– Тут, доченька… Заехали!

– Уговори ты его назад, домой, – советую я.

– Да теперь уж… Вот дура-то я, дура!

Папки, как на грех, долго нету. В доме горит свет, но забор высокий, ничего в окнах не видать.

Наконец появился папка… С ним какой-то мужик.

– Здравствуйте, – не очень приветливо говорит мужик. – Заезжай, я покажу, куда ставить. Барахла-то много?

– Откуда!.. Одежонка кой-какая да постелишка.

– Ну, заезжайте.

Пока перетаскивают наши манатки, мы сидим с Талей в большой, ярко освещенной комнате на сундуке в углу. В комнату вошел долговязый парнишка… с самолетом. Я прирос к сундуку.

– Хочешь подержать? – спросил парнишка.

Самолет был легкий, как пушинка, с тонкими размашистыми крыльями, с винтиком впереди… Таля тоже потянулась к самолету, но долговязый не дал.

– Ты изломаешь.

Таля захныкала и все тянулась к самолету – тоже подержать. Долговязый был неумолим. И во мне вдруг пробудилось чудовищное подхалимство, и я сказал строго:

– Ну чего ты? Изломаешь, тогда что?! – Мне хотелось еще разок подержать самолет, а чтоб долговязый дал, надо, чтоб Таля не тянулась и нечаянно не выхватила бы его у меня.

Тут вошли взрослые. Отец долговязого сказал сыну:

– Иди спать, Славка, не путайся под ногами.

Когда остались мы одни, я вдруг обнаружил, что свет-то – с потолка!.. Под потолком висела на шнуре стеклянная лампочка, похожая на огурец, а внутри лампочки – светлая паутинка. Я даже вскрикнул:

– Гляньте-ка!..

– Ну что? Электричество. Ты, Ванька, поменьше теперь ори – не дома.

Тут вступилась мама:

– Парнишке теперь и слова нельзя сказать?

– Да говори он сколько влезет – потихоньку. Чего заполошничать-то.

Они еще поговорили в таком духе – частенько так разговаривали.

– Завез, да еще недовольный…

– Ну и давай теперь на каждом шагу: «Гляди-ка! Смотри-ка!» Смеяться ведь начнут.

– Ну и не одергивай каждый раз парнишку!

– Погоди, сядет он тебе на шею, если так будешь…

А как, интересно? Самого отец чуть не до смерти зашиб на покосе за то, что он, мальчишкой, побоялся распутать и обратать шкодливую кобылу – лягалась… Сам же нет-нет да вспомнит про это и обижается на своего отца. Его тогда, маленького-то, насилу откачала мать, бабушка наша неродная. А на шею я никому не сяду, не надо этого бояться.

Мы легли спать.

Долго мне не спалось. Худо было на душе. За стеной громко, с присвистом храпел хозяин, чуждо гудели под окнами провода, проходили по улице – группами – молодые парни и девки, громко разговаривали, смеялись. Почему-то вспомнилось, как родной наш дедушка, когда выпьет медовухи, всякий раз спрашивает меня:

– Ванька, какое самое длинное слово на свете?

Я давно знаю, какое, а чтоб еще раз услышать, как он выговаривает это слово, хитрю:

– Не знаю, деда.

– А-а!.. – И начинает: – Интре… интренацал… – И потом только одолевает: – Ин-тер-на-ци-о-нал! Мы покатываемся со смеху – мама, я и Таля.

– Эх вы!.. Смешно? – обижается дедушка. – Ну, валяйте, смейтесь.

Можно бы сейчас написать, что в ту ночь мне снились большие дома, самолет, лампочка… Можно бы написать, но не помню, снилось ли. Может, снилось.

Утром я проснулся оттого, что прямо под окном громко сморкался хозяин и приговаривал:

– Ты гляди што!.. Прямо круги в глазах.

Мамы и папки не было. Таля спала. Я стал думать: как теперь пойдет жизнь? Дружков не будет – они, говорят, все тут хулиганистые, еще надают одному-то. Речки тоже нету. Она есть, сказывал папка, но будет далеко от нас. Лес, говорит, рядом, там, говорит, корову будем пасти. Но лес не нашенский, не острова – бор, – это страшновато. Да и что там, в бору-то? – грузди только.

Тут вдруг в хозяйской половине забегали, закричали… Я понял из криков, что Славка засадил в ухо горошину. Всем семейством они побежали в больницу. Я встал и пошел в их комнату – посмотреть, какие в городе печки. Говорили, какие-то чудные. Открыл дверь… и не печку увидел, а аккуратную белую булочку на столе. Потом я узнал, что их зовут – сайки. Никого в комнате не было. Я подошел к столу взял сайку и пошел к Тале. Она как раз проснулась.

– Ой! – сказала она. – Дай-ка мне.

– Всю, что ли?

– Да зачем?.. Смеряй ниточкой да отломи половинку. Это мама купила?

– Дали. Славка дал.

Разломили саечку и стали есть, сидя на кровати. Никогда не ел такого вкусного хлеба. До чего же душистый, мягкий, чуть солоноватый, даже есть жалко; я все поглядывал, сколько осталось. Мы не услышали, как открылась дверь… Услышали:

– Уже пакостить начали? – С порога на нас глядела хозяйка. У меня все оборвалось внутри.

– Зачем ты взял сайку?

И – вот истинный Бог, не вру – я сказал:

– Я думал, она чужая.

– Чужая… Нехорошо так делать. Это – воровство называется. Я вот скажу отцу с матерью…

Что-то я вконец растерялся… Вдруг спросил:

– Горошину-то вытащили?

– О какой! – удивилась хозяйка. – Хитрит еще. – И ушла.

Мне стало совсем невмоготу.

– Пойдем домой? – предложил я Тале.

– Счас, давай только доедим, – легко согласилась она. Она твердо помнила наказ мамы: не есть на ходу, а – сядь, съешь, чего у тебя там есть, тогда уж ходи или бегай.

Я увидел в окно, что хозяйка пошла в сарай, и заторопил Талю. Она было

заупрямилась, но все же пошла.

Я помнил, что мы к воротам подъехали слева, если стоять к ним лицом, значит, теперь надо – вправо. Пошли вправо. Дошли до перекрестка… Я не знал, как дальше. Спросил какого-то дяденьку:

– Как бы нам до Ч-ского тракта дойти?

– А зачем? – спросил дяденька.

– Нам мама сказала туда идти. Она нас там поджидает. – Раньше всего другого, что значительно облегчает эту жизнь, я научился врать. И когда врал и мне не верили, я чуть не плакал от обиды. Дяденька внимательно посмотрел на меня, на Талю… И показал:

– Вот так прямо – до перекрестка, потом улица налево пойдет – по ней, а там, как дойдешь до водонапорной башни, большая такая, там спроси снова.

От водонапорной башни дорогу дальше показала тетенька и даже прошла с нами немного.

Долго ли, коротко ли мы шли, а к Ч-скому тракту вышли. Там мы сели на взгорок и стали ждать, кто бы нас подвез до нашей деревни. Там, на взгорке, к вечеру уже, нашли нас мама с папкой. Таля плакала – хотела есть, мной потихоньку овладевало отчаяние…

– Таленька!.. Доченька ты моя-а!..

Я думал, мне крепко влетит. Нет, ничего.

Скоро началась война. Мы вернулись в деревню…

Папку взяли на войну.

В 1942 году его убили.

Гоголь и Райка
В войну, с самого ее начала, больше всего стали терзать нас, ребятишек, две беды: голод и холод. Обе сразу наваливались, как подступала бесконечная наша сибирская зима со своими буранами и злыми морозами. Летом – другое дело. Летом пошел поставил на ночь перемета три-четыре, глядишь, утром – пара налимов есть. (До сего времени сладостно вздрагивает сердце, как вспомнишь живой, трепетный дерг бечевы в руках, чириканье ее по воде, когда он начинает там «водить».) Или пошел назорил в околках сорочьих яиц, испек в золе – сыт. Да мало ли! Будь попроворней да имей башку на плечах – можно и самому прокормиться, и домой принести. Но зима!.. Будь она трижды проклята, эта зимушка-зима!.. И воет и воет над крышей, хлопает плахами… Все тепло, какое было с утра в избе, все к вечеру высвистит, сколько ни наваливай на порог, под дверь, тряпья, как ни старайся утеплить окна. Или наладятся такие морозы, что в сенцах трескотня стоит и, кажется, вот-вот, еще маленько поддаст, и полопаются стекла в окнах. Выскочишь на минуту в ограду, в пригон – тебя точно в сугроб голенького, и рот ледяной ладошкой запечатают. А в притоне – корова… Вот горе-то: сена в обрез, ей жевать и жевать в такую стужу, а где возьмешь, зиме еще конца не видно. Сделаешь свое малое дело и пулей опять в избу – от холода жгучего, в нестерпимой боли за корову: чтоб уж хоть не видеть ее, понурую, всю в инее, с печальными глазами. И в избе нет покоя: тут – худо-бедно – согреешься, а она там стоит… И только на ночь дадим ей охапку сена, и все. И так и видишь все время бесконечно печальные коровьи глаза – прямо в душу глядят. Она ведь кормилица. Она по весне принесет молоко и теленка – это такая суматошная радость в эти дни, когда наша Райка (корова) вот-вот отелится. Тут весна, теплеет уже, а тут скоро заскользит по полу нежными копытцами, может, Бог даст, телочка. (Мы в прошлом году сдали телочку в колхоз. Нам дали муки, много жмыха и чайник меда. Долго, конечно, такого праздника ждать – лето, зиму и еще лето, но тем он и дороже, праздник-то. Да и есть, что ждать.) В такие дни, весной, у нас в избе идет такой тарарам, что душа заходится от ликующего, делового чувства. Я то и дело выскакиваю смотреть Райку, щупаю ее теплое брюхо, хоть ни шиша не смыслю в этом. Таля тоже бегает со мной, тоже щупает Райкино брюхо… Райка, повернув голову, смотрит на нас дымчато-влажными глазами, нежными глазами – она тоже ждет теленка, она, наверно,

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru понимает наше суетливое беспокойство.

– Вань, скоро?

– Ночью, наверно, опростается.

Всю ночь у нас горит свет; мама ходит к Райке, тоже щупает ее брюхо…

Приходит и говорит:

– Прямо близко уже… Слышно: толкается ногами-то, толкается, а все никак. Уж не беда ли с ней? Матушка – царица небесная, не допусти до смерти голодной. Куда мы тогда денемся?

Тревожная, страшная ночь.

И рано поутру наш дедушка смотрит Райку и говорит нам всем:

– Чего заполошничаете-то? Сегодня к ночи только… Детей пужаешь, дуреха! – Это он на маму, потому что к утру мы с Талей бываем зареваннными. Сколько счастья приносил нам дедушка!

А теперь – еще зима. Я на стенке начертил в ряд несколько палочек, сколько осталось дней до марта. Вычеркиваю вечерами по одной, но их еще так много!

Но бывала у меня одна радость – неповторимая, большая – и зимой: в долгие зимние вечера я читал на печке маме и Тале книги.

С книгами у меня целая история. Я каким-то образом научился читать до школы: учил меня дядя Павел (тот сам читать страсть как любил и даже пытался сочинять стихи и, говорит, когда он был на войне, то некоторые его стихи печатали во фронтовой газете. Наверно, неправду говорит, он прихвастнуть любит: когда мне теперь попалась тетрадка его стихов, они поразили меня своей бестолковщиной)… Словом, как только я еще и в школе поднаторел и стал читать достаточно хорошо, я впился в книги. Я их читал без разбора, подряд, какие давала библиотекарша. Она удивлялась и не верила:

– Уже прочитал?

– Прочитал.

– Неправда. Надо, мальчик, до конца читать, если берешь книга. Вот возьми и дочитай.

Что с ней было делать? Брал книжку обратно, терпел дня два и шел опять. Потом я наловчился воровать книги из школьного книжного шкафа. Он стоял в коридоре, шкаф, и когда летом школу ремонтировали, в коридор – вечерком, попозже – можно было легко проникнуть. Дальше – еще легче: шкаф двустворчатый, два колечка на краях створок, замок с дужкой… Приоткроешь створки – щель достаточна, чтоб пролезла рука: выбирай любую! Грех говорить, я это делал с восторгом. Я потом приворовывал еще кое-что по мелочи, в чужие огороды лазил, но никогда такого упоения, такой зудящей страсти не испытывал, как с этими книгами.

Маме нравилось, что я много читаю. Но вот выяснилось, что учусь я в школе на редкость плохо. Это пришла и рассказала учительница. Они с мамой тут же установили причину такого страшного отставания – книги. (Парень-то я был не такой уж совсем дремучий.) А тут еще какая-то дура сказала маме, что нельзя, чтобы парнишка так много читал, что бывает – зачитываются. Мама начала немилосердно бороться с моими книгами. Из библиотеки меня выписали, дружкам моим запретили давать мне книги, которые они берут на свое имя. Они, конечно, давали. Мама выследила меня дома, книжки отняла, меня выпорола… Я стал потихоньку снимать, с чердака книги, украденные раньше в школьном шкафу. (Эта лавочка со школьными книгами к тому времени для меня кончилась: обнаружили пропажу, переделали запор. В краже книг обвинили плотников: зачем они на свои самокрутки достают и дерут книги, которые так нужны школе. Для этого есть старые газеты. Плотники клялись, что они ни сном ни духом не ведают, куда девались книги – они не брали.) Я снимал книги с чердака и перечитывал уже читанное. Я делал это так: вкладывал книгу в обложку задачника и спокойно читал. Мама видела, что у меня в

руках задачник, и оставляла меня в покое и еще радовалась, наверно, что я сел наконец за уроки. Подумай она нечаянно, что нельзя же так подолгу, с таким упоением читать задачник – подумай она так, мне опять была бы выволочка.

На мое счастье, об этой возне с книгами узнала одна молодая учительница из эвакуированных ленинградцев (к стыду своему, забыл теперь ее имя), пришла к нам домой и стала беседовать со мной и с мамой. (Наши женщины, все жители села очень уважали ленинградцев.) Ленинградская учительница узнала, как я читаю, и разъяснила, что это действительно вредно. А главное, совершенно без всякой пользы: я почти ничего не помнил из прочитанной уймы книг, а значит, зря угробил время и отстал в школе. Но она убедила и маму, что читать надо, но с толком. Сказала, что она нам поможет: составит список, и я по этому списку стану брать книги в библиотеке. (Читал я действительно черт знает что: вплоть до трудов академика Лысенко – это из ворованных. Обожал также брошюры – нравилось, что они такие тоненькие, опрятные, отчесал за один присест и в сторону ее.) С тех пор стал я читать хорошие книжки. Реже, правда, но всегда это был истинный праздник. А тут еще мама, а вслед за ней и Таля тоже проявили интерес к книгам. Мы залезали вечером все трое на обширную печь и брали туда с собой лампу. И я начинал… Господи, какое жгучее наслаждение я испытывал! Точно я прожил большую-большую жизнь, как старик, и сел рассказывать разные истории моим родным, крайне заинтересованным благородным людям. Точно не книгу я держу поближе к лампе, а сам все это знаю. Когда мама удивлялась: «Ах ты, Господи! Гляди-ка! Вот ведь что на свете бывает!» – я чуть не стонал от счастья и торопливо и несколько раздраженно говорил: «Да ты погоди, ты послушай, что дальше будет!» – А что дальше, Вань? – вылетала со своим языком курносая Таля. Я шипел на нее, обзывая «дурой», мама строго говорила, что так не надо.

– А чего она!..

– Ну раз мы не понимаем, мы и спрашиваем. А ты не сердись, а рассказывай – ты же знаешь. Тебя разве учительница обзывает дураком?

– Дак можно же сообразить, что я еще сам пока не знаю, что будет дальше!

– Она маленькая. Читай-ка дальше.

Ах, какие это были праздники! (Я тут частенько восклицаю: счастье, радость! праздники!.. Но это – правда, так было. Может, оттого, что – детство. А еще, я теперь догадываюсь, что в трудную, горькую пору нашей жизни радость – пусть малая, редкая – переживается острее, чище.) Это были праздники, которые я берегу – они сами сберегаются – всю жизнь потом. Лучшего пока не было.

Вот что только омрачало праздники: мама, а вслед за ней Галя скоро засыпали. Только разохотишься, только наладишься читать всю ночь, глядь, уж мама украдкой зевает. А вслед за ней и ее копия тоже ладошечкой рот прикрывает – подражает маме. Я чуть не со слезами смотрю на них.

– Читай, читай! Что, уж зевнуть нельзя?

– Да ведь поснете сейчас!

– Не поснем. Читай знай.

Но я знаю – поснут. Читаю дальше… Мама борется со сном, глаза ее закрываются, она слабеет. Эх!.. Еще минута-две, и мои слушательницы крепко спят. Сижу, горько обиженный… Невдомек было дураку: мама наработалась за целый день, намерзлась. А этой, маленькой, ей эти мои книжки – до фонаря: она хочет быть похожей на маму, и все. Пробую читать один – не то. Да и в сон тоже начинает клонить… И еще одно, что тревожило праздники: мысль о Райке. Вот она скоро доест, свою охапку сена и будет стоять мерзнуть до утра. От этой мысли самому холодно и горько, и совестно становится на теплых кирпичах. И маму тоже больно тревожила эта же мысль, и она нет-нет да вздохнет, когда я читаю.

Я знаю, о чем она. Но что делать, что делать! Где его возьмешь, сена?

В один такой вечер мы читали «Вия». Я, сам замирая от страха, читал:

– «Он дико взглянул и протер глаза. Но она, точно, уже не лежит, а сидит в своем

гробу. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил их на гроб. Она встала… идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь.

Она идет прямо к нему…» Первой не выдержала мама.

– Хватит, сынок, не надо больше. Завтра дочитаем.

– Давай, мам…

– Не надо, ну их… Вот завтра дедушку позовем ночевать, и ты нам опять ее всю прочитаешь. Как заглавие-то?

– Гоголь. Но тут разные, а эта – «Вий».

– Господи, Господи… Не надо больше.

Мы долго лежали со светом. Таля уже спала, а мы с мамой не могли заснуть. По правде говоря, я бы и сам не смог читать дальше. Вот так книга! Учительница отметила на листочке, какие читать в сборнике, а эту не отметила. А я почему-то (запретный плод, что ли?) начал именно с «Вия». И вот, пожалуйста: сразу непостижимый, душу сосущий, захватывающий ужас. И сил нет оторваться, и жутко. Хоть бы завтра дедушка не хворал, хоть бы он пришел, курил бы, лежал на лавке, накрывшись тулупом (он не мог спать на кровати под одеялом), хоть бы он… Мы бы… я бы снова стал читать этого «Вия» и дочитал бы до конца.

– Ты не бойся, сынок, спи. Книжка она и есть книжка, выдумано все. Кто он такой, Вий?

– Главный черт. Я давеча в школе маленько с конца урвал.

– Да нету никаких Виев! Выдумывают, окаянные, – ребятишек пужать. Я никогда не слыхала ни про какого Вия. А то у нас старики не знали бы!..

– Так это же давно было! Может, он помер давно.

– Все равно старики все знают. Они от своих отцов слыхали, от дедушек… Тебе же дедушка рассказывает разные истории? – рассказывает. Так и ты будешь своим детишкам, а потом, может, внукам…

Мне смешно от такой необычайной мысли. Мама тоже смеется.

– Вот чего, – говорит она, – побудьте маленько одни, я схожу сено подберу. Давеча везла да в переулке у старухи Сосниной сбросила навильник. Она подымается рано – увидит, подберет. А жалко – добрый навильник-то. Посидишь, ничего?

– Посижу, конечно.

– Посиди, я скоренько. Огонь не гаси. С печки не слазь.

Мама торопливо собралась, еще сказала, чтоб я никого не боялся, и ушла. Я стал думать, что я опять не отдал должок (семнадцать бабок) Кольке Быстрову – чтоб не думать про Вия. Тоже невеселая дума (неделю уже не могу отдать), но уж лучше про это, чем… Но мысли мои упрямо возвращаются к Вию; возникает неодолимое желание посмотреть вниз, в темный угол. Я начинаю отчаянно бороться с этим желанием, отвернулся к Тале, внушаю себе знакомое: на печке никакая нечистая сила не страшна, на печку они не могут залезть, им не дано, они могут сколько им влезет звать, беситься, стращать внизу, но на печку не полезут, это проверено. Покрутятся до первых петухов и исчезнут. Лежу и стараюсь повеселей думать об этом. Но точно кто за волосы тянет – затылок сводит от желания посмотреть вниз, в угол. Сил моих нет бороться. И уж думаю: ну, загляну! Пусть они попробуют на печку залезть. Пусть они только попробуют… И тут я слышу в сенях торопливые шаги. Я цепенею от ужаса… Кто там? Мама еще до старухи Сосниной не дошла… Вот уж за скобку взялись… Я дернул одеяло на себя, укрылся с головой – чтоб только не видеть… Господи, Господи!.. Учиться хорошо буду, маму слушаться… Дверь открылась, и я слышу мамин голос, потревоженный скорой ходьбой:

– Спишь, сынок?

С сердца схлынул мглистый, цепкий холодок жути.

– Ты, мам? Ты чего скоро-то?

– Да я подумала: чего же я одна-то пошла, мне же одной-то не донести – навильник-то добрый… Пойдем-ка возьмем веревки, навяжем две вязанки да принесем. Жалко бросать-то. Таля-то спит?

Я мигом слетаю с печки.

– Спит. Я счас… Она сроду не проснется!

И вот мы идем темной улицей близко друг к другу… Молчим. Поспешаем. Я считаю, сколько еще домов осталось до старухи Сосниной. Пять. Вот – переулочек. Тут – четыре избы и длинный огород этой самой старухи.

– Сено-то доброе! Прямо пух… Жалко оставлять-то. Давечь никого в переулке-то не было, я и сбросила с воза. Чего им, колхозным-то? Им-то до весны с лишком хватит…

– Если хороший навильник – раза на три хватит дать.

– Там на четыре хватит. Я ишо там, когда накладывались, подумала: может, запоздаем в деревню-то – стемнеет, поедем переулком, я и сброшу. Да и положила поверх бастырка здоро-о-вый навильник.

– А если б в переулке кто-нибудь бы оказался?

– Ну, тогда что ж… отвезла бы в бригаду. Тут уж ничего не сделаешь.

– Ух, она же и поест у нас сейчас! Свеженького-то… Сразу согреется. Сразу ей дадим?

– Знамо, сразу! Дармовое…

Ну вот она, старухина изба. У нее там – между избой и баней – есть такой закоулок… Летом там крапива растет в рост человеческий, а зимой сохлые стеблины торчат из снега, чернеют – вечером и то никакого сена не разглядишь, не то что ночью.

Мы скоро навязываем две большие вязанки… Сено пахучее, шуршит в руках, колется. Так и вижу нашу Райку – как она уткнет свою морду в это добро.

Идем назад. И тут – черт ее вынес, проклятую, – собака Чуевых: подбежала, невидная, неслышная, да как гавкнет. Я подскочил, но вязанки не выронил… А мама выронила свою и села на нее. Едва оправилась от страха, пошли. Мама ругается:

– Вот гадина!.. У меня чуть разрыв сердца не случился. Ты-то как, сынок?

– Да ничего. Ноги маленько ослабли сперва, а сейчас ничего.

Некоторое время еще идем.

– Может, подбежим, сынок? Оно скорей дело-то будет. А то Таля бы там не проснулась…

– Давай.

И вот мы трусим по улице. Мне смешно, как вязка – точно большой темный горб – подскакивает на маминой спине.

Райка мыкнула, услышав нас… Я распустил свою вязанку и бухнул ей в ноги большую охапку. Райка мотнула головой и захрумтела вкуснейшим сенцом.

– Ешь, милая, ешь, – говорит мама. – Ешь, родимая. – И чего-то всплакнула и тут же вытерла слезы и сказала: – Ну, пошли, Вань, а то Талюха там… Дело сделали!

Таля спит! Даже не пошевельнулась, пока мы шумно и весело раздевались и залезали на печку.

«Здорово, Вий!» – сказал я про себя и посмотрел вниз, в дальний темный угол.

Весны-то мы кое-как дождались, а вот Райки у нас не стало… У меня и теперь не хватает духу рассказать все подробно. У нас уж в избе раскорячился теленочек – телочка! – цедил на соломенную подстилку тоненькую бесконечную струйку Мы ели картошку и запивали молочком.

Сена, конечно, не хватило. А уж вот-вот две недели – и выгонять пастись. Только бы эти две недели как-нибудь… Мама выпрашивала у кого-нибудь по малой вязанке, но чего там! Райке теперь много надо: у ней теперь молоко. И мы ее выпускали за ворота, чтобы она подбирала по улице: может, где клочок старого вытает или повезут возы на колхозную ферму и оставят на плетнях… Иногда оставляют на кольях по доброй горсти. Так она у нас и ходила. А где-то, видно, забрела в чужой двор, пристроилась к стожку… Стожки еще у многих стояли: у кого мужики в доме, или кто по блату достал воз, или кто купил, или… Бог их там знает. Поздно вечером Райка пришла к воротам, а у ней кишки из брюха висят, тащатся за ней: прокололи вилами.

Вот… Значит, надо ждать телочку, пока она вырастет. Назвали ее тоже Рая.

Жатва
Год, наверное, 1942-й. (Мне, стало быть, 13 лет.) Лето, страда. Жара несусветная. И нет никакой возможности спрятаться куда-нибудь от этой жары. Рубаха на спине накалилась и, повернешься, обжигает.

Мы жнем с Сашкой Кречетовым. Сашка старше, ему лет 15–16, он сидит «на машине» – на жнейке (у нас говорили – жатка). Я – гусевым. Гусевым – это вот что: в жнейку впрягалась тройка, пара коней по бокам дышла (водила или водилины), а один, на длинной постромке, впереди, и на нем-то в седле сидел обычно парнишка моих лет, направляя пару тягловых – и, стало быть, машину – точно по срезу жнивья.

Оглушительно, с лязгом, звонко стрекочет машина, машет добела отполированными крыльями (когда смотришь на жнейку издали, кажется, кто-то заблудился в высокой ржи и зовет руками к себе); сзади стоячей полосой остается висеть золотисто-серая пыль. Едешь, и на тебя все время наплывает сухой, горячий запах спелого зерна, соломы, нагретой травы и пыли – прошлый след, хоть давешняя золотистая полоса и осела, и сзади поднимается и остается неподвижно висеть новая.

Жара жарой, но еще смертельно хочется спать: встали чуть свет, а время к обеду. Я то и дело засыпаю в седле, и тогда не приученный к этой работе мерин сворачивает в хлеб – сбивает стеблями ржи паутов с ног. Сашка орет:

– Ванька, огрею!

Бичина у него длинный – может достать. Я потихоньку матерюсь, выравниваю коня… Но сон, чудовищный, желанный сон опять гнет меня к конской гриве, и сил моих не хватает бороться с ним.

– Ванька!.. – Сашка тоже матерится. – Я сам с сиденья валюсь! У меня у самого счас кровоизлияние мозга будет! Потерпи!

– Давай хоть пять минут поспим?! – предлагаю я.

– Еще три круга – и выпрягаем.

Три огромных круга!.. А машина стрекочет и стрекочет, и размерно шагает конь, и дергает повод, и фыркает, и на голову точно масленый блин положили, и горячее масло струйками стекает под рубаху, в штаны… Там, где сидишь в седле, мокро, все остальное раскалилось, тлеет.

– А, Сань?! А то упаду под жатку, вот увидишь!

Сашку допекло тоже; он еще немного хорохорится, поет песни, потом натягивает

вожжи.

— Тр-р! Пять минут, Ванька! А то застукают.

Господи, да больше и не надо! Это и так вечность. Падаю с коня, на карачках отползаю подальше в рожь — на тот случай, если кони сами тронут, то чтоб не переехало машиной — успеваю еще подумать про это… Потом горячая, пахучая земля приникла к лицу, прижалась; в ушах еще звон жнейки, но он скоро слабеет, над головой тихо прошуршали литые, медные колоски — и все. Мир звуков сомкнулся, я отбыл в мягкую, зыбучую тишину. Еще некоторое время все тело вроде слегка покачивается, как в седле, приятно гудит кровь, потом я бестелесно куда-то плыву и испытываю блаженство. Странно, я чувствую, как я сплю — сознательно, сладко сплю. Земля стремительно мчит меня на своей груди, а я — сплю, я знал это. Никогда больше в своей жизни я так не спал — так вот — целиком, вволю, через край.

Сколько мы спали, не знаю, только проснулся я вдруг, с ощущением близкой опасности; сразу как-то, как от толчка, всплыл из глубины небытия на поверхность… Кто-то кричал… Я вскочил. Нас все же застукали: сам председатель колхоза Иван Алексеич бегал по стерне за Сашкой, но так как одна нога у председателя деревянная, то догнать Сашку, конечно, он не мог, и только издали грозил плетью и ругался. Увидев меня, председатель кинулся было за мной, но я так дернул с места, что он сразу остановился.

— Контры! Вы мне ответите!.. Садитесь жать счас же!

— Отойди от жатки, тогда сядем. — Сашке, видно, попало разок председательской плетью — он почесывал спину.

— Счас же у меня садитесь! Вы што, под статью меня подвести хочете?!

— Отойди от жатки…

Председатель, ругаясь, пошел к своему легкому коробку, который стоял в стороне.

Опять заскрипела, заскрежетала жнейка, опять наладилось жечь солнце, но теперь на душе куда легче, даже весело: малость урвали.

Председатель еще постоял немного, посмотрел на нас и уехал.

Странный он был человек, Иван Алексеич, председатель. Эта нога его — это ему давно еще, молотилкой: хотел потуже вогнать сноп под барабан, и вместе со снопом туда задернуло ногу. Пока успели скинуть со шкива приводной ремень, ногу всю изодрало зубьями барабана, потом ее отняли выше колена. Мы его нисколько не боялись, нашего председателя, хоть он страшно ругался и иногда успевал жогнуть плетью. Мы не догадывались тогда, что народ мы еще довольно зеленый, вовсю ругались по-мужичьи, и с председателем — тоже. С нами было нелегко. Как я теперь понимаю, это был человек добродушный, большого терпения и совестливости. Он жил с нами на пашне, сам починял веревочную сбрую, длинно матерился при этом… Иногда с силой бросал чиненую-перечиненую шлею, топтал ее здоровой ногой и плакал от злости.

В тот день председатель здорово насмешил нас.

Съехались мы поздно вечером к бригадному дому, расселись кто где хлебать затируху (мелкие кусочки теста, крошки, сваренные в воде). Потом должно было быть собрание: у председателя много накопилось фактов нашего безобразного поведения: кто-то еще, кроме нас с Сашкой, спал на полосе, кто-то накануне, вечером, самовольно бегал домой в баню, кто-то, дожав клин, гонялся с бичом за перепелками — терял драгоценное время…

Председатель, пока мы ужинали, застелил красным сукном длинный стол под навесом, сидел один за столом, строго поглядывал в нашу сторону — ждал: предстояла «накачка».

Мы ополоснули чашки, закурили и приготовились слушать.

— Сегодня четыре оглоеда, — начал председатель, — спали на полосе. Это: Санька

Кречетов, Илюха Чумазый, Ванька Попов и Васька-безотцовщина. Вы што, соображаете?! А этот верзила… Колька, я про тебя! — в баньку ему, вишь, захотелось!

(Колька, Моисеев внук, поймал у меня вчера на рубахе вшу и подговаривал вместе бежать вечером в деревню в баню, а к свету вернуться. Я отказался.) — Попариться ему, вишь, захотелось, жеребцу! Дубина такая… Ты всю ночь-то пробегаешь туда-сюда, а днем — спать на полосе!

— Я не спал.

— Я посплю вам! Я вам посплю, дьяволы! Вы у меня ишо скирдовать в ночь будете.

Далеко, за лесом, медленно опускается в синие дымы большое красное солнце; хорошо на земле, задумчиво, покойно. Под председательским столом, свернувшись калачиком, мирно спит Борзя, наш бесконечно добрый, шалавый кобель.

Председатель никак не может разозлиться, вяло у него получается — никакого интереса. Мы клюем носами.

— Дальше: што это за моду взяли — перепелок стегать?! Живодеры… Первое: они всяких личинок уничтожают… Да время же теряете, черти! Пока ты ее догонишь да угодишь бичом — времени-то сколько уходит! Дальше: Ленька-японец наехал, сукин сын, на пенек, порвал пилу. Оглазел?! Скину вот трудодней пятнадцать, будешь вперед смотреть! Ехай счас прямо в кузню — штоб завтра, как только дед Макар проснется, пилу мне склепали.

Ленька-японец радешенек: дома побудет. Везет недомерку! Не нарочно ли на пень-то наехал? Но он хитрый, радости не показывает, а виновато хмурится.

— Дальше: еслив ишо кого увижу…

Тут-то нанесло нежданного: на дороге, из-за взгорка, показались дрожки уполномоченного — мы хорошо знали его жеребца. К нам едет.

Эх, как вскочил тут наш председатель (он ужасно боялся уполномоченного), да как застучал кулаком по столу, как закричал:

— Я давно уж замечаю среди вас контр… контр…

А деревяшкой своей председатель наступил Борзе на хвост; Борзя взвыл блажным голосом. Председателю надо перекричать собаку, он кричит:

— Давно уж я замечаю среди вас контрреволюционные элементы!

Собака воет, крутится под столом; председатель почему-то не может сойти с нее — то ли от волнения, то ли… Бог его знает. Добрый Борзя начал кусать деревяшку; мы корчимся от смеха: до того уморительная картина. (Потом, когда мы вспоминали эту историю, Ленька-японец сознался, что у него случилась тогда посикота — написал в штаны от смеха.) Уполномоченный подъехал. Глядит на нас, ничего не может понять. Председатель быстро пошел навстречу ему. Ошалевший Борзя с визгом вылетел из-под стола, кинулся бежать… Да прямо в ноги райкомовскому жеребцу. Красавец жеребец дико всхрапнул, дал в дыбы — чуть из хомута не вылез. Уполномоченный выскочил из коробка; председатель поскакал было на деревяшке за Борзей, потом вернулся, стал успокаивать жеребца.

Мы все лежали вповал. Мы тоже побаивались уполномоченного, но тут ничего не могли с собой сделать — умирали от смеха.

— В чем дело?! — строго спросил уполномоченный.

— Это… собрание у нас — насчет итогов, — пояснил Иван Алексеич. — С собакой маленько комедия вышла… — И закричал на нас: — Завтра же убрать этого блохастого!..

— Я вижу, что комедия, а не собрание. Может, рано веселиться-то?! — спросил у нас уполномоченный. — Может, наоборот, плакать надо?!

Мы постепенно затихли. Вот теперь, кажется, будет «накачка» настоящая. Но уполномоченный почему-то отменил собрание. Неожиданно добрым голосом сказал:

– Ладно: поработали, посмеялись – идите спать.

Спали мы в доме на нарах. Долго еще не могли успокоиться в тот вечер, вспоминали Борзю, Ивана Алексеича, хохотали в подушки. Иван Алексеич беседовал у огонька с уполномоченным… Раза два он входил к нам и сердито шипел:

– Вы будете спать? Опять завтра не добудишься!.. Оглоеды. Хоть бы человека постеснялись.

Потом уполномоченный уехал.

Мы один за другим проваливаемся в сон…

Когда я – позже других, последним, наверно, – выхожу до ветра, уже светит луна и где-то близко вскрикивает ночная птица.

Председатель сидит у костра, тихонько звякает ложкой об алюминиевую чашку – хлебает затируху. Протез его отстегнут, лежит рядом… Худая култышка как-то неестественно белеет на траве. Иван Алексеевич часто склоняется и дует на нее – видно, до боли натрудил за день, теперь она, горячая, отдыхает.

А вокруг тепло и ясно; кто-то высоко-высоко золотыми гвоздями пришил к небу голубое полотно, и сквозь него сквозит, льется нескончаемым потоком чистый, голубовато-белый легкий свет.

И все вскрикивает в согре какая-то ночная птица – зовет, что ли, кого?

Бык

Одно время работал я на табачной плантации, на табачке, у нас говорили. Поливал табак.

Воду надо было возить из согры.

Как только солнце подымалось, мы запрягали в водовозки быков и весь день возили воду.

Бык у меня был на редкость упрямый и ленивый. Сбруя – веревочная, то и дело рвется. Едешь на взвоз, бык поднатужится – хомут пополам. А бык шагает дальше. А я с бочкой посередь дороги стою. Догоняю быка, заворачиваю, кое-как связываю хомут, запрягаю, и с грехом пополам выезжаем на взвоз. Несколько раз он меня переворачивал с бочкой. Идет, идет по дороге, потом ему почему-то захочется свернуть в сторону. Свернул – бочка набок. Я бил его чем попало. Бил и плакал от злости. Другие ребята по полтора трудодня в день зашибали, я едва трудодень выколачивал с таким быком.

Я бил его, а он спокойно стоял и смотрел на меня большими глупыми глазами. Мы ненавидели друг друга.

Один раз – после обеда – надо запрягать, моего быка нет. Бригадир Петрунька Яриков, косой маленький мужик, орет на меня:

– Куда же он у тебя девался-то, мать-перемать?! В землю, что ли, провалился?

Я ополекал все закоулки, все укромные места – нет быка. Ну, думаю, только бы мне найти тебя, змей, я тебе покажу Нашел в просе – лежит, отдувается в холодке. Я прямо с разбегу сапогом ему в морду. Как он мэкнет, как вскочит да как даст мне под зад! Я отлетел метра на три и подумал, что я уже мертвый. А он раскорячил ноги, нагнул голову и смотрит на меня. Я тоже смотрю на него. Мне показалось, что мы долго так смотрели друг на друга. Я боялся пошевелиться. Думаю, как с собакой: встанешь, он опять кинется. Потом все-таки потихоньку стал подниматься… Бык стоит. Смотрит. Я поднялся и пошел от него задом. Кое-как доковылял до бригады. Задница огнем горит… Хорошо, еще не рогом попал (они у него широченные, лбом угодил), – сидеть бы мне у него на голове, как снопу на вилах.

Бригадир разозлился на быка, вырвал из телеги железный курок и побежал в просо.

Через пять минут видим, летит наш бригадир сломя голову, за ним бык. Бежит бригадир и орет:

– Стреляйте в него! Стреляйте, что вы стоите?! Спорет ведь он меня!..

Забыл с перепугу, что ружья ни у кого нет – у нас их позабирали, как началась война.

Ребятишки и бабы, увидев разъяренного быка, – кто куда, врассыпную. Я лежал на животе возле избушки. Бык протопал мимо – не обратил внимания. Видно, Петрунька с железным курком насолил ему здорово. Пробежал бык совсем близко, аж земля задрожала. У меня сердце в пятки ушло.

Петрунька туда – бык за ним, Петрунька сюда – бык за ним, гоняет его по ограде. Загнал в угол. Петрунька, как птица, взлетел на плетень – и на ту сторону. Бык, не останавливаясь, с ходу саданул рогами в плетень, вырвал его с кольями, и пронес, и сбросил. Тогда только остановился. Ему накинули волосяную петлю на шею, стянули, измучили, потом продели веревку в кольцо и привязали к столбу.

По давней традиции (она, как ни странно, сохранялась и в войну) после того, как табак уберут с плантации, высушат и свезут в город на табачную фабрику, бригада гуляет. Валили какую-нибудь скотину, варили, жарили… Привозили из деревни самогонку и – начиналось.

На этот раз забили моего быка. Трое мужиков взяли его и повели на чистую травку – неподалеку от избушки. Бык покорно шел за ними. А они несли кувалду, ножи, стираную холстину… Я убежал из бригады, чтобы не услышать, как он заревет. И все-таки я услышал, как он взревел – негромко, глухо, коротко, как вроде сказал: «Ой!» К горлу мне подступил горький комок; я вцепился руками в траву, стиснул зубы и зажмурился. Я видел его глаза… В тот момент, когда он, раскорячив ноги, стоял и смотрел на меня, повергнутого на землю, – пожалел он меня тогда, пожалел.

Мяса я не ел – не мог. И было обидно, что не могу как следует наесться – такой «рубон» нечасто бывает.

Самолет

Мы, четверо пацанов: Шуя, Жаренок, Ленька и я, шагаем с сундучками в гору. Поступаем в автомобильный техникум. Через три с половиной года будем техниками-механиками по ремонту и эксплуатации автотранспорта. Техникум – в городе, точнее, за городом, километрах в семи, в бывшем монастыре. Идти надо обрывистым правым берегом широкой реки. Это мой второй приезд в этот город. Душа потихоньку болит – тревожно, охота домой. Однако надо выходить в люди. Не знал я тогда, что навсегда ухожу из родного села. То есть буду еще приезжать потом, но – так, отдышаться… Вот уж не знал!

Городские ребята не любили нас, деревенских, смеялись над нами, презирали. Называли «чертями» (кто черти, так это, по-моему, – они) и «рогалями». Что такое «рогаль», я по сей день не знаю и как-то лень узнавать. Наверно, тот же черт – рогатый. В четырнадцать лет презрение очень больно и ясно сознаешь и уже чувствуешь в себе кое-какую силенку – она порождает неодолимое желание мстить. Потом, когда освоились, мы обижать себя не давали. Помню, Шуя, крепыш парень, подсадистый и хлесткий, закатал в лоб одному городскому журавлю, и тот летел – только что не курлыкал. Жаренок в страшную минуту, когда надо было решиться, решился – схватил нож… Тот, кто стоял против него – тоже с ножом, – очень удивился. И это-то – что он только удивился – толкнуло меня к нему с голыми кулаками. Надо было защищаться – мы защищались. Иногда – так вот – безрассудно, иногда с изобретательностью поразительной.

Но это было потом. Тогда мы шли с сундучками в гору, и с нами вместе – налегке – городские. Они тоже шли поступать. Наши сундучки не давали им покоя.

– Чяво там, Ваня? Сальса шматок да мядку туясок?

– Сейчас раскошелитесь, черти! Все вытряхнем!

– Гроши-то куда запрятали?.. Куркули, в рот вам пароход!

Откуда она бралась, эта злость – такая осмысленная, не четырнадцатилетняя, обидная? Что, они не знали, что в деревне голодно? У них тут хоть карточки какие-то, о них думают, там – ничего, как хочешь, так выживай. Мы молчали, изумленные, подавленные столь открытой враждебностью. Проклятый сундучок, в котором не было ни «мядку», ни «сальса», обжигал руку – так бы пустил его вниз с горы.

А на горе, когда поднялись, на ровном открытом месте стоял… самолет. Да так близко! Там был аэродром. И так он нежданно открылся, этот самолетик, так близко стоял, и никого рядом не было – можно подойти и потрогать… Раньше нам приходилось – редко – видеть самолет в небе. Когда он летел над селом, выскакивали из всех домов, шумели: «Где?! Где он?» Ах ты, Господи!.. Я так и ахнул. Да все мы слегка ошалели. И городские – тоже. Что уж, так каждый день видели они их, самолеты? Но они скоро взяли себя в руки, притворяшки.

– Кукурузник, сука.

– Сидит… Горючего, наверно, нет.

И пошли, не глядя больше на самолет.

Мы пошли за ними и тоже старались не смотреть на самолет: нельзя было показать, что мы – действительно такая уж совсем непролазная «деревня». А ничего же ведь не случилось бы, если бы мы маленько постояли, посмотрели. Но мы шли и не оглядывались. Когда я не выдержал и все-таки оглянулся, меня кто-то из наших крепко дернул за рукав.

Он мне, этот самолет, снился потом. Много раз после приходилось ходить горой, мимо аэродрома, но самолета там не было – он летал. И теперь он стоит у меня в глазах – большой, легкий, красивый… Двукрылый красавец из далекой-далекой сказки.

Письмо

В 1988 году Л.Н. Федосеева-Шукшина передала для публикации в газету «Советская Россия» (27 июля 1988года) рукопись рассказа «Письмо», не публиковавшегося ранее. Хотя оригинал рукописи носит следы авторской правки, дата написания рассказа отсутствует. По свидетельству Л.Н. Федосеевой-Шукшиной он был написан Василием Макаровичем в самом начале 70-х годов. Шукшин не включил его ни в последний из прижизненных сборников, ни в тот, что вышел в издательстве «Молодая гвардия» вскоре после его смерти. Судя по имени главного героя (Иван П.), рассказ предназначался для цикла «Из детских лет Ивана Попова». Однако по каким-то причинам рассказ остался в архиве писателя. Требовательный к себе художник Шукшин отложил чем-то не удовлетворявшие его странички рукописи, намереваясь вернуться к ним в будущем. Об этом свидетельствует знак плюс, стоящий рядом с заголовком.

В пятнадцать лет я писал свое первое письмо любимой. Невероятное письмо. Голова у меня шла кругом, в жар кидало, когда писал, но-писал. Как я влюбился.

Она была приезжая – это поразило мое воображение. Всегда почему-то поражало. И раньше, и после – всегда приезжие девушки заставляли меня волноваться, выкидывать какие-нибудь штучки, чтобы привлечь к себе их внимание. Для меня они всякий раз как бы выходили из книжки, и я моментально переставал быть самим собой: напускал равнодушие, храбрился не в меру, плевал с высоты колокольни на то, как обо мне подумают… А подходить к ним боялся. И мучился стыдом, когда оставался один: кажется, они все-таки замечали, что я выламываюсь. Сам я замечал, когда люди притворяются, и даже и за них – со стороны – бывало стыдно. Но как только появлялась приезжая, я ничего не мог с собой поделать – выламывался.

На этот раз я разволновался очень. Все сразу полюбилось мне в этой девочке: глаза, косы, походка… Нравилось, что она тихая, что учится в школе (я там уже не учился), что она комсомолка… А когда у них там в школе, один парень пытался из-за нее отравиться (потом говорили, только попугал), я совсем голову потерял.

Не помню теперь, как случилось, что я пошел провожать ее из клуба. Помню, была весна… Я даже не выламывался, молчал. Сердце в груди ворочалось, как картофелина в кипятке. Не верилось, что я иду с Марией (так ее все называли – Мария, и это

тоже мне ужасно нравилось), изумлялся своей смелости, страшился, что она передумает и скажет: «Не надо меня провожать», и уйдет одна… И мучился – господи, как мучился! – что молчу. Молчу как проклятый. Ни одного слова не могу из себя выдавить. А ведь умел и приврать при случае, и…

На прощанье только прижал Марию покрепче к груди и скорей – скорей домой – как на крыльях полетел. «Ну, гадство! – думал. – Теперь вы меня не возьмете!» Сильный был в ту ночь, добрый, всех любил… И себя тоже. Когда кого-нибудь любишь, то и себя заодно любишь.

Потом я дня три не видел Марию, она не ходила в клуб. «Ничего, – думал, – я за это время пока осмелею». Успел подраться с одним дураковатым парнем.

– Провожал Марию? – спросил он.

– Ну.

– Гну! Хватит. Теперь я буду.

Колун парень, ухмылка такая противная… Но здоровый. Я умел «брать на калган» – головой бить. Пока он махал своими граблями, я его пару раз «взял на калган», он отстал.

А Марии – нет. (Потом узнали, что отец не стал пускать ее на улицу). А я думал, что ни капли ей не понравился, и она не хочет видеть меня, молчуна. Или-тоже возможно-опасается: выйдет, а я ей всыплю за то, что не хочет со мной дружить. Так делали у нас: не хочет девка дружить с парнем и бегает от него задами и переулками, пока не сыщется заступник.

И вот тогда-то и сел я за письмо.

«Слушай, Мария, – писал я, – ты что, с этим Иваном П начала дружить? Ты с ума сошла! Ты же не знаешь этого парня – он надсмеется над тобой и бросит. Его надо опасаться, как огня, потому что он уже испорченный. А ты девочка нежная… А у него отец родной – враг народа, и он сам на ножах ходит. Так что смотри. Мой тебе совет: заведи себе хорошего мальчика, скромного, будете вместе ходить в школу и одновременно дружить. А этого дурака ты даже из головы выкинь – он опасный. Почему он бросил школу? Думаешь, правда, по бедности? Он побывал в городе, снюхался там с урками, и теперь ему одна дорожка – в тюрьму. Так что смотри. С какими глазами пойдешь потом в школу, когда ему выездная сессия сунет в клубе лет пять? Ты же со стыда сгоришь. Что скажут тебе твои родные мать с отцом, Там когда его повезут в тюрьму? Опасайся его. Никогда с ним не дружи и обходи стороной. Он знается с такими людьми, которые могут и квартиру вашу обчистить, тем более, что вы – богатенькие. Вот он на вас-то и наведет их. А случись – ночное дело – прирезать могут. А он будет смотреть и улыбаться. Ты никогда не узнаешь, кто это тебе написал, но написал знающий человек. И он желает тебе только добра».

Вот так.

Много лет спустя Мария, моя бывшая жена, глядя на меня грустными, добрыми глазами, сказала, что я разбил ее жизнь. Сказала, что желает мне всего хорошего, посоветовала не пить много вина – тогда у меня будет все в порядке.

Мне стало нестерпимо больно – жалко стало Марию, и себя тоже. Грустно стало. Я ничего не ответил.

А письмо это я тогда не послал.

Материнское сердце

Витька Борзенков поехал на базар в районный городок, продал сала на сто пятьдесят рублей (он собирался жениться, позарез нужны были деньги), пошел в винный ларек «смазать» стакан-другой красного, Потом вышел, закурил…

Подошла молодая девушка, попросила:

– Разреши прикурить.

Витька дал ей прикурить от своей папироски, а сам с интересом разглядывал лицо девушки – молодая, припухла, пальцы трясутся.

– С похмелья? – прямо спросил Витька.

– Ну, – тоже просто и прямо ответила девушка, с наслаждением затягиваясь «беломориной».

– А похмелиться не на что, – стал дальше развивать мысль Витька, довольный, что умеет понимать людей, когда им худо.

– А у тебя есть?

(Никогда бы, ни с какой стати не подумал Витька, что девушка специально наблюдала за ним, когда он продавал сало, и что у ларька она его просто подкараулила.)

– Пойдем, поправься. – Витьке понравилась девушка – миловидная, стройненькая… А ее припухлость и особенно откровенность, с какой она призналась в своей несостоятельности, даже как-то взволновали.

Они зашли в ларек… Витька взял бутылку красного, два стакана… Сам выпил полтора стакана, остальное великодушно налил девушке. Они вышли опять на крыльцо, закурили, Витьке стало хорошо, девушке тоже, Обоим стало хорошо.

– Здесь живешь?

– Вот тут, недалеко, – кивнула девушка, – Спасибо, легче стало.

– Может, еще хочешь?

– Можно вообще-то… Только не здесь.

– Где же?

– Можно ко мне пойти, у меня дома никого нет…

В груди у Витьки нечто такое сладостно-скользское вильнуло хвостом, Было еще рано, а до деревни своей Витьке ехать полтора часа автобусом – можно все успеть сделать.

– У меня там еще подружка есть, – подсказала девушка, когда Витька соображал, сколько взять, Он поэтому и взял: одну белую и две красных.

– С закусом одолеем, – решил он. – Есть чем закусить?

– Найдем.

Пошли с базара, как давние друзья.

– Чего приезжал?

– Сало продал… Деньги нужны-женюсь.

– Да?

– Женюсь. Хватит бурлачить. – Странно, Витька даже и не подумал, что поступает нехорошо в отношении невесты – куда-то идет с незнакомой девушкой, и ему хорошо с ней, лучше, чем с невестой, – интересней.

– Хорошая девушка?

Как тебе сказать?.. Домовитая. Хозяйка будет хорошая.

– А насчет любви?

– Как тебе сказать?.. Такой, как раньше бывало, – здесь вот кипятком подмывало чего-то такое, – такой нету. Так… Надо же когда-нибудь жениться.

— Не промахнись. Будешь потом… Непривязанный, а визжать будешь.

В общем, поговорили в таком духе, пришли к дому девушки. (Ее звали Рита.) Витька и не заметил, как дошли и как шли — какими переулками. Домик как домик — старенький, темный, но еще будет стоять семьдесят лет, не охнет.

В комнатке (их три) чистенько, занавесочки, скатерочки на столах уютно. Витька вовсе воспрянул духом.

«Шик-блеск-тру-ля-ля», — всегда думал он, когда жизнь сулила скорую радость.

— А где же подружка?

— Я сейчас схожу за ней. Посидишь?

— Посижу. Только поскорей, ладно?

— Заведи вон радиолу, чтоб не скучать. Я быстро.

Ну почему так легко, хорошо Витьке с этой девушкой? Пять минут знакомы, а… Ну, жизнь! У девушки грустные, задумчивые, умные глаза, Витьке то вдруг становится жалко девушку, то охота стиснуть ее в объятиях.

Рита ушла. Витька стал ходить по комнате — радиолу не завел: без радиолы сердце билось в радостном предчувствии.

Потом помнит Витька: пришла подружка Риты-похуже, постарше, потасканная и притворная. Затараторила с ходу, стала рассказывать, что она когда-то была в цирке, «работала каучук». Потом пили… Витька прямо тут же за столом целовал Риту, подружка смеялась одобрительно, а Рита слабо била рукой Витьку по плечу, вроде отталкивала, а сама льнула, обнимала за шею.

«Вот она — жизнь! — ворочалось в горячей голове Витьки, — Вот она зараза кипучая. Молодец я!»

Потом Витька ничего не помнит — как отрезало. Очнулся поздно вечером под каким-то забором… Долго мучительно соображал, где он, что произошло. Голова гудела, виски вываливались от боли. Во рту пересохло все, спеклось. Кое-как припомнил девушку Риту… И понял: опоили чем-то, одурманили и, конечно, забрали деньги. Мысль о деньгах сильно встряхнула. Он с трудом поднялся, обшарил все карманы: да, денег не было, Витька прислонился к забору, осмотрелся… Нет, ничего похожего на дом Риты поблизости не было. Все другое, совсем другие дома.

У Витьки в укромном месте, в загашнике, был червонец — еще на базаре сунул туда на всякий случай… Пошарил — там червонец. Витька пошел наугад — до первого встречного, Спросил у какого-то старичка, как пройти к автобусной станции. Оказалось, не так далеко: прямо, потом налево переулком и вправо по улице опять прямо. «И упретесь в автобусную станцию». Витька пошел… И пока шел до автобусной станции, накопил столько злобы на городских прохиндеев, так их возненавидел, паразитов, что даже боль в голове поунялась, и наступила свирепая ясность, и родилась в груди большая мстительная сила.

— Ладно, ладно, — бормотал он, — я вам устрою…

Что он собирался сделать, он не знал, знал только, что добром все это не кончится. Около автобусной станции допоздна работал ларек, там всегда толпились люди.

Витька взял бутылку красного, прямо из горлышка выпил ее всю до донышка, запустил бутылку в скверик… Были рядом с ним какие-то подпившие мужики, трое. Один сказал ему:

— Там же люди могут сидеть.

Витька расстегнул свой флотский ремень, намотал конец на руку оставил свободной тяжелую бляху как кистень. Эти трое подвернулись кстати.

– Ну?! – удивился Витька. – Неужели люди? Разве в этом вшивом городишке есть люди?

Трое переглянулись.

– А кто же тут, по-твоему?

– Суки! Каучук работаете, да?

Трое пошли на него, Витька пошел на троих… Один сразу свалился от удара бляхой по голове, двое пытались достать Витьку ногой или руками, берегли головы. Потом они заорали:.

– Наших бьют!

Еще налетело человек пять… Попало и Витьке: кто-то сзади тяпнул бутылкой по голове, но вскользь – Витька устоял. Оскорбленная душа его возликовала и обрела устойчивый покой.

Нападавшие матерились, бестолково кучились, мешали друг другу, советовали – этим пользовался Витька и бил.

Прибежала милиция… Всем скопом загнали Витьку в угол – между ларьком и забором. Витька отмахивался. Милиционеров пропустили вперед, и Витька сдуру ударил одного по голове бляхой. Бляха Витькина страшна еще тем, что с внутренней стороны, в изогнутость ее, был налит свинец. Милиционер упал… Все ахнули и оторопели. Витька понял, что свершилось непоправимое, бросил ремень… Витьку отвезли в КПЗ.

Мать Витькина узнала о несчастье на другой день. Утром ее вызвал участковый и сообщил, что Витька натворил в городе то-то и то-то.

– Батюшки-святы! – испугалась мать. – Чего же ему теперь за это?

– Тюрьма. Тюрьма верная. У милиционера травма, лежит в больнице. За такие дела – только тюрьма. Лет пять могут дать. Что он, сдурел, что ли?

– Батюшка, ангел ты мой господний, – взмолилась мать, – помоги как-нибудь!

– Да ты что! Как я могу помочь?..

– Да выпил он, должно, он дурной выпимши…

– Да не могу я ничего сделать, пойми ты! Он в КПЗ, на него уже, наверно, завели дело…

– А кто же бы мог бы помочь-то?

– Да никто. Кто?.. Ну, съезди в милицию, узнай хоть подробности. Но там тоже…

Что они там могут сделать?

Мать Витькина, сухая, двужильная, легкая на ногу, заметалась по селу. Сбегала к председателю сельсовета – тот тоже развел руками:

– Как я могу помочь? Ну, характеристику могу написать… Все равно, наверно, придется писать. Ну, напишу хорошую.

– Напиши, напиши, как получше, разумная ты наша головушка. Напиши, что – по пьянке он, он тверезый-то мухи не обидит…

– Там ведь не будут спрашивать, по пьянке он или не по пьянке… Ты вот что: съезди к тому милиционеру, может, не так уж он его и зашиб-то. Хотя вряд ли…

– Вот спасибо-то тебе, ангел ты наш, вот спасибочко-то…

– Да не за что…

Мать Витькина кинулась в район. Мать Витькина родила пятерых детей, рано

осталась вдовой (Витька еще грудной был, когда пришла похоронка об отце в 42-м году), старший сын ее тоже погиб на войне в 45-м году, девочка умерла от истощения в 46-м году, следующие два сына выжили, мальчиками еще ушли по вербовке в ФЗУ и теперь жили в разных городах. Витьку мать выходила из последних сил, все распродала, но сына выходила – крепкий вырос, ладный собой, добрый… Все бы хорошо, но пьяный – дурак дураком становится. В отца пошел – тот, царство ему небесное, ни одной драки в деревне не пропускал.

В милицию мать пришла, когда там как раз обсуждали вчерашнее происшествие на автобусной станции. Милиционера Витька угостил здорово – тот действительно лежал в больнице. Еще двое алкашей тоже лежали в больнице – тоже от Витькиной бляхи. Бляху с интересом разглядывали.

– Придумал, сволочь!.. Догадайся: ремень и ремень. А у него тут целая гирька. Хорошо еще – не ребром угодил…

И тут вошла мать Витьки… И, переступив порог, упала на колени, и завыла, и запричитала:

– Да ангелы вы мои милые, да разумные ваши головушки!.. Да способитесь вы какнибудь с вашей обидушкой – простите вы его, окаянного! Пьяный он был… Он тверезый последнюю рубаху отдаст, сроду тверезый никого не обидел…

Заговорил старший, что сидел за столом и держал в руках Витькин ремень. Заговорил обстоятельно, спокойно, попроще – чтоб мать все поняла.

– Ты подожди, мать. Ты встань, встань – здесь не церква. Иди, глянь… Мать поднялась, чуть успокоенная доброжелательным тоном начальственного голоса.

– Вот гляди: ремень твоего сына… Он во флоте, что ли, служил?

– Во флоте, во флоте-на кораблях-то на этих…

– Теперь смотри: видишь? – Начальник перевернул бляху, взвесил на руке. – Этим же убить человека – дважды два. Попади он вчера кому-нибудь этой штукой ребром – конец. Убийство. Да и плашмя троих уходил так, что теперь врачи борются за их жизни. А ты говоришь: простить. Ведь он же трех человек в больницу уложил. А одного при исполнении служебных обязанностей, Ты подумай сама: как же можно прощать за такие дела, действительно?

Материнское сердце, оно – мудрое, но там, где замаячила беда родному дитю, мать не способна воспринимать посторонний разум, и логика тут ни при чем.

– Да сыночки вы мои милые! – воскликнула мать и заплакала. – Да нечто не бывает по пьяному делу?! Да всякое бывает-подрались… Сжальтесь вы над ним!..

Тяжело было смотреть на мать. Столько тоски и горя, столько отчаяния было в ее голосе, что становилось не по себе, И хоть милиционеры – народ до жалости неохочий, даже и они – кто отвернулся, кто стал закуривать…

– Один он у меня – при мне-то: и поилец мой, и кормилец. А еще вот жениться надумал – как же тогда с девкой-то, если его посадют? Неужто ждать его станет? Не станет. А девка-то добрая, из хорошей семьи-жалко…

– Он зачем в город-то приезжал? – спросил начальник.

– Сала продать, На базар – сальца продать. Деньжонки-то нужны, раз уж свадьбу-то наметили, где их больше возьмешь?

– При нем никаких денег не было.

– Батюшки-святы! – испугалась мать. – А иде ж они?

– Это у него надо спросить.

– Да украли небось! Украли!.. Да милый ты сын, он оттого, видно, и в драку-то полез – украли их у него!.. Жулики украли…

– Жулики украли, а при чем здесь наш сотрудник – за что он его-то?

– Да попал, видно, под горячую руку.

– Ну, если каждый раз так попадать под горячую руку, у нас скоро и милиции не останется. Слишком уж они горячие, ваши сыновья! Начальник набрался твердости, – Не будет за это прощения, получит свое – по закону.

– Да ангелы вы мои, люди добрые, – опять взмолилась мать, пожалейте вы хоть меня, старуху, я только теперь маленько и свет-то увидела… Он работящий парень-то, а женился бы, он бы совсем справный мужик был. Я бы хоть внучаток понянчила…

– Дело даже не в нас, мать, ты пойми. Есть же прокурор! Ну, выпустили мы его, а с нас спросят: на каком основании? Мы не имеем права. Права даже такого не имеем. Я же не буду вместо него садиться.

– А может, как-нибудь задобрить того милиционера? У меня холст есть, я нынче холста наткала-пропасть! Все им готовила…

– Да не будет он у тебя ничего брать, не будет! – уже кричал начальник, – Не ставь ты людей в смешное положение, действительно. Это же не кум с кумом поцапались!

– Куда же мне теперь идти-то, сыночки? Повыше-то вас есть кто или уж нету?

– Пусть к прокурору сходит, – посоветовал один из присутствующих.

– Мельников, проводи ее до прокурора, – сказал начальник. И опять повернулся к матери, и опять стал с ней говорить, как с глухой или совсем уж бестолковой: – Сходи к прокурору – он повыше нас! И дело уже у него, И пусть он тебе там объяснит: можем мы чего сделать или нет? Никто же тебя не обманывает, пойми ты! Мать пошла с милиционером к прокурору.

Дорогой пыталась заговорить с милиционером Мельниковым.

– Сыночек, что, шибко он его зашиб-то?

Милиционер Мельников задумчиво молчал.

– Сколько же ему дадут, если судить-то станут?

Милиционер шагал широко. Молчал.

Мать семенила рядом и все хотела разговорить длинного, заглядывала ему в лицо.

– Ты уж разъясни мне, сынок, не молчи уж… Мать-то и у тебя небось есть, жалко ведь вас, так жалко, что вот говорю – а кажное слово в сердце отдает. Много ли дадут-то?

Милиционер Мельников ответил туманно:

– Вот когда украшают могилы: оградки ставят, столбики, венки кладут… Это что – мертвым надо? Это живым надо. Мертвым уже все равно.

Мать охватил такой ужас, что она остановилась.

– Ты к чему же это?

– Пошли. Я к тому, что будут, конечно, судить. Могли бы, конечно, простить – пьяный, деньги украли: обидели человека. Но судить все равно будут – чтоб другие знали. Важно на этом примере других научить…

– Да сам же говоришь – пьяный был!

– Это теперь не в счет. Его насильно никто не поил, сам напился. А другим это будет поучительно. Ему все равно теперь – сидеть, а другие задумаются. Иначе вас никогда не перевоспитаешь.

Мать поняла, что этот длинный враждебно настроен к ее сыну, и замолчала. Прокурор матери с первого взгляда понравился внимательный. Внимательно выслушал мать, хоть она говорила длинно и путано — что сын ее, Витька, хороший, добрый, что он трезвый мухи не обидит, что как же ей теперь одной-то оставаться? Что девка, невеста, не дождется Витьку, что такую девку подберут с руками-ногами — хорошая девка… Прокурор все внимательно выслушал, поиграл пальцами на столе… заговорил издалека, тоже как-то мудрено:

— Вот ты-крестьянка, вас, наверно, много в семье росло?..

— Шестнадцать, батюшка. Четырнадцать выжило, двое маленькие ишо померли. Павел помер, а за ним другого мальчика тоже Павлом назвали…

— Ну вот — шестнадцать. В миниатюре — целое общество. Во главе отец. Так?

— Так, батюшка, так. Отца слушались…

— Вот! — Прокурор поймал мать на слове. — Слушались! А почему? Нашкодил один — отец его ремнем. А брат или сестра смотрят, как отец учит шкодника, и думают: шкодить им или нет? Так в большом семействе поддерживался порядок. Только так. Прости отец одному, прости другому — что в семье? Развал, Я понимаю тебя, тебе жалко… Если хочешь, и мне жалко — там не курорт, и поедет он, судя по всему, не на один сезон. По-человечески все понятно, но есть соображения высшего порядка, там мы бессильны… Судить будут. Сколько дадут, не знаю, это решает суд.

Мать поняла, что и этот невзлюбил ее сына. «За своего обиделись».

— Батюшка, а выше-то тебя есть кто?

— Как это? — не сразу понял прокурор.

— Ты самый главный али повыше тебя есть?

Прокурор, хоть ему потом и неловко стало, невольно рассмеялся:

— Есть, мать, есть. Много!

— Где же они?

— Ну, где?.. Есть краевые организации… Ты что, ехать туда хочешь? Не советую.

— Мне подсказали добрые люди: лучше теперь вызволять, пока не сужденый, потом тяжельше будет…

— Скажи этим добрым людям, что они… не добрые. Это они со стороны добрые… добренькие. Кто это посоветовал?

— Да посоветовали…

— Ну, поезжай. Проездишь деньги, и все. Результат будет тот же. Я тебе совершенно официально говорю: будут судить. Нельзя не судить, не имеем права. И никто этот суд не отменит.

У матери больно сжалось сердце… Но она обиделась на прокурора, а поэтому вида не показала, что едва держится, чтоб не грохнуться здесь и не завыть в голос. Ноги ее подкашивались.

— Разреши мне хоть свиданку с ним…

— Это можно, — сразу согласился прокурор. — У него что, деньги большие были, говорят?

— Были…

Прокурор написал что-то на листке бумаги, подал матери:

— Иди в милицию.

Дорогу в милицию мать нашла одна, без длинного – его уже не было. Спрашивала людей. Ей показывали. В глазах матери все туманилось и плыло… Она молча плакала, вытирала слезы концом платка, но шла привычно скоро, иногда только спотыкалась о торчащие доски тротуара… Но шла и шла, торопилась. Ей теперь, она понимала, надо поспешать, надо успеть, пока они его не засудили. А то потом вызволять будет трудно. Она верила этому. Она всю жизнь свою только и делала, что справлялась с горем, и все вот так – на ходу, скоро, вытирая слезы концом платка. Неистребимо жила в ней вера в добрых людей, которые помогут. Эти – ладно – эти за своего обиделись, а те – подальше которые – те помогут. Неужели же не помогут? Она все им расскажет помогут. Странно, мать ни разу не подумала о сыне, что он совершил преступление, она знала одно: с сыном случилась большая беда. И кто же будет вызволять его из беды, если не мать? Кто? Господи, да она пешком пойдет в эти краевые организации, она будет день и ночь идти и идти… Найдет она этих добрых людей.

– Ну? – спросил ее начальник милиции.

– Велел в краевые организации ехать, – слукавила мать, – А вот – на свиданку. – Она подала бумажку.

Начальник был несколько удивлен, хоть тоже старался не показать этого. Прочитал записку… Мать заметила, что он несколько удивлен. И подумала: «А-а». Ей стало маленько полегче.

– Проводи, Мельников.

Мать думала, что идти надо будет далеко, долго, что будут открываться железные двери – сына она увидит за решеткой, и будет с ним разговаривать снизу, поднимаясь на цыпочки… А сын ее сидел тут же, внизу, в подвале. Там, в коридоре, стриженые мужики играли в домино… Уставились на мать и на милиционера. Витьки среди них не было.

– Что, мать, – спросил один мордастый, – тоже пятнадцать суток схлопотала?

Засмеялись.

Милиционер подвел мать к камере, которых по коридору было три или четыре, открыл дверь…

Витька был один, а камера большая и нары широкие. Он лежал на нарах… Когда вошел милиционер, он не поднялся, но, увидев за ним мать, вскочил.

– Десять минут на разговоры, – предупредил длинный, И вышел.

Мать присела на нары, поспешно вытерла слезы платком.

– Гляди-ка – под землей, а сухо, тепло, – сказала она.

Витька молчал, сцепив на коленях руки. Смотрел на дверь. Он осунулся за ночь, оброс – сразу как-то, как нарочно. На него больно было смотреть. Его мелко трясло, он напрягался, чтоб мать не заметила хоть этой тряски.

– Деньги-то, видно, украли? – спросила мать.

– Украли.

– Ну и бог бы уж с имя, с деньгами, зачем было драку из-за них затевать? Не они нас наживают – мы их.

Никому бы ни при каких обстоятельствах не рассказал Витька, как его обокрали, – стыдно. Две шлюхи… Мучительно стыдно! И еще – жалко мать. Он знал, что она придет к нему, пробьется через все законы, ждал этого и страшился.

У матери в эту минуту было на душе другое: она вдруг совсем перестала понимать, что есть на свете милиция, прокурор, суд, тюрьма… Рядом сидел ее ребенок, виноватый, беспомощный… И кто же может сейчас отнять его у нее, когда она – только она, никто больше нужна ему?

— Не знаешь, сильно я его?..

— Да нет, плашмя попало… Но лежит, не поднимается.

— Экспертизу, конечно, сделали… Бюллетень возьмет… — Витька посмотрел на мать. — Лет семь заделают.

— Батюшки-святы!.. — Сердце у матери упало. — Что же уж так много-то?

— Семь лет!.. — Витька вскочил с нар, заходил по камере. — Все прахом! Все, вся жизнь кувырком!

Мать мудрым сердцем своим поняла, какое отчаяние гнетет душу ее ребенка…

— Тебя как вроде уж осудили! — сказала она с укором, — Сразу уж жизнь кувырком.

— А чего тут ждать? Все известно…

— Гляди-ка, все уж известно! Ты бы хоть сперва спросил: где я была, чего достигла?..

— Где была? — Витька остановился.

— У прокурора была…

— Ну? И он что?

— Да вот и спроси сперва: чего он? А то сразу — кувырком! Какие-то слабые вы… Ишо ничем ничего, а уж… мысли бог знает какие.

— А чего прокурор-то?

— А то… Пусть, говорит, пока не переживает, пусть всякие мысли выкинет из головы… Мы, дескать, сами тут сделать ничего не можем, потому что не имеем права, а ты, мол, не теряй время, а садись и езжай в краевые организации. Нам, мол, оттуда прикажут, мы волей-неволей его отпустим, Тада, говорит, нам и перед своими совестно не будет: хотели, мол, осудить, но не могли. Они уж все обдумали тут. Мне, говорит, самому его жалко… Но мы, говорит, люди маленькие. Езжай, мол, в краевые организации, там все обскажи подробно… У тебя сколь денег-то было?

— Полторы сотни.

— Батюшки-святы! Нагрели руки…

В дверь заглянул длинный милиционер:

— Кончайте.

— Счас, счас, — заторопилась мать. — Мы уж все обговорили… Счас я, значит, доеду до дому, Мишка Бычков напишет на тебя карахтеристику… Хорошую, говорит, напишу.

— Там… это… у меня в чемодане грамоты всякие лежат со службы… возьми на всякий случай…

— Какие грамоты?

— Ну, там увидишь. Может, поможет.

— Возьму. Потом схожу в контору-тоже возьму карахтеристику… С голыми руками не поеду. Может, холст-то продать уж, у меня Сергеевна хотела взять?

— Зачем?

— Да взять бы деньжонок-то с собой — может, кого задобрить придется?

— Не надо, хуже только наделаешь.

– Ну, погляжу там.

В дверь опять заглянул милиционер:

– Время.

– Пошла, пошла, – опять заторопилась мать. А когда дверь закрылась, вынула изза пазухи печенюжку и яйцо. – На-ка поешь… Да шибко-то не задумывайся – не кувырком ишо. Помогут добрые люди. Большие-то начальники – они лучше, не боятся. Эти боятся, а тем некого бояться сами себе хозяева. А дойти до них я дойду. А ты скрепись и думай про чего-нибудь – про Верку хоть… Верка-то шибко закручинилась тоже. Даве забежала, а она уж слыхала…

– Ну?

– Горюет.

У Витьки в груди не потеплело оттого, что невеста горюет. Как-то так, не потеплело.

– А ишо вот чего… – Мать зашептала: – Возьми да в уме помолись. Ничего, ты – крещеный. Со всех сторон будем заходить. А я пораньше из дому-то выеду – до поезда – да забегу свечечку Николе-угоднику поставлю, попрошу тоже его. Ничего, смилуставются. Похоронку от отца возьму…

– Ты братьям-то… это… пока уж не сообщай.

– Не буду, не буду. Только лишний раз душу растревожут. Ты, главное, не задумывайся, что все теперь кувырком. А если уж дадут, так год какой-нибудь – для отвода глаз. Не семь же лет! А кому год дают, смотришь – они через полгода выходют, Хорошо там поработают, их раньше выпускают. А может, и года не дадут. Милиционер вошел в камеру и больше уже не выходил.

– Время, время…

– Пошла. – Мать встала с нар, повернулась спиной к милиционеру, мелко перекрестила сына и одними губами прошептала:

– Спаси тебя Христос.

И вышла из камеры… И шла по коридору, и опять ничего не видела от слез. Жалко сына Витьку, ох, жалко. Когда они хворают, дети, тоже очень их жалко, но тут какая-то особая жалость – когда вот так, тут просишь людей, чтоб помогли, а они отворачиваются, в глаза не смотрят. И временами жутко становится… Но мать – действовала, Мыслями она была уже в деревне, прикидывала, кого ей надо успеть охватить до отъезда, какие бумаги взять. И та неистребимая вера, что добрые люди помогут ей, вела ее и вела, мать нигде не мешкала, не останавливалась, чтоб наплакаться вволю, тоже прийти в отчаяние, – это гибель, она знала. Она – действовала.

Часу в третьем пополудни мать выехала опять из деревни – в краевые организации. «Господи, помоги, батюшка, – твердила она в уме беспрерывно. – Не допусти сына до худых мыслей, образумь его. Он маленько заполошный – как бы не сделал чего над собой».

Поздно вечером она села в поезд и поехала.

«Ничего, добрые люди помогут».

Она верила, помогут.

Письмо любимой
В пятнадцать лет я писал свое первое любовное письмо. Невероятное письмо. Голова у меня шла кругом, в жар кидало, когда писал, но – писал.

Как я влюбился.

Она была приезжая – это поразило мое воображение. Все сразу полюбилось мне в

этой девочке: глаза, косы, походка… Нравилось, что она тихая, что учится в школе (я там уже не учился), что она – комсомолка. А когда у них там, в школе, один парень пытался из-за нее отравиться (потом говорили, только попугал), я совсем голову потерял.

Не помню теперь, как случилось, что я пошел провожать ее из клуба.

Помню, была весна… Я даже и не выламывался, молчал. Сердце в груди ворочалось, как картофелина в кипятке. Не верилось, что я иду с Марией (так ее все называли – Мария, и это тоже мне ужасно нравилось!), изумлялся своей смелости, страшился, что она передумает и скажет: «Не надо меня провожать», и уйдет одна. И мучился – господи, как мучился! – что молчу. Молчу, как проклятый. Ни одного слова не могу из себя выдавить. А ведь умел и приврать при случае, и…

На прощанье только прижал Марию покрепче к груди и скорей-скорей домой, как на крыльях полетел. «Ну, гадство! – думал, – теперь вы меня не возьмете!» Сильный был в ту ночь, добрый, всех любил… И себя тоже. Когда кого-нибудь любишь, то и себя заодно любишь.

Потом я дня три не видел Марию, она не ходила в клуб. «Ничего, – думал, – я за это время пока осмелею». Успел подраться с одним дураковатым парнем.

– Провожал Марию? – спросил он.

– Ну.

– Гну! Хватит. Теперь я буду.

Колун парень, ухмылка такая противная… Но здоровый. Я умел «брать на калган» – головой бить. Пока он махал своими граблями, я его пару раз «взял на калган», он отстал.

А Марии – нет (Потом узнали, что отец не стал пускать ее на улицу). А я думал, что ни капли ей не понравился, и она не хочет видеть меня, молчуна. Или – тоже возможно – опасается: выйдет, а я ей всыплю, за то, что не хочет со мной дружить. Так делали у нас: не хочет девка дружить с парнем и бегает от него задами и переулками, пока не сыщется заступник.

И вот тогда-то и сел я за письмо.

«Слушай, Мария, – писал я, – ты что, с этим Иванов П. начала дружить? Ты с ума сошла! Ты же не знаешь этого парня – он надсмеется над тобой и бросит. Его надо опасаться, как огня, потому что он уже испорченный. А ты девочка нежная. А у него отец родной – враг народа, и он сам на ножах ходит. Так что смотри. Мой тебе совет: заведи себе хорошего мальчика, скромного, будете вместе ходить в школу и одновременно дружить. А этого дурака ты даже из головы, выкинь – он опасный. Почему он бросил школу? Думаешь, правда, по бедности? А ху-ху не хо-хо? Он побывал в городе, снюхался там с урками и теперь ему одна дорожка – в тюрьму. Так что смотри. С какими ты глазами пойдешь потом в школу, когда ему выездная сессия сунет в клубе лет пять? Ты же со стыда сгоришь. Что скажут тебе твои родные мать с отцом, когда его повезут в тюрьму? А его повезут, вот увидишь. У него все мысли направлены – где бы только своровать или кого-нибудь пырнуть ножом. Ну, тебя он, конечно, не пырнет, но научит плохому. Какая про тебя славушка пойдет! А ты еще молодая, тебе жить да жить. А его песенка спета. Опасайся его. Никогда с ним не дружи и обходи стороной. Он знается с такими людьми, которые могут и квартиру вашу обчистить, тем более что вы – богатенькие. Вот он на вас-то и наведет их. А случись – ночное дело – прирезать могут. А он будет смотреть и улыбаться. Ты никогда не узнаешь, кто это тебе писал, но писал знающий человек. И он желает тебе только добра».

Вот так.

Много лет спустя Мария, моя бывшая жена, глядя на меня грустными, добрыми глазами, сказала, что я разбил ее жизнь. Сказала, что желает мне всего хорошего, посоветовала не пить много вина – тогда у меня будет все в порядке. Мне стало нестерпимо больно – жалко стало Марию, и себя тоже. Грустно стало. Я ничего не ответил.

А письмо это я тогда не послал.

Залетный

Кузнец Филипп Наседкин – спокойный, уважаемый в деревне человек, беспрекословный труженик – вдруг запил. Да и не запил вовсе, а так – стал прикладываться. Это жена его, Нюра Заполошная, это она решила, что Филя запил. И она же полетела в правление колхоза и там устроила такой переполох, что все решили: Филя запил. И все решили, что надо Филю спасать.

Главное, всех насторожило, что Филя «схлестнулся» с Саней Неверовым. Саня – человек очень странный. Весь больной, весь изрезанный (и плеврит, и прободная язва желудка, и печень, и колит, и черт его не знает, чего у него только не было, и геморрой), он жил так: сегодня жив, а завтра – это надо еще подумать. Так он говорил. Он не работал, конечно, но деньги откуда-то у него были. У него собирались выпить. Он всех привечал.

Изба Сани стояла на краю деревни, над рекой, присела задом в крутизну берега, а двумя маленькими глазами-окнами смотрела далеко-далеко – через реку, в синие горы. Была маленькая оградка, какие-то старые бревна, две березки росли… Там, в той ограде, отдыхала душа.

Саня не то что слишком уж много знал или много повидал на своем веку (впрочем, он про себя не рассказывал. Мало рассказывал) – он очень уж как-то мудрено говорил про жизнь, про смерть… И был неподдельно добрый человек. Тянуло к нему, к родному, одинокому, смертельно больному. Можно было долго сидеть на старом теплом бревне и тоже смотреть далеко – в горы. Думалось не думалось – хорошо, ясно делалось на душе, как будто вдруг – и в какую-то минуту – стал ты громадный, вольный и коснулся руками начала и конца своей жизни – смерил нечто драгоценное и все понял. Ну и что? Ну и ладно! – так думалось.

Бабы замужние возненавидели Саню с того самого дня, как он только появился в деревне. Появился он этой весной, облюбовал у цыган развалюху, сторговал, купил и стал жить. Его сразу, как принято, окрестили – Залетный. И, разумеется, – Саня, потому что – Александр. Его даже побаивались. И все зря. Филя, когда бывал у Сани, испытывал такое чувство, словно держал в ладонях теплого еще, слабого воробья с капельками крови на сломанных крыльях – трепетный живой комочек жизни. И у Фили все восставало в груди – все доброе и все злое, когда про Саню говорили плохо.

Филя так и сказал на правлении колхоза:

– Саня – это человек. Отвяжитесь от него. Не тревожьте.

– Пьяница, – поправила бухгалтерша, пожилая уже, но еще миловидная активистка.

Филя глянул на нее, и его вдруг поразило, что она красит губы. Он как-то не замечал этого раньше.

– Дура, – сказал ей Филя.

– Филипп! – строго прикрикнул председатель колхоза. – Выбирай выражения!

– Ходил к Сане и буду ходить, – упрямо повторил Филя, ощущая в себе злую силу.

– Зачем?

– А вам какое дело?

– Ты же свихнешься там! Тому осталось… самое большее полтора года, ему все равно, как их дожить. А ты-то?!

– Он вас всех переживет, – зачем-то сказал Филя.

– Ну, хорошо. Допустим. Но зачем тебе спиваться-то?

– Иди спои меня, – усмехнулся Филя. – Через неделю на баланс сядешь. Вы меня хоть раз сильно пьяным видели?

– Так это всегда так начинается! – вместе воскликнули председатель, бухгалтерша, девушка-агроном и бригадир Наум Саранцев, сам большой любитель «пополоскать зубки». – Всегда же начинается с малого!

– Тем-то он и опасен, Филипп, этот яд, – стал развивать мысль председатель, – что он сперва не пугает, а как бы, наоборот, заманивает. Тебе после войны не приходилось на базаре в карты играть?

– Нет.

– А мне пришлось. Ехал с фронта, вез кое-какое барахлишко: часы «Павел Буре», аккордеон… В Новосибирске пересадка. От нечего делать пошел на барахолку, гляжу – играют. В три карты. Давай, говорят, фронтовичек, опробуй счастье! А я уже слышал от ребят – обманывают нашего брата. Нет, говорю, играйте без меня. Да ты, мол, опробуй! Э-э, думаю, ну, проиграю тридцатку… – председатель оживился. Его слушали, улыбались. Филя крутил фуражку меж колен. – Давай, говорю! Только без обмана, черти! А надо было, значит, отгадать одну карту… Он их сперва показывает, потом у тебя на глазах тасует и, значит, раскладывает тыльной стороной. Все три. Одну тебе надо отгадать, туза бубей, например. И ведь все на глазах делает, паразит! Вот показал он мне все три лицом – запомнил? Запомнил, говорю. Следи!.. Раз-раз-раз – перекидывает их. Я слежу, где туз бубей. Какая, спрашивает? Я зажал пальцем… Переворачиваем – туз бубей. Выиграл. Они мне еще дали выиграть раза три-четыре… Ну, и все: к вечеру и аккордеон мой, и часы, и деньги – как корова языком слизнула. Все проиграл. Попытался было силой отбить, но их там много оказалось. Так и явился домой с пустыми руками. Вот как, Филипп, зараза-то всякая начинается – незаметно. Ведь они же мне сперва дали выиграть, потом уж только чистить-то начали. Ведь мне все отыграться хотелось, все надеялся… Вот и отыгрался. Водка, она действует тем же методом: я тебя сперва ублажу, убаюкаю, а потом уж возьмусь за тебя. Так что смотри, Филипп, – не прогадай.

– Мне не восемнадцать лет.

– А она анкетные данные не спрашивает! Ей все равно… Работник ты хороший, с семьей у тебя пока все благополучно… Просто мы предупреждаем тебя. Не ходи ты к этому Сане! Он, может, хороший человек, но смотри, сколько на него баб жалуется!..

– Дуры, – опять сказал Филя.

– Ну, задолбил, как дятел: дуры, дуры. Твоя Нюра – дура, что ли?

– И моя дура. Чего заполошничать?

– Да то, что ей семью разрушать не хочется!

– Никто ее не разрушает. Сама бегает разрушает.

– Ну, смотри. Мы тебя предупредили. А этого твоего Саню мы просто выселим из деревни, и все… Он дождется.

– Не имеете права – больной человек.

– Найдем право! Больной… Больной, значит, не пей. Иди работай, Филипп.

– Вызывали? – спросил вечером Саня, нервно подрагивая веком левого глаза.

– Вызывали, – Филе было стыдно за жену, за председателя, за все правление в целом.

– Не велели ходить?

– Та-а… што я, ребенок, што ли!

– Да, да, – согласился Саня. – Конечно, – и веко его все подергивалось. Он смотрел на далекие горы. С таким выражением смотрел, точно ждал, что оттуда – вспять – взойдет солнце. Оно там заходило. – Ночью, часу в двенадцатом, соловьи

поют. Ах, дьяволята!.. выкомаривают. Друг перед другом, что ли?

– Самок заманивают, – пояснил Филя.

– Красиво заманивают. Красиво. Люди так не умеют. Люди – сильные.

«Это ты-то – сильный?» – думал Филя.

– Уважаю сильных людей, – продолжал Саня. – В детстве меня колотил один парнишка – сильней меня был. Мне отец посоветовал: потренируйся, поподнимай что-нибудь тяжелое – через месяц поколотишь его. Я стал поднимать ось от вагонетки. Три дня поподнимал – надорвался. Пупок развязался.

– А ты бы взял – раз послабей – гирьку, привязал бы ее на ремешок да гирькой бы его по башке. Я тоже смирный был, маленький-то, ну один извязался тоже, проходу не дает. Я его гирькой от часов разок угостил – отстал.

Саня пьянел. Взор его туманился… Покидал далекие синие горы, наблюдал речку, дорогу, дикий кустик малины под плетнем. Теплел, становился радостным.

– Хорошо, Филипп. Мне – пятьдесят два, двенадцать откинем – несознательные – сорок… Сорок раз видел весну, сорок раз!.. И только теперь понимаю: хорошо. Раньше все откладывал, все как-то некогда было – торопился много узнать, все хотел громко заявить о себе… Теперь – стоп-машина! Дай нагляжусь. Дай нарадуюсь. И хорошо, что у меня их немного осталось. Я сейчас очень много понимаю. Все! Больше этого понимать нельзя. Не надо.

Снизу, от реки, холодало. Но холодок тот только ощущался, наплывал… Это было только слабое гнилостное дыхание, и огромная, спокойная теплынь от земли и неба губила это дыхание.

Филя не понимал Саню и не силился понять. Он тоже чувствовал, что на земле – хорошо. Вообще жить – хорошо. Для приличия он поддерживал разговор.

– Ты совсем, што ли, одинокий?

– Почему? У меня есть родные, но я, видишь, болен, – Саня не жаловался. Ни самым даже скрытым образом не жаловался. – И у меня слабость эта появилась – выпить… Я им мешаю. Это естественно…

– Трудно тебе, наверно, жилось…

– По-разному. Иногда я тоже брал гирьку… Иногда мне гирькой. Теперь – конец. Впрочем, нет… вот сейчас я сознаю бесконечность. Как немного стемнеет, и тепло – я вдруг сознаю бесконечность.

Этого Филя совсем не мог уразуметь. Еще один мужик сидел, Егор Синкин, с бородой, потому что его в войну ранило в челюсть, тот тоже не мог уразуметь.

– В тюрьме небось сидел? – допытывался Егор.

– Бог с вами! Вы еще из меня каторжанина сделаете. Просто я жил и не понимал, что это прекрасно – жить. Ну, что-то такое делал… Очень любил искусство. Много суетился. Теперь спокоен. Я был художник, если уж вам так интересно. Но художником не был, – Саня искренне, негромко, весело смеялся. – Вконец запутал вас… Не мучайтесь. Ну мало ли на свете чудаков, странных людей!.. Деньги мне присылает брат. Он богатый. То есть не то что очень богатый, но ему хватает. И он мне дает.

Это мужики понимали – жалеет брат.

– Если бы все начать сначала!.. – на худом темном лице Сани, на острых скулах вспухали маленькие бугорки желваков. Глаза горячо блестели. Он волновался. – Я объяснил бы, я теперь знаю: человек – это… нечаянная, прекрасная, мучительная попытка Природы осознать самое себя. Бесплодная, уверяю вас, потому что в природе вместе со мной живет геморрой. Смерть!.. и она неизбежна, и мы ни-ког-да этого не поймем. Природа никогда себя не поймет… Она взбесилась и мстит за себя в лице человека. Как злая… мм… – дальше Саня говорил только себе, неразборчиво.

Мужикам надоедало напрягаться, слушая его, они начинали толковать про свои дела.

– Любовь? Да, – бормотал Саня, – но она только запутывает и все усложняет. Она делает попытку мучительной – и только. Да здравствует смерть! Если мы не в состоянии постичь ее, то зато смерть позволяет понять нам, что жизнь – прекрасна. И это совсем не грустно, нет… Может быть, бессмысленно – да. Да, это бессмысленно.

Мужики понимали, что Саня уже хорош. И расходились по домам.

Филя брел переулками-закоулками и потихоньку растрачивал из груди горячую веру, что жизнь – прекрасна.

Оставалась только щемящая жалость к человеку, который остался один сидеть на бревне… И бормочет, бормочет себе под нос нечто – так он думает, тот человек, – важное.

Через неделю Саня помер.

Помирал трезвым. Ночью. С ним был Филя.

Саня все понимал и понимал, что помирает. Иногда только забывался – точно накрепко задумывался, смотрел в стенку, не слышал Филю…

– Сань! – звал Филя, – Ты не задумывайся. А то так хуже. Может, встанешь походишь маленько? Давай я повожу тебя по избе… Сань?

– Мм?..

– Поломай себя… Разомнись маленько.

– Сходи, Филипп… дай веточку малины… Под плетнем растет. Только пыль не стряхни… Принеси.

Филя вышел в ночь, и она оглушила его своей необъятностью. Глухая весенняя ночь, темная, тяжкая… огромная. Филя никогда ничего в жизни не боялся, а тут вдруг чего-то оробел… Поспешно сломил молодую веточку малины, влажную от ночной сырости, и заторопился опять в избу. Подумал: «Какая на ней пыль? Не успела еще… пыль-то, дороги-то еще грязные. Откуда пыль-то?»

Саня приподнялся на локте и прямо в упор смотрел на Филю. Ждал. Филя одни только эти глаза и увидел в избе, когда вошел. Они полыхали болью, они молили, они звали его.

– Не хочу, Филипп! – ясно сказал Саня. – Все знаю… Не хочу! Не хочу!

Филя выронил веточку.

Саня, обессиленный, упал головой на подушку и тихо, и торопливо еще сказал:

– Господи, господи… какая вечность! Еще год… полгода! Больше не надо.

У Фили больно сжалось сердце. Он понял, что Саня помрет. Скоро помрет. Он молчал.

– Не боюсь, – тихо, из последних сил торопился Саня. – Не страшно… Но еще год – и я не приму. Ведь это же надо принять! Ведь нельзя же, чтобы так просто… Это же не казнь! Зачем же так?..

– Выпей водки, Сань?

– Еще полгода! Лето… Ничего не надо, буду смотреть на солнце… Ни одну травинку не помну… Кому же это надо, если я не хочу? – Саня плакал. – Филипп…

– Што, Сань?

– Кому же это надо? Ну ведь глупо же, глупо!.. Она же – дура! Колесо какое-то.

Филя тоже плакал – чувствовал, как по щекам текут слезы. Сердито вытирался рукавом.

– Сань… ты не обзывай ее, может, она… это… отступит. Не ругай ее.

– Я не ругаю. Но ведь как глупо! Так грубо… и ничем не помочь! Дура.

Саня закрыл глаза и замолк. И долго-долго молчал. Филя даже подумал, что уже – все.

– Поверни меня… – попросил Саня. – Отверни. – Филя повернул друга лицом к стене.

– Дура, – еще раз совсем тихо сказал Саня. И опять замолчал.

Филя с час примерно сидел на стуле не шевелясь, ждал, когда Саня что-нибудь попросит. Или заговорит. Саня больше не заговорил. Он помер.

Филя и другие мужики схоронили Саню. Тихо схоронили, без лишних слов. Помянули.

Филя посадил у изголовья его могилы березку. Она прижилась. И когда дули южные теплые ветры, березка кланялась и шевелила, шевелила множеством мелких зеленых ладоней – точно силилась что-то сказать. И не могла.

Алеша Бесконвойный
Его звали-то не Алеша, он был Костя Валиков, но все в деревне звали его Алешей Бесконвойным. А звали его так вот за что: за редкую в наши дни безответственность, неуправляемость. Впрочем, безответственность его не простиралась беспредельно: пять дней в неделе он был безотказный работник, больше того – старательный работник, умелый (летом он пас колхозных коров, зимой был скотником кочегарил на ферме, случалось-ночное дело – принимал, телят), но наступала суббота, и тут все: Алеша выпрягался, Два дня он не работал в колхозе: субботу и воскресенье. И даже уж и забыли, когда это он завел такой порядок, все знали, что этот преподобный Алеша «сроду такой» – в субботу и воскресенье не работает- Пробовали, конечно, повлиять на него, и не раз, но все без толку. Жалели вообще-то: у него пятеро ребятишек, из них только старший добрался до десятого класса, остальной чеснок сидел где-то еще во втором, в третьем, в пятом… Так и махнули на него рукой. А что сделаешь? Убеждай его, не убеждай – как об стенку горох. Хлопает глазами… «Ну, понял, Алеша?» – спросят. «Чего?» – «Да нельзя же позволять себе такие вещи, какие ты себе позволяешь! Ты же не на фабрике работаешь, ты же в сельском хозяйстве! Как же так-то? А?» – «Чего?» – «Брось дурачка из себя строить! Тебя русским языком спрашивают: будешь в субботу работать?» – «Нет. Между прочим, насчет дурачка – я ведь могу тоже… дам в лоб разок, и ты мне никакой статьи за это не найдешь. Мы тоже законы знаем. Ты мне оскорбление словом, я тебе – в лоб: считается – взаимность». Вот и поговори с ним. Он даже на собрания не ходил в субботу.

Что же он делал в субботу?

В субботу он топил баню. Все. Больше ничего. Накалял баню, мылся и начинал париться. Парился, как ненормальный, как паровоз, по пять часов парился! С отдыхом, конечно, с перекуром… Но все равно это же какой надо иметь организм! Конский?

В субботу он просыпался и сразу вспоминал, что сегодня суббота. И сразу у него распускалась в душе тихая радость. Он даже лицом светлел. Он даже не умывался, а шел сразу во двор – колоть дрова.

У него была своя наука – как топить баню. Например, дрова в баню шли только березовые: они дают после себя стойкий жар. Он колол их аккуратно, с наслаждением…

Вот, допустим, одна такая суббота.

Погода стояла как раз скучная – зябко было, сыро, ветрено – конец октября. Алеша такую погоду любил. Он еще ночью слышал, как пробрызнул дождик – постукало мягко, дробно в стекла окон и перестало. Потом в верхнем правом углу дома, где всегда гудело, загудело – ветер наладился. И ставни пошли дергаться. Потом ветер

поутих, но все равно утром еще потягивал – снеговой, холодный.

Алеша вышел с топором во двор и стал выбирать березовые кругляши на расколку. Холод полез под фуфайку… Но Алеша пошел махать топориком и согрелся.

Он выбирал из поленницы чурки потолще… Выберет, возьмет ее, как поросенка, на руки и несет к дровосеке.

– Ишь ты… какой, – говорил он ласково чурбаку. – Атаман какой…Ставил этого «атамана» на широкий пень и тюкал по голове.

Скоро он так натюкал большой ворох… Долго стоял и смотрел на этот ворох. Белизна и сочность, и чистота сокровенная поленьев, и дух от них – свежий, нутряной, чуть стылый, лесовой…

Алеша стаскал их в баню, аккуратно склал возле каменки, Еще потом будет момент – разжигать, тоже милое дело. Алеша даже волновался, когда разжигал в каменке. Он вообще очень любил огонь.

Но надо еще наносить воды. Дело не столько милое, но и противного в том ничего нет. Алеша старался только поскорей натаскать. Так семенил ногами, когда нес на коромысле полные ведра, так выгибался длинной своей фигурой, чтобы не плескать из ведер, смех смотреть. Бабы у колодца всегда смотрели. И переговаривались.

– Ты глянь, глянь, как пружинит! Чисто акробат!..

– И не плескает ведь!

– Да куда так несется-то?

– Ну, баню опять топит…

– Да рано же еще!

– Вот весь день будет баней заниматься. Бесконвойный он и есть… Алеша.

Алеша наливал до краев котел, что в каменке, две большие кадки и еще в оцинкованную ванну, которую от купил лет пятнадцать назад, в которой по очереди перекупались все его младенцы. Теперь он ее приспособил в баню, И хорошо! Она стояла на полке, с краю, места много не занимала – не мешала париться, – а вода всегда под рукой. Когда Алеша особенно заходился на полке, когда на голове волосы трещали от жары, он курял голову прямо в эту ванну.

Алеша натаскал воды и сел на порожек покурить. Это тоже дорогая минута – посидеть покурить. Тут же Алеша любил оглядеться по своему хозяйству в предбаннике и в сарайчике, который пристроен к бане продолжал предбанник. Чего только у него там не было! Старые литовки без черенков, старые грабли, вилы… Но был и верстачок, и был исправный инструмент: рубанок, ножовка, долота, стамески… Это все на воскресенье, это завтра он тут будет упражняться.

В бане сумрачно и неуютно пока, но банный терпкий, холодный запах разбавился уже запахом березовых поленьев – тонким, еле уловимым – это предвестье скорого праздника. Сердце Алеши нет-нет да и подмоет радость – подумает: «Сча-ас». Надо еще вымыть в бане: даже и этого не позволял делать Алеша жене – мыть. У него был заготовлен голичок, песочек в баночке… Алеша снял фуфайку, засучил рукава рубахи и пошел пластать, пошел драить. Все перемыл, все продрал голиком, окатил чистой водой и протер тряпкой. Тряпку ополоснул и повесил на сучок клена, клен рос рядом с баней. Ну, теперь можно и затопить, Алеша еще разок закурил… Посмотрел на хмурое небо, на унылый далекий горизонт, на деревню… Ни у кого еще баня не топилась. Потом будут, к вечеру, на скорую руку, кое-как, пых-пых… Будут глотать горький чад и париться, Напарится не напарится – угорит, придет, хлястнется на кровать, еле живой, и думает, это баня, Хэх!..

Алеша бросил окурок, вдавил его сапогом в мокрую землю и пошел топить.

Поленья в каменке он клал, как и все кладут: два – так, одно так, поперек, а потом сверху. Но там – в той амбразуре-то, которая образуется-то, – там кладут обычно лучины, бумагу, керосином еще навадились теперь обливать, – там Алеша

ничего не клал: то полено, которое клал поперек, он еще посередке ершил топором, и все, и потом эти заструги поджигал – загоралось. И вот это тоже очень волнующий момент – когда разгорается, Ах, славный момент!

Алеша присел на корточки перед каменкой и неотрывно смотрел, как огонь, сперва маленький, робкий, трепетный, все становится больше, все надежней. Алеша всегда много думал, глядя на огонь. Например: «Вот вы там хотите, чтобы все люди жили одинаково… Два полена и то сгорают неодинаково, а вы хотите, чтоб люди прожили одинаково!» Или еще он сделал открытие: человек, помирая, в конце в самом, – так вдруг захочет жить, так обнадеется, так возрадуется какому-нибудь лекарству!.. Это знают. Но точно так и палка любая: догорая, так вдруг вспыхнет, так озарится вся, такую выкинет шапку огня, что диву даешься: откуда такая последняя сила?

Дрова хорошо разгорелись, теперь можно пойти чайку попить. Алеша умылся из рукомойника, вытерся и с легкой душой пошел в дом. Пока он занимался баней, ребятишки, один за одним, ушлепали в школу. Дверь Алеша слышал – то и дело хлопала, и скрипели воротца. Алеша любил детей, но никто бы никогда так не подумал, что он любит детей: он не показывал. Иногда он подолгу внимательно смотрел на какого-нибудь, и у него в груди ныло от любви и восторга. Он все изумлялся природе: из чего получился человек?! Ведь не из чего, из малой какой-то малости. Особенно он их любил, когда они были еще совсем маленькие, беспомощные. Вот уж, правда что, стебелек малый: давай цепляйся теперь изо всех силенок, карабкайся. Впереди много всякого будет – никаким умом вперед не скинешь. И они растут, карабкаются. Будь на то Алешина воля, он бы еще пятерых смастерил, но жена устала. Когда пили чай, поговорили с женой.

– Холодно как уж стало. Снег, гляди, выпадет, – сказала жена.

– И выпадет. Оно бы и ничего, выпал-то, на сырую землю.

– Затопил?

– Затопил.

– Кузьмовна заходила… Денег занять.

– Ну? Дала?

– Дала. До среды, говорит, а там, мол, за картошку получит…

– Ну и ладно. – Алеше нравилось, что у них можно, например, занять денег – все как-то повеселей в глаза людям смотришь. А то наладились: «Бесконвойный, Бесконвойный». Глупые. – Сколько попросила-то?

– Пятнадцать рублей. В среду, говорит, за картошку получим…

– Ну и ладно. Пойду продолжать.

Жена ничего не сказала на это, не сказала, что иди, мол, или еще чего в таком духе, но и другого чего тоже не сказала. А раньше, бывало, говорила, до ругани дело доходило: надо то сделать, надо это сделать – не день же целый баню топить! Алеша и тут не уступил ни на волос: в субботу только баня. Все. Гори все синим огнем! Пропади все пропадом! «Что мне, душу свою на куски порезать?!» – кричал тогда Алеша не своим голосом. И это испугало Таисью, жену. Дело в том, что старший брат Алеши, Иван, вот так-то застрелился. А довела тоже жена родная: тоже чего-то ругались, ругались, до того доругались, что брат Иван стал биться головой об стенку и приговаривать: «Да до каких же я пор буду мучиться-то?! До каких?! До каких?!» Дура жена вместо того, чтобы успокоить его, взяла да еще подъелдыкнула: «Давай, давай… Сильней! Ну-ка, лоб крепче или стенка?» Иван сгреб ружье… Жена брякнулась в обморок, а Иван полыхнул себе в грудь, Двое детей осталось. Тогда-то Таисью и предупредили: «Смотри… а то не в роду ли это у их». И Таисья отступилась.

Напившись чаю, Алеща покурил в тепле, возле печки, и пошел опять в баню. А баня вовсю топилась.

Из двери ровно и сильно, похоже, как река заворачивает, валил, плавно загибаясь кверху, дым. Это первая пора, потом, когда в каменке накопится больше жару, дыму

сплюснулось. Но и теперь все до мелочи помнил Алеша. Аля, так ее звали, взяла его под руку… Алеша помнил, какая у нее была рука мяконькая, теплая под шершавеньким крепдешином. Какого цвета платье было на ней, он, правда, не помнил, но колючечки остренькие этого крепдешина, некую его теплую шершавость он всегда помнил и теперь помнит. Он какой-то и колючий и скользкий, этот крепдешин. И часики у нее на руке помнил Алеша – маленькие (трофейные), узенький ремешок врезался в мякоть руки. Вот то-то и оглушило тогда, что женщина сама просто, доверчиво – взяла его под руку и пошла потом, прикасаясь боком своим мяконьким к нему… И тепло это – под рукой ее – помнил же. Да… Ну, была ночь. Утром Алеша не обнаружил ни Али, ни своих шмоток. Потом уж, когда Алеша ехал в вагоне (документы она не взяла), он сообразил, что она тем и промышляла, что встречала эшелоны и выбирала солдатиков поглупей. Но вот штука-то – спроси она тогда утром: отдай, мол, Алеша, ковер немецкий, отдай гимнастерку, отдели сапоги – все отдал бы. Может, пару сапог оставил бы себе. Вот ту Алю крепдешиновую и вспоминал. Алеша, когда оставался сам с собой, и усмехался. Никому никогда не рассказывал Алеша про тот случай, а он ее любил, Алю-то. Вот как. Дровишки прогорели… Гора, золотая, горячая, так и дышала, так и валил жар. Огненный зев нет-нет да схватывал синий огонек… Вот он – угар. Ну, давай теперь накаляйся все тут – стены, полок, лавки… Потом не притронешься.

Алеша накидал на пол сосновых лап – такой будет потом Ташкент в лесу, такой аромат от этих веток, такой вольный дух, черт бы его побрал, – славно! Алеша всегда хотел не суетиться в последний момент, но не справлялся. Походил по ограде, прибрал топор… Сунулся опять в баню – нет, угарно. Алеша пошел в дом.

– Давай бельишко, – сказал жене, стараясь скрыть свою радость – она почему-то всех раздражала, эта его радость субботняя. Черт их тоже поймет, людей: сами ворочают глупость за глупостью, не вылезают из глупостей, а тут, видите ли, удивляются, фыркают, не понимают.

Жена Таисья молчком открыла ящик, усунулась под крышку… Это вторая жена Алеши, Первая, Соня Полосухина, умерла. От нее детей не было. Алеша меньше всего про них думал: и про Соню, и про Таисью. Он разболокся до нижнего белья, посидел на табуретке, подобрав поближе к себе босые ноги, испытывая в этом положении некую приятность, Еще бы закурить… Но курить дома он отвык давно уж – как пошли детишки.

– Зачем Кузьмовне деньги-то понадобились? – спросил Алеша.

– Не знаю. Да кончились – от и понадобились. Хлеба небось не на что купить.

– Много они картошки-то сдали?

– Воза два отвезли… Кулей двадцать.

– Огребут деньжат!

– Огребут, Все колют… Думаешь, у них на книжке нету?

– Как так нету! У Соловьевых да нету!

– Кальсоны-то потеплей дать? Или бумажные пока?..

– Давай бумажные, пока еще не так нижет.

– На.

Алеша принял свежее белье, положил на колени, посидел еще несколько, думая, как там сейчас, в бане.

– Так… Ну ладно.

– У Кольки ангина опять.

– Зачем же в школу отпустила?

– Ну… – Таисья сама не знала, зачем отпустила. – Чего будет пропускать. И так-то учится через пень колоду.

— Да… — Странно, Алеша никогда всерьез не переживал болезнь своих детей, даже когда они тяжело болели, — не думал о плохом. Просто как-то не приходила эта мысль.

И ни один, слава богу, не помер. Но зато как хотел Алеша, чтоб дети его выучились, уехали бы в большой город и возвысились там до почета и уважения. А уж летом приезжали бы сюда, в деревню, Алеша суетился бы возле них — возле их жен, мужей, детишек ихних… Ведь никто же не знает, какой Алеша добрый человек, заботливый, а вот те, городские-то, сразу бы это заметили. Внучатки бы тут бегали по ограде… Нет, жить, конечно, имеет смысл. Другое дело, что мы не всегда умеем. И особенно это касается деревенских долбаков — вот уж упрямый народишко! И возьми даже своих ученых людей — агрономов, учителей: нет зазнавитее человека, чем свой, деревенский же, но который выучился в городе и опять приехал сюда. Ведь она же идет, она же никого не видит! Какого бы она малого росточка ни была, а все норовит выше людей глядеть. Городские, те как-то умеют, собаки, и культуру свою показать, и никого не унизить. Он с тобой, наоборот, первый поздоровается.

— Так… Ну ладно, — сказал Алеша. — Пойду.

И Алеша пошел в баню. Очень любил он пройти из дома в баню как раз при такой погоде, когда холодно и сыро. Ходил всегда в одном белье, нарочно шел медленно, чтоб озябнуть. Еще находил какое-нибудь заделье по пути: собачью цепь распутает, пойдет воротца хорошенько прикроет. Это чтоб покрепче озябнуть.

В предбаннике Алеша разделся донага, мельком оглядел себя ничего, крепкий еще мужик. А уж сердце заныло — в баню хочет. Алеша усмехнулся на свое нетерпение. Еще побыл маленько в предбаннике… Кожа покрылась пупырышками, как тот самый крепдешин, хэх… Язви тебя в душу, чего только в жизни не бывает! Вот за что и любил Алеша субботу: в субботу он так много размышлял, вспоминал, думал, как ни в какой другой день. Так за какие же такие великие ценности отдавать вам эту субботу? А?

Догоню, догоню, догоню,
Хабибу догоню!..
пропел Алеша негромко, открыл дверь и ступил в баню.

Эх, жизнь!.. Была в селе общая баня, и Алеша сходил туда разок для ощущения. Смех и грех! Там как раз цыгане мылись. Они не мылись, а в основном пиво пили. Мужики ворчат на них, а они тоже ругаются: «Вы не понимаете, что такое баня!» Они понимают! Хоть, впрочем, в такой-то бане, как общая-то, только пиво и пить сидеть. Не баня, а недоразумение какое-то. Хорошо еще не в субботу ходил; в субботу истопил свою и смыл к чертовой матери все воспоминания об общественной бане.

…И пошла тут жизнь-вполне конкретная, но и вполне тоже необъяснимая-до краев дорогая и родная. Пошел Алеша двигать тазы, ведра… — стал налаживать маленький Ташкент. Всякое вредное напряжение совсем отпустило Алешу, мелкие мысли покинули голову, вселилась в душу некая цельность, крупность, ясность — жизнь стала понятной. То есть она была рядом, за окошечком бани, но Алеша стал недосягаем для нее, для ее суетни и злости, он стал большой и снисходительный. И любил Алеша — от полноты и покоя — попеть пока, пока еще не наладился париться. Наливал в тазик воду, слушал небесно-чистый звук струи и незаметно для себя пел негромко. Песен он не знал: помнил только кое-какие деревенские частушки да обрывки песен, которые пели дети дома. В бане он любил помурлыкать частушки.

Погляжу я по народу
Нет моего милого,
спел Алеша, зачерпнул еще воды.
Кучерявый чуб большой,
Как у Ворошилова.
И еще зачерпнул, еще спел:
Истопила мама баню,
Посылает париться.
Мне, мамаша, не до бани
Миленький венчается.
Навел Алеша воды в тазике… А в другой таз, с кипятком, положил пока веник — распаривать. Стал мыться… Мылся долго, с остановками. Сидел на теплом полу, на

ветках, плескался и мурлыкал себе:

Я сама иду дорогой,
Моя дума – стороной.
Рано, милый, похвалился,
Что я буду за тобой.
И точно плывет он по речке – плавной и теплой, а плывет как-то странно и хорошо – сидя. И струи теплые прямо где-то у сердца.

Потом Алеша полежал на полке – просто так. И вдруг подумал: а что, вытянусь вот так вот когда-нибудь… Алеша даже и руки сложил на груди и полежал так малое время. Напрягся было, чтоб увидеть себя, подобного, в гробу. И уже что-то такое начало мерещиться – подушка вдавленная, новый пиджак… Но душа воспротивилась дальше, Алеша встал и, испытывая некое брезгливое чувство, окатил себя водой, И для бодрости еще спел:

Эх, догоню, догоню, догоню,
Хабибу до-го-ню!
Ну ее к черту! Придет-придет, чей раньше времени тренироваться! Странно, однако же: на войне Алеша совсем не думал про смерть – не боялся. Нет, конечно, укрывался от нее как мог, но в такие вот подробности не входил. Ну ее к лешему! Придет – придет, никуда не денешься. Дело не в этом. Дело в том, что этот праздник на земле – это вообще не праздник, не надо его и понимать как праздник, не надо его и ждать, а надо спокойно все принимать и «не суетиться перед клиентом». Алеша недавно услышал анекдот о том, как опытная сводня учила в бардаке своих девок: «Главное, не суетиться перед клиентом». Долго Алеша смеялся и думал: «Верно, суетимся много перед клиентом». Хорошо на земле, правда, но и прыгать козлом – чего же? Между прочим, куда радостнее бывает, когда радость эту не ждешь, не готовишься к ней. Суббота – это другое дело, субботу он как раз ждет всю неделю. Но вот бывает; плохо с утра, вот что-то противно, а выйдешь с коровами за село, выглянет солнышко, загорится какойнибудь куст тихим огнем сверху… И так вдруг обогреет тебя нежданная радость, так хорошо сделается, что станешь и стоишь, и не заметишь, что стоишь и улыбаешься. Последнее время Алеша стал замечать, что он вполне осознанно лг» бит. Любит степь за селом, зарю, летний день… То есть он вполне понимал, что он – любит. Стал стучаться покой в душе – стал любить. Людей труднее любить, но вот детей и степь, например, он любил все больше и больше.

Так думал Алеша, а пока он так думал, руки делали. Он вынул распаренный душистый веник из таза, сполоснул тот таз, навел в нем воды попрохладней… Дальше зачерпнул ковш горячей воды из котла и кинул на каменку – первый, пробный. Каменка ахнула и пошла шипеть и клубиться. Жар вцепился в уши, полез в горло… Алеша присел, переждал первый натиск и потом только взобрался на полок. Чтобы доски полка не поджигали бока и спину, окатил их водой из тазика. И зашуршал веничком по телу. Вся-то ошибка людей, что они сразу начинают что есть силы охаживать себя веником. Надо-сперва почесать себя – походить веником вдоль спины, по бокам, по рукам, по ногам… Чтобы он шепотком, шепотком, шепотком пока. Алеша искусно это делал: он мелко тряс веник возле тела, и листочки его, точно маленькие горячие ладошки, касались кожи, раззадоривали, вызывали неистовое желание сразу исхлестаться. Но Алеша не допускал этого, нет. Он ополоснулся, полежал… Кинул на каменку еще полковша, подержал веник под каменкой, над паром, и поприкладывал его к бокам, под коленки, к пояснице… Спустился с полка, приоткрыл дверь и присел на скамеечку покурить. Сейчас даже малые остатки угарного газа, если они есть, уйдут с первым сырым паром. Каменка обсохнет, камни снова накалятся, и тогда можно будет париться без опаски и вволю. Так-то, милые люди.

…Пришел Алеша из бани, когда уже темнеть стало. Был он весь новый, весь парил. Скинул калоши у порога и по свежим половичкам прошел в горницу. И прилег на кровать. Он не слышал своего тела, мир вокруг покачивался согласно сердцу.

В горнице сидел старший сын Борис, читал книгу.

– С легким паром! – сказал Борис.

– Ничего, – ответил Алеша, глядя перед собой. – Иди в баню-то.

– Сейчас пойду.

Борис, сын, с некоторых пор стал не то что стыдиться, а как-то неловко ему было, что ли, – стал как-то переживать, что отец его скотник и пастух. Алеша заметил это и молчал. По первости его глубоко обидело такое, но потом он раздумался и не показал даже вида, что заметил перемену в сыне. От молодости это, от больших устремлений. Пусть. Зато парень вымахал рослый, красивый, может, бог даст, и умишком возьмет. Хорошо бы. Вишь, стыдится, что отец пастух… Эх, милый! Ну, давай, давай целься повыше, глядишь, куда-нибудь и попадешь. Учится хорошо. Мать говорила, что уж и девчонку какую-то провожает… Все нормально. Удивительно вообще-то, но все нормально.

– Иди в баню-то, – сказал Алеша.

– Жарко там?

– Да теперь уж какой жар!.. Хорошо. Ну, жарко покажется, открой отдушину.

Так и не приучил Алеша сыновей париться: не хотят. В материну породу, в Коростылевых. Он пошел собираться в баню, а Алеша продолжал лежать.

Вошла жена, склонилась опять над ящиком – достать белье сыну.

– Помнишь, – сказал Алеша, – Маня у нас, когда маленькая была, стишок сочинила:

Белая березка
Стоит под дождем,
Зеленый лопух ее накроет,
Будет там березке тепло и хорошо.
Жена откачнулась от ящика, посмотрела на Алешу… Какое-то малое время вдумывалась в его слова, ничего не поняла, ничего не сказала, усунулась опять в сундук, откуда тянуло нафталином. Достала белье, пошла в прихожую комнату. На пороге остановилась, повернулась к мужу.

– Ну и что? – спросила она.

– Что?

– Стишок-то сочинила… К чему ты?

– Да смешной, мол, стишок-то.

Жена хотела было уйти, потому что не считала нужным тратить теперь время на пустые слова, но вспомнила что-то и опять оглянулась.

– Боровишку-то загнать надо да дать ему – я намешала там. Я пойду ребятишек в баню собирать. Отдохни да сходи приберись.

– Ладно.

Баня кончилась. Суббота еще не кончилась, но баня уже кончилась.

Микроскоп
На это надо было решиться. Он решился. Как-то пришел домой – сам не свой – желтый; не глядя на жену, сказал:

– Это… я деньги потерял. – При этом ломаный его нос (кривой, с горбатинкой) из желтого стал красным. – Сто двадцать рублей.

У жены отвалилась челюсть, на лице появилось просительное выражение: может, это шутка? Да нет, этот кривоносик никогда не шутит, не умеет. Она глупо спросила:

– Где?

Тут он невольно хмыкнул.

– Дак если б я знал, я б пошел и…

– Ну не-ет!! – взревела она. – Ухмыляться ты теперь доолго не будешь! – И

побежала за сковородником. – Месяцев девять, гад!

Он схватил с кровати подушку – отражать удары. (Древние только форсили своими сверкающими щитами. Подушка!) Они закружились по комнате…

– Подушку-то, подушку-то мараешь! Самой стирать!..

– Выстираю! Выстираю, кривоносик! А два ребра мои будут! Мои! Мои!..

– По рукам, слушай!..

– От-теньки-коротеньки!.. Кривенькие носики!

– По рукам, зараза! Я ж завтра на бюлитень сяду! Тебе же хуже.

– Садись!

– Тебе же хуже…

– Пускай!

– Ой!

– От так!

– Ну, будет?

– Нет, дай я натешусь! Дай мне душеньку отвести, скважина ты кривоносая! Дятел… – Тут она изловчилась и больно достала его по голове. Немножко сама испугалась…

Он бросил подушку, схватился за голову, застонал. Она пытливо смотрела на него: притворяется или правда больно? Решила, что – правда. Поставила сковородник, села на табуретку и завыла. Да с причетом, с причетом:

– Ох, да за штоже мне долюшка така-ая-а?.. Да копила-то я их, копила!.. Ох, да лишний-то раз кусочка белого не ела-а!.. Ох, да и детушкам своим пряничка сладкого не покупала!.. Все берегла-то я, берегла, скважина ты кривоносая-а!.. Ох-х!.. Каждую-то копеечку откладывала да радовалась: будут у моих детушек к зиме шубки теплые да нарядные! И будут-то они ходить в школу не рваные да не холодные!..

– Где это они у тебя рваные-то ходют? – не вытерпел он.

– Замолчи, скважина! Замолчи. Съел ты эти денюжки от своих же детей! Съел и не подавился… Хоть бы ты подавился имя, нам бы маленько легче было.

– Спасибо на добром слове, – ядовито прошептал он.

– М-хх, скважина!.. Где был-то? Может, вспомнишь?.. Может, на работе забыл где-нибудь? Может, под верстак положил да забыл?

– Где на работе!.. Я в сберкассу-то с работы пошел. На работе…

– Ну, может, заходил к кому, скважина?

– Ни к кому не заходил.

– Может, пиво в ларьке пил с алкоголиками?.. Вспомни. Может, выронил на пол… Беги, они пока ишо отдадут.

– Да не заходил я в ларек!

– Да где ж ты их потерять-то мог, скважина?

– Откуда я знаю?

– Ждала его!.. Счас бы пошли с ребятишками, примерили бы шубки… Я уж там подобрала – какие. А теперь их разберут. Ох, скважина ты, скважина…

– Да будет тебе! Заладила: скважина, скважина…

– Кто же ты?

– Што теперь сделаешь?

– Будешь в две смены работать, скважина! Ты у нас худой будешь… Ты у нас выпьешь теперь читушечку после бани, выпьешь! Сырой водички из колодца…

– Нужна она мне, читушечка. Без нее обойдусь.

– Ты у нас пешком на работу ходить будешь! Ты у нас покатаешься на автобусе.

Тут он удивился:

– В две смены работать и – пешком? Ловко…

– Пешком! Пешком – туда и назад, скважина! А где, так ишо побежишь – штоб не опоздать. Отольются они тебе, эти денюжки, вспомнишь ты их не раз.

– В две не в две, а по полторы месячишко отломаю – ничего, – серьезно сказал он, потирая ушибленное место. – Я уж с мастером договорился… – Он не сообразил сперва, что проговорился. А когда она недоуменно глянула на него, поправился: – Я, как хватился денег-то, на работу снова поехал и договорился.

– Ну-ка дай сберегательную книжку, – потребовала она. Посмотрела, вздохнула и еще раз горько сказала: – Скважина.

С неделю Андрей Ерин, столяр маленькой мастерской при «Заготзерне», что в девяти километрах от села, чувствовал себя скверно. Жена все злилась; он то и дело получал «скважину», сам тоже злился, но обзываться вслух не смел.

Однако дни шли… Жена успокаивалась. Андрей ждал. Наконец решил, что – можно.

И вот поздно вечером (он действительно «вламывал» по полторы смены) пришел он домой, а в руках держал коробку, а в коробке, заметно, что-то тяжеленькое. Андрей тихо сиял.

Ему нередко случалось приносить какую-нибудь работу на дом, иногда это были небольшие какие-нибудь деревянные штучки, ящички, завернутые в бумагу, – никого не удивляло, что он с чем-то пришел. Но Андрей тихо сиял. Стоял у порога, ждал, когда на него обратят внимание… На него обратили внимание.

– Чего эт ты, как… голый зад при луне, светисся?

– Вот… дали за ударную работу. – Андрей прошел к столу, долго распаковывал коробку. И наконец, открыл. И выставил на стол… микроскоп. – Микроскоп.

– Для чего он тебе?

Тут Андрей Ерин засуетился. Но не виновато засуетился, как он всегда суетился, а как-то снисходительно засуетился.

– Луну будем разглядывать! – И захохотал. Сын-пятиклассник тоже засмеялся: луну в микроскоп!

– Чего вы? – обиделась мать.

Отец с сыном так и покатились.

Мать навела на Андрея строгай взгляд. Тот успокоился.

– Ты знаешь, что тебя на каждом шагу окружают микробы? Вот ты зачерпнула кружку воды… Так? – Андрей зачерпнул кружку воды. – Ты думаешь, ты воду пьешь?

– Пошел ты!

– Нет, ты ответь.

– Воду пью.

Андрей посмотрел на сына и опять невольно захохотал.

– Воду она пьет!.. Ну не дура?..

– Скважина! Счас сковородник возьму.

Андрей снова посерьезнел.

– Микробов ты пьешь, голубушка, микробов. С водой-то. Миллиончика два тяпнешь – и порядок. На закуску! – Отец и сын опять не могли удержаться от смеха. Зоя (жена) пошла в куть за сковородником.

– Гляди суда! – закричал Андрей. Подбежал с кружкой к микроскопу, долго настраивал прибор, капнул на зеркальный кружок капельку воды, приложился к трубе и, наверно, минуты две, еле дыша, смотрел. Сын стоял за ним – смерть как хотелось тоже глянуть.

– Пап!..

– Вот они, собаки!.. – прошептал Андрей Ерин. С каким-то жутким восторгом прошептал: – Разгуливают.

– Ну пап!

Отец дрыгнул ногой.

– Туда-сюда, туда-сюда!.. Ах, собаки!

– Папка!

– Дай ребенку посмотреть! – строго велела мать, тоже явно заинтересованная.

Андрей с сожалением оторвался от трубки, уступил место сыну. И жадно и ревниво уставился ему в затылок. Нетерпеливо спросил:

– Ну?

Сын молчал.

– Ну?!

– Вот они! – заорал парнишка. – Беленькие…

Отец оттащил сына от микроскопа, дал место матери.

– Гляди! Воду она пьет…

Мать долго смотрела… Одним глазом, другим…

– Да никого я тут не вижу.

Андрей прямо зашелся весь, стал удивительно смелый.

– Оглазела! Любую копейку в кармане найдет, а здесь микробов разглядеть не может. Они ж чуть не в глаз тебе прыгают, дура! Беленькие такие…

Мать, потому что не видела никаких беленьких, а отец с сыном видели, не осердилась.

– Вон, однако… – Может, соврала, у нее выскакивало. Могла приврать.

Андрей решительно оттолкнул жену от микроскопа и прилип к трубке сам. И опять голос его перешел на шепот.

– Твою мать, што делают! Што делают!..

– Мутненькие такие? – расспрашивала сзади мать сына. – Вроде как жиринки в супу?.. Они, што ли?

– Ти-ха! – рявкнул Андрей, не отрываясь от микроскопа. – Жиринки… Сама ты жиринка. Ветчина целая. – Странно, Андрей Ерин становился крикливым хозяином в доме.

Старший сынишка-пятиклассник засмеялся. Мать дала ему подзатыльник. Потом подвела к микроскопу младших.

– Ну-ка ты, доктор кислых щей!.. Дай детям посмотреть. Уставился.

Отец уступил место у микроскопа и взволнованно стал ходить по комнате. Думал о чем-то.

Когда ужинали, Андрей все думал о чем-то, поглядывал на микроскоп и качал головой. Зачерпнул ложку супа, показал сыну:

– Сколько здесь? Приблизительно?

Сын наморщил лоб:

– С полмиллиончика есть.

Андрей Ерин прищурил глаз на ложку.

– Не меньше. А мы их – ам! – Он проглотил суп и хлопнул себя по груди. – И – нету. Сейчас их там сам организм начнет колошматить. Он-то с имя управляется!

– Небось сам выпросил? – Жена с легким неудовольствием посмотрела на микроскоп. – Может, пылесос бы дали. А то пропылесосить – и нечем.

Нет, Бог, когда создавал женщину, что-то такое намудрил. Увлекся творец, увлекся. Как всякий художник, впрочем. Да ведь и то – не Мыслителя делал.

Ночью Андрей два раза вставал, зажигал свет, смотрел в микроскоп и шептал:

– От же ж собаки!.. Што вытворяют. Што они только вытворяют! И не спится им!

– Не помешайся, – сказала жена, – тебе ведь немного и надо-то – тронешься.

– Скоро начну открывать, – сказал Андрей, залезая в тепло к жене. – Ты с ученым спала когда-нибудь?

– Еще чего!..

– Будешь. – И Андрей Ерин ласково похлопал супругу по мягкому плечу. – Будешь, дорогуша, с ученым спать.

Неделю, наверно, Андрей Ерин жил как во сне. Приходил с работы, тщательно умывался, наскоро ужинал… Косился на микроскоп.

– Дело в том, – рассказывал он, – что человеку положено жить сто пятьдесят лет. Спрашивается, почему же он шестьдесят, от силы семьдесят – и протянул ноги? Микробы! Они, сволочи, укорачивают век человеку. Пролезают в организм, и как только он чуток ослабнет, они берут верх.

Вдвоем с сыном часами сидели они у микроскопа, исследовали. Рассматривали каплю воды из колодца, из питьевого ведра… Когда шел дождик, рассматривали дождевую капельку. Еще отец посылал сына взять для пробы воды из лужицы… И там этих беленьких кишмя кишело.

– Твою мать-то, што делают!.. Ну вот как с имя бороться? – У Андрея опускались руки. – Наступил человек в лужу, пришел домой, наследил. Тут же прошел и ребенок босыми ногами и, пожалуйста, подцепил. А какой там организм у ребенка!

– Поэтому всегда надо вытирать ноги, – заметил сын. – А ты не вытираешь.

– Не в этом дело. Их надо научиться прямо в луже уничтожать. А то – я вытру, знаю теперь, а Сенька вон Маров… докажи ему: как шлепал, дурак, так и впредь будет.

Рассматривали также капельку пота, для чего сынишка до изнеможения бегал по улице, потом отец ложечкой соскреб у него со лба влагу – получили капельку, склонились к микроскопу…

– Есть! – Андрей с досадой ударил себя кулаком по колену. – Иди проживи сто пятьдесят лет!.. В коже и то есть.

– Давай опробуем кровь? – предложил сын.

Отец уколол себе палец иголкой, выдавил ярко-красную ягодку крови, стряхнул на зеркальце… Склонился к трубке и застонал.

– Хана, сынок, – в кровь пролезли! – Андрей Ерин распрямился, удивленно посмотрел вокруг. – Та-ак. А ведь знают, паразиты, лучше меня знают – и молчат.

– Кто? – не понял сын.

– Ученые. У их микроскопы-то получше нашего – все видят. И молчат. Не хотят расстраивать народ. А чего бы не сказать? Может, все вместе-то и придумали бы, как их уничтожить. Нет, сговорились и молчат. Волнение, мол, начнется.

Андрей Ерин сел на табуретку, закурил.

– От какой мелкой твари гибнут люди! – Вид у Андрея был убитый.

Сын смотрел в микроскоп.

– Друг за дружкой гоняются! Эти маленько другие… Кругленькие.

– Все они – кругленькие, длинненькие – все на одну масть. Матери не говори пока, што мы у меня их в крове видели.

– Давай у меня посмотрим?

Отец внимательно поглядел на сына… И любопытство, и страх отразились в глазах Ерина-старшего. Руки его, натруженные за много лет – большие, пропахшие смольем… чуть дрожали на коленях.

– Не надо. Может, хоть у маленьких-то… Эх вы! – Андрей встал, пнул со зла табуретку. – Вшей, клопов, личинок всяких – это научились выводить, а тут каких-то… меньше же гниды самой маленькой – и ничего сделать не можете! Где же ваша ученая степень!

– Вшу видно, а этих… Как ты их?

Отец долго думал.

– Скипидаром?.. Не возьмет. Водка-то небось покрепче… я ж пью, а вон видел, што делается в крове-то!

– Водка в кровь, что ли, поступает?

– А куда же? С чего же дуреет человек?

Как-то Андрей принес с работы длинную тонкую иглу… Умылся, подмигнул сыну, и они ушли в горницу.

– Давай попробуем… Наточил проволочку – может, сумеем наколоть парочку.

Кончик проволочки был тонкий-тонкий – прямо волосок. Андрей долго ширял этим кончиком в капельку воды. Пыхтел… Вспотел даже.

– Разбегаются, заразы… Нет, толстая, не наколоть. Надо тоньше, а тоньше уже нельзя – не сделать. Ладно, счас поужинаем, попробуем их током… Я батарейку прихватил: два проводка подведем и законтачим. Посмотрим, как тогда они будут…

И тут-то во время ужина нанесло неурочного: зашел Сергей Куликов, который работал вместе с Андреем в «Заготзерне». По случаю субботы Сергей был под хмельком, потому, наверно, и забрел к Андрею – просто так.

В последнее время Андрею было не до выпивок, и он с удивлением обнаружил, что брезгует пьяными. Очень уж они глупо ведут себя и говорят всякие несуразные слова.

– Садись с нами, – без всякого желания пригласил Андрей.

– Зачем? Мы вот тут… Нам што? Нам – в уголку!..

«Ну чего вот сдуру сиротой казанской прикинулся?»

– Как хочешь.

– Дай микробов посмотреть?

Андрей встревожился.

– Каких микробов? Иди проспись, Серега… Никаких у меня микробов нету.

– Чего ты скрываешь-то? Оружию, што ли, прячешь? Научное дело… Мне мой парнишка все уши прожужжал: дядя Андрей всех микробов хочет уничтожить. Андрей!.. – Сергей стукнул себя в грудь кулаком, устремил свирепый взгляд на «ученого». – Золотой памятник отольем!.. На весь мир прославим! А я с тобой рядом работал!.. Андрюха!

Зое Ериной, хоть она тоже не выносила пьяных, тем не менее лестно было, что говорят про ее мужа – ученый. Скорей по привычке поворчать при случае, чем из истинного чувства, она заметила:

– Не могли уж чего-нибудь другое присудить? А то – микроскоп. Свихнется теперь мужик – ночи не спит. Што бы – пылесос какой-нибудь присудить… А то пропылесосить – и нечем, не соберемся никак купить.

– Кого присудить? – не понял Сергей.

Андрей Ерин похолодел.

– Да премию-то вон выдали… Микроскоп-то этот…

Андрей хотел было как-нибудь – глазами – дать понять Сергею, что… но куда там! Тот уставился на Зою как баран.

– Какую премию?

– Ну премию-то вам давали!

– Кому?

Зоя посмотрела на мужа, на Сергея…

– Вам премию выдавали?

– Жди, выдадут они премию! Догонют да ишо раз выдадут. Премию…

– А Андрею вон микроскоп выдали… за ударную работу… – Голос супруги Ериной упал до жути – она все поняла.

– Они выдадут! – разорялся в углу пьяный Сергей. – Я в прошлом месяце на сто тридцать процентов нарядов назакрывал… так? Вон Андрей не даст соврать…

Все рухнуло в один миг и страшно устремилось вниз, в пропасть.

Андрей встал… Взял Сергея за шкирку и вывел из избы. Во дворе стукнул его разок по затылку, потом спросил:

– У тебя три рубля есть? До получки…

– Есть… Ты за што меня ударил?

– Пошли в лавку. Кикимора ты болотная!.. Какого хрена пьяный болтаешься по дворам?.. Эх-х… Чурка ты с глазами.

В эту ночь Андрей Ерин ночевал у Сергея. Напились они с ним до соплей. Пропили свои деньги, у кого-то еще занимали до получки.

Только на другой день, к обеду, заявился Андрей домой… Жены не было.

– Где она? – спросил сынишку

– В город поехала, в эту… как ее… в комиссионку.

Андрей сел к столу, склонился на руки. Долго сидел так.

– Ругалась?

– Нет. Так, маленько. Сколько пропил?

– Двенадцать рублей. Ах, Петька… сынок… – Андрей Ерин, не поднимая головы, горько сморщился, заскрипел зубами. – Разве же в этом дело?! Не поймешь ты по малости своей… не поймешь…

– Понимаю: она продаст его.

– Продаст. Да… Шубки надо. Ну ладно – шубки, ладно. Ничего… Надо: зима скоро. Учись, Петька! – повысил голос Андрей. – На карачках, но ползи в науку – великое дело. У тя в копилке мелочи нисколь нету?

– Нету, – сказал Петька. Может, соврал.

– Ну и ладно, – согласился Андрей. – Учись знай. И не пей никогда… Да они и не пьют, ученые-то. Чего им пить? У их делов хватает без этого.

Андрей посидел еще, покивал грустно головой… И пошел в горницу спать.

Сураз
Спирьке Расторгуеву – тридцать шестой, а на вид – двадцать пять, не больше. Он поразительно красив: в субботу сходит в баню, пропарится, стащит с недельную шоферскую грязь, наденет свежую рубаху – молодой бог! Глаза ясные, умные… Женственные губы ало цветут на смуглом лице. Сросшиеся брови, как вороньго крыла, размахнулись в капризном изгибе. Черт его знает!.. Природа, тоже иногда шутит. Ну зачем ему? Он и сам говорит: «Это мне – до фени». Ему все фени. Тридцать шесть лет – ни семьи, ни хозяйства настоящего. Знает свое машинничать да к одиноким бабам по ночам шастать. Шастает ко всем подряд, без разбора. Ему это – тоже «до фени». Как назло кому: любит постарше и пострашнее.

– Спирька, дурак ты, дурак, хоть рожу свою пожалей! К кому поперся – к Лизке корявой, к терке!.. Неужели не совестно?

– С лица воду не пить, – резонно отвечает Спирька. – Она – терка, а душевней всех вас.

Жизнь Спирьки скособочилась рано. Еще он только был в пятом классе, а уж начались с ним всякие истории. Учительница немецкого языка, тихая обидчивая старушка из эвакуированных, пристально рассматривая Спирьку, говорила с удивлением:

– Байрон!.. Это поразительно, как похож!

Спирька возненавидел старушку.

Только подходило «Анна унд Марта баден», у него болела душа опять пойдет: «Нет, это поразительно!.. Вылитый маленький Байрон». Спирьке это надоело. Однажды старушка завела по обыкновению:

– Невероятно, никто не поверит: маленький Бай…

– Да пошла ты к… – И Спирька загнул такой мат, какого постеснялся бы пьяный мужик.

У старушки глаза полезли на лоб. Она потом говорила:

– Я не испугалась, нет, я была санитаркой в четырнадцатом году, я много видела и слышала… Но меня поразило: откуда он-то знает такие слова?! А какое прекрасное лицо!.. Боже, какое у него лицо – маленький Байрон!

«Байрона» немилосердно выпорола мать. Он отлежался и двинул на фронт. В Новосибирске его поймали, вернули домой. Мать опять жестоко избила его… А ночью рвала на себе волосы и выла над сыном; она прижила Спирьку от «проезжего молодца» и болезненно любила и ненавидела в нем того молодца: Спирька был вылитый отец, даже характером сшибал, хоть в глаза не видал его.

В школу он больше не пошел, как мать ни билась и чем только ни лупила. Он пригрозил, что прыгнет с крыши на вилы. Мать отступилась. Спирька пошел работать в колхоз.

Рос дерзким, не слушался старших, хулиганил, дрался… Мать вконец измучилась с ним и махнула рукой:

– Давай, может, посадют.

И правда, посадили. После войны. С дружком, таким же отпетым чухонцем, перехватили на тракте сельповскую телегу из соседнего села, отняли у возчика ящи водки… Справились с мужиком! Да еще всыпали ему. Сутки гуляли напропалую у Спирькиной «марухи»… И тут их накрыла милиция. Спирька успел схватить ружье, убежал в баню, и его почти двое суток не могли взять – отстреливался. К нему подсылали «маруху» его, Верку-тараторку, – уговорить сдаться добром. Шалаболка Верка, тайком, под подолом, отнесла ему бутылку водки и патронов. Долго была там с ним… Вышла и объявила гордо:

– Не выйдет к вам!

Спирька стрелял в окошечко и пел:

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает!
– Спирька, каждый твой выстрел – лишний год! – кричали ему.

– Считайте – сколько?! – отвечал Спирька. И из окошечка брызгал стремительный длинный огонь, гремело. Потом он протрезвился, смертельно захотел спать… Выкинул ружье и вышел.

Пять лет «пыхтел».

Пришел – такой же размашисто-красивый, дерзкий и такой же неожиданно добрый. Добротой своей он поражал, как и красотой. Мог снять с себя последнюю рубаху и отдать – если кому нужна. Мог в свой выходной поехать в лес, до вечера пластаться там, а к ночи привезти машину дров каким-нибудь одиноким старикам. Привезет, сгрузит, зайдет в избу.

– Да чего бы тебе, Спиренька, ангел ты наш?.. Чего бы тебе за это? – суетятся старики.

– Стакан водяры. – И смотрит с любопытством. – Что, ничего я мужик.

Пришел Спирька из тюрьмы… Дружков – никого, разъехались, «марухи» замуж повыходили. Думали, уедет и он. Он не уехал. Малость погулял, отдал деньги матери, пошел шоферить. Так жил Спирька.

В село Ясное приехали по весне два новых человека, учителя: Сергей Юрьевич и Ирина Ивановна Зеленецкие – муж и жена. Сергей Юрьевич учитель физкультуры, Ирина Ивановна – пения.

Сергей Юрьевич – невысокий, мускулистый, широченный в плечах… Ходил упружисто, легко прыгал, кувыркался; любо глядеть, как он серьезно, с увлечением проделывал упражнения на турнике, на брусьях, на кольцах… У него был необычайно широкий добрый рот, толстый, с нашлепкой нос и редкие, очень белые, крупные зубы.

Ирина Ивановна – маленькая, бледненькая, по-девичьи стройная. Ничего вроде бы особенного, а скинет в учительской плащик, пройдет, привстанет на цыпочки, чтобы снять со шкафа тяжелый аккордеон, – откуда ладность явится, изящность. Невольно засматривались на нее.

Такая-то пара (было им по тридцать – тридцать два года) приехала в Ясное в хорошие теплые дни в конце апреля. Их поселили в большом доме, к старикам Прокудиным.

Первым, кто пришел навестить приезжих, был Спирька, Он и раньше всегда ходил к новым людям. Придет, посидит, выпьет с хозяевами (кстати сказать, Спирька, хоть пил, допьяна напивался редко), поговорит и уйдет.

Было под вечер. Спирька умылся, побрился, надел выходной костюм и пошел к Прокудиным.

– Пойду гляну, что за люди, – сказал матери.

Старики Прокудины вечеряли.

– Садись, Спиридон, похлебай. – Спирька иногда помогал старикам, они любили его и жалели.

– Спасибо, я из-за стола. Дома ваши квартиранты?

– Там. – Старик кивнул на дверь горницы. – Укладываются.

– Как они?

– Ничо, уважительные. Сыру с колбасой вот дали. Садись, попробуй?

Спирька качнул головой, пошел в горницу. Стукнул в дверь:

– Можно?

– Войдите! – пригласили за дверью.

Спирька вошел.

– Здравствуйте!

– Здравствуйте! – сказали супруги. И невольно засмотрелись на Спирьку. Так было всегда.

Спирька пошел знакомиться.

– Спиридон Расторгуев.

– Сергей Юрьевич.

– Ирина Ивановна. Садитесь, пожалуйста.

Пожимая теплую маленькую ладошку Ирины Ивановны, Спирька открыто, с любопытством оглядел всю ее, Ирина Ивановна чуть поморщилась от рукопожатия, улыбнулась, почему-то поспешно отняла руку, поспешно повернулась, пошла за стулом… Несла стул, смотрела на Спирьку не то что удивленная – очень заинтересованная.

Спирька сел.

Сергей Юрьевич смотрел на него.

– С приездом, – сказал Спирька.

– Спасибо.

– Пришел попроведать, – пояснил гость. – А то пока наш народ раскачается, засохнуть можно.

– Необщительный народ?

– Как везде: больше по своим углам.

– Вы здешний?

– Здешний. Чалдон.

– Сережа, я сготовлю чего-нибудь?

– Давай! – охотно откликнулся Сережа и опять весело посмотрел на Спирьку. – Вот со Спиридоном и отпразднуем наше новоселье.

– Стаканчик можно пропустить, – согласился Спирька. – Откуда будете?

– Не очень далеко.

Ирина Ивановна пошла в комнату стариков; Спирька проводил ее взглядом.

– Как жизнь здесь? – спросил Сергей Юрьевич.

– Жизнь… – Спирька помолчал, но не искал слова, а жалко вдруг стало, что не будет слышать, как он скажет про жизнь, эта маленькая женщина, хозяйка. – Человек, он ведь как: полосами живет. Полоса хорошая, полоса плохая… – Нет, не хотелось говорить. – А зачем она пошла-то? Сказать старикам, они сделают, что надо.

– Зачем же? Она сама хозяйка. Так какая же у вас теперь полоса?

– Так-середка на половинке. Ничего вообще-то… – Ну решительно не хотелось говорить, пока она там готовит эту дурацкую закуску. Закурить можно?

– Курите.

– Учительствовать?

– Да.

– Она по кому учитель?

– По пению.

– Что, поет хорошо? – оживился Спирька.

– Поет…

– Может, споет нам?

– Ну… попросите, может, споет.

– Пойду скажу старикам… Зря она там!

И Спирька вышел из горницы.

Вернулись вместе – Ирина Ивановна и Спирька, Ирина Ивановна несла на тарелочке сыр, колбасу, сало…

– Я согласилась не делать горячего, – сказала она.

– Хорошо, что согласилась.

– Да на кой оно!.. – чуть не сорвался Спирька на привычное определение. – Милое дело – огурец да кусок сала! Верно? – Спирька глянул на хозяина.

– Тебе лучше знать, – резковато сказал Сергей Юрьевич.

Спирьку обрадовало, что хозяин перешел на «ты» – так лучше. Он не заметил, как переглянулись супруги: ему стало хорошо. Сейчас стаканчик водки, а там видно будет.

Вместо водки на столе появился коньяк.

– Я сразу себе стакан, потом – ша: привык так. Можно?

Спирьке любезно разрешили.

Спирька выпил коньяк, взял маленький кусочек колбасы…

– Вот… – поежился, – Достали слой вечной мерзлоты, как говорят.

Супруги выпили по рюмочке. Спирька смотрел, как вздрагивало нежное горлышко женщины. И – то ли коньяк так сразу, то ли кровь – кинулось что-то тяжелое, горячее к сердцу. До зуда в руках захотелось потрогать это горлышко, погладить. Взгляд Спирьки посветлел, поумнел… На душе захорошело.

– Мечтяк коньячишко, – похвалил он. – Дорогой только.

Сергей Юрьевич засмеялся; Спирька не замечал его.

– Милое дело – самогон, да? – спросил Сергей Юрьевич. – Дешево и сердито.

«Что бы такое рассказать веселое?» – думал Спирька.

– Самогон теперь редко, – сказал он, – Это в войну… – И вспомнились далекие трудные годы, голод, непосильная, недетская работа на пашне… И захотелось обо всем этом рассказать весело. Он вскинул красивую голову, в упор посмотрел на женщину, улыбнулся:

– Рассказать, как я жил?

Ирина Ивановна поспешно отвела от него взгляд, посмотрела на мужа.

– Расскажи, расскажи, Спиридон, – попросил Сергей Юрьевич. – Это интересно – как ты жил.

Спирька закурил.

– Я – сураз, – начал он.

– Как это? – не поняла Ирина Ивановна.

– Мать меня в подоле принесла. Был в этих местах один ухарь. Кожи по краю ездил собирал, заготовитель. Ну, заодно и меня заготовил.

– Вы знаете его?

– Ни разу не видал, Как мать забрюхатела, он к ней больше глаз не казал. А потом его за что-то арестовали – и ни слуху ни духу, Наверно, вышку навели. Ну, и стал я, значит, жить-поживать… – И так же резко, как захотелось весело рассказать про свою жизнь, так-сразу-расхотелось, Мало веселого… Про лагерь, что ли? Спирька посмотрел на Ирину Ивановну, и в сердце опять толкнулось неодолимое желание: потрогать горлышко женщины, погладить.

Он поднялся.

– Мне в рейс. Спасибо за угощение.

– Ночью в рейс? – удивилась Ирина Ивановна.

– У нас бывает. До свиданья. Я к вам еще приду.

Спирька, не оглянувшись, вышел из горницы.

– Странный парень, – сказала жена после некоторого молчания.

– Красивый, ты хотела сказать?

– Красивый, да.

– Красивый… Знаешь, он влюбился в тебя.

– Да?

– И тебя, кажется, поскребло по сердцу. Поскребло?

– С чего ты взял?

– По скребло-о.

– Тебе хочется, чтобы поскребло?

– А что?.. Только… не получится у тебя.

Женщина посмотрела на мужа.

– Испугаешься, – сказал тот. – Для этого нужно мужество.

– Перестань, – сказала жена серьезно. – Чего ты?

– Мужество и, конечно, сила, – продолжал муж, – Надо, так сказать, быть в фс ме. Вот он – сумеет. Между прочим, он сидел в тюрьме.

– Почему ты решил?

– Не веришь? Иди спроси у стариков.

– Если тебе нужно, иди спрашивай.

– А что?

Муж вышел к старикам.

Через пять минут вернулся… И с наигранной торжественностью объявил:

– Пять лет! В лагерях строгого режима. За грабеж.

Отсыревший к вечеру, прохладный воздух хорошо свежил горячее лицо. Спирька шел, курил. Захотелось вдруг, чтоб ливанул дождь – обильный, чтоб резалось небо огневыми зазубринами, гремело сверху… И тогда бы – заорать, что ли.

Спирька направился в очередное «логово» – к Нюре Завьяловой.

Стукнул в окно.

– Ну? – недовольно спросила заспанная Нюра, смутно, белым пятном маяча окном.

Спирька молчал, думал про Нюру: один раз, в войну, когда Нюре было двадцать три и она была вдовой с двумя маленькими ребятишками, Спирька (ему тогда шел четы надцатый) ночью сбросил с воза в огород к ней мешок зерна (ехали обозом в город молоть). Нюре стукнул вот в это, кажется, окно и сказал торопливо;

– Найди в огороде, у бани… Спрячь подальше!

А когда через два дня, тоже ночью, пришел к Нюре, она накинулась на него:

– Ты што, Спирька, змей полосатый, в тюрьму меня захотел посадить?! Сам хочешь сытый ходить, а к другим подбрасываешь?..

Спирька опупел.

– Да не себе я, чего ты разоралась-то!

– Кому же?

– Тебе. Им же исть надо! – Про детей Нюриных. – Голодные же сидят…

Нюра заревела коровой, бросилась обнимать Спирьку. Спирька, расстроенный, матерился.

– Ну, и вот!.. Будешь им в ступке толочь да лепешки в золе печь вкуснятина, сил нет…

Вот что вспомнилось вдруг.

– Чего стоишь-то? – спросила Нюра. – Дверь открыта… Стариков не разбуди.

Спирька стоял. Было в его характере какое-то жестокое любопытство: что она сейчас будет делать?

– Спирька!.. Ну, чего ты?

Молчание.

– Иди, что ли?

Молчание.

– Дурак заполошный… Разбудит, а потом начинает… Ну и иди к черту! – Нюра пошла к кровати.

Спирька неслышно прокрался по прихожей избе, где храпели старики Нюрины, и очутился в горнице.

– Чего выкобениваешься-то?

Спирьке нестерпимо стало жаль Нюру… Какого черта, действительно? Лучше не приходить тогда.

– Все, Нюрок, спим.

Через три дня, вечером, Спирька пошел к Прокудиным. Квартирантов не было дома. Спирька побеседовал пока со стариками. Рассказал, что одному солдату явилась земная божья мать…

Пришла Ирина Ивановна. Одна. Свеженькая: внесла в избу прохладу вечерней весенней улицы. Удивилась и, как показалось Спирьке, обрадовалась. Спокойный, решительный, Спирька прошел в горницу.

– Букетик, – предложил он, И подал женщине кроваво-красный пылающий букетик жарков.

– Ах!.. – обрадовалась женщина, – Ах, какие они! Как они называются? Я таких никогда не видела…

– Жарки. – В груди у Спирьки весело зазвенело. Так бывало, когда предстояло драться или обнимать желанную женщину, Он не скрывал любви, – Я вам теперь часто буду такие привозить.

– Да нет, зачем же?.. Это ведь труд лишний…

– Ох, – скокетничал Спирька, – труд! Мимо езжу, их там хоть литовкой коси… –

Спирька подумал, что хорошо все-таки, что он красивый. Другого давно бы уж поперли, и все. Он улыбался, ему было легко.

Женщина тоже засмеялась и смутилась, Спирька наслаждался: как в знойный-знойный день пил из ключа студеную воду, погрузив в нее все лицо. Пил и пил — и по телу огоньком разливался томительный жар. Он взял женщину за руку… Как во сне! — только бы не просыпаться.

Женщина хотела отнять руку… Спирька не выпустил.

— Зачем вы?.. Не нужно.

— Почему не нужно? — Все, что умел Спирька, все, что безотказно всегда действовало на других женщин, все хотел бы он обрушить сейчас на это дорогое, слабое существо. Он молил в душе; «Господи, помоги! Пусть она не брыкается!» Он повлек к себе женщину… Он видел, как расширились ее близкие удивленные глаза. Теперь — чтоб не дрогнула, не ослабла рука…

«Господи, мне больше пока ничего не надо — поцелую, и все». И поцеловал. И погладил белое нежное горлышко… И еще поцелова мягкие податливые губы. И тут вошел муж… Спирька не слышал, как он вошел. Увидел, как вскинулась голова женщины и испуг плеснулся в ее глазах… Спирька услышал за спиной насмешливый голос:

— Те же. И муж.

Спирька отпустил женщину. Не было ни стыдно, ни страшно. Жалко было. Такая досада взяла на этого опрятного, подтянутого, уверенного человека… Хозяин пришел. И все у них есть, у дьяволов, везде они желанные люди. Он смотрел на мужа.

— Лихой парень! Ну как, «удалось что-нибудь? — Сергей Юрьевич хотел улыбнуться, но улыбки не вышло, только нехорошо сузились глаза и толстые губы обижен но подрожали. Он посмотрел на жену, — Что молчите? Что побледнела?! — Крик — злой, резкий — как бичом стегнул женщину. Шлюха!.. Успела? — Муж шагнул к ней.

Спирька загородил ему дорогу. Вблизи увидел, как полыхают темные глаза его обидой и гневом… И еще уловил Спирька тонкий одеколонистый холодок, исходиший от гладко выбритых щек Сергея Юрьевича.

— Спокойно, — сказал Спирька.

В следующее мгновение сильная короткая рука влекла Спирьку из горницы.

— Ну-ка, красавец, пойдем!..

Спирька ничего не мог сделать с рукой: ее как приварили к загривку, и крепост руки была какая-то нечеловеческая, точно шатуном толкали сзади.

Так проволокли Спирьку через комнату стариков; старики во все глаза смотрел на квартиранта и на Спирьку.

— Кота пакостливого поймал, — пояснил квартирант.

Ужас, что творилось в душе Спирьки!.. Стыд, боль, злоба — все там перемешалос: душило.

— Пидор, гад, — хрипел Спирька, — что ты делаешь?..

Вышли на крыльцо… Шатун сработал, Спирька полетел вниз с высокого крыльп и растянулся на сырой соломенной подстилке, о которую вытирают ноги.

«Убью», — мелькнуло в Спирькиной голове.

Сергей Юрьевич спускался к нему…

— Вставай.

Спирька вскочил до того, как ему велели… И тотчас опять полетел на землю. И с ужасом и с брезгливостью понял: «Он же бьет меня!» И опять вскочил и хотел скользнуть под чудовищный шатун — к горлу физкультурника. Но второй шатун коротко двинул его в челюсть снизу. Спирьку бросило назад; он почувствовал медь во рту. Опять бросился на учителя… Он умел драться, но ярость, боль, позор, сознания своей беспомощности перед шатунами — это лишило его былой ловкости, спокойствия. Слепая ярость бросала и бросала его вперед, и шатуны работали. Кажется, он ни разу так и не достал учителя. От последнего удара он не встал. Учитель склонило над ним.

— Я тебя уработаю, — неразборчиво, слабо, серьезно сказал Спирька.

— Будем считать, что это урок вежливости. Лагерные штучки надо бросать. — Учитель говорил не зло, тоже серьезно.

— Я убью тебя, — повторил Спирька, Во рту была какая-то болезненная мешанина, точно он изгрыз флакон с одеколоном — все там изрезал и обжег. — Убью, знай.

— За что? — спокойно спросил учитель. — За что ты меня убьешь?.. Подлец.

Учитель ушел в дом, захлопнув за собой дверь, и задвинул железную щеколду.

Спирька попробовал встать, не мог. Голова гудела, но думалось ясно. Он знал, как с крыши прокудинского дома — через лаз — можно спуститься в кладовку. Кладовка не запиралась: шпагатная веревочка накидывалась петелькой на гвоздик, и все, — чтоб дверь сама не открывалась. Дверь в избу стариков тоже никогда не запирается на ночь. В горнице запора и вовсе нет. Он потому так хорошо все знал в доме Прокудиных, что сын их, Мишка, был смолоду товарищ Спирьки и Спирька часто бывал и даже ночевал у них. Теперь Мишки не было, но все, конечно, осталось у стариков, как раньше.

С трудом наконец Спирька поднялся, подержался за стену дома… Пошел к реке. Силы возвращались.

Он умыл разбитое лицо, оглядел со спичками костюм, рубашку… Не надо, чтобы мать увидела кровь и заподозрила неладное, когда он станет брать ружье. Ружье можно взять под любым предлогом: ехать с семенным зерном в глубинку, а утром посидеть там у озера.

Мать спала уже.

— Ты, Спирька? — спросила она сонным голосом с печки.

— Я. Спи. Мне ехать надо.

— Достань в печке-картошка жареная, в сенцах молоко… Поешь на дорогу-то.

— Ладно, я с собой возьму, — Спирька, не зажигая огня, тихо снял со стены ружье, повозился для близира в сенях… Зашел в избу (ружье в сенях оставил). Стал на припечек, нашел впотьмах голову матери, погладил по жидким теплым волосам. Он, бывало, выпивши ласкал мать; она не встревожилась.

— Выпимши… Как поедешь-то? — Мать с годами больше и больше любила Спирьку, жалела, стыдилась, что он никак не заведет семью — все не как у добрых людей! — ждала, может, какая-нибудь самостоятельная вдова или разведенка прибьется к ихнему дому.

— Ничего, поеду.

— Ну, Христос с тобой. — Мать во тьме перекрестила его. — Потише хоть ехай-то, а то гоните как чумные.

— Все будет хорошо. — Спирька бодрился, а хотелось скорей уйти и как-нибудь забыть про мать: вот кого больно оставлять в этой жизни мать.

Он шел темной улицей, крепко сжимал в руке тулку. Все хотелось отвязаться от мысли о матери. Не выживет она. Как поведут его, связанного, как увидит… Спирька прибавил шагу. «Господи, дай ей силы перенести», — молил. Он чуть не бежал. А

под конец и побежал. И волновался, как вроде не убивать бежал, а – в постель к Ирине Ивановне, в тепло и согласие. Она вставала в глазах, Ирина Ивановна, но как-то сразу и уходила. Губы ее, мягкие, полураскрытые, помнились, но насладишься воспоминанием мешал вкус крови во рту и… одеколонистый холодок с гладких щек Сергея Юрьевича. Холодок этот запашистый почему-то вспоминался сейчас. Спирька бежал и подпевал негромко для бодрости:

Неужели конь вороный
Перекусит удила?
Неужели моя милая…

Дом весь темный, «Так, так, так, – мысленно, скоро говорил сам с собой Спирька. – Берем лестницу… Ставим ее, в душеньку ее… Спокойно». Он благополучно проник в кладовку, прислушался – тихо. Только сердце наколачивает в ребра. «Спокойно, Спиря!» Шпагатинка тоже почти бесшумно лопнула, только гвоздик, спружинив, тоненько тенькнул. Спирька, выставив вперед свободную руку, неслышно прошел сеням, легкими касаниями по стене нашарил дверь. «Так, так…» Склонился, подцеп пальцами низ двери, сколько мог, приподнял ее и дернул на себя. Дверь открыла с тихим приятным вздохом; п-ах. И дальше отошла беззвучно. Пахнуло старушечы жильем, отсыревшим полушубком, теплой печкой, тестом… Вот тут его давеча волок за шкирку. Пронеси, господи, – чтоб старики не проснулись, Страшно стало: что-нибудь сейчас помешает. «Ах, как он меня бил! Как бил!.. Умеет».

Спирька сам удивлялся своей легкости, ловкости. Сам себя не слышал. Нащупал дверь горницы, тоже приподнял ее снизу… Дверь скрипнула. Спирька быстро, берждал, прикрыл ее за собой… Он был в горнице! Во тьме горницы, слабо разбавленной свет уличной лампочки, скрипнула кровать. Спирька нашел на стене выключатель, щелкнул. На него, сидя в кровати, смотрел Сергей Юрьевич. Приподнялась Ирина Ивановна. Сперва уставилась на мужа, потом, от его взгляда, – на Спирьку с ружьем. Безмолвно открыла рот… Спирька понял, что Сергей Юрьевич не спал – очень уж понимающе неподвижно смотрел он своими темными глазами.

– Я предупреждал: я тебя уработаю, – сказал Спирька. Хотел оттянуть курок двустволки, но они были уже взведены. (Когда же взвел?) – Помнишь? Я тебе говорил.

Спирьку не взволновало, что Ирина Ивановна сидит в нижней рубашке, что одна ленточка съехала с плеча и грудка, матово-белая, крепенькая, не кормившая дите вся видна до соска.

Супруги молчали, Смотрели на Спирьку.

– Вылазь из кровати, – велел Спирька.

– Спиридон… тебе же будет расстрел, неужели…

– Я знаю. Вылазь.

– Спиридон! Неужели…

– Вылазь!

Сергей Юрьевич спрыгнул с кровати – в трусах, в майке.

Спирька вскинул ружье.

Сергей Юрьевич мертвенно побледнел…

И тут вдруг закричала Ирина Ивановна, да так ужасно, так громко, неистово, требовательно, так не похоже на себя – такую маленькую, умненькую, с теплыми мягкими губами – как-то уж совсем нечеловечески горько, отчаянно. И свалилась с кровати, и поползла, протягивая руки…

– Не надо! О-о-о-й! Не надо! О-о-й!.. – И хотела схватить за ружье – на коленях – хотела…

Тут Сергей Юрьевич прыгнул на Спирьку, широко расставив руки, И получил удар прикладом в грудь, и свалился.

– Родно-ой!.. Не надо! – выла маленькая женщина. Похоже, что она забыла имя Спирьки. – О-о-й!..

В избе, за дверью, всполошились старики, тоже заорали.

– Не надо!! – кричала женщина, и мотала головой, и все хотела обнять его ног и ползала без трусов – рубашка сбилась ей на спину, она не замечала того – в хотела поймать ноги Спирьки.

Спирька растерялся, отпинывал женщину… И как-то ясно вдруг понял: если сейчас выстрелит, то выстрел этот потом ни замолить, ни залить вином нельзя будет. Если бы она хоть не так выла!.. Сколько, однако, силы в ней!

– Мать вашу!.. – заругался Спирька.

Вышел из горницы и пошагал прочь от темного дома. Он как-то сразу вдруг очень устал. Вспомнилась мать, и он побежал, чтоб убежать от этой мысли – о матери. От всяких мыслей, Вспомнилась еще Ирина Ивановна, голенькая, и жалость и любовь к ней обожгли сердце. И легко на минуту стало – что не натворил беды. Господи, как ревела!.. А как бы она потом убивалась над покойным мужем! И опять – мать… Вот кто взвоет-то! Спирька побежал скорее. Прибежал на кладбище, сел на землю. Темно было, Он приладил стволы к сердцу… Дотянулся до курков, Подумал: «Ну!.. Все?!» Пальцы нащупали две холодные тоненькие скобочки…

«Счас толканет», – опять подумал. И вдруг ясно увидел, как лежит он, с развороченной грудью, раскинув руки, глядя пустыми глазами в ясное утреннее небо… Взойдет солнце, и над ним, холодным, зажужжат синие мухи, толстые, жадные. Потом сбегутся всей деревней – смотреть. Кто-нибудь скажет: «Надо прикрыть, что ли». Как… Тьфу! Спирька содрогнулся. Сел. «Погоди-ка, милок, погоди. Стой, фраер, не суетись! Я тебя спрашиваю: в чем дело? Господи! – отметелили. Тебя что, никогда не били? В чем же дело?!»

– В чем дело? – спросил вслух Спирька. – А? – Брезгливо, с опаской отстранил от себя стволы, перехватил ружье, осторожно спустил курки. Глубоко и радостно вздохнул. И заговорил громко, дурашливо, испытывая большое облегчение и радость: – В чем дело, Спиря? А? А-я-я-я-яй! Как же так? Побили мальчика? Побили… Больно, да? Хотел себе в лобик пук!.. Ну и фраер! – Спирька даже засмеялся и схватился за губу: губы треснули от учителева рычага, стало больно, когда засмеялся. – Что ты? Что ты? Что ты? (Разбитый рот выговаривал: «фто ты? фто ты?») Разве так можно? А-я-я-я-яй! Нехорофо. Ну, побили… а ты сразу… стреляться, О-о!

Спирька лег спиной на прохладную землю, раскинул руки… Вот так он завтра лежал бы. Там, где сейчас стучит сердце – Спирька приложил ладонь к груди, – здесь была бы рваная дыра от двух зарядов – больше шапки. Может, загорелся бы, и истлели бы пиджак и рубаха. Голый лежал бы… О, курва, смотреть же противно! Спирька сел, закурил, с наслаждением затянулся. Так торопился засадить в себя эти два заряда, что и покурить напоследок не догадался. Даже те, кого расстреливают, Спирька слышал, просят покурить в последний раз. Вспомнилась маленькая девочка, племянница Спирьки: когда она чувствует, что отцу надоело уже возить ее на горбу, она смешно-просительно морщит мордочку и говорит: «Посений язок! Ну посений язочек!» Спирька засмеялся, вспомнив девочку. Опять лег, курил, смотрел на звезды; и показалось, что они чуть звенят в дрожи – тонким-тонким звоном; и ему тоже захотелось тихо-тихо, по-щенячьи, поскулить… Он зажмурился и почувствовал, как его плавно, мощно несет земля. Спирька вскочил. Надо что-то делать, надо что-нибудь сделать. «Что-нибудь я сейчас сделаю!» – решил он. Он подобрал ружье и скоро пошагал… сам не зная куда. Только прочь с кладбища, от этих крестов и молчания. Он стал вслух, незло материть покойников:

– Лежите?.. Ну и лежите! Лежите – такая ваша судьба. При чем тут я-то? Вы лежите, а я малость еще побегаю по земле. Покружусь.

Теперь он хотел убежать от мысли о кладбище, о том, как он лежал там… Он хотел куда-нибудь прибежать, к кому-нибудь. Может, рассказать все… Может, посмеяться. Выпить бы! А где теперь? Как где? А Верка-буфетчица из чайной? Э-э, там же всегда есть! Там, кстати, можно и переночевать. Спирька свернул в переулок.

Вера сперва заворчала: вот – ни днем, ни ночью… Спирька зажег спичку и осветил свое лицо:

– Ты глянь, меня же было не убили, а ты канитель развела.

Вера испугалась. Спирька ихонько засмеялся, довольный.

– Да где эт тебя так?! – спросила Вера.

– В одном месте… Славно уделали?

– Господи, Спирька!.. Добьют тебя когда-нибудь. Где был-то?

– Не скажу. Секрет.

Прошли в Верину комнату. Вера задернула поплотней занавески, зажгла свет. Еще раз оглядела Спирьку… Потрогала теплой ладошкой, пахнущей кремом, горячие ссадины на его лице.

– Ой! – притворно воскликнул Спирька. Опять засмеялся и стал ходить комнате.

Славный это народ, одинокие женщины! Почему-то у них всегда уютно, хорошо. Можно размашисто походить, если не скрипит пол. Можно подумать… Можно, меж делом, приласкать хозяйку, погладить по руке… Все кстати, все умно. Они вздрагива с непривычки и смотрят ласково, пытливо. Милые. Добрые. Жалко их.

Вера нашла бутылку водки. Сходила даже в погребушку, принесла огурцов. Только вернулась испуганная…

– Там у тебя что, ружье, что ли? Я запнулась…

– Ружье. Пусть стоит.

– А зачем ружье-то?

– Да так.

– Спирька… ты чего это?

У Веры был хороший муж, хороший мужик, помер в сорок лет. Что приключилось бог его знает. Рак, наверно.

– Спирька!..

– Аиньки?

– Ты что… воюешь, что ли, бегаешь?

– Воюю, Вот – ранили. – Спирька опять засмеялся. Что-то смешно ему было. Хорошо было.

– Вот чудной-то. Может, убил кого?

– Нет. После убью. Потом.

– Спирька, я боюсь. Может, ты натворил чего… тогда и меня… как свидетельницу. Ну тя к дьяволу!

– Все в порядке, дурочка. Чего ты испугалась? Никого я не убил. Меня чуть убили… А мне надо еще придумать, как убить.

– Пей и уходи, – рассердилась Вера. – Уходи, Спирька. Мне только этого еще не хватало.

Спирька посерьезнел.

– Успокойся. Неужели я похожий на такого – невиновных подводить. Что ты? Ты же знаешь меня… Я б никогда не пришел, если б… Брось.

– С ружьем по ночам носится…

Спирька выпил стакан, закусил огурцом. Вера не стала пить.

– Не хочу.

– Почему?

– Не хочу. Напугал ты меня с этим ружьем. Кто избил-то?

– Чужие какие-то. Перестань про это. Не надо. – Вспомнился учитель… Бледный, в трусах. Спирька передернул плечами, прогоняя неприятную, злую мысль. Радости поубавилось. – Ладно, ладно, ладно, торопливо сказал он. – Не надо про это, – И еще налил полстакана, чтоб не успеть подумать еще про учительницу, чтоб не вспомнить ее. Но она вспомнилась – маленькая, полуголенькая, насмерть перепуганная… Все-таки вспомнилась.

Утром Спирька вскочил рано. Оставил ружье у Веры.

– Вечером зайду, возьму.

– А куда сам?

– На работу, куда. Это… не болтай про ружье-то.

– Ну, пошла всем рассказывать: был ночью Спирька с ружьем…

– Умница, Избили меня какие-то нездешние… На тракте. Я хотел догнать с ружьем, не догнал.

Вера недоверчиво смотрела на Спирьку; впрочем, Спирька и не старался особенното казаться правдивым.

– Выпьешь?

– Нет. Будь здорова.

Спирька пошел к учителям. Шел кривыми переулками, по задворкам чтоб меньше встретить людей. Все же двух-трех встретил.

Встретил бригадира колхозного, Илью Китайцева. Илья ехидно, понимающе заулыбался издали:

– Ого! Ноченька была!

Спирька тоже широко улыбнулся, превозмогая боль, которая прокалывала иглами все лицо. Сказал:

– Была, Илюха! Была ноченька. Дай закурить.

– Чего эт?

– Так… Упал. – Стыд, позор… От стыда даже язык онемел, кончик. Тонкая Илюхина ухмылочка резала лезвием по сердцу. – Закурим, что ли?

– Закурим, закурим. Здорово упал-то… Высоко, наверно. Как же эт ты?

– Ну, Илюха, бывает-падают. Я вот те счас залепеню, ты тоже упаеешь. Что, нет, думаешь?

Илюха перестал улыбаться.

– Чего ты?

– А чего ты губы-то свои распустил? Сразу, курва, ехидничать! Не можешь без ехидства слова сказать, Дай дороги!

Нет, в деревне пока не жить. От одного позора на край света сбежишь. Будут вот так улыбаться губошлепы разные… Ах, учитель, учитель… Вот ведь как научился

руками работать! Славно, славно. Хорошо бы тебя ногами к потолку подвесить… Нет, на твоих же глазах жену твою драгоценную… исцеловать, всю, до болячки, чтоб орала. Жестокие чувства гнали Спирьку вперед, точно кто в спину подталкивал. Он не замечал, что опять он торопится. Но он знал, что сейчас не бросится на учителя, нет, Это будет потом… спокойно. Страшно. Это потом.

Вспоминая позже этот утренний разговор с учителями, Спирька не испытывал удовлетворения.

Он явился, как если бы рваный черный человек из-за дерева с топором вышагнул… Стал на пороге. Учитель был уже одет, побрит… как раз с электрической бритвой он и стоял перед зеркалом. Она жужжала около его лица. Учительница, припухшая со сна и от вчерашнего крика, миленькая, беленькая, готовила завтрак. Она тоже замерла с тарелкой в руках.

– Одно предупреждение, – деловито заговорил Спирька. – Что у нас тут случилось – никому ни звука. Старикам сами накажите. Я на время исчезаю с горизонта, Сергей Юрьевич, я тебя, извини, все же уработаю.

– Как это… уработаю? – глупо переспросила Ирина Ивановна.

– Я получил аванец… я его должен отработать. – Не знал Спирька, когда произойдет, но придет он сюда однажды – спокойный, красивый, нарядный – скажет: «Я пришел платить». И что уж это будет за ситуация такая и кто такой будет Спирька, только учитель растеряется, станет жалким. И станет просить: «Спиридон, я был глуп, я прошу прощения…» – «Ну, ну, – скажет Спирька вежливо, – не надо сразу в штаны класть. Тут же женщина… жена ваша, она должна уважать вас»

– Какой аванс? – все никак не могла понять Ирина Ивановна. – У кого взяли?

– Он мне будет мстить. Отомстит, – пояснил учитель, – Хорошо, Спиридон, я принял к сведению. – Учитель взял себя в руки, – Мы никому ничего не расскажем.

– Вот так… Будьте здоровы пока. – Спирька вышел.

«А куда это я исчезаю-то?» – подумал он. Даже остановился. Только теперь четливо дошло вдруг до сознания, что он, оказывается, решил уехать.

«А куда, куда?» Но оказалось, что он и это знает: в город Б-ск, что в полсотне ки метров отсюда. Когда он все это решил, он не знал, но в нем это уже жило. И толлько прирожденная осторожность требовала, чтобы решение еще раз проверилось.

Минуя дом, Спирька пошел в гараж. Там еще пережил веселые глаза шоферов. Злился в душе, нервничал, Взял путевку в рейс подальше и скоро уехал.

Дорогой немного успокоился. Стал думать, Хотел опять породить в своем воображении сладостную картину, какая озарила его, когда он разговаривал утром с учителем: придет он к нему – вежливый, нарядный… Но желанная картина что-то не возникала. Спирька в досаде хотел распалить себя, помочь; ну, ну – придет… «Здравствуйте!» Нет… Не выходит. Противно думать обо всем этом. Его вдруг поразило, и даже отказался так понимать себя: не было настоящей, всепожирающей злобы учителя. Все эти видения; учитель висит головой вниз, или: учитель, бледный, жалкий ползает у него в ногах, – это так хотелось Спирьке, чтоб они, эти картины, стали желанными, сладостными. Тогда бы можно, наверно, и успокоиться, и когда-нибудь так и сделать: повесить учителя головой вниз. Ведь надо же желать чего-нибудь лютому врагу! Надо же хоть мысленно видеть его униженным, раздавленным. Надо! Но Спирька даже заерзал на сиденье; он понял, что не находит в себе зла к учителю. Ее бы он догадался подумать и про всю свою жизнь, он тоже понял бы, вспомнил бы, что вообще никогда никому не желал зла. Но он так не подумал, а отчаянно сопротивлялся, вызывал в душе злобу.

«Ну, фраер!.. тряпка, что ж ты? Тебя метелят, как тварь подзаборную, а ты… Ну! Ведь как били-то! Смеясь и играя… Возили. Топтали. Что же ты? Ведь над тобой смеяться будут. И первый будет смеяться учитель. Что же ты? Ведь. ни одна же баба к себе не допустит такую слякоть». Злости не было.

А как же теперь? На этот вопрос Спирька не знал, как ответить. И потом, в течет дня, он еще пытался понять: «Как теперь?» И не мог.

Вообще, собственнная жизнь вдруг опостылела, показалась чудовищно лишенной смысла. И в этом Спирька все больше утверждался. Временами он даже испытывал к себе мерзость. Такого никогда не было с ним. В душе наступил покой, но какой-то мертвый покой, такой покой, когда заблудившийся человек до конца понимает, что он заблудился, и садится на пенек. Не кричит больше, не ищет тропинку, садится и сидит, и все.

Спирька так и сделал: свернул с дороги в лес, въехал на полянку, заглушил мотор, вылез, огляделся и сел на пенек.

«Вот где стреляться-то, – вдруг подумал он спокойно. – А то-на кладбище припорол. Здесь хоть красиво».

Красиво было, правда. Только Спирька специально не разглядывал эту красоту, а как-то сразу всю понял ее… И сидел. Склонился, сорвал травинку, закусил ее в зубах и стал слушать птиц. Маленькие хозяева лесные посвистывали, попискивали, чирикали где-то в кустах. Пара красавцев дятлов, жуково-черных, с белыми фартучками на груди, вылетели из чащи, облюбовали молодую сосенку, побегали по ней вверх-вниз, помелькали красными хохолками, постучали, ничего не нашли, снялись и низким летом опять скрылись в кустах.

«Тоже – парой летают», – подумал Спирька. Еще он подумал, что люди завидуют птицам… Говорят: «Как птаха небесная». Позавидуешь. Еще Спирька подумал, что, наверно, учитель выбросил те цветы, которые Спирька привез учительнице, наверно, они лежат под окном, завяли… Красивые такие цветочки, красные. Спирька усмехнулся, Пижон Спиря… Здесь тоже есть цветочки. Вон они: синенькие, беленькие, желтенькие… Вон саранка цветет, вон медуница… А вон пучка белые шапки подняла вверх. Спирька любил запах пучки. Встал, сорвал тугую горсть мелких белых цветочков, собранных в плотный, большой, как блюдце, круг. Сел опять на пенек, растер в ладонях цветки, погрузил лицо в ладони и стал жадно вдыхать прохладный, сыровато-терпкий, болотный запах небогатого, неяркого местного цветка. Закрыл ладонями лицо и так остался сидеть. Долго сидел неподвижно. Может, думал, Может, плакал…

…Спирьку нашли через три дня в лесу, на веселой полянке, Он лежал, уткнувшись лицом в землю, вцепившись руками в траву. Ружье лежало рядом. Никак не могли понять, как же он стрелял? Попал в сердце, а лежал лицом вниз… Из-под себя как-то изловчился.

Привезли, схоронили.

Народу было много. Многие плакали…

Сильные идут дальше
Всю темную осеннюю ночь ровно и сильно дул ветер. Байкал к утру здорово раскачало. Утром ветер поослаб, но волны катились высокие – поседевший Байкал сердито шумел, хлестал каменистый берег, точно на нем хотел выместить теперь всю злость, какую накопил за тревожную ночь. На берегу собрались туристы, отдыхающие. Смотрели на Байкал, бросали ему в рассерженную морду палки. Кто-то, глядя на эти палки, обнаружил такую закономерность:

– Смотрите, чем дальше палка от берега, тем дольше ее не выбрасывает.

– Да.

– Простите, сэр, это велосипед.

– Почему?

– Это давно известно. Корабли в шторм стараются уйти подальше от берега.

– Я думал не о законе, как таковом, а о том, что это похоже на людей.

– ??

– Сильные идут дальше. В результате: в шторм… в житейский, так сказать, шторм выживают наиболее сильные – кто дальше отгребется.

– Это слишком умно…

– Это слишком неверно, чтобы быть умным.

– Почему?

– Вопрос: как оказаться подальше от берега?

– Я же и говорю: наиболее сильные…

– А может быть, так: наиболее хитрые?

– Это другое дело. Возможно…

– Ничего не другое. Есть задача: как выжить в житейский шторм? И есть решение ее: выживают наиболее «легкие» – любой ценой. Можно за баркас зацепиться…

– Это по чьему-то опыту, что ли?

– По опыту сильных.

– Я имел в виду другую силу – настоящую.

– Важен результат…

Очкарики… Все образованные, прочитали уйму книг… О силе стоят толкуют. А столкни сейчас в воду любого – в одну минуту пузыри пустит. Очки дольше продержатся на воде.

Вот в этом – что очки дольше держатся на воде, чем сам очкарик, – никогда в своей жизни не сомневался Митька Ермаков. Он в этот час тоже вышел глянуть на Байкал. Постоял на берегу (разговор очкариков слышал), криво улыбнулся и пошел к воде…

Но надо хоть немного рассказать о Митьке. Митька – это ходячий анекдот, так про него говорят. Определение броское, но мелкое и о Митьке говорящее не больше, чем то, что он – выпивоха. Вот тоже – показали на человека – выпивоха… А почему он выпивоха, что за причина, что за сила такая роковая, что берет его вечерами за руку и ведет в магазин? Тут тремя словами объяснишь ли, да и сумеешь ли вообще объяснить? Поэтому проще, конечно, махнуть рукой – выпивоха, и все. А Митька… Митька – мечтатель. Мечтал смолоду. Совсем еще юным мечтал, например, собраться втроем-вчетвером, оборудовать лодку, взять ружья, снасти и сплыть по рекам к Ледовитому океану. А там попытаться продвинуться по льду к Северному полюсу. Мечтал также отправиться в поисковую экспедицию в Алтайские горы – искать золото и ртуть. Мечтал… Много мечтал. Все мечтают, но другие – отмечтали и принялись устраивать свою жизнь… подручными, так скажем, средствами. Митька превратился в самого нелепого, безнадежного мечтателя – великовозрастного. Жизнь лениво жевала его мечты, над Митькой смеялись, а он – с упорством неистребимым – мечтал. Только научился скрывать от людей свои мечты. А мечты были – одна причудливее другой. Вот, допустим, узнал он одну травку… Травка – так себе, неказистая, почти все знают ее, но никто не знает, что этой травкой можно лечить… рак. А Митька знает. Он по ночам, чтобы никто не видел, собирает с фонариком эту травку, настаивает и лечит направо и налево рак легких, рак печени, рак матки – лечит злой, омерзительный рак. Любой. В три дня. Славу Митьке поют великую, поговаривают, не отлить ли ему при жизни золотой памятник в рост. Митька только криво улыбается на эту затею, пьет шампанское, живет с женщинами, вылеченными им от рака… И напоминает людям, как они смеялись над ним. К нему – запись со всего земного шара. Митька по утрам обходит скорбные ряды и показывает пальцем: «Можно» – «Подождать» – «Подождать» – «Можно» – «Срочно ко мне». Лечит сперва тех, кто победней и помоложе. Женщины до тридцати идут вне очереди. Митька жесток: наставит мужу рога, не задумается. И живет он с женщинами, вылеченными от рака, не таясь, открыто. И пусть только мужья заикнутся, что… Раза два было: мужья возмутились. Благодарные женщины чуть не выцарапали им глаза. Ученые и президенты ползают на коленях перед Митькой: «Скажи, что за травка?» Митька криво улыбается. «Вы по ней ходите». – «Скажи!» – «Фигу вам!» Бывает, что он кричит на президентов: «Трепачи! Слюнтяи! Только болтать умеете!» Принимает Митька на берегу Байкала. У него огромный двухэтажный дом, причем весь второй

этаж спальня. Там у него гигантские фикусы, ковры на полу, ковры на стенах, туалетные столики, столики для газет и журналов, ширмы… На подоконнике — увлажнитель с «Шипром».

В нетрезвом состоянии Митька проговаривается, но никто не понимает — о чем он?

— Да, знаю! — кричит Митька в магазине. — Но вам не скажу. Фигу вам!

— Чего ты, Митька?

— Вы по ней ходите. Ногами ее топчете, а дотумкать — вот!.. — Митька стучит себя по лбу и криво улыбается. — Не дано.

Вот это вот только и знают люди — бред, глупости. И еще — всякие «хохмы» про Митьку. Вроде этой.

Летом Митька уходит с геологоразведочными партиями и ходит до холодов (почему-то он ужасно гордится и важничает: «Я — сезонник»). Однажды он пришел в поселок среди лета. И, не заходя домой, протопал в аптеку. В аптеке были люди. Девушка-аптекарь отпускала лекарство. Девушка та была очень и очень миленькая, беленькая, в белом халатике. В мечтах своих Митька то и дело лечил ее от рака. В аптеке — уютно, пахнет немощью. Митька бухнул в угол вещмешок, подошел к прилавку бородатый, пропахший дымом, смолой и болотами, и громко сказал:

— Мне триста штук презервативов, пожалуйста.

Ну, замешательство… Аптекарша покраснела. Одна старушка в очереди даже перекрестилась. Тишина. Этот «сундукявичус», как его прозвали в одной партии, опять:

— Триста презервативов. И счет.

Нет, чтобы отозвать аптекаршу в сторонку и тихонько объяснить ей: так и так, нужно это для того, чтобы делать взрывы в мокрых забоях. Нет, Митька непременно должен «отмочить хохму».

…Итак, Митька, послушав рассуждения о сильных и несильных, криво улыбнулся и пошел к воде. И начал снимать фуфайку, пиджак…

— Освежиться, что ли, малость! — сказал он.

— Куда вы? — удивились очкарики. — Вы же простынете! Вода — пять градусов.

— Простынете.

Митька даже не посмотрел на очкариков (там была женщина, которую он с удовольствием бы вылечил от рака). Снял рубаху, штаны… Поднял большой камень, покидал с руки на руку — для разминки. Бросил камень, сделал несколько приседаний и пошел волнам навстречу. Очкарики смотрели на него.

— Остановите его, он же захлебнется! — вырвалось у девушки (девушка — еще и в штанишках, черт бы их побрал с этими штанишками. Моду взяли!)

— Морж, наверно.

— По-моему, он к своим тридцати шести добавил еще сорок градусов.

Митька взмахнул руками, крикнул:

— Эх, роднуля! — и нырнул в «набежавшую волну». И поплыл. Плыл саженками, красиво, пожалуй, слишком красиво — нерасчетливо. Плыл и плыл, орал, когда на него катилась волна: — Давай!

Подныривал под волну, выскакивал и опять орал:

— Хорошо! Давай еще!..

— Сибиряк, — сказали на берегу. — Все нипочем.

– Верных семьдесят шесть градусов.

– …авай! – орал Митька. – Роднуля!

Но тут «роднуля» подмахнула высокую крутую волну. Митька хлебнул раз, другой, закашлялся. А «роднуля» все накатывал, все настигал наглеца. Митька закрутился на месте, стараясь высунуть голову повыше. «Роднуля» бил и бил его холодными мягкими лапами, толкая вглубь.

– …сы-ы! – донеслось на берег. – Тру-сы спали-и! Тону!

Очкарики заволновались.

– Он серьезно, что ли?

– Он же тонет, ребята!

– Э-эй! Ты серьезно, что ли?!

– Да серьезно, какого черта!

– …у-у! – орал Митька. Он серьезно тонул. Видно было, как он опять хлебнул… Скрылся под водой, но опять выкарабкался. Но больше уже не орал.

– Лодку! Лодку! – забегали на берегу. – Эй, держись!

Побежали к лодке, что лежала метрах в ста отсюда и далеко отводы. Но кто-то разглядел:

– Она примкнута к коряге.

– Черт, утонет ведь! Еще хлебнет пару раз…

– Ребята, ну что же вы?! – чуть не плакала девушка в штанишках.

Голова Митьки поплавком качалась в волнах, скрывалась из виду, опять появлялась… И руками Митька теперь взмахивал реже.

– Ребята, ну что вы?!

Двое очкариков начали торопливо сбрасывать с себя одежду. Вот скинул один, прыгнул в воду, ойкнул и сильно погреб к Митьке. И второй прыгнул в воду и стал догонять первого.

– Эй, держись! Держи-ись! – кричала девушка и махала зачем-то руками. – Ребята, они успеют?

– Успеют.

– Вот фраер-то! – волновались на берегу.

– Зачем он полез-то!

– Семьдесят шесть градусов. Николай верно говорил.

– Трепач-то! Хоть бы успели.

– Мне эти сильные!.. Сибиряки. Куда полез? Зачем?!

– Ребята, успеют или нет? Где он, ребята?!

Ребята только-только успели: поймали Митьку за волосы и погребли к берегу.

Митька наглотался изрядно. Очкарики начали делать ему искусственное дыхание по всем правилам где-то когда-то усвоенной науки спасения утопающих: подложили Митьке под поясницу кругляш, болтали бесчувственными Митькиными руками, давили на живот… Митька был без трусов, и девушка просила издали:

– Ребята, ну наденьте ему брюки. Ребят, ну наденьте! Я помогу вам откачивать.

– Ты лучше беги в магазин, – попросил один из тех, кто плавал за Митькой. Он прыгал на одной ноге, стараясь попасть другой в штанину. Его так трясло, что вблизи слышно было, как щелкают зубы. – А то пропадешь к черту… с этими моржами.

– Ребят, вам теперь медали дадут, да?

Те, что возились с Митькой, захихикали.

– Ирочка, без трусов не считается.

– Как без трусов не считается?

– Если вытащили утопающего, но он без трусов, то не считается, что спасли. Надо достать трусы, тогда дадут медаль.

– Ира, иди подержи голову.

– Да ну, какие-то!.. Ну наденьте же штаны, ребята!

– Мы в штанах, Ира. Ты что, бог с тобой!

Митька стал подавать признаки жизни. Открыл глаза, замычал… Потом его стало рвать водой и корежить. Рвало долго, Митька устал. Закрыл глаза. Потом вдруг – то ли вспомнил, то ли почувствовал, что он без трусов, – вскочил, схватился… там где носят трусы… Очкарики засмеялись. Митька вскочил – и бегом по камням, прикрывая руками стыд. Добежал к своей одежде, схватил, еще три-четыре прыжка, и он скрылся в кустах. И больше не появлялся.

Очкарики пошли в магазин – покупать лекарство для двух своих героев. А заодно полагалось выпить и за здоровье спасенного.

– Зря он сбежал! – сокрушались. – Лютенко нахмурится: «В честь чего выпивка?» – «Спасли утопающего». Не поверит. Скажет, выдумали. Ира, подтвердишь?

– Если вам не полагаются медали, то и выпивка не полагается. Я против.

– Все дело в трусах…

– А лихо он в кусты сиганул! Прямо детектив: спасли утопающего, он схватил одежду и был таков. Может, шпион?

Беззаботный народ, эти очкарики! Шляются по дорогам… Все бы им хаханьки, хиханьки. Несерьезно как-то все это. В их годы… Но вернемся к Митьке.

Митька перед самым закрытием магазина пришел туда. Он был уже хорош. Оглянулся, спросил продавщицу негромко:

– Здесь бумажник никто не находил?

– Какой бумажник?

– Кожаный… в нем пятнадцать отделений.

– Твой, что ли?

– Не имеет значения. Никто не поднимал?

– Нет. А что там было?

– Деньги.

– Твои, что ли?

– Не имеет значения.

– Много денег?

– Полторы тысячи.

– Новых?!

– Новых… Новеньких. Никто не поднимал?

Тут только сообразила продавщица, что у Митьки – «транс», Митька наскочил на новый сюжет.

– Господи!.. Митька, заикой сделаешь так. Да ведь как серьезно, черт такой! Ты хоть раз в глаза видал такие деньги?

Митька криво улыбнулся.

– Хочешь, я тебе сейчас… Ну, ладно. Замнем для ясности. Дай бутылку.

– Чего «я сейчас»?

– Ладно, ладно. Давай бутылку и помалкивай. Я про деньги не спрашивал.

– Женился бы ты, чудак-человек, – с искренним сочувствием сказала продавщица, здешняя женщина, знавшая Митьку с малых лет. – Женисся – заботы пойдут, некогда выдумывать-то будет что попало.

– Ладно, ладно, – сказал Митька. Взял бутылку и пошел из магазина. На пороге остановился, еще раз предупредил продавщицу: – Имей в виду: я про деньги не спрашивал. Если кто найдет, станут тебе отдавать – ты ничего не знаешь, чьи они.

– Ладно, Митя, не скажу. Только ведь не отдадут.

– Как?

– А то не знаешь – как? Найдут и промолчат. Полторы тыщи – это дом крестовый, какой же дурак отдаст. Присвоит, и все.

– На всякий случай: ты ничего не знаешь.

– Добро.

Митька ушел.

Да, опять у него это самое… Похоже, изобрел машинку для печатания бумажных денег. Опять будет помогать бедным и женщинам. Митька добрый человек, но очень наивный: ведь попадутся бедные и женщины с фальшивыми деньгами! И им же будет плохо. Об этом он почему-то не думает. Лучше уж рак лечить – безопасней.

Шире шаг, Маэстро

Притворяшка Солодовников опять опаздывал на работу. Опаздывал он почти каждый день. Главврач, толстая Анна Афанасьевна, говорила:

– Солодовников, напишу маме!

Солодовников смущался; Анна Афанасьевна (Анфас – называл ее Солодовников в письмах к бывшим сокурсникам своим, которых судьба тоже растолкала по таким же углам; они еще писали друг другу, жаловались и острили) приходила в мелкое движение – смеялась. Молча. Ей нравилось быть наставником и покровителем молодой врача, молодого дон-жуана. Солодовников же, наигрывая смущение, жалел, что редкое дарование его – нравиться людям – пропадает зря: Анфас не могла сыграть в его судьбе сколько-нибудь существенную роль; дай бог ей впредь и всегда добывать для больницы спирт, камфару, листовое железо, радиаторы для парового отопления. Это она умела. Еще она умела выковыривать аппендицит, Солодовникову случалось делать кое-что посложнее, и он опять жалел, что никто этого не видит. «Я тут чуть было не соблазнился на аутотрансплантацию, – писал он как-то товарищу своему. – Хотел большую подкожную загнать в руку – начитался новинок, вспомнил нашего старика. Но… и но: струсил. Нет, не то: зрителей нет, вот что. Хучь бей меня, хучь режь меня – я актер. А моя драгоценная Анфас – не аудитория. Нет».

Солодовников спешил. Мысленно он уже проиграл утреннюю сцену с Анной Афанасьевной: он нахмурится виновато, сунется к часам… Вообще он после таких сценок иногда чувствовал себя довольно погано. «Гадкая натура, — думал. — Главное, зачем! Ведь даже не во спасение, ведь не требуется!» Но при этом испытывал и некое приятное чувство, этакое дорогое сердцу успокоение, что — все в порядке, все понятно, дело мужское, неженатое.

Солодовников взбежал на крыльцо, открыл тяжелую дверь на пружине, придержал ее, чтоб не грохнула… И, раздеваясь на ходу, поспешил к вешалке в коридоре, И когда раздевался, увидел на белой стене, противоположной окну, большой — в окно — желтый квадрат. Свет. Солнце… И как-то он сразу вдруг вспыхнул в сознании, этот квадратный желтый пожар, — весна! На дворе желанная, милая весна, Летел по улице, хрустел ледком, думал черт знает о чем, не заметил, что — весна. А теперь… даже остановился с пальто в руках, засмотрелся на желтый квадрат. И радость, особая радость — какая-то тоже ясная, надежная, сулящая и вперед тоже тепло и радость — толкнулась в грудь Солодовникова. В той груди билось жадное до радости молодое сердце. Солодовников даже удивился и поскорей захотел собрать воедино все мысли, сосредоточить их на одном; вот — весна, надо теперь подумать и решить нечто главное. Предчувствие чего-то хорошего охватило его. Надо только, думал он, собраться, крепко подумать. Всего двадцать четыре года, впереди целая жизнь, надо что-то такое решить теперь же, когда и сила есть, много, и радостно, И весна. Надо начать жить крупно.

Солодовников прошел в свой кабинетик (у него стараниями все той же добрейшей Анны Афанасьевны зачем-то был свой кабинетик), сел к столу и задумался, Не пошел к Анне Афанасьевне. Она сейчас сама придет.

Ни о чем определенном он не думал, а все жила в нем эта радость, какая вломилась сейчас — с весной, светом — в душу, все вникал он в нее, в радость, вслушивался в себя… И невольно стал вслушиваться и в звуки за окном: на жесть подоконника с сосулек, уже обогретых солнцем, падали капли, и мокрый шлепающий звук их, такой неожиданный, странный в это ясное, солнечное утро с легким морозцем, стал отзываться в сердце — каждым громким шлепком — радостью же. Нет, надо все сначала, думал Солодовников. Хватит, Хорошо еще, что институт закончил, пока валял дурака, у других хуже бывает. Он верил, что начнет теперь жить крупно — самое время, весна: начало всех начал. Отныне берем все в свои руки, хватит. Двадцать пять плюс двадцать пять — пятьдесят. К пятидесяти годам надо иметь… кафедру в Москве, свору учеников и огромное число работ. Не к пятидесяти, а к сорока пяти. Придется, конечно, поработать, но… почему бы не поработать!

Солодовников встал, прошелся по кабинетику. Остановился у окна. Радость все не унималась. Огромная земля… Огромная жизнь. Но — шаг пошире, пошире шаг, маэстро! Надо успеть отшагать далеко. И начнется этот славный поход — вот отсюда, от этой весны.

Солодовников опять подсел к столу, достал ручку, поискал бумагу в столе, не нашел, вынул из кармана записную книжку и написал на чистой страничке:

Отныне буду так:
Холодный блеск ума,
Как беспощадный блеск кинжала:
Удар — закон.
Удар — конец.
Удар — и все сначала.

Прочитал, бросил ручку и опять стал ходить по кабинетику. Закурил. Его поразило, что он написал стихи. Он никогда не писал стихов. Он даже не подозревал, что может их писать. Вот это да1 Он подошел к столу, перечитал стихи… Хм. Может, они, конечно, того… нагловатые. Но дело в том, что это и не стихи, это своеобразная программа, что ли, сформулировалась такими вот словами. Он еще прошелся по кабинетику… Вдруг засмеялся вслух. Стихи хирурга: «Удар-конец. Удар-и все сначала». Что сначала: новый язвенник? Ничего… Он порадовался тому, что не ошалел от радости, написав стихи, а нашел мудрость обнаружить их смешную слабость. Но их надо сохранить: так — смешно и наивно — начиналась большая жизнь. Солодовников спрятал книжечку. Если к пятидесяти годам не устать, как… лошади, и сохранить чувство юмора, то их можно потом и вспомнить.

А за окном все шлепало и шлепало в подоконник. И заметно согревалось окно, Весна

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru работала. Солодовников почувствовал острое желание действовать.

Он вышел в коридор, прошел опять мимо желтого пятна на стене, подмигнул ему и мысленно сказал себе: «Шире шаг, маэстро!»

Анна Афанасьевна, конечно, говорила по телефону и, конечно, о листовом железе.

Они кивнули друг другу.

– Я понимаю, Николай Васильевич, – любезно говорила Анна Афанасьевна в трубку, – я вас прекрасно понимаю… Да. Да!.. Пятнадцать листов.

«Мы все прекрасно понимаем, Николай Васильевич», – съязвил про себя Солодовников, присаживаясь на белую табуретку.

Не зло съязвил, легко – от избытка доброй силы. Не терпелось скорей заговорить с Анной Афанасьевной.

– Я вас прекрасно понимаю, Николай Васильевич!.. Хорошо. Бу сделано! – Анна Афанасьевна пришла в мелкое движение – засмеялась беззвучно. – Я в долгу не останусь. До свиданья! Нет, не у нас, не у нас… Что вы все боитесь нас, как… не знаю… До свиданья – на нейтральной почве! В ресторане? – Анфас опять вся заколебалась. – Ну, посмотрим. Ну, лады! Всего.

«Господи - весь юмор: «бу сделано», «лады», – удивился Солодовников. – И не жалко времени – болтать! Тут теперь каждая минута дорога».

– Ну-с, Георгий Николаевич… – Анна Афанасьевна весело и значительно посмотрела на Солодовникова.

– Да здравствует листовое железо! – тоже весело сказал Солодовников без всякого смущения, даже притворного. Он прямо смотрел Анне Афанасьевне в глаза.

– В смысле? – спросила та.

– В смысле: у нас будет самодельный холодильник. – Солодовников встал, подошел к окну, постоял, руки в карманы, чувствуя за собой удивленный взгляд главврача… Качнулся с носков на пятки. И соврал. Крупно. Неожиданно.

– Начал писать работу, Анна Афанасьевна. «Письма из глубинки. Записки врача». Это как-то случилось само собой-эти «Письма из глубинки». И Солодовникова опять поразило: это же ведь то, что нужно! С этого же и надо начинать. Неужели начался неосознанный акт творчества? Если, конечно, это не «удар-закон». Нет, это реально, умно, точно: это описание интересных случаев операционной практики в условиях сельской больницы. В форме писем к Другу «Н». Тут и легкая ирония по поводу этих самых условий, описание самодельного холодильника – глубокой землянки, обшитой изнутри листовым железом, – и легко, вскользь – весна… Но конечно же главным образом работа, работа, работа. Изнуряющая. Радостная. Смелая. Подвижническая. Любовь населения… Уважение. Ночные поездки. Аутотрансплантация. Прободная в условиях полевого стана. Благодарность старушки, ее смешная, искренняя молитва за молоденького неверующего врача… Все это сообразилось в один миг, вдруг, отчетливо, с радостью. Солодовников повернулся к Анне Афанасьевне… Да, тут, конечно, и заботливая, недалекая хлопотунья Анна Афанасьевна, главврач… Которая, прочитав «Записки» в рукописи, скажет, удивленная: «Прямо как роман!» – «Ладно, а как врачу вам это интересно?» – «Очень! Тут же есть просто уникальные случаи!» – «А за себя… не в обиде на автора?» – «Да нет, чего обижаться? Все правда».

– Что, Анна Афанасьевна?

– Уже начали писать? – спросила Анна Афанасьевна. – Записки-то. Поэтому и опоздали?

– Поэтому и опоздал, – Солодовников обиделся на главврача: солдафон в юбке, одно листовое железо в голове. – Извините, – сухо добавил он, – больше этого не случится. – Смотреть на часы и огорчаться притворно он не стал. «Все, – подумал он. – Хватит. Пора кончать эти… ужимки и прыжки». Вспомнил свое стихотворение.

– Какой-то вы сегодня странный.

– Что с этим язвенником, с трактористом? – спросил Солодовников. – Будем оперировать?

Анна Афанасьевна больше того удивилась:

– Зубова? Здрасте, я ваша тетя: я его два дня назад в район отправила. Вы что?

– Почему?

– Потому что вы сами просили об этом, поэтому. Что с вами?

– Да, да, – вспомнил Солодовников. – А эта девушка с мениском?

– С мениском лежит… Хотите оперировать?

– Да, – твердо сказал Солодовников. – Сегодня же.

Анна Афанасьевна посмотрела на своего помощника долгим взглядом. Солодовников тоже посмотрел на нее – как-то несколько задумчиво, чуть прищурив глаза.

– Так, – молвила Анна Афанасьевна. – Ну, что же… Только вот какое дело, Георгий Николаевич: сегодня операцию отложим. Сегодня вы мне поможете, Георгий Николаевич. Меня вызывают в райздрав, а я договорилась с директором совхоза насчет железа… Причем, это такой человек, что его надо ловить на слове: завтра железа у него не будет, надо брать, пока оно, так сказать, горячо. Я прошу вас получить сегодня это железо. Завхоз наш, как вам известно, в отпуске. Солодовников было огорчился, но, подумав, легко согласился:

– Хорошо.

Первая глава в «Записках» будет… о листовом железе. Это сразу введет в обстоятельства и условия, в каких приходилось работать молодому врачу.

– Что все-таки с вами такое? – опять не выдержала Анна Афанасьевна. Ей чисто по-женски интересно было узнать, отчего молодые люди могут за одну ночь так измениться. – Серьезная любовь?

Солодовников в свою очередь с любопытством посмотрел на главврача:

– Вы ничего не замечаете? Что происходит на земле…

Анна Афанасьевна даже выглянула в окно.

– Что происходит? Не понимаю…

– Не во дворе у нас, вообще на земле.

– Война во Вьетнаме…

– Нет, я не про то. Лады, Анна Афанасьевна, иду добывать железо! Куда надо идти?

– Надо ехать в Образцовку к директору совхоза. Ненароков Николай Васильевич. Но раньше надо взять у нас в сельсовете подводу и одного рабочего, там дадут, я договорилась. Скажите Ненарокову, что мы, я или вы, на днях прочитаем у них в клубе лекцию о вреде алкоголя. Это действительно надо сделать, я давно обещала. Вы мне сегодня положительно нравитесь, Георгий Николаевич. Любовь, да?

– Разрешите идти? – Солодовников прищелкнул каблуками, улыбнулся своей доверчивой, как он ее сам называл, улыбкой.

– Разрешаю.

Солодовников вышел к коридор… Пятно света наполовину сползло со стены на пол. Солодовников нарочно наступил на пятно, постоял… «Время идет», подумал он. Без сожаления, однако, подумал, а с радостью, как если бы это обозначало: «Началось мое время. Сдвинулось!»

В кабинетике он опять достал записную книжку и записал:

«Сегодня утром я спросил мою уважаемую Анфас: «Что происходит на земле?» Анфас честно выглянула в окно… Подумала и сказала: «Война во Вьетнаме». «А еще?» Она не знала. А на земле была Весна».

Это-начало первой главы «Записок». Солодовникову оно понравилось. С прозой он, очевидно, в лучших отношениях. Да, с этого дня, с этого утра время работает на него. На книге, которую он подарит Анне Афанасьевне, он напишет: «Фоме неверующему-за добро и науку. Автор».

Вот и все. Ну, а теперь-листовое железо!

В сельсовете Солодовникову дали подводу, но того, кто должен был ехать с ним, там не было.

– Вы, это, заехайте за ним, он живет… вот так вот улица повернет от сельпо в горку, а вы…

Солодовников поехал один в Образцовку. «Черт с ним, с рабочим, один погружу». Ехать до Образцовки не так уж долго, но конек попался грустный, не спешил, да Солодовников и не торопил его. Санная езда кончалась; как выехали на тракт, так потащились совсем тихо и тяжело. Полозья омерзительно скрежетали по камням; от копыт лошади, когда она пробовала бежать рысью, летели ошметья талого грязного снега. В санях было голо, Солодовников не догадался попросить охапку сена, чтоб раскинуть ее и развалиться бы на ней, как, он видел, делают мужики.

На выезде из села, у крайних домов, Солодовников увидел початый стожок сена. Стожок был огорожен прясло м, но к нему вела утоптанная тропка. Солодовников остановил коня и побежал к стожку. Перелез через прясло и уже запустил руки в пахучую хрустящую благодать, стараясь захватить побольше… И тут услышал сзади злой окрик:

– Эт-то что за елкина мать?! Кто разрешил?

Солодовников вздрогнул испуганно и. выдернул руки из сена. К нему по тропке быстро шел здоровый молодой мужик в синей рубахе, без шапки. Нес в руке березовый колышек.

– Я хотел под бок себе… – поспешно сказал Солодовников и сам почувствовал, что говорит трусливо и униженно. – Немного – вот столько – под бок хотел положить…

– А по бокам не хотел? Стяжком вот этим вот… Под бок он хотел! Опояшу вот разок-другой…

– Я врач ваш! – совсем испуганно воскликнул Солодовников. – Мне немного надо-то было… Господи, из-за чего шум?

– Врач… – Мужик присмотрелся к Солодовникову и, должно быть, узнал врача. – Надо же спросить сперва. Если каждый будет по охапке под бок себе дергать, мне и коровенку докормить нечем будет. Спросить же надо. Тут много всяких ездиют…

Мужик явно теперь узнал врача, но оттого, что он тем не менее отчитал его, как школяра, Солодовников очень обиделся.

– Да не надо мне вашего сена, господи! Я немного и хотел-то… под бок немного… Не надо мне его! – Солодовников повернулся и пошел по целику прямо, проваливаясь по колена в жесткий ноздреватый снег, больно царапая лодыжки. Он понимал, что – со стороны посмотреть – вовсе глупо: шагать целиком, когда есть тропинка. Но на тропинке стоял мужик, и его надо было бы обойти.

– Возьми сена-то! – крикнул мужик. – Чего же пустой пошел?

– Да не надо мне вашего сена! – чуть не со слезами крикнул Солодовников, резко оглянувшись. – Вы же убьете, чего доброго, из-за охапки сена!

Мужик молча глядел на него.

Солодовников дошел до саней, больно стегнул вожжами кобылу и поехал, В какойто статье он прочитал у какого-то писателя, что «идиотизма деревенской жизни» никогда не было и конечно же нет и теперь. «Сам идиот, поэтому и идиотизма нет и не было», – зло подумал он про писателя.

Ноги Солодовников поцарапал сильно, теперь саднило, и он решил вернуться в больницу и на всякий случай обезвредить ссадины. Но остановился, постоял и раздумал, решил, что в совхозе попросит спирту и протрет ноги.

Он потихоньку ехал дальше и успокоился. Вообще неплохое продолжение первой главы «Записок». Только с юмором надо как-то… осторожнее, что ли. При чем тут юмор и ирония? Это должна быть трезвая, деловая вещь, без всяких этих штучек. В том-то и дело, что не развлекать он собрался, а поведать о трудной, повседневной, нормальной, если хотите, жизни сельского врача. Солодовников совсем успокоился, только очень неуютно, неудобно было в жестких, холодных санях.

Николай Васильевич Ненароков, человек нестарый, сорокалетний, но медлительный (нарочно, показалось Солодовникову), рассудительный… Долго беседовал с Солодовниковым, присматривался. Узнал, где учился молодой человек, как попал в эти края (по распределению?), собирается ли оставаться здесь после обязательных трех лет… Солодовникову директор очень не понравился. Под конец он прямо и невежливо спросил:

– Вы дадите железо?

– А как же? Вы что, обиделись, что расспрашиваю вас? Мне просто интересно… У меня сынишка подрастает, тоже хочет в медицинский, вот я и прощупываю, так сказать, почву. Конкурс большой?

– Да, с каждым годом больше.

– Вот, – решил директор. – Нечего и соваться. Есть сельскохозяйственный – прямая дорога. Верно? Специалисты позарез нужны, без работы не будет.

Солодовников пожал плечами:

– Но если человек хочет…

– Мало ли чего мы хочем! Я, может, хочу… – Директор посмотрел на молодого врача, не стал говорить, чего он, «может, хочет». Написал на листке бумаги записку кладовщику, подал Солодовникову:

– Вот – на складе Морозову отдайте. Лупоглазый такой, узнаете. Он небось с похмелья.

– Насчет лекции… Анна Афанасьевна просила передать…

Директор махнул рукой:

– Толку-то от этих лекций! Приезжайте, поговорите. Вот картину какую-нибудь интересную привезут, я позвоню – приезжайте.

– Зачем? – не понял Солодовников.

– Ну, лекцию-то читать.

– А при чем тут картина?

– А как людей собрать? Перед картиной и прочитаете. Иначе же их не соберешь, Что?

– Ничего. Я думал, соберутся специально на лекцию.

– Не соберутся, – просто, без всякого выражения сказал директор. – Значит, Морозова спросите, завскладом.

Морозов внимательно прочитал записку директора и вдруг заявил протест:

– Пятнадцать листов?! А где? У меня их нету. – Он вернул записку. И при этом пытливо посмотрел на врача. – Откуда они у меня?

– Как же? – растерялся Солодовников. – Они же договорились…

– Кто?

– Главврач и ваш директор.

– Так вот, если они договорились, пусть они вам и выдают. У меня железа нет. – Морозов сунул руки в карманы и отвернулся. Но не отходил. Чего-то он ждал от врача, а чего, Солодовников никак не мог понять. – А то они шибко скорые: Морозов, выдай, Морозов отпусти… А у Морозова на складе – шаром покати. Тоже мне, понимаешь…

– Как же быть? – спросил Солодовников.

– Не знаю, не знаю, дорогой товарищ. У меня железо приготовлено для колхоза «Заря», они приедут за ним. – Морозов простуженно, со свистом покашлял в кулак… И опять глянул на врача. – Простыл, к черту, доверительно, совсем не сердито сказал он. – Крутишься день-деньской на улице… Впору к вам ехать – лечиться. Только теперь сообразил Солодовников, что Морозов хочет опохмелиться.

– Нет железа?

– Есть. Для других. Для вас – нету.

– А телефон тут есть где-нибудь?

– Зачем?

– Я позвоню директору. Что это такое, в конце концов: я бросил больных, еду сюда, а тут стоит… некий субъект и корчит из себя черт знает что! Где телефон?

Морозов вынул руки из карманов, нехорошо сузил глаза на врача-молокососа:

– А полегче, например, – это как, можно? Без гонора. Мм?

– Где телефон?! – крикнул Солодовников, сам удивляясь своей нахрапистости. – Я вам покажу гонор. И кое-что еще! Мы найдем железо… Я сейчас не директору, а в райком буду звонить. Где телефон?

Морозов пошел под навес, сдернул со штабеля толь – там было листовое железо.

– Отсчитывайте пятнадцать листов, – спокойно сказал Морозов, – а мне, пожалуйста, сообщите вашу фамилию.

– Солодовников Георгий Николаевич.

Морозов записал.

– За субъекта… как вы выразились, придется ответить.

– Отвечу.

– Если всякие молокососы будут приезжать и обзываться…

– За молокососа тоже придется ответить. Вы на что намекаете? Что у нас молокососам жизни человеческие доверяют?

– Ничего, ничего, – сказал Морозов. Но такой поворот дела его явно не устраивал. Солодовников подъехал с санями к штабелю и стал кидать листы в сани. Морозов стоял рядом, считал.

– Привет тете, – сказал Солодовников, отсчитав пятнадцать листов. И поехал. Морозов закрывал штабель. На Солодовникова не оглянулся.

Солодовников поехал с хорошим настроением… Только опять было неудобно в санях. Теперь еще железо мешало. Он пристроился сидеть на отводине саней, на железе — совсем холодно.

Дорога, когда поехал обратно, вовсе раскисла, и лошадь всерьез напрягалась, волоча тяжелые сани по чавкающей мешанине из снега, земли и камней.

«Вот так и надо! — удовлетворенно думал Солодовников. — В дальнейшем будет только так». Неприятно кольнуло воспоминание о мужике с колышком, но он постарался больше не думать об этом.

Но — то ли сани очень уж медленно волоклись, то ли малость сегодняшних дел и каких-то глупых стычек — радость и удовлетворение почему-то оставили Солодовникова. Стал безразличен хороший солнечный день, даль неоглядная, где распахнулась во всю красу мокрая весна, — стали безразличны все эти запахи, звуки, пятна… Ну, весна, ну, что же теперь — козлом, что ли, прыгать? Куда как приятнее и веселее вечером. Вечером они уговорились — компанией в пять-шесть человек — играть в фантики и целоваться. Будет музыка, винишко… Будет там эта курносенькая хохотушка, учительница немецкого языка… Она хохотушка-то хохотушка, но умна, черт бы ее побрал, читала много, друзей интересных оставила в городе. Тут что-то такое… сердчишко у врача вздрагивает. Вздрагивает, чего там. Малость она, правда, вульгаритэ: носик. К тридцати годам носик этот самый на лоб полезет. Курносые предрасположены к полноте. Но где они еще, эти ее тридцать пять — сорок лет! Солодовников подстегнул кобылку.

Пока он сгрузил в больнице железо и пока отвел лошадь в сельсовет и опять вернулся в больницу, прошло много времени. Солодовников чувствовал, что устал. Руки тряслись. Он умылся в кабинетике, хотел пойти посмотреть девушку с мениском, но решил, что завтра с утра. Вошла уборщица и сказала, что там названивают без конца, а Анны Афанасьевны нету.

— Ну и что? Скажите, что ее нету.

— Может, вы послушаете. Они там говорят: кто есть, мол.

Солодовников пошел в кабинет главврача, посидел у телефона, дождался, когда он затрещал, снял трубку.

— Больница. Солодовников… Она в районе… А-а, это вы? Получил, получил. Пятнадцать листов, все в порядке. Спасибо… Лекцию?.. Нет, сегодня не получится. Нет. Я не смогу… занят, а Анна Афанасьевна… не знаю, когда она приедет. Нет, я занят. Я оставлю ей записку… Во сколько сеанс-то? Я напишу ей. До свиданья.

Солодовников положил трубку, посидел… И все-таки пошел в палату к девушке с мениском. Посмотрел ее ногу, поговорил с девушкой, с удовольствием похлопал ее по румяной щеке, пошутил. Поговорил с другими больными, послушал их справедливые, скучные слова. Сказал, что на дворе — весна. И ушел. Вошел опять в свой кабинетик, посмотрел на часы — без пятнадцати три, можно отчаливать. Он снял халат, поправил перед зеркалом галстук… Закурил, Нащупал в кармане записную книжку, хмыкнул, вспомнив про стихи, не стал их перечитывать, бросил книжечку в стол, подальше. И пошел из больницы.

Шел опять той дорогой, какой шел утром, старательно обходил лужи… Здоровался со встречными — вежливо, с достоинством (он поразительно скоро и незаметно как-то научился достоинству), но ни с кем не заговаривал.

«Нет, в курносенькой что-то есть, — думал Солодовников. — Определенно что-то есть. Но пожалуй, слишком уж серьезно к себе относится — это при том, что неутомимая хохотушка. Бережет себя… Так — раззадорить можно, но не больше того. Нет, не больше».

Сапожки

Ездили в город за запчастями… И Сергей Духанин увидел там в магазине женские сапожки. И потерял покой: захотелось купить такие жене. Хоть один раз-то, думал он, надо сделать ей настоящий подарок. Главное, красивый подарок… Она таких сапожек во сне не носила.

Сергей долго любовался на сапожки, потом пощелкал ногтем по стеклу прилавка и

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru спросил весело:

– Это сколько же такие пипеточки стоят?

– Какие пипеточки? – не поняла продавщица.

– Да вот… сапожки-то.

– Пипеточки какие-то… Шестьдесят пять рублей. Сергей чуть вслух не сказал «О!..» – протянул:

– Да… Кусаются.

Продавщица презрительно посмотрела на него. Странный они народ, продавщицы: продаст обыкновенный килограмм пшена, а с таким видом, точно вернула забытый долг.

Ну, дьявол с ними, с продавщицами. Шестьдесят пять рублей у Сергея были. Было даже семьдесят пять. Но… Он вышел на улицу, закурил и стал думать. Вообще-то не для деревенской грязи такие сапожки, если уж говорить честно. Хотя она их, конечно, беречь будет… Раз в месяц и наденет-то – сходить куда-нибудь. Да и не наденет в грязь, а – посуху. А радости сколько! Ведь это же черт знает какая дорогая минута, когда он вытащит из чемодана эти сапожки и скажет: «На, носи».

Сергей пошел к ларьку, что неподалеку от магазина, и стал в очередь за пивом.

Представил Сергей, как заблестят глаза у жены при виде этих сапожек. Она иногда, как маленькая, до слез радуется. Она вообще-то хорошая. С нами жить – надо терпение да терпение, думал Сергей. Одни проклятые выпивки чего стоят. А ребятишки, а хозяйство… Нет, они двужильные, что могут выносить столько. Тут хоть как-нибудь, да отведешь душу: выпьешь когда – все легче маленько, а ведь они с утра до ночи, как заводные.

Очередь двигалась медленно, мужики без конца «повторяли». Сергей думал.

Босиком она, правда, не ходит, чего зря прибедняться-то? Ходит, как все в деревне ходят… Красивые, конечно, сапожки, но не по карману. Привезешь, а она же первая заругает. Скажет, на кой они мне, такие дорогие! Лучше бы девчонкам чего-нибудь взял, пальтишечки какие-нибудь – зима подходит.

Наконец Сергей взял две кружки пива, отошел в сторону и медленно стал пропускать по глоточку. И думал.

Вот так живешь – сорок пять лет уже, – все думаешь: ничего, когда-нибудь буду жить хорошо, легко. А время идет… И так и подойдешь к той ямке, в которую надо ложиться, – а всю жизнь чего-то ждал. Спрашивается, какого дьявола надо было ждать, а не делать такие радости, какие можно делать? Вот же: есть деньги, лежат необыкновенные сапожки – возьми, сделай радость человеку! Может, и не будет больше такой возможности. Дочери еще не невесты – чего-ничего, а надеть можно – износят. А тут – один раз в жизни… Сергей пошел в магазин.

– Ну-ка дай-ка их посмотреть, – попросил он.

– Чего?

– Сапожки.

– Чего их смотреть? Какой размер нужен?

– Я на глаз прикину. Я не знаю, какой размер.

– Едет покупать, а не знает, какой размер. Их примерять надо, это не тапочки.

– Я вижу, что не тапочки. По цене видно, хэ-хэ…

– Ну и нечего их смотреть.

– А если я их купить хочу?

– Как же купить, когда даже размер не знаете?

– А вам-то что? Я хочу посмотреть.

– Нечего их смотреть. Каждый будет смотреть.

– Ну, вот чего, милая, – обозлился Сергей, – я же не прошу показать мне ваши панталоны, потому что не желаю их видеть, а прошу показать сапожки, которые лежат на прилавке.

– А вы не хамите здесь, не хамите! Нальют глаза-то и начинают…

– Чего начинают? Кто начинает? Вы то, поили меня что так говорите?

Продавщица швырнула ему один сапожок. Сергей взял его, повертел, поскрипел хромом, пощелкал ногтем по лаково блестевшей подошве… Осторожненько запустил руку вовнутрь…

«Нога-то в нем спать будет», – подумал радостно

– Шестьдесят пять ровно? – спросил он.

Продавщица молча, зло смотрела на него.

«О господи! – изумился Сергей. – Прямо ненавидит. За что?»

– Беру, – сказал он поспешно, чтоб продавщице поскорей бы уже отмякла, что ли, – не зря же он отвлекает ее, берет же он эти сапожки. – Вам платить или кассиру?

Продавщица, продолжая смотреть на него, сказала негромко:

– В кассу.

– Шестьдесят пять ровно или с копейками?

Продавщица все глядела на него; в глазах ее, когда Сергей повнимательней посмотрел, действительно стояла белая ненависть. Сергей струсил… Молча поставил сапожок и пошел к кассе. «Что она?! Сдурела, что ли, – так злиться? Так же засохнуть можно, не доживя веку».

Оказалось, шестьдесят пять рублей ровно. Без копеек. Сергей подал чек продавщице. В глаза ей не решался посмотреть, глядел выше тощей груди. «Больная, наверно», – пожалел Сергей.

А продавщица чек не брала. Сергей поднял глаза… Теперь в глазах продавщицы была и ненависть, и какое-то еще странное удовольствие.

– Я прошу сапожки.

– На контроль, – негромко сказала она.

– Где это? – тоже негромко спросил Сергей, чув ствуя, что и сам начинает ненавидеть сухопарую продавщицу.

Продавщица молчала. Смотрела.

– Где контроль-то? – Сергей улыбнулся прямо в глаза ей. – А? Да не гляди ты на меня, не гляди, милая, – женатый я. Я понимаю, что в меня сразу можно влюбиться, но… что я сделаю? Терпи уж, что сделаешь? Так где, говоришь, контроль-то?

У продавщицы даже ротик сам собой открылся… Такого она не ждала.

Сергей отправился искать контроль.

«О-о! – подивился он на себя. – Откуда что взялось! Надо же так уесть бабу. А вот не будешь психовать зря. А то стоит – вся изозлилась».

На контроле ему выдали сапожки, и он пошел к своим, на автобазу, чтобы ехать домой. (Они приезжали на своих машинах, механик и еще два шофера.)

Сергей вошел в дежурку, полагая, что тотчас же все потянутся к его коробке — что, мол, там? Никто даже не обратил внимания на Сергея. Как всегда — спорили. Видели на улице молодого попа и теперь выясняли, сколько он получает. Больше других орал Витька Кибяков, рябой, бледный, с большими печальными глазами. Даже когда он надрывался и, между прочим, оскорблял всех, глаза оставались печальными и умными, точно они смотрели на самого Витьку — безнадежно грустно.

— Ты знаешь, что у него персональная «Волга»?! — кричал Рашпиль (Витьку звали «Рашпиль»), — У их, когда они еще учатся, стипендия — сто пятьдесят рублей! Понял? Сти-пен-дия!

— У них есть персональные, верно, но не у молодых. Чего ты мне будешь говорить? Персональные — у этих… апостолов. Не у апостолов, а у этих… как их?..

— Понял? У апостолов — персональные «Волги»! Во, пень дремучий. Сам ты апостол!

— Сто пятьдесят стипендия! А сколько же тогда оклад?

— А ты что, думаешь, он тебе за так будет гонениям подвергаться? На! Пятьсот рублей хотел?

— Он должен быть верующим!

Сергей не хотел ввязываться в спор, хотя мог бы поспорить: пятьсот рублей молодому попу — это много. Но спорить сейчас об этом… Нет, Сергею охота было показать сапожки. Он достал их, стал разглядывать. Сейчас все заткнутся с этим попом… Замолкнут. Не замолкли. Посмотрели, и все. Один только протянул руку — покажи. Сергей дал сапожок. Шофер (незнакомый) поскрипел хромом, пощелкал железным ногтем по подошве… И полез грязной лапой в белоснежную, нежную… внутрь сапожка. Сергей отнял сапожок.

— Куда ты своим поршнем?

Шофер засмеялся.

— Кому это?

— Жене.

Тут только все замолкли.

— Кому? — спросил Рашпиль.

— Клавке.

— Ну-ка?..

Сапожок пошел по рукам; все тоже мяли голенище, щелкали по подошве… Внутрь лезть не решались. Только расшеперивали голенище и заглядывали в белый, пушистый мирок. Один даже дунул туда зачем-то. Сергей испытывал прежде незнакомую гордость.

— Сколько же такие?

— Шестьдесят пять.

Все посмотрели на Сергея с недоумением. Сергей слегка растерялся.

— Ты что, офонарел?

Сергей взял сапожок у Рашпиля.

— Во! — воскликнул Рашпиль. — Серьга… дал! Зачем ей такие?

— Носить.

Сергей хотел быть спокойным и уверенным, но внутри у него вздрагивало. И привязалась одна тупая мысль: «Половина мотороллера. Половина мотороллера». И хотя он знал, что шестьдесят пять рублей – это не половина мотороллера, все равно упрямо думалось. «Половина мотороллера».

– Она тебе велела такие сапожки купить?

– При чем тут велела? Купил, и все.

– Куда она их наденет-то? – весело пытали Сергея. – Грязь по колено, а он – сапожки за шестьдесят пять рублей.

– Это ж зимние!

– А зимой в них куда?

– Потом, это ж на городскую ножку. Клавкина-то не полезет сроду… У ей какой размер-то? Это ж ей – на нос только.

– Какой она носит-то?

– Пошли вы!.. – вконец обозлился Сергей. – Чего вы-то переживаете?

Засмеялись.

– Да ведь жалко, Сережа! Не нашел же ты их, шестьдесят пять рублей-то.

– Я заработал, я и истратил, куда хотел. Чего базарить-то зря?

– Она тебе, наверно, резиновые велела купить? Резиновые… Сергей вовсю злился.

– Валяйте лучше про попа – сколько он все же получает?

– Больше тебя.

– Как эти… сидят, курва, чужие деньги считают. – Сергей встал. – Больше делать, что ли, нечего?

– А чего ты в бутылку-то лезешь? Сделал глупость, тебе сказали. И не надо так нервничать…

– Я и не нервничаю. Да чего ты за меня переживаешь-то?! Во, переживатель нашелся! Хоть бы у него взаймы взял, или что…

– Переживаю, потому что не могу спокойно на дураков смотреть. Мне их жалко…

– Жалко – у пчелки в попке. Жалко ему!

Еще немного позубатились и поехали домой. Дорогой Сергея доконал механик (они в одной машине ехали).

– Она тебе на что деньги-то давала? – спросил механик. Без ехидства спросил, сочувствуя. – На что-нибудь другое?

Сергей уважал механика, поэтому ругаться не стал.

– Ни на что. Хватит об этом.

Приехали в село к вечеру.

Сергей ни с кем не подосвиданькался… Не пошел со всеми вместе – отделился, пошел один. Домой. Клавдя и девочки вечеряли.

– Чего это долго-то? – спросила Клавдя. – Я уж думала, с ночевкой там будете.

– Пока получили да пока на автобазу перевезли… Да пока там их разделили по

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru районам…

– Пап, ничего не купил? – спросила дочь, старшая, Груша.

– Чего? – По дороге домой Сергей решил так: если Клавка начнет косоротиться, скажет – дорого, лучше бы вместо этих сапожек… «Пойду и брошу их в колодец».

– Купил.

Трое повернулись к нему от стола. Смотрели. Так это «купил» было сказано, что стало ясно – не платок за четыре рубля купил муж, отец, не мясорубку. Повернулись к нему… Ждали.

– Вон, в чемодане. – Сергей присел на стул, полез за папиросами. Он так волновался, что заметил: пальцы трясутся.

Клавдя извлекла из чемодана коробку, из коробки вытянула сапожки… При электрическом свете они были еще красивей. Они прямо смеялись в коробке. Дочери повскакивали из-за стола… Заахали, заохали.

– Тошно мнеченьки! Батюшки мои!.. Да кому это?

– Тебе, кому.

– Тошно мнеченьки!.. – Клавдя села на кровать, кровать заскрипела… Городской сапожок смело полез на крепкую, крестьянскую ногу. И застрял. Сергей почувствовал боль. Не лезли… Голенище не лезло.

– Какой размер-то?

– Тридцать восьмой…

Нет, не лезли. Сергей встал, хотел натиснуть. Нет.

– И размер-то мой…

– Вот где не лезут-то. Голяшка.

– Да что же это за нога проклятая!

– Погоди! Надень-ка тоненький какой-нибудь чулок.

– Да кого там! Видишь?..

– Да…

– Эх-х!.. Да что же это за нога проклятая!

Возбуждение угасло.

– Эх-х! – сокрушалась Клавдя. – Да что же это за нога! Скольно они?..

– Шестьдесят пять. – Сергей закурил папироску. Ему показалось, что Клавдя не расслышала цену. Шестьдесят пять рубликов, мол, цена-то.

Клавдя смотрела на сапожок, машинально поглаживала ладонью гладкое голенище. В глазах ее, на ресницах, блестели слезы… Нет, она слышала цену.

– Черт бы ее побрал, ноженьку! – сказала она. – Разок довелось, и то… Эхма!

В сердце Сергея опять толкнулась непрошеная боль… Жалость. Любовь, слегка забытая. Он тронул руку жены, поглаживающую сапожок. Пожал. Клавдя глянула на него… Встретились глазами. Клавдя смущенно усмехнулась, тряхнула головой, как она делала когда-то, когда была молодой, – как-то по-мужичьи озорно, простецки, но с достоинством и гордо.

– Ну, Груша, повезло тебе. – Она протянула сапожок дочери. – На-ка, примерь.

Дочь растерялась.

– Ну! сказал Сергей. И тоже тряхнул головой. – Десять хорошо кончишь – твои.
Клавдя засмеялась.

Перед сном грядущим Сергей всегда присаживался на низенькую табуретку у кухонной двери – курил последнюю папироску. Присел и сегодня… Курил, думал, еще раз переживал сегодняшнюю покупку, постигал ее нечаянный, большой, как ему сейчас казалось, смысл. На душе было хорошо. Жалко, если бы сейчас что-нибу дь спугнуло бы это хорошее состояние, эту редкую гостью-минуту.

Клавдя стелила в горнице постель.

– Ну, иди… – позвала она.

Он нарочно не откликнулся, – что дальше скажет

– Сергунь! – ласково позвала Клава.

Сергей встал, загасил окурок и пошел в горницу.

Улыбнулся сам себе, качнул головой… Но не подумал так: «Купил сапожки, она ласковая сделалась». Нет, не в сапожках дело, конечно, дело в том что…

Ничего. Хорошо.

Обида
Сашку Ермолаева обидели.

Ну, обидели и обидели – случается. Никто не призывает бессловесно сносить обиды, но сразу из-за этого переоценивать все ценности человеческие, ставить на попа самый смысл жизни – это тоже, знаете… роскошь. Себе дороже, как говорят. Благоразумие – вещь не из рыцарского сундука, зато безопасно. Да-с. Можете не соглашаться, можете снисходительно улыбнуться, можете даже улыбнуться презрительно… Валяйте. Когда намашетесь театральными мечами, когда вас отовсюду с треском выставят, когда вас охватит отчаяние, приходите к нам, благоразумным, чай пить.

Но – к делу.

Что случилось?

В субботу утром Сашка собрал пустые бутылки из-под молока, сказал: «Маша, пойдешь со мной?» – дочери.

– Куда? Гагазинчик? – обрадовалась маленькая девочка.

– В магазинчик. Молочка купим. А то мамка ругается, что мы в магазин не ходим, пойдем сходим.

– В кои-то веки! – сказала озабоченная «мамка». – Посмотрите там еще рыбу – нототению. Если есть, возьмите с полкило.

– Это дорогая-то?

– Ничего, возьми, – я ребятишкам поджарю.

И Сашка с Машей пошли в «гагазинчик».

Взяли молока, взяли масла, пошли смотреть рыбу нототению. Пришли в рыбный отдел, а там, за прилавком – тетя.

Тетя была хмурая – не выспалась, что ли. И почему-то ей, тете, показалось, что это стоит перед ней тот самый парень, который вчера здесь, в магазине, устроил пьяный дебош. Она спросила строго, зло:

– Ну, как – ничего?

– Что «ничего»? – не понял Сашка.

– Помнишь вчерашнее-то?

Сашка удивленно смотрел на тетю…

– Чего глядишь? Глядит! Ничего не было, да? Глядит, как Исусик…

Почему-то Сашка особенно оскорбился за этого «Исусика». Черт возьми совсем, где-то ты, Александр Иванович, уважаемый человек, а тут… Но он даже не успел и подумать-то так – обида толкнулась в грудь, как кулаком дали.

– Слушайте, – сказал Сашка, чувствуя, как у него сводит челюсть от обиды. – Вы, наверно, сами с похмелья?.. Что вчера было?

Теперь обиделась тетя. Она засмеялась презрительно:

– Забыл?

– Что я забыл? Я вчера на работе был!

– Да? И сколько плотют за такую работу? На работе он был! Да еще стоит рот разевает: «С похмелья!» Сам не проспался еще.

Сашку затрясло. Может, оттого он так остро почувствовал в то утро обиду, что последнее время наладился жить хорошо, мирно, забыл даже когда и выпивал… И оттого еще, что держал в руке маленькую родную руку дочери… Это при дочери его так! Но он не знал, что делать. Тут бы пожать плечами, повернуться и уйти к черту. Тетя-то уж больно того – несгибаемая. Может, она и поняла, что обозналась, но не станет же она, в самом деле, извиняться перед кем попало. С какой стати?

– Где у вас директор? – самое сильное, что пришло Сашке на ум.

– На месте, – спокойно сказала тетя.

– Где на месте-то? Где его место?

– Где положено, там и место. Для чего тебе директор-то? «Где директор»! Только и делов директору – с вами разговаривать! – тетя повысила голос, приглашая к скандалу других продавщиц и покупателей, которые постарше. – Директора ему подайте! Директор на работу пришел, а не с вами объясняться. Нет, видите ли, дайте ему директора!

– Что там, Роза? – спросили тетю другие продавщицы.

– Да вот директора – стоит требует!.. Вынь да положь директора! Фон-барон. Пьянчуги.

Сашка пошел сам искать директора.

– Какая тетя… похая, – сказала Маша.

– Она не плохая, она… – Сашка не стал при ребенке говорить, какая тетя. Лицо его горело, точно ему ни за что ни про что – при всех! – надавали пощечин.

В служебном проходе ему загородил было дорогу парень-мясник.

– Чего ты волну-то поднял?

Но ему-то Сашка нашел, что сказать. И, видно, в глазах у Сашки стояло серьезное чувство – парень отшагнул в сторону.

– Я не директор, – сказала другая тетя, в кабинете. – Я – завотделом. А в чем дело?

– Понимаете, – начал Сашка, – стоит… и начинает – ни с того ни с сего… За что?

– Вы спокойнее, спокойнее, – посоветовала завотделом.

– Я вчера весь день был на работе… Я даже в магазине-то не был! А она начинает: я, мол, чего-то такое натворил у вас в магазине. Я и в магазине-то не был!

– Кто говорит?

– В рыбном отделе стоит.

– Ну, и что она?

– Ну, говорит, что я что-то такое вчера натворил в магазине. Я вчера и в магазине-то не был.

– Так что же вы волнуетесь, если не вы натворили? Не вы и не вы – и все.

– Она же хамить начала! Она же обзывается!..

– Как обзывается?

– Исусик, говорит.

Завотделом засмеялась. У Сашки опять свело челюсть. У него затряслись губы.

– Ну, пойдемте, пойдемте… что там такое – выясним, – сказала завотделом.

И завотделом, а за ней Сашка – появились в рыбном отделе.

– Роза, что тут такое? – негромко спросила завотделом.

Роза тоже негромко – так говорят врачи между собой при больном – о больном же, еще на суде так говорят и в милиции – вроде между собой, но нисколько не смущаются, если тот, о ком говорят, слышит, – Роза негромко пояснила:

– Напился вчера, наскандалил, а сегодня я напомнила – сделал вид, что забыл. Да еще возмущенный вид сделал!..

Сашку опять затрясло. Он, как этот… и трясся все утро, и трясся. Нервное желе, елки зеленые. А затрясло его опять потому, что завотделом слушала Розу и слегка – понимающе – кивала головой. И Роза тоже говорила не зло, а как говорят про дела известные, понятные, случающиеся тут чуть не каждый день. И они вдвоем понимали, хоть они не смотрели на Сашку, что Сашке, как всякому на его месте, ничего другого и не остается, кроме как «делать возмущенный вид».

Сашку затрясло, но он собрал все силы и хотел быть спокойным.

– А при чем здесь этот ваш говорок-то? – спросил он.

Завотделом и Роза не посмотрели на него. Разговаривали.

– А что сделал-то?

– Ну, выпил – не хватило. Пришел опять. А время вышло. Он – требовать…

– Звонили?

– Любка пошла звонить, а он, хоть и пьяный, а сообразил – ушел. Обзывал нас тут всяко…

– Слушайте! – вмешался опять в их разговор Сашка. – Да не был я вчера в магазине! Не был! Вы понимаете?

Роза и завотделом посмотрели на него.

– Не был я вчера в магазине, вы можете это понять?! Я же вам русским языком говорю: я вчера в этом магазине не был!

Роза с завотделом смотрели на него, молчали.

– А вы начинаете тут!.. Да еще этот разговорчик – стоят, вроде им все понятно. А я и в магазине-то не был!

А между тем сзади образовалась уже очередь. И стали раздаваться голоса:

– Да хватит там: был, не был!

– Отпускайте!

– Но как же так? – повернулся Сашка к очереди. – Я вчера и в магазине-то не был, а они мне какой-то скандал приписывают! Вы-то что?!

Тут выступил один пожилой, в плаще.

– Хватит, – не был он в магазине! Вас тут каждый вечер – не пробьешься. Соображают стоят. Раз говорят, значит, был.

– Что вы, они вечерами никуда не ходят! – заговорили в очереди.

– Они газеты читают.

– Стоит – возмущается! Это на вас надо возмущаться. На вас надо возмущаться-то.

– Да вы что? – попытался было еще сказать Сашка, но понял, что – бесполезно. Глупо. Эту стенку из людей ему не пройти.

– Работайте, – сказали Розе из очереди. – Работайте спокойно, не обращайте внимания на всяких тут…

Сашка пошел к выходу. Покупатель в плаще послал ему в спину последнее:

– Водка начинает продаваться в десять часов! Рано пришел!

Сашка вышел на улицу, остановился, закурил.

– Какие дяди похие, – сказала Маша.

– Да, дяди… тети… – пробормотал Сашка. – Мгм… – он думал, что бы сделать? Как поступить? Оставлять все в таком положении он не хотел. Не мог просто. Его опять трясло. Прямо трясун какой-то!

Он решил дождаться этого, в плаще. Поговорить. Как же так? С какой стати он выскочил таким подхалимом? Что за манера? Что за проклятое желание угодить продавцу, чиновнику, хамоватому начальству?! Угодить во что бы то ни стало! Ведь сами расплодили хамов, сами! Никто же нам их не завез, не забросил на парашютах. Сами! Пора же им и укорот сделать. Они же уже меры не знают…

Так примерно думал Сашка. И тут вышел этот, в плаще.

– Слушайте, – двинулся к нему Сашка, – хочу поговорить с вами…

Плащ остановился, недобро уставился на Сашку.

– О чем нам говорить?

– Почему вы выскочили заступаться за продавцов? Я правда не был вчера в магазине…

– Иди, проспись сперва! Понял? Он будет еще останавливать… «Поговорить». Я те поговорю! Поговоришь у меня в другом месте!

– Ты что, взбесился?

– Это ты у меня взбесишься! Счас ты у меня взбесишься, счас… Я те поговорю, подворотня чертова!

Плащ прошуршал опять в магазин – к телефону, как понял Сашка.

Заговор какой-то! Сашка даже слегка успокоился. И решил не ждать милиции. Ну ее… Один, может, и дождался бы – интересно даже: чем бы все это кончилось?

Они пошли с Машей домой. Дорогой Сашка все изумлялся про себя, все не мог никак понять: что такое творится с людьми?

Девочка опять залопотала на своем маленьком, смешном языке. Сашку вдруг изумило и то, что она, крохотуля, почему-то смолкала, когда он объяснялся с дядями и тетями, а начинала говорить, лишь после того, и говорила, что дяди и тети – «похие», потому что нехорошо говорят с папой. Сашка взял девочку на руки, прижал к груди. Что-то вдруг аж слеза навернулась.

– Кроха ты моя… Неужели ты все понимаешь?

Дома Сашка хотел было рассказать жене Вере, как его в магазине… Но тут же и расхотелось…

– А что, что случилось-то?

– Да, ладно, ну их. Нахамили, и все. Что – редкость диковинная?

Но зато он задумался о том человеке в плаще. Ведь – мужик, долго жил… И что осталось от мужика: трусливый подхалим, сразу бежать к телефону – милицию звать. Как же он жил? Что делал в жизни? Может, он даже и не догадывается, что угодничать – никогда, нигде, никак – нехорошо, скверно. Но как же уж так надо прожить, чтобы не знать этого? А правда, как он жил? Что делал? Сашка часто видел этого человека, он из девятиэтажной башни напротив… Сходить? Спросить у кого-нибудь, из какой он квартиры, его, наверно, знают…

«Схожу! – решил Сашка. – Поговорю с человеком. Объясню, что правда же эта дура обозналась – не был я вчера в магазине, зря он так – не разобравшись, полез вступаться… Вообще поговорю. Может, он одинокий какой».

– Пойду сигарет возьму, – сказал жене Сашка.

– Ты только из магазина!

– Забыл.

– Посмотри, может, мясо ничего? Если плохое, не бери – для ребятишек. Не могу ничего придумать. Надоела эта каша. Посмотри, может, чего увидишь.

– Ладно.

…Один парнишка узнал по описанию:

– Из тридцать шестой, Чукалов.

– Он один живет?

– Почему? Там бабка тоже живет. А что?

– Ничего. Мне надо к нему.

Дверь открыл сам хозяин – тот самый человек, кого и надо было Сашке. Чукалов его фамилия.

– Не пугайтесь, пожалуйста, – сразу заговорил Сашка, – я хочу объяснить вам…

– Игорь! – громко позвал Чукалов.

Он не испугался, нет, он с каким-то непонятным удовлетворением смотрел на гостя – уперся темными, слегка выпуклыми глазами и был явно доволен. Ждал.

– Я хочу объяснить…

– Счас объяснишь. Игорек!

– Что там? – спросили из глубины квартиры. Мужчина спросил.

Сашка невольно глянул на вешалку и при этом пошевелился… Чукалов – то ли решил, что Сашка хочет уйти, – вдруг цепко, неожиданно сильной рукой схватил его за рукав. И темные глаза его близко вспыхнули злостью и скорой, радостно-скорой расправой. Сашка настолько удивился всему, что не стал вырываться, только пошевелил рукой, чтоб высвободить кожу, которую Чукалов больно защемил с рукавом рубашки.

– Игорь!

– Что? – вышел Игорь, наверно, сын, тоже с темными, чуть влажными глазами. Здоровый, разгоряченный завтраком, важный.

– Вот этот человек нахамил мне в магазине… Хотел избить, – Чукалов все держал Сашку за рукав, а обращался к сыну.

Игорь уставился на Сашку.

– Да вы пустите меня, я ж не бегу, – попросил Сашка. И улыбнулся. – Я ж сам пришел.

– Пусти его, – велел Игорь. И вопросительно, пытливо, оценивающе, надо думать, смотрел на Сашку.

Чукалов отпустил Сашкин рукав.

– Понимаете, в чем дело, – как можно спокойнее, интеллигентнее заговорил Сашка, потирая руку. – Нахамили-то мне, а ваш отец…

– А мой отец подвернулся под горячую руку. Так?

– Да почему?

– Специально дожидался меня у магазина… – подсказал старший Чукалов.

– Мне было интересно узнать, почему вы… подхалимничаете?

Дальше Сашка двигался рывками, быстро. Игорь сгреб его за грудки – этого Сашка никак не ждал, – раза два пристукнул головой об дверь, потом открыл ее, протащил по площадке и сильно пустил вниз по лестнице. Сашка чудом удержался на ногах – схватился за перила. Наверху громко хлопнула дверь.

Сашка как будто выпал из вихря, который приподнял его, крутанул и шлепнул на землю. Все случилось скоро. И так же скоро, ясно заработала голова. Какое-то короткое время постоял он на лестнице… И быстро пошел вниз, побежал. В прихожей у него лежит хороший молоток. Надо опять позвонить – если откроет пожилой, успеть оттолкнуть его и пройти… Если откроет Игорек, еще лучше – проще. Вот, довозмущался! Теперь бегай – унимай душу. Раньше бы ушел из магазина, ничего бы и не было. Если откроет сам Игорь, надо левым коленом сразу шире распахнуть дверь и подставить ногу на упор: иначе он успеет толкнуть дверь оттуда, и удара не выйдет. Не удар будет, а мазня. Ах, славнецкий был спуск с лестницы!.. Умеет этот Игорек, умеет… тварь поганая. Деловой человек, хорошо кормленный.

Едва только Сашка выбежал из подъезда, увидел: по двору, из магазина, летит его Вера, жена – простоволосая, насмерть чем-то перепуганная. У Сашки подкосились ноги: он решил, что что-то случилось с детьми – с Машей или с другой маленькой, которая только-только еще начала ходить. Сашка даже не смог от испуга крикнуть… Остановился. Вера сама увидела его, подбежала.

– Ты что? – спросила она заполошно.

– Что?

– Ты опять захотел?! Тебе опять неймется?! Чего ты затеваешь, с кем поругался?

– Ты чего?

– Какие дяди? Мне Маша сказала какие-то дяди. Какие дяди? Ты откуда идешь-то? Чего ты такой весь?

– Какой?

– Не притворяйся, Сашка, не притворяйся – я тебя знаю. Опять на тебе лица нету. Что случилось-то? С кем поругался?

– Да ни с кем я не ругался!..

– Не ври! Ты сказал, в магазин пойдешь… Где ты был?

Сашка молчал. Теперь, пожалуй, ничего не выйдет. Он долго стоял, смотрел вниз – ждал: пройдет само собой то, что вскипело в груди, или надо – через все – проломиться с молотком к Игорю?..

– Сашка, милый, пойдем домой, пойдем домой, ради бога, – взмолилась Вера, видно, чутьем угадавшая, что творится в душе мужа. – Пойдем, домой, там малышки ждут… Я их одних бросила. Плюнь, не заводись, не надо. Сашенька, родной мой, ты о нас-то подумай, – Вера взяла мужа за руку: – Неужели тебе нас-то не жалко?

У Сашки навернулись на глаза слезы… Он нахмурился. Сердито кашлянул. Достал пачку сигарет, вытащил дрожащими пальцами одну, закурил.

– Вон руки-то ходуном ходют. Пойдем.

Сашка легким движением высвободил руку…

И покорно пошел домой.

Эх-х… Трясуны мы, трясуны!

Хозяин бани и огорода
В субботу, под вечерок, на скамейке перед домом сидели два мужика, два соседа, ждали баню. Один к другому пришел помыться, потому что свою баню ремонтировал. Курили. Было тепло, тихо. По деревне топились бани: пахло горьковатым банным дымком.

– Кизяки нынче не думаешь топтать? – спросил тот, который пришел помыться, помоложе, сухой, скуластый, смуглый.

– На кой они мне… – лениво, не сразу ответил тот, который постарше. Он смотрел в улицу, но ничего там не высматривал, а как будто о чем-то думал, может, вспоминал.

– А я не знаю, что делать. Топтать, что ли…

– Наплавь из острова да топи.

– Не знаю, что делать… Может, правда, наплавить.

– Конечно.

– Ты будешь плавить?

– Я, может, угля куплю. Посмотрю.

– Наверно, наплавлю. Неохота этими кизяками заниматься.

Тот, что постарше, спокойный, грузный, бросил под ногу окурок, затоптал. Посмотрел задумчиво в землю и поднял голову…

– Хошь расскажу, как меня хоронить будут? – Чуть сощурил глаза в усмешке.

– О! – удивился сухой, смуглый. – Ты что?

– Хошь?

– А чего ты… помирать-то собрался?

– Да не собрался. Я туда не тороплюсь. Но я в точности знаю, как меня хоронить будут. Рассказать?

– Во, елки зеленые! Мысли у тебя. Чего ты? – еще спросил тот, помоложе.

– Значит, будет так: помер. Ну, обмыли – то-се, лежу в горнице, руки вот так… – Рассказчик показал, как будут руки. Он говорил спокойно, в маленьких умных глазах его мерцала веселинка. – Жена плачет, детишки тоже… Люди стоят. Ты, например, стоишь и думаешь: «Интересно, позовут на поминки или нет?»

– Ну, слушай! – обиделся смуглый. – Чего уж так?

– Я в шутку, – сказал рассказчик. И продолжал опять серьезно: – Ты будешь стоять и думать: «Чего это Колька загнулся? Когда-нибудь и я тоже так…»

– Так все думают.

– Жена будет причитать: «Да родимый ты наш, да на кого же ты нас оставил?! Да ненаглядный ты наш, да сокол ты наш ясный». Сроду таких слов не говорят, а как помрет человек, так начинают: «сокол», «голубь»., Почему так?

– Ну, напоследок-то не жалко. А еще приговаривают: «ноженьки», «рученьки», «головушка». «Ох, да отходил ты своими ноженьками по этой горенке». А у кого есть сорок пятый размер – тоже ноженьки!

– Это потому, что в этот момент жалко. Кого жалеют, тот кажется маленьким.

– Ну а дальше?

– Дальше понесли хоронить. Оркестр в городе наняли за шестьдесят рублей. Тут, значит, скинутся: тридцать рублей сама заплатит, тридцать – с моих выжмет, А на кой он мне черт нужен, оркестр? Я же его все равно не слышу.

– Друг перед другом выхваляются. Одни схоронили с оркестром, другие, глядя на них, тоже. Лучше бы эти деньги на поминки пустить…

– Во, я и говорю: кто про что, а ты про поминки. – Рассказчик засмеялся негромко. Молодой не засмеялся.

– Но когда сядут и хорошо помянут – поговорят про покойного, повспоминают – это же дороже, чем один раз пройдут поиграют. Ну и что поиграли? Ты же сам говоришь: «На кой он мне?»

– Тут дело не в покойнике, а в живых. Им же тоже надо показать, что они… уважали покойного, ценили. Значит, им никаких денег не жалко…

– Не жалко! Что, у твоей жены шестидесяти рублей не найдется?

– Найдется. Ну и что?

– Чего же она будет с твоей родни тридцать рублей выжимать на оркестр? Заплати сама, и все, раз уважаешь. Чего тут скидываться-то?

– Я же не скажу ей из гроба: «Заплати сама!»

– Из гроба… Они при живых-то что хотят, то и делают. Власть дали! Моей девчонке надо глаза закапывать, глаза что-то разболелись… Ну, та плачет, конечно, когда ей капают, – больно. А моя дура орет на нее. Я осадил разок, она на меня, А у меня вся душа переворачивается, когда девчонка плачет, я не могу.

– Но капать-то надо.

– Да капать-то капай, зачем ругаться-то на нее? Ей и так больно, а эта орет стоит «не плачь!». Как же не плакать?

– Да… – Николаю, рассказчику, охота дальше рассказывать, как его будут хоронить.
– Ну, слушай. Принесли на могилки, ямка уже готова…

– Ямку-то я копать буду. Я всем копаю.

– Наверно…

– Я Стародубову Ефиму копал… Да не просто одну могилку, а сбоку еще для старухи его подкапывал. А они меня даже на поминки не позвали. Главное, я же сам напросился копать-то: я любил старика. И не позвали. Понял?

– Ну, они издалека приехали, сын-то с дочерью, чего они тут знают: кто копал, кто не копал…

– Те не знали, а что, некому подсказать было? Старуха знала… Нет, это уж такие люди. Два рубля суют мне… Хотел матом послать, но, думаю, горе у людей…

– А кто совал-то?

– Племянница какая-то Ефимова. Тоже где-то в городе живет. Ну, распоряжалась тут похоронами. Подавись ты, думаю, своими двумя рублями, я лучше сам возьму пойду красненькой бутылку да помяну один. Я уважал старика…

– Так, а чего ты? Взял эти два рубля да пошел купил себе…

– Да я же не за деньги копал! Я говорю: уважал старика, мы вместе один раз тонули. Я пас колхозных коров, а он своих двух телков пригнал. И надумали мы их в Сухой остров перегнать – там трава большая в кустах и не жарко. Погнали, а его телка-то сшибло водой. Он за телком, да сам хлебнул. Я кой старика-то вытаскивал, телка нашего на дресву оттащило. Из старика вода полилась, очухался, он и маячит мне: телка, мол, спасай, я ничего…

– Спасли? Телка-то.

– Спасли. Хороший был старик. Добрый. Мне жалко его.

– Я его мало знал. Знал, но так… Он долго хворал?

– Нет. У него сперва отнялись ноги… Его в больницу. А он застеснялся, что там надо нянечку каждый раз просить… Заталдычил; «Везите домой, дома помру». Интеллигент нашелся – няньку стыдно просить. Она за это деньги получает, оклад.

– Ну, каждый раз убирать за имя – это тоже…

– А как же теперь? Он и так уж старался поменьше исть, молоком больше… Но ведь все же живой пока человек. Как же теперь?

– Оно, конечно.

– Может, полежал бы в больнице, пожил бы еще…

– Его без оркестра хоронили?

– Какой оркестр! Жадные все, как… Сын-то инженером работает, мог бы… Ну, копейка на учете.

– Да старику-то, если разобраться, на кой он, оркестр-то? – сказал рассказчик, хозяин бани.

– А тебе?

– Чего?

– Тебе нужен?

– И мне не нужен.

– Никому не нужен, но все же хоронют с оркестром. Не покойник же его заказывает, живые, сам говоришь. Любили бы отца, заказали бы. Жадные.

– Бережливые, – поправил хозяин бани.

Смуглый посмотрел на рассказчика… Понимающе кивнул головой.

– Вот и про себя скажи: я не жадный, а бережливый. А то – «не надо оркестра, я его все равно не слышу». Скажи уж: денег жалко. Чего рассусоливать-то? Я же вас знаю, что ты, что Кланька твоя – два сапога пара. Снегу зимой не выпросишь.

Рассказчик помолчал на это… Игранул скулами. Заговорил негромко, с напором:

– Легко тебе живется, Иван. Развалилась баня, ты недолго думая пошел к соседу мыться. Я бы сроду ни к кому не пошел, пока свою бы не починил… И ты же ходишь прославляешь людей по деревне: этот жадный, тот жадный, Какой же я жадный: ты пришел ко мне в баню, я тебе ни слова не говорю: иди мойся. И я же жадный! Привыкли люди на чужбинку жить…

Иван достал пачку «Памира». Закурил. Усмехнулся своим мыслям, покачал головой:

– Вот видишь, из тебя и полезло, Баню пожалел…

– Не баню пожалел, а… свою надо починить. Что же вы, так и будете по чужим баням ходить?

– Ты же знаешь, мне не на че пока тесу купить.

– Да у тебя сроду не на че! У тебя сроду денег нет. Как же у других-то есть? Потому что берегут ее, копейку-то. А у тебя чуть завелось лишка, ты их скорей торописся загнать куда-нибудь. Баян сыну купил!.. Хэх!

– А что тут плохого? Пускай играет.

– Видишь, ты хочешь перед людями выщелкнуться, а я, жадный, должен для тебя баню топить, На баян он нашел денег, а на тес – нету.

– Мда-а, Тьфу! Не нужна мне твоя баня, гори она синим огнем! Иван поднялся. – Я только хочу тебе сказать, куркуль: вырастут твои дети, они тебе спасибо не скажут, Я проживу в бедности, но своих детей выучу, выведу в люди… Понял?

«Куркуль» не пошевелился, только кивнул головой, как бы давая знать, что он понял, принял, так сказать, к сведению.

– Петька твой начал уж потихоньку выходить в люди. Сперва пока в огороды.

– Как это?

– Морковка у меня в огороде хорошая – ему глянется…

– Врешь ведь? – не поверил Иван.

– А спроси у него. Еще спроси: как ему та хворостина? Глянется, нет? И скажи: в другой раз не хворостину, а бич конский возьму…Сидящий снизу нехорошо, зло глянул на стоящего, – А то вы, я смотрю, добрые-то за чужой счет в основном. А чужая кобыла, знаешь, лягается. Так и передай своему баянисту.

Иван, изумленный силой взгляда, каким одарил его хозяин бани и огорода, некоторое время молчал.

– Да-а, – сказал он, – такой правда за две морковки изувечит.

– Свою надо иметь. Мои на баяне не усеют, зато в чужой огород не полезут.

– А ты сам в детстве не лазил?

– Нет. Меня отец на баяне не учил, а за воровство руки выламывал.

– Ну и зверье же!

– Зверье не зверье, а парнишке скажи: бич возьму. Так уделаю, что лежать будет. Жалуйтесь потом…

– Тьфу! – Иван повернулся и пошел домой. Изрядно отшагал уже, обернулся и сказал громко: – Вот тебе-то я ее не буду копать! И помянуть не приду…

Хозяин бани и огорода смотрел на соседа спокойными презрительными глазами. Видно, думал, как покрепче сказать: Сказал:

– Придешь. Там же выпить дадут… как же ты не придешь. Только позвали бы – придешь.

– Нет, не приду! – серьезно, с угрозой сказал Иван.

– А чего ты решил, что я помираю? Я еще тебя переживу. Переживу, Ваня, не горюй.

– Куркуль.

– Иди музыку слушай. Вальс «Почему деньги не ведутся». – Хозяин бани и огорода засмеялся. Бросил окурок, поднялся и пошел к себе в ограду.

Письмо
Старухе Кандауровой приснился сон: молится будто бы она богу, усердно молится, а – пустому углу: иконы-то в углу нет. И вот молится она, а сама думает: «Да где же у меня бог-то?»

Проснулась в страхе, до утра больше не заснула, обдумывала сон. Страшный сон. К чему?.. Не с дочерью ли чего? Дочь старухина, младшая, жила в городе, работала в хорошем месте, продавцом. Она славная, дочь, всей родне слала посылки: кофточки импортные, шали, даже машины стиральные. Не за так, конечно, деньги ей, конечно, высылали, но… Иди нынче допросись и за деньги-то купить: все некогда им, вечно они там заняты. А эта находила время… Нет, она хорошая, Катерина, только с мужем неважно живут. Черт его знает, что за мужик попался: приедет – молчит целыми днями… Костлявый какой-то. Все думает чего-то, газетами без конца шуршит, зевает. Ни поговорить, ни пошутить… Как лесина сухая. Дочь жаловалась на него матери.

Утром старуха собралась и пошла к Ильичихе. Ильичиха разгадывала сны.

– И-и, матушка, – запела богомольная Ильичиха, – дак, а у тя иконка-то есть ли?

– Есть. Она, правда, в шифонере…

– Вы-ынь, вынь, матушка, грех. Чего же ее впотьмах держать? Вынь да повесь, куда положено. Как же ты так?..

– Да жду своих, Катьку-то, сулилась… А зять-то партейный, ну-ко да коситься начнет.

– Плюнь! Кому како дело? Нонче нет такого закону…

– Да закону-то нет, а… И так-то живут неважно, а тут я ишо…

– Не гневи бога, Кузьмовна, не гневи. Кому како дело? У меня их вон сколь висит, кому како дело?! А ты ее в шифонер запятила! Бесстыдница.

– Да не ездит никто, оно и дела никому нет, – с сердцем сказала Кузьмовна. – Не все так-то живут. Ко мне люди ездиют, я не одинокая.

– Знамо, татаркой-то не живу, – обиделась Ильичиха. – К ей люди ездиют!.. Гляди-ко, наездили: раз в год приедут, так она из-за этого икону в шкап запятила! Ни стыда, ни совести у людей.

– Ты не кричи, чего ты рот-то разинула? Чего ты всех созываешь-то? Припадошная. Кто тебе виноватый, что не рожала? А теперь зло берет. Надо было рожать.

– Да вы вон нарожали их, а толку-то?

– Как это «толку»? Вот те раз! Да у меня же смысел был, я их ростила да учила старалась… А ты-то зачем жила? Прокуковала весь свой век, а теперь злится. Нечего и злиться теперь.

– Это вы – наплодили их да поете ходите: «Ванька не пишет, Колька денег не шлет, окаянный…» Зачем тада и рожать? Лучше не рожать – не гневить бога после. Не было у меня условиев, я и не рожала. Не все подкулачники-то были… Куркули.

– Знамо, лодыри, они куркулями никогда не живут. Где эт ты куркулей-то увидела?

– Да вас же на волосок только не раскулачили в двадцать девятом годе! Ты забыла? Какая у тебя память-то дырявая. Мой же брат, Аркашка, заступился за вас. Забыла? А кому потом ваш отец три овечки ночью пригнал? Забыла? Короткая же у тебя память!

– А ты че гордисся, что в бедности жила? Ведь нам в двадцать втором годе землю-то всем одинаково дали. А к двадцать девятому – они уж опять бедняки! Лодыри! Ведь вы уж бедняки-то советские сделались, к коллективизации-то нам землю-то поровну всем давали, на едока.

– А вы!..

– А вы!..

Поругались старушки. И ведь вот дурная деревенская привычка: двое поругаются, а всю родню с обеих сторон сюда же пришьют. Никак не могут без этого! Всех помянут и всех враз сделают плохими – и живых, и покойных, всех.

Домой старуха Кандаурова шла расстроенная. Болела душа за Катьку. Неладно у нее, неладно – сердце чует.

Вечером старуха села писать письмо дочери. Решила написать большое письмо, поучительное.

«Добрый день, дочь Катя, а также зять Николай Васильич и ваши детки, Коля и Светычка, внучатычки мои ненаглядныи. Ну, када жа вы приедете, я уж все глазыньки проглядела – все гляжу на дорогу: вот, может, покажутся, вот покажутся. Но нет, не видать. Катя, доченька, видела я этой ночий худой сон. Я не стану его описывать, там и описывать-то нечего, но сон шибко плохой. Вот задумылась: может, у вас чего-нибудь? Ты, Катерина, маленько не умеешь жить. А станешь учить вас, вы обижаитись. А чего же обижатца. Надо, наоборот, мол, спасибо, мама, что дала добрый совет. Мы тоже када-то росли у отца с матерей, тоже, бывало, не слушались ихного совета, а потом жалели, но было поздно.

Ты подскажи свому мужу, чтоб он был маленько поразговорчивей, поласковей. А то они… Ты скажи так: Коля, что ж ты, идрена мать, букой-то живешь? Ты сядь, мол, поговори со мной, расскажи чего-нибудь, А то, скажи, спать поврозь буду!»

Старушка задумалась, глядя в окно. Вечерело. Где-то играли на гармошке. Старуха вспомнила себя, молодую, своего нелюбимого мужа… Муж ее, Кандауров Иван, был мужик работящий, честный, но бука несусветная. За всю женатую жизнь он всего два или три раза приласкал жену. Не обижал, нет, но и не замечал. Старухе жалко стало себя, свою жизнь…

«Если б я послушалась тада свою мать, я б сроду не пошла за твово отца. Я тоже за свою жизнь ласки не знала. Но тада такая жизнь была: вроде не до ласки, одна работа на уме. А если так-то разобраться-то – пошто? Ну, работа работой, а человек же не каменный. Да еслив его приласкать, он в три раза больше сделает. Любая животная любит ласку, а человек – тем боле. Ты, скажи, сам угрюмый ходишь, и, на тебя глядя, сын тоже станет задумыватца. Они, маленькие-то, все на отца глядят: как отец, так и они – походить стараютца. Да я и буду, скажи, с вами, с такими-то… Мне, мол, что, самой с собой тада остаетца разговаривать? Да что уж это за мысли такие! – день-деньской думать и думать… Ты, скажи, ослобони

маленько голову-то для семьи. Чего думать-то, об чем? Ладно бы, думал, думал — додумался: большим начальником сделался, а то так — сбоку припека. Чего уж тада и утруждать ее, головушку-то, еслив она не приспособлена для этого дела. Нечего ее и утруждать. Ты, скажи, будешь думать, а я буду возле тебя сидеть — в глаза тебе заглядывать? Да пошел ты от меня подальше, сыч! Я, скажи, не кривая, не горбатая — сидеть-то возле тебя. Я, мол, вон счас приоденусь да на танцыи завьюсь, будешь знать. Да сударчика себе найду. Скажи, скажи ему так, скажи. А полезет с кулаками, ты — в милицию: ему сразу прижмут хвост. Это ничего, что он сам в милиции, ему тоже прижмут. С имя нынче не чикаютца, это не старое время. Это раньше, бывало… Тьфу! И писать-то про то неохота! Нет, скажи, ты у меня живо повеселеешь, столб грустный. Ты меня за две улицы стречатъ будешь с работы. А то моду взяли! Нет, ты у нас будешь разговорчивый! А не изменишь свой гыранитный характер — вон тебе дверь, выметайся! Иди на все четыре стороны, читай газеты. И молчи, сколько влезет. Попинывали мы таких журавлей задумчивых. Дай ему месяц сроку: еслив не исправитца, гони в три шеи! Пусть летит без оглядки, ступеньки щитает!»

Старуха вдруг представила, что письмо это читает ее задумчивый зять… Усмехнулась и стала смотреть в окно. Гармонь все играла, хорошо играла. И ей подпевал негромко незнакомый женский голос. Господи, думала старуха, хорошо, хорошо на земле, хорошо. А ты все газетами своими шуршишь, все думаешь… Чего ты выдумаешь? Ничего ты не выдумаешь, лучше бы на гармошке научился играть.

«Читай, зятек, почитай — я и тебе скажу: проугрюмисся всю жизнь, глядь — помирать надо. Послушай меня, я век прожила с таким, как ты: нехорошо так, чижало. Я тут про тебя всякие слова написала, прости, еслив нечаянно задела, но все-таки образумься. Чижало так жить! Она мне дочь родная, у меня душа болит, мне тоже охота, чтоб она порадовалась на этом свете. И чего ты, журавь, все думаешь-то? Получаешь неплохо, квартирка у вас хорошая, деточки здоровенькие… Чего ты думаешь-то? Ты живи да радуйся, да других радуй. Я не про службу твою говорю, там не обрадоваешь, а про самых тебе дорогих людей. Я вот жду вас, жду не дождусь, а еслив ты опять приедешь такой задумчивый, огрею шумовкой по голове, у тебя мысли-то перестроютца. Это я пошутила, конечно, но, правда, возьми себя в руки. Приезжайте скорей, у нас тут хорошо, лучше всяких курортов. Не серчай на меня, я же тоже все думаю, не стой тебя. Но мне-то хоть есть об чем думать, а ты-то чего? Господи, жить да радоваться, а они… Ну, приезжайте. Катя, поедете, купи мне ситцу на занавески, у нас его нету. Купи голубенького. Я повешу, утром проснетесь, а в горнице такой свет хороший. Петя пишет, что не сможет этим летом приехать. А Егор, может, приедет. Здоровье у него неважное. Коля, внучек мой милый, скажи папке и мамке, чтоб ехали. Тут велики хорошие продают. Будешь на велике ездить. И рыбачить будешь ходить. Давеча шла, видела, ребятишки по целой списке чебаков несли. Приезжайте, дорогие мои. Жду вас, как Христова дня. Жить мне осталось мало, я хоть порадываюсь на вас. Одной-то шибко плохо, время долго идет. Приезжайте.

Целую вас всех. Баба Оля».

Старуха отодвинула письмо в сторонку и опять стала смотреть в окно. А за окном уже ничего почти не видать. Только огоньки в окнах… Теплый, сытый дух исходил от огородов, и пылью пахло теплой, остывающей.

Вот тут, на этих улицах, прошла жизнь. А давно ли?.. О господи! Ничего не понять. Давно ли еще была молодой. Вон там, недалеко, и теперь закоулочек сохранился: там Ванька Кандауров сказал ей, чтоб выходила за него… Еще бы раз все бы повторилось! Черт с ним, что угрюмый, он не виноват, такая жизнь была: работал мужик, не пил зряшно, не дрался — хороший. Квасов, тот побойчей был, зато попивал. Да нет, чего там!.. Ничего бы другого не надо бы. Еще бы разок все с самого начала…

Старуха и не заметила, что плачет. Поняла это, когда слезинка защекотала щеку. Вытерла глаза концом косынки, встала и пошла разбирать постель — поспать, а там — еще день будет. Может, правда приедут — все скорей.

— Старая! — сказала она себе. — Гляди-ко, ишо раз жить собралась!.. Видали ее!

Дядя Ермолай

Вспоминаю из детства один случай.

Была страда. Отмолотились в тот день рано, потому что заходил дождь. Небо — синим-сине, и уж дергал ветер. Мы, ребятишки, рады были дождю, рады были отдохнуть, а дядя Ермолай, бригадир, недовольно поглядывал на тучу и не спешил.

— Не будет никакого дождя. Пронесет все с бурей, — ему охота было домолотить скирду. Но… все уж собирались, и он скрепя сердце тоже стал собираться.

До бригадного дома километра полтора. Пока добрались, пустили коней и поужинали, густая синева небесная наползла, но дождя не было. Налетел сильный ветер, поднялась пыль… Во мгле трепетно вспыхивали молнии и гремел гром. Ветер рвал, носил, а дождя не было.

— Самая воровская ночь, — сказал дядя Ермолай. — Ну-ка, Гришка… — дядя Ермолай поискал глазами, я попался ему, — Гришка с Васькой, идите на точок — там ночуете. А то как бы в такую-то ночку не подъехал кто да не нагреб зерна. Ночь-то… самая такая.

Мы с Гришкой пошли на ток.

Полтора километра, которые мы давеча проскакали мигом, теперь показались нам долгими и опасными. Гроза разыгралась вовсю: вспыхивало и гремело со всех сторон! Прилетали редкие капли, больно били по лицу. Пахло пылью и чем-то вроде жженым — резко, горько. Так пахнет, когда кресалом бьют по кремнию, добывая огонь.

Когда вверху вспыхивало, все на земле — скирды, деревья, снопы в суслонах, неподвижные кони, — все как будто на миг повисало в воздухе, потом тьма проглатывала все; сверху гремело гулко, уступами, как будто огромные камни срывались с горы в пропасть, сшибались и прыгали.

Мы наконец заблудились. Сбились с дороги и потеряли ту скирду, у какой молотили. Их было много. Останавливались, ждали, когда осветит: опять все вроде подскакивало, короткий миг висело в воздухе, в синем, резком свете, и все опять исчезало, и в кромешной тьме грохотало.

— Давай залезем в первую попавшую скирду и заночуем, — предложил Гришка.

— Давай, конечно.

— А утром скажем, что ночевали на точке, кто узнает?!

Залезли в обмолоченную скирду, в теплую пахучую солому. Поговорили малость, наказали себе проснуться пораньше… И не заметили, как и заснули, не слышали, как ночью шел дождь.

Утро раскинулось ясное, умытое, тихое. Мы проспали. Но так как ночью хорошо промочило, наши молотить рано не поедут, мы знали. Мы пошли в дом.

— Ну, караульщики, — спросил дядя Ермолай, увидев нас, мне показалось, что он смотрит пытливо. — Как ночевали?

— Хорошо.

— Все там в порядке? На точке-то?

— Все в порядке. А что?

— Ничего. Спрашиваю… Я посылал, я и спрашиваю. «А что?», — а сам все смотрит.

Мне стало не по себе.

— Зерно-то целое?

— Целое, — у Гришки круглые, ясные глаза; он смотрит не мигая. — А что?

– Да вы были там?! На точке-то?

У меня заныл кончик позвоночника, копчик. Гришка тоже растерялся… Хлоп-хлоп глазами.

– Как это «были»?..

– Ну да, были вы там?

– Были. А где же мы были?

Эх, тут дядя Ермолай взвился:

– Да не были вы там, сукины вы сыны! Вы где-то под суслоном ночевали, а говорите – на точке! Сгребу вот счас обоих да носом – в точок-то, носом, как котов пакостливых. Где ночевали?

– От… Ты чо?

– Где ночевали?!

– На точке, – Гришка, видно, решил стоять насмерть. Мне стало легче.

– Васька, где ночевали?

– На точке.

– Да растудыт вашу туда-суда и в ребра!.. – дядя Ермолай аж за голову взялся и болезненно сморщился. – Ты гляди, что они вытворяют-то! Да не было вас на току, не было-о! Я ж был там! Ну?! Обормоты вы такие, обормоты! Я ж следом за вами пошел туда – думаю, дошли ли они хоть? Не было вас там!

Это нас не смутило – что он, оказывается, был на току.

– Ну и что?

– Что?

– Ну и… мы тоже были. Мы, значит, маленько попозже… Мы блудили.

– Где попозже?! – взвизгнул дядя Ермолай. – Где попозже-то?! Я там весь дождь переждал! Я только к свету оттуда уехал. Не было вас там!

– Были…

Дядя Ермолай ошалел… Может быть, мы – в глазах его – тоже на миг подпрыгнули и повисли в воздухе, как вчерашние скирды и кони – отчего-то у него глаза сделались большие и удивленные.

– Были?

– Были.

Он схватил узду… Мы – в разные стороны. Дядя Ермолай постоял с уздой, бросил, сморщился болезненно и пошел прочь, вытирая ладошкой глаза. Он был не очень здоровый.

– Обормоты, – говорил он на ходу. – Не были же, не были – и в глаза врут стоят. Штыбы бы вам околеть, не доживая веку! Штыбы бы вам… жены злые попались!.. Обормоты. В глаза врут стоят – и хоть бы что! О!.. – дядя Ермолай повернулся к нам. – Да ты скажи честно: испужались, можеть, не нашли – нет, в глаза смотрют и врут. Обормоты… По пять трудодней снимаю, раз вы такие.

Днем, когда молотили, дядя Ермолай еще раз подошел к нам.

– Гришка, Васьк… сознайтесь: не были на точке? По пять трудодней не сниму. Не были же?

– Были.

Дядя Ермолай некоторое время смотрел на нас… Потом позвал с собой.

– Идите суда… Идите, идите. Вот тут вот я от дождя прятался, – показал. И посмотрел на нас с мольбой: – А вы где же прятались?

– А мы – с той стороны.

– С какой?

– Ну, с той.

– Да где же с той-то?! Где с той-то? – он опять стал терять терпение. – Я же шумел вас, звал!.. Я ее кругом всю обошел, скирду-то. А молонья такая резала, что тут не то что людей, иголку на земле найдешь. Где были-то?

– Тут.

Дядя Ермолай из последних сил крепился, чтоб опять не взвиться. Опять сморщился…

– Ну, ладно, ладно… Вы, можеть, боитесь, что я ругаться буду? Не буду. Только честно скажите: где ночевали? Не скину по пять трудодней… Где ночевали?

– На току.

– Да где на току-то!! – сорвался дядя Ермолай. – Где на току-то?! Где, когда я… У-у, обормоты! – он запекал глазами – чем бы огреть нас.

Мы убежали.

Дядя Ермолай ушел за скирду… Опять, наверно, всплакнул. Он плакал, когда ничего не мог больше.

Потом молотили. По пять трудодней он с нас не скинул.

Теперь, много-много лет спустя, когда я бываю дома и прихожу на кладбище помянуть покойных родных, я вижу на одном кресте: «Емельянов Ермолай …вич».

Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай. И его тоже поминаю – стою над могилой, думаю. И дума моя о нем – простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например: что был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или – не было никакого смысла, а была одна работа, работа… Работали да детей рожали. Видел же я потом других людей… Вовсе не лодырей, нет, но… свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю теперь иначе! Но только когда смотрю на эти холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее? Не так – не кто умнее, а – кто ближе к Истине. И уж совсем мучительно – до отчаяния и злости – не могу понять: а в чем Истина-то? Ведь это я только так – грамоты ради и слегка из трусости – величаю ее с заглавной буквы, а не знаю – что она? Перед кем-то хочется снять шляпу, но перед кем? Люблю этих, под холмиками. Уважаю. И жалко мне их.

Генерал Малафейкин

Мишка Толстых, плотник СМУ-7, маленький, скуластый человек с длинными руками, забайкальский москвич, возвращался из гостей восвояси. От братца-ленинградца. Брат принял его плохо, сразу кинулся учить жизни… Мишка обиделся, напился, нахамил жене брата и поехал домой в Москву.

К поезду пришел раньше других. Вошел в купе, забросил чемодан наверх, попросил у проводницы простыни и одеяло. Ему сказали: «Поедем, тогда получите простыни». Мишка снял ботинки и прилег пока на матрац на верхней полке. И заснул.

Проснулся ночью. Под ним во тьме негромко разговаривали двое. Один голос показался Мишке знакомым. И говорил больше как раз этот, знакомый голос. Мишка прислушался.

– Не скажите, не скажите, – негромко говорил голос, – не могу с вами согласиться. У меня же бывает то и дело: вызываешь его, подлеца, в кабинет: «Ну, что будем делать?» Молчит. «Что будем делать-то?!» Молчит, жмет плечами. «Будем продолжать в том же духе?» Гробовое молчание.

– Это они мастера – отмолчаться, – поддержал другой голос, усталый, немолодой. – Это они умеют.

– Что вы! Молчит, как в рот воды набравши. «Ну, долго, – спрашиваю, – будем в молчанку играть?» Мишка вспомнил, чей голос напоминает этот голос внизу: Семена Иваныча Малафейкина, московского соседа из 37-го дома, нелюдимого маляра-шабашника, инвалидного пенсионера. С этим Семеном Иванычем Мишка один раз вместе халтурил: отделывали квартиру какому-то большому начальнику. Недели полторы работали, и за все это время Малафейкин сказал, может быть, десять слов. Он даже не здоровался, когда приходил на работу. На вопрос, почему он молчит, Малафейкин сказал: «У меня грудь болит с вами трепаться». Но этот, внизу это, конечно, не Малафейкин… Но до чего похож голос. Поразительно.

– «Ведь я же тебя, подлеца, из Москвы выселю! – говоришь ему. – Выведешь ведь из терпения – выселю!» – «Не надо», – просит. «А-а, открыл рот!.. Заговорил?»

– Случается, выселяете?

– Мало. Их же и жалко, подлецов. Что они там будут делать?

– Господи!.. Да нам полно людей требуется!

– А вы что там с ними будете делать? Самогон варить? Двое внизу начальственно – негромко, озабоченно – посмеялись.

– Да-а… У нас тоже хватает этого добра. А как вы боретесь с такими?

– Да как… Профилактика плюс милиция. Мучаемся, а не боремся. Устаем. Приедешь на дачу, затопишь камин, смотришь на огонь – обожаю, между прочим, на огонь смотреть, – а из огня на тебя… какое-нибудь мурло смотрит. «Господи, – думаешь, – да отстанете вы от меня когда-нибудь!» – Как это – смотрит? – не понял другой, усталый собеседник. – Мысленно, что ли?

– Ну, насмотришься на них за день-то… Они и кажутся где попало. У вас дача каменная?

– У меня нету. Я, как маленько посвободнее, еду в деревню к себе. У меня деревня рядом. А у вас каменная?

– Каменная, двухэтажная. Напрасно отказываетесь от дачи – удобно. Знаете, как ни устанешь за день, а приедешь, затопишь камин – душа отходит.

– Своя?

– Дача-то?

– Да.

– Нет, конечно! Что вы! У меня два сменных водителя, так один уже знает: без четверти пять звонит: «Домой, Семен Иваныч?» – «Домой, Петя, домой». Мы с ним дачу называем домом.

Мишка наверху даже заворочался – рассказчика-то тоже Семеном Иванычем зовут! Как Малафейкина. Что это?

А Семен Иваныч внизу продолжал рассказывать:

– «Домой, – говорю, – Петька, домой. Ну ее к черту, эту Москву, эту шумиху!» Приезжаем, накладываем дровец в камин…

– А что, никого больше нет?

– Прислуги-то? Полно! Я люблю сам! Сам накладываю дровец, поджигаю… Славно!

Знаете, иногда думаешь: «Дана кой черт мне все эти почести, ордена, персоналки?.. Жил бы вот так вот в деревне, топил бы печку».

Усталый собеседник тихо, недоверчиво посмеялся.

— Что, не верите? — негромко воскликнул Семен Иванович, тоже, наверно, улыбаясь. — Я вам точно говорю: бросил бы, все бросил бы!

— Что же не бросаете?

— Ну… Все это не так просто, как кажется. А кто позволит?

— То-то и оно, — вздохнул собеседник. — Я тоже, знаете…

— Наоборот, предлагают повышение. Ну, думаю, нет: у меня от этих дел голова кругом. Спасибо.

— Сейчас, наверно, на этом совещании были, в связи с… Я что-то такое краем уха…

— Нет, я по другим делам. Там у нас хватает… А как же, и отдыхаете у себя в деревне? И летом?

— Почти всегда. Уезжаю к отцу — рыбачим…

— Нет, я в санаториях.

— Где? В Кисловодске?

— И в Кисловодске.

— В основном корпусе?

— Нет, у нас там свой корпус есть.

— Где?

— Не доезжая Кисловодска.

— Где же? Я там все окрестности излазил.

Семен Иваныч посмеялся.

— Нет, тот корпус вы не знаете. Его с дороги не видно.

Помолчали.

— За забором, — пояснил Семен Иваныч.

— А-а… — неопределенно как-то сказал усталый собеседник. И опять замолчал.

Семена Иваныча это молчание как будто обеспокоило.

— Скучновато только, честно говоря, — продолжал он. — Ну буфет: шампанское, фрукты, пятое-десятое… Не в этом же дело! Надоедает же.

— Конечно, — опять очень неопределенно сказал усталый. — Я ничего не имею… Фильмы демонстрируют?

— Ну!.. Но мы знаете, что делаем? Мы эти обычные манкируем, а собираемся одни мужчины, заказываем какой-нибудь такой… с голяшками… Не уважаете?

— Семен Иваныч неуверенно посмеялся. — Интересно вообще-то!

Собеседник никак не откликнулся на это. Молчал.

— А? — спросил Семен Иванович встревоженно.

— Что? — сказал собеседник.

— Не уважаете с голяшками?

— Да я их… это… я их мало видел.

— Ну что вы! Это, знаете, зрелище! Выйдет такая… черт ее… вот уж она виляет, вот виляет, своим этим… Любопытно. Нет, это зрелище, чего ни говорите.

— Совсем голые?

— Совсем!

— А как же… разве у нас снимают такие фильмы?

Семен Иваныч без опаски, с удовольствием засмеялся.

— Это ж не наши. Это оттуда.

— А-а, — сказал собеседник. — Там — да… Конечно.

— Нет, умеют, умеют, черти. Ничего не скажешь. Но, знаете, что я вам про все это скажу: красиво!

— Я ничего! — испуганно сказал собеседник.

— Но в душе, наверно, осудили меня.

— Я? Да почему!..

— Осудили, осудили. Не осуждайте. Не торопитесь. Не завидуйте Семену Иванычу… Вы же не видите, как Семен Иваныч потом за столом буквально засыпает. Сидишь, изучаешь дело… С вами можно откровенно?

— Да зачем? — торопливо, без всякой усталости сказал собеседник. — Я прекрасно понимаю. Мне самому приходится…

— О, разумеется! Разумеется, вам тоже приходится недосыпать, недоедать… Ах мы, бедненькие! А потом отвернемся и пальцем покажем: генерал, пузо отвесил. Вы видели у меня пузо?

— Да нет, почему?! — собеседник явно растерялся. — Я как раз ничего не имел… Дело же не в этом…

— А в чем? — жестко спросил Семен Иваныч.

— Ну как?..

— Как?

— Не в том дело, кто генерал, кто не генерал. Все мы, в конце концов, одно дело делаем.

— Да что вы говорите! Смотрите-ка, я и не знал. Неужели все?

Собеседник молчал.

— А? — переспросил Семен Иваныч. Непонятно, почему он рассердился.

Собеседник молчал.

— Что, молчим? Тоже молчим?

— Слушайте!.. — собеседник, чувствовалось, привстал. — В чем, собственно, дело? Что вы против меня имеете?

— Да упаси боже! — моментально искренне откликнулся Семен Иваныч. — Ничегошеньки я не имею. Просто спросил. Я думал, что вы что-то против меня имеете. Ничего?

– Ничего, конечно. Вообще-то, пора спать. Сколько сейчас? Приблизительно?

– Приблизительно-то?.. Эх, оставил свои со светящимся циферблатом… Приблизительно часа два.

– Да, пожалуй. Надо, пожалуй, соснуть. Да?

– Да, конечно. Я еще выпил сегодня малость… Прощались с товарищами. Да, спим.

И сразу замолчали. И больше не говорили.

Мишка не знал, как подумать: кто внизу? Голос поразительно похож на малафейкинский. И зовут Семеном Иванычем… Но как же тогда? Что это? Мишка знал про Малафейкина почти все, что можно знать про соседа, даже не интересуясь им специально. Когда-то Малафейкин упал с лесов, сильно разбился… Был он тогда одинокий, и так одиноким остался. Тихий, молчаливый. К нему в воскресные дни приезжала какая-то женщина старше его. С девочкой. Кто они Малафейкину – Мишка не знал. Видел во дворе, Малафейкин гулял с девочкой: девочка возилась в песке, а Малафейкин читал газету. Может, это была его сестра с дочкой, потому что как-то не похоже, чтобы тут было что-то иное. Вот, в сущности, и весь Малафейкин. А генерал внизу… Нет, это совпадение. Бывает же так!

Мишка осторожненько слез с полки, сходил в туалет, взобрался опять наверх и закрыл глаза. В купе было тихо. Мишка заснул.

Утром Мишка проснулся позже других, перед самой Москвой. Открыл глаза, глянул вниз, а внизу, у окошка, сидит… Семен Иваныч Малафейкин. И еще какой-то человек тоже сидит у окна напротив, лет пятидесяти, румяный. Сидят, смотрят в окно. Еще девушка какая-то в брюках – книгу читает в сторонке. Молчат.

Мишка заспал ночной разговор, хотел уж сказать сверху: «Здравствуй, сосед!» И вспомнил… И даже отпрянул вглубь. Оторопел. Полежал, повспоминал: может, приснился ему этот ночной разговор?

Пока он мучительно вспоминал, румяный человек, слышно, потянулся и сказал, как говорят долго молчавшие люди:

– Кажется, подъезжаем, – пошуршал какой-то бумагой на столе – газету, что ли, свернул, – встал и вышел из купе.

Мишка свесил вниз голову… Девушка глянула на него, потом в окно и опять уткнулась в книгу. Малафейкин, курносый, с маленькими глазками без ресниц, в галстуке, причесанный на пробор, чуть пристукивал пальцами правой руки по столику – смотрел в окно.

– Привет генералу! – негромко сказал над ним Мишка.

Малафейкин резко вскинул голову… Встретились глазами. Маленькие глазки Малафейкина округлились от удивления и даже, как показалось Мишке, испугались.

– О! – сказал Малафейкин неодобрительно. – Явились не запылились… Откуда это?

Мишка молчал, смотрел на соседа – старался насмешливо.

– Чего это… разъезжаем-то? – даже как-то зло спросил Малафейкин. И быстро глянул на дверь.

Точно, это он ночью городил про каменные дачи и как он устал от наград и почестей.

– Чего эт ты ночью плел… – начал было Мишка, но вошел румяный человек, и Малафейкин быстро, испуганно повернулся к нему… И встал. И заговорил:

– Ну что, подъезжаем? – суетливо сунулся к окну, пригладил пробор на голове. – Да, уже. Уже Яуза. Так, так… – потоптался чего-то, направился было из купе, но вернулся, склонился к чемодану.

«Во фраер-то!» – изумился Мишка. Ему сверху было видно, как покраснели уши

Малафейкина. Он не стал больше приставать к маляру-шабашнику. Только с большим любопытством наблюдал за ним сверху.

– Вы не в сторону центра едете? – спросил румяный пассажир. И почтительно посмотрел на Малафейкина.

– А? – встрепенулся Малафейкин. – Я? Нет, нет… Меня… Нет, в другую сторону.

– А то хотел присоединиться к вам.

– Нет, нет… Мне в другую.

– Нам в сторону Свиблово, – громко сказал Мишка, потянулся и сел на полке. Его разбирал смех.

– О, попутчик наш проснулся? – сказал румяный человек. – Доброе утро, молодой человек! Завидный у вас сон. А я в дороге плохо сплю. Ругаю себя: да отсыпайся ты, есть же возможность – нет, никак.

Мишка, улыбаясь, смотрел на Малафейкина.

– Нет, мне бы еще столько, ничего бы…

– Дело молодое.

Малафейкин застегнул свой скрипучий желтый чемодан, затянул ремни, подхватил его, выставил в коридор… Из коридора же, не входя в купе, снял с вешалки кожаное пальто, снял с полки шляпу и ушел одеваться в коридор, подальше.

«Трусит – разоблачу, – понял Мишка. – На кой ты мне черт нужен!» Больше Малафейкин в купе не входил. Оделся, взял чемодан и ушел в тамбур.

Однако на перроне Мишка скараулил его. Догнал, пошел рядом.

– Что, хватил вчера лишнего, что ли? – спросил миролюбиво. – Чего турусил-то ночью? Зачем?

– Отвяжись! – рявкнул вдруг Малафейкин. И покраснел, как свекла. – Чего ты пристал?! Не похмелился? Иди похмелись! Чего ты пристал к человеку?!

На них оглянулись… Некоторые даже придержали шаг, ожидая скандала.

Мишка, опасаясь всяких этих штучек, связанных с объяснением, приотстал. Но Малафейкина из вида не выпускал. Он обозлился на него.

Вместе сели в метро… Мишка все следил за Малафейкиным, не знал только, как вывести на чистую воду этого прохвоста. Чуть чего, тот милицию станет звать.

В вагоне Малафейкин осторожно огляделся… И напоролся на прямой, уничтожающий Мишкин взгляд. Мишка подмигнул ему. Уши Малафейкина опять зацвели маковым цветом. Жесткий воротник кожаного пальто подпирал сзади его шляпу… Малафейкин больше не оглядывался.

На выходе из метро, на эскалаторе, Мишка опять приблизился к Малафейкину… Заговорил на ухо ему:

– Ты не ори только, не ори… Я один вопрос поставлю и больше не буду. У меня брательник в Питере такой же… придурок: тоже строит из себя. Чего вы из себя корежите-то? Чего вы добиваетесь этим? А? Я серьезно спрашиваю.

Малафейкин молчал. Смотрел вверх, вперед.

– Вам что, легче, что ли, становится после этого?

Малафейкин молчал.

– Зачем врал-то ночью мужику? А?

Как эскалатор изготовился столкнуть их – вышел на прямую – Малафейкин стал искать глазами милиционера… Мишка обогнал его и, оглядываясь, пришел раньше к автобусной остановке.

«Я тебя дома, во дворе, допеку», – решил.

Около дома, когда сошли с автобуса, Мишка опять пошел было к Малафейкину, но тот вдруг болезненно сморщился, затряс головой так, что шляпа чуть не съехала с головы, затопал ногой и закричал:

– Не подходи! Не подходи ко мне! Не подходи! – прокричал так, повернулся и скоро пошагал к дому. Почти побежал. Большой желтый чемодан с ремнями колотил его по ноге. Кожаное пальто надламывалось и приятно шумело. Шляпу Малафейкин поправил на ходу левой рукой… Не оглянулся ни разу.

Мишке чего-то вдруг стало жалко его.

– Звонарь, – сказал он негромко, сам себе. – Дача у него, видите ли. С камином, видите ли… Во звонарь-то! Они, видите ли, жить умеют… Звонари.

И тоже пошел. В магазин. Сигарет купить. У него сигареты кончились.

Пост скриптум
Чужое письмо
Это письмо я нашел в номере гостиницы, в ящике длинного узкого стола, к которому можно подсесть только боком. Можно сесть и прямо, но тогда надо ноги, положив их одну на другую, просунуть между тем самым ящиком, где лежало письмо, и доской, которая прикрывает батарею парового отопления.

Я решил, что письмо это можно опубликовать, если изменить имена. Оно показалось мне интересным.

Вот оно:

«Здравствуй, Катя! Здравствуйте, детки: Коля и Любочка! Вот мы и приехали, так сказать, к месту следования. Город просто поразительный по красоте, хотя, как нам тут объяснили, почти целиком на сваях. Да, Петр Первый знал, конечно, свое дело туго. Мы его, между прочим, видели – по известной тебе открытке: на коне, задавивши змею.

Сначала нас хотели поместить в одну гостиницу, но туда как раз приехали иностранцы, и нас повезли в другую. Гостиница просто шикарная! Я живу в люксе на одного под номером 4009 (4 – это значит четвертый этаж, 9 – это порядковый номер, а два нуля – я так и не выяснил). Меня поразило здесь окно. Прямо как входишь – окно во всю стену. Слева свисает железный стерженек, к стерженьку прикреплен тросик, тросик этот уходит куда-то в глубину… И вот ты подходишь, поворачиваешь за шишечку влево, и в комнате такой полумрак. Поворачиваешь вправо – опять светло. А все дело в жалюзях, которые в окне. Есть, правда, и занавеси, но они висят сбоку без толку. Если бы такие продавали, я бы сделал у себя дома. Я похожу поспрашиваю по магазинам, может, где-нибудь продают. А если нет, то я попробую сделать из длинных лучинок. Принцип работы этого окна я вроде понял, веревочки найдем – они на трех веревочках. Есть еще одна особенность у этого окна: оно открывается снизу, а посредине поворачивается на стержнях. Дежурная по коридору долго тут пыталась мне объяснить, как открывать и закрывать окно, пока я не остановил и не намекнул ей, что не все такие дураки, как она думала. Кровать я такую обязательно сделаю, как здесь. Поразительная кровать. Мы с Иваном Девятовым набросали с нее чертеж. Ее – пара пустяков сделать.

На шестом этаже находится буфет, но все дорого, поэтому мы с Иваном перешли, как говорится, на подножный корм: берем в магазине колбасы и завтракаем, и ужинаем у меня в люксе. Дежурная по коридору говорит, что это не запрещается, но только чтоб за собой ничего не оставляли. А сперва было заартачилась: надо, дескать, в буфет ходить. Мы с Иваном объяснили ей, что за эти деньги, которые мы проедим в буфете, мы лучше подарки домой привезем. Она говорит, я все понимаю, поэтому кожуру от колбасы свертывайте в газетку и бросайте в проволочную корзиночку, которая стоит в туалете. Опишу также туалет. Туалет просто поразительный. Иван говорит: содрали у иностранцев. Да, действительно, у иностранцев содрали много

кое-чего. Например, жалюзи. У нас тут одна из Красногорского района сперва жалела лить много воды, когда мылась в ванной, но ей потом объяснили, что это входит в стоимость номера, так же, как легкий обед в самолете. Я лично моюсь теперь каждый день. Меня вообще-то ванной не удивишь, но поразительно другое: блеск и чистота. Вымоешься, спустишь жалюзи, ляжешь на кровать и думаешь: вот так бы все время жить, можно бы сто лет прожить, и ни одна хворь тебя бы не коснулась, потому что все продумано. Вот сейчас, когда я пишу это письмо, за окном прошли морячки строем. Вообще, движение колоссальное.

Но что здесь поражает, так это вестибюль. У меня тут был один неприятный случай. Подошел я к сувенирам – лежит громадная зажигалка. Цена – 14 рублей. Ну, думаю, разорюсь – куплю. Как память о нашем пребывании. Дайте, говорю, посмотреть. А стоит девчушка молодая… И вот она увивается перед иностранцами – и так и этак. Уж она и улыбается-то, она и показывает-то им все, и в глаза-то им заглядывает. Просто глядеть стыдно. Я говорю: дайте зажигалку посмотреть. Она на меня: вы же видите, я занята! Да с такой злостью, куда и улыбка девалась. Ну, я стою. А она опять к иностранцам, и опять на глазах меняется человек. Я и говорю ей: что ж ты уж так угодничаешь-то? Прямо на колени готова стать. Ну, меня отвели в сторонку, посмотрели документы… Нельзя, мол, так говорить. Мы, мол, все понимаем, но, тем не менее, должны проявлять вежливость. Да уж какая тут, говорю, вежливость: готова на четвереньки стать перед ними. Я их тоже уважаю, но у меня есть своя гордость, и мне за нее неловко. Ограничились одним разговором, никаких оргвыводов не стали делать. Я здесь не выпиваю, иногда только пива с Иваном выпьем, и все. Мы же понимаем, что на нас тоже смотрят. Дураков же не повезут за пять тысяч километров знакомить с памятниками архитектуры и вообще отдохнуть.

Смотрели мы тут одну крепость. Там раньше сидели зеки. Нас всех очень удивило, как у них там чистенько было, опрятно. А сроки были большие. Мы обратились к экскурсоводу: как же так, мол? Он объяснил, что, во-первых, это сейчас так чистенько, потому что стал музей, во-вторых, гораздо больше издевательства, когда чистенько и опрятно: сидели здесь в основном по политическим статьям, поэтому чистота как раз угнетала, а не радовала. Чистота и тишина. Между прочим, знаешь, как раньше пытали? Привяжут человека к столбу, выбреют макушку и капают на эту плешину по капле холодной воды – никто почесть не выдерживал. Вот додумались! Мы тоже удивлялись, а некоторые совсем не верили. Иван Девятов наотрез отказался верить. Мне, говорит, хоть ее ведрами лей… Экскурсовод только посмеялся. Вообще, время проводим очень хорошо. Погода, правда, неважная, но тепло. Обращают на себя внимание многочисленные столовые и кафе, я уж и не заикаюсь про рестораны. Этот вопрос здесь продуман. Были также с Иваном на базаре – ничего особенного: картошка, капуста и вся прочая дребедень. Но в магазинах – чего только нет! Жалюзей, правда, нет. Но вообще город куда ближе к коммунизму, чем деревня-матушка. Были бы только деньги. В следующем письме опишу наше посещение драмтеатра. Колоссально! Показывали москвичи одну пьесу… Ох, одна артистка выдавала! Голосок у ней все как вроде ломается, вроде она плачет, а – смех. Со мной сидел один какой-то шкелет – морщился: пошлятина, говорит, и манерность. А мы с Иваном до слез хохотали, хотя история сама по себе грустная. Я потом расскажу при встрече. Ты не подумай там чего-нибудь такого – это же искусство. Но мне лично эта пошлятина, как выразился шкелет, очень понравилась. Я к тому, что необязательно – женщина. Мне также очень понравился один артист, который, говорят, живет в этом городе. Ты его, может, тоже видала в кино: говорит быстро-быстро, легко, как семечки пускает. Маленько смахивает на бабу – голоском и манерами. Наверно, пляшет здорово, собака! Ну, до свиданья! Остаюсь жив-здоров.

Михаил Демин.

Пост скриптум: вышли немного денег, рублей сорок: мы с Иваном малость проелись. Иван тоже попросил у своей шестьдесят рублей. Потом наверстаем. Все».

Вот такое письмо. Повторяю, имена я переменил.

А шишечка эта на окне – правда, занятная: повернешь влево – этакий зеленоватый полумрак в комнате, повернешь вправо – светло. Я бы сам дома сделал такую штуку. Надо тоже походить по магазинам поспрашивать: нет ли в продаже.

Билетик на второй сеанс

Последнее время что-то совсем неладно было на душе у Тимофея Худякова – опостылело все на свете. Так бы вот встал на четвереньки и зарычал бы, и залаял, и головой бы замотал. Может, заплакал бы.

Пил со сторожем у себя на складе (он был кладовщиком перевалочной товарной базы) – не брало. Не то что не брало – легче не делалось.

– С чего эт тебя так? – притворно сочувствовал сторож Ермолай.

Тимофей понимал притворство Ермолая, но все равно жаловался:

– Судьба-сучка… – и дальше сложно: – Чтоб у ней голова не качалась… Чтоб сухари в сумке не мялись… – Тимофей, когда у него болела душа, умел ругаться сладостно и сложно, точно плел на кого-то, ненавистного, многожильный ременный бич. Ругать судьбу до страсти хотелось, и поэтому было еще «двенадцать апостолов», «осиновый кол в бугорок», «мама крестителя» – много. Даже Ермолай изумлялся:

– Забрало тебя!

– Заберет, когда она, сучка, так со мной обошлась.

– Ну, если уж тебе на судьбу обидеться, то… не знаю. Чего тебе не хватает-то? В доме-то всего невпроворот.

Тимофею не хотелось объяснять дураку-сторожу, отчего болит душа. Да и не понимал он. Сам не понимал. В доме действительно все есть, детей выучил в институтах… Было время, гордился, что жить умеет, теперь тосковал и злился. А сторож думал про себя: «Совесть тебя, дьявола, заела: хапал всю жизнь, воровал… И не попался ни разу, паразит!»

– Разлад, Ермоха… Полный разлад в душе. Сам не знаю отчего.

– Пройдет.

Не проходило.

В тот день, в субботу (он весь какой-то вышел, день, нараскосяк), Тимофей опечатал склад, опять выпили со сторожем, и Тимофей пошел домой. Домой не хотелось – там тоже тоска, еще хуже: жена начнет нудить.

Была осень после дождей. Несильно дул сырой ветер, морщил лужи. А небо с закатного края прояснилось, выглянуло солнце. Окна в избах загорелись холодным желтым огнем. Холодно, тоскливо. И как-то противно ясно…

Тимофей думал: «Вот – жил, подошел к концу… Этот остаток в десять-двенадцать лет, это уже не жизнь, а так – обглоданный мосол под крыльцом – лежит, а к чему? Да и вся-то жизнь, как раздумаешься, – тьфу! Вертелся всю жизнь, ловчил, дом крестовый рубил, всю жизнь всякими правдами и неправдами доставал то то, то это… А Ермоха, например, всю жизнь прожил валиком – рыбачил себе в удовольствие: ни горя, ни заботы. А червей вместе будем кормить. Но Ермоха хоть какую-нибудь радость знал, а тут – как циркач на проволоке: пройти прошел, а коленки трясутся».

Шел Тимофей, думал… И взял да свернул в знакомый переулок. Жила в том знакомом переулке Поля Тепляшина. Когда-то давно Тимофей с Полей «крутили» преступную любовь. Были скандалы, битье окон, позор. Жена Тимофея, Гутя, семь лет отчаянно боролась с Полей за Тимоху. Гутю хвалили в деревне, она гордилась и учила молодых баб, какие оказывались в ее положении:

– Он к сударушке, а ты – со стяжком – под окошки к им. Да по окошкам-то, по окошкам-то – стяжком-то…

Бывала в деревне такая любовь – со стяжками. Теперь лучше – разошлись, и все. Раньше годами лютовали.

С Тимохиной любовью тогда все само собой утряслось: у вдовы Поли подрос сын Колька, Николай Петрович, и стал гонять Тимофея от матери. Тимофей набычился – к Поле:

– Уйми сосуна!

А та вдруг залепила:

– Пошел ты!.. Чего я, сына на тебя променяю? На – выкуси.

Тимофей хотел разок покуражиться, но нарвался на молодой Колькин кулак и после этого перестал туда ходить. Самое дурацкое положение настало потом: обе женщины, Поля и Гутя, вдруг подружились, и вместе смеялись над Тимохой.

– Как там сударчик-то мой поживает? – принародно спрашивала Поля.

Гутя смеялась:

– На печке – клопов давит.

Мстили, что ли.

Тимоха тогда же налетел на законную жену, но получил отпор на этот раз от своих детей.

Спроси сейчас Тимофей, зачем он идет к Поле, он не сказал бы. Не знал.

Поля удивилась.

– Вона!.. Вот так гость. Зачем это?

– А что? Что ты, заразная, что ли, что тебя обходить надо? Посидим по старой памяти, выпьем вот… – у Тимофея была с собой бутылка, он ее поставил на стол. – Спомним былое…

– Было бы чего!

Поля стала старая, некрасивая. Тимофей со злости подумал: «Она красивой-то и не была сроду». Стало вдруг жалко себя.

– Хошь, анекдот один расскажу?

– Вона!

– Чего ты, как попка, заладила: «вона! вона!» Как дикари, честное слово. Ну, зашел… Ну и что? Глупые вы какие-то, бабы, честное слово!

– Чего же ходите – к глупым-то?

– А где вас, умных-то, взять? Так и меняешь – шило на мыло.

– Небось ревизия была – злой-то?

– На меня еще такой ревизор не родился…

– Оно видно.

Тимофей выпил стакан – закусить чем-нибудь не спросил, Поля не предложила. Зато и он Полю не пригласил с собой выпить.

– Слушай анекдот. Приехал один мужик в город, идет по улице… А сам доходной-доходной – мужик-то. Но все-таки думает: где бы тут подцепить какую-нито? Слыхал, значит, про городских-то, ну и мысли-то заиграли. И тут подходит к нему одна – гладкая вся, тут – полна пазуха, вежливая. «Пойдемте ко мне, я тут близко живу». Мужик радешенький – сама навялилась. Приходит. Она говорит: «Раздевайтесь, я счас приду». А сама – в другую комнату. Ну, он разделся, сидит. Ждет. А она выводит детей малых и говорит им: «Вот, детки, если не будете хорошо кушать, будете такие же худые, как вот этот дядя».

Полю эта история не рассмешила. Тимофею тоже было не смешно. А днем, когда рассказали, смеялся с шоферами, и подумал еще, что историйка поучительная.

– К чему эт ты? – спросила Поля.

Тимофей пояснил:

– Точно так со мной выкинула судьба-сучка. Живи, мол, Тимофей!.. Раз башка есть на плечах – живи, никого не бойся! Ну, Тимофей и разлысил лоб…

– Жил бы честно, никого бы и не боялся.

Это она больно уела.

Тимофей стал соображать, как бы ее тоже побольней укусить.

– Не знаешь, кто это вот тут, – показал на кровать, – честно с чужим мужиком миловался? Не приходилось слышать?

– Приходилось. А тебе не приходилось слышать, кто на этом же самом месте от живой жены с чужой бабой миловался? Я одинокая была, вдова, а ты семейный. Поганец ты…

Тимофей еще выпил. Вот теперь он, кажется, все понял: жалко себя, жалко свою прожитую жизнь. Не вышло жизни.

– Сказка про белого бычка у нас получается, Поля…

Поля засмеялась.

– Чего смеешься? – спросил Тимофей.

– А чего мне не посмеяться?

– Не надо… Тебе не личит – зубы кривые.

– А ведь когда-то не замечал…

– Замечал, почему не замечал, только… Эхма! Что ведь и обидно-то, дорогуша моя: кому дак все в жизни – и образование, и оклад дармовой, и сударка пригожая, с сахарными зубами. А Тимохе, ему с кривинкой сойдет, с гнильцой…

– Во змей-то! – изумилась Поля. – Козел вонючий. Ну-ка забирай свою бутылку – и чтоб духу твоего тут не было! А то возьму ухват вон да по башке-то по умной… Умник!

Тимофей аккуратно надел на бутылку железненькую косыночку, устроил бутылку во внутренний карман пиджака и, не торопясь, пошел прочь. Стало вроде малость полегче. Но хотелось еще кому-нибудь досадить. Кому-нибудь также бы вот спокойно, тихо наговорить бы гадостей.

Пришел он домой, а дома, в прихожей избе, склонившись локотком на стол, сидит… Николай-угодник. По всем описаниям, по всем рассказам – вылитый Николай-угодник: белый, невысокого росточка, игрушечный старичочек. Сидит, головку склонил, смотрит ласково. Больше никого в доме нет.

– Ну, здравствуй, Тимофей, – говорит.

Тимофей глянул кругом… И вдруг бухнулся в ноги старичку. И, стараясь тоже ласково, тоже кротко и благостно, сказал тихо:

– Здорово, Николай-угодничек. Я сразу тебя узнал, батюшка.

Угодник весь как-то встрепенулся, удивился, засмеялся мелко, погрозил пальцем.

– Пьяненький?

– А – есть маленько! – с отчаянной какой-то веселостью, с любовью продолжал Тимофей. – С тоски больше… не обессудь, батюшка. С тоски. Шибко-то не загуливаюсь, Ребятишек теперь вырастил – чего, думаю, теперь не попить? Какой

ты, батюшка, седенький… А чего пришел-то?

Угодник поморгал ясными глазами… Опять посмеялся.

– С чего тоска-то?

– Тоска-то? А бог ее знает! Не верим больше – вот и тоска. В боженьку-то перестали верить, вот она и навалилась, матушка. Церквы позакрывали, матершинничаем, блудим… Вот она и тоска.

– А ты веровал ли когда?

– Батюшка!.. Вот те крест: маленький был, веровал. В рождество Христа славить ходил. Не приди большевики, я бы и теперь, может, верил бы.

– Сам-то не коммунист?

– Откуда! Я бы, может, и коммунистом стал – перед тобой-то чего лукавить! – но был у меня тесть – ни дна бы ему, ни покрышки! – его в тридцатом году раскулачили…

– Ну.

– Ну, я с той поры и завязал рот тряпочкой и не заикался никогда.

Угодник больше того удивился. Горько удивился.

– Ты что, Тимофей?

– Как на духу батюшка! Дак ты чего пришел-то? К добру или к худу – как понимать-то?

Угодник потрогал маленькой сморщенной ладонью белую бородку.

– Чего пришел… Да вот попроведать вас, окаянных, пришел. Ты, однако, подымись с колен-то.

– Постою! Чего мне не постоять? Не отсохнут. Что, батюшка, так вот походишь, поглядишь по свету-то: испаскудился народишко?

– Маленько есть. Значит, говоришь, тесть тебе перешел дорогу?

– Перешел. Да он и кулаком-то, по правде сказать, никогда не был, так – заупрямился тогда, с колхозами-то, нашумел, натрепался где-то… Трепач он был, тесть-то. Дурак дураком. Ботало коровье. Жил, правда, крепко. А я середнячишко был… мне бы в партию большевиков-то можно бы…

– И что же он, тесть-то?

– Отпыхтел свое, пришел. Я его так и не видел – далеко живем друг от друга. У сына он живет, балда старая. А сын далеко где-то. Так, говоришь, испаскудился народишко?

– Здорово испаскудился, – серьезно сказал Угодник.

– Совсем никудышный стал народ! – подхватил Тимофей. – Пьют, воруют… Я и то приворовываю на складе. Знамо, грех, но поглядишь кругом-то – господи-господи, что делается!

– Приворовываешь?

– Приворовываю, батюшка. Ребятишек вон выучил – на какие бы шиши, так-то? Батюшка… – Тимофей весь собрался, подполз поближе. – Чего я тебя хотел попросить…

– Ну?

– Ты там к господу нашему, Исусу Христу, близко сидишь… К деве Марии…

Посоветуйтесь там сообча да и… это… Шибко уж жалко, батюшка! До того жалко, сердце обмирает. Ведь я мужик-то неглупый, ведь у меня грамотешки-то совсем почти нету, а я вон каких молодцев обвожу вокруг пальца…

– Не пойму я.

– Родиться бы мне ишо разок! А? Пусть это не считается, что прожил, – родите-ка вы меня шло разок. А?

Угодник опять невольно рассмеялся.

– То жалуется – тоска, а то… Ну и сукин ты сын, Тимоха!

– Да потому я жалуюсь, что жизнь-то не вышла! – Тимофей готов был заплакать злыми слезами. – Ты вот смеешься, а мало тут смешного, батюшка, одна грусть-тоска зеленая. Ведь вон на земле-то… хорошо-то как! Разве ж я не вижу, не понимаю, все понимаю, потому и жалко-то. Тьфу! – да растереть, вот и вся моя жизнь.

– А как бы ты, интересно, жить стал? Другой-то раз…

– Перво-наперво я б на другой бабе женился. Про любовь даже в Библии писано, а для меня – что любовь, что чирей на одном месте, прости, господи, – одинаково. Или как все одно килу смолоду нажил – так и жена мне: кряхтишь, а носишь. Никудышная бабенка попалась. Дура. Вся в папашу своего. Хайло разинет и давай – только и знает. Сундук плетеный, не баба. Из-за нее больше и приворовываю-то. Жадная!.. Несусветно жадная. А с моей-то башкой – мне бы и в начальстве походить тоже бы не мешало… Из меня бы прокурор, я думаю, неплохой бы получился, – Тимофей засмотрелся снизу в святые глаза Угодника. – Тестюшку, например, своего я б тада так законопатил, что он бы и по сей день там… За язычину его…

– Цыть! – зло сказал старичок. – Ведь я и есть твой тесть, дьявол ты! Ворюга. Разуй глаза-то! Допился?

Тимофей, удовлетворенный, поднялся с колен, отряхнул штаны и спокойно и устало сказал:

– Гляди-ка, правда – тесть. Тестюшка! Ну, давай выпьем. Со стречей. Вишь, за кого я тебя принял…

– Допился, сукин сын!

– Все секреты свои рассказал тебе. Тц! Ну, ничего – знай. Вот ведь как обознался! Это ж надо так вклепаться… А-я-я-яй.

…Потом, когда выпили, тесть, оскорбленный за себя и за дочь, тыкал под нос Тимофею опрятный кукиш и твердил скороговоркой:

– Вот тебе, а не другую жись! Вот тебе – билетик на второй сеанс! Ворюга…

А Тимофей, красный, удовлетворенный, повторял:

– Ах, как я вклепался!.. А-я-я-я-яй! Это ж надо так!

– Я тебя самого посажу, ворюга!

– Кто, ты? Господь с тобой! Кто тебе поверит, лишенцу?

– Вот, вот тебе – билетик на второй сеанс! Хе-хе-хе! Другой раз жить собрался!.. На-ка! – тесть-угодник хотел опять угодить под нос зятю белым кукишком, но зять вылил ему на голову стакан водки и, пугая, полез в карман за спичками.

– Подожгу ведь…

Тесть-угодник вытерся полотенцем и заплакал.

– Чего ты, Тимоха?.. Над старым-то человеком… Бесстыдник ты! Дешевка… Приехал к нему, как к доброму…

– В том-то и дело, что не знаю, – миролюбиво уже сказал Тимоха. – Не знаю, тестюшка, не знаю. Я б все честно сказал, только не знаю, чего такое со мной делается. Пристал, видно, так жить. Насмерть пристал. Укатали сивку… Жалко. Прожил, как песню спел, а спел плохо. Жалко – песня-то была хорошая. Прости за комедию-то. Прости великодушно.

Дебил
Анатолия Яковлева прозвали на селе обидным, дурацким каким-то прозвищем – «Дебил». Дебил – это так прозвали в школе его сына, Ваську, второгодника, отпетого шалопая. А потом это словцо пристало и к отцу. И ничего с этим не поделаешь – Дебил и Дебил. Даже жена сгоряча, когда ругалась, тоже обзывала – Дебил. Анатолий психовал, один раз «приварил» супруге, сам испугался и долго ласково объяснял ей, что Дебил – так можно называть только дурака-переростка, который учиться не хочет, с которым учителя мучаются. «Какой же я Дебил, мне уж сорок лет скоро! Ну?.. Лапочка ты моя, синеокая ты моя… Свинцовой примочкой надо – глаз-то. Купить?»

Так довели мужика с этим Дебилом, что он поехал в город, в райцентр, и купил в универмаге шляпу. Вообще, он давненько приглядывался к шляпе. Когда случалось бывать в городе, он обязательно заходил в отдел, где продавались шляпы, и подолгу там ошивался. Хотелось купить шляпу! Но… Не то что денег не было, а – не решался. Засмеют деревенские: они нигде не бывали, шляпа им в диковинку. Анатолий же отработал на Севере по вербовке пять лет и два года отсидел за нарушение паспортного режима – он жизнь видел; знал, что шляпа украшает умного человека. Кроме того, шляпа шла к его широкому лицу. Он походил в ней на культурного китайца. Он на Севере носил летом шляпу, ему очень нравилось, хотелось даже говорить с акцентом.

В этот свой приезд в город, обозлившись и, вместе, обретя покой, каким люди достойные, образованные охраняют себя от насмешек, Анатолий купил шляпу. Славную такую, с лентой, с продольной луночкой по верху, с вмятинками – там, где пальцами браться. Он их перемерил у прилавка уйму. Осторожненько брал тремя пальцами шляпу, легким движением насаживал ее, пушиночку, на голову и смотрелся в круглое зеркало. Продавщица, молодая, бледнолицая, не выдержала, заметила строго:

– Невесту, что ли, выбираете? Вот выбирает, вот выбирает, глядеть тошно.

Анатолий спокойно спросил:

– Плохо ночь спали?

Продавщица не поняла. Анатолий прикинул еще парочку «цивилизейшен» (так он про себя называл шляпы), погладил их атласные подкладки, повертел шляпы так, этак и лишь после того, отложив одну, сказал:

– Невесту, уважаемая, можно не выбирать: все равно ошибешься. А шляпа – это продолжение человека. Деталь. Поэтому я и выбираю. Ясно? Заверните, – Анатолий порадовался, с каким спокойствием, как умно и тонко, без злости, отбрил он раздражительную продавщицу. И еще он заметил: купив шляпу, неся ее, легкую, в коробке, он обрел вдруг уверенность, не толкался, не суетился, с достоинством переждал, когда тупая масса протиснется в дверь, и тогда только вышел на улицу. «Оглоеды, – подумал он про людской поток в целом. – Куда торопитесь? Лаяться? Психовать? Скандалить и пить водку? Так вы же успеете! Можно же не торопиться».

По дороге он купил в мебельном этажерку. От шоссе до дома шел не торопясь; на руке, на отлете, этажерочка, на голове шляпа. Трезвый. Он заметил, что встречные и поперечные смотрят на него с удивлением, и ликовал в душе.

«Что, не по зубам? Привыкайте, привыкайте. А то попусту-то языком молоть вы мастера, а если какая сенсация, у вас сразу глаза на лоб. Туда же – обзываться! А сами от фетра онемели. А если бы я сомбреро надел? Да ремешком пристегнул бы ее к челюсти – что тогда?»

На жену Анатолия шляпа произвела сильное впечатление: она стала квакать (смеяться) и проявлять признаки тупого психоза.

– Ой, умру! – сказала она с трудом.

– Схороним, – сдержанно обронил Анатолий, устраивая этажерку у изголовья кровати. Всем видом своим он являл непреклонную интеллигентность.

– Ты что, сдурел? – спросила жена.

– В чем дело?

– Зачем ты ее купил-то?

– Носить.

– У тебя же есть фуражка!

– Фуражку я дарю вам, синьорина, – в коровник ходить.

– Вот идиот-то. Она же тебе не идет. Получилось, знаешь, что: на тыкву надели ночной горшок.

Анатолий с прищуром посмотрел на жену… Но интеллигентность взяла вверх. Он промолчал.

– Кто ты такой, что шляпу напялил? – не унималась жена. – Как тебе не стыдно? Тебе, если по-честному-то, не слесарем даже, а навоз вон на поля вывозить, а ты – шляпу. Да ты что?!

Анатолий знал лагерные выражения и иногда ими пользовался.

– Шалашня! – сказал он. – Могу ведь смазь замастырить. Замастырить?

– Иди, иди – покажись в деревне. Тебе же не терпится, я же вижу. Смеяться все будут!..

– Смеется тот, кто смеется последний.

С этими словами Анатолий вышел из дома. Правда, не терпелось показать шляпу пошире, возможно даже позволить кому-нибудь подержать в руках – у кого руки чистые.

Он пошел на речку, где по воскресеньям торчали на берегу любители с удочками.

По-разному оценили шляпу: кто посмеялся, кто сказал, что – хорошо, глаза от солнышка закрывает… Кто и вовсе промолчал – шляпа и шляпа, не гнездо же сорочье на голове. И только один…

Его-то, собственно, и хотел видеть Анатолий. Он – это учитель литературы, маленький, ехидный человек. Глаза, как у черта, – светятся и смеются. Слова не скажет без подковырки. Анатолий подозревал, что это с его легкой руки он сделался Дебилом. Однажды они с ним повздорили. Анатолий и еще двое подрядились в школе провести заново электропроводку (старая от известки испортилась, облезла). Анатолий проводил как раз в учительской, когда этот маленький попросил:

– А один конец вот сюда спустите: здесь будет настольная лампа.

– Никаких настольных ламп, – ответствовал Анатолий. – Как было, так и будет – по старой ведем.

– Старое отменили.

– Когда?

– В семнадцатом году.

Анатолий обиделся.

– Слушайте… вы сильно ученый, да?

– Так… средне. А что?

– А то, что… не надо здесь острить. Ясно? Не надо.

– Не буду, – согласился учитель. Взял конец провода, присоединил к общей линии и умело спустил его к столу. И привернул розетку.

Анатолий не глядел, как он работает, делал свое дело. А когда учитель, довольный, вышел из учительской, Анатолий вывернул розетку и отсоединил конец. Тогда они и повздорили. Анатолий заявил, что «нечего своевольничать! Как было, так и будет. Ясно?» Учитель сказал: «Я хочу, чтобы ясно было вот здесь, за столом. Почему вы вредничаете?» – «Потому, что… знаете? – нечего меня на понт брать! Ясно? А то ученых развелось – не пройдешь, не проедешь». Почему-то Анатолий невзлюбил учителя. Почему? – он и сам не понимал. Учитель говорил вежливо, не хотел обидеть…

Всякий раз, когда Анатолий встречал учителя на улице, тот первым вежливо здоровался… и смотрел в глаза Анатолию – прямо и весело. Вот, пожалуй, глаза-то эти и не нравились. Вредные глаза! Нет, это он пустил по селу «Дебила», он, точно.

Учитель сидел на коряжке, смотрел на поплавок. На шаги оглянулся, поздоровался, скорей машинально… Отвернулся к своему поплавку. Потом опять оглянулся… Анатолий смотрел на него сверху, с берега. В упор смотрел, снисходительно, с прищуром.

– Здравствуйте! – сказал учитель. – А я смотрю: тень какая-то странная на воде образовалась… Что такое, думаю? И невдомек мне, что это – шляпа. Славная шляпа! Где купили?

– В городе, – Анатолий и тон этот подхватил – спокойный, подчеркнуто спокойный. Он решил дать почувствовать «ученому», что не боги горшки обжигают, а дед Кузьма. – Нравится?

– Шикарная шляпа!

Анатолий спустился с бережка к коряжке, присел на корточки.

– Клюет?

– Плохо. Сколько же стоит такая шляпа?

– Дорого.

– Мгм. Ну, теперь надо беречь. На ночь надо в газетку заворачивать. В сетку – и на стенку. Иначе поля помнутся, – учитель посмотрел искоса – весело – на Анатолия, на шляпу его…

– Спасибо за совет. А зачем же косяк давить? Мм?

– Как это? – не понял учитель.

– Да вот эти вот взгляды… косые – зачем? Смотреть надо прямо – открыто, честно. Чего же на людей коситься? Не надо.

– Да… Тоже спасибо за совет, за науку. Больше не буду. Так… иногда почему-то хочется искоса посмотреть, черт его знает почему.

– Это неуважение.

– Совершенно верно. Невоспитанность! Учишь, учишь эти правила хорошего тона, а все… Спасибо, что замечание сделали. Я ведь тоже – интеллигент первого поколения только. Большое спасибо.

– Правила хорошего тона?

– Да. А что?

– Изучают такие правила?

– Изучают.

– А правила ехидного тона?

– Э-э, тут… это уж природа-матушка сама распоряжается. Только собственная одаренность. Талант, если хотите.

– Клюет!

Учитель дернул удочку… Пусто.

– Мелюзга балуется, – сказал он.

– Мули.

– Что?

– У нас эту мелочь зовут мулишками. Муль – рыбка такая, Ма-аленькая… Считаете, что целесообразней с удочкой сидеть, чем, например, с книжкой?

– Та ну их!.. От них уж голова пухнет. Читаешь, читаешь… Надо иногда и подумать. Тоже не вредно. Правда?

– Это смотря в каком направлении думать. Можно, например, весь день усиленно думать, а оказывается, ты обдумывал, как ловчей магазин подломить. Или, допустим, насолить теще…

Учитель засмеялся.

– Нет, в шляпе такие мысли не придут в голову. Шляпа, знаете, округляет мысли. А мысль про тещу – это все-таки довольно угловатая мысль, с зазубринами.

– Ну, о чем же вы думаете? С удочкой-то?

– Да разное.

– Ну, все же?

– Ну, например, думаю, как… Вам сколько лет? – учитель весело посмотрел на Анатолия. Тот почему-то вспомнил «Дебила».

– Сорок. А что?

– И мне сорок. Вам не хочется скинуть туфли, снять рубашку – и так пройтись по селу? А?

Анатолий стиснул зубы… Помолчал, через силу улыбнулся.

– Нет, не хочется.

– Значит, я один такой… Серьезно, сижу и думаю: хорошо бы пройтись босиком по селу! – учитель говорил искренне. – Ах, славно бы! А вот не пройдешь… Фигушки!

– Да… – неопределенно протянул Анатолий. Подобрал у ног камешек, хотел бросить в воду, но вспомнил, что учитель удит, покидал камешек на ладони и положил на место. И еще сказал непонятно: – Так-так-так…

– Слушайте, – заговорил учитель горячо и серьезно, – а давайте скинем туфли, рубашки и пройдемся! Какого черта! Вместе. Я один так и не осмелюсь… Будем говорить о чем-нибудь, ни на кого не будем обращать внимания. А вы даже можете в шляпе!

Анатолий, играя скулами, встал.

– Я предлагаю тогда уж и штаны снять. А то – жарко.

– Ну-ну, не поняли вы меня.

– Все понятно, дорогой товарищ, все понятно. Продолжайте думать… в таком же направлении.

Анатолий пошел вразвалочку по бережку… Отошел метров пять, снял шляпу, зачерпнул ею воды, напился… Отряхнул шляпу, надел опять на голову и пошагал дальше. На учителя не оглянулся. Пропел деланно беспечно:

Я ехала домо-ой,
Я думала о ва-ас;
Блестяща мысль моя и путалась и рвалась…
Помолчал и сказал негромко, себе:

– В гробу я вас всех видел. В белых тапочках.

Жена мужа в Париж провожала
Каждую неделю, в субботу вечером, Колька Паратов дает во дворе концерт. Выносит трехрядку с малиновым мехом, разворачивает ее, и:

А жена мужа в Париж провожала,
Насушила ему сухарей…
При игре Колька, смешно отклячив зад, пританцовывает.

Тара-рам, тара-рам, тара та-та-ра… рам,
Тари-рам, тари-рам, та-та-та…
Старушки, что во множестве выползают вечером во двор, смеются. Ребятишки, которых еще не загнали по домам, тоже смеются.

А сама потихоньку шептала:
«Унеси тебя черт поскорей!»
Тара-рам, тара-рам, та-та-ра-ра…
Колька – обаятельный парень, сероглазый, чуть скуластый, с льняным чубариком-чубчиком. Хоть невысок ростом, но какой-то очень надежный, крепкий сибирячок, каких запомнила Москва 1941 года, когда такие вот, ясноглазые, в белых полушубках, день и ночь шли и шли по улицам, одним своим видом успокаивая большой город.

– Коль, цыганочку!

Колька в хорошем субботнем подпитии, улыбчив.

– Валю-ша, – зовет он, подняв голову. – Брось-ка мне штиблеты – цыганочку товарищи просят.

Валюша не думает откликаться, она зла на Кольку, ненавидит его за эти концерты, стыдится. Колька знает, что Валюша едва ли выглянет, но нарочно зовет, ломая голос – «по-тирольски», чем потешает публику.

– Валю-ша! Отреагируй, лапочка!.. Хоть одним глазком, хоть левой ноженькой!.. Ау-у!..

Смеются, поглядывают тоже вверх… Валюша не выдерживает: с треском распахивается окно на третьем этаже, и Валюша, навалившись могучей грудью на подоконник, свирепо говорит:

– Я те счас отреагирую – кастрюлей по башке, кретин!

Внизу взрыв хохота; Колька тоже смеется, хотя… Странно это: глаза Кольки не смеются, и смотрит он на Валюшу трезво и, кажется, доволен, что заставил-таки сорваться жену, довел, что она выказала себя злой и неумной, просто дурой. Колька как будто за что-то жестоко мстит жене, и это очень на него непохоже, и никто так не думает – просто дурачится парень, думают.

К этому времени вокруг Кольки собирается изрядно людей, есть и мужики и парни.

– Какой размер, Коля?

– Фиер цванцихь – сорок два.

Кольке дают туфли (он в тапочках), и Колька пляшет… Пляшет он красиво, с остервенением. Враз становится серьезным, несколько даже торжественным… Трехрядка прикипает к рукам, в меру помогает цыганочке, где надо молчит, работают ноги. Работают четко, точно, сухо пощелкивают об асфальт носочки – каблучки, каблучки – носочки…

Опять взвякивает гармонь, и треплется по вспотевшему лбу Кольки льняной мягкий чубарик. Молчат вокруг, будто догадываются: парень выплясывает какую-то свою затаенную горькую боль. В окне на третьем этаже отодвигается край дорогой шторы – Валя смотрит на своего «шута». Она тоже серьезна. Она тоже в плену исступленной, злой цыганочки. Три года назад этой самой цыганочкой Колька «обаял» гордую Валю, больше гордую, чем… Словом, в такие минуты она любит мужа.

Познакомился сибиряк Колька с Валюшей самым идиотским способом – заочно. Служил вместе с ее братом в армии, тот показал фотографию сестры… Сразу несколько солдатских сердец взволновалось – Валя была красивая. Запросили адрес, но брат Валин дал адрес только лучшему своему корешу – Кольке. Колька отправил в Москву свою фотографию и с фотографией – много «разных слов». Валя ответила… Завязалась переписка. Коля был старше Валиного брата на год, демобилизовался раньше, поехал в Москву один. Собралась вся Валина родня – смотреть Кольку. И всем Колька понравился, и Вале тоже. Смущало, что у солдатика пока что одна душа да чубчик, больше ничего нет, а главное, никакой специальности. Но решили, что это дело наживное. Так Коля стал москвичом, даже домой не доехал, к матери.

Стали они с Валюшей жить-поживать, и потихоньку до них стало доходить, что они напрочь чужие друг другу люди. Но было поздно: через год у них народилась дочка Нина, хорошенькая, круглолицая, беленькая… Колька понял, что он тут сел намертво. Им сообща – родней – купили двухкомнатную кооперативную квартиру (родные Вали все потомственные портные, и Валя тоже классная портниха). Колька много раз менял место работы, но везде – сто, от силы сто двадцать рублей. А Валя имела до трехсот чистыми. Она работала телеграфисткой: сутки работает, двое дома – шьет.

Горе началось с того, что Колька скоро обнаружил у жены огромную, удивительную жадность к деньгам. Он попытался было воздействовать на нее, что нельзя же так-то уж, но получил железный отпор.

– У нас в деревне и то бабы не такие жадные…

– Заткнись со своей деревней, – посоветовала Валя. – Ехай туда, кому ты здесь нужен!

«Ну и влип… – терзался изумленный Колька. – Как влип!»

Он был парень не промах, хоть и «деревня», сроду не чаял и не гадал, что судьба изобразит ему такую колоссальную фигу. В армии он много думал о том, как он будет жить после демобилизации: во-первых, закончит десятилетку в вечерней школе (у него было девять классов), во-вторых… И в-третьих, и в-четвертых – все накрылось. Первый год он мыкался в поисках подходящей работы – сам того не сознавая, он, оказывается, искал работу, которая бы подходила не ему самому, а жене Вале, – таковой не подыскал, махнул рукой, остался грузчиком в торговой сети. Потом родилась дочка, и все свободное время он должен был отдавать ей, так как скупая Валя не наняла старушку, которая бы хоть гуляла с девочкой. Сама же шила, шила, шила. Десятилетка Колькина лопнула. Колька вечером сажал дочку на скамеечку во дворе и играл ей на гармошке и пел кривляясь:

Моя мечта не струйка дыма,
Что тает вдруг в сиянье дня;
Но вы прошли с улыбкой мимо
И не заметили меня.

Дочка смеялась, а Кильке впору было заплакать злыми, бессильными слезами. Он бы и уехал в деревню, но как подумает, что тогда он лишится дочери, так… Нет, это было выше сил, будь они хоть трижды сибирские – крепкие, способные вынести много. Все что угодно, только не это.

Полгода назад приезжала к ним мать Колькина, Валя приняла ее вежливо, но мать

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru все равно боялась ее, лишний раз боялась ступить по квартире, боялась внучку на руки взять… Колька исказнился, глядя на мать. Когда они остались одни, он упрекнул ее:

– Мам, ты че это?

– Че?

– Да какая-то… внучку на руки даже не взяла.

– Да боюсь я, сынок, че-нибудь не так сделаю.

– Ну, ты уж какая-то…

– Да ниче, че ты? Посмотрела вот – и слава богу. Хорошо живешь-то, сынок, хорошо. Куда с добром!.. Слава те, господи! И живи. Она бабочка-то ниче, с карахтером, правда, но такая-то лучше, чем размазня кака-нибудь. Хозяйка. Живите с богом.

Так и уехала мать с мыслью, что сын живет хорошо.

Когда супруги после ее отъезда поругались из-за чего-то, Валя куснула мужа в больное:

– Что же мамочка-то твоя?.. Приехала и сиди-ит, как… это… Ни обед ни разу не сготовила, ни с внучкой не погуляла… Барыня кособокая.

Колька впервые тогда шваркнул жену по загривку. Она, ни слова не говоря, умотала к своим. Колька взял Нину, пошел в магазин, выпил, пришел домой и стал ждать. И когда явились тесть с тещей, вроде не так тяжко было толковать с ними.

– Ты смотри, смотри-и, парень! – говорили в два голоса тесть и теща и стучали пальцами по столу. – Ты смотри-и!.. Ты – за рукоприкладство-то – в один миг вылетишь из Москвы. Нашелся!.. Для тебя мы ее ростили, чтоб ты руки тут распускал?! Не дорос! С ней вон какие ребята дружили, инженеры, не тебе чета…

– Что же вы сплоховали? Надо было хватать первого попавшегося и в загс – инженера-то. Или они хитрей вас оказались? Удовольствие получили – и в кусты? Как же вы так лопухнулись?

Тут они поперли на него в три голоса.

– Кретин! Сволочь!

– А вот мы счас милицию! А вот мы счас милицию вызовем!..

– Живет на все готовенькое, да еще!.. Сволочь!

– Голодранец поганый!

– Кретин!

Дочка Нина заплакала. Колька побелел, схватил топорик, каким мясо рубят, пошел на тестя, на жену и на тещу. Негромко, но убедительно сказал:

– Если не прекратите орать, я вас всех, падлы… Всех уложу здесь!

С того раза поняли супруги Паратовы, что их жизнь безнадежно дала трещину. Они даже сделали вид, что им как-то легче обоим стало, вольнее. Валя стала куда-то уходить вечерами.

– Куда это? – спрашивал Колька, прищемив боль зубами.

– К заказчикам.

Спали, впрочем, вместе.

– Ну как заказчики? – интересовался ночью Колька, и похлопывал жену по мягкому

телу, и смеялся – не притворялся, действительно смех брал, правда, нервный какой-то смех.

– Дурачок, – спокойно говорила Валя. – Не думай – не из таких.

– Вы не из таких, – соглашался Колька, – вы из таковских.

Бывало, что по воскресеньям они втроем – с дочкой – ездили куда-нибудь. Раза три ездили на ВДНХ. Заходили в шашлычную, Колька брал шашлыки, бутылку хорошего вина, конфет дочери… Вкусно обедали, попивали вино. Колька украдкой взглядывал на жену, думал: «Что мы делаем? Что делаем, два дурака?! Можно же хорошо жить. Ведь умеют же другие!»

Смотрели на выставке всякую всячину, Колька любил смотреть сельхозмашины, подолгу простаивал перед тракторами, сеялками, косилками… Мысли от машин перескакивали на родную деревню, и начинала болеть душа. Понимал, прекрасно понимал: то, как он живет, это не жизнь, это что-то очень нелепое, постыдное, мерзкое… Руки отвыкли от работы, душа высыхает – бесплодно тратится на мелкие, мстительные, едкие чувства. Пить научился с торгашами. Поработать не поработают, а бутылки три-четыре «раздавят» в подвале (к грузчикам еще пристегнулись продавцы – мясники, здоровые лбы, беззаботные, как колуны). Что же дальше? Дальше – плохо. И чтобы не вглядываться в это отвратительное «дальше», он начинал думать о своей деревне, о матери, о реке… Думал на работе, думал дома, думал днем, думал ночами. И ничего не мог придумать, только травил душу, и хотелось выпить.

«Да что же?! Оставляют же детей! Виноват я, что так получилось?»

Люди давно разошлись по домам… А Колька сидит, тихонько играет подбирает что-то на слух, что-то грустное. И думает, думает, думает. Мысленно он исходил свою деревню, заглянул в каждый закоулок, посидел на берегу стремительной чистой реки… Он знал, если он приедет один, мать станет плакать: это большой грех – оставить дите родное, станет просить вернуться, станет говорить… О господи! Что делать? Окно на третьем этаже открывается.

– Ты долго там будешь пилить? Насмешил людей, а теперь спать им не даешь. Кретин! Тебя же счас во всех квартирах обсуждают!

Колька хочет промолчать.

– Слышишь, что ли? Нинка не спит!.. Клоун чертов.

– Закрой поддувало. И окно закрой – она будет спать.

– Кретин!

– Падла!

Окно закрывается. Но через минуту снова распахивается.

– Я вот расскажу кому-нибудь, как ты мечтал на выставке: «Мне бы вот такой маленький трактор, маленький комбайник и десять гектаров земли». Кулачье недобитое. Почему домой-то не поехал? В колхоз неохота идти? Об единоличной жизни мечтаете с мамашей своей… Не нравится вам в колхозе-то? Заразы. Мещаны.

Самое чудовищное, что жена Валя знала: отец Кольки, и дед, и вся родня – бедняки в прошлом и первыми вошли в колхоз, Колька ей рассказывал.

Колька ставит гармонь на скамейку… Хватит! Надо вершить стог. Эта добровольная каторга сделает его идиотом и пьяницей. Какой-то конец должен быть.

Скоро преодолел он три этажа… Влетел в квартиру. Жена Валя, зачуяв недоброе, схватила дочь на руки.

– Только тронь! Только тронь посмей!..

Кольку било крупной дрожью.

– П-положь ребенка, – сказал он, заикаясь.

– Только тронь!..

– Все равно я тебя убью сегодня. – Колька сам подивился – будто не он сказал эти страшные слова, а кто-то другой, сказал обдуманно. Дождалась ты своей участи… Не хотела жить на белом свете? Подыхай. Я тебя этой ночью казнить буду.

Колька пошел на кухню, достал из ящика стола топорик… Делал все спокойно, тряска унялась. Напился воды… Закрыл кран. Подумал, снова зачем-то открыл кран.

– Пусть течет пока, – сказал вслух.

Вошел в комнату – Вали не было. Зашел в другую комнату – и там нет.

– Убежала. – Вышел на лестничную площадку, постоял… Вернулся в квартиру. – Все правильно…

Положил топорик на место… Походил по кухне. Достал из потайного места початую бутылку водки, налил стакан, бутылку опять поставил на место. Постоял со стаканом… Вылил водку в раковину.

– Не обрадуетесь, гады.

Сел… Но тотчас встал – показалось, что на кухне очень мусорно. Он взял веник, подмел.

– Так? – спросил себя Колька. – Значит, жена мужа в Париж провожала? – Закрыл окно, закрыл форточку. Закрыл дверь. Закурил, курнул раза три подряд поглубже, загасил папиросу. Взял карандаш и крупно написал на белом краешке газеты: «Доченька, папа уехал в командировку».

Положил газетку на видное место… И включил газ, обе горелки…

Когда рано утром пришли Валя, тесть и теща, Колька лежал на кухне, на полу, уткнувшись лицом в ладони. Газом воняло даже на лестнице.

– Скотина! И газ не… – Но тут поняла Валя. И заорала.

Теща схватилась за сердце.

Тесть подошел к Кольке, перевернул его на спину.

У Кольки не успели еще высохнуть слезы… И чубарик его русый был смят и свалился на бочок. Тесть потряс Кольку, приоткрыл пальцами его веки… И положил тело опять в прежнее положение.

– Надо… это… милицию.

Ораторский прием

Тринадцать человек совхозных, молодых мужиков и холостых парней, направили «на кубы» (на лесозаготовки). На три-четыре недели – как управятся с нормой. Старшим назначили Александра Щиблетова. Директор совхоза, напутствуя отъезжающих, пошутил:

– Значит, Щиблетов… ты, значит, теперь Христос, а это – твои апостолы.

«Апостолы» засмеялись. «Христос» сдержанно, с достоинством улыбнулся. И тут же, в конторе, показал, что его не зря назначили старшим.

– Сбор завтра в семь ноль-ноль возле школы, – сказал он серьезно. – Не опаздывать. Ждать никого не будем.

Директор посмотрел на него несколько удивленно, «апостолы» переглянулись между собой… Щиблетов сказал директору «до свидания» и вышел из конторы с видом человека, выполняющего неприятную обязанность, но которую, он понимает, выполнять надо.

– Вот, значит, э-э… чтобы все было в порядке, – сказал директор. – Через недельку приеду попроведую вас.

«Апостолы» вышли из конторы и, прежде чем разойтись по домам, остановились покурить в коридоре. Потолковали немного.

– Щиблетов-то!.. Понял? Уже – хвост трубой!

– Да-а… Любит это дело, оказывается.

– Разок по букварю угодить чем-нибудь – разлюбит, – высказался Славка Братусь, маленький мужичок, с маленьким курносым лицом, муж горбатой жены.

– Ты лучше иди делай восхождение на Эльбрус, – мрачновато посоветовал Славке Борис Куликов, грузный, медлительный, славный своим бесстрашием, которое дважды приводило его на скамью подсудимых.

– А ты иди похмелись, – огрызнулся Славка.

– Золотые слова, – прогудел Борис и отвалил в сторону сельмага.

Разошлись, и все – кто куда.

В семь ноль-ноль к школе пришел один Щиблетов. Он был в бурках, в галифе, в суконной «москвичке» (полупальто на теплой подкладке, с боковыми карманами), в кожаной шапке. Морозец стоял крепкий: Щиблетов ходил около машины с крытым верхом, старался не ежиться. Место он себе занял в кабине, положив узел на сиденье.

Щиблетов Александр Захарович – сорокалетний мужчина, из первых партий целинников, оставшийся здесь, кажется, навсегда. Он сразу взял ссуду и поставил домик на берегу реки. В летние месяцы к нему приезжала жена… или кто она ему – непонятно. По паспорту – жена, на деле – какая же это жена, если живет с мужем полтора месяца в году? Сельские люди не понимали этого, но с расспросами не лезли. Редко кто по пьяному делу интересовался:

– Как вы так живете?

– Так… – неохотно отвечал Щиблетов. – Она на приличном месте работает, не стоит уходить.

Темнил что-то мужичок, а какие мысли скрывал, бог его знает. За эту скрытность его недолюбливали. Он был толковый автослесарь, не пил, правильно выступал на собраниях, любил выступать, готовился к выступлениям, выступая, приводил цифры, факты. Фамилии, правда, называл осторожно, больше напирал на то, что «мы сами во многом виноваты…» С начальством был сдержанно-вежлив. Не подхалимничал, нет, а все как будто чего-то ждал большего, чем только красоваться на Доске почета.

Старшим его назначили впервые.

– Не спешат друзья, – сказал Щиблетов.

– Придут, – беспечно откликнулся шофер и сладко, с хрустом потянулся. И завел мотор. – Иди погрейся, что ты там топчешься.

– Придут-то, я знаю, что придут, – Щиблетов полез в кабину, – но было же сказано: в семь ноль-ноль.

– Счас придут. Ты за бригадира, что ли?

– Да.

– Счас придут. Вон они!..

Стали подходить «апостолы». Щиблетов вылез из кабины.

– Друзья!.. – он выразительно постучал ногтем указательного пальца по стеклышку часов и покачал головой.

– Успеем, – успокоили его.

Куликов пришел последним. Он, видно, хорошо опохмелился на дорожку, настроение приподнятое.

– Здорово, орлы! – приветствовал он всех. И отдельно Щиблетову: – Но не те, которые летают, а которые…

– Залезайте, – несколько брезгливо оборвал Щиблетов.

– Зале-езем, куда мы денемся, – гудел Куликов, не замечая брезгливости Щиблетова. – Залезем… за милую душу.

– Ко всем обращаюсь! – возвысил голос Щиблетов, глядя в кузов через задний борт. – Чтобы вот такого больше не повторялось!

У «апостолов» вытянулись лица – чего не повторялось?

– Я предупредил вчера: отъезд в семь ноль-ноль. Сейчас… без четверти восемь. Каждое опоздание буду фиксировать. Ясно?

«Апостолы» молчали… Смотрели на Щиблетова. Щиблетов не стал дожидаться, пока они своими чалдонскими мозгами сообразят, что ответить, скрипуче повернулся, кашлянул в кулак и пошел в кабину.

– Поехали.

Поехали.

– Куликов частенько закладывает? – поинтересовался Щиблетов, как интересуются властью наделенные люди: никак не угрожая пока, но и не убирая в голосе обещанную интонацию – заняться в дальнейшем этим Куликовым.

– А ты спроси у него, – невежливо ответил шофер. – Он ответит… Что за манера – справки наводить! Рядом же человек, живой – спрашивай.

Щиблетов промолчал. Смотрел вперед на дорогу серьезный и озабоченный.

На выезде из села, у чайной, в кабину застучали.

– Чего они? – встревожился Щиблетов.

– Погреться хотят, – шофер подрулил к чайной. – Это здесь тепло, а в кузове продерет – дорога длинная.

– Не останавливайся! – строго сказал Щиблетов.

Шофер посмотрел на него, засмеялся, ничего не сказал, вылез из кабины, крепко хлопнув дверцей. Из кузова выпрыгивали, весело галдели, направляясь к дверям чайной.

Щиблетов вдруг тоже выскочил из кабины и скорым шагом, обогнав «апостолов», зашел в чайную. Чайная только открылась, в ней еще прохладно, но в углу с гулом и треском топилась печь, пахло дымком и отогретыми сосновыми поленьями, которые большой кучей лежали перед печкой и парили, и парок тот, плавно загибаясь, уплывал в приоткрытую дверцу.

Буфетчица Галя, аппетитная женщина, улыбчивая, черноглазая, увидев в окно знакомых мужиков и парней, сказала весело:

– Орава идет.

Она удивилась, когда Щиблетов, стремительно подойдя к стойке, приказал:

– Водку не продавать. В крайнем случае – по стакану красного.

Ввалилась орава. Загалдели.

Кто-то вслух прочитал укоряющую надпись на большом щите: «Напился пьяный – сломал деревцо: стыдно людям смотреть в лицо!»

Над надписью – рисунок: безобразный алкаш сломал тоненькую березку и сидит, ни на кого не глядит.

– Горюет!.. Жалко.

– Тут голову сломаешь, и то никому не жалко, – сказал Борька Куликов, отсчитывая на огромной ладони рубль с мелочью – на стакан водки.

С Галей весело здоровались, рылись в карманах.

– Мужики, а водки не ведено вам продавать, – хитрая Галя нарочно сказала это громко, чтоб сразу все слышали.

– Кто? – спросили в несколько голосов.

– А вот… товарищ… Я не знаю, кто он над вами, – не велел продавать.

– Друзья, – обратился ко всем Щиблетов, – разрешаю по стакану красного!.. Традиции перед дорогой не будем нарушать, но обойдемся красненьким.

Борька Куликов как считал на ладони мелочь, так, не поднимая головы, уставился на Щиблетова – никак не мог уразуметь, что он такое говорит.

– Чего, чего?

– Водку пить не разрешаю.

Борька сунул деньги в карман и двинулся на Щиблетова. Так примерно он зарабатывал себе срок. Причем его не интересовало, сколько перед ним человек: один или семеро. Щиблетова подхватил под руку Иван Чернов, из мужиков постарше, и повел из чайной. На крыльце Щиблетов вспомнил, что он тоже, черт возьми, мужчина: отнял руку…

– А в чем дело, вообще-то? Он что, чокнутый на одно ухо?

– Пошли, – сказал Иван, увлекая его к машине. – А то он так чокнет, что получится – на два уха. Садись в кабину и сиди. И не строй из себя. По сто пятьдесят все выпьют… Я тоже.

– Что, дома, что ли, не могли выпить?

– Дома не могли. Тебе хорошо – один живешь… Сиди, не рыпайся – лучше будет.

Почти всю дорогу потом Щиблетов молчал, смотрел вперед. В кузове Борька Куликов орал:

К нам в гавань заходили корабли;
Уютна и прекрасна наша гавань.
В таверне веселились моряки
И пили за здоровье атамана!
– Валенок сибирский, – зло и насмешливо прошептал Щиблетов. – В таверне!.. Хоть бы знал, что это такое.

А в кузове угрожающе нарастало:

И в воздухе блеснуло два ножа:
– Эх, братцы, он не наш, не с океана!
– Мы, Гари, посчитаемся с тобой! –
Раздался пьяный голос атамана.
– Посчитаешься, посчитаешься, – шептал Щиблетов.

Как приехали на место, поскидали барахло в избушку, затопили печь, Щиблетов объявил:

– Сейчас проведем коротенькое производственное собрание!

Щиблетова приготовились слушать, расселись на нарах – собрание есть собрание, дело такое. Щиблетов положил на стол тетрадь, авторучку (заранее приготовил), покашлял в кулак.

– Я попрошу шофера пока не уезжать – отвезешь протокол… Я думаю, что я его сам составлю. Возражений нет?

– Валяй.

Щиблетов еще покашлял в кулак.

– На повестке дня нашего собрания два вопроса. Буду по порядку. Первый вопрос: наша задача в связи с предстоящей работой по заготовке леса. Вы знаете, товарищи, что лес мы должны повалить, очистить от сучков… В общем, приготовить его к весеннему сплаву. Нам дается сроку – четыре недели, месяц. В связи с этим я предлагаю взять на себя соцобязательство и повалить необходимое количество леса за две с половиной недели…

– Вон как!

– Что эт тебе, бабу повалить?

– Как получится, так получится! Для чего раньше времени трепаться?

Щиблетов помахал рукой, успокаивая мужиков.

– Спокойно, спокойно. Поясню: хоть мы и небольшой коллектив и находимся на приличном расстоянии от основной базы, это все равно остается наш коллектив, со своей дисциплиной, со своей маленькой, но системой планирования. И нам никто не позволит ломать эту систему. Предлагаю голосовать.

Проголосовали. Приняли.

– Перехожу ко второму вопросу, – продолжал Щиблетов, воодушевленный правильным ходом собрания. – Вопрос о Куликове.

В избушке стало тихо.

Сам Куликов задремал было, пригревшись у печки, но тут встряхнулся, тоже уставился на Щиблетова.

– Формулирую: Куликов сразу же, с первых шагов неправильно повел себя в нашем коллективе. Я сам не святой, но существует предел всякому безобразию. Куликов об этом забыл. Мы ему напомним. Есть нормы поведения советских людей, и нам никто не позволит нарушать их, – Щиблетов набирал высоту: речь его текла свободно, он даже расстегнулся и снял «москвичку». – Представьте себе другое положение: мы дрейфуем на льдине. И среди нас завелся один… субъект, который мутит воду. Все горят желанием взять правильный курс, а этот субъект явно тормозит. И подбивает других. Ставлю вопрос честно и открыто: что делать с этим субъектом?

– В воду! – подсказал Славка Братусь.

– В воду! – подхватил Щиблетов. – Для того, чтобы всем спастись и взять правильный курс, необходимо вырвать из сердца всякую жалость и столкнуть ненужный элемент в воду.

Потом, вспоминая это собрание, мужики говорили, что они не успели «глазом моргнуть», «опомниться»… Врали, черти. То есть не то чтоб сознательно врали, вводили в заблуждение, а отдавали должное быстроте, с какой Борька Куликов оказался возле Щиблетова и с вопросом: «Это меня – в воду?» навесил ему пудовую оплеуху. Щиблетов успел крикнуть: «Дурак, это ораторский прием!» Но остановить Борькин кулак он не мог. Борьку остановили мужики, да и то когда навалились все.

Щиблетов уехал с шофером обратно в село и больше не приезжал. Приезжал директор совхоза, дал всем разгон, а Куликову сказал, чтобы он «сушил сухари» – дескать, будет суд. Но в субботу лесорубам привозили харчи и передали, что Щиблетов в суд

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru не подал, а подал директору… протокол собрания, где в точности записана речь, за которую он пострадал.

Мой зять украл машину дров
Веня Зяблицкий, маленький человек, нервный, стремительный, крупно поскандалил дома с женой и тещей.

Веня приезжает из рейса и обнаруживает, что деньги, которые копились ему на кожаное пальто, жена Соня все ухайдакала себе на шубу из искусственного каракуля. Соня объяснила так:

– Понимаешь, выбросили – все стали хватать… Ну, я подумала, подумала – и тоже взяла. Ничего, Вень?

– Взяла? – Веня зло сморщился. – Хорошо, хоть сперва подумала, потом уж взяла. – Венина мечта – когда-нибудь надеть кожанку и пройтись в выходной день по селу в ней нараспашку – отодвинулась далеко. Спасибо. Подумала об муже… твою мать-то.

– Чего ты?

– Ничего, все нормально. Спасибо, говорю.

– Чего лаешься-то?

– Кто лается? Я говорю, все нормально! Ты же вон какая оборванная ходишь, надо, конечно, шубу… Вы же без шубы не можете. Как это вам без шубы можно!.. Дармоеды. Соня, круглолицая, толстомясая, побежала к матери жаловаться.

– Мам, ты гляди-ка, што он вытворяет – за шубу-то начал обзывать по-всякому! – Соне тридцать уже, а она все, как маленькая, бегала к маме жаловаться. – Дармоеды, говорит!

Из горницы вышла теща, тоже круглолицая, шестидесятилетняя, крепкая здоровьем, крепкая нравом, взглядом на жизнь, – вообще, вся очень крепкая.

– Ты что это, Вениамин? – сказала она с укоризной. – Другой бы муж радовался…

– А я радуюсь! Я до того рад, что хоть впору заголиться да улочки две дать по селу – от радости.

– Если недопонимаешь, то слушай, што говорят! – повысила голос теща. – Красивая, нарядная жена украшает мужа. А уж тебе-то надо об этом подумать – не красавец.

Веня в самом деле не был красавцем (маловат ростом, худой, белобрысый… И вдобавок хромой: подростком был прицепщиком, задремал ночью на прицепе, свалился в борозду, и его шаркнуло плугом по ноге), и, когда ему напоминали об этом – что не красавец, – Веню трясло от негодования.

– Ну да, вы-то, конечно, понимаете, как надо украшать людей! Вы уж двух украсили… – И тесть Вени, и бывший муж Сони сидели. Тесть – за растрату, муж Сони – за пьяную драку. Слушок по селу ходил – Лизавета Васильевна, теща, помогла посадить и мужа и зятя.

– Молчать! – строго осадила Лизавета Васильевна. – А то договоришься у меня!.. Молокосос. Сопляк.

Веня взмыл над землей от ярости… И сверху, с высоты, окружил ястребом на тещу.

– А ты чего это голос-то повышаешь?! Ты чего тут голос-то повышаешь?! Курва старая…

Соня еще не поняла, что за это можно сажать. Она только очень обиделась за мать.

– Ох, молодой… – воскликнула она. – Да тебе двадцать восемь, а от тебя уж козлиным потом пахнет.

Теща, напротив, поняла, что за это уже можно сажать.

– Так… Как ты сказал? Курва? Хорошо! Курва?.. Хорошо. При свидетелях. – Она побежала в горницу – писать заявление в милицию. – Ты у меня получишь за курву! – громко, с дрожью в голосе говорила она оттуда. – Ты у меня получишь!..

– Давай, давай, пиши, тебе не привыкать. – Веня слегка струсил вообще-то. Черт ее знает, она со всем районным начальством в знакомстве. – Тебе посадить человека – раз плюнуть.

– Я первые колхозы создавала, а ты мне – курва! – громко закричала теща, появляясь в дверях.

– А про меня в газете писали, што я, хромой, на машине работаю! тоже закричал Веня. И постучал себя в грудь кулаком. – У меня пятнадцать лет трудового стажу!

– Ничего, он тебе там пригодится.

Веню опять взорвало, он забыл страх.

– Где это там?! Где там-то, курва? Ты сперва посади!.. Потом уж я буду думать, где мне пригодится, а где не пригодится. Сажалка…

– Поса-адим, – опять с дрожью в голосе пообещала теща. И ушла писать заявление. Но тотчас опять вернулась и закричала: – Ты машину дров привез?! Ты где ее взял?! Где взял?!

– Тебя же согревать привез…

– Где взял?! – изо всех сил кричала Лизавета Васильевна.

– Купил!

– На какие деньги? Ты всю получку домой отдал! Ты их в государственном лесу бесплатно нарубил! Ты машину дров украл!

– Ладно, допустим. А чего же ты сразу не заявила? Чего ж ты – жгла эти дрова и помалкивала?

– Я только сейчас это поняла – с кем мы живем под одной крышей.

– Э-э… завиляла хвостом-то. Если уж садиться, так вместе сядем: я своровал, а ты пользовалась ворованным. Мне – три года, тебе полтора как минимум. Вот так. Мы тоже законы знаем.

– Не-ет, ты их еще пока не знаешь!.. Вот посидишь там, тогда узнаешь.

Теща в самом деле ездила с заявлением в район, в милицию. Но про машину дров, как видно, не сказала. Ей там посоветовали обратиться с жалобой в дирекцию совхоза, так как налицо пока что – домашняя склока, не больше. Нельзя же, в самом деле, сразу, по первому же заявлению, привлекать человека к уголовной ответственности. Вот если это повторится, и если он будет в пьяном виде… Лизавета Васильевна побежала в дирекцию.

Веню вызвали.

Перед заместителем директора, молодым еще человеком, которого Веня уважал за башковитость, лежало заявление тещи.

– Ну, что там у вас случилось? Жалуются вот…

– Жалуются!.. Сами одетые, как эти… все есть! – стал честно рассказывать Веня. – А у меня – вот што на мне, то и все тут. Хотел раз в жизни кожан купить за сто шестьдесят рублей, накопили, а она себе взяла шубу купила. А у самой зимнее пальто есть хорошее.

– Ну, а обзывал-то зачем? Матерился-то зачем?

– Тут любого злость возьмет! Копил, копил, елки зеленые!.. после бани четверку жадничал выпить, а она взяла шубу купила! И главное, пальто же есть! Если бы

хоть не было, а то ведь пальто есть! А чего она тут пишет?

– Да пишет… много пишет.

Тут-то понял Веня, что про машину дров теща умолчала.

– Пишет, што она коллективизацию делала?

– Ну, пишет… Ты все-таки это… не надо – пожилой человек… Ну, купила! Она же тоже работает, жена-то.

– Она шестьдесят рублей приносит, в тепле посиживает, а я самое малое, сто двадцать – выше нормы вкалываю. Да мне не жалко! Но хоть один-то раз надо же и мне тоже чего-нибудь взять! Они бы хоть носили. А то купят – и в сундук. А тут… на люди стыд показаться.

Замдиректора не знал, что делать. Он верил, Венина правда – вся тут.

– Все равно не надо, Вениамин, Ведь этим же ничего не докажешь. Поговори с женой… Что она? Поймет же она – молодая женщина…

– Да она-то што!.. Она голоса не имеет. Там эта вот, – Веня кивнул на заявление, – всем заправляет.

В общем, поговорили в таком духе, и Веня вышел из конторы с легкой душой. Но обида и злость на тещу не убавилась, нет.

«Вот же ж тварь, – думал он, – посадит и глазом не моргнет. Сколько злости в человеке! Всю жизнь жила и всю жизнь злилась. Курва… На какой черт тогда и родиться такой?»

Тут встретился ему – не то что дружок – хороший товарищ Колька Волобуев.

– Чего такой? – Колька как-то странно всегда говорит – почти не раскрывая рта. И смотрит на всех снисходительно, чуть сощурив глаза. Характер у парня.

– Какой?

– Какой-то… как воробей подстреленный. Откуда прыгаешь-то?

– Из конторы. – И Веня все рассказал – как он умылся с кожаном, как поскандалил дома и как его теща хотела посадить.

– Двух сожрала – мало, – процедил Колька. – Пошли выпьем.

Веня с удовольствием пошел.

Когда выпили, Колька, прищурив холодновато-серые глаза, стал учить Веню:

– Вливание надо делать. Только следов не оставляй. А то они заклюют тебя. Старуха полезет, шугани старуху разок-другой… А то они совсем на тебя верхом сядут. Как ишак работаешь на них…

У Вени мстительно взыграла душа… Вспомнились разом все обиды, какие нанесла ему Соня: как долго не хотела выходить за него, как манежила и изводила у своих ворот: ни «да», ни «нет», как… Нет, надо, в самом деле, все поставить на свое место. Какой он к черту хозяин в доме! Ишак, правильно Колька сказал.

– Пойду сала под кожу кое-кому залью, – сказал он.

И скоро похромал домой. И нес в груди тяжелое, злое чувство.

«Нашли дурачка!.. Сволочи. Еще по милициям бегает! Курва».

Сони не было дома.

– А где она? – спросил Веня.

– А я откуда знаю, – буркнула теща. Уборщица из конторы успела сообщить ей, что Веню особенно-то и не ругали. (Странное дело: Лизавета Васильевна пять лет как уже не работала, а иные с ней считались, бегали наушничать, даже побаивались.) – Она мне не докладает.

– Разговорчики! – прикрикнул Веня с порога. – Слишком много болтаем!

Лизавета Васильевна удивленно посмотрела на зятя:

– Что такое? Ты, никак, выпил?

Вене пришла в голову занятная мысль. Он вышел во двор, нашел в сарае молоток, с десяток больших гвоздей… Положил это все в карман и вошел снова в дом.

– Что там за материал лежит? – спросил он миролюбиво.

– Какой материал? Где? – живо заинтересовалась теща.

– Да в уборной… Подоткнут сверху. Красный.

Теща поспешила в уборную. Веня – за ней.

Едва теща зашла в уборную, Веня запер ее снаружи на крючок. Потом стал заколачивать дверь гвоздями.

Теща закричала.

– Посиди малость, подумай, – приговаривал Веня. – Сама любишь людей сажать? Теперь маленько опробуй на своей шкуре. – Вогнал все гвозди и сел на крыльцо поджидать Соню.

– Карау-ул! – вопила Лизавета Васильевна. – Люди добрые, спасите! Спасите! Люди добрые!.. Мой зять украл машину дров! Мой зять украл машину дров! Мой зять украл машину дров! – наладилась теща.

Веня пригрозил:

– Будешь орать – подожгу.

Теща замолчала. Только всхлипнула:

– Ну, Венька!..

– Угрожать?

– Я не угрожаю, ничего я не угрожаю, но спасибо тебе за это не скажут!

Вене попался на глаза кусок необожженной извести, Он поднял его и написал на двери уборной:

«Заплонбировано 25 июля 1969 г. Не кантавать».

– Ну, Венька!..

– Счас я еще Соню твою подожду… Счас она у меня будет пятый угол искать. В каракуле. Вы думали, я вам ишак бессловесный? Сколько я вам в дом получек перетаскал, а хоть один костюмишко маломальский купили мне?

– Ты же пришел на все готовенькое.

– А если б я голый совсем пришел, я бы так и ходил голый? Неужели же я себе хоть на рубаху не заработал? Ты людей раскулачивала… Ты же сама первая кулачка! У тебя от добра сундуки ломаются.

– Не тобой нажито!

– А – тобой? Для кого мужик воровал-то? А когда он не нужен стал, ты его посадила. Вот теперь посиди сама. Будешь сидеть трое суток. Возьму ружье и

никого не подпущу. Считай, что я тебя посадил в карцер. За плохое поведение.

– Ну, Венька!

– Вот так. И не ори, а то хуже будет.

– Над старухой так изгаляться!..

– Ты всю жизнь над людьми изгалялась – и молодая и старая.

Веня еще подождал Соню, не дождался, не утерпел – пошел искать ее по селу.

– Сиди у меня тихо! – велел теще.

В тот день Веня, к счастью, не нашел жену. Тещу выпустили из «карцера» соседи. Суд был бурный. Он проходил в клубе – показательный.

Теща плакала на суде, опять говорила, что она создавала первые колхозы, рассказывала, какие она претерпела переживания, сидя в «карцере», – ей очень хотелось посадить Веню. Но сельчане протестовали. И старые и молодые говорили, что знают Веню с малых лет, что рос он сиротой, всегда был послушный, никого никогда пальцем не трогал… Наказать, конечно, надо, но-не в тюрьму же! Хорошо, проникновенно сказал Михайло Кузнецов, старый солдат, степенный уважаемый человек, тоже давно пенсионер.

– Граждане судьи! – сказал он. – Я знал отца Венькиного – он пал смертью храбрых на поле брани. Мать Венькина надсадилась в колхозе померла. Сам Венька с десяти лет пошел работать… А гражданка Киселева… она вот счас плачет: знамо, сидеть на старости лет в туалете – это никому не поглянется, – но все же она в своей жизни трудностей не знала. Да и теперь не знаешь – у тебя пенсия-то поболе моей, а я весь израненный, на трех войнах отломал…

– Я из бедняцкой семьи! – как-то даже с визгом воскликнула Лизавета Васильевна. – Я первые колхозы…

– И я тоже из бедняцкой, – возразил Михайло. – Ты первая организовала колхоз, а я первый пошел в него. Какая твоя особая заслуга перед обчеством? В войну ты была председателем сельпо – не голодала, это мы тоже знаем. А парень сам себя содержал, своим трудом… это надо ценить. Нельзя так. Посадить легко, каково сидеть!

– У него одних благодарностей штук десять! Его каждый праздник отмечают как передового труженика! – выкрикнули из зала.

Но тут встал из-за стола представительный мужчина, полный, в светлом костюме. Понимающе посмотрел в зал. Да как пошел, как пошел причесывать! Говорил, что преступление всегда – а в данном случае и полезней – лучше наказать малое, чем ждать большого. Приводил примеры, когда вот такие вот, на вид безобидные, пареньки пускали в ход ножи…

– Где уверенность, я вас спрашиваю, что он, обозленный теперь, завтра снова не напьется и не возьмет в руки топор? Или ружье? В доме – две женщины. Представьте себе…

– Он не пьет!

– Это что он, после газировки взял молоток и заколотил тещу в уборной? Пожилую, заслуженную женщину! И за что? За то, что жена купила себе шубу, а ему, видите ли, не купили кожаное пальто!

Под Веной закачался стул. И многие в зале решили: сидеть Веньке в тюряге.

– Нет, товарищи, наша гуманность будет именно в том, что сейчас мы не оставим без последствия этот проступок обвиняемого. Лучше сейчас. Этим мы оградим его от большой опасности. А она явно подстерегает его.

Представительный мужчина предлагал дать Веньке три года. Тут поднялся опять Михайло Кузнецов.

– Вы, товарищ, все совершенно правильно говорили. Но я вам приведу небольшой пример из Великой Отечественной войны. Был у нас солдатик, вроде Веньки – щупленький такой же, молодой – лет двадцати, наверно. Ну, пошли в атаку, и тот солдатик испужался… бросил винтовку, упал, обхватил, значит, руками голову… Политрук хотел под трибунал отдать, но мы, которые постарше солдаты, не дали. Подняли, он побежал с нами… И што вы думаете? Самолично, у всех на глазах заколол двух фашистов. И фашисты были – под потолок, рослые, а тот солдатик – забыл уж теперь, как его фамилия, – не больше Веньки. Откуда сила взялась! Я это к тому, што бывает – найдет на человека слабость, стихия – ну вроде пропал, совсем пропал человек… А тут, наоборот, не надо торопиться, он еще подымется. Вы сами-то воевали, товарищ? – спросил под конец Михайло.

Представительного мужчину не смутил такой разительный пример. Он понимающе улыбнулся.

– Я воевал, товарищ. Это на ваш вопрос. Теперь, что касается примера. Он… конечно, яркий, внушительный, но совершенно не к месту. Тут вы, как говорится, спутали божий дар с яичницей. – Представительный мужчина коротко посмеялся, чуть колыхнул солидным тугим животом, – На этом примере можно доказать совершенно противоположное тому, что вы тут хотели сказать. Кстати, его судили, того солдата?

Михаил не сразу ответил. Все даже повернулись в его сторону.

– Судили, – неохотно ответил Михаиле, – Но…

– Совершенно верно. Но…

– Но оставили без последствия! – повысил голос Михаиле. – Только перевели в другую часть.

– Это уже другой вопрос. То обстоятельство, что он поднялся и побежал с вами и потом заколол двух фашистов, – это факт, который говорит сам за себя, его можно учитывать, и, как видим, учли. Но есть факты, которые… материально, так сказать, учесть нельзя. Солдат испугался, бросил оружие, упал… Он – испугался, это понятно. Испугайся он один, в лесу, увидев медведя, – ну, тогда положись на волю божью, как говорят, точнее, на медвежью, задерет он тебя или не задерет? Но здесь – солдат, он шел в атаку не один, он испугался, он породил страх у всей роты!

– Ничего подобного! – сказал Михаиле. – Как бежали, так и бежали!

– Вы бежали с другим настроением. Вы сами того не сознавали, но в вас уже жил страх. Струсивший солдат как бы дал вам понять, какая опасность вас ждет впереди, – возможно, смерть…

– А то мы без него не знали.

– Что же касается данного конкретного случая…

Венька не отрываясь смотрел на представительного мужчину, плохо понимал, что он говорит. Понимал только, что мужчина тоже очень хочет его посадить, хотя вовсе не злой, как теща, и первый раз в глаза увидел Веньку. Венька раньше никогда на судах не бывал, не знал, что существуют государственные обвинители, общественные обвинители… Суд для него – это судья. И он никак не мог постичь, зачем надо этому человеку во что бы то ни стало посадить его, Веньку, на три года в тюрьму? Судья молчит, а этот – в который уже раз – встает и говорит, что надо посадить, и все. Венька онемел от удивления. Когда его спросили, хочет ли дать суду какие-нибудь пояснения, Венька пожал плечами и как-то торопливо, испуганно возразил:

– Зачем?

Суд удалился на совещание.

Венька сидел. Ждал. Его сковал ужас… Не ужас перед тюрьмой: когда он шел сюда, он прикинул в уме: двадцать восемь плюс три, ну четыре – тридцать один –

тридцать два… Ерунда. Его охватил ужас перед этим мужчиной. Он так в него всмотрелся, что и теперь, когда его уже не было за столом, видел его как живого: спокойный, умный, веселый… И доказывает, доказывает, доказывает — надо сажать. Это непостижимо. Как же он потом… ужинать будет, детишек ласкать, с женой спать?.. Раньше Веня часто злился на людей, но не боялся их, теперь он вдруг с ужасом понял, что они бывают — страшные. Один раз в жизни Веню били двое пьяных. Били и как-то подстанывали — от усердия, что ли. Веня долго потом с омерзением вспоминал не боль, а это вот тихое постанывание после ударов. Но то были пьяные, безумные… Этот представительный, образованный, вовсе не сердится, спокойно убеждает всех, надо сажать. О господи! Теща!.. Теща — змея и дура, она не три года, а готова пять выхлопотать для зятя, и это можно понять. Она такая-курва. Но этот-то!.. Как же так?

Вене вынесли приговор: два года условно.

За Веню радовавшись.

А Веня шел непривычно задумчивый… Все стоял в глазах тот представительный мужчина, и Венька все не переставал изумляться… Неужели он все время так делает?

Жить пока Веня пошел к Кольке Волобуеву.

Колька опять предложил выпить, Веня отказался. Рано ушел в горницу, лег на лавку и все думал, думал.

Какая все-таки жизнь! — в один миг все сразу рухнуло. Да и пропади бы он пропадом, этот кожан! И что вдруг так уж захотелось купить кожан? Жил без него, ничего, жил бы и дальше, Сманить надо было Соньку от тещи! Жить отдельно… Правда, она тоже — дура, не пошла бы против матери. Но о чем бы ни думал Веня в ту ночь, как ни саднила душа, все вспоминался представительный мужчина — смотрел на Веню сверху, со сцены, не зло, не кричал… У него поблескивала металлическая штучка на галстуке. Брови у него черные, густые, чуть срослись не переносице. Волосы гладко причесаны назад, отсвечивают. А несколько волосиков слились и колечком повисли над лбом и покачивались, вздрагивали, когда мужчина говорил. Лицо хоть широкое, круглое, но крепкое, а когда он улыбался, на щеках намечались ямочки…

Утром Веня поехал в рейс, в район.

Выехал рано, только-только встало солнышко. Но было уже тепло, земля не остыла за ночь.

Веня в дороге всегда успокаивался, о людях начинал думать: будто они, каких знал, где-то остались далеко и его не касаются. Вспоминал всех, скопом… Думал: сами они там крепко все запутались, нервничают, много бестолочи. Вчерашнее судилище вспоминалось как сон, тяжелый, нехороший…

На 27-м километре Веня увидел впереди «Волгу» — стоит, капот задран, а рядом — у Вени больно екнуло сердце — вчерашний представительный мужчина. Веня почему-то растерялся, даже газ скинул… И когда представительный мужчина «голоснул» ему, Веня послушно остановился.

Мужчина поспешно подошел к кабине и заговорил:

— Подбрось, слушай… — И узнал Веню. — О-о, — сказал он, как показалось Вене тоже несколько растерянно, — старый знакомый!

— Садись! — пригласил Веня, Та некая растерянность, какую он уловил в глазах представительного мужчины, вмиг вселила в него какую-то нахальную веселость. — Припухаем?

Представительный мужчина легко сел в кабину и прямо и тоже весело посмотрел на Веню. И уже через минуту, как поехали, Веня усомнился не показалось ли ему, что представительный мужчина поначалу словно растерялся?

— Ну, как? — спросил мужчина.

— Што?

– Настроение-то?.. Я думал, ты запьешь… так на недельку. Прямо скажу тебе, парень: счастливый билет ты вчера вытянул.

Веня молчал. Он не знал, что говорить. Не знал, как вести себя.

– С женой, конечно, развод? – понимающе спросил мужчина. И опять прямо посмотрел на Веню.

– Конечно, – Веню опять поразило, как вчера, на суде, что этот человек – такой… крепкий, что ли, умный, напористый, и при этом веселый.

– Эх, ребятки, ребятки… Беда с вами… Вот ведь и не скажешь, что жареный петух в зад не клевал, – и жил трудно, а одним махом взял и все перечеркнул: и семью разрушил, и репутация уже не та… Любил ведь жену-то?

Тут Веня чего-то вдруг обозлился:

– Не твое дело.

– Конечно, не мое! – воскликнул мужчина. – Твое. Твое, братец, твое. Было бы мое, моя бы душа и страдала. Только жалко вас, дураков, вот штука-то. Выпьете на пятак, а горя… на два восемьдесят семь. Мужчина чуть колыхнул животом. – Неужели трезвому нельзя было поговорить? И жена-то ведь красивая, я вчера посмотрел. Жить бы да радоваться…

Веня на мгновение как бы ослеп – до глубины, до боли осознал вдруг: ведь потерял он Соньку-то! Совсем! И как в пропасть полетел, ужаснулся…

– А что это за кожаное пальто, где ты его хотел достать?

– Да там, в аймаке, шьет один… – Веня смотрел вперед. Впереди был мост через Ушу. Широкий, длинный – Уша по весне разливается, как Волга. – На заказ.

– Из своего материала?

– Из своего.

– И сколько берет? – расспрашивал прокурор.

– По-разному. Я хотел рублей за сто шестьдесят. Если хорошее дороже. – Веня вроде и не слышал вопросов, а отвечал верно.

– Что значит – хорошее?

– Ну, кожа другая, выделка другая… Разная бывает выделка.

– Ну, допустим, самую хорошую? То есть самую хорошую кожу, самой хорошей выделки. Сколько станет?

– Рублей, может, триста… Одному, говорит, за четыреста шил.

Машина въехала на мост.

– А где этот аймак? Далеко?

– Нет. – Странно: вроде Веня был один в кабине и разговаривал сам с собой – такое было чувство.

– Адрес-то знаешь?

– Знаю адрес. Знаю… Эх! – крикнул вдруг Веня, как в пустоте, громко. – А не ухнуть ли нам с моста?!

Он дава нул газ и бросил руль… Машина прыгнула. Веня глянул на прокурора… И увидел его глаза – большие, белые от ужаса. И Веньке стало очень смешно, он засмеялся. А потом уж на него боком навалился прокурор и вцепился в руль. И так они и съехали с моста: Веня смеялся и давил газ, а прокурор рулил. А когда

съехали с моста, Веня скинул газ и взял руль. И остановился.

Прокурор вылез из кабины… Глянул еще раз на Веньку. Он был еще бледный. Он хотел, видно, что-то сказать, но не сказал. Хлопнул дверцей.

Веня включил скорость и поехал. Он чего-то вдруг устал. И хорошо, что он остался один в кабине, спокойнее как-то стало. Лучше.

Забуксовал

Совхозный механик Роман Звягин любил после работы полежать на самодельном диване, послушать, как сын Валерка учит уроки. Роман заставлял сына учить вслух, даже задачки Валерка решал вслух.

— Давай, давай, раскачивай барабанные перепонки — дольше влезет, — говорил отец.

Особенно любил Роман уроки родной литературы. Тут мыслям было раздольно, вольно… Вспоминалась невозвратная молодость. Грустно становилось.

Однажды Роман лежал так на диване, курил и слушал. Валерка зубрил «Русь-тройку» из «Мертвых душ».

— «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился…» Нет, это не надо, — сказал сам себе Валерка. И дальше. — «Эх, кони, кони, — что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню — дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится, вся вдохновенная богом!.. Русь, куда же несешься ты? Дай ответ!.. Не дает ответа. Чудным звоном заливается…»

— Не торопись, — посоветовал отец. — Чешешь, как… Вдумывайся! Слова-то вон какие хорошие.

Роман вспомнил, как сам он учил эту самую «Русь-тройку», таким же дуроломом валил, без всякого понятия, — лишь бы отбарабанить.

— Потом жалеть будешь…

— Кого жалеть?

— Что вот так учился — наплевательски. Пожалеешь, да поздно будет.

— Я же учу! Чего ты?

— С толком надо учить, а у тебя одна улица на уме. Куда она денется, твоя улица? Никуда она не денется. А время пропустишь…

— Хо-о, ты чего?

— Ничего, не хокай — учи.

— А я что делаю?

— Повнимательней, говорю, надо, а не так!.. лишь бы отбрехаться.

Валерка подстегнул дальше свою «тройку», а Роман — опять за думы. И сладкие эти думы, и в то же время какие-то… нерадостные. Половину жизни отшагал — и что? Так, глядишь, и вторую протопаешь — и ничегошеньки не случится. Роман даже взволновался — так вдруг ясно представилось, как он дотопает до конца ровной дорожки и… ляжет. Роман сел на диване. И очень даже просто — ляжешь и вытянешь ноги, как недавно вытянул Егор Звягин, двоюродный брат… Да-а.

А в уши сыпалось Валеркино:

— «…Дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились…»

Вдруг — с досады, что ли, со злости ли — Роман подумал: «А кого везут-то?

Кони-то? Этого… Чичикова?» Роман даже привстал в изумлении… Прошелся по горнице. Точно, Чичикова везут. Этого хмыря везут, который мертвые души скупал, ездил по краю. Елкина мать!.. вот так троечка!

– Валерк! – позвал он. – А кто на тройке-то едет?

– Селифан.

– Селифан-то Селифан! То ж – кучер. А кого он везет-то, Селифан-то?

– Чичикова.

– Так… Ну? А тут – Русь-тройка… А?

– Ну. И что?

– Как что? Как что?! Русь-тройка, все гремит, все заливается, а в тройке – прохиндей, шулер…

До Валерки все никак не доходило – и что?

– Да как же?! – по-настоящему заволновался Роман, но спохватился, махнул рукой. – Учи. Задали, значит, учи, – и чтоб не мешать сыну, вышел из горницы. А изумление все нарастало. Вот так номер! Мчится, вдохновенная богом! – а везет шулера. Это что же выходит? – не так ли и ты, Русь?.. Тьфу!..

Роман походил по прихожей комнате, покурил… Поделиться своей неожиданной странной догадкой не с кем. А очень захотелось поделиться с кем-нибудь. Тут же явный недосмотр! Мчимся-то мчимся, елки зеленые, а кого мчим? Можно же не так все понять. Можно понять… Ну и ну! Роману прямо невтерпеж сделалось. Он вспомнил про школьного учителя Николая Степановича. Сходить?..

– Валерк! – заглянул Роман в горницу. – Николай Степаныч дома?

– Не знаю. А что? – испугался Валерка.

– Да ничего, учи. Сразу струсил… Чего боишься-то? Набедокурил опять чего-нибудь?

– Никого не набедокурил. Чего ты?

– Он в район не собирался ехать?

– Не знаю.

Роман пошел к учителю.

Николай Степаныч был дома, возился в сарае с каким-то хламом. Они с Романом были хорошо знакомы, учитель частенько просил механика насчет машины съездить куда-нибудь.

– Здравствуйте, Николай Степаныч.

– Здравствуйте, Роман Константиныч! – учитель отряхнул пыльные руки, вышел к двери сарая, к свету. – Потерял одну штуку… извозился весь.

– Николай Степаныч, – сразу приступил Роман к делу, – слушал я счас сынишку… «Русь-тройку» учит…

– Так.

– И чего-то я подумал: вот летит тройка, все удивляются, любуются, можно сказать, дорогу дают – Русь-тройка! Там прямо сравнивается. Другие державы дорогу дают…

– Так…

– А кто в тройке-то? – Роман пытливо уставился в глаза учителю. – Кто едет-то? Кому дорогу-то?..

Николай Степаныч пожал плечами.

– Чичиков едет…

– Так это Русь-то – Чичикова мчит? Это перед Чичиковым шапки все снимают?

Николай Степаныч засмеялся. Но Роман все смотрел ему в глаза – пытливо и требовательно.

– Да нет, – сказал учитель, – при чем тут Чичиков?

– Ну, а как же? Тройке все дают дорогу, все расступаются…

– Русь сравнивается с тройкой, а не с Чичиковым. Здесь имеется… Здесь – движение, скорость, удалая езда – вот что Гоголь подчеркивает. При чем тут Чичиков?

– Так он же едет-то, Чичиков!

– Ну и что?

– Да как же? Я тогда не понимаю: Русь-тройка, так же, мол… А в тройке – шулер. Какая же тут гордость?

Николай Степаныч, в свою очередь, посмотрел на Романа… Усмехнулся.

– Как-то вы… не с того конца зашли.

– Да с какого ни зайди, – в тройке-то Чичиков. Ехай там, например… Стенька Разин, – все понятно. А тут – ездил по краю…

– По губернии.

– Ну по губернии. А может, Гоголь, так и имел в виду: подсуроплю, мол: пока догадаются – меня уж живого не будет. А?

Николай Степаныч опять засмеялся.

– Как-то… неожиданно вы все это поняли. Странный какой-то настрой… Чего вы?

– Да вот влетело в башку!..

– Все просто, повторяю: Гоголь был захвачен движением, и пришла мысль о Руси, о ее судьбе…

– Да это-то я понимаю.

– Ну, а что тогда? Лирическое отступление, конец первого тома… Он собирался второй писать. Чичикова он уже оставил – до второго тома…

– В тройке оставил-то, вот что меня… это… и заскребло-то. Как же так, едет мошенник, а… Нет, я понимаю, что тут можно объяснить: движение, скорость, удалая езда… Черт его знает, вообще-то! Ведь и так тоже можно подумать, как я.

– Да подумали уже… чего еще? Можно, конечно. Но это уже будет – за Гоголя. Он-то так не думал.

– Ну, его теперь не спросишь: думал он так или не думал? Да нет, даже не в этом дело, может, не думал. Но вот влетело же мне в голову!

– Надо сказать, что за всю мою педагогическую деятельность, сколько я ни сталкивался с этим отрывком, ни разу вот так вот не подумал. И ни от кого не слышал, – Николай Степаныч улыбнулся. – Вот ведь!.. И так можно, оказывается, понять. Нет, в этом, пожалуй, ничего странного нет… Вы сынишке-то сказали об этом?

– Нет. Ну, зачем я буду?..

– Не надо. А то… Не надо.

Роман достал папиросы, угостил учителя. Закурили.

– Чего потеряли-то? – спросил Роман.

– Да потерял одну штукенцию… штатив от фотоаппарата. Хочу закат на цвет попробовать снять… Не закаты, а прямо пожары какие-то. И вот – потерял, забросил куда-то.

– Закаты теперь дивные, – сказал Роман. – А для чего штатив-то?

– А выдержку-то нужно большую давать. На руках же я не смогу.

– А-а, да. Весной почему-то закаты всегда красивые.

– Да, – учитель посмотрел на Романа и опять невольно рассмеялся. – Чичиков, да?.. Странно, честное слово. Надо же додуматься!

Роман тоже усмехнулся, хотел было опять воскликнуть: «Ну а кто едет-то?! Кто?» Но не стал. Несерьезно все это, в самом деле. Ребячество какое-то.

– А ведь сами небось учили?

– Учил! Помню прекрасно, как зубрил тоже… А через тридцать лет только дошло, – Роман покачал головой. Пожал руку учителю и пошел домой.

Он – не то что успокоился, а махнул рукой и даже слегка пристыдил себя: «Делать нечего: бегаю, как дурак, волнуюсь – Чичикова везут или не Чичикова?» И опять – как проклятие навалилось – подумал: «Везут-то Чичикова, какой же вопрос?»

– Тьфу! – Роман бросил окурок и полез опять за пачкой. – Вот наказание-то! Это ж надо так… забуксовать. Вот же зараза-то еще – прилипла. Надо же!..

Беседы при ясной луне
Марья Селезнева работала в детсадике, но у нее нашли какие-то палочки и сказали, чтоб она переквалифицировалась.

– Куда я переквалифицируюсь-то? – горько спросила Марья. Ей до пенсии оставалось полтора года. – Легко сказать-переквалифицируйся… Что я, боров, что ли, – с боку на бок переваливаться? – Она поняла это «переквалифицируйся» как шутку, как «перевались на другой бок».

Ну, посмеялись над Марьей… И предложили ей сторожить сельмаг. Марья подумала и согласилась.

И стала она сторожить сельмаг.

И повадился к ней ночами ходить старик Баев. Баев всю свою жизнь проторчал в конторе – то в сельсовете, то в заготпушнине, то в колхозном правлении, – все кидал и кидал эти кругляшки на счетах, за целую жизнь, наверно, накидал их с большой дом. Незаметный был человечек, никогда не высовывался вперед, ни одной громкой глупости не выкинул, но и никакого умного колена тоже не загнул за целую жизнь. Так средним шажком отшагал шестьдесят три годочка, и был таков. Двух дочерей вырастил, сына, домок оборудовал крестовый… К концу-то огляделись – да он умница, этот Баев! Смотрика, прожил себе и не охнул, и все успел, и все ладно и хорошо. Баев и сам поверил, что он, пожалуй, и впрямь мужик с головой, и стал намекать в разговорах, что он – умница. Этих умниц, умников он всю жизнь не любил, никогда с ними не спорил, спокойно признавал их всяческое превосходство, но вот теперь и у него взыграло ретивое – теперь как-то это стало неопасно, и он запоздало, но упорно повел дело к тому, что он – редкого ума человек.

Последнее время Баева мучила бессонница, и он повадился ходить к сторожихе Марье – разговаривать.

Марья сидела ночью в парикмахерской, то есть днем это была парикмахерская, а ночью там сидела Марья: из окон весь сельмаг виден.

В избушке, где была парикмахерская, едко, застояло пахло одеколоном, было тепло и как-то очень уютно. И не страшно. Вся площадь между сельмагом и избушкой залита светом; а ночи стояли лунные. Ночи стояли дивные: луну точно на веревке спускали сверху — такая она была близкая, большая. Днем снежок уже подтаивал, а к ночи все стекленело.) и нестерпимо, поддельно как-то блестело в голубом распахнутом свете.

В избушке лампочку не включали, только по стенам и потолку играли пятна света — топился камелек. И быстротечные эти светлые лики сплетались, расплетались, качались и трепетали.

И так хорошо было сидеть и беседовать в этом узорчатом качающемся мирке, так славно чувствовать, что жизнь за окнами — большая и ты тоже есть в ней. И придет завтра день, а ты и в нем тоже есть, и что-нибудь, может, хорошее возьмет да случится. Если умно жить, можно и на хорошее надеяться.

— Люди, они ведь как — сегодняшним днем живут, — рассуждал Баев. — А жизнь надо всю на прострел брать. Смета!.. — Баев делал выразительное лицо, при этом верхняя губа его уползала куда-то к носу, а глаза узились щелками — так и казалось, что он сейчас скажет: «чево?» Смета! Какой же умный хозяин примется рубить дом, если заранее не прикинет, сколько у него есть чево. В учетном деле и называется смета. А то ведь как: вот размахнулся на крестовый дом — широко жить собрался, а умишка, глядишь, — на-пятистенок едва-едва, Просадит силенки до тридцати годов, нашумит, наорется, а дальше — пшик. Марья согласно кивала головой.

И правда, казалось, умница Баев, сидючи в конторах, не тратил силы, а копил их всю жизнь — такой он был теперь сытенький, кругленький, нацеленный еще на двадцать лет осмеченной жизни.

— Больно шустрые! Я как-то лежал в больнице… меня тогда Неверов отвез, председателем исполкома был в войну у нас, не помнишь?

— Нет. Их тут перебывало…

— Неверов, Василий Ильич. А тогда что, С молокопоставками не управились — ему хоть это., хоть живым в могилу зарывайся. Я один раз пришел к нему в кабинет, говорю: «Василий Ильич, хотите, научу, как с молокопоставками-то?» — «Ну-ка», — говорит. «У нас колхозники-то все вытаскали?» — «Вроде все, — говорит. — А что?» Я говорю: «Вы проверьте, проверьте — все вытаскали?»

— Ох, тада и таска-али! — вспомнила Марья. — Бывало, подоишь — и все отнесешь. Ребятишкам по кружке нальешь, остальное — на молоканку. Да ведь планы-то какие были… безобразные!

— Ты вот слушай! — оживился Баев при воспоминании о давнем своем изобретательном поступке. — «Все вытаскали-то? Или нет?» Он вызвал девку: «Принеси, — говорит, — сводки». Посмотрели: почти все, ерунда осталась. «Ну вот, — говорит, — почти все». — «Теперь так, — это я-то ему, — давайте рассуждать: госпоставки недостает столько-то, не помню счас сколько, Так? Колхозники свое почти все вытаскали… Где молоко брать?» Он мне: «Ты, — говорит, — мне мозги не… того, говори дело!» Матерщинник был несусветный. Я беру счеты в руки: давайте, мол, считать, Допустим, ты должна сдать на молоканку пятьсот литров. — Баев откинул воображаемых пять кругляшек на воображаемых счетах, посмотрел терпеливо и снисходительно на Марью. — Так? Это из расчета, что процент жирности молока у твоей коровы такой-то. — Баев еще несколько кругляшек воображаемых сбросил, чуть выше прежних. — Но вот выясняется, что у твоей коровы жирность не такая, какая тянула на пятьсот литров, а ниже, Понимаешь? Тогда тебе уж не пятьсот литров надо отнести, а пятьсот семьдесят пять, допустим. Сообразила?

Марья не сообразила пока.

— Вот и он тогда так же: хлопает на меня глазами: не пойму, мол. Снимайте, говорю, один процент жирности у всех — будет дополнительное молоко. А вы это молоко, с колхозников-то, как госпоставки пустите. Было бы молоко, в бумагах его как хошь можно провести. Ох, и обрадовался же он тогда. Проси, говорит, что хочешь! Я говорю: отвези меня в городскую больницу — полежать. Отвез.

Марья все никак не могла уразуметь, как это они тогда вышли из положения с госпоставками-то.

– Да господи! – воскликнул Баев. – Вот ты оттаскала свои пятьсот литров, потом тебе говорят: за тобой, гражданка Селезнева, еще семьдесят пять литров. Ты, конечно, – как это так? А какой-нибудь такой же, вроде меня, со счетиками: давайте считать вместе… Вышла, мол, ошибка с жирностью. Работник, мол, недоглядел… А я-в горбольнице. С сельской местности-то туда и счас не очень берут. А я вон когда попал!

– А чего?.. Заболел, што ли?

– Как тебе сказать… Нет. Недостаток-то у меня был: глаза-то и тогда уж… Почти слепой был. Из-за того и на войну не взяли. Но лег я не потому, а… как это выразиться… Охота было в горбольнице полежать. Помню, ишо молодой был, а все лумал: как же бы мне устроиться в горбольнице полежать? А тут случай-то и подвернулся. Да. Приехал я, мне, значит, коечку, чистенько все, простынки, тумбочка возле койки… В палате ишо пять гавриков лежат, у кого что: один с рукой, один с башкой забинтованной, один тракторист лежал – полспины выгорело, бензин где-то загорелся, он угодил туда. Та-ак. Ну, ладно, думаю, желание мое исполняется.

– Дак чего, просто вот полежать, и все? – никак не могла взять в толк Марья.

– Все. Ну-ка, как это тут, думаю, будут ухаживать за мной? Слыхал, что уход там какой-то особенный. Ну, никакого такого ухода я там не обнаружил – больше интересуются: «Что болит? Где болит?» Сердце, говорю, болит – иди, доберись до него. Всего обстукали, обслушали, а толку никакого. Но я к чему про горбольницу-то: про людей мы заговорили… Пришел, значит, я в палату, лежат эти козлы… Я им по-хорошему: «Здравствуйте, мол, ребята!» И прилег с дороги-то соснуть малость: дорога-то дальняя, в телеге-то натрясло. Сосну, думаю, малость. Поспал, значит, мне эти козлы говорят: «Надо анализы собирать». – «Какие анализы?» – «Калу, – говорят, – девятьсот грамм и поту пузырек». Я удивился, конечно, но…

Тут Марью пробрал такой смех, что она досмеялась до слез. Баев тоже сперва хмыкнул, но потом строго ждал, когда она отсмеется.

– Ну и как? – спросила Марья, вытирая глаза концом полушалка. Собрал?

– Стали сперва собирать пот, – продолжал Баев, недовольный, что из рассказа вышла одна комедия: он вознамерился извлечь из него поучительный вывод. – Укрыли меня одеялами, два матраса навалили сверху, а пузырек велели под мышку зажать – туда, мол, пот будет капать. Ить вот рассудок-то у людей: хворают, называется! Ить подумали бы; идет такая страшенная война, их, как механизаторов, на броне пока держут: тут надо прижухнуться и помалкивать, вроде тебя и на свете-то нету. Нет, они начинают выдумывать черт те чего. Думает он, лежит, что у него – жизнь предстоит, что надо ее как-то распланировать, подсчитать все наличные ресурсы, как говорится?.. Что ты! Он зубы свои оскалит и будет лучше ржать лежать, чем задумается.

Марья вспомнила про девятьсот граммов кала и опять захохотала. И понимала, что после таких серьезных слов Баева не надо бы смеяться, но не могла сдержаться.

– Дак, а как… с этим-то?.. Собрал, что ли? – Вытерла опять глаза. – Не могу ничего с собой сделать, ты уж прости меня, Николай Ферапонтыч, шибко смешно. Собрал девятьсот грамм-то?

– Вот то-то и оно – ничего сделать с собой не можем, – обиделся Баев, – Живем безалаберно – ничего с собой сделать не можем; пьем-гуляем – ничего с собой сделать не можем; блуд совершаем – опять ничего с собой сделать не можем. У меня зять вон до развода дело довел, гад зубастый: тоже ничего с собой сделать не может. Кобели. Поганки. – Баев по-живому обозлился. – Взял бы кол хороший, пошел бы в клуб ихный – да колом бы, колом бы всех бы подряд. Ржать научились? Ногами дрыгать научились?.. Теперь подставляй башку, я тебя жизни обучать буду! Козлы.

Посидели молча. Марья даже вздохнула: у самой тоже была дочь, и у той тоже

семейная жизнь не ладилась.

— А как вот им поможешь? — сказала она. — И рад бы душой — помочь, а как?

— Никак, — резко сказал Баев. — Пускай сами разбираются.

Опять замолчали.

Баев достал флакон с нюхательным табаком, пошумел ноздрями одной, другой, — поморгал подслеповатыми маленькими глазами и сладостно чихнул в платок.

— Помогает глазам-то? — спросила Марья, кивнув на пузырек с табаком.

— Не он бы, так давно бы уж ослеп. Им только и держусь.

— Где ж ты так глаза-то испортил? У вас, однако, в роду все зрячие были.

— Зрячие… — вздохнул Баев. — Все зрячие, да не все умные. — Баев спрятал пузырек в карман, помолчал задумчиво. — Что он, покойный родитель мой, делал со мной — это же ни пером описать, ни… как там говорится?.. Уму непостижимо, что он вытворял, чтоб я только в школу не ходил. А мне страсть как учиться хотелось. Тада же еше приходская школа-то была, Батюшка-то к родителю ходил: способный, мол, парнишка, пускай ходит. Ну! Родителю моему только… Грех поминать нехорошо, но и… тоже… Как я только не просил: в ногах у него валялся, ревмя ревел — отпустите в школу! Закинет пимы на полати, и все. Сиди за печью, гложи ногу овечью — вот весь сказ родительский, Эх-х!.. — Баев еще помолчал горестно: — Дакя, когда все поснут, лучинку зажгу, бывало, в уголок на печке забьюсь да по складам читаю. Да по всей ноченьке так-то — вот уни, глаза-то, и сели.

— Дак, а чего уж он так?

— А спроси его! Не мужицкое дело, мол… Темен был, упрям. Всю жизнь я на него сердце держал. Помирал, помню: «Прости, Колька, учиться тебе препятствовал…» И вот знаю, как полагается говорить в таких случаях, а язык не поворачивается. «Ладно, — говорю, — чего теперь?» Вот как душа затвердела! А потому что — ехидно. Я же какой башковитый-то был! Бывало, стишок два раза прочитаю и тут же его отбарабаню без запинки.

— А понимал же потом-то — вишь, «прости» говорил.

— Да потом-то… Ко мне, бывало, придут: «Напиши, ради Христа, прошение», — или еще чего, ну, курочку несут или яиц десяток, а то шерсти… фунта два… Я сяду — мне плевое дело прошение-то составить: где завострил, где подсусолил, где на жалость упор сделаешь, а где намекнешь про другие инстанции… Тут целая наука тоже. Вот составишь. «На, хлопочи, ехай». Человек и радешенек. И того не заметил, что я за какой-нибудь час курицу заработал. А родитель-то видит, конечно, сопит — чует вину свою. Ну ты, думаю, а дал бы мне учиться-то, да я бы… Ладно. Рази бы тут курочками пахло! Ведь это я самоучкой уж достиг счетоводом-то, потом бухгалтером. А поучи-ка меня годов десять, как этих лоботрясов нынче, да я бы… не знаю… Эх-х! Ладно. — Баеву правда горько, у него даже глаза слезились, он утирал их согнутым указательным пальцем. — Чего теперь. Обидно, конечно… Ведь вот счас уж дело прошлое — ты подумай только, какие я дела пропускал через свои руки! Ведь меня ревизором в другие районы посылали! Еду, бывало, и думаю: знали бы они, что у меня всего-то полтора класса ЦПШ, как у нас шутил один: церковноприходской школы. Полторы зимы побегал всего-то, а вы меня — на других ревизором! Молчал уж…

— А ведь вот дал же бог такое стремление — учиться! — неподдельно уважительно заметила Марья. — Откуда бы такое стремление?

— Наблюдательность, — пояснил Баев. — Я вот, как себя помню, всегда был очень наблюдательный. Еше карапуз был, а, бывало, зайду по колено в воду — озерко за деревней было, помнишь? Раменское называлось, залезу и стою. По полдня торчал неподвижно — наблюдал, чево в воде происходит. Это уж от бога. Это уж не от людей. От родителя моего я мог только пинка получить заместо совета разумного.

— Надо же, — с уважением опять сказала Марья. — А мне вот — хоть бы что! Больше играть любила на улице. По целым дням, бывало, не загонялась!

– Я уж, грешным делом, думаю… – Баев даже оглянулся и заговорил тише. – Я уж думаю: не прислала ли меня мать-покойница с кем другим?

– Господь с тобой! – воскликнула Марья, но тоже негромко воскликнула и тоже чуть было не оглянулась. – Тетка Анисья-то! Да ты что, ферапонтыч… Господи! Да ты и похожий-то на отца. Только ты посытей да без бороды, а так-то… Да что ты, бог с тобой! Да с кем же она могла?

– Ну!.. – Баев полез опять за пузырьком. – А в кого я такой башковитый? Я вот думаю: мериканцы-то у нас тут тада рылись – искали чего-то в горах… Шут его знает! Они же… это… народишко верткий.

– Дак, а похож-то?

– Ну!.. Похож! Потрись с малых лет возле человека – будешь похож. Собака вон на хозяина и то становится похожая, а человек-то… Шут его знает! Может, и грех на душу беру. Но шибко уж у нас с им… противоположные взгляды. Вот чую сердцем: не крестьянского я замеса. Сроду меня не тянуло пахать или там сеять… ни к какой крестьянской работе. И к вину никогда не манило. – Баев не то что оголтело утверждал, что он не крестьянского рода, а скорей размышлял и сомневался. – Ведь если так-то подумать: куда же это все во мне подевалось? Должен же я стремиться землю иметь или там… буянить на праздники. Нет! В огороде своем собственном копаться не люблю! Вот в конторе посиживать-это по мне…

– Дак оно бы и все-то так посиживали – в тепле да на почете, вставила Марья.

– Садись! – воскликнул с сердцем Баев. – Чево ж ты тут заместо мужика торчишь ночами? Садись в контору и посиживай.

– Посиживай…

– Во-от! Голову надо иметь? Вот я про голову и говорю. Откуда она у меня, у крестьянского выходца!

– Ну что же, уж из мужиков и людей больших не было? Вон в войну…

– В войну-у! – перебил Баев. – С наганами-то бегать да горло драть – это еше не самая великая мудрость. Мало у нас их было, горлопанов! Одного Ваню Кысу возьми… С малолетства на ножах ходил. Из тюрьмы не вылазил, сердешный. А тоже – храбрец из храбрецов считался…

– Ну сравнил!

– Ну а как же? Уж куда храбрей Кысы-то?.. Был ли кто?

– Кыса – разбойник. Разбойник, он разбойник и есть. Я про хороших мужиков говорю. Вон Иван Козлов… Был простой солдат, а стал командиром. Орденов сколько, фотокарточку тада присылал, мы всей деревней смотреть бегали.

– Это… все так, – вздохнул Баев, Он не скрывал, что не ровня ему полуграмотная Марья – спорить, неглубоко берет баба своим рассудком. Конечно, командир, ордена… трень-брень, сапоги со скрипом… Это все воздействует. Но все же голову никакими орденами не заменишь. Или уж она есть, или… так – куда шапку надевают.

Так беседовали Баев с Марьей. Часов до трех, до четырех засиживались. Кое в чем не соглашались, случалось, горячились, но расставались мирно. Баев уходил через площадь – наискосок – домой, а Марья устраивалась на диван и спала до рассвета спокойно. А потом день, шумливый, суетный, бестолковый… И опять опускалась на землю ясная ночь, и охота было опять поговорить, подумать, повспоминать испытать некую тихую, едва уловимую радость бытия.

…Как-то досиделись они, Баев с Марьей, часов до трех тоже, Баев собрался уже уходить, закладывал в нос последнюю порцию душистого – с валерьяновыми каплями – табаку, и тут увидела Марья, как на крыльцо сельмага всходит какой-то человек… Взошел, потрогал замок и огляделся. Марья так и приросла к стулу.

– Ферапонтыч, – выдохнула она с ужасом, – гляди-ка!

Баев всмотрелся, и у него тоже от страха лицо вытянулось.

Человек на крыльце потоптался, опять потрогал замок… Слышно звякнуло железо.

— Стреляй! — тихо крикнул Баев Марье. — Стреляй!.. Через окно прямо!

Марья не шевелилась. Смотрела в окно.

— Стреляй! — опять велел Баев.

— Да как я?! В живого человека… «Стреляй!» Как?! Ты что?

Человек на крыльце поглядел на окна избушки, сошел с крыльца и направился прямиком к ним.

— Царица небесная, матушка, — зашептала Марья, — конец наступает. Прими, господи, душеньку мою грешную…

А Баев даже и шептать не мог, а только показывал пальцем на ружье и на окно — стреляй, дескать.

Шаги громко захрустели под окнами… Человек остановился, заглянул в окно. И тут Марья узнала его. Вскричала радостно:

— Да ведь Петька это! Петька Сибирцев!

— А чего это никого нет-то? — спросил Петька Сибирцев.

— Заходи, заходи! — помахала рукой Марья. — Вот гад-то подколодный! Я думала, у меня счас разрыв сердца будет. Вот черт-то полуношный! Он, наверно, с похмелья день с ночью перепутал.

Вошел Петька.

— Счас что, ночь, что ли? — спросил он.

— Вот идиот-то! — опять ругнулась Марья. — А ты что, за четвертинкой в сельмаг? Петька с удивлением и горечью постигал, что теперь — ночь.

— Заспал…

Баев пришел наконец в движение, нюхнул раз-другой, не чихнул, а высморкался громко в платок.

— Да-а, — сказал он. — Пить, так уж пить — чтоб уж и время потерять: где день, где ночь.

Петька Сибирцев сел на скамеечку, потрогал голову.

— Ну надо же! — все изумлялась Марья. — А если б я стрельнула?

Петька поднял голову, посмотрел на Марью — то ли не понял, что она сказала, то ли не придал значения ее словам.

— У него голова болит, — с сердцем посочувствовал Баев. — Эх-х… Жители! — Баев стряхнул платком табачную пыль с губ, вытер глаза. — Мне счас внучка книжку читает: Александра Невский землю русскую защищал… Написано хорошо, но только я ни одному слову не верю там.

Марья и Петька посмотрели на старика.

— Не верю! — еще раз с силой сказал Баев. — Выдумал… и получил хорошие деньги.

— Как это? — не поняла Марья.

— Наврал, как! Не врут, что ли?

– Это же исторический факт, – сказал Петька. – Как это он мог наврать? Конечно, он, наверно, приукрасил, но это же было.

– Не было.

– Вот как! – Петька качнул больной головой. – Хм…

– С кем что он защищал-то ее? Вот с такими вот воинами, вроде тебя?

Петька опять посмотрел на старика… Но смолчал.

– Если уж счас с вами ничего сделать не могут – со всех концов вас воспитывают да развивают… борются всячески, – то где же тогда было набраться сознания?

Петька похлопал по карманам – поискал курево, но не обнаружил ни папирос, ни спичек.

– Пиши в газету, – посоветовал он. – Опровергай.

И встал и пошел вон из избушки.

Марья и Баев смотрели в окно, как шел Петька. Под ногами парня звонко хрустело льдистое стекло ночной замерзи, и некоторое время шаги его еще сухо шуршали, когда уж он свернул за угол, за сельмаг.

– У их, наверно, свадьба, – сказала Марья. – Сестра-то Петькина за этого вышла… за этого… Как его? Брат-то к агрономше приехал… Как его?

– Черт их теперь знает, И знать не хочу… Сброд всякий. – Баев почувствовал, что он весь вдруг ослаб, ноги особенно – как ватные сделались. Все же испугался он сильно, – Надо же так пить, чтобы день с ночью перепутать!

– Они, ночи-то, вон, какие светлые. Наверно, соскочил со сна-то видит, светло, и дунул в сельмаг.

– Это ж… он и солнце с луной спутал?

Марья засмеялась:

– Видно, гуляют крепко.

В животе у Баева затревожилось, он скоренько завинтил флакончик с табаком, спрятал его в карман, поднялся.

– Пойду. Спокойно тебе додежурить.

– Будь здоров, ферапонтыч. Приходи завтра, я завтра картошки принесу – напекем.

– Напекем, напекем, – сказал Баев. И поскорей вышел.

Марья видела, как и он тоже пересек площадь и удалился в улицу. Шел он, поторапливался, смотрел себе под ноги. И под его ногами тоже похрустывал ледок, но мягко – Баев был в валенках.

А такая была ясность кругом, такая была тишина и ясность, что как-то даже не по себе маленько, если всмотреться и вслушаться. Неспокойно как-то. В груди что-то такое… Как будто подкатит что-то горячее к сердцу и снизу и в виски мягко стукнет. И в ушах толчками пошумит кровь. И все, и больше ничего на земле не слышно. И висит на веревке луна.

Страдания молодого Ваганова

Молодой выпускник юридического факультета, молодой работник районной прокуратуры, молодой Георгий Константинович Ваганов был с утра в прекрасном настроении. Вчера он получил письмо… Он, трижды молодой, ждал от жизни всего, но этого письма никак не ждал. Была на их курсе Майя Якутина, гордая девушка с точеным лицом. Ваганова ни тогда, на курсе, ни после, ни теперь, когда хотелось мысленно увидеть Майю, не оставляло навязчивое какое-то, досадное сравнение: Майя похожа на деревянную куклу, сделанную большим мастером. Но именно это, что

она похожа на куколку, на изящную куколку, необъяснимым образом влекло и подсказывало, что она же женщина, способная сварить борщ и способная подарить радость, которую никто больше не в состоянии подарить, то есть она женщина, как все женщины, но к тому же изящная, как куколка. Георгий Ваганов хотел во всем разобраться, а разбираться тут было нечего: любил он эту Майю Якутину. С их курса ее любили четыре парня; все остались с носом. На последнем курсе Майя вышла замуж за какого-то, как прошла весть, талантливого физика. Все решили: ну да, хорошенькая, да еще и с расчетом. Они все так, хорошенькие-то. Но винить или обижаться на Майю Ваганов не мог: во-первых, никакого права не имел на это, во-вторых… за что же винить? Ваганов всегда знал: Майя ему не чета. Жалко, конечно, но… А может, и не жалко, может, это и к лучшему: получи он Майю, как дар судьбы, он скоро пошел бы с этим даром ни дно. Он бы моментально стал приспособленцем: любой ценой захотел бы остаться в городе, согласился бы на роль какого-нибудь мелкого чиновника… Не привязанный, а повизгивал бы около этой Майи. Нет, что ни делается — все к лучшему, это верно сказано. Так Ваганов успокоил себя, когда понял окончательно, что не видать ему Майи как своих ушей. Тем он и успокоился. То есть ему казалось, что успокоился. Оказывается, в таких делах не успокаиваются. Вчера, когда он получил письмо и понял, что оно от Майи, он сперва глазам своим не поверил. Но письмо было от Майи… У него так заколотилось сердце, что он всерьез подумал: «Вот так, наверно, падают в обморок». И ничуть этого не испугался, только ушел с хозяйской половины дома к себе в горницу. Он читал его, обжигаясь сладостным предчувствием, он его гладил, смотрел на свет, только что не целовал — целовать совестно было, хотя сгоряча такое движение — исцеловать письмо — было. Ваганов вырос в деревне, с суровым отцом и вечно занятой, вечно работающей матерью, ласки почти не знал, стыдился ласки, особенно почему-то поцелуев.

Майя писала, что ее семейная жизнь «дала трещину», что она теперь свободна и хотела бы использовать свой отпуск на то, чтобы хоть немного повидать страну — поездить. В связи с этим спрашивала: «Милый Жора, вспомни нашу старую дружбу, встреть меня на станции и позволь пожить у тебя с неделю — я давно мечтала побывать в тех краях. Можно?» Дальше она еще писала, что у нее была возможность здорово переосмыслить свою жизнь и жизнь вокруг, что она теперь хорошо понимает, например, его, Жоркино, упорство в учебе и то, с какой легкостью он, Жорка, согласился ехать в такую глухомань… «Ну-ну-ну, легче, матушка, легче, — с удовлетворением думал молодой Ваганов. — Подожди пока цыпляток считать».

Вот с этим-то письмом в портфеле и шел сейчас к себе на работу молодой Ваганов. Предстояло или на работе, если удастся, или дома вечером дать ответ Майе. И он искал слова и обороты, какие должны быть в его письме, в письме простом, великодушном, умном. Искал он такие слова, находил, отвергал, снова искал… А сердце нет-нет да подмоет: «Неужели же она моей будет? Ведь ни страну же она, в самом деле, едет повидать, нет же. Нужна ей эта страна, как…»

Целиком занятый решением этой волнующей загадки в своей судьбе, Ваганов прошел в кабинет, сразу достал несколько листов бумаги, приготовился писать письмо. Но тут дверь кабинета медленно, противно заныла… В проем осторожно просунулась стриженая голова мужчины, которого он мельком видел сейчас в коридоре на диване.

— Можно к вам?

Ваганов мгновение помедлил и сказал, не очень стараясь скрыть досаду:

— Входите.

— Здравствуйте. — Мужчине этак под пятьдесят, поджарый, высокий, с длинными рабочими руками, которые он не знал куда девать.

— Садитесь, — велел Ваганов. И отодвинул листы в сторону.

— Я тут… это… характеристику принес, — сказал мужчина. И, обрадовавшись, что нашел дело рукам, озабоченно стал доставать из внутреннего кармана пиджака нечто, что он называл характеристикой.

— Какую характеристику?

— На жену. Они тут на меня дело заводют… А я хочу объяснить…

– Вы Попов?

– Ага.

– А что вы объяснить-то хотите? Вы объясните, почему вы драку затеяли? Почему избили жену и соседа? При чем тут характеристика-то?

Попов уже достал характеристику и стоял с ней посреди кабинета. Когда-то он, наверно, был очень красив. Он и теперь еще красив: чуть скуласт, нос хищно выгнут, лоб высокий, чистый, взгляд прямой, честный… Но, конечно, помят, несвеж, вчера выпил изрядно, с утра кое-как побрился, наспех ополоснулся… Эхма!

– Ну-ка дайте характеристику.

Попов подал два исписанных тетрадных листка, отшагнул от стола опять на середину кабинета и стал ждать. Ваганов побежал глазами по неровным строчкам… Он уже оставил это занятие – веселиться, читая всякого рода объяснения и жалобы простых людей. Как думают, так и пишут, ничуть это не глупее какой-нибудь фальшивой гладкописи, честнее, по крайней мере.

Ваганов дочитал.

– Попов… это ведь не меняет дела.

– Как не меняет?

– Не меняет. Вот вы тут пишете, что она такая-то и такая-то – плохая. Допустим, я вам поверил. Ну и что?

– Как же? – удивился Попов. – Она же меня нарочно посадила! На пятнадцать суток-то. Посадила, а сама тут с этим… Я же знаю. Мне же Колька Королев все рассказал. Да я и без Кольки знаю… Она мне сама говорила.

– Как говорила?

– Говорила! – воскликнул доверчиво Попов. – Тебя, говорит, посажу, а сама тут поживу с Мишкой.

– Да ну… Что, так прямо и говорила?

– Да в том-то и дело! – опять воскликнул Попов. И даже сел, раз уж разговор пошел не официальный, а нормальный, мужской. – Тебя, говорит, посажу, а сама – назло тебе – поживу с Мишкой.

– Она именно «назло» и говорила?

– Да нет! Я же знаю ее!.. И Мишаню этого знаю – сроду от чужого не откажется. Все, что я там написал, я за все головой ручаюсь. Жили, собаки! На другой же день стали жить. Их Колька Королев один раз прихватил…

– Ну, не знаю… – Молодой Ваганов в самом деле не знал, как тут быть: похоже, мужик говорит всю горькую правду. – Тогда уж разводиться, что ли, иадо?

– А куда я пойду – разведусь-то? Она же дом отсудит? Отсудит. Да и это… ребятишки еще не оперились, жалко мне их…

– Сколько у вас?

– Трое. Меньшому только семь, я люблю его до смерти… Мне на стороне не сдюжить – вовсе сопьюсь.

– Ну слушайте!.. – с раздражением сказал Ваганов. – Вы уж прямо как… паралитик какой: «не сдюжу», «сопьюсь». Ну а как быть-то? Ну представьте себе, что вы вот не с жалобой пришли, не к начальству, а… к товарищу. Вот я вам товарищ, и я не знаю, что посоветовать. Сможешь с ней жить после этого – живи, не сможешь…

– Смогу, – твердо сказал Попов. – Черт с ней, что она хвостом раз-другой вильнула. Только пусть это больше не повторяется. Я сам виноватый: шумлю много,

не шибко ласковый… Если б был маленько поласковей, она, может, не додумалась бы до этого.

— Так живи!

— Живи… Они же посадить хотят. И посадют, у их свидетелей полно, медицинские экспертизы обои прошли… Года три впаяют.

— Что же ты хочешь-то, я не пойму?

— Чтоб они закрыли дело.

— А характеристика-то зачем?

— А чтоб навстречу тоже бумаги двинуть. Может, посмотрют, какие они сами-то хорошие, и закроют дело. Они же сами кругом виноватые! Ты гляди-ка, посадить человека, а самой тут… Ну, не зараза она после этого!

— Здорово избил-то?

— Да где здорово! Шуму больше, крику…

— А без битья уж не мог?

Попов виновато опустил голову, погладил широкой коричневой ладонью свое колено.

— Не сдюжил…

— Опять не сдюжил! Ах ты, какие мы несдюжливые! — Ваганов встал из-за стола, прошелся по кабинету. Зло брало на мужика, и жалко его было. Причем тот нисколько не бил на жалость, это Ваганов даже при своем небольшом еще опыте научился различать: когда нарочно стараются разжалобить, и делают это иногда довольно искусно. — Ведь если б ты сдюжил и спокойно подал на развод, то еще посмотрели бы, как вас рассудить: возможно, что и… Впрочем, что же теперь об этом?

— Да, чего уж, — согласился Попов.

Некоторое время они молчали.

«Ну что вот делать? — думал Ваганов. — Посадят ведь дурака. Как ни веди дело, а… Эхма!»

— Как вы поженились-то?

— Как?.. Обыкновенно. Я с войны пришел, она тут продавцом в сельпе работала… Ну сошлись. Я ее и раньше знал.

— Вы здешний?

— Здешний. Только у меня родных тут никого не осталось: мать с отцом ишо до войны померли — угорели, старших братьев обоих на войне убило, две тетки были, тоже померли. Племянники, какие были, в городах где-то, я даже не знаю где.

— А жена где сейчас?

Попов вопросительно посмотрел на следователя.

— Где работает, что ли? Там же, в сельпе.

— На работе сейчас?

— На работе.

— Тебя кто научил с характеристикой-то?

— Никто, сам. Нет, говорили мужики, надо, мол, навстречу бумаги какие-нибудь двинуть… Я подумал… чего двинуть? Написал вот…

– Хорошо, оставь ее мне. Иди. Я попробую с женой поговорить.

Попов поднялся… Хотел что-то еще сказать или спросить, но только посмотрел на Ваганова, кивнул послушно головой и осторожно вышел.

Ваганов, оставшись один, долго стоял, смотрел на дверь. Потом сел, посмотрел на белые листы бумаги, которые он заготовил для письма. Спросил:

– Ну что, Майя? Что будем делать? – Подождал, что под сердцем шевельнется нежность и окатит горячим, но горячим почему-то не окатило. – Фу ты, черт? – с досадой сказал Ваганов. И дальше додумал: – «Вечером напишу».

Уборщица прокуратуры сходила за Поповой в сельпо – это было рядом.

Ваганов просмотрел пока «бумаги», обвиняющие Попова. Да, люди вели дело к тому, чтоб мужика непременно посадить. И как бойко, как грамотно все расписано! Нашелся и писарь. Ваганов пододвинул к себе «характеристику» Попова, еще раз прочитал. Смешной и грустный человеческий документ… Это, собственно, не характеристика, а правдивое изложение случившегося. «Пришел я, бритый, она лежит, как удав на перине. Ну, говорю, рассказывай, как ты тут без меня опять скурвилась? Она видит, дело плохо, давай базланить. Я ее жогнул разок: ты можешь потише, мол? Она вырвалась и – не куда-нибудь побежала, не к родным – к Мишке опять же дунула. Тут у меня вовсе сердце зашлось, я не сдюжил…»

Попова, миловидная еще женщина лет сорока, не робкая, с замашками продавцовской фамильярности, сразу показала, что она закон знает: закон охраняет ее.

– Вы представляете, товарищ Ваганов, житья нет: как выпьет, так начинает хулиганить. К какому-то Мишке меня приревновал!.. Дурак необтесанный.

– Да, да… – Ваганов подхватил фамильярный той бойкой женщины и поманил ее дальше. – Безобразник. Что, он не знает, что сейчас за это строго! Забыл.

– Он все на свете забыл! Ничего – спомнит. Дадут года три – спомнит, будет время.

– Дети вот только… без отца-то – ничего?

– А что? Они уж теперь большие. Да потом такого отца иметь – лучше не иметь.

– Он всегда был такой?

– Какой?

– Ну, хулиганил, дрался?..

– Нет, раньше выпивал, но потише был. Это тут – к Михаиле-то приревновал… С прошлого года начал. Да еще грозит! Грозит, Георгий Константиныч: прирежу, говорит, обоих.

– Так, так. А кто такой этот Михайло-то?

– Да сосед наш, господи! В прошлом годе приехали… Шофером в сельпо работат.

– Он что, одинокий?

– Да они так: переехать-то сюда переехали, а там дом тоже не продали. Жене его тут не глянется, а Михайле глянется. Он рыбак заядлый, а тут у нас рыбачить-то хорошо. Вот они на два дома и живут. И там огород посажен, и здесь… Вот она и успевает-ездит, жена-то его: там огород содярживат и здесь, жадничат в основном.

– Так, так… – Ваганов вовсе убедился, что прав Попов: изменяет ему жена. Да еще и нагло, с потерей совести. – Вот он тут пишет, что дескать, вы ему прямо сказали: «Тебя посажу, а сама тут с Мишкой пожи ву». – В «характеристике» не было этого, но Ваганов вспомнил слова Попова и сделал вид, что прочитал. – Было такое?

– Это он так написал?! – громко возмутилась Попова. – Нахалюга! Надо же!.. Женщина даже посмеялась. – Ну надо же!

– Врет?

– Врет!

«Да, уверенная бабочка, – со злостью уже думал Ваганов. – Ну нет, так просто я вам мужика не отдам».

– Значит, сажать?

– Надо сажать, Георгий Константиныч, ничего не сделаешь. Пусть посидит.

– А не жалко? – невольно вырвалось у Ваганова.

Попова насторожилась… Вопросительно посмотрела на молодого следователя, улыбнулась заискивающе.

– В каком смысле? – спросила она.

– Да я так, – уклонился Ваганов. – Идите. – Он пристально посмотрел на женщину.

Женщина сказала «ага», поднялась, прошла к двери, обернулась озабоченная… Ваганов все смотрел на нее.

– Я забыл спросить: почему у вас так поздно дети появились?

Женщина вовсе растерялась. Не от вопроса этого, а от того, как на ее глазах изменился следователь: тон его, взгляд его… От растерянности она пошла опять к столу и села на стул, где только что сидела.

– А не беременела, – сказала она. – Что-то не беременела, и все. А потом забеременела. А что?

– Ничего, идите, – еще раз сказал Ваганов. И положил руку на «бумаги». – Во всем… – он подчеркнул это «во всем», – во всем тщательно разберемся. Суд, возможно, будет показательный, строгий: кто виноват, тот и ответит. До свидания.

Женщина направилась к выходу… Уходила она не так уверенно, как вошла.

– Да, – вспомнил еще следователь, – а кто такой… – он сделал вид, что поискал в «бумаге» Попова забытое имя свидетеля, хоть там этого имени тоже не было, – кто такой Николай Королев?

– Господи! – воскликнула женщина у двери. – Королев-то? Да собутыльник первый моего-то, кто ему поверит-то! – Женщина была сбита с толку. Она даже в голосе поддала.

– Он что, зарегистрирован как алкоголик? Королев-то?

Женщина хотела опять вернуться к столу и рассказать подробно про Королева: видно, и она понимала, что это наиболее уязвимое место в ее наступательной позиции.

– Да кто у нас их тут регистрирует-то, товарищ Ваганов! Они просто дружки с моим-то, вместе на войне были…

– Ну хорошо, идите. Во всем разберемся.

Он наткнулся взглядом на белые листы бумаги, которые ждали его… Задумался, глядя на эти листы. Майя… Далекое имя, весеннее имя, прекрасное имя… Можно и начинать наконец писать слова красивые, сердечные – одно за одним, одно за одним – много! Все утро сегодня сладостно зудилось: вот сядет он писать… И будет он эти красивые, оперенные слова пускать, точно легкие стрелы с тетивы – и втыкать, и втыкать их в точеную фигурку далекой Майи. Он их навтыкает столько, что Майя вскрикнет от неминуемой любви… Пробьет он ее деревянное сердечко, думал Ваганов, достанет где живое, способное любить просто так, без расчета. Но вот теперь

вдруг ясно и просто думалось: «А может, она так? Способна она так любить?» Ведь если спокойно и трезво подумать, надо спокойно и трезво же ответить себе: вряд ли. Не так росла, не так воспитана, не к такой жизни привыкла… Вообще не сможет, и все. Вся эта история с талантливым физиком… Черт ее знает, конечно! С другой стороны, объективности ради, надо бы больше знать про все это — и про физика, и как у них все началось, и как кончилось. «Э-х, — с досадой подумал про себя Ваганов, — повело тебя, милый: заегозил. Что случилось-то? Прошла перед глазами еще одна бестолковая история неумелой жизни… Ну? Мало ли их прошло уже и сколько еще пройдет! Что же, каждую примерять к себе, что ли? Да и почему — что за чушь! — почему какой-то мужик, чувствующий только свою беззащитность, и его жена, обнаглевшая, бессовестная, чувствующая, в отличие от мужа, полную свою защищенность, почему именно они, со своей житейской неумностыо, должны подсказать, как ему решить теперь такое — т а к о е! — в своей не простой, не маленькой, как хотелось и думалось, жизни?» Но вышло, что именно после истории Поповых у Ваганова пропало желание «обстреливать» далекую Майю. Утренняя ясность и взволнованность потускнели. Точно камнем в окно бросили — все внутри встревожилось, сжалось… «Вечером напишу, — решил Ваганов. — Дурацкое дело — наверно по молодости — работу мешать с личным настроением. Надо отмежевываться. Надо проще».

Вечером Ваганов закрылся в горнице, выключил радио и сел за стол писать. Но неотвязно опять стояли перед глазами виноватый Попов и его бойкая жена. Как проклятие, как начало помешательства… Ваганов уж и ругал себя обидными словами, и рассуждал спокойно, логично… Нет! Стоят, и все, в глазах эти люди. Даже не они сами, хоть именно их Ваганов все время помнил, но не они сами, а то, что они выложили перед ним, — вот что спутало мысли и чувства. «Ну хорошо, — вконец обозлился на себя Ваганов, — если уж ты трус, то так и скажи себе трезво. Ведь вот же что произошло: эта Попова непостижимым каким-то образом укрепила тебя в потаенной мысли, что и Майя такая же, в сущности, профессиональная потребительница, эгоистка, только одна действует тупо, просто, а другая умеет и имеет к тому неизмеримо больше. Но это-то и хуже — мучительнее убьет. Ведь вот же что ты здесь почуял, какую опасность. Тогда уж так прямо и скажи: «Все они одинаковы!» — и ставь точку, не начав письма. И трусь, и рассуждай дальше — так безопаснее. Крючок конторский».

Ваганов долго сидел неподвижно за столом… Он не шутя страдал. Он опять придвинул к себе лист бумаги, посидел еще… Нет, не поднимается рука писать, нету в душе желанной свободы. Нет уверенности, что это не глупость, а есть там тоже, наверно, врожденная, трусость: как бы чего не вышло! Вот же куда все уперлось, если уж честно-то, если уж трезво-то. «Плебей, сын плебея! Ну ошибись, наломай дров… Если уж пробивать эту толщу жизни, то не на карачках же! Не отнимай у себя трезвого понимания всего, не строй иллюзий, но уже и так-то во всем копаться… это же тоже пакость, мелкость. Куда же шагать с такой нищей сумой! Давай будем писать. Будем писать не поэму, не стрелы будем пускать в далекую Майю, а скажем ей так: что привезешь, голубушка, то и получишь. Давай так».

…Часам к четырем утра Ваганов закончил большое письмо. На улице было уже светло. В открытое окно тянуло холодком раннего июньского утра. Ваганов прислонился плечом к оконному косяку, закурил. Он устал от письма. Он начинал его раз двенадцать, рвал листы, изнервничался, испсиховался и очень устал. Так устал, что теперь неохота было перечитывать письмо. Не столько неохота, сколько, пожалуй, боязно: никакой там ясности, кажется, нету, ума особого тоже. Ваганов все время чувствовал это, пока писал, все время чувствовал, что больше кокетничает, чем… Он вчистую докурил сигарету, сел к столу и стал читать письмо.

«Майя! Твое письмо так встревожило меня, что вот уже второй день я хожу сам не свой: весь в мыслях. Я спрашиваю себя: что это? И не могу ответить. Теперь я спрашиваю тебя: что это. Майя? Пожить у меня неделю — ради бога! Но это же и есть то, о чем я спрашиваю: что это? Ты же знаешь мое к тебе отношение… Оно, как подсказывает мне дурное мое сердце, осталось по-прежнему таким, каким было тогда: я люблю тебя. И именно это обстоятельство дает мне право спрашивать и говорить то, что я думаю о тебе. И о себе тоже. Майя, это что, бегство от себя? Ну что же… приезжай, поживи. Но тогда куда мне бежать от себя? Мне некуда. А убежать захочется, я это знаю. Поэтому я еще раз спрашиваю (как на допросе!): что это. Майя? Умоляю тебя, напиши мне еще одно письмо, коротенькое, ответь на вопрос: что это, Майя?» Так начал Ваганов свое длинное письмо… Он отодвинул его, склонился на руки. Почувствовал, что у него даже заболело сердце от собственной глупости и беспомощности. «Попугай! Что это, Майя? Что это, Майя? Тьфу!..

Слизняк». Это, правда, было как горе – эта неопределенность. Это впервые в жизни Ваганов так раскорячился… «Господи, да что же делать-то? Что делать?» Повспоминал Ваганов, кто бы мог посоветовать ему что-нибудь – он готов был и на это пойти, – никого не вспомнил, никого не было здесь, кому бы он не постыдился рассказать о своих мучениях и кому поверил бы. А вспомнил он только… Попова, его честный, прямой взгляд, его умный лоб… А что? «А что, Майя? – съязвил он еще раз со злостью. – Это ничего, Майя. Просто я слизняк, Майя».

Он скомкал письмо в тугой комок и выбросил его через окно в огород. И лег на кровать, и крепко зажмурил глаза, как в детстве, когда хотелось, чтобы какая-нибудь неприятность скорей бы забылась и прошла.

Утром, шагая на работу, Ваганов чувствовал большую усталость. В пустой голове проворачивался и проворачивался невесть откуда влетевший мотивчик: «А я играю на гармошке у прохожих на виду-у…» С письмом Ваганов решил подождать. Пусть придет определенность, пусть сперва станет самому ясно: способен он сам-то на что-нибудь или он выдумал себя такогоумного, деятельного, а другие, как дурачка, подогрели его в этом. Вот пусть это станет ясно до конца – пусть больше не будет никаких иллюзий, никакого обмана на свой счет. Пока ясно одно: он любит Майю и боится сближения с ней. Боится ответственности, несвободы, боится, что не будет с ней сильным и деятельным и его будущее накроется. «Вот теперь поглядим, как ты вывернешься, деятельный, – думал он про себя с искренней злостью. – Подождем и посмотрим».

Работу он начал с того, что послал за Поповым. Попов пришел скоро, опять осторожно заглянул в дверь.

– Входи! – Ваганов вышел из-за стола, пожал руку Попову, усадил его на стул. Сам сел рядом.

– Как твое имя?

– Павел.

– Ну, как там?.. Дома-то?

Попов молчал… Посмотрел серыми своими глазами на следователя. Какие все же удивительные у него глаза: не то доверчивые сверх меры, не то мудрые. Как у ребенка ясные, но ведь видели же эти глаза и смерть, и горе человеческое, и сам он страдал много… Не это ли и есть сила-то человеческая – вот такая терпеливая и безответная? И не есть ли все остальное – хамство, рвачество и жестокость?

– Ничего вроде… А что? – спросил Попов.

– Не говорил с женой?

– Мы с ей неделю уж не разговариваем.

– Не заметил в ней никаких перемен?

– Заметил. – Попов усмехнулся, – Вчера вечером долго на меня смотрела, потом говорит: «Был у следователя?» – «Был, – говорю. – А что, тебе одной только бегать туда?»

– А она что?

– Ничего больше. Молчит. И я молчу.

– Возьмут они свои заявления назад, – сказал Ваганов. – Еще разок вызову, может, не раз даже… Думаю, что возьмут.

– Хорошо бы, – просто сказал Попов. – Неохота сидеть, ну ее к черту. Немолодой уже…

– Павел, – в раздумье начал Ваганов про то главное, что томило, – хочу с тобой посоветоваться… – Ваганов прислушался к себе: не совестно ли, как мальчишке, просить совета у дяди? Не смешон ли он? Нет, не совестно и вроде не смешон. Что уж тут смешного! – Есть у меня женщина, Павел… Нет, не так. Есть на свете одна

женщина, я ее люблю. Она была замужем, сейчас разошлась с мужем и дает мне понять… – Вот теперь только почувствовал Ваганов легкое смущение – оттого, что бестолково начал. – Словом, так: люблю эту женщину, а связываться с ней боюсь.

– Чего так? – спросил Попов.

– Да боюсь, что она такая же… вроде твоей жены. Пропаду, боюсь, с ней. Это ж на нее только и надо будет работать: чтоб ей интересно жить было, весело, разнообразно… Ну, в общем, все мои замыслы побоку, а только ублажай ее.

– Ну-у, как же это так? – засомневался Попов. – Надо, чтоб жизнь была дружная, чтоб все вместе: горе – горе, радость тоже…

– Да постой, это я знаю – как нужно-то! Это все знаю.

– А что же?

У Ваганова пропала охота разговаривать дальше. И досадно стало на кого-то.

– Я знаю, как надо. Как должны жить люди, это все знают. А вот как быть, если я знаю, что люблю ее, и знаю, что она… никогда мне другом настоящим не будет? Твоя жена тебе друг?

– Да моя-то!..

– А что «моя-то»? Люди все одинаковы, все хотят жить хорошо… Разве тебе не нужен был друг в жизни?

– Я так скажу, товарищ Ваганов, – понял наконец Попов. – С той стороны, с женской, оттуда ждать нечего. Это обман сплошной. Я тоже думал об этом же… Почему же, мол, люди жить-то не умеют? Ведь ты погляди: что ни семья, то разлад. Что ни семья, то какой-нибудь да раскосяк. Почему же так? А потому, что нечего ждать от бабы… Баба, она и есть баба.

– На кой же черт мы тогда женимся? – спросил Ваганов, удивленный такой закоренелой философией.

– Это другой вопрос. – Попов говорил свободно, убежденно – правда, наверное, думал об этом. – Семья человеку нужна; это уж как ни крутись. Без семьи ты пустой нуль. Чего же тогда мы детей так любим? А потому и любим, что была сила – терпеть все женские выходки.

– Но есть же… нормальные семьи!

– Да где?! Притворяются. Сор из избы не выносют. А сами втихаря… бушуют.

– Ну, елки зеленые! – все больше изумлялся Ваганов. – Это уж совсем… мрак какой-то. Как же жить-то?

– Так и жить: укрепиться и жить. И не заниматься самообманом. Какой же она друг, вы что? Спасибо, хоть детей рожают… И обижаться на их за это не надо – раз они так сделаны. Чего обижаться? – В правде своей Попов был тверд, спокоен. Когда понял, что Ваганов такой именно правды и хочет – всей, полной, – он ее и выложил. И смотрел на молодого человека мирно, даже весело, не волновался.

– Так, так, – проговорил Ваганов. – Ну нет, Попов, это в тебе горе твое говорит, неудача твоя. Это все же не так все…

Попов пожал плечами.

– Вы меня спросили – я сказал, как думаю.

– Это верно, верно. Я не спорю. Спорить тут надо целой жизнью, а так… это…

– Конечно. Каждый так и живет – с самого начала. Скажи мне тогда: «Не женись, мол, Пашка, ошибесся». Что я на это? Послал бы подальше этого советчика и делал свое дело. Так оно и бывает.

– Да-да, – согласился Ваганов. – Это верно. Ну хорошо. – Он встал. Попов тоже встал. – До свидания, Павел. Думаю, что они возьмут свои заявления. Только ты уж…

– Да нет, что вы, товарищ Ваганов! – заверил Попов. – Больше этого не повторится, даю слово. Глупость это… Чего из их выколачивать-то? Пусть им самим совестно станет. А то мне же и совестно – нашумел… Хожу, кляузами занимаюсь, рази ж не совестно?

– Ну до свидания.

– До свидания.

Только за Поповым закрылась дверь, Ваганов сел к столу – писать. Он еще во время разговора с Поповым решил дать Майе такую телеграмму:

«Приезжай. Палат нету – все мое ношу собой. Встречу.

Георгий».
Он записал так… Прочитал. Посвистел над этими умными словами все тот же мотив: «Я играю на гармошке…» Аккуратно разорвал лист, собрал клочочки в ладонь и пошел и бросил их в корзину. Постоял над корзиной… Совершенный тупой покой наступил в душе. Ни злости уже не было, ни досады. Но и работать он бы не смог в этот день. Он подошел к столу и размашисто, но весь лист, написал:

«Нездоровится. Пошел домой».

Видеть кого-то из сослуживцев и говорить о чем-то – это тоже сегодня не по силам.

Он пошел домой. Дорогой негромко пел:

А я играю на гармошке
У прохожих на виду-у.
К сожаленью, день рожденья –
Только ра-аз в го-оду-у.
День стоял славнецкий – не жаркий, а душистый, теплый. Еще не пахло пылью, еще лето только вступало в зрелую пору свою. Еще молодые зеленые силы гнали и гнали из земли ядреный сок жизни: все цвело вокруг, или начинало цвести, или только что отцветало, и там, где завяли цветки, завязались пухлые живые комочки – будущие плоды. Благодатная, милая пора! Еще даже не грустно, что день стал убывать, еще этот день впереди.

Ваганов свернул к почте. Зашел. Взял в окошечке бланк телеграммы, присел к обшарпанному, заляпанному чернилами столику, с краешку, написал адрес Майи… Несколько повисел перышком над линией, где следовало писать текст… И написал: «Приезжай».

И уставился в это айкающее слово… Долго и внимательно смотрел. Потом смял бланк и бросил в корзину.

– Что, раздумали? – спросила женщина в окошечке.

– Адрес забыл, – соврал Ваганов. И вышел на улицу. Пошел теперь твердо домой.

«И врать ведь как научился! – подумал о себе, как о ком-то отчужденно. – Глазом не моргнул».

И сеном еще с полей не пахло, еще не начинали косить.

Медик Володя
Студент медицинского института Прохоров Володя ехал домой на каникулы. Ехал, как водится, в общем вагоне, ехал славно. Сессию сдал хорошо, из деревни писали, что у них там все в порядке, все здоровы – на душе у Володи было празднично. И под вечерок пошел он в вагон-ресторан поужинать и, может быть, выпить граммов сто водки – такое появилось желание. Пошел через вагоны и в одном, в купейном, в коридоре, увидел землячку свою, тоже студентку, кажется, пединститута. Она была из соседней деревни, в позапрошлом году они вместе ездили в райцентр сдавать

экзамены по английскому языку и там познакомились. Володе она тогда даже понравилась. Он потом слышал, что она тоже прошла в институт, но в какой и в каком городе, толком не знал. Вообще как-то забыл о ней. Он было обрадовался, увидев ее у окошка, но тут же оторопел: забыл как ее звать. Остановился, отвернулся тоже к окну, чтоб она пока не узнала его… Стал вспоминать имя девушки. Напрягал память, перебирая наугад разные имена, но никак не мог вспомнить. То ли Алла, то ли Оля… Что-то такое короткое, ласковое. Пока он так гадал, уткнувшись в окно, девушка оглянулась и тоже узнала его.

– Володя?.. Ой, здравствуй!

– Хелло! – воскликнул Володя. И сделал вид, что очень-очень удивился, и остро почувствовал свою фальшь – и это «хелло», и наигранное удивление. От этого вопросы дальше возникли очень нелепые: «Каким ветром? Откуда? Куда?»

– Как?.. На каникулы.

– А-а, ну да. Ну, и как? На сколько? – Володя до боли ощущал свою нелепость, растерянность и суетился еще больше: почему-то страшно было замолчать и не фальшивить дальше. – До сентября? Или до октября?

Девушка – это было видно по ее глазам – отметила, сколь изменился с недавней поры ее земляк. Но странно, что и она не сказала в простоте: «Да ты что, Володя? Я тоже еду на каникулы, как и ты», а сразу подхватила эту показную вольную манеру.

– Не знаю, как нынче будет. А вы? Вам сказали или тоже на бум-бум едете?

Володе сделалось немного легче оттого, что девушка не осадила его с глупой трескотней, а готова даже сама поглупеть во имя современных раскованных отношений.

– Нам сказали к сентябрю собраться, естественно. Но мы пронюхали, что опять повезут на картошку, поэтому многие из нас хотят обзавестись справками, что работали дома, в родимых колхозах.

– А мы тоже!.. Мы говорим: «А можно, мы дома отработаем?»

– Зачем же их спрашивать? Надо привезти справку, и все, – Володе даже понравилось, как он стал нагловато распоясываться, он втайне завидовал сокурсникам-горожанам, особенно старшекурсникам, но сам не решался изображать из себя такого же – совестно было. Но теперь он вдруг испытал некое удовольствие в нарядной роли… чуть ли не кутилы и циника. Будь у него в кармане деньги, хоть немного больше, чем на сто граммов водки и на билет в автобус до своего села, он, пожалуй, ляпнул бы что-нибудь и про ресторан. Но денег было только-только.

– А не опасно со справкой-то? – спросила девушка. – Могут же… это…

– Я умоляю! Отработал – и все. Возил навоз на поля, – Володя с улыбкой посмотрел на девушку, но поскорей отвернулся и полез в карман за сигаретой. Не все еще шло гладко пока. Маленько было совестно.

– Вас куда в прошлом году возили?

– В Заозерье. Но мы там пожили неплохо… – Володе и правда понравилось ездить с курсом на осенние работы в колхоз, и никакую он справку не собирался доставать дома.

– А мы ездили в Красногорский район, – тоже не без удовольствия вспомнила девушка. – Тоже неплохо было. Хохми-или-и!..

– А как отдыхаете дома летом? Чем занимаетесь?

– Да чем? За ягодами ходим… – девушка спохватилась, что, пожалуй, это банально – за ягодами. – Вообще скучно.

– Скооперируемся? – навернул Володя. – А то я тоже с тоски загибаюсь. Нас же разделяет всего… четырнадцать километров, да? Сядем на велики…

– Давайте, – легко согласилась девушка. – У нас тоже молодежи нету. Подруги кое-какие остались, но… Знаете, вот были подругами, да? Потом вдруг что-то – раз! – и отношения портятся. Вот так, знаете, обвально.

– Это вполне понятно, – сказал Володя. – Этого надо было ожидать. Это – один к одному.

– Но почему? – очень притворно удивилась девушка.

– Разошлись дороги… И разошлись, как в море корабли, – Володя посмеялся и стряхнул пепел в алюминиевую неудобную пепельницу внизу. – Это так же естественно, как естественно то, что у человека две ноги, две руки и одно сердце, – Володя вспомнил, что он медик.

И девушка тоже вспомнила, что он медик.

– Ой, а трудно в медицинском, а?

Володя снисходительно посмеялся.

– Почему? Нет, отсев, естественно, происходит… – Володе нравилось слово «естественно». – Нас на первом курсе повели в анатомичку, одна девушка увидела жмуриков и говорит: «Ах, держите меня!» И повалилась…

– В обморок?

– Да. Ну, естественно, это уже не врач. В фармацевты.

– Обидно, наверно, да?

– А у вас… стабильное положение?

– У нас со второго курса нынче ушла одна. Но она просто перевелась, у нее просто отец военный, его куда-то перевели. Во Владивосток. А так нет. А у вас клуб в деревне построили?

– Кинотеатр. В прошлом году Я как-то пошел посмотреть какую-то картину, половины слов не понял – бубнеж какой-то: бу-бу-бу… Я ушел. Хуже, что библиотеки доброй нет. У вас хорошая библиотека?

– Да нет, тоже… Я везу кое-что с собой.

– Ой, что, а?! – выдал Володя показушный великий голод.

– «Путешествия Христофора Колумба». Это, знаете, дневники, письма, документы… Я же – географичка.

– Так. Еще?

– Еще кое-что… Ау вас есть что-нибудь?

– У меня кое-что специальное тоже… «Записки врача» этого… Как его, врач тоже был?..

– Чехов?

– Нет, но они, кажется, поддерживали приятельские отношения… Вот вылетела фамилия. А Брэдбери у вас ничего нету?

– Нет. А вы любите читать про медиков?

– Да нет… Любопытно бывает, если не туфта полная. А Камю ничего нет?

– Нет, нету.

– Ну, так как мы будем бороться со скукой? – весело спросил Володя. – Как вы себе это представляете? – ему совсем хорошо стало, когда свалили этих Камю,

– Общими усилиями как-нибудь… – тоже весело сказала девушка. Как-то вроде обещающе сказала…

Володя быстро утрачивал остатки смущения. Он вдруг увидел, что девушка перед ним милая и наивная. Неопытная. Он и сам был не бог весть какой опытный, то есть вовсе неопытный, но рядом с такой-то, совсем-то уж зеленой… Ну-у, он хоть что-то да слышал! Отважиться? Возможность эта так внезапно открылась Володе, и так он вдруг взволновался, что у него резко ослабли ноги. Он уставился на девушку и долго смотрел – так, что та даже смутилась. И от смущения вдруг рассмеялась. Глядя на нее, и Володя тоже засмеялся. Да так это у них громко вышло, так самозабвенно! Так искренне.

– Вплоть до того, что… – хохотал Володя, – вплоть до того, что – поставим… – Володя и хотел уже перестать смеяться и не мог. – Поставим шалаш и…

Как услышала девушка про этот шалаш, так еще больше закатилась.

– Как Робинзоны… на этом… да?

Володя только кивнул головой – не мог говорить от смеха.

Тут отодвинулась дверь ближнего к ним купе, и какая-то женщина крестьянского облика высунулась и попросила негромко:

– Ребята, у меня ребенок спит – потише бы…

Тотчас и в соседнем с этим купе скрежетнула дверь, и некая лысая голова зло и недовольно сказала:

– Как в концертном зале, честное слово! Не в концерте же! – и голова усунулась, и дверь опять нервно скрежетнула и щелкнула. Даже женщина, у которой ребенок, удивленно посмотрела на эту дверь.

– Не спится юному ковбою, – громковато сказал Володя, перестав смеяться, но еще улыбаясь. Он тоже смотрел на сердитую дверь. И сказал еще, но потише: – Вернее так: не спится лысому ковбою.

Девушка прихлопнула ладошкой новый взрыв смеха и бегом побежала по коридору – прочь от опасного места. Володя, польщенный, пошел за ней; чего ему не хватало для полного утверждения в новом своем качестве, так этой вот голой злой головы. Он шел и придумывал, как он сейчас еще скажет про эту голову. Может так: «Я сперва подумал, что это чье-то колено высунулось».

Девушка ушла аж в тамбур – от греха подальше.

– Ой, правда, мы расшумелись, – сказала она, поправляя волосы. – Люди спят уже…

Володя закурил… Его опять охватило волнение. Его прямо колыхнуло, когда она – совсем рядом – вскинула вверх и назад оголенные свои руки… Он успел увидеть у нее под мышкой родинку. Дым сигареты стал горьким, но он глотал и глотал его… И молчал. Потом бросил сигарету и посмотрел на девушку… Ему казалось, что он посмотрел смело и с улыбкой. Девушка тоже смотрела на него. И по тому, как она на него смотрела – вопросительно, чуть удивленно, – он понял, что он не улыбается. Но теперь уж и отступать было некуда, и Володя положил руку на ее плечо и стал робко подталкивать пальцами девушку к себе. Так как-то двусмысленно подталкивал – приглашал и не приглашал: – можно, однако, подумать, что он влечет к себе, тогда пусть шагнет сама… Жуткий наступил момент, наверно, короткий, но Володя успел разом осознать и свою трусость, и что ему вовсе не хочется, чтоб она шагнула. И он вовсе потерялся…

– Что ты? – спросила девушка серьезно.

– Начнем? – сказал Володя.

Девушка убрала его руку.

– Что начнем? Ты что?

– О боже мой! – воскликнул Володя. – Чего ж ты уж так испугалась-то?.. Пичужка, – и он коротко хохотнул, торопливо похлопал девушку по плечу и сказал снисходительно и серьезно: – Иди спать, иди спать, а то поздно уже. Да? – и ринулся в наружную дверь тамбура – вон отсюда.

– Завтра поедем вместе? – спросила вдогонку девушка.

– Да! Обязательно! – откликнулся Володя. Он уже был в переходном этом мешке, где грохотало и качалось.

Он почти бежал по вагонам. Очень хотелось или самому выпрыгнуть из вагона, или чтоб она, эта географичка, выпала бы как-нибудь из вагона, чтоб никто никогда не узнал его гнусного позора и какой он враль и молокосос.

Он пришел в свой вагон, снял ботинки, тихо, как всякий мелкий гад, влез на верхнюю полку и замер. Боже ж ты мой! Так ждал этого лета, так радовался, ехал, так все продумал, как будет отдыхать… Тьфу! Тьфу! Тьфу! Он вдруг вспомнил, как зовут девушку – Лариса. И еще он вспомнил, как он хохотал в купейном вагоне… Он заворочался и замычал тихо. Ведь не сломал же руку или ногу, ни от поезда не отстал, ни чемодан не украли – сам мелко напаскудил. Эта Лариса теперь расскажет всем… Они любят рассказывать – смеются всегда! – когда какой-нибудь валенок хотел соблазнить девушку, но ничего не вышло – получил по ушам. Приврет еще, приврет обязательно.

Так он казнил себя на верхней полке… пока вдруг не заснул. Как-то заснул и заснул – страдал, страдал и заснул.

А проснулся, когда уж поезд стоял на родной станции – дальше он никуда не шел. За окном был ясный день; на перроне громко разговаривали, смеялись, вскрикивали радостно… Встречали, торопились к автобусам.

Володя моментально собрался… И вдруг вспомнил вчерашнее… И так и сел. Но надо было выходить: по вагону шел проводник и поторапливал замешкавшихся пассажиров.

Володя вышел на перрон. Огляделся… И прошмыгнул в вокзал. Сел там в уголок на чемодан и стал ждать. Эта Лариса уедет, наверно, одним из первых автобусов, она девка шустрая. А они потом еще будут, автобусы-то, много. И все почти идут через его село. Черт с ней, с этой Ларисой!.. Может, расскажет, а может, и не расскажет. Зато он все равно дома. И уж не так было больно, как вчера вечером. Ну, что же уж тут такого?.. Стыдно только. Ну, может, пройдет как-нибудь, Володя выглянул в окно на привокзальную площадь… И сразу увидел Ларису: она стояла поодаль от автобусов – высматривала Володю среди людей, идущих с перрона. Володя сел опять на чемодан. Вот же противная девка, стоит, ждет! Ничего, подождешь-подождешь и уедешь – домой-то охота. Но ведь какая настырная – стоит, ждет!

Версия
Санька Журавлев рассказал диковинную историю. Был он в городе (мотоцикл садил покупать), зашел там в ресторан покушать. Зашел, снял плащ, в гардеробе, направился в зал… А не заметил, что зал отделяет стеклянная стена – пошел на эту стенку, И высадил ее. Она прямо так стоймя и упала перед Синькой и со звоном разлетелась в куски. Ну, сбежались. Саньки был совершенно трезв, поэтому милицию вызывать не стали, а повели его к директору ресторана на второй этаж. Человек, который вел его по мягкой лестнице, подсчитал:

– Зарплаты две выложишь. А то и три.

– Я же не нарочно.

– Мало ли что?

Зашли в кабинет директора… И тут-то и начинается диковина, тут сельские люди слушали и переглядывались – не верили. Санька рассказывал так:

– Заходим – сидит молодая женщина. Пышная, глаза маленько навыкате, губки бантиком, при золотых часиках. «Что случилось?» Товарищ этот начинает ей

докладывать, что вот, мол, стенку решили… А эта на меня смотрит. – Тут Санька всякий раз хотел показать, как она на него смотрела: делал губы куриной гузкой и выпучивал глаза. И смотрел на всех. Люди смеялись и продолжали не верить.

– Ну, ну?

– Она этому товарищу говорит: «Ну, хорошо, – говорит, идите. Мы разберемся». А кабинет!.. Ну, «-мо», наверное, у министров такие: кругом мягкие креслы, диваны, на стенах картины. «Вы откуда?» – спрашивает. Я объяснил. «Так, так, – говорит. – Как же это вы так?» А сама на меня смо-отрит, смо-отрит… До-олго смотрела.

Еще потому не верили земляки Саньке, что смотреть-то на него, да еще, как он уверяет, долго, да еще городской женщине, зачем, господи?! Что там высматривать-то? Длинный, носатый, весь в морщинах раньше времени… Догадывались, что Саня потому и выдумал эту историю, чтобы хоть так отыграться за то, что деревенские девки его не любили.

– Ну, ну, Саня? Дальше?

Дальше Санька бил в самое дыхало; история начинала звенеть и искриться, как та стенка в ресторане…

– Дальше мы едем с ней в ее трехкомнатную квартиру и гужуемся. Три дня! Я просыпаюсь, от так от шарю возле кровати, нахожу бутылку шампанского – буль-буль-буль!.. Она мне: «Ты бы хоть из фужера, Санек, вон же фужеров полно!» Я говорю: «Имел я в виду эти фужеры!» Гужуемся три дня и три ночи! Как во сне жил. Она на работу вечером сходит, я пока один в квартире. Ванну принимаю, в туалете сижу… Ванна отделана голубым кафелем, туалет – желтым. Все блестит, мебель вся лакирована. Я сперва с осторожностью относился, она заметила, подняла на смех: «Брось ты, – говорит, – Санек? Надо, чтоб вещи тебе служили, а не ты вещам. Что же, – говорит, – я все это с собой, что ли, возьму?» Шторы такие зеленые, с листочками… Задернешь – полумрак такой в комнатах. Кто-нибудь спал из вас в спальне из карельской березы? Мы же фраера! Мы думаем, что спать на панцирной сетке – это мечта жизни. Счас я себе делаю кровать из простой березы… город давно уже перешел на деревянные кровати. Если ты каждый день получаешь гигантский стресс, то выспаться-то ты должен!

– Ну, ну, Сань?

– Так проходят эти три дня. Вечером она привозит на такси курочек, разные заливные… Они мне сигналют, я спускаюсь, беру переносной такой холодильничек, несу… И мы опять гужуемся. Включаем радиолу на малую громкость, попиваем шампанское… Чего только моя левая нога захочет, я то немедленно получаю. Один раз я говорю: «А вот я видел в кино: наливает человек немного виски в стакан, потом туда из сифончика… Ты можешь так?» – «Это, – говорит, – называется виски с содовой. Сифон у меня есть, виски счас привезут». Точно, минут через пятнадцать привезли виски. Они мне, кстати, не поглянулись. Я пил водку с содовой. От так от нажимаешь курочек на сифончике, оттуда как даст в стакан… Прелесть.

– А как со стеклом-то?

– С каким стеклом?

– Ну, разбил-то…

– А-а. А никак. Она меня потом разглядывала всего и удивлялась. «Как ты, – говорит, – не порезался-то?» А мотоцикл – я ей деньги отдал, мне его прямо к подъезду подкатили…

Вот такая история случилась будто бы с Санькой Журавлевым. Из всего этого несомненной правдой было: Санька в самом деле ездил в город; не было его три дня; мотоцикл привез именно такой, какой хотел и на какой брал деньги; лишних денег у него с собой не было. Это все правда. В остальное односельчане никак не могли поверить. Санька нервничал, злился… Говорил мужикам про такие поганые подробности, каких со зла не выдумаешь. Но считали, что всего этого Синька где-то наслышался.

– Ну, «-мо»! – психовал Санька. – Да где же я эти три дня был-то?! Где?!

– Может, в вытрезвителе.

– Да как я в вытрезвитель-то попаду?! Как? У меня лишнего рубля не было!

– Ну, это… Свинья грязи найдет.

– Иди найди! Иди хоть пятак найди за так-то. На что же бы я жил-то три дня?

Этого не могли объяснить. Но и в пышного директора ресторана, и в ее трехкомнатную квартиру тоже не могли поверить. Это уже черт знает что такое – таких дур и на свете-то не бывает.

– Дистрофики! – обзывал всех Санька. – Жуки навозные. Что вы понимаете-то? Ну, что вы можете понимать в современной жизни?

Слушал как-то эту историю Егорка Юрлов, мрачноватый, бесстрашный парень, шофер совхозный. Дослушал до конца, усмехнулся ядовито. К нему все повернулись, потому что его мнение – как-то так повелось – уважали. И, надо сказать, он и вправду был парень неглупый.

– Что скажешь, Егорка?

– Версия, – кратко сказал Егорка.

– Какая версия? – не понял Санька.

– Что ты дурачка-то из себя строишь? – прямо спросил Егорка. – Чего ты людей в заблуждение вводишь?

Санька аж побелел… Думали, что они подерутся. Но Санька прищемил обиду зубами. И тоже прямо спросил:

– У тебя машина на ходу?

– Зачем?

– Я спрашиваю: у тебя машина на ходу? – Санька угрожающе придвинулся к Егорке. – Ну?

Егорка подождал, не кинется ли на него Санька; подождал и ответил:

– На ходу.

– Поедем, – приказным голосом сказал Санька. – Надоела мне эта комедия: им рассказываешь, как добрым, они, стерва, хаханьки строют. Поедем к ней, я покажу тебе, как живут люди в двадцатом веке. Предупреждаю: без моего разрешения никого не лапать и не пить дорогое вино стаканами. Возможно, там соберется общество – может, подруги ее придут. Кто еще хочет ехать, фраера? – Саньку повело на спектакль – он любил иногда «выступить», но при всем том… При всем том он предлагал проверить, правду ли он говорит, или врет. Это серьезно.

Егорка, недолго думая, сказал:

– Поехали.

– Кто еще хочет? – еще раз спросил Санька.

Никто больше не пожелал ехать. История сама по себе довольно темная, да еще два таких едут… Недолго и того… угореть. А Санька с Егоркой поехали.

Дорогой еще раз ругнулись. Санька опять начал учить Егорку, чтоб он никого не лапал в городе и не пил дорогое вино стаканами.

– А то я ж вас знаю…

– Да пошел ты к такой-то матери! – обозлился Егорка. – Строит из себя, сидит… «Я ва-ас…» Кого это «вас»-то? А ты-то кто такой?

– Я тебя учу, как лучше ориентироваться в новой обстановке, понял?

– Научи лучше себя – как не трепаться. Не врать. А то звону наделал… Счас, если приедем и там никакой трехкомнатной квартиры не окажется, – Егорка постучал пальцем по рулю, – обратно пойдешь пешком.

– Ладно. Но если все будет, как я говорил, я те… Ты принародно, в клубе, скажешь со сцены: «Товарищи, зря мы не верили Саньке Журавлеву – он не врал». Идет?

– Едет, – буркнул мрачный Егорка.

– Черти! – в сердцах сказал Санька. – Сами живут… как при царе Горохе и других не пускают.

Приехали в город засветло.

«Направо». «Налево». «Прямо!» – командовал Санька. Он весь подсобрался, в глазах появилась решимость: он слегка трусил. Егорка искоса взглядывал на него, послушно поворачивал «влево», «вправо»… Он видел, что Санька вибрирует, но помалкивал. У него у самого сердце раза два сжалось в недобром предчувствии.

– Узнаю ресторан «Колос», – торжественно сказал Санька. – Тут, по-моему, опять налево. Да, иди налево.

– Адрес-то не знаешь, что ли?

– Адресов я никогда не помнил – на глаз лучше всего.

Еще покрутились меж высоких спичечных коробков, поставленных стоймя… И подъехали к одному, и остановились.

– Вот он, подъездик, – негромко сказал Санька. – Голубенький, с козырьком.

Посидели немного в кабине.

– Ну? – спросил Егорка.

– Счас… Она, наверно, на работе, – неуверенно сказал Санька. – Сколько счас?

– Без двадцати девять.

– У нее самый разгар работы…

– Ну-у… начинается. Уже очко работает?

– Пошли! – скомандовал Санька. – Пошли, теленочек, пошли. Если дома нет, поедем в ресторан. Поднялись на четвертый этаж пешком.

– Так, – сказал Санька. Он волновался. – Следи за мной: как я, так и ты, но малость, скромнее. Как будто ты мой бедный родственник… Фу! Волнуюсь, стерва. А чего волнуюсь? Упэред! – И он нажал беленький пупочек звонка.

За дверью из тишины послышались остренькие шажочки.

– Паркет, знаешь, какой!.. – успел шепнуть Санька.

В двери очень долго поворачивался и поворачивался ключ – может, не один?

Санька нервно подмигнул Егорке.

Наконец дверь приоткрылась… Санька растянул большой рот в улыбке, хотел двинуть дверь, чтоб она распахнулась приветливее, но она оказалась на цепочке.

– Кто это? – тревожно и недовольно спросили из-за двери. Женщина спросила.

– Ира… это я! – сказал Санька ненатуральным голосом. И улыбку растянул еще шире. Можно сказать, что на лице его в эту минуту были нос и улыбка, остальное –

морщины.

– Боже мой! – зло и насмешливо сказал голос за дверью (Егорка не видел из-за Саньки лицо женщины), и дверь захлопнулась и резко, сухо щелкнула.

Санька ошалел… Посмотрел растерянно на Егорку.

– ,-мо»! – сказал он. – Она что, озверела?

– Может, не узнала? – без всякого ехидства подсказал Егорка.

Санька еще раз нажал на белый пупочек. За дверью молчали. Санька давил и давил на кнопочку. Наконец послышались шаги – тяжелые, мужские. Дверь опять открылась, но опять мешал цепок. Выглянуло розовое мужское лицо. Мужчина боднул строгим взглядом Саньку… Потом глаза его обнаружили мрачноватого Егорку и – быстро-быстро – поискали, нет ли еще кого? И, стараясь, чтоб вышло зло и страшно, спросил:

– В чем дело?

– Позови Ирину, – сказал Санька.

Мужчина мгновение решал, как поступить… Из глубины квартиры ему что-то сказали. Мужчина резко захлопнул дверь. Санька тут же нажал на кнопку звонка и не отпускал. Дверь опять раскрылась.

– Что, выйти накостылять, что ли?! – уже всерьез злобно сказал мужчина.

Санька подставил ногу под дверь, чтобы мужчина не сумел ее закрыть.

– Выйди на минутку, – сказал он. – Я спрошу кое-что.

Мужчина чуть отступил и всем телом ринулся на дверь… Санька взвыл. Егорка с этой стороны – точно так, как тот за дверью, – откачнулся и саданул дверь плечом. Санька выдернул ногу и тоже навалился плечом на дверь.

– Семен! – заполошно крикнул мужчина.

Пока Семен бежал в тапочках на зов товарища, молодые деревенские бычки поднатужились тут… Цепочка лопнула.

– Руки вверх! – заорал Санька, ввалившись в коридор.

Мужчина с розовым лицом попятился от них… Мужчина в тапочках тоже резко осадил бег. Но тут вперед с визгом вылетела коротконогая женщина с могучим торсом.

– Во-он! – Странно, до чего она была легкая при своей тучности и до чего же пронзительно она визжала. – Вон отсюда, сволочи!! Звоните в милицию! Я звоню в милицию! – Женщина так же легко ускакала звонить.

– Пошли, Санька, – сказал Егорка.

Санька не знал, как подумать про все это.

– Пошли, – еще сказал Егор.

– Нет, не пошли-и, – свирепо сказал розоволицый. И стал надвигаться на Саньку. – Нет, не пошли-и… Так просто, да? Семен, заходи-ка с той стороны. Окружай хулиганов!

Человек в тапочках пошел было окружать. Но тут вернулся от двери Егор…

…Из «окружения» наши орлы вышли, но получили по пятнадцать суток. А у Егорки и права на полгода отняли – за своевольную поездку в город. Странно, однако, что деревенские после всего этого в Санькину историю полностью поверили. И часто просили рассказать, как он гужевался в городе три дня и три ночи. И смеялись.

Не смеялся только Егорка: без машины стал меньше зарабатывать.

– Дурак, поперся, – ворчал он. – На кой черт?

– Егор, а как баба-то? Правда, что ли, шибко красивая?

– Да я и разглядеть-то не успел как следует: прыгал какой-то буфет по квартире…

– А квартирка-то, правда, что ли, такая шикарная?

– Квартирка шикарная. Квартиру успел разглядеть. Квартира шикарная.

Санька долго еще ходил по деревне героем.

Гена Пройдисвет
Последнее время волосатый Генка работал массовиком-затейником в горном санатории. Отдыхающие удивлялись на него. Удивляли Генкины песни и шалопайство. Песни он сам сочинял и сам исполнял под гитару. Шалопайство… Вообще, это не шалопайство у Генки, а полная его – демонстративная – свобода, раскованность. Будучи этак раскованным, он и шарахался по жизни, как по загону сшибал столбики, ранился и злился.

Кто-то когда-то сказал Генке, что он самобытный композитор. Генка уверовал в это, и когда его песни не нравились, он мучился и в отчаянии мог выкинуть какую-нибудь шальную глупость.

Приехал в санаторий какой-то поэт; Генка, волнуясь, спел ему несколько песен. Поэт удивился.

– Ну и что? – спросил он. – О чем эти песни? Что вы хотите сказать ими?

Генка выпил в буфете стакан водки и вышел к бассейну, где в это время было много отдыхающих. И громко объявил:

– Вы!.. Сейчас то же самое, но в оригинальном исполнении.

Пошел к вышке, откуда желающие смельчаки прыгают в бассейн. Остервенело заколотил по струнам и запел:

Вот так номер,
Вот так так –
Это не по правилам:
Были, Были, –
Напылили,
А потом – пр-ропали!..
Не то это у него марш, не то под заборный жиганистый выверт – не поймешь сразу. Взошел Генка на вышку, стал на самый край доски и продолжал:

Я же помню этот бег –
Небо содрогалось,
Ваши гривы об зарю
Красную
Трепались.
«Сбацал» на краешке доски – пощелкал каблучками-носочками – и еще раз:

Ох, ваши гривы об зарю
Красную
Трепались!
Все с интересом смотрели на массовика-затейника. А он кричал с вышки и бил гитару:

Я же знаю
Мы хотели
Заарканить месяц.
Почему же он теперь,
Сволочь,
Светится?!
И Генка, в чем был, маханул с вышки в воду. Вынырнул, вылил из гитары воду и докричал, лежа на спине и играя:

Значит, снова промахнулись…
Пропади ты пропадом!
Ну-ка, снова,
В три креста!
Кони-лошади!..
Генка откашлялся, отплевался и сообщил: — «Навязчивый сон» называется!

Генку уволили.

Дома, в своей деревне, Генка появлялся обычно на короткое время — отдышаться, поправить финансовые дела. И тут наваливались на парня всей говорливой родней. Стыдили. Приводили примеры… Учили.

— Я все понимаю, — говорил Генка, — но мы, художники, — люди особого склада. Я бы мог, конечно, освоить профессию, скажем, животновода, но на мне тогда будет смертельный грех. Я людьми занимаюсь.

— Занялся бы тобой бичина хороший — вот было бы то, что требуется. Вот это не грех был бы.

— Тупо, неубедительно.

Пришел как-то дядя Генкин, дядя Гриша. Дядя Гриша недавно поверил в бога и ходил теперь отрешенный, тихий, кротко и снисходительно смотрел на житейские дела. Эта кротость обозлила Генку.

— Ты вроде как даже гордишься, что такой смирный, — сказал он.

— Не горжусь, а суетню всякую понимаю, — смиренно ответствовал новообращенный. — Все суета, Геннадий.

— Ну, это уж вы как-то… совсем просто: «Все суета» — и баста.

— Все суета! — убежденно твердил дядя Гриша.

— Смерть — суета? Любовь — суета?

— Мы здесь — гости. Поживем — и пойдем отчитываться за наши дела. Ты задумайся, Геннадий, задумайся: за все придется отвечать. Безобразно живешь. Вино пьешь неумеренно, куришь, с девками блудишь… А ведь все учитывается! Мы, как киноаппараты: живем, а на кинопленку все снимается, все снимается… Как поступил, как подумал, где проть совести пошел — все снимается. И вот ты умираешь, киноаппарат этот — тело твое — хоронют, а пленку берут и проявляют: смотрют, как ты жил… Вот.

— Хм… Ну-ка, еще что-нибудь, интересно. Поверить я, к сожалению, не смогу, но вообще это интересно. Даже технику стали использовать, надо же.

— Поверить вы, знамо, не сможете. Ну!.. — дядя Гриша чего-то вдруг сердито оживился. — Вам же чудо нужно, чудо! Вот пускай небо раскроется, пускай я увижу знамение какое-нибудь — крест огненный, — тогда я поверю! Ах ты господи!.. — где-то, видно, настойчиво требовали этих знамений, и те, кто обращал дядю Гришу к вере, были, наверно, очень недовольны этим тупым требованием, и это недовольство усвоил и дядя Гриша тоже. — А чудо — на каждом шагу! Чудо — вон в огороде: смотри, на одной сотке растет морковь, огурцы, помидоры… Ведь это все — деликатесы, а все — из земли. Ведь все из земли! Ты возьми ее в горсть да посмотри хорошенько — что там? Земля. А ты откуда? Из земли…

— Привет!

— Из земли, и в землю же обратишься. Сказано: ни один волос не упадет с головы… Ты думаешь, если ты — Гена Пройдисвет, то над тобой нет закона божьего? Есть.

— Погоди, ты что-то все в кучу: и землю, и закон… Ты объясни сперва: ну и что, что ты стал такой смирный, кроткий? Что ты хвалишься-то этим? Разве это хорошо?

— Вы есть жуки навозные, вы думаете: вот наша навозная куча — это и весь мир.

Воюете, деретесь, злитесь… А не знаете того, что вы все… все люди — под наблюдением.

— Почему же я не знаю, что под наблюдением? У меня — семнадцать выговоров, у меня это наблюдение вот здесь сидит.

— Не про то наблюдение я говорю. Это — ваше наблюдение, вы сами и разбирайтесь. Я говорю про высшее наблюдение, которое…

— Знаешь что? — перебил Генка, глядя в глаза дяде Грише, словно он только что догадался, кто такой этот новообращенный, этот смиренный. — Знаешь, что я тебе скажу: ни хрена ты не верующий. Понял? Если б ты по-настоящему верил, ты бы молчал об этом. А ты, как сорока на колу, — в разные стороны: «Верю! Верю!» Не веришь, вот так.

Дядя Гриша кротко, смиренно посмеялся.

— Эх, Гена… Гена ты и есть. Дружок анчуткин. Жук навозный. Ты меня хочешь из равновесия вывесть, из покоя? Не выйдет.

— С чего это ты вдруг в бога-то поверил? Шестьдесят лет прожил — не верил, вдруг — на тебе…

— Пошел я, иду, — терпеливо сказал дядя Гриша. — Иду с богом. А ты колбаси дальше по дорогам — где-нибудь голову сломишь.

Вопрос этот — с чего дядя Гриша, нормальный мужик, вдруг уверовал в бога, — вопрос этот всерьез заинтересовал Генку, даже встревожил. Отец Генки, умелый печник, хвастун, неутомимый бабник в прошлом, так объяснил братнино обращение в веру:

— Мужик, он ведь как: достиг возраста — и смяк телом. А башка ишо ясная — какие-нибудь вопросы хочет решать. Вот и начинается: один на вино напирает — башку туманит, чтоб она ни в какие вопросы не тыкалась, другой… Миколай вон Алфимов, знаешь ведь его? — историю колхоза стал писать. Кто куда, лишь бы голова не пустовала. А Григорий наш, вишь, в бога ударился. Пускай, он никому вреда не приносит. С чего началось-то? А у нас же тут верующие-то есть, много. Старухи-то. Он стал к им похаживать от нечего делать, а те его сагитировали. Ты не досажай ему с этим, а то он сердится. Не надо. Они безобидные люди.

Жена дяди Гриши померла лет семь назад, а жил он со средней дочерью, тридцатилетней Анной. Анна, рослая, скуластая, добрая, любила играть на гармошке. Играла, а играть толком не умела — тянула туда-сюда, слушала и о чем-то думала. Анна так сказала:

— Не лезь, Генка, к отцу! Понял?

— Чего замуж-то не выходишь? — поинтересовался Генка.

— За кого?

— Нашла бы какого-нибудь…

— Какого-нибудь мне не надо, одна проживу.

— Это же ненормально…

— Ничего. Нормально.

— Похаживает кто-нибудь ночами? Да?

— Не твое дело.

— Какие ведь все уверенные, все-то они знают! — обозлился Генка. — Все понимают. А спросишь — ответить толком не умеют. Не знаете, так хоть не делайте вид, что знаете. Чего ради человек на седьмом десятке в религию кинулся? Это же не просто так. Значит, было какое-то потрясение душевное. Или — опять ложь. Притворство.

– Зачем ему притворяться-то?

– А вот это я узнаю, не я буду, если не узнаю.

– А ты чего такой нервный-то? А, Ген?.. – спросила добрая Нюра. – У тебя же все хорошо, ты говоришь. Ты – вольная птица, чего тебе?

Генка показал, что ему скучно разговаривать с Нюрой, ушел.

Но он не оставил мысли про дядю Гришу, нет. Мысль эта больше и больше занимала его. Он и правда чего-то нервничал. Он чуял какой-то подвох с этой верой дяди Гриши, и это не давало покоя. Память Генки держала вовсе другое про дядю Гришу: когда тот пришел с войны, то много пил, гулял, хвастался орденами… Играл на гармошке и пел про немцев похабные частушки. Вообще уж никак не монах он по склонности души, не монах. Монахи, насколько понимал Генка, жизнь не любят, а дядя Гриша валялся в ней, как сытый жеребец в спелом овсе. У него и теперь, у кроткого, кулак-то – гиря пудовая: звезданет, неделю хворать будешь. И что, правда, такой уверовал в бога? Разве так можно? Верующая душа, по мнению Генки, – это такая душа, которая обязательно живет в хилом теле, кроме того, человек верующий должен быть немного глуп. И жить просто и одиноко. А дядя Гриша еще и хитрый… Как же это совместить?

И вот один раз под вечерок Генка пошел к дяде Грише. Прихватил бутылку водки, гитару…

– Здорово, дядь Гриша!

– Здорово, – дядя Гриша прищурил наметанный глаз на оттопыренный карман Генкиных брюк, ничего не сказал.

– Зашел поговорить.

– Ладно.

– А Нюраха… в кино небось учесала? Вот дьявольская выдумка-то еще? А? Ты теперь не ходишь?

– Нет.

– А чего ты такой мрачный?

– А ты чего такой… развеселый?

– Настрой хороший. Давай выпьем.

Дядя Гриша внутренне подсобрался, шевельнул желваками, насмешливо посмотрел на Генку… А потом – как-то вовсе беспомощно – на календарик под часами в углу: с календарика беззаботно пялилась красная цифирка – воскресенье. Дядя Гриша искал защиты и спасения хоть где-нибудь, хоть в чем-нибудь. Искуситель Генка невольно улыбнулся.

– Давай. Сегодня можно. Ты не думай, дядь Гриша, я ведь не нахал… не подонок. Я религию уважаю, но… Где у вас тут стаканы-то?

– В шкапчике. Чего запнулся-то? Уважаешь, но?.. Договаривай.

– Сейчас, сейчас… – Генка добыл пару стаканов, поставил на стол. – Достань закусить чего-нибудь. Не будем торопиться, будем обстоятельно ковырять души. Достань солонинки.

Дядя Гриша поднялся, грузный, открыл крышку в подпол.

– Нырни, там в кадушке капуста и огурцы.

Генка взял из шкафчика тарелку, обтер ее полотенцем… Глянул весело на дядю Гришу и полез в подполье. Он заметил, что суетится и волнуется: это бывало с ним, когда предстояло петь свои песни или когда он хотел понравиться какой-нибудь бабе, что, впрочем, тоже обозначало – петь. Он даже усмехнулся там, в темноте,

подумал: «Чего это я?» Генка положил в тарелку огурцов, капусты… Подал наверх дяде Грише. Выскочил, закрыл подпол, отряхнул брюки, опять весело и значительно глянул на дядю Гришу. Ему и впрямь было весело, и он правда волновался.

Налили по полстакашка.

— Я, когда был в институте, — вспомнил Генка и стал рассказывать, поглаживая стакан и улыбаясь, — мы после первого курса поехали на практику… не на практику, а так — подработать, жизнь повидать: в тайгу, с геологической партией.

— Ты чего институт-то бросил? — спросил дядя Гриша.

— Та-а… сложно это. Не сложно, а… Да ну ее к черту, в двух словах не скажешь, а долго объяснять — лень. Не показалось мне, что это ценность великая — диплом. А туда половина только из-за того и лезет — из-за диплома. Я посмотрел-посмотрел — и сделал жест: не хочу, все. Может, глупо, — Генка помолчал, заметно посерьезнел. Тряхнул волосатой головой. — А может, нет.

— Дурак.

— Может, дурак. Не сбивай меня с настроя. У меня какое-то сегодня… — Генка тоже глянул в угол на календарик. — Тоже сегодня какое-то красненькое настроение, — он засмеялся, погладил бороду. — Слушай. Шли по тайге, я как-то отбился в сторону от всех, отстал маленько, побежал догонять и оступился, ногу потянул. Не могу идти. Сел — сижу. Даже весело стало. Думаю: вернутся искать или нет? Шумихи же много про всякое это братство-товарищество. Вернутся, думаю, или нет? Посидел так с полчаса, слышу, вернулись — кричат. У меня ружье, мог выстрелить — услышали бы. Да и крикнуть, тоже услышали бы. Нет, сижу! — Генка сверкнул азартным глазом. — Бросят, думаю, искать или все же найдут? Вот же гадская натура! Вечно надо до края дойти, так уж понять чего-нибудь, где и понять-то… может, нельзя. Вот бросят, думаю, искать или будут искать? В общежитии же все вылупалисъ про таежную романтику, про… Ну-ка, фраера, — это же не песенку спеть под гитару это ж — человека найти! А уже солнышко садится, а до лагеря еще далеко-о. А? — Генка оскалился недобрым оскалом, уставился на дядю Гришу светлыми, немного безумными глазами. — Как вы насчет того, чтоб заночевать тут из-за одного дурака? Под открытым небушком, может, под дождем… А там, в зимовье, нары, одеяла, костер, спиртяга, две институтские обаяшки, которые прямо млеют от самодельных лыцарей, а? Вот задача-то? Ну-ка!..

— Нашли? — нетерпеливо и недовольно перебил дядя Гриша.

Генка, тоже недовольный, что сбили с подъема, неохотно досказал:

— Нашли. Хотели отметелить, но у меня ружье было — не получилось.

— Надо было… Чтобы зря не пугал людей.

— Да они не испугались! Это тоже пижонство: чтоб потом про них говорили, что они — мужики. Они молокососы. Все почти. Ну, давай.

Выпили, похрустели капустой.

— Не уважают тебя, Генка, — сказал дядя Гриша. Не то сказал, не то спросил, не то подумал. — Тебе ведь уж тридцать с лишним, пора это… к делу какому-то прирастать.

Генка взял гитару, попробовал что-то такое подобрать, раздумал, кинул ее на кровать, к подушкам, закурил. Настрой его, веселый и едкий, скособочился.

— Меня не уважают, да, — сказал он. — А что, обязательно, чтоб уважали? Ты из-за этого в бога поверил? — спросил. И сам ответил: — Из-за этого. Я тебя, кажется, понял. Между прочим, я бы тоже что-нибудь такое… придумал себе, но мне безразлично чужое мнение, вот моя слабина. Я в этом смысле какой-то нерусский, выродок какой-то. Но тебя я понимаю. Объясняю, что с тобой происходит: ты зачуял смерть и забеспокоился — тебе неохота просто так уходить, тебе надо, чтоб о тебе потом говорили: он же верующий был! Так?

— Дурак, — просто сказал дядя Гриша. Подумал и еще сказал: — Волосатик.

– Ты заметил, – оживился Генка, – что за то короткое время, пока мы беседуем, ты раз пять уже сказал слово «дурак»?

– Ты для чего пришел сюда?

– Понять, почему ты… Разоблачить тебя. Я не верю, что ты правда поверил в бога. Слушай, да кто же так в бога верит – повесил икону и заявил всем: я верующий! Ты что? Это же богохульство! Ты же ничего про бога не знаешь. Я больше тебя знаю…

– Сказал? – дядя Гриша угрожающе нагнул голову. – А теперь…

– Стоп! – воскликнул Генка. – Не надо. Не надо… Давай мирно беседовать, у нас же водки полно. Не надо наклонять голову, – Генка умоляюще прижал руки к груди. – Я не нарочно, я не… это… Я поторопился, не заинтриговал тебя своими познаниями про бога. Слушай!

Генка торопливо калил в стаканы. Дядя Гриша подозрительно следил за ним.

– Давай, дядя Гриша, духобор ты мой показушный. У нас с тобой близкие натуры, но у меня совсем нет честолюбия, хоть я и поэт. Мне тоже охота, понимаешь, знать что-нибудь такое, чтоб… Вот чтоб все бегали, суетились, кричали, боялись, а я бы посреди всех спокойно шел, никуда бы не торопился, не мельтешил, ничего бы не боялся, а только бы посмеивался. Но я не знаю, что такое надо знать? А? На бога меня не хватит. То есть это как-то неконкретно… Выпили! Счас решим.

Дядя Гриша, все еще не веря, что Генка не просто дурачится, опасливо отпил только половину налитого, чтоб потом, при худом исходе этой беседушки, не было разговоров, что они вместе сидели тут и пили водку.

– Ты хоть не в секте какой-нибудь? – спросил Генка, стараясь, чтоб тон его был как можно более дружелюбный. – А то по ошибке, может, затесался куда-нибудь… Нет? Христос же везде – Христос, бог, но по-разному понимают, как в него верить. Ты православной веры-то? Или ты не знаешь?

Дядя Гриша собрал на скатерти пальцы в кулак и потянул кулак к себе…

– Ишо, поганец такой, выговоришь эти слова, я тебя за столом прямо пристукну, – это было серьезно. Это было, пожалуй, страшно: лицо дяди Гриши, обветренное, посерело, и щетина на щеках стала совсем белой. – Твоими устами дерьмо жрать, а ты такие слова…

Генка испугался, но еще больше оскорбился, и злость тоже взяла. Он теперь отчетливо знал: правда его, а ложь, лохматая, бессовестная, поднялась и рычит. И вот – бывали мгновения, когда Генка с радостным изумлением убеждался, что плохо знает себя (он про себя думал, что безнадежно трусоват), – вот он, проглотив испуг, спокойно, смело посмотрел в глаза крайне обозленного человека. Посмотрел и крепко, и насмешливо сказал:

– Раб божий… да ты прямо как с цепи сорвался. Чего ты? Господь с тобой, батюшка, опомнись. Что я такого сказал? Сказал, что бывают случаи, когда баптисты, например, сбивают с толку… У них – тоже Христос, – и слова Генкины наливались покоем, силой. Он чувствовал, как он убедителен и правдив. И смелел больше, и пошел добирать всю правду, до дна. – Но ведь нет же ни баптизма, ни нормального христианства – это же ложь, у тебя-то. Ложь! Дядя Гриша, милый, ну зачем же ложь-то? Ведь ты же мужик, крестьянин, труженик, ну зачем же ложь-то? – Генка почувствовал, что к глазам его подступают слезы. Но это не остановило его, а даже как-то придало силы и совсем расковало на желанную, злую правду, на святую правду, на большую правду. Даже дядя Гриша оторопел и слушал. Редкостное вырывалось из груди Генкиной – нечто дорогое, свободное, наболевшее. – Как же жить-то, люди?! – Генка скривился, заплакал… Но он не злился на слезы, они только мешали ему, он их торопливо смахивал ладошкой. – Как же нам жить-то?! Когда – раз, и соврал, ничего не стоит! А? – Генка встал, потому что сидеть стало тесно, душно. – Ты меня упрекаешь… все упрекают: зачем институт бросил? Не хочу врать! Раз я не чувствую, что мне это позарез нужно, что же я буду притворяться-то? Мне без диплома тоже интересно жить. Но почему же… Эх! Взял, выдумал: верю. В кого?! За-че-ем? Всю жизнь под конец опозорил враньем… Да зачем тебе это надо-то? Убей, не пойму: зачем? И почему… Да взял вон топор в руки – и

под Быстрянский мост: грабить. Лучше ведь. Безгрешнее. Ты в бога поверил, говоришь… А что ты с ним сделал! В горшок его глиняный превратил — щей сварить. Ни себя не пощадил, ни… Вот сидишь, хлопаешь глазами — как про тебя думать? Как про всех про нас думать? Врать умеем. Легко умеем врать. Я же уважать тебя не могу, понимаешь? Ува-жать. Не могу — с души воротит. А вся твоя жизнь достойна уважения, а… Тьфу! Да кого же мне тогда уважать-то?! — Генка устал. Обессилел. Сел. — Взять и под занавес все испортить. «Мы — под наблюдением», «каждый наш поступок…» Ведь ты же совсем не думаешь про это про все, ты же чужие слова молотишь. Я же думал, ты не способен на ложь — вообще, зачем это мужику? Мало на свете притворных людей? Куда же мне теперь идти прикажете? К кому? Бесстыдники, вот так и даете пример… Ведь так же все рухнуть может! Все — в подпол вон, одна капуста и останется. На закусь. Выпьем, раб божий, — Генка налил в стаканы, качнул устало головой. — И ведь нашел же в душе такую способность! Наше-ол. Все думают, ее там нет, а она есть. Раз — и вот она: хоть стой, хоть падай.

Генка поднес стакан ко рту, и вмиг он у него вырвался из рук. Он даже сперва не понял — что это? Стакан рванулся и полетел вверх…

— Хватит лакать, — сказал дядя Гриша сдавленным злым голосом. — Распился тут.

Генка хотел встать, но дядя Гриша загреб ногой его стул, и Генка упал. И тотчас на него упал дядя Гриша, захватил его волосы и стал стукать головой об пол.

— Вот так ее… — приговаривал он. — Умную-то головушку. Вот так, вот так…

Генка упруго изогнулся под дядиной тушей, подпустил ему под брюхо ноги и двинул что было силы. Дядя взмахнул руками и грянулся затылком об стол. Стол упал, со стола с веселым разговором полетели стаканы, бутылка, тарелка… Генка понимал, что упускать инициативу нельзя, иначе массивный дядя подомнет его и расколотит всю голову. Он, впрочем, не очень и думал. Азарт схватки враз опалил его, подчинил своим законам: он действовал, как всякий нормальный боец, — вроде не соображая, но очень рассудочно и точно. Раза два угодил дяде кулаком в лоб, чтоб тот не сумел подняться, а когда дядя все же набычился и начал вставать, Генка ногой опять свалил его. Злости не было, было сознание опасности, что дядя Гриша поднимется и сгоряча схватит что-нибудь в руки, какой-нибудь предмет. И ломанет. Поэтому никак нельзя было дать ему подняться.

Так они напрягались: один хотел встать, другой не давал.

…Когда пришла Нюра, бой был в разгаре, и на полу валялось все, что могло упасть… А посередке молча возились дядя с племянником. Рубахи у обоих изодраны, кровь видна… Нюра насилу отодрала их друг от друга. Генке залепила пару оплеух, оттолкнула в угол, отца усадила на кровать.

— Поганец, — тяжело дыша, сказал дядя Гриша, вытирая драным рукавом рубахи кровь с губы. — Будет тут… слова разные потреблять… Разинул рот-то. Шшенок.

— Горько, горько, — говорил Генка, сплевывая сукровицу. — Ах, как горько!.. Речь идет о Руси! А этот… деляга, притворяться пошел. Фраер. Душу пошел насиловать… уважения захотел… Врать начал! Если я паясничаю на дорогах, — Генка постучал себе с силой в грудь, сверкнул мокрыми глазами, — то я знаю, что за мной — Русь: я не пропаду, я еще буду человеком. Мне есть к кому прийти! — Генка закричал, как на базаре, как на жадную, бессовестную торговку закричал, когда вокруг уже собрались люди и уже все равно и не стыдно кричать. — Мы же так опрокинемся!..

— Я те опрокинусь, — гудел негромко, с дрожью в голосе дядя Гриша, все вытирая окровавленный рот. — Я тя самого опрокину — башкой лохматой в помойное ведро вон. Шшенок.

Нюра налила в рукомойник воды, подвела сперва отца, вымыла ему лицо, приговаривая в том духе, что — бесстыдники, как дети малые, честное слово… Сцепи-и-лись. Чего не поделили?

— Россию! — высокопарно заявил Генка.

— Я вот те счас покажу Россию! — повысила голос и Нюра. — Трепач… На старика-то — с кулаками? Э-зх! А говоришь, книжки умные читаешь. Где же это написано, чтоб… Я вот не погляжу счас, что я баба, надаю по загривку-то, будешь знать.

– От тебя приму. Ты духовно чистый человек… Ты не врешь.

– А я што тебе?! – пошел дядя Гриша к Генке с мокрым лицом, но Нюра легко развернула его и сунула опять под рукомойник.

Потом дядя Гриша вытирался, а Генка мылся до пояса над шайкой, Нюра поливала ему из ковша. Потом она дала им свежие рубахи из сундука и из сундука же достала бутылку перцовки.

– От простуды берегла… но уж нате. И не коситесь друг на друга. Вот же глупые-то! Сказать кому, не поверят. Сцепились. Ты, Геночка, не зачитался случаем? Шибко уж языкастый да кулакастый стал. Смотри, а то, бывает, до дури зачитываются – с ума сходят. Давайте, и я с вами пригублю маленько. Миритесь.

Выпили втроем огневой славной перцовки… Посидели молча. Отошли.

– Спеть? – спросил Генка.

– Спой, – согласилась Нюра. – Только понятную какую-нибудь. А то у вас нынче не поймешь ни черта. Что за люди пошли! Живут непонятно, поют – и то непонятно.

– Сказано, – заговорил дядя Гриша, но заговорил как-то сипло, тонко. Прокашлялся. – Сказано: придет владыка мира… Сперва их четверо придут, потом один троих подомнет под себя и станет единовластно владычить. Это и будет – антихрист шестьсот шестьдесят шесть, три шестерки. И будет он владычить три с половиной года, но законы его будут действовать только три года. Но перед тем как он придет, он разошлет по свету своих агентов: они все тут перепутают. Вот Геночка наш преподобный и есть тот самый агент.

Генка начал было слушать про антихриста 666, но бросил и склонился к гитаре.

– Бледно, – сказал он. – Могли бы поярче что-нибудь выдумать. А потому бледно, что нет истинной веры. Поэтому и примитив такой. Итак, понятную! – объявил он. И запел:

То, ох, не ве-етер ветку кло-онит,
Не, ох, не дубра-авушка-а шуми-ит…
Бросил, задумался, посасывая разбитую губу.

– Чего ж бросил-то? Хорошо ведь начал, – сказала Нюра.

– А возможно, что это не притворство у вас, – заговорил Генка из своих дум. И посмотрел на дядю Гришу. – Возможно, что тут налицо элементарная самодеятельность, – он долго и участливо смотрел на дядю. Тот тоже глянул на него и обиженно отвернулся, поморщился даже от Генкиного словоблудия.

– Пой-ка лучше, правда.

Но Генка петь больше не стал, сидел, облокотившись на гитару, смотрел в окно.

– Корова-то!.. Матушка ты моя, давно уже ворота под-деет, стоит! – спохватилась Нюра, увидев корову у ворот. И побежала впустить ее.

Генка и дядя Гриша безучастно следили, как она пробежала по двору, открыла ворота и впустила большую комолую корову. И шла с ней по двору, и что-то ей говорила.

– Корова, – задумчиво сказал Генка. Непонятно, к чему он это сказал.

Дядя Гриша все смотрел, как Нюра сняла с колышка выжаренный знойным июльским солнышком подойник, ловким коротким движением подобрала край юбки у сгиба колен сзади, села доить. В дно подойника звонко ударили первые, невидимые отсюда струйки молока. И Генка мысленно, как въявь, увидел, как бьют в дно теплые стремительные стрелки, как пузырится на дне, а новые струйки попадают в пузырьки, они лопаются, и белые капельки-брызги летят невысоко и обильно и стекают по бокам ведра тонюсенькими ручейками. И скоро там все вспенится, и струйки уже не будут звенеть, а будут втыкаться в белую шапку с мягким,

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru ласковым, сдобным каким-то звуком. Сильная Нюра чуть покачивалась сидя – вправо-влево, вправо-влево – в такт, как двигались руки, и под белой кофточкой с цветочками шевелились ее широкие лопатки.

– Корова… – еще раз в раздумье сказал Генка. – Этой ночью напишу стихи. Если не затуманю голову. Давай по маленькой?

– Хватит, – сказал дядя Гриша. – Не хочу больше.

– Ну и я не буду, – решил Генка и отодвинул перцовку подальше от себя. – Лучше стихи напишу. Про корову.

Кляуза
Опыт документального рассказа.
Хочу попробовать написать рассказ, ничего не выдумывая. Последнее время мне нравятся такие рассказы – невыдуманные. Но вот только начал я писать, как сразу запнулся: забыл лицо женщины, про которую собрался рассказать. Забыл! Не ставь я такой задачи – написать только так, как было на самом деле, – я, не задумываясь, подробно описал бы ее внешность… Но я-то собрался иначе. И вот не знаю: как теперь? Вообще, удивительно, что я забыл ее лицо, – я думал: буду помнить его долго-долго, всю жизнь. И вот – забыл. Забыл даже: есть на этом лице бородавка или нету. Кажется, есть, но, может быть, и нету, может быть, это мне со зла кажется, что есть. Стало быть, лицо – пропускаем, не помню. Помню только: не хотелось смотреть в это лицо, неловко как-то было смотреть, стыдно, потому видно, и не запомнилось-то. Помню еще, что немного страшно было смотреть в него, хотя были мгновения, когда я, например, кричал: «Слушайте!..» Значит, смотрел же я в это лицо, а вот – не помню. Значит, не надо кричать и злиться, если хочешь что-нибудь запомнить. Но это так – на будущее. И потом: вовсе я не хотел тогда запомнить лицо этой женщины, мы в те минуты совершенно серьезно НЕНАВИДЕЛИ друг друга… Что же с ненависти спрашивать! Да и теперь, если уж говорить всю правду, не хочу я вспоминать ее лицо, не хочу. Это я за ради документальности решил было начать с того: как выглядит женщина. Никак! Единственное, что я хотел бы сейчас вспомнить: есть на ее лице бородавка или нет, но и этого не могу вспомнить. А прошло-то всего три недели! Множество лиц помню с детского возраста, прекрасно помню, мог бы подробно описать, если бы надо было, а тут… так, отшибло память, и все.

Но – к делу.

Раз уж рассказ документальный, то и начну я с документа, который сам и написал. Написал я его по просьбе врачей той больницы, где все случилось. А случилось все вечером, а утром я позвонил врачам и извинился за самовольный уход из больницы и объяснил, что случилось. А когда позвонил, они сказали, что ТА женщина уже написала на меня ДОКУМЕНТ, и посоветовали мне тоже написать что-то вроде объяснительной записки, что ли. Я сказал дрожащим голосом: «Конечно, напишу. Я напишу-у!..» Меня возмутило, что ОНА уже успела написать! Ночью писала! Я, приняв димедрол, спал, а она не спала – писала. Может, за это уважать надо, но никакого чувства, похожего на уважение (уважают же, говорят, достойных врагов!), не шевельнулось во мне. Я ходил по комнате и только мычал: «Мх ты…» Не то возмутило, что ОНА опередила меня, а то – что ОНА там написала. Я догадывался, что ОНА там наворочала. Кстати, почерк ЕЕ, не видя его ни разу, я, мне кажется, знаю. Лица не помню, не знаю, а почерк покажи – сразу сказал бы, что это ЕЕ почерк. Вот дела-то!

Я походил, помычал и сел писать.

Вот что я написал:

«Директору клиники пропедевтики 1-го мединститута им. Сеченова».

Я не знал, как надо: «главврачу» или «директору», но подумал и решил: лучше – «директору». Если там «главврач», то он или она, прочитав: «директору», подумает: «Ну уж!..» Потому что, как ни говорите, но директор – это директор.

Я писал дальше:

«Объяснительная записка. Хочу объяснить свой инцидент…»

Тут я опять остановился и с удовлетворением подумал, что в ЕЕ ДОКУМЕНТЕ наверняка нет слова «инцидент», а у меня – вот оно, извольте: резкое, цинковое словцо, которое – и само за себя говорит, и за меня говорит: что я его знаю.

«… с работником вашей больницы…»

Тут опять вот – «вашей». Другой бы подмахнул «Вашей», но я же понимаю, что больница-то не лично его, директора, а государственная, то есть общее достояние, поэтому, слукавь я, польсти с этим «Вашей», я бы уронил себя в глазах того же директора, он еще возьмет и подумает: «Э-э, братец, да ты сам безграмотный». Или – еще хуже – подумает: «Подхалим». Итак:

«Хочу объяснить свой инцидент с работником вашей больницы (женщина, которая стояла на вахте 2 декабря 1973 года, фамилию она отказалась назвать, а узнавать теперь, задним числом, я как-то по-человечески не могу, ибо не считаю это свое объяснение неким «заявлением» и не жду, и не требую никаких оргвыводов по отношению к ней), который произошел у нас 2 декабря. В 11 часов утра…»

В этом абзаце мне понравилось, во-первых, что «задним числом, я как-то по-человечески не могу…» Вот это «по-человечески» мне очень понравилось. Еще понравилось, что я не требую никаких «оргвыводов». Я даже подумал: «Может, вообще не писать?» Ведь получается, что я, благородный человек, все же – пишу на кого-то что-то такое… В чем-то таком кого-то хочу обвинить… Но как подумал, что ОНА-то уже написала, так снова взялся за ручку. ОНА небось не раздумывала! И потом, что значит – обвинить? Я не обвиняю, я объясняю, и «оргвыводов» не жду, больше того, не требую никаких «оргвыводов», я же и пишу об этом.

«В 11 часов утра (в воскресенье) жена пришла ко мне с детьми (шести и семи лет), я спустился по лестнице встретить их, но женщина-вахтер не пускает их. Причем я, спускаясь по лестнице, видел посетителей с детьми, поэтому, естественно, выразил недоумение – почему она не пускает? В ответ услышал какое-то злостное – не объяснение даже – ворчание: «Ходют тут!» Мне со стороны умудренные посетители тихонько подсказали: «Да дай ты ей пятьдесят копеек, и все будет в порядке». Пятидесяти копеек у меня не случилось, кроме того (я это совершенно серьезно говорю), я не умею «давать»: мне неловко. Я взял и выразил сожаление по этому поводу вслух: что у меня нет с собой пятидесяти копеек».

Я помню, что в это время там, в больнице, я стал нервничать. «Да до каких пор!..» – подумал я.

«Женщина-вахтер тогда вообще хлопнула дверью перед носом жены. Тогда стоявшие рядом люди хором стали просить ее: «Да пустите вы жену-то, пусть она к дежурному врачу сходит, может, их пропустят!»

Честное слово, так и просили все… У меня там, в больнице, слезы на глаза навернулись от любви и благодарности к людям. «Ну!..» – подумал я про вахтершу, но от всяческих оскорблений и громких возмущений я удерживался, можете поверить. Я же актер, я понимаю… Наоборот, я сделал «фигуру полной беспомощности» и выразил на лице большое огорчение.

«После этого женщина-вахтер пропустила жену, так как у нее же был пропуск, а я, воспользовавшись открытой дверью, вышел в вестибюль к детям, чтобы они не оставались одни. Женщина-вахтер стала громко требовать, чтобы я вернулся в палату…»

Тут я не смогу, пожалуй, передать, как ОНА требовала. ОНА как-то механически, не так уж громко, но на весь вестибюль повторяла, как в репродуктор: «Больной, вернитесь в палату! Больной, вернитесь в палату! Больной, я кому сказала: вернитесь сейчас же в палату!» Народу было полно; все смотрели на нас.

«При этом женщина-вахтер как-то упорно, зло, гадко не хочет понять, что я этого не могу сделать – уйти от детей, пока жена ищет дежурного врача. Наконец она нашла дежурного врача, и он разрешил нам войти. Женщине-вахтеру это очень не понравилось».

О, ЕЙ это не понравилось; да: все смотрели на нас и ждали, чем это кончится, а кончилось, что ЕЕ как бы отодвинули в сторону. Но и я, по правде сказать, радости не испытал – я чувствовал, что это еще не победа, я понимал тогда

сердцем и понимаю теперь разумом: ЕЕ победить невозможно.

«Когда я проходил мимо женщины-вахтера, я услышал ее недоброе обещание: «Я тебе это запомню». И сказано это было с такой проникновенной злобой, с такой глубокой, с такой истинной злобой!.. Тут со мной что-то случилось: меня стало мелко всего трясти…»

Это правда. Не знаю, что такое там со мной случилось, но я вдруг почувствовал: что — все, конец. Какой «конец», чему «конец» — не пойму, не знаю и теперь, но предчувствие какого-то очень простого, тупого конца было отчетливое. Не смерть же, в самом деле, я почувствовал — не ее приближение, но какой-то КОНЕЦ… Я тогда повернулся к НЕЙ и сказал: «Ты же не человек». Вот — смотрел же я на НЕЕ! — а лица не помню. Мне тогда показалось, что я сказал — гулко, мощно, показалось, что я чуть не опрокинул ЕЕ этими словами. Мне на миг самому сделалось страшно, я поскорей отвернулся и побежал догонять своих на лестнице. «О-о!.. — думал я про себя. — А вот — пусть!.. А то только и знают, что грозят!» Но тревога в душе осталась, смутная какая-то жуть… И правая рука дергалась — не вся, а большой палец, у меня это бывает.

«Я никак не мог потом успокоиться в течение всего дня. Я просил жену, пока она находилась со мной, чтобы она взяла такси — и я уехал бы отсюда прямо сейчас. Страшно и противно стало жить, не могу собрать воедино мысли, не могу доказать себе, что это — мелочь. Рука трясется, душа трясется, думаю: «Да отчего же такая сознательная, такая в нас осмысленная злость-то?» При этом — не хочет видеть, что со мной маленькие дети, у них глаза распахнулись от ужаса, что «на их папу кричат», а я ничего не могу сделать. Это ужасно, я и хочу сейчас, чтобы вот эта-то мысль стала бы понятной: жить же противно, жить неохота, когда мы такие.

Вечером того же дня (в шесть часов вечера) ко мне приехали из Вологды писатель В. Белов и секретарь Вологодского отделения Союза писателей поэт В. Коротаев. Я знал об их приезде (встреча эта деловая), поэтому заранее попросил моего лечащего врача оставить пропуск на них. В шесть часов они приехали — она не пускает. Я опять вышел… Она там зло орет на них. Я тоже зло стал говорить, что — есть же пропуск!.. Вот тут-то мы все трое получили…»

В вестибюле в то время было еще двое служителей — ОНА, видно, давала им урок «обращения», они с интересом смотрели. Это было, наверно, зрелище. Я хотел рвать на себе больничную пижаму, но почему-то не рвал, а только истерично и как-то неубедительно выкрикивал, показывая куда-то рукой: «Да есть же пропуск!.. Пропуск же!..» ОНА, подбоченившись, с удовольствием, гордо, презрительно — и все же лица не помню, а помню, что презрительно и гордо — тоже кричала: «Пропуск здесь — я!» Вот уж мы бесились-то!.. И ведь мы, все трое, — немолодые люди, повидали всякое, но как же мы суетились, господи! А она кричала: «А то — побежа-али!.. К дежурному вра-чу-у!.. — это ОНА мне. — Я побегаю! Побегаю тут!.. Марш на место! — это опять мне. — А то завтра же вылетишь отсудова!» Эх, тут мы снова, все трое, — возмущаться, показывать, что мы тоже законы знаем! «Как это — «вылетишь»?! Как это! Он больной!..» — «А вы — марш на улицу! Вон отсудова!..» Так мы там упражнялись в пустом гулком вестибюле.

«Словом, женщина-вахтер не впустила моих товарищей ко мне, не дала и там поговорить и стала их выгонять. Я попросил, чтобы они нашли такси…»

Тут наступает особый момент в наших с НЕЙ отношениях. Когда товарищи мои ушли ловить такси, мы замолчали… И стали смотреть друг на друга: кто кого пересмотрит. И еще раз хочу сказать — боюсь, надоел уж с этим — не помню ЕЕ лица, хоть убей. Но отлично помню — до сих пор это чувствую, — с какой враждебностью, как презрительно ОНА не верила, что я вот так вот возьму и уеду. Может, у НЕЙ драма какая была в жизни, может, ЕЙ много раз заявляли вот так же: возьму и сделаю!.. А не делали, она обиделась на веки вечные, не знаю, только ОНА прямо смеялась и особо как-то ненавидела меня за это трепаческое заявление — что я уеду. Мы еще некоторое время смотрели друг на друга… И я пошел к выходу. Тут было отделился от стенки какой-то мужчина и сказал: «Э-э, куда это?» Но я нес в груди огромную силу и удовлетворенность. «Прочь с дороги!» — сказал я, как Тарас Булъба. И вышел на улицу.

Был морозец, я в тапочках, без шапки… Хорошо, что больничный костюм был темный, а без шапок многие ходят… Я боялся, что таксист, обнаружив на мне больничное, не повезет. Но было уже и темновато. Я беспечно, не торопясь, стараясь не скользить

в тапочках, чтобы тот же таксист не подумал, что я пьяный, пошагал вдоль тротуара, оглядываясь назад, как это делают люди, которые хотят взять такси. Я шел и думал: «У меня же ведь еще хроническая пневмония… Я же прямо горстями нагребаю в грудь воспаление». Но и тут же с необъяснимым упорством и злым удовлетворением думал: «И пусть».

А друзья мои в другом месте тоже ловили такси. На мое счастье я скоро увидел зеленый огонек…

Все это я и рассказал в «Объяснительной записке». И когда кончил писать, подумал: «Кляуза, вообще-то…» Но тут же сам себе с дрожью в голосе сказал:

— Ну, не-ет!

И послал свой ДОКУМЕНТ в больницу.

Мне этого показалось мало: я попросил моих вологодских друзей тоже написать ДОКУМЕНТ и направить туда же. Они написали, прислали мне, так как точного адреса больницы не знали. Я этот их ДОКУМЕНТ в больницу не послал — я и про свою-то «Объяснительную записку» сожалею теперь, — а подумал: «А напишу-ка я документальный рассказ! Попробую, по крайней мере. И приложу оба ДОКУМЕНТА».

Вот — прикладываю и их ДОКУМЕНТ.

г. Москва, ул. Погодинская,

клиника пропедевтики,

Главному врачу

Настоящим письмом обращаем Ваше внимание на следующий возмутительный случай, происшедший в клинике 2 декабря в период с 18 до 19 часов. Приехав из другого города по делам, связанным с писательской организацией, мы обратились к дежурной с просьбой разрешить свидание с находившимся в клинике Шукшиным В. М. Вначале дежурная разрешила свидание и порекомендовала позвонить на этаж. Но, узнав фамилию больного, вдруг переменила решение и заявила: «К нему я вас не пущу». На вопрос «почему?» — она не ответила и вновь надменно и грубо заявила, что «может сделать, но не сделает», что «другим сделает, а нам не сделает». Такие действия для нас были совершенно непонятны, тем более что во время наших объяснений входили и выходили посетители, которым дежурная демонстративно разрешала свидания. Один из них благодарил дежурную весьма своеобразно, он сказал, уходя: «Завтра с меня шоколадка» (мы не предполагали, что в столичной клинике может существовать такая форма благодарности, и шоколадом не запаслись).

В.М. Шукшин, которому сообщили о нашем приходе другие больные, спустился с этажа и спросил дежурную, почему она не разрешает свидание, хотя у нас выписан пропуск. Она ответила грубым криком и оскорблением. Она не разрешила нам даже поговорить с В.М. Шукшиным и выгнала из вестибюля. На вопрос, каковы ее имя и фамилия, она не ответила и демагогически заявила, что мы пьяны. Разумеется, это была заведомая ложь и ничем не прикрытое оскорбление.

Считаем, что подобные люди из числа младшего медицинского персонала позорят советскую медицину, и требуем принять административные и общественные меры в отношении медработника, находившегося на дежурстве во второй половине дня 2 декабря с. г.

Ответственный секретарь Вологодской писательской организации В. Коротаев.
Писатель В. Белов.
И — число и подписи.
…Прочитал сейчас все это… И думаю: «Что с нами происходит?»

Чужие
Попалась мне на глаза книжка, в ней рассказывается о царе Николае Втором и его родственниках.

Книжка довольно сердитая, но, по-моему, справедливая. Вот что я сделаю: я сделаю из нее довольно большую выписку, а потом объясню, зачем мне это нужно. Речь идет

о дяде царя, великом князе Алексее.

«Алексей с детства был назначен отцом своим, императором Александром Вторым, к службе по флоту и записан в морское училище. Но в классы он не ходил, а путался по разным театрикам и трактирчикам, в веселой компании французских актрис и танцовщиц. Одна из них, по фамилии Мокур, совсем его замотала.

– Не посоветуешь ли ты, – спрашивал Александр Второй военного министра Милютина, – как заставить Алексея, чтобы посещал уроки в училище?

Милютин отвечал:

– Единственное средство, Ваше Величество: назначьте учителем госпожу Мокур. Тогда великого князя из училища и не вызвать.

Такого-то ученого моряка император Александр Третий, родной брат его, не побоялся назначить генерал-адмиралом – главою и хозяином русского флота.

Постройка броненосцев и портов – золотое дно для всякого нечестного человека, охочего погреть руки около народного имущества. Генерал-адмирал Алексей, вечно нуждаясь в деньгах на игру и женщин, двадцать лет преобразовывал русский флот. Бессовестно грабил казну сам. Не меньше грабили его любовницы и сводники, поставляющие ему любовниц.

Сам Алексей ничего не смыслил в морском деле и совершенно не занимался своим ведомством. Пример его как начальника шел по флоту сверху вниз. Воровство и невежество офицеров росли с каждым годом, оставаясь совершенно безнаказанными. Жизнь матросов сделалась невыносимою. Начальство обкрадывало их во всем: в пайке, в чарке, обмундировке. А чтобы матросы не вздумали против поголовного грабежа бунтовать, офицерство запугивало их жестокими наказаниями и грубым обращением. И продолжалось это безобразие ни много ни мало – двадцать лет с лишком.

Ни один подряд по морскому ведомству не проходил без того, чтобы Алексей с бабами своими не отщипнул (я бы тут сказал – не хапнул. – В. Ш.) половину, а то и больше. Когда вспыхнула японская война, русское правительство думало прикупить несколько броненосцев у республики Чили. Чилийские броненосцы пришли в Европу и стали у итальянского города Генуи. Здесь их осмотрели русские моряки. Такие броненосцы нашему флоту и не снились. Запросили за них чилийцы дешево: почти свою цену. И что же? Из-за дешевизны и разошлось дело. Русский уполномоченный Солдатенков откровенно объяснил:

– Вы должны просить, по крайней мере, втрое дороже. Потому что иначе нам не из-за чего хлопотать. Шестьсот тысяч с продажной цены каждого броненосца получит великий князь. Четыреста тысяч надо отдать госпоже Балетта. А что же останется на нашу-то долю – чинам морского министерства?

Чилийцы, возмущенные наглостью русских взяточников, заявили, что их правительство отказывается вести переговоры с посредниками, заведомо недобросовестными. Японцы же, как только русская сделка расстроилась, немедленно купили чилийские броненосцы. Потом эти самые броненосцы топили наши корабли при Цусиме.

Госпожа Балетта, для которой Солдатенков требовал с чилийцев четыреста тысяч рублей, – последняя любовница Алексея, французская актриса. Не дав крупной взятки госпоже Балетта, ни один предприниматель или подрядчик не мог надеяться, что великий князь даже хоть примет его и выслушает.

Один француз изобрел необыкновенную морскую торпеду. Она поднимает могучий водяной смерч и топит им суда. Француз предложил свое изобретение русскому правительству. Его вызвали в Петербург. Но здесь – только за то, чтобы произвести опыт в присутствии Алексея, – с него спросили для госпожи Балетта двадцать пять тысяч рублей. Француз не имел таких денег и поехал восвояси, несолоно хлебав. В Париж явился к нему японский чиновник и купил его изобретение за большие деньги.

– Видите ли, – сказал японец, – несколькими месяцами раньше мы заплатили бы вам гораздо дороже, но теперь у нас изобретена своя торпеда, сильнее вашей.

– Тогда зачем же вы покупаете мою?

– Просто затем, чтобы ее не было у русских.

Как знать, не подобная ли торпеда опрокинула «Петропавловск» и утопила экипаж его вместе с Макаровым – единственным русским адмиралом, который походил на моряка и знал толк в своем деле?

В последние десять лет жизни Алексеем вертела, как пешкою, Балетта. Раньше генерал-адмиральшею была Зинаида Дмитриевна, герцогиня Лейхтенбергская, урожденная Скобелева (сестра знаменитого «белого генерала»). К этой чины морского ведомства ходили с прямыми докладами, помимо Алексея. А он беспечно подписывал все, чего его красавица хотела.

Красным дням генерал-адмирала Алексея положила конец японская война. У японцев на Тихом океане оказались быстроходные крейсера и броненосцы, а у нас – старые калоши. Как хорошо генерал-адмирал обучал свой флот, вот свидетельство: «Цесаревич» впервые стрелял из орудий своих в том самом бою, в котором японцы издырявили его в решето. Офицеры не умели командовать. Суда не имели морских карт. Пушки не стреляли. То и дело топили своих, либо нарывались на собственные мины. Тихоокеанская эскадра засела в Порт-Артуре, как рак на мели. Послали на выручку балтийскую эскадру адмирала Рождественского. Тот, когда дело дошло до собственной шкуры, доложил царю, что идти не с чем: брони на броненосцах – металлические лишь чуть сверху, а снизу деревянные. Уверяют, будто царь сказал тогда Алексею:

– Лучше бы ты, дядя, воровал вдвое да хоть брони-то строил бы настоящие!

После погибели «Петропавловска» Алексей имел глупость показаться в одном петербургском театре вместе со своей любовницей Балетта, обвешанною бриллиантами. Публика чуть не убила их обоих. Швыряли в них апельсинными корками, афишами, чем попало. Кричали:

– Эти бриллианты куплены на наши деньги! Отдайте! Это – наши крейсеры и броненосцы! Подайте сюда! Это – наш флот!

Алексей перестал выезжать из своего дворца, потому что на улицах ему свистели, швыряли в карету грязью. Балетта поспешила убраться за границу. Она увезла с собой несколько миллионов рублей чистыми деньгами, чуть не гору драгоценных камней и редкостное собрание русских старинных вещей. Это уж, должно быть, на память о русском народе, который они вместе с Алексеем ограбили.

Цусима докончила Алексея. Никогда с тех пор, как свет стоит, ни один флот не испытывал более глупого и жалкого поражения. Тысячи русских людей пошли на дно вместе с калошами-судами и пушками, которые не достреливали до неприятеля. Нескольких часов японской пальбы достаточно было, чтобы от двадцатилетней воровской работы Алексея с компанией остались только щепки на волнах. Все сразу сказалось: и грабительство подлецов-строителей, и невежество бездарных офицеров, и ненависть к ним измученных матросов. Накормил царев дядя рыб Желтого моря русскими мужицкими телами в матросских рубахах и солдатских шинелях!

После отставки своей Алексей перекочевал за границу со всеми накраденными богатствами своими, под бочок к своей Балетте. Накупил дворцов в Париже и других приятных городах и сорил золото, украденное у русского народа, на девок, пьянство и азартные игры, покуда не помер от «случайной простуды».

Прочитал я это, и вспомнился мне наш пастух, дядя Емельян. Утром, еще до солнышка, издалека слышался его добрый, чуть насмешливый сильный голос:

– Бабы, коров! Бабы, коров!

Как начинал слышаться этот голос весной, в мае, так радостно билось сердце: скоро лето!

Потом, позже, он не пастушил уже, стар стал, а любил ходить удить на Катунъ. Я тоже любил удить, и мы, бывало, стояли рядом в затоне, молчали, наблюдая каждый

за своими лесками. У нас не принято удить с поплавками, а надо следить за леской: как зачиркает она по воде, задрожит — подсекай, есть. А лески вили из конского волоса: надо было изловчиться надергать белых волос из конского хвоста; кони не давались, иной меринок норовит задом накинуть — лягнуть, нужна сноровка. Я добывал дяде Емельяну волос, а он учил меня сучить лесу на колене.

Я любил удить с дядей Емельяном: он не баловался в это дело, а серьезно, умно рыбачил. Хуже нет, когда взрослые начинают баловаться, гоготать, шуметь… Придут с неводом целой оравой, наорут, нашумят, в три-четыре тони огребут ведро рыбы, и — довольные — в деревню: там будут жарить и выпивать.

Мы уходили подальше куда-нибудь и там стояли босиком в воде. До того достоишь, что ноги заломит. Тогда дядя Емельян говорил:

— Перекур, Васька.

Я набирал сушняка, разводили огонек на берегу, грели ноги. Дядя Емельян курил и что-нибудь рассказывал. Тогда-то я и узнал, что он был моряком и воевал с японцами. И был даже в плену у японцев. Что он воевал, меня это не удивляло — у нас все почти старики где-нибудь когда-нибудь воевали, но что он — моряк, что был в плену у японцев — это интересно. Но как раз об этом он не любил почему-то рассказывать. Я даже не знаю, на каком корабле он служил: может, он говорил, да я забыл, а может, и не говорил. С расспросами я стеснялся лезть, это у меня всю жизнь так, слушал, что он сказывал, и все. Он не охотник был много говорить: так, вспомнит что-нибудь, расскажет, и опять молчим. Я его как сейчас вижу: рослый, худой, широкий в кости, скулы широкие, борода пегая, спутанная… Стар он был, а все казался могучим. Один раз он смотрел-смотрел на свою руку, которой держал удилище, усмехнулся, показал мне на нее, на свою руку, глазами.

— Трясется. Дохлая… Думал, мне износу не будет. Ох, и здоровый же был! Парнем гонял плоты… От Манжурска подряжались и гнали до Верх-Кайтана, а там городские на подводах увозили к себе. А в Нуйме у меня была знакомая краля… умная женщина, вдовуха, но лучше другой девки. А нуйминские — поперек горла, што я к ей… ну, проведаю ее. Мужики в основном дулись. Но я на их плевал с колокольни, на дураков, ходил, и все. Как плыву мимо, плот причаливаю, привязываю его канатами — и, значит, к ей. Она меня привечала. Я бы и женился на ей, но вскорости на службу забрили. А мужики чего злятся? Што вот чужой какой-то повадился… Она всем глянулась, но все — женатые, а вот все одно — не ходи. Но не на того попали. Раз как-то причалились, напарник мой к бабке одной проворной, та самогонку добрую варганила, а я — к зазнобе своей. Подхожу к дому-то, а там меня поджидают: человек восемь стоят. Ну, думаю, столько-то я раскидаю. Иду прямо на их… Двое мне навстречу: «Куда?» Я их сгреб обоих за грудки, как двинул в тех, которые сбоку-то поджидали, штук пять свалил. Они на меня кучей, у меня сердце разыгралось, я пошел их шшолкать: как достану какого, так через дорогу летит, аж глядеть радостно. Тут к им ишо подбежали, а сделать ничо не могут… Схватились за колья. Я тоже успел, жердину из прясла выдернул и воюю. Сражение целое было. У меня жердь-то длинная — они не могут меня достать. Камнями начали… Бессовестные. Они, нуйминские, сроду бессовестные. Старики, правда, унимать их стали — с камнями-то: кто же так делат! И так уж человек двенадцать на одного, да ишо с камнями. Сражались мы так до-олго, я спотел… Тут какая-то бабенка со стороны крикнула: плот-то!.. Они, собаки, канаты перерубили — плот унесло. А внизу — пороги, его там растрепет по бревнышку, весь труд даром. Я бросил жердь — и догонять плот. От Нуймы до Быстрого Исхода без передыху гнал — верст пятнадцать. Где по дороге, а где по камням прямо — боюсь пропустить-то плот-то. Обгонишь, и знать не будешь, так я уж берегом старался. От бежал!.. Никогда в жизни больше так не бегал. Как жеребец. Догнал. Подплыл, забрался на плот — слава те господи! А тут вскорости и пороги; там двоим-то — еле-еле управиться, а я один: от одного весла к другому, как тигра бегаю, рубаху скинул… Управился. Но бежал я тада!.. — дядя Емельян усмехнулся и качнул головой. — Никто не верил, што я его у Быстрого Исхода догнал: не суметь, мол. Захочешь — сумеешь.

— А потом чего не женился?

— Когда?

— Ну, со службы-то пришел…

— Да где! Тада служили-то по сколь!.. Я раньше время пришел, с пленом-то с этим,

и то… лет уж тридцать пять было – ждать, что ли, она будет? Эх, и умная была! Вырастешь – бери умную. Красота бабская, она мужику на первое время только – повыхваляться, а потом… – дядя Емельян помолчал, задумчиво глядя на огонек, посипел «козьей ножкой». – Потом требуется другое. У меня и эта баба с умом была, чего зря грешить.

Бабку Емельяниху я помнил: добрая была старуха. Мы с ними соседи были, нашу ограду и их огород разделял плетень. Один раз она зовет меня из-за плетня:

– Иди-ка суда-то!

Я подошел.

– Ваша курица нанесла – вишь, сколь! – показывает в подоле с десяток яиц. – Вишь, подрыла лазок под плетнем и несется тут. На-ка. С пяток матри (матери) отдай, а пяток, – бабка оглянулась кругом и тихо досказала, – этим отнеси, на сашу (шоссе).

На шоссе (на тракте) работали тогда заключенные, и нас, ребятишек, к ним подпускали. Мы носили им яйца, молоко в бутылках… Какой-нибудь, в куртке в этой, тут же выпьет молоко из горлышка, оботрет горлышко рукавом, накажет:

– Отдай матери, скажи: «Дяденька велел спасибо сказать».

– Я помню бабку, – сказал я.

– Ниче… хорошая была баба. Заговоры знала.

И дядя Емельян рассказал такую историю.

– Сосватали мы ее – с братом старшим ездили, с Егором, она – вон талицкая (это через речку), – привезли… Ну, свальба (свадьба)… Гуляем. А мне только пинжак новый сшили, хороший пинжак, бобриковый… Как раз к свадьбе и сшили-то, Егорка же и дал деньжонок, я-то как сокол пришел. И у меня прямо со свадьбы этот пинжак-то сперли. Меня аж горе взяло. А моя говорит: «Погоди-ка, не кручинься пока: не вернут ли». Где, думаю, вернут! Народу столько перебыло… Но знаю, што – не из нашенских кто-то, а из талицких, наверно: наш-то куда с им денется? А шили-то тада на дому прямо: приходил портняжка с машинкой, кроил тут же и шил. Два дня, помню, шил: тут же и питался, и спал. Моя чо делат: взяла лоскут от шитья – лоскутов-то много осталось – обернула его берестой и вмазала глиной в устье печки, как раз, где дым в чувал загибает, самый густой идет. Я не понял сперва: «Чего, мол, ты?» – «А вот, говорит, его теперь каждое утро корежить будет, вора-то. Как затопим печку, так его начнет корежить, как ту бересту». И чо ты думаешь? Через три дня приходит из Талицы мужичонка, какая-то родня ее, бабе-то моей… С мешком. Пришел, положил мешок в угол, а сам – бух, на коленки передо мной. «Прости, говорит, грех попутал: я пинжак-то унес. Поглянулся». Вытаскивает из мешка мой пинжак и гусиху с вином, теперь – четверть, а раньше звали – гусиха. Вот, вишь… «Не могу, говорит, жить – измаялся».

– Побил его? – спросил я.

– Да ну!.. Сам пришел… Зачем же? Выпили эту его гусиху, да я ишо одну достал, и ту выпили. Не одни, знамо дело: я Егора позвал с бабой, ишо мужики подошли – чуть не новая свадьба!.. Я рад без ума – пинжак-то добрый. Годов десять его носил. Вот какая у меня старуха была. Она тада-то не старуха была, а вот… знала. Царство небесное.

Было у них пятеро сыновей и одна дочь. Троих на этой войне убило, а эти в город уехали. Доживал дядя Емельян один. Соседи по очереди приходили, топили печку, есть давали… Он лежал на печке, не стонал, только говорил:

– Спаси вас бог… Зачтется.

Как-то утром пришли – он мертвый.

Для чего же я сделал такую большую выписку про великого князя Алексея? Я и сам не знаю. Хочу растопырить разум, как руки, – обнять две эти фигуры, сблизить их,

что ли, чтобы поразмыслить, – поразмыслить-то сперва и хотелось, – а не могу. Один упрямо торчит где-то в Париже, другой – на Катуни, с удочкой. Твержу себе, что ведь – дети одного народа, может, хоть злость возьмет, но и злость не берет. Оба они давно в земле – и бездарный генерал-адмирал, и дядя Емельян, бывший матрос… А что, если бы они где-нибудь ТАМ – встретились бы? Ведь ТАМ небось ни эполетов, ни драгоценностей нету. И дворцов тоже, и любовниц, ничего: встретились две русских души. Ведь и ТАМ им не о чем было бы поговорить, вот штука-то. Вот уж чужие так чужие – на веки вечные. Велика матушка-Русь!

Штрихи к портрету
Некоторые конкретные мысли Н.Н.Князева, человека и гражданина

1. «О государстве»

В райгородок Н. приехали эти, которые по вертикальной стене на мотоциклах ездят. На бывшей базарной площади соорудили большой балаган из щитов и брезента, и пошла там трескотня с паузами; над площадью целыми днями висела синяя дымка и остро пахло бензином. Трескотня начиналась в 11 часов и заканчивалась в 19. По стене гоняли супруги Кайгородовы – так гласила афиша.

Кайгородовы остановились в здешней гостинице.

Как-то вечером к ним в дверь постучали.

Кайгородов, лежа на кровати, читал газету, жена его, рослая, круглолицая спортсменка, гладила платье.

– Да, – сказал Кайгородов. Отложил газету, сел, подобрал дальше под кровать босые ноги. – Войдите!

Вошел невысокий человек лет сорока пяти, голубоглазый, в галстуке, усмешливый, чуть нахальный.

– Здравствуйте! – сказал человек весело. – Разрешите познакомиться: Князев. Николай Николаич. Вас я знаю: наблюдал вашу работу.

Кайгородов, крепкий красивый мужик, пожал руку гостя. Тот слегка тоже пожал руку хозяина и поклонился Кайгородовой.

– Садитесь, – пригласил Кайгородов.

– Спасибо, – Князев сел и оглядел жилище спортсменов. – А номерок-то… не очень. А?

Кайгородов пожал плечами.

– Ничего. Временно же…

– Я, собственно, вот чего: хотел пригласить вас к себе домой, – сказал Князев. И вопросительно посмотрел сперва на Кайгородову, потом на Кайгородова.

– Зачем? – спросил прямодушный Кайгородов.

– Да так – в гости. Попьем чайку… – Князев смотрел на хозяев весело и бесцеремонно. – Я здесь близко живу. Иконами интересуетесь?

– Иконами?.. Нет. А что?

– У моей тетки есть редкие иконы. Она, конечно, трясется над ними, но когда приезжают знающие люди – показывает. Кроме того, если ей поднести стаканчик водки, – тоже покажет.

– Нет, не интересуемся.

– Ну, просто так пойдемте.

– Да зачем? – все не понимал хозяин.

– В гости, боже мой! – воскликнул Князев. – Что тут такого?

Жена Кайгородова посмотрела на мужа… Тот тоже глянул на нее. Они ничего не понимали.

– Ну? – продолжал Князев. – Чего переглядываться-то? Я же не приглашаю вас на троих сообразить.

– Слушайте, – перебил Кайгородов, человек прямой и несдержанный, – я не понимаю, чего вам надо?

– Тю-тю-тю, – с улыбкой, мирно сказал Князев. – Сразу – обида. Зачем же обижаться-то? Я просто приглашаю вас в гости. Что тут обидного?

– Да я не обижаюсь… – спортсмен несколько смутился. – Но с другой стороны… я не пойму…

– А я объясняю: пойдемте ко мне в гости, – опять мирно, терпеливо пояснил Князев. – И будет как раз с той стороны, с какой…

– Не пойду, – отчетливо, тоже изо всех сил спокойно сказал Кайгородов. Он опять обозлился. Обозлило вконец это нахальное спокойствие гостя, его какая-то противная веселость. – Вам ясно? Не пойду. Не хочу пить чай.

Князев от души засмеялся.

– Да почему?!

Кайгородов почувствовал себя в дураках. Ноздри его крупного красивого носа запрыгали.

– Гриша, – сказала жена предостерегающе.

Кайгородов встал… Пристально глядя на гостя, нашел под кроватью – ногой – тапочки, надел их и пошел к выходу.

– Пойдемте, – велел он Князеву тихо, но решительно.

– Гриша! – опять сказала жена.

– Все в порядке, – обернулся с порога Кайгородов. – Чего? – и требовательно посмотрел на сидящего Князева. И еще раз сказал: – Пойдемте.

– Куда? – спросил Князев.

– В коридор. Там объясните мне: чего вам надо.

– Да я здесь объясню, зачем в коридор-то? – похоже, гость струсил, потому что оставил веселость. И говорил теперь, обращаясь больше к хозяйке. – Вы не подумайте, ради бога, что я чего-нибудь тут… преследую, просто захотелось поговорить с приезжими людьми. К нам ведь не часто жалуют. Почему вы обиделись-то? – и Князев просто, кротко посмотрел на хозяина. – Я вовсе не хотел вас обидеть. Извините, если уж вам так не по нутру мое приглашение… – Князев встал со стула, – как умел, так и пригласил.

Кайгородову опять неловко стало за свою несдержанность. Он вернулся от двери, сел на кровать. Хмурился и не глядел на гостя.

– Гриша, – заговорила жена, – ты ведь свободен… Я-то не могу, – сказала она гостю, – мы завтра уезжаем, надо приготовиться…

– Я знаю, что вы завтра уезжаете, поэтому и пришел, – сказал Князев. – Вы уж извините, что так нескладно вышло… Хотел, как лучше. Вас, наверно, покоробило, что я хихикать стал? – повернулся он к Кайгородову. – Это я от смущения. Все же вы люди… заметные.

– Да ну, чего тут!.. – сказал Кайгородов. И посмотрел на жену. – Можно сходить, вообще-то…

– Сходи. А я буду собираться пока.

– Пойдемте! – подхватил Князев. – Посмотрите как живут провинциалы… Все равно ведь так лежите.

Кайгородов, совсем уже было собравшийся с духом, опять заколебался. Вопросительно посмотрел на Князева, Князев поглядел на него опять весело и с каким-то необъяснимым нахальством. Это изумляло Кайгородова.

– Пойдемте, – решительно сказал он. И встал.

– Ну вот, – с облегчением, как бы сам себе молвил Князев. – А то – в коридор…

Кайгородову теперь уже даже хотелось поскорей выйти отсюда с Князевым – понять, наконец, что это за человек и чего он хочет. Что тут что-то неспроста, он не сомневался, но ему стало любопытно, и он был достаточно сильный и смелый человек, чтобы надеяться на себя. Зато теперь жена явно обеспокоилась.

– А может быть, лучше… – начала было она, но муж не дал ей договорить:

– Я скоро, Галя.

– Мы быстро, – сказал и Князев.

Всякое смущение у Кайгородова прошло. Он скоренько оделся, и они вышли с Князевым из номера. На прощание Князев слегка опять поклонился Кайгородовой и сказал:

– Спокойной ночи.

На дворе уже стемнело. На улицах городка совсем почти не было освещения, только возле гостиницы, у подъезда, лежал на земле светлый круг, а дальше было темно и тревожно.

– Вон там вон мой дом, – сказал Князев. – Метров триста. Когда вышли из светлого круга и ступили в темень, Кайгородов остановился прикурить.

– Ну, так в чем дело? – спросил он, когда прикурил. Он не видел лица Князева, но чувствовал его веселый, нахальный взгляд, поэтому говорил прямо и жестко.

– Вас как по батюшке-то? – спросил Князев.

– Что надо, я спрашиваю?

Они стояли друг против друга.

– Господи! – насмешливо сказал Князев. – Да вы что, испугались, что ли?

– Что надо?! – в третий раз спросил Кайгородов строго. – Я знаешь, всяких этих штук не люблю…

– Тьфу! – горько и по правде изумился Князев. – Да вы что?! Ну, спортсмены… На чай приглашаю, в гости! Вот мой дом – рукой подать. У меня жена дома, дети, двое… Тетка в боковой комнате. Ну, дают спортсмены. Вы что?

– А что это за манера такая… странная? – сказал Кайгородов. – Хаханьки какие-то…

– Манера-то? – Князев хмыкнул. – Заметил!.. – и он двинулся в темноту. Кайгородов пошел следом. – Манера, которая вырабатывается от постоянного общения с человеческой глупостью и тупостью. Вот побьешься-побьешься об нее лбом – и начнешь хихикать, – Князев говорил серьезно, негромко, с грустью. – Сперва, знаете, кричать хочется, ругаться, а потом уж – смешно.

Кайгородов не знал, что говорить. Да и говорить сейчас было бы крайне неудобно: он продвигался наугад, несколько раз натыкался на Князева. Тот протягивал назад руку и говорил:

– Осторожно.

– Темно, как…

– Про Спинозу что-нибудь слышали? – спросил Князев.

– Слышал… Мыслитель такой был?

– Мыслитель, совершенно верно. Философ. Приехал он однажды в один городок, остановился у каких-то людей… Целыми днями сидит, что-то пишет. А ведь простые люди, они как? – сразу на смех: глядите, мол, ничего человек не делает, только пишет. Что остается делать Спинозе?

– Вы спрашиваете, что ли?

– Спрашиваю. Что делать мыслителю?

– Что делать?.. Что он и делал – писать.

Князев помолчал… Потом сказал грустно:

– Это – легко сказать… спустя триста лет. А он был живой человек, его всякие эти… штуки, как вы говорите, тоже из себя выводили. Вот и мой дом, – сказал Князев. – Я хочу только предупредить… – Князев остановился перед воротцами. – Жена у меня… как бы это поточное – не сильно приветливая. Вы все поймете. Главное, не обращайте внимания, если она будет чего-нибудь… недовольство проявлять, например.

Кайгородов очень жалел, что пошел черт знает куда и с кем.

– Может, не ходить? – если она недовольство проявляет.

Князев – слышно было – тихо заругался матом.

– А что делал Спиноза? Вы же сами сказали! Смелей, спортсмен! Пусть нас осудят потом – если исторически окажутся умней нас, – Князев – чувствовалось – намеренно вызывал в себе некую непреклонность, которую он ослабил на время общения с незнакомыми людьми. – Не бойтесь.

– Да ничего я не боюсь! – раздраженно сказал Кайгородов. – Но поперся с вами зря, это уж точно.

– Как сказать, как сказать, – молвил Князев, открывая сеничную дверь. – Тут осторожней – головой можно удариться.

В большой светлой комнате, куда вошли, бросалось в глаза много телевизоров. Они стояли везде: на столе, на стульях… Потом Кайгородов увидел сухощавую женщину в кути у печки, она чистила картошку. Кайгородова поразили ее глаза: враждебно-вопросительные, умные, но сердитые.

– Здравствуйте, – сказал Кайгородов, наткнувшись на сердитый взгляд женщины.

– Это товарищ из госцирка, – пояснил Князев. – Приготовь нам чайку. А мы пока побеседуем… Проходите сюда, товарищ Кайгородов.

Они прошли в горницу – тоже большая комната, очень много книг, большой письменный стол и тоже полно телевизоров.

– Почему столько телевизоров-то? – спросил Кайгородов.

– Ремонтирую, – сказал Князев, сразу подсаживаясь к столу и извлекая из ящика какие-то бумаги. – Спиноза стекла шлифовал, а я вот… паяю, тем самым зарабатываю на хлеб насущный. А мастерская у нас маленькая, поэтому приходится домой брать, – он достал бумаги – несколько общих тетрадей, – посмотрел на них. Он не улыбался, он был озабочен, как-то привычно озабочен, покорно. – Садитесь, пожалуйста. Чаю, возможно, не будет… Может, и будет, если совесть проснется. Но дело не в этом. Садитесь, я не люблю, когда стоят, – Князев говорил так, как если бы говорил и делал это же самое много раз уже – торопился, не интересовался, как воспримут его слова. Весь он был поглощен тетрадями, которые

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru держал в руках. — Здесь, — продолжал он и качнул тетради, — труд многих лет. Я вас очень прошу… — Князев посмотрел на Кайгородова, и глаза его… в глазах его стояла серьезная мольба и тревога. — Это размышления о государстве.

— О государстве? — невольно переспросил Кайгородов.

Князев пропустил мимо ушей его удивление.

— Мне нужно полтора часа вашего времени… — тут Князев уловил чутким слухом нечто такое, что встревожило и рассердило его. Он вскочил с места и скорым шагом, почти бегом, устремился к двери. Открыл ее одной рукой и сказал громко: — Я прошу! Я очень пр-рошу!.. Не надо нам твоего чая, только не грохай, пожалуйста, и не психуй!

Из той комнаты ему что-то негромко ответили, на что Князев еще раз четко, раздельно, с некоторым отчаянием, но и зло сказал:

— Я очень тебя прошу! О-чень! — и захлопнул дверь. Вернулся к столу, взял опять тетради в обе руки и, недовольный, сказал: — Психуем.

Кайгородов во все глаза смотрел на необычного человека. Князев положил тетради на стол, а одну взял, раскрыл на коленях… Погладил рукой исписанные страницы. Рука его чуть дрожала.

— Государство, — начал он, но еще не читать начал, а так пока говорил, готовясь читать, — очень сложный организм, чтобы извлечь из него пользу, надо… он требует осмысления в целом. Не в такой, конечно, обстановке… — он показал глазами на дверь. — Но… тут уж ничего не сделаешь. Тут моя ошибка: не надо было жениться. Пожалел дуру… А себя не пожалел. Но это все — так, прелюдия. Вот тут и есть, собственно, осмысление государства, — Князев погладил опять страницы, кашлянул и стал читать: — «Глава первая: схема построения целесообразного государства. Государство — это многоэтажное здание, все этажи которого прозваниваются и сообщаются лестницей. Причем этажи постепенно сужаются, пока не останется наверху одна комната, где и помещается пульт управления. Смысл такого государства состоит в следующем…» Мобилизуйте вашу фантазию, и пойдем нанизывать явления, которые нельзя пощупать руками, — Князев поднял глаза от тетради, посмотрел на Кайгородова, счел нужным добавить еще: — Русский человек любит все потрогать руками — тогда он поймет, что к чему. Мыслить категориями он еще не привык. Вам смысл ясен, о чем я читаю?

Кайгородов засмотрелся в глаза Князева, не сразу ответил.

— Вам ясно?

— Ясно, — сказал Кайгородов.

— «Представим себе, — продолжал читать Князев, — это огромное здание — в разрезе. А население этажей — в виде фигур, поддерживающих этажи. Таким образом, все здание держится на фигурах. Для нарушения общей картины представим себе, что некоторые фигуры на каком-то этаже — «х» — уклонились от своих обязанностей, перестали поддерживать перекрытие: перекрытие прогнулось. Или же остальные фигуры, которые честно держат свой этаж, получат дополнительную нагрузку, закон справедливости нарушен. Нарушен также закон равновесия — на пульт управления летит сигнал тревоги. С пульта управления запрос: где провисло? Немедленно прозваниваются все этажи… Люди доброй воли плюс современная техника — установлено: провисло на этаже «у». С пульта управления…»

— Вы это серьезно все? — спросил Кайгородов.

— То есть? — не понял Князев.

— Вы серьезно этим занимаетесь?

Князев захлопнул тетрадь, положил ее на стопку других… Чуть подумал и спрятал все тетради в ящик стола. Встал и бесцветным, тусклым голосом сказал:

— До свиданья.

Кайгородову стало вдруг жалко Князева, он почувствовал всю его беззащитность, беспомощность в этом железном мире.

— Слушай, — сказал он добро и участливо, — ну что ты дурака-то валяешь? Неужели тебе никто не говорил…

— Я понимаю, понимаю, — негромко перебил его Князев, — двигатель мотоцикла — это конкретно, предметно… Я понимаю. Центробежную силу тоже, в конце концов, можно… представить. Так ведь? Здесь — другое, — Князев, не оборачиваясь, тронул ящик стола. Смотрел на Кайгородова грустно и насмешливо. — До свиданья.

Кайгородов качнул головой, встал.

— Ну и ну, — сказал он. И пошел к выходу.

— Там не ударьтесь в сенях, — напомнил Князев. И голос его был такой обиженный, такая в нем чувствовалась боль и грусть, что Кайгородов невольно остановился.

— Пойдем ко мне? — предложил он. — У нас там буфет до двенадцати работает… Выпьем по маленькой.

Князев удивился, но грусть его не покинула, и из нее-то, из грусти, он еще хотел улыбнуться.

— Спасибо.

— А что? Пойдем! Что одному-то сидеть? Развеемся маленько, — Кайгородов сам не знал, что способен на такую жалость, он прямо растрогался. Шагнул к Князеву… — Брось ты обижаться — пойдем! А?

Князев внимательно посмотрел на него. Видно, он не часто встречал такое к себе участие. У него даже недоверие мелькнуло в глазах. И Кайгородов уловил это недоверие.

— Как тебя зовут-то? Ты не сказал…

— Николай Николаевич.

— Николай… Меня — Григорий. Микола, пойдем ко мне. Брось ты свое государство! Там без нас разберутся…

— Вот так мы и рассуждаем все. Но вы же даже не дослушали, в чем там дело у меня. Как же так можно? — у Князева родилась слабая надежда, что его хоть раз в жизни дослушают до конца, поймут. — Вы дослушайте… хотя бы главы две. А?

Кайгородов помолчал, глядя на Князева… Почувствовал, что жалость его к этому человеку стала слабеть.

— Да нет, чего же?.. Зря ты все это, честное слово. Послушай доброго совета: не смеши людей. У тебя образование-то какое?

— Какое есть, все мое.

— Ну, до свиданья.

— До свиданья.

«Подосвиданькались» довольно жестко. Кайгородов ушел. А Князев сел к столу и задумался, глядя в стену. Долго сидел так, барабанил пальцами по столу… Развернулся на стуле к столу, достал из ящика тетради, раскрыл одну, недописанную, склонился и стал писать.

В дверь заглянула жена. Увидела, что муж опять пишет, сказала с тихой застарелой злостью:

— Ужинать.

— Я работаю, — тоже со злостью, привычной, постоянной, негромко ответил Николай

Николаевич, не отрываясь от писания. — Закрой дверь.

2. «О смысле жизни»
Летом, в июле, Князев получил отпуск и поехал с семьей отдыхать в деревню. В деревне жили его тесть и теща, молчаливые жадные люди; Князев не любил их, но больше деваться некуда, поэтому он ездил к ним. Но всякий раз предупреждал жену, что в деревне он тоже будет работать — будет писать. Жене его, Алевтине, очень хотелось летом в деревню, она не ругалась и не ехидничала.

— Пиши… Хоть запишись вовсе.

— Вот так. Чтобы потом не было: «Опять за свое!» Чтобы этого не было.

— Пиши, пиши, — говорила Алевтина грустно. Она больно переживала эту неистребимую, несгораемую страсть мужа — писать, писать и писать, чтобы навести порядок в государстве, ненавидела его за это, стыдилась, умоляла — брось! Ничего не помогало. Николай Николаевич сох над тетрадями, всюду с ними совался, ему говорили, что это глупость, бред, пытались отговорить… Много раз хотели отговорить, но все без толку.

У Князева в деревне были знакомые люди, и он, как приехали, пошел их навестить. И в первом же семействе встретил человека, какого и хотела постоянно встретить его неуемная душа. Приехал в то семейство — тоже отдохнуть — некто Сильченко, тоже зять, тоже горожанин и тоже несколько ушибленный общими вопросами. И они сразу сцепились.

Это произошло так.

Князев в хорошем, мирном расположении духа прошелся по деревне, понаблюдал, как возвращаются с работы домой «колхозники-совхозники» (он так называл сельских людей), поздоровался с двумя-тремя… Все спешили, поэтому никто с ним не остановился, только один попросил прийти глянуть телевизор.

— Включишь — снег какой-то идет…

— Ладно, потом как-нибудь, — пообещал Князев.

И вот пришел он в то семейство, где был Сильченко. Он там знал старика, с которым они говорили. То есть говорил обычно Князев, а старик слушал, он умел слушать, даже любил слушать. Слушал, кивал головой, иногда только удивлялся:

— Ишь ты!.. — негромко говорил он. — Это сурьезно. Старик как раз был в ограде, и тот самый Сильченко тоже был в ограде, налаживали удочки.

— А-а! — весело сказал старик. — Поудить нету желания? А то мы вот налаживаемся с Юрьем Викторовичем.

— Не люблю, — сказал Князев. — Но посижу с вами на бережку.

— Рыбалку не любите? — спросил Сильченко, худощавый мужчина таких же примерно лет, что и Князев, — около сорока. — Чего так?

— Трата времени.

Сильченко посмотрел на Князева, отметил его нездешний облик — галстук, запонки с желтыми кружочками… Сказал снисходительно:

— Отдых есть отдых, не все ли равно, как тратить время.

— Существует активный отдых, — отбил Князев эту нелепую попытку учить его, — и пассивный. Активный предполагает вместе с отдыхом какое-нибудь целесообразное мероприятие.

— От этих мероприятий и так голова кругом идет, — посмеялся Сильченко.

— Я говорю не об «этих мероприятиях», а о целесообразных, — подчеркнул Князев. И посмотрел на Сильченко твердо и спокойно. — Улавливаете разницу?

Сильченке тоже не понравилось, что с ним поучительно разговаривают… Он тоже был человек с мыслями.

– Нет, не улавливаю, объяснитесь, сделайте милость.

– Вы кто по профессии?

– Какое это имеет значение?

– Ну все же…

– Художник-гример.

Тут Князев вовсе осмелел; синие глаза его загорелись веселым насмешливым огнем; он стал нахально-снисходителен.

– Вы в курсе дела, как насыпаются могильные курганы? – спросил он. Чувствовалось удовольствие, с каким он подступает к изложению своих мыслей.

Сильченко никак не ждал этих курганов, он недоумевал.

– При чем здесь курганы?

– Вы видели когда-нибудь, как их насыпают?

– А вы видели?

– Ну, в кино-то видели же!

– Ну… допустим.

– Представление имеете. Я хочу, чтобы вы вызвали умственным взглядом эту картину: как насыпают курган. Идут люди, один за одним, каждый берет горсть земли и бросает. Сперва засыпается яма, потом начинает расти холм… Представили?

– Допустим.

Князев все больше воодушевлялся – это были дорогие минуты в его жизни: есть перед глазами слушатель, который хоть ерепенится, но внимает.

– Обрати тогда внимание вот на что: на несоответствие величины холма и горстки земли. Что же случилось? Ведь вот – горсть земли, – Князев показал ладонь, сложенную горстью, – а с другой стороны – холм. Что же случилось? Чудо? Никаких чудес: накопление количества. Так создавались государства – от Урарту до современных суперов. Понятно? Что может сделать слабая человеческая рука?.. – Князев огляделся, ему на глаза попалась удочка, он взял ее из рук старика и показал обоим. – Удочка. Вот тоже произведение рук человеческих – удочка. Верно? – он вернул удочку старику. – Это – когда один человек. Но когда они беспрерывно идут друг за другом и бросают по горстке земли – образуется холм. Удочка – и холм, – Князев победно смотрел на Сильченко и на старика тоже, но больше на Сильченко. – Улавливаете?

– Не улавливаю, – сказал Сильченко вызывающе. Его эта победность Князева раздражала. – При чем здесь одно и при чем другое? Мы заговорили, как провести свободное время… Я высказал мысль, что чем бы ты ни занимался, но если тебе это нравится, значит, ты отдохнул хорошо.

– Бред, галиматья, – сурово и весело сказал Князев. – Рассуждение на уровне каменного века. Как только вы начинаете так рассуждать, вы тем самым автоматически выходите из той беспрерывной цепи человечества, которая идет и накопляет количество. Я же вам дал очень наглядный пример: как насыпается холм! – Князев хоть был возбужден, но был и терпелив. – Вот представьте себе: все прошли и бросили по горстке земли… А вы – не бросили! Тогда я вас спрашиваю: в чем смысл вашей жизни?

– Чепуха какая-то. Вот уж действительно галиматья-то. Какой холм? Я вам говорю, вот я приехал отдохнуть… На природу. Мне нравится рыбачить… вот я и буду рыбачить. В чем дело?

– И я тоже приехал отдохнуть.

– Ну?..

– Что?

– Ну и что, холм, что ли, будете насыпать здесь?

Князев посмеялся снисходительно, но уже и не очень терпеливо, зло.

– То нам непонятно, когда мыслят категориями, то не устраивает… Такой уж наглядный пример! – самому Князеву этот пример с холмом, как видно, очень нравился, он наскочил на него случайно и радовался ему, его простоте и разительной наглядности. – В чем смысл нашей жизни вообще? – спросил он прямо.

– Это – кому как, – уклонился Сильченко.

– Нет, нет, вы ответьте: в чем всеобщий смысл жизни? – Князев подождал ответа, но нетерпение уже целиком овладело им. – Во всеобщей же государственности. Процветает государство – процветаем и мы. Так? Так или не так?

Сильченко пожал плечами… Но согласился – пока, в ожидании, куда затем стрельнет мысль Князева.

– Ну, так…

– Так. Образно говоря опять же, мы все несем на своих плечах известный груз… Вот представьте себе, – еще больше заволновался Князев от нового наглядного примера, – мы втроем – я, вы, дедушка – несем бревно. Несем – нам его нужно пронести сто метров. Мы пронесли пятьдесят метров, вдруг вы бросаете нести и отходите в сторону. И говорите: «У меня отпуск, я отдыхаю».

– Так что же, отпусков не нужно, что ли? – заволновался Сильченко. – Это же тоже бред сивой кобылы.

– В данном конкретном случае отпуск возможен, когда мы это бревешко пронесем положенных сто метров и сбросим – тогда отдыхайте.

– Не понимаю, чего вы хотите сказать, – сердито заговорил Сильченко. – То холм, то бревно какое-то… Вы приехали отдыхать?

– Приехал отдыхать.

– Что же, значит, бросил бревно по дороге? Или как… по-вашему-то?

Князев некоторое время смотрел на Сильченко проникновенно и строго.

– Вы что, нарочно, что ли, не понимаете?

– Да я серьезно не понимаю! Глупость какая-то, бред!.. Бестолочь какая-то! – Сильченко чего-то нервничал и потому говорил много лишнего. – Ну полная же бестолочь!.. Ну, честное слово, ничего же понять нельзя. Ты понимаешь что-нибудь, дед?

Старик с интересом слушал эту умную перепалку. С вопросом его застали врасплох.

– А? – встрепенулся он.

– Ты понимаешь хоть что-нибудь, что этот… товарищ молотит здесь?

– Я слушаю, – сказал дед неопределенно.

– А я ничего не понимаю. Ни-чего не понимаю!

– Да вы спокойней, спокойней, – снисходительно и недобро посоветовал Князев. – Успокойтесь. Зачем же нервничать-то?

– А зачем тут чепуху-то пороть?!

– Да ведь вы даже не вошли в суть дела, а уже – чепуха. Да почему же… Когда же мы научимся рассуждать-то логически!

– Да вы сами-то…

– Раз не понял, значит, – чепуха, бред. Ве-ли-ко-леп-ная логика! Сколько же мы так отмахиваться-то будем!

– Хорошо, – взял себя в руки Сильченко. И даже присел на дедов верстак. – Ну-ка, ясно, просто, точно – что вы хотите сказать? Нормальным русским языком. Так?

– Вы где живете? – спросил Князев.

– В Томске.

– Нет, шире… В целом, – Князев широко показал руками.

– Не понимаю. Ну, не понимаю! – стал опять нервничать Сильченко. – В каком «в целом»? В чем это? Где?

– В государстве живете, – продолжал Князев. – В чем лежат ваши главные интересы? С чем они совпадают?

– Не знаю.

– С государственными интересами. Ваши интересы совпадают с государственными интересами. Сейчас я понятно говорю?

– Ну, ну, ну?

– В чем же тогда ваш смысл жизни?

– Ну, ну, ну?

– Да не «ну», а уже нужна черта: в чем смысл жизни каждого гражданина?

– Ну, в чем?.. Чтобы работать, быть честным, – стал перечислять Сильченко, – защищать Родину, когда потребуется…

Князев согласно кивал головой. Но ждал чего-то еще, а чего, Сильченко никак не мог опять уловить.

– Это все правильно, – сказал Князев. – Но это все – ответвления. В чем главный смысл? Где главный, так сказать, ствол?

– В чем?

– Я вас спрашиваю.

– А я не знаю. Ну, не знаю, что хошь делай! Ты просто дурак! Долбо… – и Сильченко матерно выругался. И вскочил с верстака. – Чего тебе от меня надо?! – закричал он. – Чего?! Ты можешь прямо сказать? Или я тебя попру отсюда поленом!.. Дурак ты! Дубина!..

Князеву уже приходилось попадать на таких вот нервных. Он не испугался самого этого психопата, но испугался, что сейчас сбегутся люди, будут таращить глаза, будут… Тьфу!

– Тихо, тихо, тихо, – сказал он, отступая назад. И грустно, и безнадежно смотрел на неврастеника-гримера. – Зачем же так? Зачем кричать-то?

– Чего вам от меня надо?! – все кричал Сильченко. – Чего?

Из дома на крыльцо вышли люди…

Князев повернулся и пошел вон из ограды.

Сильченко еще что-то кричал вслед ему.

Князев не оглядывался, шел скорым шагом, и в глазах его была грусть и боль.

– Хамло, – сказал он негромко. – Ну и хамло же… Разинул пасть, – помолчал и еще проговорил горько: – Мы не поймем – нам не треба. Мы лучше орать будем. Вот же хамло!

На другой день, поутру к Нехорошевым (тесть Князева) пришел здешний председатель сельсовета. Старики Нехорошевы и Князев с женой завтракали.

– Приятного аппетита, – сказал председатель. И посмотрел внимательно на Князева. – С приездом вас.

– Спасибо, – ответил Князев. У него сжалось сердце от дурного предчувствия. – С нами… не желаете?

– Нет, я позавтракал, – председатель присел на лавку. И опять посмотрел на Князева.

Князев окончательно понял: это по его душу. Вылез из-за стола и пошел на улицу. Через минуту-две за ним вышел и председатель.

– Слушаю, – сказал Князев. И усмехнулся тоскливо.

– Что там у вас случилось-то? – спросил председатель. Один раз (в прошлом году, летом тоже) председатель уже разбирал нечто подобное. Тогда на Князева тоже пожаловались, что он – «пропагандирует». – Опять мне чего-то там рассказывают…

– А что рассказывать-то?! – воскликнул Князев. – Боже мой! Что там рассказывать-то! Хотел внушить товарищу… более ясное представление…

– Товарищ Князев, – сухо, казенным голосом заговорил председатель, – мне это неловко делать, но я должен…

– Да что должен-то? Что я?.. Не понимаю, ей-богу, что я сделал? Хотел просто объяснить ему… а он заорал, как дурной. Я не знаю… Он нормальный, этот Сильченко?

– Товарищ Князев…

– Ну, хорошо, хорошо. Хорошо! – Князев нервно сплюнул. – Больше не буду Черт с ними, как хотят, так и пусть живут. Но, боже ж мой!.. – опять изумился он. – Что я такого ему сказал?! Наводил на мысль, чтобы он отчетливее понимал свои задачи в жизни!.. Что тут такого?

– Человек отдыхать приехал… Зачем его тревожить. Не надо. Не надо, товарищ Князев, прошу вас.

– Хорошо, хорошо. Пусть, как хотят… Ведь он же гример!

– Ну.

– Я хотел его подвести к мысли, чтобы он выступил в клубе, рассказал про свою работу…

– Зачем?

– Да интересно же! Я бы сам с удовольствием послушал. Он же, наверно, артистов гримирует… Про артистов бы рассказал.

– А при чем тут… жизненные задачи?

– Он бы сделал полезное дело! Я с того и начал вчера: идет вереница людей, каждый берет горсть земли и бросает – образуется холм. Холм тире целесообразное государство. Если допустим, что смысл жизни каждого гражданина в том, чтобы,

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru образно говоря…

– Товарищ Князев, – перебил председатель, – мне сейчас некогда: у меня в девять совещание… Я как-нибудь вас с удовольствием послушаю. Но еще раз хочу попросить…

– Хорошо, хорошо, – торопливо, грустно сказал Князев. – Идите на совещание. До свиданья. Я не нуждаюсь в вашем слушанье.

Председатель удивился, но ничего не сказал, пошел на совещание.

Князев глядел вслед ему… И проговорил негромко, как он имел привычку говорить про себя:

– Он с удовольствием послушает! Обрадовал… Иди заседай! Штаны протрете на ваших заседаниях, заседатели. Одолжение он сделает – послушает…

3. «О проблеме свободного времени»
Как-то Николай Николаевич Князев был в областном центре по делам своей телевизионной мастерской. И случился у него там свободный день – с утра и до позднего вечера, до поезда. Князев подумал-подумал – куда бы пойти? И пошел в зоопарк. Ему давно хотелось посмотреть удава.

Удава в зоопарке не было. Князев походил по звериному городку, постоял около льва… Потом услышал звонкие детские голоса и пошел в ту сторону. На большой площадке, огороженной проволочной сеткой, катались на пони. А около сетки толпилось много людей. Катались в основном детишки. Визг, восторги!.. Князев тоже остановился и стал смотреть. Ничего особенного, а смотреть, правда, интересно. Перед Князевым стояла какая-то шляпа и тоже выказывала большой интерес к езде на пони.

– Во, во, что делают! – говорил негромко мужчина в шляпе. – Радости-то, радости-то!

Князева подмывало сказать, что это-то и хорошо, и славно: и радость людям, и государству польза: взрослый билет – 20 копеек, детский – 10 копеек. Это как раз пример того, как можно разумно организовать отдых. Кому, скажите, жалко истратить 30 копеек на себя и на ребенка! А радости, действительно, сколько! Князеву даже жалко стало, что с ним нет его ребятишек.

– Да ведь… это – прощаются! – все говорил мужчина в шляпе. Он ни к кому не обращался, себе говорил. – Как, скажи, в кругосветное путешествие уезжают!

– Психологически – это для них кругосветное путешествие, – сказал Князев.

Мужчина в шляпе оглянулся… И Князева обдало сивушным духом. Мужчина молодой и очень приветливый.

– Да? Радости-то сколько!

– Да, да, – неохотно сказал Князев. И отошел от шляпы. Он физически не переносил пьяных, его тошнило.

Он еще немного посмотрел, как бегают запряженные пони, как радуются дети… Потом посмотрел птиц, потом обезьянок… Один дурак-обезьян (мужского пола) начал ни с того ни с сего делать нечто непотребное. Женщины застыдились и не знали, куда смотреть, а мужчины смеялись и смотрели на обезьяна. Князев похихикал тоже, украдкой поглядел на женщин и пошел из зоопарка – надоело.

Возле зоопарка, на углу, было кафе, и Князев зашел перекусить.

Он взял кофе с молоком, булочку и ел, стоя возле высокого мраморного столика. Думал о людях и обезьянах: в том смысле, что – неужели люди произошли от обезьян?

– Тут свободно? – спросили Князева.

Князев поднял голову – стоит с подносом тот самый молодой человек, который давеча так живо интересовался детской ездой на пони.

– Свободно, – сказал Князев. Ничего больше не оставалось – столик, и правда, свободный.

Молодой человек расставил на столике стаканы с кофе, тарелочки с блинчиками, тарелочку с хлебом, тарелочку с холодцом… Отнес поднос, вернулся и стал значительно и приветливо смотреть на Князева.

– Примешь?.. – спросил он. – Полстакашка.

Князев энергично закрутил головой:

– Нет, нет.

– Чего? – удивился молодой человек, доставая из внутреннего кармана нового пиджака бутылку, при этом облокотился на столик, набулькал в стакан, заткнул бутылку и опустил ее опять в карман. – Не пьешь?

– Не пью, – недружелюбно ответил Князев.

Молодой человек осадил стакан, шумно выдохнул и принялся закусывать.

– Вот и решена проблема свободного времени, – не без иронии сказал Князев, имея в виду бутылку.

– М-м? – не понял молодой человек.

– Все, оказывается, просто?

– Чего просто?

– Ну, с проблемой свободного времени-то.

Молодой человек жевал, но внимательно слушал Князева.

– Какого свободного времени?

– Ну, шумят, спорят… А тут, – Князев показал глазами на оттопыренную полу пиджака, – полная ясность.

Молодой человек был приветлив и на редкость терпелив. Он не понимал, о чем говорит Князев, но нетерпения или раздражения какого-нибудь не выказал. Он с удовольствием ел и смотрел на Князева. Больше того, ему было приятно, что с ним говорят, и он напрягался, чтобы понять, о чем говорят, – хотелось тоже поддержать разговор.

– Кто спорит? – терпеливо и вежливо спросил он.

Князев жалел уже, что заговорил.

– Ну, спорят: как проводить свободное время. А вам вот… все совершенно ясно.

Молодой человек и теперь не понял, но согласно кивнул головой. И сказал:

– Да, да.

– Зверей смотрели? – спросил Князев.

– А шел мимо – зайти, что ли, думаю? Пацаном был, помню… А ведь… это – дорого их держать-то? Это ж сколько он сожрет за сутки!

– Кто?

– Слон, хотя бы.

Князев пожал плечами:

– Черт его знает.

– Но, если б не было выгоды, их не держали бы, – тут же и заметил молодой человек. – Выгода, конечно, есть. Верно же?

Князев обиделся за государство: намекнули, что государство только и делает, что преследует голую выгоду.

– Верно… Но вы пропустили познавательный процесс. Не все же идут – от нечего делать: идут – познать что-либо для себя.

– Ну-у уж!.. – неопределенно сказал молодой человек. Прожевал, проглотил и докончил: – Чего тут познавать-то? Слона, что ли? Дерьма-то, – он огляделся, опять облокотился на стол и занялся бутылкой.

Князева обозлила спокойная уверенность, налаженность, с какой этот молодой дурак проделывал свою подлую операцию: булькал из бутылки в стакан.

– Сейчас пойду и заявлю, – сказал Князев.

Молодой человек так изумился, что даже рот приоткрыл. Он изумился, но и готов был улыбнуться – так это не походило на правду, это заявление Князева.

– Что? – спросил Князев. – Удивительно? А надо бы.

Молодой человек уловил серьезную злость в голосе Князева и поверил, что, – наверно, правда: человек готов на него донести. Он сам тоже обозлился… Но не знал пока, как поступить. Он долго и внимательно смотрел на Князева.

– Что? – опять спросил Князев.

– Ничего, – значительно сказал молодой человек. Красивое смуглое лицо его уже не было ни приветливым, ни добродушным.

Князев поскорей доел булочку, пошел из кафе. Молодой человек проводил его взглядом до самого выхода.

– Скоты, – вслух сказал Князев, выйдя из кафе. – В зоопарк, видите ли, поперся! Сиди уж у бочки где-нибудь… нагружайся.

Князев хотел перейти улицу, но машинам загорелся зеленый свет; Князев стоял на краю тротуара и тихо негодовал на пьянчуг. Потом машинам дали передохнуть. Князев вместе со всеми перешел улицу и пошел себе не спеша по той стороне улицы – просто так, от нечего делать: до поезда было еще долго. Он постепенно забыл про пьянчуг, наладился было думать про город в целом, как его кто-то тронул сзади за плечо… Князев остановился и оглянулся: стоит перед ним опять этот, в шляпе… Смотрит.

– Что такое?! – резко сказал Князев. Он испугался.

– Хотел спросить… – мирно заговорил молодой человек. – Я давеча не понял: ты правда, что ли?..

– Что «правда»?

– Заложить-то хотел.

Князев несколько помолчал…

– Ничего я не хотел… Но внушить кое-что надо бы! – вдруг осмелел он. И посмотрел прямо в глаза выпивохе. Тот, кстати, не так уж и пьян-то был, только глаза блестели и – разило.

– Ну-ка? – согласился молодой человек.

Князев оглянулся… Стояли они недалеко от скверика, где были скамейки. Он направился туда, молодой человек – за ним.

Сели на скамейку.

– Видите ли, в чем дело, – заговорил Князев серьезно, – я ничего в принципе не имею против того, что люди выпивают. Но существует разумная организация людей, в целом эта организация называется – государство. И вот представьте себе, что все в государстве начнут выпивать…

– Я же не на работе, – возразил молодой человек тоже серьезно. – Я – в свой выходной.

– Во-от! – поймал его Князев на слове. Он все больше увлекался. – Вот об этом и стоит поговорить. Выходной день… Что это такое? Допустим, мы возводим с вами некоторую… Допустим, что мы монтируем какую-то стальную конструкцию…

– Я электрик.

– Прекрасно! Представьте, мы ведем где-то очень сложную сеть. Выходной день – мы напились. Протрезвились, отработали неделю – опять напились…

– Что я, алкаш, что ли?

– Я хочу сказать: нам государство предоставляет выходной день… даже два теперь – для чего?

Молодой человек молчал. Смотрел на Князева.

– Для того, – продолжал Князев, – чтобы мы, во-первых, отдохнули, во-вторых, – не отстали в своем развитии. Вот вы: получили выходной день и не знаете, что с ним делать. Шел мимо зоопарка: «Зайти, что ли?» Ну, а если бы мимо… не знаю, мимо аптеки шел: «Зайти, что ли, касторки взять?» Так, что ли?

Молодой человек стиснул зубы и продолжал смотреть на Князева. Князев не заметил, что он стиснул зубы. Ему смешно стало от этой «касторки». Он посмеялся и уже добродушнее продолжал:

– Нельзя же… таким деревом-то плыть по реке: куда прибьет, туда и ладно. Человек получает свободное время, чтобы познать что-нибудь полезное для себя. Нужное. И чем выше его умственный уровень, тем он умнее как работник. Ну что же: так мы и будем веками дуть эту сивуху? – Князев посмотрел на молодого человека, но опять не обратил внимания, как тот изменился. – Хватит уж, хватит, мил человек, хватит ее дуть-то, пора и честь знать. Государство ускоряет ритм, это давно уже не телега, это уже – лайнер! А мы – за этим лайнером-то – все пешком, пешком… Все наклоняемся да в стакан булькаем. Тьфу! О каком же движении тут можно говорить! Куда же мы на этот лайнер – с красными-то глазами? Блевать там?..

– Сука, – с дрожью в голосе, негромко сказал молодой человек, – карьеру на мне хочешь состроить, – и он наклонился к Князеву, как давеча наклонялся к столику…

Князев сперва не понял, что он хочет сделать. И когда уже получил первый толчок в бок, то и тогда не понял еще, что его бьют. Понял это, когда получил еще пару тычков в бок и в живот, и довольно больных. Но не пугали его и эти тычки, а испугали близкие, злые, какие-то даже безумные глаза молодого человека.

– Ты!.. – взволновался Князев и хотел вскочить. Но этот, в шляпе, держал его за полу, а другой рукой насаживал в бок, насаживал успевал. И как-то у него это получалось не широко, не шумно, со стороны едва ли заметно.

– А-а!.. – закричал Князев. Вырвался, вскочил и тяжелым своим портфелем, где лежали некоторые детали телевизора, навернул сверху по шляпе. – Сюда, люди! Ко мне!.. – кричал он. И второй раз навернул по шляпе.

Молодой человек вскочил тоже и откровенно загвоздил Князеву в челюсть. Князев полетел с ног. Но когда летел, слышал, что уже к ним бегут.

…Потом в милиции выясняли их личности. Князев все порывался рассказать, как было дело, но дежурный офицер останавливал: он пока записывал.

– Где работаете? – спрашивал он молодого человека.

– В рембытконторе, – отвечал тот и успевал тоже сказать: – Он на меня начал говорить, что я блюю где попало…

– Подождите вы! – строго говорил дежурный. – Кем?

– Я про тебя, что ли, говорил?! – накинулся Князев на своего врага.

– Про кого же? Про Пушкина?

– Дурак! Я развивал общую мысль о проблеме…

– Да тихо! – приказал дежурный. – Можете вы помолчать?! Кем работаешь?

– Электриком.

– Дубина, – сказал Князев, потирая челюсть. – Тебе не электриком, а золотарем надо… В две смены. Гад подколодный! Руки еще распускает…

– А вы? – перешел к нему дежурный.

…Князева отпустили, но он заплатил штраф пятнадцать рублей. Он не стал возмущаться, потому что этого, в шляпе, при нем прямо повели куда-то по коридору – сажать, как понял Князев. Он даже сказал дежурному «до свиданья». И пошел на вокзал.

И тихо прождал на вокзале все долгое время до поезда. Ни с кем не заговаривал, а только сидел на скамейке в зале ожидания и смотрел, и смотрел на людей, как они слоняются туда-сюда по залу. Челюсть болела, Князев время от времени трогал ее и качал головой. И шептал:

– Сволота… Руки, видите ли, начал распускать! Гад какой.

4. Конец мыслям

Ну, может, не конец еще, но какой-то срыв целеустремленной души – тут налицо.

Вот что случилось.

Князев закончил свой труд: мысли о государстве. Он давно понял, что здесь, в райгородке своем, он не найдет никого, кто оценил бы его большую сложную работу. Опять будут недоумевать, говорить, что «Вы знаете, товарищ Князев…» О, недоумки! Всю жизнь стоят, упершись лбами в стенку, а полагают, что идут проспектом. Что тут сделаешь?!

Князев собрал тетради (восемь общих тетрадей) и пошел на почту – отсылать в Центр. Получалось что-то вроде посылочки, что ли: Князев не знал, как это делается, склонился к окошечку узнать, что надо сделать – посылочку, что ли?

За окошечком сидела знакомая женщина, подруга его жены. Князев часто видел ее у себя дома, он поэтому вежливо поздоровался и стал объяснять, что – вот, восемь общих тетрадей, их надо послать… Пока он так объяснял, он невольно обратил внимание: женщина смотрит на него, но соображает что-то свое, далекое от тетрадей, – от того, как их послать. И еще он уловил в ее глазах то противное жалостливое участие, вполне искреннее, но какое особенно бесило Князева – опять он на него наткнулся. И именно теперь, когда труд закончен, когда позади бессонные ночи, волнения… Даже и теперь эта курица сидит и смотрит жалостливо. Но и еще стерпел бы Князев, еще раз проглотил бы обиду, не заговори она, эта… Нет, она открыла рот и заговорила!

– Николай Николаевич, дорогой… давайте подождем с посылкой? Конечно, не мое это дело, но, тем не менее, послушайте доброго совета: подождите. Ведь всегда успеете, а может быть, раздумаете… А?

Князев помнил потом, что было такое ощущение, точно его стали вдруг поднимать куда-то вверх. Но не просто поднимают, а хотят вроде перевернуть вниз головой и подержать за ноги. Все взорвалось в Князеве злым протестом, все вскипело волной гнева. Он закричал неприлично:

– Дура! Дура ты пучеглазая!.. Что ты сидишь квакаешь?! Что? Ты хоть слово «государство» напишешь правильно? Ведь ты же напишешь «гасударство»!

– Не смейте так орать! – тоже закричала женщина. – Сергей Николаич! А, Сергей Николаич!..

– Сергей Николаич! – подхватил и Князев ее зов. – Идите-ка суда – вместе глаза выпучим: тут чявой-то про государство! Идите, Сергей Николаич!..

Сергей Николаич и вправду появился из двери в глубине…

И стремительно пошел к Князеву.

– Что? Что это тут?!

– Тут чявой-то про государство, – мстительным злорадным чувством говорил Князев. – Разберись, Сергей Николаич: может, в твоей тыкве хоть полторы извилины есть…

Все, кто был на почте, с удивлением смотрели на Князева. А Сергей Николаич вышел из-за перегородки и приближался к Князеву. Вид у Сергея Николаича – впору вязать кого-нибудь.

– В чем дело?

– В шляпе, – Князев хотел собрать свои тетради, но Сергей Николаич крепко положил на них ладонь.

– Прочь! – крикнул Князев. И хотел отбросить наглую руку. Но не смог отбросить. – Прр-очь! – закричал тогда Князев громче прежнего и толкнул Сергея Николаича в грудь. – Прр-очь, хамло!..

Сергей Николаич сгреб его спереди за руки и сильно сдавил.

– Ну-ка, кто-нибудь помогите! – позвал он. – Он же пьян!

Охотники тут же нашлись. Подбежали, завели Князеву руки за спину и держали. И странно, в этом именно положении Князев заговорил более осмысленно, более подробно.

– Ура!.. – воскликнул он. – Наша взяла! Ну, вяжите. Вяжите… Эх, лягушатинка! Нет, я не пьян, этот номер у вас не пройдет… Я позволил себе записать некоторые мысли – и нечаянно уронил камень в ваше болото. Какое кваканье поднялось, боже мой! Я вас не задел по голове, Сергей Николаич? Вы тут – главная лягушка. Жаба! Все знает – знает, как связать человека. Курица ты дохлая, остолоп!

– Поговори, поговори, – спокойно молвил Сергей Николаич, связывая ремнем руки Князева. – Покричи. Вконец свихнулся?

– Кретины, – говорил Князев. – Полудурки. И ведь нравится – вот ситуация-то – нравится быть полудурками! – Хоть ты лоб тут разбей – нравится им быть полудурками, и все.

Князева подтолкнули вперед… Вывели на улицу и пошли с ним в отделение милиции. Сзади несли его тетради. Прохожие останавливались и глазели. А Князев… Князев вышагнул из круга – орал громко и вольно. И испытывал некое сладостное чувство, что кричит людям всю горькую правду про них. Редкое чувство, сладкое чувство, дорогое чувство.

– Пугачева ведут! – кричал он. – Не видели Пугачева? Вот он – в шляпе, в галстуке!.. – Князев смеялся. – А сзади несут чявой-то про государство. Удивительно, да? Вот же еще: мы всю жизнь лаптем шти хлебаем, а он там чявой-то про государство! Какой еще! Ишь чяво захотел!.. Мы-то не пишем же! Да?! Мы те попишем! Мы те подумаем!.. Да здравствуют полудурки!

Хорошо еще, что отделение милиции было рядом, а то бы Князев накричал много всякого.

В отделении он как-то стих, устал, что ли, на вопросы отвечал односложно,

нисколько не пугался, а только морщился и хотел скорей уйти домой.

– Ну, шумел, шумел… Я же не пьяный. Я непьющий. Оскорбил я кого-нибудь?

Когда ему стали перечислять, как он оскорбил всех, он опять сморщился и сказал тихо:

– У меня голова болит. Ну, отвезите в больницу, отвезите. Что полудурками-то назвал? А кто же они?

С Князевым не знали, что делать. Посадили пока в камеру и вызвали из больницы врача.

Врач пришел, побыл с Князевым минут десять, вышел и сказал:

– Совершенно нормальный человек. А что?

– Да кинулся оскорблять всех, – стали объяснять врачу. – Всех подряд обзывать начал…

– Ну, это уж… что-то другое. Он в здравом уме, вполне нормальный.

Начальник лично знал Князева. Вызвал его опять в кабинет, закрыл дверь.

– Что случилось-то, Князев?

– Да ну их к черту! – устало сказал Князев. – Взорвался просто… Глупость человеческую не мог больше вынести. Я ей одно, она мне: «Давайте пока не посылать – давайте подумаем». Она подумает!.. Курица.

– Ну, а оскорблять-то зачем было?

– Да она меня хуже оскорбила! Она же меня за идиота считает! Ведь она же ни строчки тут не прочитала, – тетради лежали у начальника на столе, – а судит! И я знаю, откуда: жена ей наговорила… Она к жене моей ходит, та ей и… охарактеризовала всю работу – что глупость, мол, бред, пустая трата… и прочее.

– А что тут вообще-то?

– Мысли о государстве. Семь лет писал.

Начальник поглядел на стопку тетрадей… Потом на Князева. И опять это проклятое удивление, изумление…

Князев поморщился.

– Только ничего не надо сейчас… Не надо.

– Оставь мне, я посмотрю.

– Посмотрите, – Князев встал. – Можно идти, что ли?

– Можно-то можно… Надо потом извиниться перед почтовскими. Надо, Князев, – начальник строго глядел на Князева. – Надо, как думаешь?

– Ладно, – сказал Князев. – Извинюсь. – Ему очень хотелось домой. Пустота была в голове оглушительная. Пусто и плохо было. Хотелось покоя. – Я извинюсь.

– Хорошо. Иди. Это я потом отдам, – начальник положил руку на тетради.

Князев пошел к двери, но на пороге остановился, оглянулся и сказал:

– Там – восемь тетрадей.

Начальник пробежал глазами стопку.

– Так… И что?

– Чтобы не случилось чего. Там восемь?

– Восемь.

– Чтобы не затерялись где-нибудь.

– Все будут в сохранности.

– Ведь тут… – Князев отшагнул от двери и показал пальцем на стопку тетрадей, – тут, может быть… – Но опять сморщился в каком-то бессильном отчаянии, махнул рукой и ушел.

Начальник взял одну тетрадь, раскрыл…

Раскрыл как раз первую тетрадь. Она так и поименована:

«ТЕТРАДЬ № 1»
Дальше было вступление, которое имело заглавие:

«Коротко об авторе»
И следовала краткая «Опись жизни» Н.Н. Князева, сделанная им самим.

«Я родился в бедной крестьянской семье девятым по счету. Само собой, ни о каком образовании не могло быть речи. Воспитания тоже никакого. Нас воспитывал труд, а также улица и природа. И если я все-таки пробил эти пласты жизни над моей головой, то я это сделал сам. Проблески философского сознания наблюдались у меня с самого детства. Бывало, если бригадир наорет на меня, то я, спустя некоторое время, вдруг задумаюсь: «А почему он на меня орет?» Мой разум еще не смог ответить на подобные вопросы, но он упорно толкался в закрытые двери. Когда я научился читать, я много читал, хотя наживал через это массу неприятностей себе. Отец, не одобряя мою страсть, заставлял больше работать. Но я все же урывал время и читал. Я читал все подряд, и чем больше читал, тем больше открывались двери, сильнее меня охватывало беспокойство. Я оглядывался вокруг себя и думал: «Сколько всего наворочено! А порядка нет». Так постепенно я весь проникся мыслями о государстве. Я с грустью и удивлением стал понимать, что мы живем каждый всяк по себе – никому нет дела до интересов государства, а если кто кричит об интересах, тот притворяется. Все равно ему свое дороже, но он хочет выглядеть передовым и, тем самым, побольше урвать. Я видел, как разбазаривают государство: каждый старается на своем месте. «И тем не менее, – думал я, – государство еще все же живет. Чем же оно живет? – продолжал я размышлять. И пришел к такому выводу: – Структурой». Структура государства такова, что даже при нашем минимуме, который мы ему отдаем, оно еще в состоянии всячески себя укреплять. А что было бы, если бы мы, как муравьи, несли максимум государству! Вы только вдумайтесь: никто не ворует, не пьет, не лодырничает – каждый на своем месте кладет свой кирпичик в это грандиозное здание… Когда я вдумался во все это, окинул мысленно наши просторы, у меня захватило дух. «Боже мой, – подумал я, – что же мы делаем! Ведь мы могли бы, например, асфальтировать весь земной шар! Прорыть метро до Владивостока! Построить лестницу до луны!» Я здесь утрирую, но я это делаю нарочно, чтобы подчеркнуть масштабность своей мысли. Я понял, что одна глобальная мысль о государстве должна подчинять себе все конкретные мысли, касающиеся нашего быта и поведения. И я, разумеется, стал писать. Я не могу иначе. Иначе у меня лопнет голова от напряжения, если я не дам выход мыслям».

Начальник прочитал вступление и задумался. Потом отложил все тетради в сторону – решил взять их домой и почитать.

Сны матери
Вот материны сны, несколько. Почему-то они мне запомнились, не знаю. Может, потому, что рассказывала она их не один раз; она сама помнит их всю жизнь.

Первый
– Я была ишо маленькая, годов семь так, восемь было. Может, маленько больше. Вижу сон. Вышла я вроде из дома – в тятином дому-то, – а в ограде у нас на ослике сидит святой с бородкой. Маленький такой старичок, весь белый: бородка белая, волосы белые. «Поводи, говорит, меня, девочка, по оградке-то, поводи». Я – вроде так и надо – начала его водить. Взяла ослика-то за уздечку да вожу. Осликов-то сроду не видела, а вот приснилось же. Вожу, а сама возьми да подумай:

«Дай-ка я у него спрошу што мне на тем свете будет?» Да взяла да спросила. Старичок засмеялся, достал откуда-то из-под полы бумажку и подает мне. «Вот, говорит, чего тебе будет». Я взяла бумажку-то, смотрю: она вся-вся исписана. А читать-то я уж умела. Вижу, буковки все наши, а разобрать сразу как-то не могу. Ладно, думаю, я его ишо маленько покатаю, а потом пойду в избу да прочитаю ладом. А сердце так вот волнуется!.. Шибко уж я рада, што узнаю про себя. Вожу вроде ослика-то, а сама — нет-нет да загляну в бумажку. Не читаю, а так. Радуюсь. Даже и про старичка забыла. Радовалась я, радовалась — и проснулась. Так обидно, так обидно было, даже заплакала. Маме утром рассказываю, она мне говорит: «Глупенькая ты, глупенькая, кто же тебе здесь скажет, чо на том свете будет? Никто не скажет». А я вот все думаю: не проснись я раньше времени, можеть, и успела бы прочитать хоть словечка два. Главно, ведь торопилась же я в избу-то!.. И вот — на тебе! — проснулась. Видно, и правда: не дано нам здесь знать про это, не дано.

Второй
— А это уж когда у меня вы были… Когда уж Макара забрали.

— В тридцать третьем?

— Но. Только-только его забрали. Весной. Я боялась ночами-то, ох боялась. Залезу с вами на печку и лежу, глазею. А вы — спи-ите себе, только губенки оттопыриваются. Так я, грешным делом, нарочно будила вас да разговаривала — все не так страшно. А кого вам было-то!.. Таля, та вовсе грудная была. Ну. А тут — заснула. И слышу, вроде с улицы кто-то постучался. И вижу сама себя: вроде я на печке, с вами лежу — все как есть. Но уж будто я и не боюсь ничегошеньки, слазию, открыла избную дверь, спрашиваю: «Кто?» А там ишо сеничная дверь, в нее постучались-то. Мне оттуда: «Это мы, отроки. С того света мы». «А чего вы ко мне-то? — это я-то им. — Идите вон к Николаю Погодину, он мужик, ему не так страшно» — «Нет, нам к тебе надо. Ты нас не бойся». Я открыла… Зашли два мальчика в сутаночках. Меня всю так и опахнуло духом каким-то. Прия-атным. Даже вот не могу назвать, што за дух такой, на што похожий. Сяли они на лавочку и говорят: «У тебя есть сестра, у нее померли две девочки от скарлатины…» — «Ну, есть, говорю. И девочки померли — Валя и Нюра». — «Она плачет об их, горюет?» — «Плачет, говорю. Жалко, как же». — «Вот скажи ей, штоб не плакала, а то девочкам от этого хуже. Не надо плакать». — «Ладно, мол, скажу. А почему же хуже-то от этого?» Они мне ничего не сказали, ушли. Я Авдотье-то на другой день рассказала, она заплакала: «Милые мои-то, крошечки мои родные, как же мне не плакать об вас?..» Да и наревелись обои с ей досыта. Как же не плакать — маленькие такие, говорить только начали, таких-то ишо жалчее.

Третий
— А тут вижу: хвораю лежу. А правда хворала-то. Си-иль-но хворала. Но это в то же время, как Макара взяли. А вижу вроде я в тятином дому-то лежу на кровати. Я часто себя в тятином дому вижу. И вот лежу хвораю. А вот так вот вскинула глаза-то позадь себя, а они стоят две — Авдотьины девочки-ти, которые померли-то. Стоят две. В чем их положили в гробики, в том и стоят — в платьицах в таких, я их хорошо помню, эти платьица. «Ой, говорю, Валенька, Нюронька!.. Да милые вы мои-то, вы откуда же?» — «А оттуда», — говорят. «Ну и как вам там?» — «Хорошо. Ой няня Маруся, нам там хорошо!». Ну, знамо, безгрешные душеньки… А потом Валя, постарше которая, вот так вот пальчиком погрозила и говорит: «А куклы-то нам посулила, а сама не сделала». А правда: когда они хворали лежали, я им посулила куклы сделать. Тада ведь купить-то негде было, сами делали да из тряпочек разных платьица шили да играли. И так мне горько сделалось, что я заплакала. Заплакала и проснулась — лежу зареванная… «Ладно, думаю, выздоровею, сделаю вам куклы». Выздоровела, выстрогала две куколки, одела их понарядней да соседским девочкам, какие победней, отдала. Вот, играйте на здоровье.

Четвертый
— А это уж, как война началась, — тоже сон видела. Как забрали наших мужиков, то их сперва здесь держали, а потом в Бийск вон всех отвезли — в шалоны сажать. Согнали их туда — видимо-невидимо! Ну, пока их отправляли партиями, мы там с имя жили — прямо на площади, перед вокзалом-то, больша-ая была площадь. Дня три мы там жили. Лето было, чего же. И вот раз — днем! — прикорнула я, сижмя прямо, на мешок на какой-то голову склонила да и задремала. А он рядом сидел, отчим твой, Павел-то. И только я задремала, вижу сон. Будто бы мы с им на покосе. А покос вроде не колхозный, а свой, единоличный. Балаган такой стоит, таганок возле балагана… Сварила я похлебку да даю ему попробовать: «На-ко, мол, опробуй, а то

тебе все недосол кажется». Он взял ложку-то, хлебнул да как бросит ложку-то и даже заматерился, сердешный. Он редко матерился, покойничек, а тут даже заматерился — обжегся. И я сразу и проснулась. Проснулась, рассказываю ему какой сон видела. Он послушал-послушал да загрустил… Аж с лица изменился, помутнел (побледнел). Говорит печально: «Все, Маня… Неспроста этот сон: обожгусь я там». И — обжегся: полгода всего и пожил-то после этого — убило.

Пятый
— А вот сон тоже. Лежала я в больнице, а со мной вместе девушка одна лежала, сиротка. Я приголубила ее, она меня и полюбила. Да так привыкла! Ночевать потом ко мне ходила, когда мы из больницы-то выписались. А работала она на складе весовщицей. Каждый вечер, бывало, идет: «Мария Сергеевна, я опять к вам». Давай, милая, все веселей двоим-то.

— Ей что, жить, что ли, негде было?

— Да пошто же! Вот — привыкла. И я уж тоже к ей привыкла. Так мы дружно с ей жили! А потом она померла: плеврит, а от плеврита печень занялась. Померла, бедная. Я и схоронила ее. А потом вижу сон. Вышла я будто бы на речку, а на той стороне, где Гилев остров, — город будто бы. Большой-большой город! Да красивый, дома высокие… И дома высокие, и весь вроде бы он в садах, весь-то он в зелени. Цветы — я даже с этой стороны вижу — так и колышутся, так и колышутся. Ах ты, господи! Сяла я в речку-то да поплыла туда — сижмя как-то, сижу и плыву, только руками маленько подгребаюсь. И так меня к тому городу и вынесло. Вышла я на берег — никого нету. Я стою, не знаю, куда идти. А смотрю, выходит моя Ниночка, девушка-то, сиротка-то. Матушка ты моя-то!.. Увидела меня да так обрадовалась, обняла, да та-ак крепко прилюбила, я ишо подумала: «Сильная какая — не выхворалась». А она, правда, мало похворала-то, скоро убралась. «Куда же мне идти-то? — спрашиваю ее. — Пошто тут никого нет-то?» — «Есть, говорит, как нету. А тебе во-он туда, — показывает мне. — Во-он, видишь?» Я смотрю туда, а там место-то похужее, победней, и дома пониже. «А ты где же? — спрашиваю Ниночку-то. А не спрашиваю же: «Ты где живешь?» — знаю, што она мертвая, а вишь, спрашиваю просто: «А ты где?» — «А я, говорит, вот — в центре». Конешно, сколько она и пожила-то. Она и нагрешить-то не успела, безгрешная душенька. А мне-то, вишь, на окраинке только место… Да хоть бы и на окраинке, а только там. Господи, как же там красиво! Все время у меня в глазах тот город стоит.

— Тогда телевизоры-то были уже?

— Какие телевизоры! Это когда было-то! — когда ты на действительной ишо служил. А Наташа в институте училась. Вон когда было-то. А што, думаешь, насмотрелась в телевизоре и поэтому такой город приснился?

— Но.

— Нет. Я сроду таких городов ни в телевизоре потом, ни в кино не видела. Што ты!..

Самые первые воспоминания
Я начинаю помнить себя с такого случая.

Знойный полдень. Сенокос. В селе, на улицах — ни души. Только иногда по улице проскочит верховой или протарахтят дрожки, и опять надолго установится сухая, горячая тишина.

Я сижу на дороге в мягкой шелковистой пыли, стряпаю пирожки. Это делается просто: надо принести из дома ковш воды и эту воду понемножку плескать в пыль. Образуются вязкие комочки грязи. Из них-то и лепятся пирожки. Но пирожки — пирожками… Делаются они для того, чтобы разложить их потом рядком поперек дороги и ждать, когда поедет какой-нибудь мужик. Ждать приходится подолгу. Наконец в конце улицы показался мужик на телеге. Я залезаю в крапиву у прясла (крапива у нас растет высокая, в рост человеческий, и жалит только ее верхняя часть. Внизу же можно спокойно спрятаться) и оттуда смотрю, как приближается телега. Она все ближе, ближе… У меня замирает сердце: сейчас проедет по моим пирожкам. Мужик увидел пирожки, оглянулся по сторонам, лениво подстегнул коня… Я с каким-то непостижимым трепетным волнением вижу, как сперва лошадиные ноги расшвыривают мои пирожки, потом по ним проехали четыре колеса. Выскакиваю из крапивы и стою над пирожками. Почти все погибли. Те, что с краю, уцелели, а средние все

погибли. Снова принимаюсь стряпать и выстраивать рядок поперек дороги. Есть в этой работе какой-то смысл. Наверно. Вот что: мужик до последнего момента не видит мои пирожки на дороге, а я знаю, что они лежат там, и я знаю также, что, увидев их, мужик оглянется. Я это знаю и заранее жду; когда он оглянется. И меня охватывает сладостный восторг и волнение, когда он оглядывается. И еще — очень приятно сидеть в пыли. У меня, конечно, на ногах «цыпки», но это уже больше беспокоит маму. Вечером она будет отмывать меня у колодца.

Вот за таким-то занятием, когда я мирно сидел и стряпал пирожки, меня захватил соседский бычок. Он был бодливый, как черт, я его ужасно боялся. Мы, ребятишки, все его боялись. Мы его дразнили издалека, а когда он, нагнув голову, кидался на нас, мы разбегались, кто куда. А тут я, занятый за пирожками, проглядел его. Увидел, когда он был в шагах пяти. Он стоял и смотрел на меня. Я вскочил было, чтобы бежать, и тут же сел — ноги отказали. А телок взбрыкнул задними ногами, зловеще мэкнул и помчался ко мне. Я, кажется, заранее упал на спину. Он принялся катать меня по дороге. Я молчал. Потом ко мне вернулся голос, и я заорал. Заорал так, что телок отскочил, расставил передние ноги и долго и глупо смотрел на меня. Кто-то выскочил из избы и выручил меня.

Вечером в нашей избе появилась грязная сухая цыганка с большими вороватыми глазами. Я лежал на печке, а цыганка шуршала в кути, у печки, юбками и торопливо шептала. Мама с надеждой и подозрительно смотрела на нее. Цыганка растопила в ложке воск, вылила тот воск в стакан с водой — там образовался какой-то желтый бесформенный комочек. Цыганка торопливо закивала маленькой галочьей головой. Я не помню, что она говорила, что-то говорила. Помню как мама сказала: «Телок напугал-то, а не собака». Потом они говорили про нашего петуха. Цыганка почему-то кричала, мама тоже сердилась и говорила: «Ишь ты какая! Ишь ты!». Потом я выпил теплую воду из стакана, над которым колдовала цыганка и уснул. Потом помню себя за таким занятием.

Жилось нам тогда, видно, туго. Недоедали. Мама уходила на работу, а нас с сестрой оставляла у деда с бабкой. Там мы и ели. И вот… Дед строгает в завозне, бабка полет в огороде грядки.

Я сижу у верстака и сцепляю золотисто-солнечные кольца стружек. И вдруг вспоминаю, что у бабки в шкафу лежат шанежки. Выхожу из завозки и направляюсь к дому. На дверь накинут замок — просто так, без ключа (сестра в огороде с бабкой). Если замок вынуть из пробоя и открыть дверь, бабка услышит и спросит: «Ты чего там, Васька?». А мама наказывала — я это хорошо помню — не надоедать деду и бабке, особенно деду, не просить есть: сколько дадут, столько и ладно.

Окно в избу открыто. Оттуда пахнет свежеиспеченным хлебом и побеленным шестком. В углу стоит, тускло поблескивая стеклами, пузатый шкаф — там шанежки.

Я влезаю в окно и осторожно, на цыпочках, иду по крашеному полу… Открываю шкаф, беру самую маленькую шаньгу и тем же путем убираюсь из избы. Воровал я до того что-нибудь или нет, не помню. Но я помню, как я крался по избе на цыпочках. Откуда-то я знал, что так надо.

Вечером бабка, посмеиваясь, рассказывала маме, как я лазил в окно (она из огорода все видела). Мама не смеялась. У нее было недовольное лицо.

— Вы сами-то уж сроду не догадаетесь… Скупые вы шибко, мам, уж до чего скупые.

Бабка обиделась.

— Кормим ведь… Чего же скупые? Да он и есть-то не хотел. Так — пакостник.

Еще помню такое.

Стоит у нас посреди избы страшный маленький человек с рыжей бородой — Яша Горячий, грозит пальцем и говорит: «Ты меня не пужай, не пужай — отпужались». А мама стоит перед ним и говорит негромко: «Ну, смотри, Яша, смотри… Я тебя не пужаю… Недоактивничать бы тебе».

Потом Яша полез на полати и стал оттуда сбрасывать березовые чурбаки (березник около села запрещалось рубить, но его рубили и прятали, где могли. Яша Горячий,

сельский активист, искал его по домам).

И еще одно такое помню.

Пропал у нас телок. Телка самого не помню, а помню, как мы его искали. Мы пошли с мамой за село, к озерам. Уж вечерело. Звали мы его, звали: «Тпруся! Тпруся!» — нет телка, как провалился. Вдруг мама села на землю и сказала: «Ой, сынок, мне что-то плохо… Господи, господи… Дорогу домой найдешь? Беги скорей к бабке…».

Я сказал, что найду. Помню: бежал. Я воображал, что я на коне. Кричал сам себе: «Но!», взбрыкивая ногами, ржал…

Бабка перепугалась. Я предложил ей тоже сесть на коня и гнать вмах. Но та только махнула рукой и семенила рысью.

Мама повстречалась нам недалеко за селом. Она тихонечко шла по дороге и держалась за грудь.

Они о чем-то стали говорить с бабкой, а я шел сзади «пешком».

Потом я начинаю помнить свою сестру.

Я как-то до этого не знал ее существования, а тут, помню, был я в яслях, и мне там что-то не понравилось. Я нашел Наташку, сестру, и мы с ней убежали из яслей. Мы шли через всю деревню, взрослые останавливались и спрашивали меня: «Ты куда ее ведешь-то, Васька?». Я отвечал: «Домой. Мне мама так велела». Врал. Вообще, я очень рано научился врать.

Мамы, конечно, не было дома. Мы с Наташкой сели на крыльцо и уснули.

Еще случай в яслях.

Ясли были двухэтажные. Окна открыты. Я влез на подоконник на втором этаже, сел и свесил ноги. И тут увидел маму. Она мне снизу негромко говорит: «Васе-е, слазь, сынок, с окна. Слазь, я посмотрю, как ты слезешь. Только туда, в избу слазь… Ну-ка…». Я слез с подоконника.

Потом мама вбежала, взяла меня на руки и понесла. А на лестнице встретилась нам наша няня, толстая, молодая тетка. Мама опустила меня с рук, а няня побежала от нас. Вниз. Мне стало смешно.

— Корова семинтальская! — мама ничего не боялась.

Потом, когда я уж стал взрослее, я слышал рассказ о том, как нас хотели выселить из избы. Отца арестовали и угнали в район, в «каталажку». А к нам на другой день пришли двое: «Вытряхивайтесь».

Так стали мы жить. Голоду натерпелись и холоду. На всю жизнь я сохранил к матери любовь. Всегда ужасно боялся, что она умрет — она хворала часто.

Потом в нашей избе появился другой отец. Жить стало легче.

А потом грянула война, и другого нашего отца не стало — убили на Курской дуге.

Опять настали тяжелые времена. Вот отсюда, пожалуй, я и начну рассказ.

Начну рассказ с того времени, с какого помню почти каждый свой день — с двенадцати лет. Для начала только расскажу о своем селе.

Село наше небольшое…

Я родился в 1929 году (в «Мордве»). Уже колхозы были. Отец с матерью были колхозниками.

В 1933 году отца «взяли». Сказали: «Хотел, сволочь такая, восстание подымать». Еще многих «взяли» из деревни. Больше мы их никогда не видели. Все они в 1957

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru
году полностью реабилитированы «за отсутствием состава преступления».

Остались мы с мамой: мне три с лишним года, Наташке, сестре, – семь месяцев. Маме – двадцать два.

Нас хотели выгнать из избы. Пришли двое: «Вытряхивайтесь».

Мы были молоды и не поняли серьезность момента. Кроме того, нам некуда было идти. Мама наотрез отказалась «вытряхиваться». Мы с Наташкой промолчали. Один вынул из кармана наган и опять сказал, чтоб мы вытряхивались. Тогда мама взяла в руки безмен и стала на пороге. И сказала: «Иди, иди. Как дам безменом по башке, куда твой наган девается». И не пустила – ушли. А мама потом говорила: «Я знала, что он не станет стрелять. Что он, дурак, что ли?».

Прожито тридцать лет – точно песню пропел. И пропел, кажется, неважно. Жалко. Песня была хорошая.

Село родное.

Село наше большое, Сростки называется. Стоит оно на берегу красавицы Катуни. Катунь в этом месте вырвалась на волю из каменистых теснин Алтая, разбежалась на десятки проток, прыгает, мечется в камнях, ревет… Потом, ниже, она несколько успокаивается, круто заворачивает на запад и несется дальше – через сорок километров она встретит свою величавую сестрицу Бию и умрет, породив Обь. В месте слиянья рек далеко еще виден светлый след своенравной Катуни – вода в ней белая.

Образовалось село в 60-е годы прошлого века, когда началось печальное переселение людей российских в Сибирь, на вольные земли.

Приходили рязанские, самарские, тверские, вятские, котельнические и оседали здесь. Строились пришлые ближе к своим… Наверно, поначалу было несколько небольших деревень, а потом, со временем, все срослось – в Сростки. Но зато в одном селе образовалось несколько краев с разными обычаями и говором. Было пять краев: Баклань, Низовка, Мордва, Дикари и Голожопка. Так было еще при мне.

Баклань – это коренные сибиряки, чалдоны. Угрюмоватые, скуластые, здоровые… Мужики ходили – руки в брюки, не торопились, смотрели снисходительно, даже презрительно. Если бывали не среди своих, – помалкивали. Работяги. Лишнюю копейку не пропьют. Все – рыбаки, охотники. У всех лодки. Катунь знали верст на пятьдесят вверх и вниз по течению. Драться не любили, но умели.

Бабы бакланские – чистюли, рожать много не любили, тоже очень работящие, но не искусницы. Так все больше – Кочугановы, Борзенковы, Кукусины. Говорили так: «Дак это, ты че этот день делашь-то?» – «Ниче». – «Сплавам в островишко, посмотрим?» – «Дак это, у меня припасишки вышли». – «Я посмотрю, у меня, однако, есть маленько – дам» – «Но дак, а че – дай. Я, этто, на днях в городишко сбегаю, привезу». Договорились плыть на охоту; один другому пообещал дать ружейных припасов.

Низовка – это что-то среднее между чалдонами и «расейскими». Мужики красивые, драчуны, вечно на ножах с Бакланью. Дома строили крестовые, селились кучно. Там – Байкаловы, Любавины, Пономаревы, Морчуговы, Быстровы… Говорили правильно, немного нажимали на «р».

– Здоррово.

– Слава богу, – и все.

Говорить тоже не любили много. Уважали в человеке силу. По праздникам бились на кулаках. Гуляли «справно», хвастались друг перед другом столами – тем, что выставлялось на стол для гостей. Считалось, что мужик живет хорошо, если частенько гуляет. Вообще, в селе гуляли много. Но алкоголиков как-то не было.

Мордва, Дикари и Голожопка – это «расея»: Поповы, Бедаревы, Дегтяревы, Докучаевы, Бровкины, Колокольниковы. Это края большие, крикливые, песенные. Там «чавокали», «надыськали», «явокали»… Там хлеборобы, лошадники, плотники. Там,

если гуляли, – с треском, с поножовщиной, с песнями, от которых грустно становилось. Там умели поговорить, умели словчить в деле… Мужики не такие крупные, как в Баклани или Низовке, но верткие и дружные: где один не справится – приведет орду. Там любили землю, редко кто охотился или рыбачил. Там знали толк в пашне, в лошадях… Уважали справных хозяев. Там семьи огромные, и там все – родня.

Бабы там бойкие, несколько заполошные. По пустяку поднимет такой крик, хоть беги. Поймала соседского парнишку в своем огороде, отодрала крапивой, потом пошла по улице: «Это что же делается-то на белом свете, тошно мнеченьки! Это как же жить-то дальше?.. Выпростал весь горох, окаянный варнак! Весь огород потоптал. Да вить, от так доберется – дом подожгет!»

Мужики баб не слушали. Случалось – поколачивали под пьяную руку, и крепко.

Большое село. Вообще, в Сибири села большие. Любят рассказывать такую присказку: «Еду, значит, гляжу – деревня. «Какая деревня?» – «Ярки». Ладно. Лег, поспал маленько, просыпаюсь – опять деревня. Опять: «Какая деревня?» – «Ярки»»… и так далее, пока не надоест рассказывать.

А за селом нашим – благодать и раздолье. Уже начинаются горы, но это еще не горы, это – «кучугуры», как их у нас называют – предгорье. Холмы, луга, долины, опять холмы – все в зелени, бесконечные «околки», согры, услоны, солонцы, гривы… Травы – по грудь, в траве ягоды всякой, змей полно. Едет человек по траве на коне, конь то и дело шарахается в сторону – змей. Змеи одолевают особенно на покосе. Бывает так, что проспит человек в шалаше всю ночь, утром просыпается – рядом, свернувшись кольцом, лежит змея. Или: только ляжет, укроется одежонкой, слышит – по ногам, по одежонке, ползет… Человек вскакивает, запаляет смоленую веревку и носится по шалашу с палкой, заранее приготовленной с вечера, лупит змею, материт ее, на чем свет стоит. И знали, впрочем, что через веревку, свитую из конского хвоста, змея не может переползти, и даже, может быть, лежит у него такая веревка в телеге – вожжи волосяные, – но воспользоваться этим как-то лень. Безалаберность какая-то русская: «А-а, один черт». И все. Сказал так и лег спать. Впрочем, сонных змеи кусали редко.

А в сограх и в лесах подальше – волки. Волков били с удовольствием. Искали пиры, душили выводки. Еще – барсучили. Это дело тоже азартное.

По сограм – воронье, сорочья, галки… Тучи!

А над всем этим – синее-синее алтайское небо. Рдеет, дрожит вдалеке горячий воздух, день-деньской висит над косогорами сухой стрекотный звон кузнечиков. А вечерами пахнет полынью, дымком, волглой пылью… Кричат перепела, крякают на озерах утки… И далеко, далеко слышно, как кипит в камнях бешеная Катунь. А на западе в полнеба пластает соломенный пожар зари; задумчиво на земле, хорошо…

Вопросы самому себе
Сперва о том, что болит: фильм «Ваш сын и брат» вызвал споры. Мне в связи с этим задают вопросы. Разные. Не всегда, к сожалению, мы бываем настолько находчивы в ответах, чтобы потом не ныла душа: здесь не так сказал, там сморозил. Сейчас, «пользуясь случаем», я и хочу начать с этого – с ответов.

Мне вовсе не хотелось, выходить к зрителю с фильмом, который весь в вопросах, как хорошенькая головка в бигуди. (С головки в конце концов эти железки снимут, и станут – кудри; фильм-кокетка, выпущенный со студии, так и пойдет гулять по экранам.) Не верю, чтоб художник сознательно задавался целью быть непонятным. Для кого-то да он работает.

Эти вопросы – это, вообще-то, не вопросы, а мысли, которые возникли при обсуждении фильма и определились то как упрек ему, то как недоумение.

Город и деревня. Нет ли тут противопоставления деревни городу?

Нет. Сколько ни ищу в себе «глухой злобы» к городу, не нахожу. Вызывает злость то, что вызывает ее у любого, самого потомственного горожанина. Никому не нравятся хамоватые продавцы, равнодушные аптекари, прекрасные зевающие создания в книжных магазинах, очереди, теснота в трамваях, хулиганье у кинотеатров и т. п. Если есть что-то похожее на неприязнь к городу – ревность: он сманивает из

деревни молодежь. Здесь начинается боль и тревога. Больно, когда на деревню вечерами наваливается нехорошая тишина: ни гармонь «никого не ищет», ни песен не слышно… Петухи орут, но и то как-то не так, как-то «индивидуально». Не горят за рекой костры рыбаков, не бухают на заре торопливые выстрелы в островах и на озерах. Разъехались стрелки и певуньи. Тревожно. Уехали… А куда? Если в городе появится еще одна хамоватая продавщица (научиться этому — раз плюнуть), то кто же тут приобрел? Город? — нет. Деревня потеряла. Потеряла работницу, невесту, мать, хранительницу национальных обрядов, вышивальщицу, хлопотунью на свадьбах. Если крестьянский парень, подучившись в городе, метит в какое-нибудь маломальское начальство, если очертил вокруг себя круг, сделался довольный и стыдится деревенских родичей, — это явная человеческая потеря.

Если экономист, знаток социальных явлений, с цифрами в руках докажет, что отток населения из деревни — процесс неизбежный, то он никогда не докажет, что он — безболезненный, лишенный драматизма. И разве все равно искусству, куда пошагал человек. Да еще таким массовым образом.

Только так и в этом смысле мы касались «проблемы» города и деревни в фильме. И конечно, показывая деревню, старались выявить все в ней прекрасное; если уж ушел, то хоть помни, что оставил!

А нет ли тут желания оставить (остановить) деревенскую жизнь в старых патриархальных формах?

Во-первых: не выйдет, не остановишь. Во-вторых: зачем? Что, плохо, когда есть электричество, телевизоры, мотоциклы, хороший кинотеатр, большая библиотека, школа, больница?.. Дурацкий вопрос. Это и не вопрос — я ищу, как подступиться к одному весьма рискованному рассуждению: грань между городом и деревней никогда не должна до конца стереться. Никакой это не агрогородок — деревня — даже в светлом будущем. Впрочем, если в это понятие — агрогородок — входит электричество, машины, водопровод, техникум и театр в райцентре, телефон, учреждения бытового обслуживания, — пусть будет агрогородок. Но если в это понятие отнести и легкость, положим, с какой горожанин может поменять место работы и жительства, не надо агрогородка. Крестьянство должно быть потомственным. Некая патриархальность, когда она предполагает свежесть духовную и физическую, должна сохраняться в деревне. Позволительно будет спросить: а куда девать известный идиотизм, оберегая «некую патриархальность»? А никуда. Его не будет. Его нет. Духовная потребность в деревне никогда не была меньше, ниже, чем в городе. Там нет мещанства. Если молодежь тянется в город, то ведь не оттого, что в деревне есть нечего. Там меньше знают, меньше видели — да. Меньше всего объяснялась там истинная ценность искусства, литературы — да. Но это значит только, что это все надо делать — объяснять, рассказывать, учить. Причем учить, не разрушая в крестьянине его извечную любовь к земле. А кто разрушает? Разрушали… Парнишка из крестьянской семьи, кончая десятилетку, уже готов был быть ученым, конструктором, «большим» человеком и меньше всего готовился стать крестьянином. Да и теперь… И теперь, если он почему-либо остался в деревне, он чувствует себя обойденным. Тут старались в меру сил и кино, и литература, и школа.

Сейчас, наверно, возьмутся за деревню крепко. Но боюсь, что на колхозных и совхозных собраниях опять будут выбирать в президиум одних и тех же людей — передовиков, орденоносцев. Передовики есть передовики, но и им это дело порядком надоело, и они надоели: всегда везде одни и те же, одни и те же. И на доске Почета — они, и в президиуме, и на кустовых совещаниях, и по радио о них говорят, и по телевизору теперь их показывают. Зачем? Неужели есть опасность, что если в президиум выбрать не передовика, а его соседа, не орденоносца, то передовик обидится и станет хуже работать? Какой же он тогда передовик? Где передовик? В чем? Пустяковое вроде бы дело: ну, не меня, опять передовика послали на краевое совещание льноводов, не обо мне по радио рассказали — ерунда. Но если это так из года в год, все время, с меня постепенно снимут всякую ответственность за дела колхозные или совхозные. Есть я и есть — они. Я свое дело знаю, больше мне ничего не надо.

Сельских мальчиков в школе учат вышивать. Смехота. Девочку-школьницу учат доить корову. Что, думаете, она не научится доить, когда это будет ей нужно, когда она станет хозяйкой и у нее будет корова? Свекровь ее за десять минут научит, если она сама собой не научится гораздо раньше. Другое дело, когда ребятишки совершенно серьезно помогают летом на покосе, на прополке хлебов, в уборочную.

Да, когда отец с матерью не думают: не его это дело, он у нас учится. Что же, учиться не надо, а давай с тринадцати лет все на пашню? Нет, так все равно не будет. На пашню — значит, на трактор, все равно надо учиться. Что же делать? Учиться. Но не надо, чтобы молодой человек чувствовал себя обойденным, если судьба не сулит ему профессора, героя-летчика, знатного шахтера, знатного полевода — вообще знатного. Знатные всегда были и будут, только не они решали и решают судьбу страны.

Нам хотелось, чтобы фильм наш поняли так. Но фильм фильмом, вопросы вопросами… Вопросы поднимаются и опускаются, а деревня стоит.

Что же все-таки делать, чтобы жизнь в деревне стала живой и полнокровной? Тут, конечно, не фильмами пахнет. Не только фильмами.

Я заявил, что в деревне нет мещанства. Попробую развить эту мысль. Что есть мещанин? Обыкновенный мещанин средней руки… Мещанин — существо, лишенное беспокойства, способное слюнявить карандаш и раскрашивать, беспрерывно, судорожными движениями сокращающееся в сторону «сладкой жизни». Производитель культурного суррогата. Существо крайне напыщенное и самодовольное. Взрастает это существо в стороне от Труда, Человечности и Мысли. Кто придумал глиняную кошку с бантиком? Мещанин. Кто нарисовал лебедей на черном драпе и всучил мужику на базаре? Мещанин. Крестьянин не додумается до этого. Он купит лебедей, повесит на стенку и будет думать, что это красиво. Его обманули. Попробуйте теперь отнять у него этот ковер с лебедями. Не отдаст. Он привык к нему. Надо ехать и объяснять, что это плохо. И надо так же искусно объяснять и доказывать, как искусно доказывали ему на базаре, что это хорошо. Я нарочно упрощаю, так удобнее выпятить мысль: сельская культура создается в городе. Вообще такой нет — сельской культуры. Ее придумал мещанин. Надо бить его по рукам, этого «изготовителя», всеми возможными средствами. Изготовителя «ковров-книг», «ковров-фильмов», «ковров-лекций», «ковров-концертов»… А кто бить будет? В городе есть такие люди, в деревне — некому. Мало таких людей в деревне. Книги-уродцы, фильмы-уродцы туда все равно приходят, иногда так же скоро, как и в город, а объяснить, что они уродцы, — некому, и их принимают за красавцев. Как быть? Должны быть в деревне люди, которые понимают искусство. И если в городе бьют тревогу, что родился урод — плохая книга, фильм, — то надо это делать очень громко, чтобы в деревне тоже услышали.

Откуда берутся в деревне люди, которые действительно понимают искусство? Одни вырастают там, другие приезжают из города.

О людях, которые приезжают. Это — горожане, выпускники вузов, специалисты. Хорошо, когда они приезжают, грустно, когда, отработав положенные 2–3 года, уезжают. Зачастую виновато в этом местное руководство, озабоченное только одним: выполнением производственных планов, глухое, нерасторопное, равнодушное ко всему остальному. Людей не обеспечивают элементарным — квартирами. Если уж решили ломать старинку, надо строить. Нельзя только ломать. Я знаю, не один председатель колхоза, сельсовета, директор совхоза подумает: «Хорошо тебе рассуждать там…» Я могу только ответить: если бы уход из деревни нужного человека — врача, фельдшера, учителя, аптекаря, клубного работника — расценивался как грубый срыв государственного плана, нашли бы возможность устроить человека. Убежден в этом.

Культурный человек в деревне… Господи, как он нужен там! Всегда был нужен, а теперь — особенно. А молодежь уходит. Больше тревоги не за тех, кто ушел, а за тех, кто остался. Кто ушел, тот ушел — не вернешь. Многие, кто хотел уйти, остались. И теперь самая пора громко, на всю страну, заговорить так: если счастье человека есть служение своему народу, если это действительно так, то место наше там, где мы ему нужны. Как говорить, чтобы это было высокой Правдой? Не знаю. Эти наши статьи — это «слону дробина». Есть в деревне три могучих авторитета: школа, литература, кино. С них, по-моему, и надо начинать. Школу оставляю в покое — мало смыслю в этом. Хотя не считаю, что какой-нибудь много думающий и понимающий специалист сумел бы убедить меня, что изучение в школе вопросов киноискусства, широкое обсуждение фильмов — дело бесполезное. Он не убедит меня точно так, как не убедит в том, что сельского мальчика необходимо учить в школе вышиванию, а девочку — доить корову.

Кино — это маленький праздник для юной души. Это не надо доказывать — вспомните свои семнадцать лет. А в моем селе, например, этот праздник устраивается… в

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru церкви, которую почему-то называют клубом. Никакой это не клуб – это бывшая церковь, которую построил в начале века какой-то шальной купец. Это все знают. Купец, видно, крепко согрешил – хотел угодить богу. Но купец есть купец – надул и здесь: срубил церковь на скорую руку, тяп-ляп. Она давно пришла в негодность, там сыро, холодно, темно…

Ее латают и упорно называют клубом. Праздник сразу подпорчен. Не лежит душа к такому клубу. А село огромное, около трех тысяч человек населения. Киномеханик, Куксин Саша – славный человек, предан кино… Но его задушил план. Если ему объяснить, что вот этот фильм – это прекрасный фильм, он поймет. Он согласен. Но гоняется он за фильмами, которые делают сбор, – план! У него от плана заработок зависит. А ведь он мог бы сам объяснять, рассказывать односельчанам, в чем благородный смысл той или иной картины, но… План! Если он будет «возиться» с каждым «трудным» фильмом, он «прогорит». А у него семья. И т. д. и т. п… Интересно получается: с одной стороны, признаем огромное воспитательное значение кино, с другой – вроде как плевать нам, кого воспитывать и как воспитывать.

Сколько усилий надо приложить, чтобы хороший, серьезный фильм пришел в деревню и нашел там своего зрителя, предположим, Сидорова. Допустим, некий дядя-режиссер сделал в городе хороший фильм. Этого мало. Надо, чтоб другой дядя, умный, распорядился сделать максимальное количество копий. Дальше. Третий дядя посмотрел фильм и сказал: «Сделайте так, чтобы его посмотрели и в деревне тоже». Четвертый написал в газете, что фильм серьезный, хотя там есть кое-какие просчеты, но – серьезный.

Какие-то дяди привезли газету в деревню, чтобы ее прочитал учитель, агроном, врач и наш Сидоров. Учитель, может быть, выписывает газету, Сидоров не выписывает – как-то не принято. Те же дяди должны сказать: «А почему у вас в деревне нет книжного киоска? Ай-яй!» Поставили киоск на углу, у почты. Сидоров шел с работы, купил за две копейки газету. А кто-то из тех же дядей стоял тут же. «Сидоров, – сказал он, – почему бы тебе не подписываться на газету? Ведь удобно!» – «А черт его знает, – признался Сидоров, – как-то все так, знаете… так как-то все. Забываю». Пришел Сидоров домой, почитал на сон грядущий газетку… А ту статью – про кино – не прочитал. Не все в газете читается.

Прочитал газету учитель… «Эге, – сказал себе учитель, – завтра надо побеседовать с ребятами насчет статьи, обсудить». А через полгодика и фильм этот хороший привезли в деревню. Киномеханик идет в радиоузел и говорит по радио: «Внимание! Товарищи, сегодня в нашем клубе будет демонстрироваться фильм «Гамлет». Это хороший фильм, хоть он про королей». Учитель послушал, усмехнулся… Пошел на радиоузел и сказал: «Давайте я немного расскажу о Шекспире, о его пьесах». Дядя – управляющий радиоузлом подумал и сказал: «Валяйте. Вообще-то не положено, но… надо ведь!» – «В том-то и дело, что надо! – сказал учитель. – Кстати, какой дурак распорядился запретить местное радиовещание?! Три тысячи человек населения, совхоз, школа, библиотека, клуб, больница, сельсовет – сотни вопросов каждодневно самых разнообразных, а радио наше молчит. Давайте напишем тому дяде в городе, что нам есть о чем сказать по радио односельчанам, разрешите!»

Послушал Сидоров про Шекспира, взял рубль у жены и пошел к сельмагу «сообразить» с кем-нибудь – опять до него не дошло, что надо посмотреть фильм. А сынишка его пошел и посмотрел. Посмотрел, ничего не понял, пришел домой и говорит: «Гениальный фильм! Ты вот чем пропивать этот рубль-то, сходил бы в кино лучше посмотрел». – «Пошел ты со своим кино, – рассердился Сидоров. – Навыдумывают там, а я смотри».

А жила у них в квартире тетя-аптекарша (дом для работников аптеки еще только строился, у нее не было своей квартиры). Молодая тетя по роду своей работы имела дело с ядами, поэтому очень интересовалась Шекспиром. «Напрасно, – заметила она, – вы не правы». И стала рассказывать про Шекспира. Да так хорошо, понятно! «Допекли вы меня со своим Шекспиром, – сказал Сидоров, – пойду посмотрю». Пошел. Посмотрел и говорит: «Не знаю, как там у королей, а у нас бывает… У нас Гриша Новоскольцев захотел, паразит, бригадиром стать – что он делал!.. А бригадиром молодой парнишка был – школу механизаторов кончил. Так этот преподобный Гриша орет на всех собраниях: «У него, дескать, опыту мало!» А мы шумим: «Вот и хорошо, что мало, – меньше воровать будет».

Трудно, как видите, идет фильм к моему Сидорову.

И все равно не надо смущаться. Капля камень точит. Но упаси бог подлаживаться сейчас под Сидорова. А мы подлаживаемся — в этом все горе. У Сидорова сынишка есть, у сынишки, глядь, свой сынишка, а тот — будущий Курчатов или Суриков. Вот для них и надо делать, писать, играть, петь.

Дальше. Мы хотим, чтобы культурный человек жил в деревне и вроде бы не чувствовал этого. А он чувствует каждый день. Зарплата специалистов в деревне, рабочих совхоза теперь почти такая же, что и в городе. А что ему предлагают в раймаге? Вековой драп, патефон, «сработанный еще рабами Рима», диваны — а-ля гроб на ножках. Получше хочешь? — «ехай в город». Понаблюдайте за деревенской хозяйкой, когда к ней приехали гости и ей хочется угостить их. Как она крутится, бедная! Селедочку бы — селедки доброй нет в сельмаге, сметаны нет, молока нет — ничего нет. Зло берет. В селе — совхоз, значит, рабочие? Рабочие. А как же так — в магазине ничего нет? Приусадебный участок… Вот куда вольно и невольно обращены взоры тех, кто против него в принципе и кто — за него. А на кой бы он черт нужен, такой огромный, такой «натуральный», если бы в сельмаге было что купить! Сколько он сил, времени требует, этот огород! Парень на пашне наломается, приедет домой: капусту надо поливать, картошку окучивать, свиньям замес варить, сено косить коровенке…

Ворочает парень и тоскует: в городе отработал человек восемь часов — и вольный казак, а тут как проклятый — ни дня ни ночи. А в селе — молочный совхоз, рядом мясосовхоз, под боком сырзавод, «полеводка» — все есть. А в магазине шаром покати. Э-эх… А ведь парню книгу прочесть хочется, в кино посидеть, вечерняя школа, а то и заочный вуз ждут. Все надо. А время где? Где те дяди, которые бы освободили сельскому парню время для книги, кино, клуба, вечерней школы, заочной учебы? Где те дяди, которые по старинке «куют» для деревни патефоны? Хватит патефонов! Делайте электропроигрыватели. Где те дяди и тети, которые отбирают для села грампластинки? Не надо — все частушки да частушки! Тут и романсы любят, и Райкина, и «голоса писателей», и даже оперетту. Где те дяди и тети, которые комплектуют сельские библиотеки? Почему только «Белая береза», «Алигет уходит в горы», «Записки охотника» и про шпионов? Сейчас, пожалуй, укажут на тиражи вообще. Знаю — большие. Но надо представить себе, какая это зияющая утроба — деревня. Кстати, тираж журнала «Сельская молодежь» смехотворно мал.

В заключение о кино «применительно» к сельскому зрителю: каким оно должно быть? Перефразируя известное выражение: таким же, как в городе, только лучше.

Какой должен быть современный положительный герой? Знают, что он должен быть честный, неглупый, добрый, принципиальный и т. п. Знают больше: у положительного героя могут быть кое-какие и отрицательные стороны, слабости. Вообще о положительном герое знают все — какой он должен быть. И тут, по-моему, кроется ошибка: не надо знать, какой должен быть положительный герой, надо знать, какой он есть в жизни. Не надо никакого героя предлагать зрителю в качестве образца для подражания. Допустим, вышел молодой человек из кинотеатра и остановился в раздумье: не понял, с кого надо брать пример, на кого быть похожим… Ну и что? Что, если не убояться этого? На кого быть похожим? На себя. Ни на кого другого ты все равно не будешь похожим. Если ты посмотрел умный фильм, где радуются, горюют, любят, страдают, обманываются, обретают себя живые люди, значит, тебе предложили подумать о самом себе. Тебе показали, как живут такие-то и такие-то, а ты задумаешься о себе. Обязательно. В этом сила живого, искреннего реалистического искусства. Если авторы сами радуются хорошему, если ненавидят дурное в людях и если все это — правда, если ты сам знаешь, что в жизни так и бывает, как тебе только что показали, то не захочешь спрашивать: на кого быть похожим? На себя, только станешь умнее, крепче, отзывчивее. Не мог же ты не радоваться, когда все в зале радовались, что человек в трудную для себя минуту не соврал, не словчил за счет другого… А человек-то, казалось, незаметный, каких много. Радость, какую мы испытываем, глядя, как человек перемог себя и остался человеком, скоро не забудется. Мне кажется, смысл социалистического искусства не в том, чтобы силиться создавать неких идеальных положительных героев (даже в противоположность отрицательным), а находить, обнаруживать положительные — суть качества добрые, человечные — и подавать это как прекрасное в человеке.

И потом мы забываем, что, когда мы очень уж настойчиво начинаем предлагать зрителю образцы для подражания, мы возбуждаем в нем чувство протеста, раздражение. Попробуйте за ребенка сделать какое-нибудь мало-мальски сложное дело — он заплачет. Он хочет сам. Общение с искусством, когда тому, что мы видим, мы целиком верим, приводит нас в редкое и радостное состояние детскости.

Ребенок знает, наверно, что отец сделает лучше, но он хочет сам. Зритель тоже хочет сам. И кто смолоду больше делает и думает сам, тот становится потом надежнее, крепче, умнее.

Надо только стараться, чтоб мы не врали, не открывали то, что зритель давным-давно знает без нас, не показывали ему — вот это хорошо. Что, он сам не видит, что хорошо, что плохо? Странное дело: зритель приходит к нам из самой гущи жизни, зная о ней гораздо больше нас (в смысле конкретном, реальном), а мы не стыдимся показывать ему иногда такое, во что сами не верим. Самое, может быть, дорогое завоевание социалистического реализма — это то, что художник и тот, к кому он приходит со своим произведением, говорят на родном языке, на равных. Не надо только учить. Надо помогать исследовать жизнь, открывать прекрасное в жизни и идти с этим к людям. Надо страдать, когда торжествует зло, и тоже идти к людям. Иначе к чему все? Было время, когда мужика устраивал лубок. Было — и прошло. Он вырос, стал умный, думающий. Бить надо нас по рукам, когда мы вместо правды придумываем для него разные характеры, ситуации, психологию. Да еще делаем вид, что это-то и есть правда. Никого мы не обманем и не научим таким образом быть лучше. Только испортим дело.

Монолог на лестнице
Однажды случился у меня неприятный разговор с молодыми учеными. Разговор был о деревне. А неприятный оттого, что я совсем не умею спорить. А надо было спорить, доказывать свою правоту. Я не сумел, и потом было тяжело.

Поступила записка. Спросили: «А сами Вы хотели бы сейчас пройтись за плугом?» Тут я сбился. Вякнул что-то насчет того, что и им тоже не хотелось бы сейчас от своих атомных котлов — в кузницу. А они и не ратуют за то. Напротив. А у меня получилось, что я для кого-то хотел бы сохранить в деревне «некую патриархальность», а сам со спокойной совестью пристроился жить в столице. На меня смотрели весело и понимающе. Я заявил: «Если бы там была киностудия, я бы опять ушел в деревню». Это было совсем глупо.

Между тем мне бы хотелось продолжить тот разговор. Вот каких вопросов касался он:

«Что есть интеллигентный человек?»

«Куда идет деревня?».

«Что погибает в деревне и что стоит жалеть из того, что погибает?»

«Что порождает город и что стоило бы погубить из того, что он порождает?»

«Что есть человек неинтеллигентный, но пребывающий в приятном и отвратительном самомнении, что он — интеллигент?»

Много было вопросов, но все примерно такого свойства… Вот как я думаю про все это:

Интеллигентный человек. Это ответственное слово. Это так глубоко и серьезно, что стоило бы почаще думать именно об ответственности за это слово.

Начнем с того, что явление это — интеллигентный человек — редкое. Это — неспокойная совесть, ум, полное отсутствие голоса, когда требуется — для созвучия — «подпеть» могучему басу сильного мира сего, горький разлад с самим собой из-за проклятого вопроса «что есть правда?», гордость… И — сострадание судьбе народа. Неизбежное, мучительное. Если все это в одном человеке — он интеллигент. Но и это не все. Интеллигент знает, что интеллигентность — не самоцель.

Конечно же, дело не в шляпе. Но если судить таким судом, очень многим надо «встать и снять шляпу». Оттого-то мне и дорог деревенский уклад жизни, что там редко-редко кто сдуру напялит на себя личину интеллигентного человека. Это ведь очень противный обман. При всем том уважается интеллигент, его слово, мнение. Искренне уважается. Но, как правило, это человек «залетный» — не свой. И тут тоже то и дело случается обман. Наверно, оттого и живет в народе известная настороженность к «шляпе». Как-то так повелось у нас, что надо еще иметь право надеть эту самую злополучную шляпу Может быть, тут сказывается та большая

совестливость нашего народа, его неподдельное чувство прекрасного, которые не позволили забыть древнюю простую красоту храма, душевную песню, икону, Есенина, милого Ваньку-дурачка из сказки… Впрочем, Ванька-то, пожалуй, забывается, и даже имя его – все реже к реже. Все больше Эдуарды, Владики, Рустики. Опять надежда на деревню: может, хоть там не забудут про Ивана. Иван на Руси славные делал дела! И землю пахал, и книжки писал, и песни складывал, и машины изобретал, и города строил. И неплохо.

Двадцатый век, он, конечно, бурный век, стремительный. Ритмы его должны были всколыхнуть спокойную деревню. И всколыхнули. Я видел в Сибири, в деревне, как в клубе наяривают твист. Черт с ним, с твистом, – на здоровье. Но почему возникает при этом сладостное ощущение, что ты таким образом приобщился к современному образу жизни? Не обман ли это? Я ведь не к тому, чтоб запретить. Действительно, охота понять: не обман ли? Не маловато ли? Жалко, когда смолоду обманываются. Жизнь коротка.

Что же такое современность? Машины. Скорости, скорости, скорости. Но даже чтоб рассчитать самую среднюю скорость, надо сидеть и думать. Двадцатый век – это все более сложные задачи, все более вдумчивый, сосредоточенный взгляд человека. Все больше привлекает лобастый человек, все яснее становится, что это самая прекрасная часть человека – лоб. (Не к тому опять же, чтоб все взяли и начали наголо бриться, но и прятать-то его зачем же.)

Ничто так не пугает, не удивляет в человеке, как его странная способность разучить несколько несложных житейских приемов (лучше – модных), приспособить разум и руки передвигать несколько рычажков в огромной машине Жизни – и все, баста. И доволен. И еще похлопывает по плечу того, кто пока не разучил этих приемов (или не захотел разучить), и говорит снисходительно: «Ну что, Ваня?» Ничего, Ваня! Не робей. Думай.

Мы ломаем голову, какой он такой, интеллигентный человек? А образ его давно создал сам народ. Только он называет его – хороший человек. Умный человек. Уважительный. Не мот, не пропойца. Чистоплотный, Не трепач. Не охальник. Работник. Мастер.

Господин двадцатый век требует больших знаний. Но умный человек всегда много знал. И потому он и умный, что ему никогда не лень было узнавать все больше и больше.

Человечество ведет с природой вековую изнурительную борьбу, шаг за шагом отвоевывая у нее блага себе, тайны ее и богатства. В этот вечный бой вводятся все новые общества, поколения. Общество распределяет силы: тех, что впереди, на передовых рубежах, поддерживают те, что сзади. На равных. Неразумно бросать всех сразу вперед. Для наглядности грубо предположим, что город наш – впереди, деревня сзади – тыл. Современная жизнь с ее грохотом, ритмами, скоростями и нагрузками смалывает человеческие силы особенно заметно. Двадцатый век если и уступает много, то и мстит жестоко. Люди устают, нервничают, забывают покой, забывают радоваться жизни, красоте, годами не видят, как встает и заходит солнце, так привыкают к шуму, что иногда не поймешь, то ли крикнули «здравствуйте!», то ли «караул!». Особенно, конечно, достается городу. Разумно ли в таком случае не иметь надежного, крепкого резерва в лице деревни?

Я договорился, таким образом, до того, что в деревне надо бы сохранять ту злополучную «некую патриархальность», которая у нас вызывает то снисходительную улыбку, то гневную отповедь. Что я разумею под этой «патриархальностью»? Ничего нового, неожиданного, искусственного. Патриархальность как она есть (и пусть нас не пугает это слово): веками нажитые обычаи, обряды, уважение заветов старины. То есть нельзя, по-моему, насаждать в деревне те достижения города, которые совершенствуют его жизнь, но совершенно чужды деревне. Например:

Когда присылается в деревню типовой проект общественной бани, то это – зря. С таким же успехом можно прислать туда типовой проект… тюрьмы – так же будет неинтересно, нетворчески, я бы сказал. Кроме того, общественная баня там не нужна.

Если город способен принять и переварить (он огромный!) «достижение» вроде Дворцов бракосочетаний, то деревня не может вынести «показушную» свадьбу – стыдно, тяжело. Стыдно участникам, стыдно со стороны смотреть. Почему? Не знаю.

Ведь и старый обряд свадьбы – это тоже спектакль. А вот поди ж ты!.. Там – ничего, смешно, трогательно, забавно и, наконец, волнующе. Законный вопрос мне: где это вы видели сегодня такие «старинные» свадьбы? Сегодня – нигде. К сожалению. А вот лет двадцать назад я выдавал замуж сестру (на правах старшего брата, за неимением отца. Это было далеко, в Сибири). По всем правилам (почти по всем) старинной русской свадьбы. Красиво было, честное слово! Мы с женихом – коммунисты, невеста – комсомолка… Немножко с нашей стороны – этакая снисходительность (я лично эту снисходительность напускал на себя, ибо опасался, что вызовут потом на бюро и всыплют; а так у меня отговорка: «Да я ведь так – нарочно»). Ничего не нарочно, мне все чрезвычайно нравилось. Итак, с нашей стороны – этакое институтское, «из любопытства», со стороны матерей наших, родни – полный серьез, увлеченность, азарт участников большого зрелища. Церкви и коней не было. О церкви почти никто не жалел, что коней не было – малость жаль. Утверждаю: чувство прекрасного, торжественный смысл происходящего, неизбежная ответственная мысль о судьбе двух, которым жить вместе, – ничто не было утрачено, оттого что жених «выкупал» у меня приданое невесты за чарку вина, а когда «сундук с добром» (чемодан с бельем и конспектами) «не пролез» в двери, я потребовал еще чарку. Мы вместе с удовольствием тут же и выпили. Мы – роднились. Вспоминаю все это сейчас с хорошим чувством. И всегда русские люди помнили этот единственный праздник в своей жизни – свадьбу. Не зря, когда хотели сказать: «Я не враг тебе», говорили: «Я ж у тебя на свадьбе гулял».

Клубы в селе… Они, конечно, нужны. Хорошие! Но почему в них, даже в больших и хороших, такая скучная жизнь? Вообще я заметил: где хотят организовать веселье, там его не получается. Не надо все валить на плохих массовиков-затейников. Как во всякой профессии, есть там старательные, есть талантливые. У талантливых тоже не получается. Приходит в голову грустная мысль: а нужна ли она, такая веселая профессия? В войну нам было по двенадцать-шестнадцать лет. Никакого клуба у нас не было. А многие уже работали. Как ни трудна жизнь, а через шестнадцать лет не переступишь. Собирались на вечеринку. С девушками. Была балалайка, реже – гармонь. Играли в фантики, крутили шестерку… Целовались. И у каждого (кто повзрослей) была среди всех, которая нравилась. Когда случалось поцеловаться с ней при всех – обжигало огнем сердце и готов был провалиться сквозь землю. Но – надо! И этого хватало потом на всю неделю. И ждешь опять субботу – не приведет ли случай опять поцеловаться с желанной. Неохота говорить тут о чистоте отношений – она была. Она всегда есть в шестнадцать лет. Было весело – вот что хочется сказать. А кто организовывал? Никто. Лежала на печке бабка и иногда советовала «палачу» с ремнем: «А ты огрей ее хорошенько, раз она капрызничает. Огрей по толстой-то!.. Ишь какая!» И еще подсказывала: «А ишо вот так раньше играли: садитесь-ка все рядком…» И работалось. И ждалось. К концу войны из церкви выгребли семенной овес, подчистили, сказали: теперь – это клуб. Вечерки стали разгонять. Долго боролись, прятались, но… В общем, пошел – клуб. Стали кино привозить. Редко, правда. Больше лекции с танцами. Не ходили. Опять рассылали активистов по селу – собирать на лекции и на танцы. А один раз приехала молодежь из ближайшего города помочь в прополке хлебов. После работы организовали в клубе нечто вроде образцово-показательного вечера отдыха. Играл баянист, городские танцевали… Наши деревенские «черти» (так нас тогда называли городские. Еще – «рогалями») стояли вдоль стенки, улыбались и перешептывались. Кончился танец, и наш завклубом вышел на середину зала при всех орденах и в военной форме и строго сказал:

– Было замечено: три пары танцевали «линдой». Предупреждаю!

Что-то убили с вечерками. Не надо меня сейчас ловить на слове: я не за вечерки в 1968 году. Но как придумались когда-то всякого рода вечерки, посиделки, так к 1968 году придумалось бы что-то другое – вместе с лекциями и танцами. Зря покалечили народное творчество в этом деле. Обычай не придумаешь, это невозможно.

Хочется еще сказать: всякие пасхи, святки, масленицы – это никакого отношения к богу не имело. Это праздники весны, встречи зимы, прощания с зимой, это – форма выражения радости людской от ближайшего, несколько зависимого родства с Природой. Более ста лет назад Виссарион Белинский достаточно верно и убедительно сказал, как русский мужик относится к богу: годится так годится, а не годится – тоже не беда.

Так у меня вышло к сорока годам, что я – ни городской до конца, ни деревенский уже. Ужасно неудобное положение. Это даже – не между двух стульев, а скорее так:

одна нога на берегу, другая в лодке. И не плыть нельзя, и плыть вроде как страшновато. Долго в таком состоянии пребывать нельзя, я знаю – упадешь. Не падения страшусь (какое падение? откуда?) – очень уж, действительно, неудобно. Но и в этом моем положении есть свои «плюсы» (захотелось вдруг написать – флюсы). От сравнений, от всяческих «оттуда – сюда» и «отсюда – туда» невольно приходят мысли не только о «деревне» и о «городе» – о России.

Ну, ладно, уходят из деревни, наверно, и впредь будут уходить. Наверно, таков неумолимый закон жизни – двадцатый век! Но надо бы подумать, как встречает город деревенского парня. А идет он оттуда «косяком» – много.

Необходимо опять вернуться к разговору об интеллигентном человеке (кстати, чтобы пресечь всякие догадки о моем намерении претенциозного характера, скажу: мне бы хотелось когда-нибудь стать вполне интеллигентным человеком). Деревенский парень, он не простой человек, но очень доверчивый. Кроме того, у него «закваска» крестьянина: если он поверит, что главное в городе – удобное жилье, сравнительно легче прокормить семью (силы и сметки ему не занимать), есть где купить, есть что купить – если только так он поймет город, он в этом смысле обставит любого горожанина. Тогда, если он зажмет рубль в свой крестьянский кулак, – рубль этот невозможно будет отнять ни за какие «развлечения» города. Смолоду еще походит в кино, раза три побывает в театре, потом – ша! Купит телевизор и будет смотреть. И будет писать в деревню: «Живем хорошо. Купил недавно сервант. Скоро сломают тещу, она получает секцию. Наша секция да ее секция – мы их обменяем на одну секцию, и будет у нас три комнаты. Приезжайте!»

Это – худший вариант. Есть другой – еще более худший: «выдвинут» его куда-нибудь, честного, простого, а он подумает, что тут самое главное – научиться «выступать». Научится не научится, но попрет тоже по-крестьянски. По себе знаю, как любят иногда «городские» «побаловаться» в это дело. «Иди выступи. По-своему, как умеешь».

Как же надо встречать городу такого вот доверчивого, простого, здорового «выходца»? Не знаю. Только сразу приходит мысль о вековой городской культуре и об истинно интеллигентных людях. Что по мне, так, возвращаясь к временам, когда я говорил «как умел» – умной книжкой по башке: читай! Слушай умных людей, не болтунов, а – умных. Сумеешь понять, кто умный, «выйдешь в люди», не сумеешь – незачем было ехать семь верст киселя хлебать. Думай! Смотри, слушай – и думай. Тут больше свободного времени, тут библиотеки на каждом шагу, читальные залы, вечерние школы, курсы всякие… «Знай работай да не трусь!» Обрати свое вековое терпение и упорство на то, чтобы сделать из себя человека. Интеллигента духа. Это вранье, если нахватался человек «разных слов», научился недовольно морщить лоб на выставках, целовать ручки женщинам, купил шляпу, галстук, пижаму, съездил пару раз за рубеж – и уже интеллигент. Про таких в деревне говорят: «С бору по сосенке». Не смотри, где он работает и сколько у него дипломов, смотри, что он делает.

Город – это трагедия Гоголя, Некрасова, Достоевского, Гаршина и других страдальцев, которые до смертного часа своего искали в жизни силу, которая бы уничтожила зло на земле, и не нашли. Это – Пушкин, Лермонтов, Толстой, Чехов… Не могу удержаться, поделюсь одной мыслью, которая поразила меня своей простой правдой: мысль Ю. Тынянова (где-то в его записках). Вот она: только мещанин, обыватель требует, чтобы в художественном произведении

а) порок был обязательно наказан;

б) добродетель восторжествовала;

в) конец был счастливым.

Как верно! В самом деле, ведь это удобно. Это «симметрично» (выражение Тынянова), «красиво», «благородно» – идеал обывателя. Кроме обывателя, этого никто не хочет и не требует. (Дураку все равно.) Это не зло, это хуже. Это смерть от удушья. Как же мы должны быть благодарны им – всей силой души, по-сыновьи, как дороги они всякому живому сердцу, эти наши титаны-классики. Какой головокружительной, опасной кручей шли они. И вся жизнь их – путь в неведомое. И постоянная отчаянная борьба с могучим гадом – мещанином. Как нужны они, мощные, мудрые, добрые, озабоченные судьбой народа, – Пушкин, Толстой, Гоголь, Достоевский, Чехов… Стоит только забыть их, обыватель тут как тут. О,

тогда он наведет порядок! Это будет еще «то» искусство! Вы будете плакать в зале, сморкаться в платочек, но… в конце счастливо улыбнетесь, утрете слезки, легко вздохнете и пойдете искать автора – пожать руку. Где он, этот чародей? Где этот душка! Как хорошо-то было! Мы все переволновались, мы уж думали… Но тут встает классик – как тень отца Гамлета, – не дает обывателю пройти к автору. И они начинают бороться. И нелегкая это борьба. Обыватель жалуется. Автор тоже жалуется. Администрация жалуется. Все жалуются. Негодуют. Один классик стоит на своем: не пущу! Не дам. Будь человеком.

Город – это и тихий домик Циолковского, где Труд не искал славы. Город – это где огромные дома, и в домах книги, и там торжественно тихо. В городе додумались до простой гениальной мысли: «Все люди – братья». В город надо входить, как верующие входят в храм, – верить, а не просить милостыню. Город – это заводы, и там своя странная чарующая прелесть машин.

Ладно, если ты пришел в город и понял все это. Но если ты остался в деревне и не думаешь тайком, что тебя обошла судьба, – это прекрасно. Она не обошла, она придет, ее зарабатывают. Гоняться за ней бессмысленно – она, как красивая птица: отлетит немного, сядет. Побежишь за ней, она опять отлетит и сядет. И близко так! – опять хочется побежать. Она опять отлетит и сядет в двух шагах. Поди сообрази, что она уводит тебя от гнезда.

Труд, труд и раздумья. И борьба, и надежда. Вот удел человеческий. Везде.

Предположим далее, что разговор у нас пошел так: вопросы – ответы. Вопросы отберу из тех, что мне действительно были заданы в разное время, ответы – тут же, на лестнице, задним числом. Я уже значительно спокойнее – выговорился. Чарующая картина: стою и не смущаюсь, не заикаюсь, смотрю прямо, несколько даже весело. Пожалуйста.

В. Что такое «интеллигент духа»? Как это надо понимать?

О. Сознаю, что выразился несколько красиво и не совсем самостоятельно («аристократы духа» уже были), но как-то не нашлось другого. Вот что это такое: это очень хороший человек. Деревенские старик и мальчик остановились и поздоровались с незнакомым. Я их не знаю и не захлебываюсь сразу от восторга: «Вот они, настоящие хорошие люди!» Нет, я поздоровался и – по привычке думать – думаю: откуда это у них? Положим, мальчику сказал учитель: «Надо здороваться со всеми». А этот, седой-то?.. Ведь жизнь прожил, устал, наработался, навоевался, наголодался – всякое было. Но неистребимо живет в нем вот это бескорыстие – «дай вам бог здоровья!». Так просто, от доброты душевной. Я ему не барин, не председатель сельсовета – человек. Вот он и пожелал мне: будь здоров, живи, ибо жить все-таки – хорошо. Спасибо. И ты – здравствуй много лет, жить, правда, хорошо, хоть иногда нелегко.

В городе, конечно, не наздороваешься с каждым встречным и поперечным. Понимаю.

Не так давно наблюдал сцену.

Метро. Поздно уже, часов двенадцать. Два провинциальных парня (на беду их, слегка под хмельком) интересуются в вагоне, как проехать до станции такой-то. Крупный молодой человек спортивного вида улыбнулся, объясняет:

– Вот остановка – видите? – вы здесь сойдете, сделаете переход, сядете вот тут (показывает по схеме) и поедете во-от так. Значит: раз, два, три, четыре, пять, шесть…

Громко объясняет, чтоб все слышали. Все слушают и улыбаются: парень направляет их по кольцу в обратную сторону (их остановка – следующая). Некоторые даже хихикают. Провинциалы полагают, что смеются над ними оттого, что они – немного выпивши. Оглядываются, тоже улыбаются.

– Далеко, – говорят они.

– За пять копеек-то! – изо всех сил наигрывает красавец парень. – Спасибо скажите! А вы – «далеко».

В вагоне откровенно смеются. Необидно смеются – весело. В конце концов доедут же

ведь они до своей станции!

Остановка. Им сходить. Какой-то пожилой человек с седенькой бородкой клинышком (прямо как из банальной пьесы: сельские простаки-парни, городской спортсмен-красавец и старичок-профессор. Но что делать!) поднялся с места, тронул ребят и сказал просто:

— Вам сходить.

Ребята замешкались, не понимают. Им же сказали…

— Сходите! — велел «профессор». Они сошли.

«Профессор» сел опять на свое место и продолжал читать газету.

Всем стало как-то неловко. И «спортсмену» тоже. Может быть, начни «профессор» упрекать: как вам не стыдно! зачем вы так? — тут бы и облегчение пришло. Заговорили бы: а нечего пить! Нечего вообще до сих пор шляться, если они первый раз в городе! Все учреждения давно закрыты.

Нет, старичок спокойно читал себе газетку. Красивый человек!

А! — противопоставление: в деревне — хорошие, в городе — плохие, за редким исключением. Нет же, нет! И в деревне есть всякие. Есть такие, что не приведи господи! Но и там и там есть такие вот душевные, красивые люди, как эти старики. Один, наверно, не прочитал за всю жизнь ни одной книжки, другой «одолел» Гегеля, Маркса… Пропасть! Но есть нечто, что делает их очень близкими, — человечность. Уверен, они сразу бы нашли общий язык. Им было бы интересно друг с другом. И зарю они, наверно, одинаково любят: мудро, спокойно, молча. И людей понимают одинаково: пустого человека, как он ни крутись, раскусят. И дурака-начальника встречают одинаково: немножко весело, немножко грустно, но, в общем, терпимо. Что делать?

В. Так куда же все-таки идет деревня?

О. В светлое будущее. Но… все равно она останется — деревня. И не надо бы насильственно подталкивать ее на путь «малой урбанизации». Понимаю, что характер труда крестьянина будет меняться со временем, совершенствоваться, небольшие промышленные предприятия будут «селиться» ближе к мужику (это хорошо! надо!), но дайте ему возможность и тогда самому срубить себе дом. Дайте ему отвести душу — вырезать узоры на карнизе, расписать ставни, посадить под окном березу, «присобачить» на крышу какую-нибудь такую штуку, что все ахнут. А он будет доволен.

В связи с этим позвольте не поверить в искренность таких вот слов: «Доходы колхозников позволяют им строить дома, которые по красоте и удобству не уступали бы хорошей городской квартире. Но где взять такие проекты?» (курсив мой. — В. Ш.). Это сказал председатель колхоза имени Кирова Слуцкого района С. Д. Лемещенко на совещании по сельскому строительству в Белоруссии.

Грешным делом, подозреваю, что это — модный «крик души». Не хочется верить вам, тов. Лемещенко. Это смахивает на прием «выступальщиков» — «так давайте же нам!», «помогите же нам!». А если у вас это искренне, тогда уж совсем плохо. Это уж черт знает что. Дайте проект: как нам жить? Как рожать детей? Как наладить добрые отношения с тещей? Как построить себе удобное жилье? Было бы из чего — построят без городского проекта. И будет удобно, красиво, будет лучше городской квартиры.

Молодой, полный выучки и энергии выпускник краевой культпросветшколы приезжает в «глубинку» и начинает «разнорачиваться». Набрал энтузиастов — и пошли чесать. «Под Мордасову». С хором. Под баян. С приплясом. И голос подобрали «похожий» и приплясывать научились — довольны. Похоже! И в районе довольны. А то, глядишь, и в область попадут — на смотр. Но там уж из «похожих» выбирают самых «похожих». Какая досада! Село двести лет стоит, здесь хранят память о Пугачеве (предки, разбегаясь после разгрома восстания, селились, основали село), здесь даже былины знают… Здесь на каждой улице — своя Мордасова. Тут есть такие бабки, что как запоют, так сердце сжимается. Старо? Несовременно? Ну, значит, Пушкин ничего не смыслил в этом деле, если, будучи молодым человеком, просил Арину Родионовну,

старушку, спеть ему, «как синица тихо за морем жила». Значит, все, что нажил народ веками, сберег, – все побоку, даешь Мордасову! (Думаю, нет надобности заявлять тут, что я не имею ничего против этой славной исполнительницы веселых куплетов.)

Спохватились, губим архитектурные памятники старины. Так давайте пожалеем (взвоем, охота сказать), что мы забываем! Мне по фильму «Ваш сын и брат» понадобилось набрать в сибирском селе, где мы снимали, человек десять-пятнадцать, которые бы спели старинную сибирскую песню «Глухой, неведомой тайгою». Мы должны были записать ее на магнитофон и потом в Москве в павильоне дать актерам послушать, чтоб у них получилось «похоже». Ассистенты бегали по всему селу и едва-едва набрали двенадцать человек, которые согласились спеть. (Почему-то им было неудобно.) Спели с грехом пополам. Все оглядывались, улыбались смущенно и просили:

– Может, мы какую-нибудь другую? «Мой костер в тумане светит»?

Дали им выпить немного – раскачались. Но все равно, когда потом пошли домой, запели «Мой костер». Запевал местный счетовод, с дрожью в голосе, «красиво». Оглядывались. Ушли с убеждением, что я человек отсталый, не совсем понятно только, почему мне доверили такое ответственное дело – снимать кино.

Это – к вопросу, что мы забываем, и с какой легкостью! И даже вспоминать стыдимся. Кстати, никак не могу понять, что значит: русская народная песня в обработке… Кто кого «обрабатывает»? Зачем? Или вот еще: современная русская народная песня! Подчеркнуто – народная. Современная. И – «Полюшко колхозное, мил на тракторе, а я на мотоцикле за ним…» Бросьте вы! Обыкновенная плохая стилизация.

В. Что можно было бы пожелать молодым в деревне и в городе?

О. Сейчас идеалом жизни сельской молодежи, даже если судьба не сулит ей (значительной части) в ближайшее время город, все равно – городская жизнь. Тут начинается самое сложное, Сразу легко напрашивается вывод: так давайте активнее насаждать там «городскую жизнь»! Давайте.

– Ну?

– Что? Давайте!

– Так что же вы в открытую дверь ломитесь!

– Почему же, давайте – только не с бухты-барахты, а подумав. Я помню, несколько лет назад к нам в село в парикмахерскую прислали женского парикмахера. Молодая, хорошенькая женщина…

– Ходили к ней?

– Ходили. Мужчины – посмотреть на нее. Парикмахерша поскучала недельку и уехала.

Конечно, молодому парню с десятилеткой пустовато в деревне. Он знает (приблизительно, конечно, – по кино, по книжкам, по рассказам) про городскую жизнь и стремится, сколько возможно, подражать городским (прическа, одежда, транзистор, словечки разные, попытки несколько упростить отношения с девушкой, вообще – стремление попархать малость). Он не догадывается, что он смешон. Он все принял на чистую монету. Но если бы от моей головы сейчас пошло сияние – такой бы я вдруг сделался умный, – я бы и тогда не сумел убедить его, что то, к чему он стремится, не есть городская жизнь. Он прочитает и подумает: «Это мы знаем, это – чтоб успокоить нас». Я мог бы долго говорить, что те мальчики и девочки, на которых он с тайной завистью смотрит из зрительного зала, – их таких в жизни нет. Это – плохое кино. Но я не буду. Он сам не дурак, он понимает, что не так уж все славно, легко, красиво у молодых в городе, как показывают, но… Но что-то ведь все-таки есть! Есть, но совсем, совсем другое. Есть труд, все тот же труд, раздумья, жажда много знать, постижение истинной красоты, радость, боль, наслаждение от общения с искусством.

В восемнадцать лет самая пора начать думать, ощущать и себе силу, разум, нежность – и отдать бы все это людям. Кому же еще? Вот – счастье, по-моему.

Можно, конечно, принять восемнадцать лет как дар Жизни, с удовольствием разменять их на мелочишку чувств, небольших, легко исполнимых желаний – так тоже можно, тоже будет что вспомнить, даже интересно будет… Только жалко. Ведь это единственный раз! Жизнь, как известно, один раз дается и летит чудовищно скоро – не успеешь оглянуться, уже сорок… Вернуться бы! Но… Хорошо сказано: близок локоть, да не укусишь.

Вернуться нельзя. Можно – не пропустить. Можно, пока есть силы, здоровье, молодая душа и совесть, как-нибудь включиться в народную жизнь (помимо своих прямых обязанностей по долгу работы, службы). Приходит на память одно тоже старомодное слово – «подвижничество». Я знаю, «проходил» в институте, что «хождение в народ» – это не самый верный путь русской интеллигенции в борьбе за свободу, духовное раскрепощение великого народа. Но как красив, добр и великодушен был человек, который почувствовал в себе неодолимое желание пойти и самому помочь людям, братьям. И бросал все и шел. Невозможно думать о них иначе, чем с уважением. Это были истинные интеллигенты! Интеллигенты самой высокой организации.

У нас сложилась традиция: в страдную пору в хлеборобные районы страны выезжает огромная армия студенчества и молодых рабочих. Они делают хорошее дело – помогают убрать хлеб. Что, если бы это были не только «рабочие руки», а еще молодые, умные, образованные люди, с которыми страсть как интересно поговорить, послушать их – в клубе ли, у себя ли дома за чашкой чаю, – что они собираются делать в жизни? Как понимают то или иное явление общественной, политической, культурной жизни в стране? Да мало ли о чем захочется поговорить с умным человеком! Это были бы дорогие гости. Только надо бы поначалу похоронить, забыть и никогда не вспоминать ту казенную манеру – скучно, нудно, длинно читать лекции, которые до того учены, что уж и не трогают никого. Я легко могу представить себе очень горячий спор, где-нибудь в клубе или в избе-читальне людей сельских и городских на такую примерно тему: «Ну, хорошо: понастроим мы всяческих машин, создадим города-гиганты, все вокруг нас будет грохотать, гудеть, свистеть, трещать, сверкать, – а не станем мы беднее от этого? Не станет ли человек слугой им самим созданного чудовища из стали, проводников, полиэтилена, резины, стекла, гранита, бетона, железобетона… Или это смешной страх?»

Еще одно обстоятельство: едут в те районы будущие филологи, историки, литераторы, художники, журналисты, адвокаты, то есть те, кому по роду будущей работы надо знать народные обычаи, особенности говоров, психологию сельского человека… Там, беседуя с мужиком, можно много узнать такого, чего не знает профессор в университете.

Образовалась бы вдруг такая своеобразная «целина»: молодые люди, комсомольцы, вы всегда были там, где трудно, где вы очень нужны, где надо сделать благое великое дело! Сегодня нужны ваши светлые головы, ваши знания диковинных вещей, ваша культура, начитанность – «сейте разумное, доброе, вечное» в благодарные с сердца и умы тех, кто нуждается в этом.

Сколько хороших, умных книг не прочитано! Сколько открытий человечества неизвестно! Сколько радости «недополучили» люди оттого, что не готовы понимать большое серьезное искусство! И сколько дряни, халтуры, пустозвонства обрушено было в разное время на их головы! Пора бы и разобраться! В деревне такая нужда особенно вопиет. Это понятно. Это отрадно. Грустно только, что в поисках этого «разумного, вечного» надо подниматься и уходить с земли отцов и дедов.

Одно время я был учителем сельской школы для взрослых. Учитель я был, честно говоря, неважнецкий (без специального образования, без опыта), но не могу и теперь забыть, как хорошо, благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда мне удавалось рассказать им что-нибудь важное и интересное (я преподавал русский язык и литературу). Я любил их в такие минуты. И в глубине души, не без гордости и счастья верил: вот теперь, в эти минуты, я делаю настоящее, хорошее дело. Жалко, мало у нас в жизни таких минут. Из них составляется счастье.

Средства литературы и средства кино

За экранизацию литературы чаще ругают, чем хвалят, или снисходительно молчат. И правильно делают. Мало того, иногда надо по рукам бить – за спекуляцию. Но если забыть, что есть в искусстве нечестные люди, а думать: все, кто обратился к

классике, желая «переселить» живых строптивых проев прославленных книг на экран, раскрывают те книги с благоговением и знанием дела, – если даже так думать, – поуменьшится ли недоумение, боль, неподдельное раздражение тех, кто, предчувствуя скорую радость, торопился в кинотеатр на встречу со своими давними друзьями? Так, самую малость. Тоска и недоумение всегда будут сопровождать даже самые добросовестные фильмы, как только они осмелятся назваться дорогим именем той или иной повести или романа, того или иного дорогого нам писателя. (Ну и что с того, что есть удачные примеры экранизации? Оттого, что они редки, они лишь подтверждают, что нет правил без исключения.) Дело в том, что нельзя сделать фильм во всех отношениях равный произведению литературы, которое остается жить во времени, в душах людей. (Странно, но так: чем хуже литература, тем лучше можно сделать фильм.)

Средства литературы и средства кино не равны. Различны. Средства литературы – неизмеримо богаче, разнообразнее, природа их иная, нежели природа средств кинематографа. Литература питается теми живительными соками, которые выделяет – вечно умирая и возрождаясь, содрогаясь в мучительных процессах обновления, больно сталкиваясь в противоречиях – живая Жизнь. Кинематограф перемалывает затвердевшие продукты жизни, готовит вкусную и тоже необходимую пищу… Но горячая кровь никогда не зарумянит его щеки.

Если я и хватил через край, то в том направлении, в каком лежит истина. Так в практике нашего кино и сложилось: сценарий никто всерьез не принимает за литературу. Крайне сомнительно, что какой-нибудь уважающий себя «толстый» или «тонкий» журнал станет печатать сценарий наравне с «обычной» прозой. Это делает «Искусство кино» – двенадцать раз в год. (На сто двадцать фильмов!)

Я написал сценарий о Степане Разине, у меня вышло триста страниц. Казалось бы, ну и что? Это же литературный сценарий. Судить его надо пока по литературным достоинствам, потому, удались или не удались характеры, близок ли он к исторической истине… Наконец, можно ли по нему поставить фильм? Мое кинематографическое начальство твердо сказало: много. Надо примерно сто пятьдесят – двести страниц. (Для двух серий.) Сколько я ни упрашивал, сколько ни распинался, что и мне, и тем, кто будет со мной работать, чем больше знать о том далеком времени, тем лучше. Уж коли мне пришлось перечитать уйму книг, как-то использовать редкие документы, то почему же те сто страниц – «лишние» – будут лежать у меня в столе? Я готов понять требование того же «Искусство кино» – сократить: там журнальная площадь, которую не могу занимать я один. Но ведь тут речь идет о, так сказать, рабочем варианте. Ничуть не бывало! Один из начальников заявил, что он даже читать не будет «такую махину». С кровью сердца выдрал сто страниц. Зачем, черт его знает. Если верят, что я вообще сделаю такую картину, то почему не верят, что я, режиссер, сделаю только две серии? Мне самому больше не надо. А с трибун взываем и жалуемся: почему писатели так неохотно идут работать в кино! А как же они – охотно! – если с ними будут так вот поступать. Это только я, «киношник», позволил так с собой разговаривать. А что делать? Мне очень хочется поставить фильм о Разине. Я угробил на сценарий два года, отступать некуда. И теперь болит душа: читают, а я там просто выкидывал, обрывал сцены, вычеркивал абзацы, которые вовсе не мешали. Разве так пишут! Ладно бы, читали и говорили: «Вам не кажется, что здесь затянуто?» Нет, говорят, хорошо, но это же на четыре серии! «Да ведь будет режиссерский сценарий!» – «А вы там будете метраж занижать». При чем тут литература? Литературный сценарий… Надо, видно, так писать: «Проход казаков к Астраханскому кремлю. Казаки оживлены. Народ приветствует их. Камера выхватывает радостные лица посадских казаков». Вот и получается, что более или менее смышленая домохозяйка втайне убеждена, что она сможет написать сценарий. И пишут! Пишут пенсионеры, домохозяйки, все, кому не лень. И удивляются и жалуются, когда им говорят, что это плохо. Вернемся, однако, к начатому разговору: о природе литературы и кино. Хоть я и жалуюсь тут, что в киноинстанциях небрежно обращаются с литературой, а ведь и я не писал так, как пишут повесть, роман или рассказ. Надо мной все время – топором – висело законное требование: все должно быть «видно». Я просто позволил себе писать чуть более пространно, подробно, чем «казаки оживлены». Не больше. Истинная литература за такие штуки бьет кованым копытом по голове.

Нет, должна быть – кинолитература, пусть – сценарий, но без претензии на «тоже литературу». А уж это дело сценаристов – встать вровень с писателем, но по-своему. И дело, наверно, творческой общественности – писательской и кинематографической – помочь молодому кровному брату – сценарию – выйти на свою

собственную дорогу и шагать твердо, а не поспешать вслед повести с оскорбленным видом.

Есть у меня друг, писатель, великолепный писатель. Он задумал сценарий кинокомедии. Почти уж написал. Прочитал мне. Он — писатель, он не мог, чтобы «камера выхватывала лица», но он достаточно опытен, чтобы почувствовать разницу между сценарием и повестью и не написать повесть, что он прекрасно умеет. Это — сценарий. И какой! У нас такой комедии еще не было, смело могу это заявить. И смешно, и грустно, и думать охота. Но представил я, как будет он мыкаться с ней, искать режиссера, а он не умеет, да у режиссера часто — «свое на уме», а и найдется какой — не так поймет, скажет: вот тут изменить бы… И посоветовал я ему: пиши как повесть. Появится в журнале, прочитают — может, захотят поставить. Тогда напишешь сценарий. Или продашь право на экранизацию. А так — куда с ней? «Искусство кино»… Не беспределен и этот журнал; и потом, как правило, там идут сценарии, которые как-то уже нащупали свою производственную судьбу. По-моему, он согласился — так вернее. Обидно! Я пытаюсь заинтересовать режиссеров, каких знаю, этой необычной комедией, но… каждый ходит уже с замыслом, или работает с писателем, или сам пишет. Иначе и быть не может.

Пора, однако, говорить более убедительно, почему истинная, большая литература не может служить основой для кино. А может служить основой для кино истинная, большая кинолитература.

Есть у Льва Толстого рассказ «Три смерти». Гениальный рассказ с огромной мыслью: все вечно живет и вечно умирает — по-разному только. Допустим, что у кого-то зачесались руки — поставить рассказ. С этой целью внимательно прочитаем хотя бы первую главу рассказа и прикинем, что приблизительно будет на экране. Мое построение весьма и весьма хрупко: пять разных режиссеров сделают пять разных фильмов. Возможно, среди них будет один очень неплохой. Вот на этот, неплохой, — сколько нас хватит, — и будем оглядываться.

В карете едет смертельно больная госпожа, с ней — горничная Матрена, «глянцевито-румяная и полная». Сзади в коляске, едут: муж больной и доктор. Лакей, ямщики.

Чахоточная больная, как все они, видно, убеждена, что за границей, поехай она туда раньше, она «была бы совсем здорова». И теперь она рвется туда душой, верит, что будет здорова там. Муж (а ему убедительно советует доктор) робко пытается отговорить жену от столь рискованной поездки теперь, в сырость и бездорожье, но тщетно. Больная раздражается, злится, мысль о смерти приводит ее в холодный ужас, для нее сейчас не существуют ни дети, ни муж, ни жизнь других людей вокруг. Ее раздражает, что они все здоровы («Дети здоровы, а я нет» «А сам ест» — о муже), что ямщики переговариваются «сильными, веселыми голосами». Сам Толстой так говорит о ней в письме к А. А. Толстой от I мая 1858 года: «Барыня жалка и гадка, потому что лгала всю жизнь и лжет перед смертью».

Толстой не боится посадить рядом с худой и бледной госпожой полнотелую, крепкую Матрену, чья «высокая грудь, покрытая ковровым платком, дышала здоровьем». Мы бы теперь убоялись лобовой контрастности, а он эту контрастность, где можно, всячески подчеркивает. И у него это — так и надо.

Полная Матрена старается как можно меньше занимать места в карете, жмется в угол, подобрала ноги… Чутьем здорового, но забитого и темного существа она угадывает, что злит своим здоровьем больную барыню. Та действительно злится. «Опять, — сказала она, нервически отталкивая красивой худощавой рукой конец салопа горничной, чуть-чуть прикасавшийся к ее ноге, и рот ее болезненно изогнулся». Толстой исподволь, но откровенно восстанавливает нас против барыни. Мы на экране должны делать то же самое. Я говорил о резкой контрастности фигур, сидящих в карете, которая не мешает Толстому. Посмотрим, как они будут выглядеть у нас. Вот — появились. Минута-две, и зритель понял: одна больна, другая здорова, одна — госпожа, другая — ее служанка. Барыня нервничает — понятно: больна. Все. Надо, чтобы они что-то делали, а то скучно. Ну, еще раз покажем на общем плане карету. Тут опять странность: казалось бы, кинематографу и карты в руки, чтобы создать иллюзию движения. Столько возможностей, столько всяких способов! У писателя — слово, предложение: «Параллельные широкие следы шин ровно и шибко стлались по известковой грязи дороги». Как ни изворачивайся — залезь под карету, снимай самые колеса, снимай сбоку, сверху, сзади, снимай убегающую назад дорогу, снимай крупно, средне, общо, снимай с рук, с крана, с черта рогатого —

такого движения, какое всем нутром ощущается в рассказе, в кино не будет. Будет что-то привычно мелькать, вертеться, трястись. В рассказе – это плавное, сильное (четверка), здоровое движение – сытые, ямские кони, молодой ямщик, лакей, которому от избытка душевного спокойствия сладко дремлется на козлах. И здесь опять невольная мысль: все это мощное, скорое движение возникло от того, что в центре его – властное, умирающее, обозленное существо. Все, стало быть, можно подчинить себе, заставить сильные силы «шибко» нести себя, а… и т. д. Точное, горькое столкновение сил жизни.

Итак:

И в рассказе и в фильме мы пока что только внешне познакомились с действующими лицами. Они еще молчат – едут. Но в фильме мы так и остались с этим. Ну, бледно загримированная актриса еще раз поморщится, вздохнет. Ну, еще раз отодвинется в угол полная Матрена… (Кстати, полная молодая актриса на экране – это совсем не то, что полная, «глянцевито-румяная» Матрена в рассказе. Для Толстого она – здоровый, естественный человек, который не виноват в том, что он здоров, Полная актриса на экране – это опасно.) Будем считать, что полная Матрена на экране не вызовет у нас усмешки, не исказит глубокой, горькой, гневной философии Толстого.

Толстой рисует портреты обеих женщин (страница в книге!) и в то же самое время налаживает мощный подводный ток своей мысли. Когда барыней произносится первое слово «Опять!» – мы уже вовлечены в движение толстовской мысли, мы уже участники его могучего мыслительного процесса. На экране это «Опять!» будет маленьким дополнением к страдальческим гримасам актрисы.

Попробуем, однако, вырваться из этого тесного круга – снимем, например, деталь, которую предлагает Толстой: лёгкое прикосновение салопа Матреши к ноге больной, чем вызвала ее раздражение. В кино деталь – сильно действующее средство. Она обязательно обращает на себя внимание и требует разгадки: «Зачем?» Мы отвлекаемся на деталь и потом, возвращаясь к общему действию, лучше понимаем происходящее. Сняли деталь: салоп чуть-чуть прислонился к ноге барыни и вызвал у той новый всплеск раздражения – «Опять!». Деталь могла быть иной: чуть коснулась нога ноги, локоть Матрены мог слегка потревожить барыню и т. п. Толстой говорит – «конец салопа». Это неспроста. Запомним пока.

Что дала деталь в кино, что прибавила она к тому, что мы уже знаем, поняли? Мало, почти ничего: такая мелочь, пустяк, а раздражает больную. Ей плохо. Все.

Толстой нас привел к другому. Во-первых, почему не рука, не нога Матреши коснулась барыни? Потому, что ноги и руки свои она усиленно «сторожит» – не приведи господи как-нибудь потревожить больную, которую она, видно, жалеет. А край салопа просмотрела. Неглупая барыня могла бы это понять, только она не хочет это понимать, она словно ждала этого прикосновения, чтобы сказать с раздражением «Опять!» И мы не заметили, как, когда, каким образом писатель сместил к этому времени наше сочувствие с больной, смертельно больной, все еще, пожалуй, красивой женщины на здоровую, простодушную девку (что вроде бы даже и нехорошо)? Но это так; мы, в свою очередь, тоже уже накопили немножко раздражения: «При чем же тут горничная-то, если тебе плохо? Ты ведь умна, образованна, нежна, это твое первое страшное – горе, ты еще в смерть-то не веришь – и уж так тихо, с таким отчаянием ненавидеть все живое и здоровое!» Это то, что требуется Толстому.

А в кино пока что продолжают покачиваться в карете две женщины: одна больна, другая здорова: салоп здоровой нечаянно коснулся больной, она с раздражением сказала: «Опять!» Здоровая отодвинулась в угол. Больная посмотрела на нее долгим взглядом. Здоровая покраснела.

У Толстого в этом «опять» и в том, как «прекрасные темные глаза больной жадно следили за движениями горничной», сквозит, пожалуй, искреннее недоумение: почему она, дворянка, красивая, которой открыты все радости и красоты мира, которую окружает блестящее общество, – почему она больна, а вот это примитивное существо полно сил и здоровья? Ей, барыне, более необходимо здоровье, чем ее горничной. Барыне это представляется чудовищной несправедливостью, и она свой упрек прямехонько возносит туда, кверху: «Боже мой! За что же?» «Лжет!» – гневно заявляет Толстой. Здесь вековая, освященная попами и законами привычка думать: я, крепостник, барин, – человек, ты, слуга мой и мой раб, – скотина. За что же – тебе здоровье, мне – чахотка! «Лжет», – говорит Толстой, лжет перед людьми и

богом, «и лжет перед смертью».

Ну и так далее. Еще там короткий разговор барыни с горничной, разговор мужа больной, доктора и самой больной на станции, и там Толстой тонко, немилосердно, чуть не злорадно добивает барыньку, вконец парализует наше к ней сострадание, совсем раздевает ее, притворную, злую, трусливую, с холодным камешком в больной груди.

Потом две другие смерти — старого ямщика Федора и дерева.

Ну и пора уж меня и спросить: а как же все-таки сделать так, чтобы рассказ этот, глыбистый, мудрый, обрел свою «жизнь на экране? И я тоже, пользуясь правом спросить, спрашиваю: а зачем? (Кроме того, я не знаю, как рассказ этот можно перенести на экран, не умертвив его.) А главное, зачем? Ведь будет хуже, если не совсем пошло. Лучше или так же — не будет. Будет только вред: в наше суетливое время, которое мы совсем напрасно всегда называем бурным, да еще с нашим-то — погонять иногда лодыря, проторчать лучше у телевизора, — мы посмотрим картину и не прочитаем рассказ.

Вот другой рассказ, другого великого писателя, Достоевского: «Мужик Марей». Рассказ, где колыхнулось такое глубокое страдание, где вместилось столько русского горя, молчаливого, мучительного… Где как бы вскипела волна горького гнева и, прокатившись из края в край изболевшей души мученика, омыв ее, нежданно высветила душу эту такой неподдельной любовью к своему страдальцу-народу. Сколько ни погружайся в целительные родниковые струи, бьющие откуда-то со дна — этого, небольшого по объему, произведения, дна не достать — это история народа и его будущее. Вечен великий народ, и он вечно будет выводить вперед своих мыслителей, страдальцев, заступников, творцов. Нет, такое кинематографу пока не по плечу. И в этом нет беды.

Кино поистине восьмое чудо света, не надо только ему гоняться за литературой. Тем скорее оно обретет свою литературу, не будет на плоский экран проецировать объемные фигуры, созданные магией слова. Этот волшебник многому уже научился, фокусы его становятся все загадочнее, все умнее и порой перестают быть фокусами, становятся чудом. Он молод и силен, всегда на виду — он еще развернется, заставит уважать себя.

Теперь что касается моего небольшого опыта в кино и в литературе. Грешно мне было бы жаловаться на «киношную» судьбу, но — тут надо преодолеть большую неловкость — рассказы, по которым я поставил оба фильма, — лучше.

Никто, кроме меня, так не думает. (Разве только критик Генрих Митин.)

Отныне я перестану ставить фильмы по своим рассказам, буду пробовать писать литературу только для кино (когда — для кино). Может быть, когда-нибудь что-нибудь выйдет. Это должна быть чрезвычайно гибкая литература, которая не будет приспосабливать к себе индивидуальности режиссера и исполнителей, а будет сама к ним приспосабливаться. Но тогда она потребует: режиссер, исполнители должны быть — художники. И так и надо.

Что мы делаем, когда экранизируем произведение литературы? Мы мучаемся, добиваясь, чтоб было, как у писателя, потому что у писателя — хорошо. У писателя хорошо, потому что он так думает и чувствует. Даже если мы найдем средства и хоть в малой степени возместим неизбежную утрату, о которой говорилось выше, мы, чтобы у нас тоже было хорошо, должны так же думать и чувствовать, как автор литературного произведения. Так не бывает. Значит, настраиваем себя «под автора». Бывает — похоже. Но пропадет почти все, пропадет живое тепло первозданности, потому что для нас — это не наше, не свое. Я могу допустить возможность такого сценария, который позволит разрушить себя во имя создания единого сплава из индивидуальностей автора, режиссера, актера, оператора, художника, композитора, звукооператора, гримера и т. п. Писатели не позволяют разрушать свое произведение, известно, как они отстаивают каждое свое слово. Они правы. Для чего же убирать или менять то, что нашлось так нелегко и точно встало на свое место. Сценарист может приветствовать разрушение своего сочинения, может быть тут же, где сочинение разрушают, и помогать разрушению и созданию. Писатель пишет за столом, вычеркивает, переписывает, меняет… Фильм «пишется» на съемочной площадке, почему же там мастера не могут ничего «вычеркнуть», переделать? Они обязаны это делать. Никакой гений не работал одним махом.

Была у меня, к примеру, в фильме «Ваш сын и брат» сцена встречи старшего сына Игната с отцом и матерью. Весьма житейская сцена, всем знакомая… Актеры великолепные, знали, что им делать. Я полагался на них, но… между нами лежал сценарий. Где-то я допускал, чтобы они привносили в сцену свой собственный опыт, радовался удачно найденному слову, правдивой интонации, жесту, взгляду, «не запрограммированным» в моей режиссерской голове, но не больше. Надо было перешагнуть через сценарий (сценарий мой) и «сотворить» со всеми вместе сцену встречи. (С Толстым или Достоевским этого нельзя делать. Со мной можно.) Пять человек перед камерой да за камерой пятнадцать… А кто-то помнит случай из своей жизни, когда он «тоже приехал…». Кому-то припомнилась шутка, вроде: «А то письмо, в котором вы просили денег, я не получил…» В конце концов, все мы когда-нибудь уезжали из дома и приезжали домой. Разогреть бы товарищей моих, попросить: «А как ты сам приезжал? Покажи». Но все положились на сценарий и на меня. А меня влекла губительная сила инерции — так все работают. Вышла «проходная» сцена. А могла быть живая и увлекательная, не свяжи нас сценарий по рукам и ногам. Никогда актер не сыграет так неожиданно и верно то, что ему рассказано, подсказано или что он прочитал, как сыграет то, что помнит, знает, сам прожил. А мы же не о марсианах делаем фильмы.

Сценарий должен быть руководством к действию, а сценарист — сорежиссером. Я, может быть, говорю о так называемом авторском фильме, но кинематограф, по-моему, туда именно и идет. Это совсем не значит, что режиссер должен всегда сам себе писать сценарий. Но люди, которые собрались вместе, чтобы сделать фильм, должны действовать как заговорщики: неважно, кто будет стрелять в принца, отвечают все одинаково, и всем одинаково необходимо убить принца.

То есть, таким образом, сценарист не тогда сценарист (хороший или плохой), когда написал в своем сочинении: «Конец», а когда будет написано: «Конец фильма». До этого он может написать сочинение, равное по объему роману, может, сочинение это будет в размер повести и меньше — не суть дела, все должно однажды послужить будущему фильму и умереть как самостоятельная художественная ценность.

Кинематограф требует действия, поступков людей, разговора. В известном смысле это облегчает задачу писателя-сценариста: авторские размышления, подсказка, оценка — очень и очень рискованное дело. Но это же делает его задачу и крайне нелегкой: поступки людей должны быть вызваны к жизни авторским размышлением, и размышления эти должны стать достоянием людей. Какие же мысли и чувства должны терзать сценариста, чтобы, оставаясь «безмолвным» (авторско-дикторский текст — это почти всегда плохо, кроме необходимого комментария к документу), заставить людей мыслить и волноваться своими мыслями и чувствами! Авторская подсказка в теперешнем кино, вложенная в уста действующих лиц, — это тоже никуда не годится. Не проходит. Раздражает. Предполагает в зрителе дурака, на что он справедливо обижается.

Но кто должен сделать так, чтобы праздник состоялся? К кому идет автор-сценарист и выкладывает свои сокровенные думы? К режиссеру. Вот тот, кто двинет на зрителя всю громаду (если таковая имеется: а не имеется — не берись) мыслей и чувствований, кто «растолмачит» зрителю сценарный «бред». Без него нет сценариста, писателя, автора, без него нет произведения искусства. Он — художник. Вот во что надо, наконец, искренне поверить. Мы верим не до конца. Если режиссер говорит, что вот по такому-то сценарию я хочу сделать фильм, ему не верят, что он сделает хороший фильм. Сценарий читают еще 20–30 человек, потом не раз, не два — много раз собираются и решают: сделает режиссер по этому сценарию хороший фильм или не сделает? Одни говорят — сделает, другие говорят — не сделает. И он сидит слушает. То есть разговор-то вроде бы идет о сценарии — можно ли по нему сделать хороший фильм? Но ведь сидит живой человек, который сказал: «Я сделаю». А ему как бы говорят: «А вы помолчите пока, не ваше дело. Вот мы решим, тогда уж принимайтесь делать. Или ищите другой сценарий».

Если уж случилось так, что два человека решают судьбу фильма — сценарист и режиссер, — то и верить им надо. Не спрашивают же композитора, живописца, писателя, скульптора, когда они еще не начинали работать: а вы сможете сделать? Режиссера спрашивают. Да если бы спрашивали? Сомневаются и советуют, советуют и снова сомневаются. Так работать трудно. Самого крепкого человека можно пошатнуть.

Наверно, придет время, когда эти двое — сценарист и режиссер — станут

действительно хозяевами своей судьбы и работы. Для этого один должен перестать «повторять» литературу, другого должны перестать бесконечно опекать и контролировать. Придет такое время. Туда идем.

Нравственность есть Правда

Человек трезвый, разумный, конечно же, – везде, всегда – до конца понимает свое время, знает правду, и если обстоятельства таковы, что лучше о ней, правде, пока помолчать, он молчит. Человек умный и талантливый как-нибудь, да найдет способ выявить правду. Хоть намеком, хоть полусловом – иначе она его замучает, иначе, как ему кажется, жизнь пройдет впустую. Гений обрушит всю правду с блеском и грохотом на головы и души людские. Обстоятельства, может быть, убьют его, но он сделает свое дело. Человек просто талантливый – этот совершенно точно отразит свое время (в песне, в поступке, в тоске, в романе), быть может, сам того не поймет, но откроет глаза мыслящим и умным.

Есть на Руси еще один тип человека, в котором время, правда времени вопиет так же неистово, как в гении, так же нетерпеливо, как в талантливом, так же потаенно и неистребимо, как в мыслящем и умном… Человек этот – дурачок. Это давно заметили (юродивые, кликуши, странники не от мира сего – много их было в русской литературе, в преданиях народных, в сказках), и не стоило бы, может быть, так многозначительно вступать в статью, если бы не желание поделиться собственными наблюдениями на этот счет.

Был у нас в селе (в тридцатые годы) Вася-дурачок… Не боялся ни буранов, ни морозов (зимой мог босиком ходить), не боялся строгого председателя сельсовета, не боялся даже нас, мальчишек, но… до поры.

Он был парень сильный, перекидывал большие камни на тот берег довольно широкой протоки Катуни. Это было и наше любимое занятие. Мы с Васей подолгу и мирно состязались – кто бросит дальше. Вася, редкой доброты человек, забывал обиды, какие мы ему причиняли, чувствовал себя славно, нисколько не гордился, что бросает камни дальше нас… Но в нас уже назревало злое желание – «завести» Васю. Кто-нибудь доставал из кармана лист бумаги, карандаш и вдруг кричал:

– Вася, в коммуну запишу!

Тут – все мы – дай бог ноги! Вася хватал что ни попадя и гнался за нами. Камни свистели над нашими головами. Могла быть беда. А когда Вася оставался один, он садился на дорогу и горько плакал.

Вот: лет уж семь-восемь, как была коллективизация (а попытки с коммунами еще раньше), крестьянство претерпело невиданные изменения в своей жизни: была вера, был фанатизм, был страх, были радость и горе, и все это на доверчивую душу мужика, и душа эта содрогнулась. И это болезненное движение народной души, этот крутой излом в его судьбе печальным образом навсегда остался жить в одном человеке.

Позже была – война. Может быть, самая страшная в истории нашего народа. Новые дурачки. Больше – дурочки. Была Поля-дурочка. (Народ ласково называет их – Поля, Вася, Ваня…) Поля была раньше учительницей, проводила единственного сына на войну, и его вскоре убило. (Я вот почему подчеркнул это слово: ведь правильно – убили, а говорят – убило. Войну народ воспринимает как напасть, бедствие. «Громом убило…») Поля свихнулась от горя, ходила в чем попало, ночевала в банях, питалась подаянием… Плохо ей было, куда уж хуже! А она брала откуда-то непонятную жизнерадостную силу, трижды в день маршировала по улицам села и с горящими глазами звонко пела: «Вставай, страна огромная!»

Теперь предстоит самое странное и рискованное: провести параллель. Герой нашего времени – это всегда «дурачок», в котором наиболее выразительным образом живет его время, правда этого времени. Давайте представим, что это не так. Идет война, народ напрягает все силы в борьбе с врагом, шлет и шлет лучших своих сынов на поля сражений, и они гибнут тысячами, поливая родную землю молодой кровью. Страшное время! И вот появляется повесть, роман, где героем выведен этакий философствующий нытик, эгоист с душой паралитика, которая вся мучительно – только хочет жить! Это будет – про дезертира, предателя. И пусть он будет вовсе не глуп, иногда и не трус, и любить может, и не обжирается, как свинья, когда кругом голод… Пусть – тем хуже: значит, он не только дезертир, а – еще сволочь. В другое время – что ж, что человек безнадежно смотрит на окружающую его

действительность, что он любит и хочет жить – что? Ну, есть такие. Были. Будут. То есть в другое время он-то как раз и может быть героем, и вовсе не сволочью. Я не говорю о герое положительном, а о таком, который – состоянием души, характером, взглядами – выражает то, чем живет с ним вместе его народ, о типичном, что ли.

Когда герой не выдуман, он не может быть только безнравственным или только нравственным. А вот когда он выдуман в угоду кому-то, тут он, герой, – явление что ни на есть безнравственное. Здесь задумали кого-то обмануть, обокрасть чью-то душу… В делах материальных, так сказать, за это судят. В духовной жизни ущерб народу такими вот лазутчиками из мира лжи, угодничества наносится страшный.

Как у всякого, что-то делающего в искусстве, у меня с читателями и зрителями есть еще отношения «интимные» – письма. Пишут. Требуют. Требуют красивого героя. Ругают за грубость героев, за их выпивки и т. п. Удивляет, конечно, известная категоричность, с какой требуют и ругают. Действительно, редкая уверенность в собственной правоте. Но больше удивляет искренность и злость, с какой это делается. Просто поразительно! Чуть не анонимки с угрозой убить из-за угла кирпичом. А ведь чего требуют? Чтобы я выдумывал. У него, дьявола, живет за стенкой сосед, который работает, выпивает по выходным (иногда – шумно), бывает, ссорится с женой… В него он не верит, отрицает, а поверит, если я навру с три короба; благодарен будет, всплакнет у телевизора, умиленный, и ляжет спать со спокойной душой. Есть «культурная» тетя у меня в деревне, та все возмущается: «Одна ругань! Писатель…» Мать моя не знает, куда глаза девать от стыда. Есть тети в штанах: «грубый мужик». А невдомек им: если бы мои «мужики» не были бы грубыми, они не были бы нежными.

В общем, требуют нравственного героя. В меру моих сил я и пекусь об этом. Но только для меня нравственность – не совсем герой. И герой, конечно, но – живой, из нравственного искусства, а не глянцевитый манекен, гладкий и мертвый, от которого хочется отдернуть руку. Чем больше такой манекен «похож» на живого человека (есть большие мастера этого дела), тем неприятнее. Попробуйте долго смотреть ему (манекену) в глаза, станет не по себе.

Философия, которая – вот уж скоро сорок лет – норма моей жизни, есть философия мужественная. Так почему я, читатель, зритель, должен отказывать себе в счастье – прямо смотреть в глаза правде? Разве не смогу я отличить, когда мне рассказывают про жизнь, какая она есть, а когда хотят зачем-то обмануть? Я не политик, легко могу запутаться в сложных вопросах, но как рядовой член партии коммунистов СССР я верю, что принадлежу к партии деятельной и справедливой; а как художник я не могу обманывать свой народ – показывать жизнь только счастливой, например. Правда бывает и горькой. Если я ее буду скрывать, буду твердить, что все хорошо, все прекрасно, то в конце концов я и партию свою подведу. Там, где люди ее должны были бы задуматься, сосредоточить силы и устранить недостатки, они, поверив мне, останутся спокойными. Это не по-хозяйски, Я б хотел помогать партии. Хотел бы показывать правду. Я верю в силы своего народа, очень люблю Родину – я не отчаиваюсь. Напротив. Но когда мне возвращают рассказ – не из-за его низкого художественного качества (это дают понять), по другим причинам – неловко, стыдно.

Нравственность есть Правда. Не просто правда, а – Правда. Ибо это мужество, честность, это значит – жить народной радостью и болью, думать, как думает народ, потому что народ всегда знает Правду.

Положим, общество живет в лихое безвременье. Так случилось, что умному, деятельному негде приложить свои силы и разум – сильные мира идиоты не нуждаются в нем, напротив, он мешает им. Нельзя рта открыть – грубая ладонь жандарма сразу закроет его. (Хорошо, если только закроет, а то и по зубам треснет.) И вот в такое тяжкое для народа и его передовых людей время появляется в литературе герой яркий, неприкаянный, непутевый. На правду он махнул рукой – она противна ему, восстать сил нет. Что, он безнравственен? Печорин безнравственен? Обломов безнравственен? Нет, тут что-то другое. Они – правдивы. Они также правдивы и небезнравственны, как правдивы и небезнравственны мятежники-декабристы. «Плохая им досталась доля» – и тем и другим. Царизм убил их. Но не для того же сегодня не перестают читать «Героя нашего времени» и «Обломова», чтобы учиться нравственности у Печорина или у Ильи Обломова. Они отразили свое время, а мы, их соотечественники, хотим знать то время. Лермонтов и Гончаров сделали свое дело:

они рассказали Правду. Теперь мы ее познаем. Познавали ее и тогда. И появлялись другие герои – способные действовать. Общество, познавая само себя, обретает силы. И только так оно движется вперед.

Теперь хочется порассуждать об «устоявшемся» положительном герое наших рассказов, повестей и романов. И особенно фильмов.

Сразу признаюсь: я не уважаю его, «устоявшегося». Такой он положительный, совершенный, нравственный, трезвый, целеустремленный, что тоска берет: никогда таким не стать! Он – этакий непоседа, ему бы все у костров, да по тропинкам, по тропинкам!.. (Кстати, на какие деньги он так много путешествует?) И что делать тем, кто не может так много «бродить» с гитарой, кто не может «рвануть» в тайгу (а семью куда?), у кого только месяц в году – отпуск, а родных много в разных местах и хочется к ним поехать… Завидовать? И завидовали бы, если бы верили. Я подозреваю, никто в таких героев не верит. Зачем же они кочуют из книги в книгу, из фильма в фильм? Зачем они все совершенствуются и совершенствуются – чтобы служить примером? Да неужели мы так неразумны, что не видим, не чувствуем, как эта «агитация положительным героем» бьет нас другим концом! И как еще бьет!

Как-то я смотрел передачу по телевидению. Выступала женщина-адвокат. Она задалась целью проследить причину одного преступления. Преступление никакое нельзя назвать – «небольшое», но здесь оно было не такое уж большое: ребята-рабочие подрались в пьяном виде, и одному досталось основательно. (Повторяю, я не собираюсь их оправдывать, этих молодых рабочих.) Словом, их судили и приговорили к разным срокам заключения. Почему, спросила себя женщина-адвокат, это случилось? И стала исследовать. Пошла по людям, которые общались с этими ребятами (соседи, рабочие, мастера тех предприятий, где они работали). И всем задавала примерно такие вопросы:

1. Вы знали их. Чем они жили? О чем мечтали?

2. Вот вы играли с ними в домино. А какие у них были цели в жизни? Чего они хотели добиться в жизни?

3. Вы стояли рядом у станка. Вы знали, как они проводят свободное время? Ходят ли в театр, в кино? Сколько раз в месяц, если ходят?

И т. п.

Ребята не частили, как выяснилось, в театры и кино, мало читали – адвоката это не удивило: она ждала этого. Но вот что ее неприятно удивило: и соседи, и товарищи по работе, и друзья осужденных тоже не слишком увлекаются искусством, тоже зачастую предпочитают лучше «забить козла», чем сходить в театр или в кино. Не хотят также посидеть над интересной книгой. И она горько поведала об этом с экрана телевизора. Руку, товарищ! Грустно, когда драгоценное человеческое время тратится так бездарно. Грустно и потому, что – вот пришел человек в этот мир… Чтобы, конечно, потрудиться, вырастить хлеб, сделать чудесную машину, построить дом, но еще – чтобы не пропустить ПРЕКРАСНОГО в этом мире. Прекрасное несет людям ИСКУССТВО, И МЫСЛЬ тоже несет прекрасное. Мысль – это тоже нечто законченное. Вот вас и поразило: как люди так легко, сами отказывают себе в прекрасном! Вы выступили хорошо.

Но что, если бы кто-нибудь из опрашиваемых вами ответил так:

«Мне скучно ходить в кино. Там много вранья, неправды. А мне отец с детства привил ремнем привычку: чтоб я сам никогда не врал и чтоб презирал людей, которые врут».

И ведь он доказал бы Вам (сославшись на какой-нибудь недавно виденный им фильм), что там – врут.

Стало быть, я так думаю, призывать людей к общению с искусством надо всегда, но всегда надо и художников призывать тоже к искусству. А то можно оказаться в смешном положении: будешь ратовать, прослывешь культурным человеком, а какой-нибудь «некультурный» возьмет и посадит тебя в калошу.

Мы часто употребляем выражения: «плохой фильм», «слабый роман», «середняк», «пошлость» и т. п. Почему мы не говорим: «лживый фильм», «лживый роман»? Ведь

именно это качество – ложь – и составляет в них пошлость, слабость. Еще пишут иногда в рецензиях: «Авторы руководствовались добрыми намерениями, но…» Господи, да кто же, приступая к работе над книгой, фильмом, руководствуется дурными намерениями? Какими, например? Заработать деньги? Но всякий художник хочет заработать деньги – они нужны ему. Но, скажут, есть халтурщики, которым… Речь идет о художниках. Тогда еще один вопрос: способен ли художник врать? Способен. Итак, речь идет о художниках. И весь призыв к ним: смелее насчет правды! Единственно дурное намерение – сознательно не сказать правду.

А что, собственно, смелее-то? Смелее постигать глубину жизни, не бояться, например, ее мрачноватых подвалов. Тогда это будет – борьба за человека. А как же иначе? Иначе будет, как парадный подъезд главного здания Мосфильма: огромный, прекрасный и… И вечно закрыт. Люди проходят на работу через проходную и весь день потом снуют из здания в здание, пользуясь обычными дверьми. Жизнь студии – внутри ее, рабочая. Парадный подъезд не нужен. Даже из архитектурных соображений – он тяжелый, зимой завален снегом и только на грусть наводит: запустение какое-то.

В своем фильме «Живет такой парень» я хотел рассказать о хорошем, добром парне, который как бы «развозит» на своем «газике» доброту людям. Он не знает, как она нужна им, он делает это потому, что добрый запас его души – большой и просит выхода. Не ахти какая мысль, но фильм делать стоило. Ну и делай – не кричи об этом, рассказывай… Нет, мне надо было подмахнуть парню «геройский поступок» – он отвел и бросил с обрыва горящую машину, тем самым предотвратил взрыв на бензохранилище, спас народное добро. Сработала проклятая, въедливая привычка: много видел подобных «поступков» у других авторов и сам «поступил» так же. Тут-то у меня и не вышло разговора с тем парнем, таким же шофером, может быть, как мой герой, с которым – ах как хотелось! – надо бы поговорить. Случилось, как случается с неумной мамой, когда она берет своего дитятку за руку и уводит со двора – чтобы «уличные» мальчишки не подействовали на него дурно: дитятко исключительное, на «фортепьянах учится. Мое дитятко тоже оказалось исключительным: я сам себя высек. Почаще надо останавливать руку, а то она нарабатывает нехорошую инерцию.

Чувствую необходимость оговорить одно обстоятельство. – А как быть со всякого рода шкурниками, бюрократами, если они изображены предельно правдиво? Они что, нравственные герои? Нет. Но они не безнравственны. Они есть та правда, которую заключает в себе всякое время (и время социализма тоже), которую необходимо знать. Правда труженика и правда паразита, правда добра и правда зла – это и есть, пожалуй, предмет истинного искусства. И это есть высшая Нравственность, которая есть Правда. Нравственным или безнравственным может быть искусство, а не герои. Только безнравственное искусство в состоянии создавать образы лживые – и «положительные», и «отрицательные» (если их можно назвать образами). Говорить в таком случае о нравственности или безнравственности нелепо. Честное, мужественное искусство не задается целью указывать пальцем: что нравственно, а что безнравственно, оно имеет дело с человеком «в целом» и хочет совершенствовать его, человека, тем, что говорит ему правду о нем. Учить можно, но если учить по принципу: это – «бяка», а это – «мня-мня» – лучше не учить. Ученики будут вырастать ленивыми, хитрыми, с наклонностью к паразитическому образу жизни. Потому что нет ничего легче: не самому решить трудную задачу, а списать с доски. Нравственность можно подделать. И подделывают. И очень удобно живут – в «соответствии»… В заключение хочу показать на примере, как создается фальшивое произведение, способное запутать и обмануть. Пример мой собственный. Буду, сколько меня хватит, правдивым. Пример, мне кажется, тем более поучительный, что я все-таки врать и придумывать не хотел.

Задумал такой сценарий:

Живет на свете (в далекой глухой деревне) обиженный судьбой паренек Минька Громов. Мал ростом, худ и вдобавок прихрамывает: парнишкой еще уснул на прицепе, свалился, и ему шаркнуло плугом по ноге. Чудом жить остался: тракторист случайно оглянулся, дал тормоз. А то бы перепахало всего.

Так вот, не повезло парню. Наверно, от этого он стал пронзительно-дерзкий, ругался со всеми, даже наскакивал драться. Таких – всерьез – не любят, неохотно потешаются и подзадоривают на всякие выходки.

Мне захотелось всеми возможными средствами кино оградить этого доброго человека

от людских насмешек, выявить попутно свой собственный запас доброты (надо думать, немалый) – восстановить слабого и беззащитного в правах человека. Ходил радовался: задумал хорошее дело. Видел Миньку, знал актера, который сыграет его. Но еще держал себя, не начинал писать: рано. По некоторому опыту знаю: надо довести себя до почти мучительного нетерпения.

Надо знать также всех людей, которые будут окружать героя. И вот:

С Минькой живет безнадежно больной отец. (Фильм должен был с того начаться: отец умирает.)

Есть у Миньки старший брат Илья, который живет в большом городе, работает прорабом на стройке. Илье за тридцать, среднего роста, широк и надежен в плечах, красив, взгляд прямой, твердый, несколько угрюмый, тяжелый. Нравится женщинам. Знает это. Немногословен.

Есть по соседству с Минькой девушка Валя, красивая, крупная, очень неглупая. Минька болезненно любит ее, она – нет, конечно. Ей весело с Минькой, но ей тоже охота любить – пора. Некого. Парни разъехались из деревни, а те, что остались, переженились или совсем не пара красавице Вале.

Есть еще сосед Миньки, огромный Мыкола, великий молчун и недалекий человек. Он тоже влюблен в Валю.

Эту незатейливую ситуацию (даже не треугольник) Минька объясняет брату так:

– Вот она – рядом живет, Валька-то… Помнишь? Ковалевых…

– Так она же маленькая!

– Маленькая! С Петра Первого. Пожалуйста: хоть завтра женился бы – не хочет! Что я сделаю?! Люблю ее, как это… как не знаю. Прямо задушил бы, гадину! – Минька выпил еще рюмку. Снялся с места, заходил по избе, горестно размахивая руками. Походил он на птицу, подбитую камнем. – Но я ее допеку, душа с меня вон. Нет таких крепостей…

– Красивая девка?

– На 37 сантиметров выше меня. Вот здесь – во! – полна пазуха. Глаза горят, как у ведьмы, вся гладкая… Как увижу ее, так полдня хвораю.

– Выбрал бы поменьше. Куда она тебе такая?

– Тут на принцип дело пошло. Вот тут оглобля одна поселилась, на 48 сантиметров выше меня. Мыкола, твою мать-то…

– Чей?

– Ты их не знаешь, приезжие. Он тоже втюрился в нее. Так тот хочет измором взять. Как увидит, что я к ней пошел, надевает, бендеровец, бостоновый костюм, приходит тоже и сидит. Веришь-нет, может три часа сидеть и ни слова не скажет. Сидит, и все – специально мешает мне. Мне уж давно надо от слов к делу переходить, а он сидит.

– Поговорил бы с ним.

– Говорил! Он только мычит. Говорю, если ты – бугай, жердь, оглобля, так в этом и все? Тут вот что требуется! – Минька постучал себя по лбу. – Говорю, я – талантливый человек, могу сутки подряд говорить, и то у меня не получается. Куда ты лезешь?

– А она что?

– Валька-то? Она не переваривает его. Но он упрямый, бугай. Я опасаюсь, что он сидит-сидит, да чего-нибудь все же высидит. Парней-то в деревне я да еще несколько.

– Трепешься много, Минька, поэтому к тебе серьезно не относятся. Надо хитрей

быть.

– А что мне остается делать?! Что я – витязь в тигровой шкуре? Мне больше нечем брать. Было бы образование, я бы в артисты пошел, а так… ну чем больше?

И т. д.

Пришло время, сел писать. Писалось легко, податливо. Навалял 60 страниц и куда-то уехал. С сожалением оторвался от работы и все думал потом о написанном. И чем больше думал, тем тревожнее и тревожнее становилось на душе. Что-то, однако, не то! А что? – не пойму. И под конец так захотелось перечитать написанное, что перестало интересовать все окружающее. Чуял какой-то грех, вину, беду. Приехал, перечитал – так и есть: все написанное (а это почти весь сценарий) – ловкая выдумка. Теперь время прошло, я сумею спокойно понять свой промах.

Он в самом замысле. Все удобное мешает искусству. В данном случае очень уж удобная схема. Добрый, обойденный судьбой парень, его не любят, смеются над ним, стало быть, зрительская любовь ему обеспечена. По схеме ранних лет кинематографа авторы давали в конце такому герою орден – «за боль годов». Теперь схема иная: герой орден не получает, но всемогущий перст автора в конце устремлен на него: смотрите, какой это хороший, добрый, сердечный человек, и не стыдно ли всем нам, что ему плохо жить! Так я и сделал. Отец Миньки доживает последние дни. Минька дает брату телеграмму. Брат Илья приезжает, но не успевает к живому отцу. Уже начало непоправимо плохо. Как читатель и зритель сам не переваривaю, когда действие повести или фильма начинается с чьего-нибудь приезда. Сколько можно!.. Приезжает новый агроном, председатель колхоза, приезжают строители, приезжают дяди, тети, гости, секретари райкомов – столько приезжают, что скулы воротит. И еще: я тут же выдал свое сочувствие герою – зачем сразу заставать его в таком горе, от которого содрогнется всякое сердце? Я попросту сделал себе легкую жизнь: не утруждая себя особенно, заявил: «Смотрите, какой он непосредственный, милый и как изболела его душа!» Не меньше в лоб получилось и с Ильей. Я тоже сразу раскрыл все карты: и он тоже поверяется смертью отца, относится к ней много спокойнее – очерствел в городе, прихватил жестокой житейской «мудрости» современного городского мещанства («надо хитрей быть», «не открывай всем свою душу – ткнут пальцем, сделают больно»).

Все сразу ясно. Дальше схема продолжает гнуть меня в бараний рог. Силы расставлены, рука летит по бумаге, сталкивая героев, слегка путая сюжет (современно!). Что может ждать более или менее поднаторевший зритель? Что красивый, сильный, привлекательный Илья (поначалу, по крайней мере) понравился Вале, а ему – умная, гордая, красивая Валя. И он (с первых страниц сценария известно: у него в городе не сложилась семья), научившийся брать у жизни крепкой рукой сколько подвернется, отнимет у нищих суму, лишит их всякой надежды на будущее – увезет Валю в город. Точно. На большее меня не хватило. Я только малость пококетничал: Илья отнимает у Миньки и Мыколы Валю-надежду не без некоторой внутренней борьбы – ему все-таки жалко их. Но…

Название сценария было под стать содержанию: «Враг мой» – усеченное: «Брат мой – враг мой»!

Если бы меня кто-нибудь другой ругал за сценарий или за фильм (критик), а не я сам себя, я бы, наверно, ощети нился: «А что, так не бывает в жизни?» Впрочем, нет, едва ли. Стыдно было бы. Так, конечно, бывает, но так не должно быть в искусстве. Нельзя, чтобы авторская воля наводила фокус на те только явления жизни, которые она найдет наиболее удобными для самовыявления. Не всегда надо понимать до конца то, о чем пишешь – так легче оставаться непредвзятым. В случае со мной схема потому одолела меня, почему всякой девушке, например, трудно, почти невозможно пойти на свидание в заурядном платье, оставив дома нарядное. Мысль моя была нарядная, яркая, я почувствовал себя хорошо. Смотрите: родные братья, судьба растащила их, увела старшего далеко от дома, научила равнодушию, жестокости, скрытности – это то, чем он расплатился за городское благополучие. А вот младший… Ну, и так далее. Всем воздал. Может быть, фильм и смотрелся бы… Но, господи! Как он выдуман! Как все удобно там, как все хорошо и ясно. И вот: Минька – нравственный, Илья – безнравственный. Так пошел бы шагать по экранам еще один недоносок. (Это вовсе не ручательство, что фильм, который я теперь делаю, будет прекрасен во всех отношениях. Постараюсь, конечно, чтобы пошлость и недомыслие не отравили его еще в утробе.) Изо всех сил буду стараться рассказать

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru правду о людях. Какую знаю, живя с ними в одно время.

Ну и, как говорится, дай мне бог здоровья!

Вот моя деревня…
Вот моя деревня…
Вот мой дом родной…
А вот моя мать… Дважды была замужем, дважды оставалась вдовой. Первый раз овдовела в 22 года, второй раз в 31 год, в 1942 г. Много сил, собственно, всю жизнь отдала детям. Теперь думает, что сын ее вышел в люди, большой человек в городе. Пусть так думает. Я у нее учился писать рассказы.

Вот тетки мои:

Авдотья Сергеевна. Вдова. Вырастила двоих детей.

Анна Сергеевна. Вдова. Вырастила пятерых детей.

Вера Сергеевна. Вдова. Один сын.

Вдовы образца 1941–1945 гг.

Когда-то они хорошо пели. Теперь не могут. Просил — не могут.

Редкого терпения люди! Я не склонен ни к преувеличениям, ни к преуменьшениям национальных достоинств русского человека, но то, что я видел, что привык видеть с малых лет, заставляет сказать: столько, сколько может вынести русская женщина, сколько она вынесла, вряд ли кто сможет больше, и не приведи судьба никому на земле столько вынести. Не надо.

Они не сознают этого. Да и сам я начал понимать это много лет спустя. И вот захотелось рассказать о них… И о них, и о других людях моей деревни.

Сюжета в этой картине нет. Впрочем, если мысль авторская может быть сюжетом, а так бывает, то пусть будет сюжет. Мысль же такова: это прекрасные люди. Красивые люди. Добрые люди. Трудолюбивые. И я всей силой души, по-сыновьи, хочу им счастья. Это моя родина, как же мне не хотеть этого.

Можно спросить их самих: какой фильм они хотели бы увидеть о себе? Они расскажут.

И дед Николай Петрович расскажет… Как себя помню, так помню, что он уже был стариком. А мне уже — сорок. А он все старик. Сколько же он — все старик и старик! В семьдесят три года еще женился. Когда шел сговор, старуха-невеста сказала так: «Я так скажу, Маня (сватала их моя мать, Мария Сергеевна): если приставать по ночам не будет, пойду». Пошла — старик дал слово.

Вот — живут.

Интересно, какой бы он фильм попросил сделать… Он расскажет.

И вот она расскажет, сверстница моя…

И председатель сельсовета…

И вот он, тракторист… Помню его еще пацаном сопливым.

И вот он…

И он… Этих я уже не знаю.

Я же бы начал наш фильм так:

Каждый год, 9 мая, люди моего села собираются на кладбище… И кто-нибудь из сельсовета зачитывает по списку:

Буркин Илья…

Козлов Иван…

Куксины: Степан и Павел…

Пономарев Константин…

Пономаревы, Емельяновичи:

Иван, Степан, Михаил, Василий…

Поповы…

Длинный это список. Скорбный.

Слушают… Молча плачут.

Тут есть еще матери, отцы.

Но мало уже. Больше — жены, сестры, братья, дети. Тут

— все село.

Тихо слушают… И тот, кто читает, невольно делает это тоже негромко. Иногда, когда он зачитывает какую-нибудь фамилию, а потом пойдут: Егор, Кузьма, Иван, Василий, Михаил — братья, то он приостанавливается на некоторое время, стискивает зубы, моргает… И слышно, как плачут, шепотом как-то плачут.

А с кладбища, с горы, далеко-далеко видно окрест. С юга — горы, а к северу пошла степь. Необозримая. Земля этих людей, имена которых зачитывают. Они родились здесь, пахали эту землю.

Зиновьев Михаил… Куликов Борис… Думновы: Николай и Федор… Докучаев Егор… Сибиряки. В основном из села полегли под Москвой и на Курской дуге.

Есть даже один из двадцати восьми панфиловцев — Трофимов. Он остался жив. Он стоит здесь же… Его можно потом попросить рассказать о великой битве за столицу.

Он расскажет…

Но вернулось мало. Эти, в списке…

Они теперь на фотографиях в домах. На видном месте.

И если слышать негромкий голос, зачитывающий имена погибших…

И разглядывать их фотографии — каждого названного в списке, то удивит и резанет по сердцу мысль: «Какие они были молодые».

Можно, когда потом разойдутся с кладбища, попросить двух-трех вдов рассказать, как они провожали своих мужей на войну. Какие сны вещие видели…

Мать моя рассказывает, что приснился ей такой сон:

— Приехали мы в Бийск-то, а их там — видимо-невидимо. И вот их всех выкликают. А мы, бабы-то, собрались все в садочке, у вокзала-то, да и ждем. Ждем-пождем, а их все выкликают. Я и задремала, на скамеечке-то сидя. До этого-то не спали две ночи, ну, меня и сморило. И только я задремала, вижу такой сон. Вот захотела же я пить. Да так захотела — душа горит. И вижу будто чайник какой-то. А где это я? — я что-то не соображу. Ну, взяла я тот чайник да как хлебну с жадностью-то — там кипяток. И проснулась. Проснулась, рассказываю этот сон бабам, а те говорят: «Э-е, матушка, худо: обожгесся». Вот и обожглась: в 42-м похоронную получила.

Еще другие сны видели — причудливые, вещие… И очень уж какие-то… точные, что ли, пророческие. То ли правда такие снились, то ли потом додумалось и поверилось.

Говорят, правда.

Но это они потом расскажут.

А сейчас звучит все тот же голос на кладбище, называет фамилии…

И учительница тоже называет фамилии – те же, только имена другие.

Это – в школе.

Это уже внуки тех…

Встают – мальчишки, девчонки. Какие-то все рослые! Седьмой или восьмой класс, а девчата уже невесты целые. А парням бриться впору.

Это – внуки. Как-то трудно совместить эти понятия… Только что поразила молодость тех, на фотографиях, а это уже – их внуки. Но это так.

Сидят, делают вид, что слушают учителя. А сами думают: «Скорей бы кончались эти бесконечные уроки! Скорей бы каникулы!» Знаем мы это… Крестики где-нибудь дома ставят – сколько дней осталось.

Вот сидит явная отличница.

Вот – так себе, но все же ничего, терпимо. Будет плановиком в райфо.

А этот балбес… смотрит в книгу, а видит, конечно… все, что угодно, только не формулу. Улица на уме! Хватишься потом! Близко локоть, да не укусишь. Куда она уйдет от тебя, эта улица?! Никуда не уйдет! Будешь потом лес ворочать… без образования-то…

Ах, легко ругать! Правда, ужасно легко. То есть горько, конечно, что сын или дочь плохо учатся, но все равно ругать не составляет никакого труда. Это я ни к чему не клоню и никаких выводов не делаю. Просто говорю, что – легко.

Что же тут поделаешь, когда на улице-то, правда, так хорошо!

А на реке что делается!

Нет, учиться, конечно, надо. Хорошо надо учиться. Но и реку вот эту, и острова, и околок, и согра – это ты только теперь и вберешь в сердце. И всю жизнь потом будешь помнить и любить… А если тебя судьба занесет куда-нибудь далеко от этих мест, то так будешь их любить, что и заплачешь один ночью, когда никто не видит. С этим тоже ничего не поделаешь. Так что учись, конечно, сынок, но покрепче и запомни вот все это…

Вот тут, у этого тополя, будешь впервые в жизни ждать девчонку… Натопчешься, накуришься… И тополь не тополь, и кусты эти ни к чему, и красота эта закатная – дьявол бы с ней. Не идет! Ничего, придет. Не она, так где-нибудь, когда-нибудь – другая. Придет. Ты этот тополь-то… того… запомни. Пройдет лет тридцать, приедешь откуда-нибудь – из далекого далека – и этот тополек поцелуешь. Оглянешься – никого – и поцелуешь. Вот тот проклятый вечер-то, когда заря-то полыхала, когда она не пришла-то – вот он и будет самый дорогой вечер. Это уж так. Не мы так решаем, кто-то за нас распоряжается, но… это так. Проверено. А еще, парень, погляди на эту дорогу…

Погляди, погляди… Внимательно погляди. Это – из села. Вон столбы туда пошагали. Послушай подойди, как гудят провода. Еще погляди на дорогу… А теперь погляди на меня. В глаза мне…

Не торопись. Может, и уйдешь, только не торопись. Везде хорошо, где нас нет – это не сегодня сказали. Здесь тоже неплохо.

Вот – покос.

В мое время это было так. (Тут уж дай мне повспоминать. Да и ты посмотри.)

Ни для чего я тебе это показываю, а просто – дорого мне все это, дороже потом ничего не было. Ну и – делюсь. У тебя будет другое дорогое, у меня – это. А земля-то у нас одна. Ты тоже потом расскажи детям твоим или внукам, что запомнишь хорошее, светлое. Не утерпишь, расскажешь.

Покос.

Самая прекрасная, самая трудная, самая певучая пора.

О творчестве Василия Белова
Я легко и просто подчиняюсь правде беловских героев… Когда они разговаривают, слышу их интонации, знаю, почему молчат, если замолчали, порой – до иллюзии – вдруг пахнет на тебя банным духом… «По всей бане так ароматы и пойдут!» – не много сказал вологодский расторопный мужик, а – вкусно сказал! Дальше он же добавил: «Зато и жили по девяносто годов». И вот – что тут случается? – вдруг мужичок становится каким-то родным, понятным, и уж нет никакого изумления перед мастерством писателя, а есть – Федулович, и, хочешь, говори с ним: «Да будет хвастать-то! – «по девяносто годов». Так через одного по девяносто и жили?» Кинется, небось, доказывать, что жили! А хочешь, следи дальше, как он на полке́ разворачивается: «Кха! Едре-на Олена!.. В такую бы баньку да потолстее Параньку. А ты, Митрей, полезай повыше, на полу какой скус?» Я невольно улыбаюсь… Я понимаю, автор не ставил себе такой задачи – чтоб я, читатель, улыбался. Но тут какая-то такая свобода, такая вольность, правда, точность, что уж и смешно. Может, я, по родству занятий с писателем, и подивлюсь его слуху, памяти, чуткости… Но и, по родству же занятий, совершенно отчетливо понимаю: одной памяти тут мало, будь она еще совершенней. Слух, чувство меры, чувство правды, тактичность – все хорошо, все к делу, но всего этого мало. Без любви к тем мужикам, без сострадания, скрытого или явного, без уважения к ним неподдельного, так о них не написать. Нет. Так, чтоб встали они во плоти: крикливые, хвастливые, работящие, терпеливые, совестливые, теплые, родные… Свои. Нет, так не написать. Любовь и сострадание, только они наводят на такую пронзительную правду. И тут не притворишься – что они есть, если нет ни того, ни другого. Бывает, притворяются – получается порой правдиво, и так и пишут критики: «правдивый рассказ», «правдивый роман». Только… Как бы это сказать? Может, правда и правдивость суть понятия вовсе несхожие? Во всякое случае то, что я сейчас разумею под «правдивостью» – хитрая работа тренированного ума, способного более или менее точно воспроизвести схему жизни, – прямо враждебно живой правде. Непонятные, дикие, странные причины побуждают людей скрывать правду… И тем-то дороже они, люди, роднее, когда не притворяются, не выдумывают себя, не уползают от правды в сторону, не изворачиваются всю жизнь. Меня такие восхищают. Радуют. Работа их в литературе, в искусстве значит много; талантливая честная душа способна врачевать, способна помочь в пору отчаяния и полного безверия, способна вдохнуть силы для жизни и поступков.

А где же сама-то, душа эта, берет целебные силы?

Как-то гостил я у Белова в родной его деревне Тимонихе. И стал невольно свидетелем одной сцены. Пришла старушка с бумажкой, на которой записан адрес дочери… Пришла, чтоб писатель написал письмо ее дочери и выговорил бы ей вины ее перед родными – не пишет, совсем забыла… И столько было у старушки веры и надежды, что «Васенька, ангел наш» (она как-то произносила: «аньдели») сумеет так написать ее дочери, что та поймет, наконец, что… О, сколько веры она принесла с собой, та хлопотливая старушка! Да и горе ведь принесла – отбилась дочь-то от дома, совсем отбилась. Я сперва подумал, что это какая-нибудь двоюродная тетя Белова, а та самая дочь, которую поглотил город, стало быть, двоюродная его сестрица – отсюда такая свойская доверчивость. Оказалось, нет – чужая. А вот – принесла. Видно, тут и ответ на вопрос, откуда у писателя запас добрых слов? От людей же… И людям же и отдается.

Он учил работать
Есть несколько человек на земле, голоса которых я могу легко «услышать» – они каким-то непостижимым образом живут во мне. Стоит захотеть, и ясно – до иллюзии – их слышу. Они мне очень нужны и дороги.

Михаил Ильич Ромм. Голос его – глуховатый, несколько как бы удивленный, терпеливый, часто с легкой, необидной усмешкой, голос человека доброго, но который устал твердить людям простые истины. Устал, но не перестает твердить. Две из них – необходимость добра и знаний – имелось в виду усвоить как главную тему искусства.

Он был очень терпелив. Когда я пришел к нему учиться, то не стеснялся его, не стыдился отнимать его время. Он был очень добр ко мне, я думал, что это так и

Космос, нервная система и шмат сала. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru должно быть и всегда бывало в Москве в искусстве. Потом, когда пришли ясность и трезвость, я поразился его терпению. И совестно стало, например, давать ему читать свои плохие рассказы. Но тогда удивился он: «А где же рассказы-то? Бросил писать, что ли?» Писать я не бросил, стал даже соваться по редакциям. А он же и подсказал, как это лучше делать. Я решил, что буду теперь приходить к нему, когда удастся сделать что-нибудь хорошо – порадовать его, показать, что не зря возился со мной и терпел. Но так получилось, что сделать что-нибудь очень хорошо – бесспорно хорошо, – все как-то не удавалось. Я заходил попроведать, а все было неловко, все думалось: «Что расселся-то!»

Он учил работать. Много работать. Всю жизнь. Он и начал с того свою учебу – рассказал нам, как много и трудно работал Лев Толстой. И вес пять лет потом повторял: «Надо работать, ребятки». И так это и засело во мне – что надо работать, работать и работать: до чего-нибудь все же можно доработаться. «Надо читать», «подумайте» – это все тоже приглашение работать. «Попробуйте еще» – это все работать и работать.

Он и сам работал до последнего дня. Так только и живут и искусстве – это я теперь до конца знаю. Знаю особенно отчетливо, особенно непреклонно, когда думаю о всей его жизни. И что главная тема искусства есть необходимость добра и знаний среди людей – это тоже как-то особенно понятно.

Завидую тебе…
У меня есть мечта: стать комбайнером. Смотрю, как комбайн идет по полю, сердце петухом поет! Я уже думаю, как сяду за штурвал…

Но у нас есть учительница, которая дразнится: «Колхозники вы, больше никто!» Однажды, когда была линейка и директор называл учителей, им ребята хлопали и даже «ура» кричали, а ей никто не хлопал.

Когда я рассказал про эту учительницу маме, она долго молчала, а потом сказала, что хлеб – самое главное, без него все бы умерли.

Не знаю, что мне делать со своей мечтой. Вчера услышал по радио: «Спасибо тебе, человек, имя которого хлебороб». А может, хлебороб и колхозник – разница? Может, колхозником стыдно быть? И как тогда моя мечта? Ответьте мне, пожалуйста, через газету, правильно ли я мечтаю, чтобы я больше не сомневался.

Называть мою фамилию не надо.

(Письмо в редакцию)
Мне дали прочитать твое письмо, и захотелось с тобой поговорить. Правда, трудно говорить с человеком, не называя его по имени, но раз ты так решил, пусть так будет.

Я начну с того, с чего начал и ты, – с мечты. Но тут мы сразу же и разойдемся: я не люблю мечтать. Я не верю мечте. Ты же несколько (чуть-чуть) хвалишься своей мечтой, и я даже уловил в твоих словах нотку угрозы: вот возьму и перестану мечтать! Словом, ты мечтаешь, я – отмечтался. У обоих у нас есть на то основание: ты начал жить, я отшагал уже изрядно. Можем мы понять друг друга? Можем, при желании. Я не хочу, чтобы ты разучился мечтать (я бы и не смог отучить тебя от мечты, если б даже и захотел для чего-то, это не в моей власти и ни в чьей власти), я только хочу, чтобы ты знал: к желанной цели тебя приведет не мечта, а разум и труд. Я боюсь, что ты уже слышал-переслышал это и скривишь недовольно лицо, не дослушаешь меня. Мне хочется быть очень убедительным, но я не могу найти слов более точных, чем эти два: разум и труд. Не вина этих слов, что употребляют их слишком часто, иногда попусту, всуе, притворно, «ради хорошей отметки» или чтобы породить в людях хорошее о себе мнение… Слова не виноваты, они говорят правду, они вечны. Если бы тебя хоть сколько-нибудь мог убедить мой, например, жизненный опыт (я тоже – деревенский, жить начинал трудно, голодно, рано пошел работать), то он тоже в этом: главная сила на земле – разум и труд. Здесь не должно смущать, что это слишком уж просто: за этой простотой люди за тридевять земель ходят, ее добывают всей жизнью. Это не просто, просто как раз не понять этого. За тобой право подумать, что разумному и трудолюбивому не всегда хорошо в жизни, ты мог это заметить, но за мной право утверждать, что – все ценное, прекрасное на земле создал умный, талантливый, трудолюбивый человек. Никогда еще в истории человеческой ни один паразит не сделал ничего стоящего, ты тут должен согласиться.

Что касается мечты… Я не отвергаю мечты, но верую я все же в труд. Мечта мечтой, а когда мастер берется за дело, когда руки его знают и умеют сделать точно, красиво, умно — это подороже всякой мечты. И еще: я не доверяю красивым словам. Мечта слишком красивое слово. Слов красивых люди наговорили много, надо дел тоже красивых наделать столько же, и хорошо бы побольше.

И еще совет: не обижайся на учительницу. Она тоже человек, она ошибается, не все еще до конца поняла. Почему она должна знать все?! Вообще, меньше обижайся на людей и не отчаивайся. Ты сам хозяин своей судьбы, никто больше (видишь, и у меня вышло красиво, к сожалению, красиво пегче говорить). А кто больше? Ну, подумай, кто? Никто. Знай больше других, работай больше других — вот вся судьба. Это нелегко, это на всю жизнь, но ведь и помним-то мы, и благодарны — таким только. Кто бы ты ни был — комбайнер, академик, художник, — живи и выкладывайся весь без остатка, старайся знать много, не жалуйся и не завидуй, не ходи против совести, старайся быть добрым и великодушным — это будет завидная судьба. А когда будешь таким, — помоги другим. Я знаю, как это нелегко, я, может быть, тоже размечтался… Очень хочется, чтобы это так и было. Завидую тебе, твоим четырнадцати годам, — ты начинаешь, может быть, начинаешь хорошо, по крайней мере есть возможность начать хорошо — а дальше вся жизнь. Много можно сделать! Еще: читай больше. Гони — в будущем — мысль о выпивке. Не начинай курить. Не тянись за теми, кто это рано начал делать — худое дело. Помни, что тебе надо много успеть сделать для своего народа. И все, что будет мешать этому — вино, табак (надо быть здоровым человеком), лень, непомерное честолюбие, — гони все прочь от себя.

Всего доброго!

«Книги выстраивают целые судьбы»
Ответы на вопросы корреспондента «Комсомольской правды»
Один из первых вопросов… о так называемой «проблеме второй книги». В последние годы мы становились свидетелями многих удачных литературных дебютов. Потом проходило время, появлялись вторые и третьи книги вчерашних дебютантов и нередко разочаровывали: повторение самих себя… Высказывалось мнение, что одна из причин этого — ранняя профессионализация писателя… Не мешает ли она?

— Не только не мешает, но — с грустью это осознаю — не хватает профессионализма. Всякая профессия предполагает прежде всего дисциплину труда, и писательского тоже. У меня этой дисциплины нет. За тринадцать лет профессиональной работы вышло 4 книги, общий листаж которых — 50 авторских листов. Это — в четыре рабочих дня одна страница машинописного текста. О профессионализме в строгом смысле тут говорить невозможно. Если уж нельзя «ни дня без строчки», то и в день по строчке тоже нельзя. Какая бы причина столь малой продуктивности ни была, в любом случае это не вполне профессионально. Далее, если говорить о профессии писателя, — она — природой своей — немедленно ставит вопрос о культуре писателя и сама же отвечает на этот вопрос: то есть имеем мы дело с профессиональным писателем или с человеком, который написал книгу, две книги… пусть пять книг, но не сообщил ничего нового о жизни. В наши дни писательская профессионализация — поздняя (прозаиков особенно). Это нормально. Если мы заговорим об интеллигентности писателя, то это и о культуре его. То есть если к тридцати годам, положим, человек, склонный к писанию, не обрел этой интеллигентности, общей необходимой культуры, не вкусил от хлеба писательского, который — вот это как-то с трудом доходит до сознания, — очень труден и черств, не преодолел (или не видно, что преодолеет) чужое влияние, не подчинил всю жизнь целиком одному делу, писательскому, не уверовал в могущество литературы в жизни — если все это еще не живет в человеке, говорить о нем как о писателе рано, он еще не писатель, или, скажем так, не настоящий писатель. Потому что писатель, кроме всего прочего, еще и найдет манеру, одному ему свойственную. Ведь на самом деле подлинно нехоженых троп в литературе не бесконечно много, до нас накоплено огромное богатство, и если оно тебе в какой-то мере доступно, скорей осмелишься ступить на свою дорогу. Она тем не менее должна быть. Жизненный опыт, да, только… Кому же его не хватает? Просиди ты сиднем тридцать лет — и это жизненный опыт: как сидел тридцать лет. Это вон как интересно может быть, напиши-ка об этом талантливо, умело, справедливо! Ведь и такой «опыт» может сослужить службу.

Путь к культуре сегодня — со всеми нашими библиотеками, музеями, кино, радио, телевидением — бывает нелегок и непрост?

– Очень и очень непрост. Нужна помощь на первых порах. Формы такой помощи необозримы, но суть всегда одна: умная, добрая, бескорыстная. Так у меня случилось, что лет с двенадцати мне стали помогать выбирать, что читать. Сперва это была ленинградская учительница, которая в войну оказалась в нашей деревне, преподавала в школе. У меня обнаружилась какая-то ненормальная страсть к чтению, а учился я плохо, мать этого не могла понять. Пошла к учительнице. Та пришла, расспросила, что я читаю… И составила список книг, какие надо читать. Сказала, когда это прочтешь, я еще составлю. Еще помню библиотеку в Севастополе… Служил матросом и ходил в офицерскую библиотеку. И там пожилая библиотекарша опять чуть не со списком…

Наконец, список же был составлен и Михаилом Ильичем Роммом, к которому я пришел учиться во ВГИК. Это был последний список. Почти все книги из этих списков я помню, многие повторялись… Я бы теперь и сам составил кому-нибудь список – так я в них уверовал, так им благодарен, и книгам и людям. Не без того, что и я много палил впустую, возникали же они, эти списки! – но все же, наверно, меньше. Попробуйте мысленно окинуть нынешнее книжное море – тревожно за молодых пловцов. Ах, как нужна помощь старшего, умного! Не говоря уж об ответственности писателя, совести его перед молодой жизнью: трудно и слова найти, столь она велика, эта ответственность. Книги выстраивают целые судьбы… или не выстраивают.

В одном из последних Ваших рассказов, «Медик Володя», герой – студент медицинского института… едет на каникулы в родную деревню, он хочет казаться цивилизованным горожанином и усвоил необходимый для этого нехитрый набор штампов поведения… Здесь ясно видна псевдоинтеллигентность. А как человек становится интеллигентом?

– Я сам еще помню, какой восторг охватывал, когда Чапаев в фильме говорил: «Я ведь академиев не кончал…» Не кончал, а генералов, которые академии кончали, лупит. Этому, как видно, есть объяснение: «академиев не кончал» – наш, генералов бьет – это, значит, мы в состоянии их бить, без «академиев». Попробуйте сегодня вообразить героя фильма или книги, который с такой же обезоруживающей гордостью скажет: «я академиев не кончал» – восторга не будет. Будет сожаление: зря не кончал. Эта «гордость низов» исторически свое отработала. Теперь надо кончать академии. Это, впрочем, ясно. На мой взгляд, народилась другая опасность: щеголяние эрудицией, показная осведомленность, особенно в вопросах искусства… Ну, может, не опасность: болтуны и трепачи во все времена были. Но если не опасность, то постыдная легкомысленность. Не нам бы этим заниматься, не нам бы. Это еще не интеллигентность – много и без толку говорить, так и сорока на колу умеет. Интеллигентность – это мудрость и совестливость, я так понимаю интеллигентность. Это, очевидно, и сдержанность и тактичность. Мне один человек посылает письма со сценариями и пишет: «Ну, Васька, ты даешь: на три письма не ответил!» Не буду отвечать: от такого «родного», «нашенского» меня тоже уже воротит. Хоть возраст-то надо уважать – мне 44 года. Даже в деревне никто не обращается к сорокалетнему человеку – «Васька». Это уж и себя тоже не уважать. Человеческое достоинство прямо относится к интеллигентности.

Слово о «малой родине»
Как-то в связи с фильмом «Печки-лавочки» я получил с родины, с Алтая, анонимное письмо. Письмецо короткое и убийственное: «Не бери пример с себя, не позорь свою землю и нас» Потом в газете «Алтайская правда» была напечатана рецензия на этот же фильм (я его снимал на Алтае), где, кроме прочих упреков фильму, был упрек мне – как причинная связь с неудачей фильма: автор оторвался от жизни, не знает даже преобразований, какие произошли в его родном селе… И еще отзыв с родины: в газете «Бийский рабочий» фильм тоже разругали, в общем, за то же. И еще потом были выступления моих земляков (в центральной печати), где фильм тоже поминался недобрым словом… Сказать, что я все это принял спокойно, значит, зачем-то скрыть правду. Правда же тут в том, что все это, и письма и рецензии, неожиданно и грустно. В фильм я вложил много труда (это, впрочем, не главное, халтура тоже не без труда создается), главное, я вложил в него мою любовь к родине, к Алтаю, какая живет в сердце, – вот главное, и я думал, что это-то не останется незамеченным. Не стану кокетничать и говорить так: «Я задумался… Я спросил себя: может быть, они правы – я оторвался от родины?..» Нет, не стану. Но и доказывать, что я люблю родину и не оторвался от нее, – тоже не стану, это никому не нужно. Но о родине сказать готов, это, впрочем, будет и о любви к ней, но только пусть не будет никаким доказательством. Я давно чувствовал потребность в этом слове. И вот почему.

Те, кому пришлось уехать (по самым разным причинам) с родины (понятно, что я имею в виду так называемую «малую родину»), – а таких много, – невольно несут в душе некую обездоленность, чувство вины и грусть. С годами грусть слабеет, но совсем не проходит. Может, отсюда проистекает наше неловкое заискивание перед земляками, когда мы приезжаем к ним из больших «центров» в командировку или в отпуск. Не знаю, как другие, а я чего-то смущаюсь и заискиваю. Я вижу какое-то легкое раздражение и недовольство моих земляков чем-то, может, тем, что я – уехал, а теперь, видите ли, – приехал. Когда мне приходится читать очерки или рассказы других писателей о том, как они побывали на родине, я с удивлением не нахожу у них вот этого вот мотива: что им пришлось слегка суетиться и заискивать. Или у них этого нет? Или они опускают это потом, вспоминая поездку?.. Не пойму. Я не могу опустить это, потому что всякий раз спотыкаюсь о какую-то неловкость, даже мне бывает стыдно, что вот я – взял и уехал, когда-то, куда-то… И вот все вокруг вроде бы и не мое родное, и я потерял право называть это своим. Я хотел бы в этом разобраться. Мое ли это – моя родина, где я родился и вырос? Мое. Говорю это с чувством глубокой правоты, ибо всю жизнь мою несу родину в душе, люблю ее, жив ею, она придает мне силы, когда случается трудно и горько… Я не выговариваю себе это чувство, не извиняюсь за него перед земляками – оно мое, оно – я. Не стану же я объяснять кому бы то ни было, что я – есть на этом свете пока, это, простите за неуклюжесть, факт.

Больше всего в родной своей избе я любил полати. Не печку даже (хотя печку тоже очень любил), а полати. Теперь, когда и видеть-то не видишь нигде полатей (даже в самых глухих и далеких деревнях), оглядываясь мысленно по стране (которую, по-моему, неплохо знаю), я вижу Алтай – как если бы это мои родные полати из детства, особый, в высшей степени дорогой мир. Может, это потому (возвышение-то чудится), что село мое – на возвышении, в предгорье, а может, потому это, что с полатями связана неповторимая пора жизни… Трудно понять, но как где скажут «Алтай», так вздрогнешь, сердце лизнет до боли мгновенное горячее чувство, а в памяти – неизменно – полати. Когда буду помирать, если буду в сознании, в последний момент успею подумать о матери, о детях и о родине, которая живет во мне. Дороже у меня ничего нет.

Редко кому завидую, а завидую моим далеким предкам – их упорству, силе огромной… Я бы сегодня не знал, куда деваться с такой силищей. Представляю, с каким трудом проделали они этот путь – с Севера Руси, с Волги, с Дона на Алтай. Я только представляю, а они его прошли. И если бы не наша теперь осторожность насчет красивостей, я бы позволил себе сказать, что склоняюсь перед их памятью, благодарю их самым дорогим словом, какое только удалось сберечь у сердца: они обрели – себе и нам, и после нас – прекрасную родину. Красота ее, ясность ее поднебесная – редкая на земле. Нет, это, пожалуй, легко сказалось: красивого на земле много, вся земля красивая… Дело не в красоте, дело, наверное, в том, что дает родина – каждому из нас – в дорогу, если, положим, предстоит путь, обратный тому, какой в давние времена проделали наши предки, – с Алтая, вообще что родина дает человеку на целую жизнь. Я сказал «ясность поднебесная», но и поднебесная, и земная, распахнутая, – ясность пашни и ясность людей, которых люблю и помню. Когда я хочу точно представить, что же особенно прочно запомнил я из той жизни, которую прожил на родине в те свои годы, в какие память наша, особенно цепкая, обладает способностью долго удерживать то, что ее поразило, то я должен выразиться громоздко и несколько неопределенно, хотя для меня это точность и конкретность полная: я запомнил образ жизни русского крестьянства, нравственный уклад этой жизни, больше того, у меня с годами окрепло убеждение, что он, этот уклад, прекрасен, начиная с языка, с жилья.

Я думаю, что еще не время восторженно приветствовать двухэтажное длинное здание, которое стало приходить в сибирскую деревню. Надо подождать, когда это здание станет родным, дорогим, когда оно привыкнет к человеку, как привык деревенский дом. Я хочу сказать, что нужно еще время, пока длинное кирпичное здание в деревне, претерпев множество изменений – от первоначального замысла в городском кабинете, – обвыкнется с деревенским человеком, станет таким же сподручным, понятным, необходимым, как деревенский дом в прошлом. Я понимаю, на какой я напрашиваюсь упрек, и все же расскажу, каким я запомнил дом деда моего, крестьянина, это тоже живет со мной и тоже чрезвычайно дорого.

У меня было время и была возможность видеть красивые здания, нарядные гостиные, воспитанных, очень культурных людей, которые непринужденно, легко входят в эти гостиные, сидят, болтают, курят, пьют кофе… Я всегда смотрел и думал: «Ну вот это, что ли, и есть та самая жизнь – так надо жить?» Но что-то противилось во

мне этой красоте и этой непринужденности: пожалуй, я чувствовал, что это не непринужденность, а демонстрация непринужденности, свободы – это уже тоже, по-своему, несвобода. В доме деда была непринужденность, была свобода полная. Я вдумываюсь, проверяю, конечно, свои мысли, сознаю их беззащитность перед «лицом» фигуры иронической… Но и я хочу быть правдивым перед собой до конца, поэтому повторяю: нигде больше не видел такой ясной, простой, законченной целесообразности, как в жилище деда – крестьянина, таких естественных, правдивых, добрых, в сущности, отношений между людьми там. Я помню, что там говорили правильным, свободным, правдивым языком, сильным, точным, там жила шутка, песня по праздникам, там много, очень много работали… Собственно, вокруг работы и вращалась вся жизнь. Она начиналась рано утром и затихала поздно вечером, но она как-то не угнетала людей, не озлобляла – с ней засыпали, к ней просыпались. Никто не хвастался сделанным, не оскорбляли за промах, но – учили… Никак не могу внушить себе, что это все – глупо, некультурно, а думаю, что отсюда, от такого устройства и самочувствия в мире, – очень близко к самым высоким понятиям о чести, достоинстве и прочим мерилам нравственного роста человека: неужели в том только и беда, что слов этих «честь», «достоинство» там не знали? Но там знали все, чем жив и крепок человек и чем он – нищий: ложь есть ложь, корысть есть корысть, праздность и суесловие… Нет явления в жизни, нет такого качества в человеке, которое бы там не знали, или, положим, знали его так, а пришло время, и стало это качество человеческое на поверку, в результате научных открытий, вовсе не плохим, а хорошим, ценным. Ни в чем там не заблуждались, больше того, мало-мальски заметные недостатки в человеке, еще в маленьком, губились на корню. Если в человечке обнаруживалась склонность к лени, то она никак не выгораживалась, не объяснялась никакими редкими способностями ребенка – она была просто лень, потому высмеивалась, истреблялась. Зазнайство, хвастливость, завистливость – все было на виду в людях, никак нельзя было спрятаться ни за слова, ни за фокусы, Я не стремлюсь здесь кого-то обмануть или себя, например, обмануть – нарисовать зачем-то картину жизни идеальной, нет, она, конечно, была далеко не идеальная, но коренное русло жизни всегда оставалось – правда, справедливость. И даже очень и очень развитое чувство правды и справедливости, здесь нет сомнений. Только с этим чувством люди живут значительно. Этот кровный закон – соблюдение правды – вселяет в человеке уверенность и ценность его пребывания здесь, я так думаю, потому что все остальное прилагается к этому, труд в том числе, ибо правда и в том, что – надо есть.

Эту сумму унаследованных представлений о жизни, о способе жить я и хотел, кстати, обнаружить в Иване и Нюре, героях фильма «Печки-лавочки».

Когда я подъезжаю на поезде к Бийску (от Новосибирска до Бийска поезд идет ночь), когда начинаю слышать в темноте знакомое, родное, сельское подпевание в словах, я уже не могу заснуть, даже если еду в купе, волнуюсь, начинаю ворошить прожитую жизнь… Поезд останавливается у каждого столба, собирает в ночи моих шумных, напористых земляков, вагон то и дело оглашается голосами. Конечно, тут не решаются проблемы НТР, но тут опять обнаруживается глубокое, давнее чувство справедливости, перед которым я немею. Как-то ночью в купе вошла тетя-пассажирка, увидела, что здесь сравнительно свободно (в бойкие месяцы едут даже в коридорах купейных вагонов, сидят на чемоданах, благо ехать близко), распахнула пошире двери и позвала еще свою товарку: «Нюра, давай ко мне, я тут нашла местечко!» На замечание, что здесь – купе, места, так сказать, дополнительно оплаченные, тетя искренне удивилась: «Да вы гляньте, чо в коридоре-то делается!.. А у вас вон как просторно». Отметая в уме все «да» и «нет» в пользу решения вопроса таким способом, я прихожу к мысли, что это – справедливо. Конечно, это несколько неудобно, но… но уж пусть лучше мы придем к мысли, что надо строить больше удобных вагонов, чем вести дело к иному: одни будут в коридоре, а другие – в загородочке, в купе. Дело в том, что и в купе-то, когда так людно, тесно, ехать неловко, совестно. А совесть у человека должна быть, пусть это и нелепо с точки зрения «правила передвижения пассажиров» – правила можно написать другие, была бы жива совесть. Человек, начиненный всяческими «правилами», но лишенный совести, – пустой человек, если не хуже.

Родина… Я живу с чувством, что когда-нибудь я вернусь на родину навсегда. Может быть, мне это нужно, думаю я, чтобы постоянно ощущать в себе житейский «запас прочности»: всегда есть куда вернуться, если станет невмоготу. Одно дело жить и бороться, когда есть куда вернуться, другое дело, когда отступать некуда. Я думаю, что русского человека во многом выручает сознание этого вот – есть еще куда отступать, есть где отдышаться, собраться с духом. И какая-то огромная мощь